

ПОЗНАЮЩЕЕ МЫШЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

НАСЛЕДИЕ Г.П.ЩЕДРОВИЦКОГО
В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ



ПОЗНАЮЩЕЕ МЫШЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ



НАСЛЕДИЕ
Г.П.ЩЕДРОВИЦКОГО
В КОНТЕКСТЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
И МИРОВОЙ
ФИЛОСОФСКОЙ
МЫСЛИ



Москва
2004

**Издание осуществлено
при финансовой поддержке
И.А.Сиротинина, И.К.Другова, А.А.Веселова**

Составление и общая редакция
Н.И. Кузнецова

Тексты для издания подготовили
К.И. Алексеев, С.И. Алексеева

Выпускающий редактор
Е.Г.Ермоленко



Познающее мышление и социальное действие (наследие Г.П. Щедровицкого в контексте отечественной и мировой философской мысли) / Редактор-составитель Н.И. Кузнецова. – М.: Ф.А.С.-медиа, 2004. – 544 с.

Книга посвящена анализу творчества выдающегося отечественного мыслителя Г.П. Щедровицкого (1929–1994) и подготовлена в связи с 75-летием со дня его рождения. Сборник представляет серию исследований видных отечественных философов и методологов, в которых сделана попытка определить вклад Г.П. Щедровицкого в современную интеллектуальную культуру, в сферу гуманитарных наук XX столетия (эпистемологию, психологию, лингвистику, семиотику, методологию и философию науки, социальную инженерию, педагогику и др.). Авторы хорошо знали Г.П. Щедровицкого: книга полна личных воспоминаний, в ней много живых штрихов к портрету Георгия Петровича и времени, в котором ему довелось жить и работать.

Книга адресована прежде всего специалистам в сфере гуманитарных наук и социальных технологий, а также представляет интерес для широкого круга читателей, которых волнует история и пути накопления отечественного интеллектуального «капитала».

- © Н.И. Кузнецова.
Составление и общая редакция
- © Авторы статей
- © Г.В.Каковкин, И.А.Болотина. Оригинал-маке
- © Лев Мелихов. Фото

Содержание



Предисловие	7
А.А. Пископфель Г.П. ЩЕДРОВИЦКИЙ – ПОДВИЖНИК И МЫСЛИТЕЛЬ	11
1. Творческая биография 2. Московский Методологический Кружок (ММК) 3. Рабочий архив и публикация наследия Г.П. Щедровицкого	
В.С. Швырев ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДНЫХ ПРИНЦИПОВ АНАЛИЗА ПОЗНАЮЩЕГО МЫШЛЕНИЯ	59
1. «Играющий тренер» 2. Логика как эмпирическая наука 3. Проблема антиномий 4. Концепция «языкового мышления» 5. Деятельностный подход и концепция познающего мышления	
В.Н. Садовский ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЛЕСК И ТВОРЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ РАННЕГО ЩЕДРОВИЦКОГО	81
1. Несколько предварительных замечаний 2. «Я всегда был идеалистом...» 3. Почему Московский логический кружок существовал столь короткое время 4. Программа исследования «языкового мышления»	

-
5. Логико-методологический анализ строения понятий и процессов их развития
 6. Содержательно-генетическая логика: проект и основные трудности его реализации
 7. Юра Щедровицкий и Имре Лакатос
 8. Г.П. Щедровицкий как социокультурный и соционаучный феномен

В.С. Степин

**ОТ ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ –
К ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
(ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ИДЕЙ: 1950–1990–е гг.)** **131**

1. Встреча, контакты, влияние
2. Ключевые идеи 50–60-х годов
3. Философские парадигмы Г.П. Щедровицкого
4. Типы изучаемых систем и типы методологий в науке
5. Выход к философской антропологии
6. Многообразии отечественных философских школ

В.А. Лекторский

**ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ЩЕДРОВИЦКИЙ
И СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ** **171**

1. Начало пути. «Штурм неба»
2. Философия, эпистемология, методология. «Методологическая Касталия»
3. «Человек – материал, на котором паразитирует деятельность и мышление». Умрет ли человек?

М.А. Розов

**ПРОБЛЕМА СПОСОБА БЫТИЯ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
(ПО СЛЕДАМ Г.П. ЩЕДРОВИЦКОГО)** **207**

1. «Музыка» проблематизации
2. Тайна всегда с тобой
3. Проблема Фердинанда де Соссюра
4. Трудность последнего шага
5. Щедровицкий и Маркс
6. Что же такое деятельность?

В.П. Литвинов

**МЫШЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ ЯЗЫКА
В ТРАДИЦИИ Г.П. ЩЕДРОВИЦКОГО** **249**

- Введение
1. Искусственное/естественное и проблема онтологии языка
 2. Порядок языка в свете языковедческой деятельности
 3. Знак, речевая деятельность и текст, условия их мыслимости
 4. Коммуникация как мыслекоммуникация
 5. Языковед и лингвист как культурные роли

Б.Г. Юдин

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО **307**

1. «Обработка металлов давлением...»
2. Режиссура кооперативного мышления
3. Объяснить или изменить?
4. Наука. Технология. Технонаука

В.П. Зинченко

**КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
К ТРУДАМ И ДНЯМ Г.П. ЩЕДРОВИЦКОГО** **337**

1. Глашатай Больших Проблем
2. Объективация субъективного

3. Мышление как субстанция
в предмете психологии мышления
4. Общая теория деятельности и проблема культуры
5. Деятельность в активном и пассивном залоге
6. «А был ли мальчик?»,
или Возможна ли мыследеятельность?..
7. Удачная аббревиатура
8. Проектируя человека?..

В.В. Калиниченко

**МЕСТО Г.П. ЩЕДРОВИЦКОГО В «ИСТОРИИ БЕЗУМИЯ»
XX СТОЛЕТИЯ (НЕСКОЛЬКО ПАРАФРАЗ М. ФУКО
К ТРАКТОВКЕ ИДЕЙ ММК)**

405

1. Тема и название
2. «Методология может все»
3. Безумие как «иное» разума
4. Отторжение мышления для новой сферы видимого
5. «Вторая линия прочтения», или о разрывах
и непрерывности истории

В.А. Подорога

**ПРОЕКТ И ОПЫТ (Г. ЩЕДРОВИЦКИЙ И М. МАМАРДАШВИЛИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТИЛЕЙ МЫШЛЕНИЯ)**

429

1. Вступление
 - Вопрос о стиле. Сходства и различия
 - Паралогия
 - Вопросы и ответы
 - Двойственность жеста
 - Отказ от опыта
2. Методолог (проект и стиль авангарда)
 - Что значит просто мыслить? Метафизика знака
 - Топы времени
 - Разрезать и связывать. Правила сборки
 - 1) Сетка и зеркало
 - Театр мысли. Правила изображения
и «прибавочный элемент»
3. Философ (Опыт и стиль модерна)
 - Искусство эпиграфики
 - Что значит точно мыслить? Метафизика символа
 - Данте Алигьери: «Ад», песнь XXXIV
 - Диаграммы
 - Точки начала и pathos'a
 - Эффект аудитории
 - Герой. Понятие опыта
4. Об одном давнем споре

П.Г. Щедровицкий

**ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ К АНАЛИЗУ
ПРОГРАММ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
И СМД-МЕТОДОЛОГИИ**

525

1. Необходимость истории
2. Единство цели и множественность программ
3. Эволюция программ в рамках мегапроекта
4. Как учесть развитие?
5. Анализ полипроцессов и проблема онтологии



Кузнецова Наталья Ивановна

(р. 1947)

доктор философских наук (1998), и.о. профессора философского факультета Российского государственного гуманитарного университета, главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. Член редколлегии журналов «Вопросы истории естествознания и техники», «Науковедение», «Эпистемология и философия науки». Член Американского общества историков науки (American History of Science Society). Автор проекта, редактор-составитель книги «Познающее мышление и социальное действие (наследие Г.П. Шедровицкого в контексте отечественной и мировой философской культуры)».

Окончила философский факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (1970).

Область научных интересов – философия и методология науки, социальная история отечественной науки, методологические проблемы историко-научных исследований, философская этика.

Курсы лекций, прочитанные за последние пять лет: История науки (Институт европейских культур), Философская этика: история и проблемы (РГГУ; Колледж философии, теологии и истории св. Фомы Аквинского), Введение в специальность (методологические проблемы историко-научных исследований (ИИЕТ РАН), Проблемы феминизма в современной культуре (Международная Рокфеллеровская программа «Leadership for Environmental and Development») и др.

Автор более 80 научных работ, в том числе монографий: Наука в ее истории (методологические проблемы) (М., 1982), Социокультурные проблемы формирования науки в России (XVIII – середина XIX вв.) (М., 1998).

Живет и работает в Москве.



Предисловие

В судьбе ученого присутствуют два пространства измерения его трудов и дней (если употребить выражение Гесиода) – суд Истории и суд человеческий, оценка Культуры и оценка современников.

С точки зрения современников, Колумб был неудачником: не открыл новой дороги в Индию, не сумел привезти желаемого золота, не дал возможности Испании возвыситься над Португалией в соперничестве за обладание удобными морскими путями для торговли индийскими пряностями и ювелирными изделиями. Однако исторический ход событий показал, что его грандиозная ошибка в определении корабельного маршрута открыла для человечества новый материк, новые земли и огромный неведомый европейской цивилизации Тихий океан, хотя произошло это далеко не сразу и не вдруг. Таким образом, Культура признала деяния Колумба, которые не признавали (да просто не могли знать!) его современники. Таков парадокс, известный каждому историку.

Я начинаю с напоминания о Колумбе не для того, чтобы привести еще одно привычно-торопливое сравнение или построить ассоциативное сопоставление героя этой книги с героем великого путешествия XV столетия. Важен приведенный выше парадокс: современники знают меньше об историческом лице, чем историки и люди следующих поколений. Я хочу объяснить замысел и композицию книги, которую в данный момент открывает читатель.

Какова была общая цель предпринятого исследования? Какую задачу решали авторы, какие вопросы перед ними стояли? Общая цель – реконструкция истории определенного фрагмента отечественной интеллектуальной истории. Все авторы, так или иначе, были знакомы с Г.П. Щедровицким и деятельностью Московского методологического кружка (ММК), лидером которого он стал еще в конце 1950-х годов. Но воспоминаний и личных впечатлений весьма недостаточно для историко-научного исследования. А иногда, быть может, они вообще вредны для серьезной исторической работы. И потому перед вами – не просто книга воспоминаний, не коллективные мемуары, не серия интервью с участниками ММК, учениками, друзьями и коллегами Георгия Петровича, хотя все эти материалы были широко использованы. Авторы стремились освоить комплекс базовых идей Московского методологического кружка и его бессменного лидера, посмотреть на эти идеи с дистанции пробежавших лет и открывшихся новых философских горизонтов.

Георгий Петрович Щедровицкий был известен как яркая личность, смелый мыслитель, мастер дискуссии, бунтарь-методолог, который усомнился в том, что философия и гуманитарные науки идут «правильной дорогой» и пытался обновить устоявшиеся представления целого ряда гуманитарных наук. Множество людей различных специальностей признают, что испытали сильнейшее влияние Георгия Петровича на свою работу, образ жизни и мышления. Однако вряд ли можно назвать Щедровицкого человеком, достигнувшим заветных целей. Да и кто мог бы назвать его цели как ясно осознанные и четко сформулированные?

Авторы этой книги начали работу кропотливого анализа основных идей, концептуальных подходов и исследовательских проектов Г.П. Щедровицкого. Прошло десять лет с тех пор, как здесь, с нами остались только тексты его работ и воспоминания тех, кто его знал. Закончилась земная жизнь, но началась жизнь его идей в «третьем мире» Объективного Знания. Началась и работа рефлексии с попыткой ответить на вопрос: что это было? Почему это было так, а не иначе? Что получилось и что осталось от грандиозных замыслов, каково культурное значение его активной деятельности, его пассионарной личности?

Авторы книги стремились понять сделанное, предложенное и намеченное Щедровицким. Это непростая задача, потому что понимание – это всегда непонимание, как пронизательно замечал еще Вильгельм Гумбольдт. Изменился весь интеллектуальный контекст современного науч-

ного и философского творчества, и теперь стали реальностью многие идеи и концепции, о появлении которых в середине XX века можно было только догадываться или «строить воздушные замки», рисуя их в тоталитарном обществе исключительно на бумаге. Теперь мы можем воочию видеть, что получилось, а что нет, что было только полетом безудержной, нерасчетливой фантазии. Критический анализ идей и концепций Щедровицкого с современной точки зрения – вот то продуктивное «непонимание», без которого нельзя выяснить, что действительно было сделано, что не выдержало проверки временем, а что осталось нереализованным в силу чисто случайных, внешних причин.

Разительно изменилась вся наша жизнь. Реальностью стали информационно-компьютерные технологии, буквально ворвавшиеся в повседневность, изменились экономика и управление, вся социальная инженерия, включая образование и деятельность масс-медиа, радикально обновилась архитектура и техническое проектирование, массовой стала профессия дизайнера. Однако надо иметь в виду, что изобретение и освоение этих новшеств требует серьезной тренировки ума. Это – дело философии и методологии. Как будет показано, вклад Щедровицкого в развитие всех этих инновационных процессов достаточно велик.

Будущее, которое всегда грезится в этакой голубоватой дымке дальности, неуклонно, неумолимо, необратимо и как-то ужасно рутинно становится прошлым. То, что было революцией еще несколько десятилетий назад, кажется тривиальным. Чтобы оценить дерзость идеи или проекта, надо войти в контекст времени и понять тяжесть обусловленности научно-философского творчества не только социальными обстоятельствами, но и возможностями наличных интеллектуальных ресурсов. Авторы данной книги стремились к построению именно такой исторической реконструкции, не предполагая, конечно, что сумели полностью решить поставленные задачи.

Имея в виду продолжение исторической работы, а также то, что каждый автор читает работы Щедровицкого по-своему, мы выделили все приводимые цитаты Георгия Петровича смещением текстов влево, добиваясь того, чтобы последующие интерпретации и само фактическое высказывание не были смешиваемы в сознании читателя. Цитаты М.К. Мамардашвили выделены в тексте книги смещением вправо. Надеюсь, что эти небольшие технические нюансы будут правильно оценены при внимательном чтении данной работы.



**Пископпель
Анатолий
Альфредович**
(р. 1945)

кандидат психологических (1990), доктор философских наук (1995). В 1968 закончил с отличием факультет радиоэлектроники МИНГ. С 1969 работает на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, а с 1993 – также в Институте культурного и природного наследия РАН. Член Общества психологов и Философского общества России, Международного Общества Наук о Системах (International Society for the Systems Sciences).

Область научных интересов – историко-методологические и философские вопросы логики и психологии науки; теоретическая и практическая психология; этно-социо-психология и конфликтология.

Автор более 120 научных трудов, в том числе следующих монографий: Инженерная психология (дисциплинарная организация и концептуальный строй). М., 1994; Инженерная психология и эргономика (1958–1991). М., 1996; Научная концепция: структура, генезис (историко-методологические очерки развития современного научного знания). М., 1999. Живет и работает в Москве.

Фото – Лев МЕЛИХОВ

Г. П. ЩЕДРОВИЦКИЙ – ПОДВИЖНИК И МЫСЛИТЕЛЬ

Знакомить читателя с жизненным путем и творческим обликом Георгия Петровича Щедровицкого и легко, и трудно.

Легко потому, что Георгий Петрович был публичным человеком, идеологом и культурным деятелем, а не чисто кабинетным ученым, отрешенным от социальной жизни. Он неутомимо участвовал во всех социально значимых событиях научной и философской жизни своего времени. И, вместе с тем, его нельзя себе представить в иной стихии, нежели стихия мысли, мышления, но размышления не наедине с самим собой в глубоком кресле, а в процессе живого общения, так сказать, на общественном подиуме. Подобно Сократу, он всем видам философствования предпочитал диалог и публичную дискуссию, большим мастером которых он был.

Его образ жизни был таков, что все или почти все в ней было отдано организованной им самим семинарской работе и в свободное от семинаров время обсуждениям с коллегами и учениками волновавших его проблем. Огромное количество дискуссий, докладов, лекций, бесед... И никогда не прекращавшаяся рефлексивная работа над своим и чужим «мыследействием», фиксируемая в бесконечных «заметках».

Сам себя он называл «идеалистом» – человеком, для которого идеи и теоретические принципы являются первой и подлинной реальностью. И это не было фигурой речи: весь его образ жизни был специально организован для служения главной идее – развитию того направления мысли и деятельности, которые он называл Методологией и привлечению к этому делу своей жизни как можно большего количества активных и самостоятельно мыслящих людей.

Казалось бы, раз вся его сознательная жизнь прошла на виду у великого множества людей – друзей и учеников, единомышленни-

ков и оппонентов, то о ней известно все. Дело только за тем, чтобы собрать ее воедино и представить на всеобщее обозрение. В каком-то смысле, может быть, так оно и есть. Однако масштаб, динамика, разнообразие и продолжительность этой публичной деятельности были таковы, что многочисленные свидетельства его неутомимой творческой активности трудно обозримы и принадлежат одновременно «всем и никому». Для каждого из тех, кто прошел с ним тот или иной отрезок своей жизни, существует «свой» Щедровицкий, свой опыт общения с ним, свои, иногда очень сложные и противоречивые взаимоотношения. Уходили старые и приходили новые ученики, появлялись новые интересы, и устанавливались иные приоритеты, менялось время, менялся и он вместе с ним. Неизменной была лишь погруженность в непрерывный коллективный дискурс – работа, работа и работа.

Будучи не только мыслителем, но и человеком действия, и имея возможности полноценно реализоваться в атмосфере советского официоза, он создал свой собственный мир, свою Касталию – Московский Методологический Кружок (ММК), – в которой мог свободно жить и мыслить.

В 1989 году, отвечая на вопрос слушателя, как удавалось ему свободно жить и мыслить в условиях жесткой советской системы Г.П. как-то сказал:

То, что я живу в тоталитарной системе, я понял где-то лет в двенадцать. А дальше передо мной стоял вопрос – как жить? Я понял одну вещь, что я должен на все это наплевать, поскольку тоталитарная, нетоталитарная – знаете, никакой разницы между ними нет по сути... Когда я это понял, я дальше жил и работал. И обратите внимание, выяснилось, что это несущественно, в каких условиях вы живете, если вы имеете содержание жизни и работы. Иметь его надо! Нам ведь нужен этот тоталитаризм, чтобы мы могли говорить: «Вот если б я жил там! Я бы ох сколько натворил!»¹

В этой задуманной и реализованной – подчеркнем это – в кондовых советских условиях Касталии он, как и подобает мыслителю,

¹ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 19.

искал свой ответ на извечный вопрос: «Кто мы? Зачем и куда идем?». Таким ответом стала разработка глобальной интеллектуально-действенной программы и ее центральных звеньев – методологических «подходов», сначала мыслительного, потом деятельностного, затем системодейственного и, наконец, системомыследеятельностного.

Но одновременно с этой программой он неизбежно создавал и образ современного мыслителя. Не предметного специалиста – не физика, языковеда или педагога, а именно мыслителя в традиционном, философском смысле этого слова как универсальной фигуры, но в новой, современной форме. Создавал не на бумаге, а в жизни, самой своей личностью, и предъявил этот образ миру как некоторый урок. Недаром Московский методологический кружок сумел объединить и инженеров, и физиков, и лингвистов, и педагогов, и философов, и архитекторов, учившихся говорить друг с другом на едином, универсальном языке, на котором можно ставить и обсуждать любые проблемы, связанные с вынашиванием и воплощением самых разнообразных интеллектуальных замыслов – исследовательских, проектных, организационных и т.д.

Конечно, лучше всего о себе, почему и зачем он десятилетиями вел подвижническую жизнь, мог бы рассказать он сам. Но, замечательный мастер рефлексии, Георгий Петрович признавал продуктивность только деятельностной ее формы и был чужд «интеллигентскому самокопанию». В его огромном архиве сохранился фактически лишь один текст, в котором он предается воспоминаниям о своей жизни, но и они заканчиваются годами учебы в Московском Государственном Университете, когда их автор был в самом начале своего творческого пути.²

Огромен корпус оставшихся письменных текстов выступлений и обсуждений, размышлений и заметок (только описанная часть его личного рабочего архива содержит около 4000 папок), и существует великое множество живых впечатлений и свидетельств участников методологического движения. В каждом из них сохранился след его жизни, но сам человек, оставивший эти многочисленные и труднообозримые свидетельства своей поразительной творческой мощи и энергетики, загадочен и неповторим.

² Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом... М., 2001. – 368 с.

Для Г.П. Щедровицкого всегда была характерна убежденность, что подлинное интеллектуальное творчество – это всегда работа на будущее. Поэтому он никогда не жил сегодняшним днем, а поверял свою жизнь этим будущим, причем таким, которое делаем мы сами и которое только потом становится той самой Историей, которую штудируют школьники. И единственной оценкой своих трудов, которая его по-настоящему глубоко волновала, была историческая оценка. Будущее и подведет итоги его трудам и борениям.

1. Творческая биография

Георгий Петрович Щедровицкий родился в Москве 23 февраля 1929 года в семье, как принято было тогда выражаться, ответственного работника. Его отец – Петр Георгиевич Щедровицкий (1899–1972) – прошел жизненный путь, характерный для многих представителей своего пореволюционного поколения. Комсомольская юность, участие в гражданской войне, учеба в МВТУ, строительство материальной базы советского социализма на «авиационном фронте». Крупный инженер, один из организаторов и создателей современной авиационной промышленности в предвоенные и военные годы, затем директор ОРГАВИАПРОМа. Мать, Капитолина Николаевна Щедровицкая, в девичестве Баюкова (1904–1994) – врач-микробиолог.

Старинный дом, в одной из коммунальных квартир которого провел свое детство Георгий с родителями и младшим братом Левой, до сих пор смотрит окно в окно особняка Саввы Морозова на Воздвиженке (тогда посольство Японии, позже Дом Дружбы народов). В 1940 году семья Щедровицких переезжает на окраину Москвы, в «генеральский» сталинский дом с псевдотриумфальной аркой у станции метро «Сокол», построенный перед войной для ответственных работников авиационной промышленности.

В 1937 г. он поступает во второй класс 94-й средней школы и учится в ней до начала Отечественной войны и эвакуации семьи в г. Куйбышев, где его отец занимается восстановлением утраченного в начале войны промышленного потенциала европейской части страны – строительством новых уральских авиационных заводов. Время жизни в Куйбышеве – это и продолжение учебы в

школе, и работа санитаром в госпитале, и шлифовальщиком на военном заводе. Здесь он вступает на год раньше положенного возраста в комсомол и активно участвует в школьной жизни военного времени. Здесь же с путешествий на другой берег замерзшей Волги в гости к школьному приятелю он начинает всерьез заниматься спортивным бегом на лыжах и показывает неплохие результаты. В дальнейшем он отдаст спорту не один год своей жизни, станет чемпионом Москвы и организатором зимних походов для своих друзей и учеников.

В 1943 г. семья возвращается в Москву, и Георгий продолжает учебу в 150-й школе, которую заканчивает с серебряной медалью в 1946 г.

Школьные занятия давались ему легко, оставляя немало свободного времени, которым он мог распорядиться по своему усмотрению. Он делит его между тремя увлечениями – спортом, общественной работой и самообразованием.

Его первой страстью становится история, любовь и интерес к которой сохраняется на всю жизнь. Впечатление от чтения многотомной «Истории XIX века» Лависса и Рамбо, подаренной юному школьнику на день рождения дядей, было живым и многие годы спустя. История Человечества, как он позже признавался, очень скоро становится для него той первой, а в некоторых отношениях и единственной реальностью, через которую он начинает воспринимать собственную жизнь и жизнь окружающих его людей.

Начиная с седьмого класса у него появляется собственная образовательная программа, и, возвращаясь из школы домой, он усаживался за письменный стол, чтобы предаться собственным штудиям. Благо, в его распоряжении была обширная домашняя библиотека, любовно собранная отцом. Здесь, за письменным столом, закладывались основы той работоспособности и самодисциплины, которые не переставали удивлять всех знавших Георгия Петровича и работавших с ним в последующие годы.

Очень рано, еще в школьные годы, он начинает сознательно организовывать собственную жизнь и подчинять ее жестким «идейным» принципам и вырабатываемым правилам, взяв на вооружение полюбившуюся ему максиму Салтыкова-Щедрина, что есть подлинная «жизнь», а есть «концерты». В «концертах» юный Георгий уча-

ствия принимать не желал, обижая знакомых семьи и родственников, поскольку регулярное общение с ними он тоже относил к этим самым «концертам».

А подлинная жизнь начиналась для него тогда, когда он усаживался за «Капитал» Маркса, всерьез штудировал «Историю философии» Виндельбанда или «Историю естественного права» Новгородцева. Энергия марксовской мысли, смысл которой был ему тогда недоступен, произвела на него такое впечатление, что он стал слово в слово переписывать его тексты готическим шрифтом, тратя на это занятие почти все свое свободное время. Высокий стиль и пафос этой мысли прочно взяли юного школьника в полон, рождая желание посвятить свою жизнь занятиям философией.

Но вот пришло время окончания школы и выбора будущего жизненного поприща. Под влиянием отца, считавшего занятием философией не столько серьезной профессией, сколько высокой формой культурного досуга и общей духовной образованности, было принято семейное решение сначала овладеть полезной и нужной «реальной» профессией и лишь когда-нибудь потом вернуться к этому столь увлекательному для бывшего школьника занятию. Вопрос о выборе среди таких профессий занятия по сердцу не стоял, профессия отца, авиационного инженера, была ему хорошо знакома и близка. Он всегда интересовался работой отца, знал от него эксплуатационные характеристики всех отечественных и зарубежных самолетов, особенности их конструкции. Живо интересовался историей авиации и всем, что было связано с авиастроением. У Георгия не было сомнений, что, выбрав профессию авиационного инженера, он будет заниматься интересным, а самое главное – необходимым для развития страны делом. А для вчерашнего школьника, раздумывавшего, «делать жизнь с кого», это было, может быть, самым важным обстоятельством.

Он поступает и учится на подготовительном отделении Московского Авиационного Института (МАИ), выбирая между ним и Авиационно-Технологическим (МАТИ). Однако неожиданно для всех, и, может быть, для самого себя, в последний момент подает документы на физический факультет МГУ.

Почему именно на физический, он, вероятно, и сам толком не знал, считая, быть может, что академические занятия физикой все же ближе так полюбившейся ему философии, чем важная и нуж-

ная, но все-таки гораздо более земная профессия авиационного инженера. Но это несколько неожиданное решение не меняло главного: для Г.П. всегда была характерна деятельная убежденность, что важно не столько то, чем человек занят, сколько то, что он сам сделает из своего занятия.

Немалчишеское усердие, с которым юноша работал над собой, могло стать прологом к биографии книгоочя и эрудита, если бы не ярко выраженный общественный темперамент и организаторская жилка. Как и большинство сверстников тех сороковых, военных лет, он вступил в комсомол в 1941 году не только ради «чистоты биографии» (необходимой предпосылки любой карьеры в советском обществе), но и по идейной убежденности. И с той же серьезностью, с какой садился после школы за свои заветные занятия, отдается «общественной работе» комсорга класса и члена комитета комсомола школы (да еще участвует в драмкружке). В общем, на первый взгляд, ведет себя как «кондовый» советский общественник. Однако слишком всерьез он относится к этой своей общественной деятельности, и ее результатом, как правило, оказывается не социальная адаптация, а социальная отчужденность и от начальства, и от сверстников. Этой серьезности в отношении к делам, которые давно уже никем не принимались всерьез, Г.П. был обязан многими неприятностями.

Он и в годы учения в университете сохраняет верность себе, совмещая образование с активной «общественной работой». Пропагандист, редактор курсовой стенгазеты, член бюро комсомола курса, заместитель председателя спортклуба МГУ... Характерно, что одним из его детищ был кружок по изучению древнегреческой философии, который он организовал, исполняя поручение по развертыванию агитационно-пропагандистской работы на физическом факультете.

В те послевоенные времена она еще не превратилась в идеологическую барщину 60–80-х гг., и ей отдали дань все университетские студенты, в ком был хоть какой-то общественный темперамент. Бурная общественная деятельность Георгия приносила ему одну неприятность за другой, и он победно шествовал от поражения к поражению. За три года учебы на физическом факультете два раза ставился вопрос о его исключении из комсомола (а значит, по неписаным законам того времени, и отчислении из университета). И оба раза источником конфликта была сверхнормативная актив-

ность и «отсебятина», столь противопоказанные лояльному советскому человеку. Вспоминая те годы, Г.П. говорил, что он был загадкой и для начальства, и для товарищей, которые все никак не могли решить: то ли он «карьерист» с неумемной активностью, то ли «дурачок», принимающий всерьез идеологические декорации советской жизни. Подобного рода общественная активность была свойственна Г.П. и в более поздние годы. В 1955 г. он становится членом Ленинского райкома ВЛКСМ и кандидатом в члены КПСС, а в следующем, 1956 г. – членом партии. Пробыл он в ее рядах вплоть до своего исключения в 1968 г.

Сама учеба на физическом факультете того времени не вполне удовлетворяла юного Щедровицкого: не давая, по его убеждению, необходимого научного кругозора, она в то же время не отвечала и духовным запросам его деятельной натуры. К тому же на третьем курсе его принудительно распределили на спецотделение атомной физики, что означало реальную перспективу работы в закрытых учреждениях МВД по тематике атомного проекта. Георгий наотрез отказался и после конфликта с администрацией перевелся на второй курс философского факультета МГУ.

Так в 1949 г. началась учеба на философском факультете. В то время его больше всего интересовали процессы общественного развития – реальная классовая структура советского общества и процессы классовобразования в нем. Но исторический материализм, выдававший себя за социальную философию, был прямым продолжением официальной идеологии и к собственно философии имел весьма отдаленное отношение. Все самостоятельно мыслящие и порядочные студенты старались держаться от «истмата» как можно дальше и стремились найти себе философское занятие вне прямого давления идеологии. Поэтому непосредственной сферой интересов Георгия становятся сначала философские вопросы естествознания, а затем – логика и методология науки.

Время учебы на философском факультете определило не только основную область его научных интересов, но в значительной мере – круг будущих друзей и единомышленников, и образ будущей деятельности, и всю дальнейшую жизнь. Как часто любил позже говаривать Георгий Петрович, самое главное в жизни – попасть в хорошую компанию. Сам он всегда считал, что с той компанией, в которую попал, перейдя на философский факультет, ему повезло.

Студенческие годы на философском факультете – это и начало его официальной трудовой биографии. В 1951–1958 гг. Г.П. работает школьным учителем: преподает в разные годы логику, психологию и физику.

Здесь, в школе, зародился тот неослабевающий интерес, с которым Г.П. на протяжении всей своей дальнейшей научной деятельности относился к образовательной сфере, и отстаиваемый им подход к философии образования, ставящий эту сферу деятельности в самый центр общественной жизни как таковой. Отсюда тянутся нити к исследовательским циклам, посвященным взаимоотношениям педагогики и логики, социологии и психологии, объективной структуре мыслительной деятельности, способам решения детьми арифметических задач, роли игровой деятельности в детском сообществе и т.п.

Здесь, в школе, развился и укрепился его учительский дар, то педагогическое мастерство, с которым он в дальнейшем овладевал вниманием любой аудитории. Отсюда и умение работы с коллективом, которое станет неотъемлемой и, может быть, самой существенной чертой всей его будущей творческой деятельности. Но школьное учительство при всей его значимости для будущего – лишь малая толика того, чем он занят в эти годы. Уровень преподавания на философском факультете был не высок, но само пребывание там открывало неограниченные горизонты для самостоятельной работы – самые благоприятные условия для человека такого склада, как Георгий Щедровицкий. И он с головой уходит в изучение философской классики, истории науки и логических учений.

Занятия философией не сводились к книжным штудиям. Важнейшим, а в некоторых отношениях и определяющим для стиля жизни многих студентов послевоенного философского факультета было свободомыслие, «идеально-содержательное» (по выражению М.К. Мамардашвили) дружеское общение. Многие из тех, кто учился там в эти годы, вспоминают прежде всего особую идейную и дружескую атмосферу – атмосферу содержательной заинтересованности, которой было проникнуто их общение (при всей идеологизированности и казенщине официальной жизни факультета).

В ходе такого общения в 1952–1954 гг. сложился первый круг единомышленников (Александр Зиновьев, Борис Грушин, Георгий Щедровицкий, чуть позже – Мераб Мамардашвили) и зародились те формы интеллектуального взаимодействия, которые сначала

стали характерными для Московского Логического Кружка (МЛК), а затем составили регулярную основу его непосредственного продолжения – Московского Методологического Кружка (ММК).

Поначалу совместная интеллектуальная работа носила характер спонтанных обсуждений, но вскоре их участники выступают единым «фронтом» на дискуссии по проблемам логики, проходившей на философском факультете, и вырабатывают совместную программу логических исследований и разработок. Выступая тогда на дискуссии 1954 г., Г. Щедровицкий свое выступление заключил следующими словами, обращаясь от имени молодого поколения и прежде всего своих единомышленников, к своим учителям:

Мы, логики, сможем сказать, что наша наука нужна обществу, что мы приносим действительную пользу, только тогда, когда оставим в стороне поистине бессмертного Сократа и обратимся к реальному объекту, к изучению современного научного мышления. Только на этом пути возможно дальнейшее развитие логики, вне этого пути – загнивание и разложение.³

К этому времени учеба на философском факультете была уже позади. В 1953 г. Г.П. его заканчивает и получает диплом с отличием по специальности «философия». Наличие собственных идей не помешало ему быть настоящим отличником: в дипломе – 26 «отлично» и 5 «хорошо».

Тема его дипломной работы – логико-методологическое исследование генезиса научных понятий на материале истории физики.⁴ Формально (как окончивший с отличием) Г.П. получает распределение в аспирантуру, но его студенческая биография к тому времени была настолько «подмочена» (своей неумной активностью и бескомпромиссностью он настроил против себя почти всю факультетскую проффессуру), что поступить в аспирантуру он смог бы только после ухода с кафедры логики всех (или почти всех) преподавателей. Доброжелатели Г.П. тщетно уговаривали его оставить мысль поступить в факультетскую аспирантуру и советовали поступать в аспирантуру Плехановского института, но он стоял на

³ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 51.

⁴ Результаты, полученные в дипломной работе, были опубликованы в статье «О некоторых моментах в развитии понятий» (Вопросы философии. 1958. № 6).

своем и в результате остался «ни с чем» – школьным учителем. Но к тому времени главным в его жизни становилась деятельность сложившегося логического кружка.

Поначалу ведущая роль в кружке друзей-единомышленников принадлежала А.А. Зиновьеву, тогда аспиранту, старшему по возрасту и «научному стажу». Разрабатываемая им в 1949–1954 гг. программа логических исследований предполагала необходимость органического взаимодействия логических разработок с конкретным анализом научных знаний и научного мышления. Сам А.А. Зиновьев занимался тогда анализом логики «Капитала», и результаты его работы первоначально служили своего рода образцом, по которому каждый из участников объединения выверял свою собственную работу.

Эта первоначальная программа совместной работы была унаследована от гегелево-марксовской традиции и ориентировалась на результаты дискуссий в философских кругах 40-х гг. о соотношении формальной и диалектической логик. В содержательном плане МЛК противопоставлялся, с одной стороны, существовавшим тогда традиционным концепциям «формальной» и «диалектической» логик, а с другой – тем направлениям развития методологической работы, которые были представлены в программах разработки «философских проблем естествознания» И.В. Кузнецова и Б.М. Кедрова, а также «диалектической логики» Э.В. Ильенкова.

Непосредственным продолжением и развитием первых этапов работы стала программа содержательно-генетического исследования мышления и знаний (содержательно-генетической логики), оформившаяся к 1955–56 гг. и ставшая первой программой ММК (тогда именовавшего себя Московским логическим кружком – МЛК). Согласно воспоминаниям И.С. Ладенко, роль лидера Кружка перешла к Г.П. Щедровицкому в 1954 г.⁵

Согласно принятым нормам, работа должна была строиться рекуррентно: сначала теоретический дискурс относительно исходных средств анализа, затем логико-эмпирический анализ оригинальных философских и научных текстов, запечатлевших «работу мысли», с использованием конструктивно оформленных средств, потом рефлексия полученных результатов и вновь методологичес-

⁵ Ладенко И.С. Становление и развитие идей генетической логики // Вопросы методологии. 1991. № 3. С. 10.

кое разворачивание средств анализа в ходе нового теоретического дискурса и т.д.

В качестве эмпирического историко-научного материала использовались классические работы Аристотеля и Аристарха Самосского, Евклида и Галилея, Ньютона и Декарта. Анализ подобных образцов научного мышления находился в центре основных интересов МЛК. Работы проводились на широком историко-научном материале, захватывая понятия и модельные представления молекулярно-кинетической теории газов, структурные модели органической химии и химфизики и т.д.

Первоначальное «идеально-содержательное» объединение просуществовало недолго, и к 1957 г. дороги его участников разошлись.⁶ Причиной тому были как идейные, так и организационные разногласия. К тому времени у каждого из основных участников Кружка, с одной стороны, оформились собственные образ и программа деятельности, а с другой, выработалось свое отношение к сложившейся организационной форме коллективной работы. Сам Г.П., размышляя над историей МЛК, отмечал два обстоятельства, во многом определившие судьбу первого объединения: 1) что именно он больше всех настаивал на том, что «новая» логика должна быть построена в виде «теории мышления», 2) что он единственный стремился придать такой «теории» вид и форму «научного предмета». Его же тогдашние единомышленники были ориентированы более традиционно и подобных целей перед собой не ставили.

Для Г.П. намечившийся образ совместной деятельности, предполагавший не только интеллектуальную, но и социальную активность, оказался самоценным и продуктивным. Именно в нем он тогда увидел – скорее, интуитивно угадал, чем рефлексивно опознал, – новую, перспективную форму организации мышления и деятельности как таковых. Для других же членов-основателей МЛК подлинной ценностью была и осталась только самостоятельная творческая активность и результаты личной интеллектуальной деятельности.

Немаловажным обстоятельством было и различное отношение друзей-единомышленников к внешним формам дисциплины и связанным с ними взаимобязательствам, без которых сколько-нибудь

⁶ См. по этому поводу воспоминания М.К. Мамардашвили, Б.А. Грушина и И.С. Ладенко, опубликованные в «Вопросах методологии» (1991, № 1; 1994, № 1–2; 1991, № 3).

регулярное общение и совместная работа немислимы, вследствие разницы характеров и общественных темпераментов. М.К. Мамардашвили, вспоминая много лет спустя историю их взаимоотношений и причины распада первого состава МЛК, о себе лично сказал:

Я не могу маршировать ни в каком ряду, ни в первом, ни в последнем, ни посередине никакого батальона, и весь этот церемониал общей организованной деятельности абсолютно противоречит моей сути, радикально противоречит тому, как я осознаю себя философом. Не мое это дело. Я философ, никакой я не методолог, а если какие-то вещи мне интересны, то это совершенно другой вопрос, просто я не могу этого делать, будут все время возникать какие-то недоразумения. Я не переношу никакой дисциплины, в том числе во спасение, так зачем же подвергать испытаниям возникшие и столь редкие отношения!⁷

Необходимо отметить и еще одно существенное обстоятельство, которое сейчас, в исторической перспективе, выглядит многозначительным. В отличие от своих друзей-единомышленников, Г.П. уже тогда мало считался с традиционными предметно-дисциплинарными рамками и тесно сотрудничал с психологами (представителями педагогической психологии).

Практика совместных обсуждений широкого круга философско-методологических проблем не исключала, а, скорее, предполагала, наличие у каждого из членов МЛК своих собственных, личных интеллектуальных интересов и направлений исследований. Опыт изучения процедур и процессов мышления на материале истории науки, с одной стороны, и опыт формирования мыслительных навыков в процессе обучения, с другой, отрефлектированный в идее и программе разработки новой логики, сопровождался у Г.П. все более отчетливым пониманием, что реальная исследовательская практика МЛК не вмещается в пределы собственно логики ни в традиционном, ни в новом ее понимании.⁸ Речь шла, по сути дела, о новой «технологии» мышления, связанной с выработкой, ре-

⁷ Мамардашвили М.К. Начало всегда исторично, то есть случайно // Вопросы методологии. 1991. № 1. С. 47.

⁸ Основные черты замысла подобной логики обсуждались Г.П. в целом ряде публикаций конца 50-х – начала 60-х годов.

флексией и трансляцией средств преодоления самых разнообразных противоречий (разрывов) научно-познавательной и учебной деятельности, т.е. о методологии как таковой. Поэтому распад первого круга единомышленников – это одновременно и превращение кружка логического (МЛК) в методологический (ММК). А вместе с тем и зарождение новой школы – школы Г.П. Щедровицкого.

С этого времени начинается история собственно ММК (Московского Методологического Кружка). Довольно скоро работа кружка приобретает те регулярные формы, на которых с самого начала настаивал Г.П. и к которым был склонен в силу особенностей своего ума и характера. С того же времени складываются характерные для ММК отношения между работой коллективных семинаров-обсуждений и личной творческой активностью его участников, и прежде всего самого Георгия Петровича. В свое время эти отношения были отрефлектированы в форме следующей парадигмы: идеи и содержания обсуждений принадлежат всем, а результаты их оформления каждому из участников лично.

В 1958 г. Г.П. оставляет преподавание в школе и переходит в Издательство АПН РСФСР, где сначала работает в редакции педагогического словаря, а затем в редакции педагогики. Он редактирует труды Крупской, Блонского, позднее – Пиаже, ряд книг по теории и истории педагогики. Работу в издательстве он совмещает с работой в отделе теории журнала «Вопросы психологии».

Новая работа способствовала укреплению и расширению контактов с психологами, приобретших регулярный характер начиная с 1954–55 гг. Это были контакты как с уже известными (А.Н. Леонтьевым, Б.М. Тепловым и др.), так и с молодыми психологами – Л.А. Векером, В.В. Давыдовым, В.П. Зинченко, Я.А. Пономаревым и др.

Сотрудничеству с ними Г.П. стремится придать организационные формы, так или иначе уже отработанные в Логическом кружке, и предпринимает ряд попыток создать семинар по системному изучению явлений психики. Эти попытки завершились в 1958 г. организацией (совместно с В.В. Давыдовым и под патронажем П.А. Шеварева) так называемой Комиссии по психологии мышления и логике Общества психологов СССР, первого междисциплинарного объединения – пока еще в основном философов и психологов, но объединения не на логической, а на собственно методологической основе. С образованием этой Комиссии ММК получил официальное право на

социальную жизнь, т.е. стал не подозрительным сборищем, а легальным объединением, что в условиях роста числа участников стало необходимым.

Своего рода программой работы Комиссии можно считать опубликованную в 1958 г. (совместно с Н.Г. Алексеевым) работу «О возможных путях исследования мышления как деятельности», в которой получили дальнейшее развитие и конкретное приложение идеи, выработанные в ходе анализа научного мышления и связанные с противопоставлением двух планов, или аспектов, изучения мышления – плана «образов» (или знаний) и плана «процессов» (или деятельности). Утверждалось, что подлинное и полнообъемное изучение мышления невозможно без установления взаимопереходов и объединения этих двух аспектов в единое, внутренне расчлененное представление, и ставилась задача операционально-деятельностного анализа понятий и знаний, позволяющего, исходя из формы какого-либо сложившегося понятия или знания, сводить его к системе операций и действий, порождающих содержание этого понятия или знания. А в качестве одного из основных принципов, регулирующих подобный анализ, вводилась методологическая оппозиция «объект – предмет».

Сама эта оппозиция фиксировала опыт изучения связи языка и мышления, попытку создать новый предмет – «теорию мышления». Для решения этой задачи Г.П. пытается соединить средства и методы логики и лингвистики, психологии и социологии. Исходным моментом теоретического дискурса в этом случае становилась связь языка и мышления, которая объективировалась в качестве особого синтетического объекта – «языкового мышления», а собственно «язык» и «мышление» трактовались как особые частные и частичные предметы исследования «языкового мышления».⁹ Подобная постановка вопроса и способ введения исходных абстракций превращали логическое исследование в методологическое, отправной точкой для которого становилась оппозиция «объект – предмет» и связанный с ней подход к анализу сложных синтетических (органических) целостностей, изучавшихся разными науками и входивших в разные системы знания. Первые результаты подобного подхода содержались в статье 1957 г. «Языковое мышление и его

⁹ «Языковое мышление и методы его анализа» – тема кандидатской диссертации Г.П. Защитить эту диссертацию ему удалось только в 1964 г.

анализ». С этой работы начинается линия языковедческих, лингво-семиотических методологических исследований Г.П., проблематика строения знака и знаковых систем, смысла и значения знаков, соотношения парадигматики и синтагматики, и т.п.

В 1960 г. Г.П. становится научным сотрудником лаборатории психологии и психофизиологии НИИ дошкольного воспитания АПН РСФСР. Переход на работу в исследовательский институт создавал предпосылки для организации новых форм сотрудничества с психологами и педагогами, основанных на программе операционально-деятельностного подхода к изучению и развитию мышления. Идеи подобного подхода начали широко использоваться в психолого-педагогических исследованиях ситуаций обучения и воспитания, процессов развития в условиях обучения, взаимоотношений детей в условиях совместной деятельности и т.д. В этой работе в те годы принимали участие Н.Г. Алексеев, В.В. Давыдов, В.И. Дубовская, В.А. Лефевр, А.С. Москаева, Н.И. Непомнящая, Н.С. Пантина, С.Г. Якобсон и др. Часть полученных результатов была затем обобщена в коллективной монографии «Педагогика и логика». Книга была подготовлена к изданию в 1968 г., но набор был рассыпан, и лишь небольшая часть тиража разошлась «на правах рукописи» (полностью опубликована лишь в 1993 г.). В своей части этой коллективной монографии Г.П. отстаивал представление о педагогике как комплексной дисциплине, в которой ведущее место принадлежит методологическим исследованиям.

Одной из предпосылок данного цикла экспериментально-педагогических работ был принцип несовпадения предметного и операционально-деятельностного содержания обучения; с опорой на этот принцип была предпринята попытка определить основные фазы и этапы развития ребенка в соответствии с освоением им операционально-деятельностных, а не предметных содержаний обучения. Другой предпосылкой являлось представление, что концептуальной базой для анализа «живой» мыслительной деятельности и тем более для построения приемов и способов обучения правильно организованному мышлению должна быть «объективная структура мыслительной деятельности», реконструируемая методологическими средствами.

Метод такой реконструкции получил название «метода нормативного анализа деятельности». Экспликации этого метода, с одной

стороны, его уточнению в реальных психолого-педагогических исследованиях – с другой, был посвящен круг работ, выполненных на материале решения детьми (дошкольного возраста и школьниками) арифметических задач.

Эта линия теоретико-экспериментальных логико-педагогических и логико-психологических исследований объективной структуры мыслительной деятельности со стороны ее эмпирического содержания (мыслительная деятельность детей вплетена во все другие формы их поведения и деятельности и является их органом) выводила к более широким горизонтам понимания соотношения логического (методологического) и психологического в педагогике, проблемам соотношения обучения и развития ребенка, к другим видам и формам (не учебным, или не только учебным) детской активности, прежде всего к игровым.

В свою очередь, в концептуальном плане на одно из первых мест по значимости – на место системообразующей категории – стала выдвигаться категория «нормы», или «культурной нормы», превращая операционально-деятельностный подход в нормативно-деятельностный. Дальнейшая разработка содержания этой категории проходила в рамках категориальных и теоретических схем и представлений с воспроизводстве деятельности как основном системообразующем для нее процессе.¹⁰ Возникла насущная потребность в разработке теоретических представлений, концептуальных схем, приложимых и к игровой деятельности как основной форме детского поведения, и к широкому разнообразию видов социально значимой деятельности вообще.

С самых первых своих самостоятельных исследований Г.П. так или иначе имел дело с анализом и теоретическим конструированием сложных предметных целостностей, отраженных в системах знания, принадлежащих разным научным дисциплинам, и использовал категории, концептуальные схемы, принципы анализа-синтеза структурного и структурно-функционального характера. В его творческой лаборатории наметился и все более проявлялся тематизм системно-структурных исследований и разработок. С осознанием и специальной разработкой соответствующих концептуаль-

¹⁰ Результаты этой работы отражены в публикациях Г.П. середины 60-х гг.: «О методе семиотического исследования знаковых систем» (1967), «"Естественное" и "искусственное" в семиотических системах» (1967), «Знаки и деятельность» (1970).

ных средств связано становление еще одной идеи и направления – методологии системно-структурных исследований и разработок.

С некоторого времени (и уже неизменно) для дальнейшей творческой деятельности Г.П. стало характерным, что любую из возникающих тем, каждое из направлений работы он стремится превратить в коллективные мышление и деятельность по образу и подобию тех форм, которые складывались в ММК. Так, для удовлетворения своих интересов в области изучения речи-языка он организует (совместно с А.А. Леонтьевым) работу междисциплинарного семинара по психолингвистике.

В соответствии с такой мотивацией в 1962 г. Г.П. организует (совместно с В.Н. Садовским и Э.Г. Юдиным) междисциплинарный семинар по структурно-системным методам анализа в науке и технике при Совете по кибернетике АН СССР. С 1964 г. этот семинар становится официальной «крышей» и для всего ММК. На семинаре обсуждаются зарубежные варианты системно-структурного подхода, прежде всего общая теория систем (ОТС), восходящая к работам Людвиг фон Берталанфи, и закладываются основы для собственных, оригинальных исследований и разработок. Результаты, полученные Г.П. в предыдущие годы и апробированные в ходе работы семинара, были обобщены и представлены в 1964 г. в монографии «Проблемы методологии системных исследований». Программа разработки системно-структурных представлений как особых методологических средств была встречена в штывы официальным марксизмом. Философский официоз и раньше относился с большим недоверием к идеям Г.П., теперь же он удостоился отлучения из уст академика Тодора Павлова – одного из главных философов-охранителей.

На этом этапе, под новым углом зрения, были обобщены, сняты и переосмыслены результаты работы в рамках программы содержательно-генетической логики и выдвинуто новое понимание смысла и значения методологии и методологической работы.

Разработка содержания понятия деятельности как специфически методологического понятия было связано с осознанием существования особой реальности, конституируемой механизмом непрерывного снятия реализованных процессов и перевода реализованных процедур в «организованности» средств и методов. Этот механизм был выделен и опознан как один из основных и важ-

нейших механизмов развития мыслительной деятельности и деятельности вообще, «работа» которого приводит в результате к тому, что *анализ уже совершенной деятельности меняет ее (деятельности) материал и механизм*. Отсюда с неизбежностью следовал вывод, что условием построения предмета изучения деятельности должен стать поворот в ее категориальном понимании и истолковании.

Линия методологических исследований, связанная с разработкой теории деятельности как междисциплинарной концепции, была намечена уже в упоминавшейся выше работе «О возможных путях исследования мышления как деятельности», а в наиболее развернутом виде категория деятельности и теоретические представления о деятельности, сложившиеся в ММК на этом этапе, обсуждались в работе 1966 г. «Об исходных принципах анализа обучения и развития в рамках теории деятельности».

Отдельные положения и понятия этой «теории», модельные представления и структурные схемы обсуждались в целом ряде работ Г.П. и других членов ММК.¹¹ В них вводились в оборот важнейшие для всего дальнейшего развития ММК категории: «воспроизводство» (категория, выражающая содержание основного процесса, конституирующего деятельность как таковую), «норма – реализация» (трансляция – коммуникация), «естественное – искусственное» и т.д. Рассматривались, в частности, представления о частной и массовой деятельности, а также концептуальные схемы разной степени общности и категориальной определенности, позволяющие анализировать разные формы и виды социально значимой деятельности.

Создаваемая в рамках ММК теория деятельности – методологическая концепция деятельности, охватывающая всю область «методологической действительности» (полнообъемные структуры деятельности со всем набором их элементов и структур), должна была, по мысли ее создателей, обеспечить возможность прогнозирования и управления развитием разных форм социально значимой деятельности. В этом своем качестве «наука о деятельности» рассматривалась как метаметодологическая дисциплина, последнее основание всякой методологической работы.

¹¹ В частности, в работах Г.П. «Методологические замечания к педагогическому исследованию игры» (1966), «"Естественное" и "искусственное" в семиотических системах» (1967), «О методе семиотического исследования знаковых систем» (1967).

Такой поворот был невозможен без дальнейшего развития основных понятийных средств и представлений, без изменения взглядов на саму методологию. Среди таких средств в первую очередь следует указать на системно-структурные понятия и представления, которые и стали основными средствами концептуализации деятельности реальной. Расширение проблемного поля и понятийных средств стимулировало, в свою очередь, изменение представлений о самой методологии. На смену представлению об эмпирической методологии как авторефлексии отдельных наук, как части методологии науки, которая должна быть переработана логикой науки, пришло представление о методологии как о совершенно особой дисциплине, где она рассматривалась уже не на правах одной из линий в русле научно-познавательной деятельности (методология науки), а в качестве «теории человеческой деятельности», предметом которой является не только деятельность познания, мышление, но вся историческая деятельность человечества.

Для методологии как теории деятельности важнейшим вопросом становится разработка самого представления о деятельности, ее особых модельных и теоретических схем и соответствующих понятийных средств. Среди важнейших различий, необходимых для теоретического представления деятельности, были проведены различия «предмета» и «объекта» знаний, «структуры» и «организации», «системы предмета» и «системы объекта», «отношения» и «связи» и т.д. Разработана методологическая версия понятия «система».

Через призму системно-структурных представлений и основных схем «теории деятельности» были в свою очередь переосмыслены задачи и подходы собственно методологии науки и общее представление о науке и истории науки. Это переосмысление, в первую очередь, было связано с выходом за пределы чисто *познавательного подхода* к науке и рефлексированием практики ММК-движения как особого, *деятельностного* подхода к социокультурным явлениям.

Именно это логико-методологическое представление предлагалось в качестве исходной абстракции для постановки и решения вопросов, что такое наука, где граница между «научным» и «ненаучным», и т.д., и абстрактного основания для последующей связи всех других представлений о науке. Отсутствие подобной модели науки у Карла Поппера и большинства участников дискус-

сии по проблеме демаркации предопределило отношение к ней в ММК-движении как в конечном счете бесперспективной.

Приведению в систему разросшегося категориального аппарата и арсенала теоретико-деятельностных схем посвящена обобщающая работа Г.П. 1975 г. – Приложения к статье «Автоматизация проектирования и задачи развития проектировочной деятельности». В ней он развивает свой взгляд на деятельность как неоднородную полиструктуру, которая объединяет много разных и разнонаправленных процессов, протекающих в разном темпе и в разное время. Категории системы и полиструктуры определяют здесь методы изучения деятельности на разных уровнях ее обобщения. Совокупность таких методов и соответствующих им понятийных средств задает специфику системодеятельностного подхода.

В эти же годы особое внимание уделяется проблематике истории и перспективам развития самого системного движения как действительности особого рода. Г.П. выделяет целый ряд направлений в русле системного движения, описывает соотношения между ними, проводит критический анализ программ и проектов построения «теории систем». Он отстаивает тот взгляд на системное движение и системный подход, в соответствии с которым они имеют смысл только как подразделения и особые организованности методологии и методологического подхода.¹² Венчает этот круг разработок общая схема организации системно-структурной методологии, включающая «четыре слоя деятельности, каждый из которых как бы надстраивается над предыдущим и ассимилирует его. Это слои (1) «практик», (2) научных, инженерных, оргуправленческих, проектных и других «предметов», (3) «частных» методологических разработок и, наконец, (4) «общей методологии».

В 1965 г. Г.П. уходит из НИИ дошкольного воспитания и переходит на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ). Обладая самостоятельным вектором развития, он, как уже отмечалось, всегда, рано или поздно, начинал «шагать не в ногу», задевать чьи-то интересы, вступать в конфликтные отношения с начальством. При этом, не отказываясь от

¹² См.: «Системное движение и перспективы развития системно-структурной методологии» (1974), «Методологическая организация мышления и деятельности как условие и средство комплексной организации НИР» (1979), «Принципы и общая схема организации системно-структурных исследований и разработок» (1981).

компромиссов, он шел на них только до тех пор, пока они не касались основного дела его жизни – развития методологии и поддержания деятельности ММК. Когда это происходило, приходилось уходить и начинать строить отношения на новом месте работы.

Вместе с Г.П. во ВНИИТЭ, в организованную там лабораторию «общетеоретических проблем», приходит целая группа «младометодологов» – членов ММК. В этой методологической группе, входящей в лабораторию, руководимую сначала К.М. Кантором а потом самим Г.П. (1968), с ним непосредственно работают, в частности, О.И. Генисаретский, И.Б. Даунис, В.Я. Дубровский, А.С. Москаева, Н.С. Пантина.

Лаборатория (прежде всего методологическая группа) поставила перед собой цель охватить и осмыслить всю область явлений дизайна и построить целостную его систему. На протяжении почти четырех лет (1965–1968) она, по сути дела, являлась творческой студией по выработке новых теоретико-деятельностных средств в области проектирования. В программно-теоретических работах Г.П. этого периода (выполненных в основном совместно с О.И. Генисаретским) дизайн рассматривался в качестве «сферы» социальной деятельности и социального института. Предполагалось, что развитие дизайна должно управляться теорией дизайна, что теория должна быть построена (спроектирована) по типу теорий научного знания и, наконец, что средством построения теории дизайна должна и может быть методология.

В соответствии с этой программой была развернута система взглядов на дизайнерскую деятельность как на тотальное и обособляющееся проектирование, нацеленное в идеале на создание эстетически завершенной и функционально полной предметной среды жизни общества; при этом концепция тотального проектирования переросла в концепцию социального проектирования. В ходе разработки специализированных методологических средств и представлений о проектировании, интенсивных междисциплинарных исследований, обсуждения и уточнения их результатов к 1967 г. сотрудниками лаборатории было подготовлено два развернутых монографических исследования: «Дизайн в сфере проектирования. Методологическое исследование» и «Мышление дизайнера. Средства и методы исследования проектировочной деятельности». В них был затронут широкий круг вопросов: цели и программа создания тео-

рии дизайна, возможности «науки о дизайне», структура и функции деятельности проектирования, проектная картина дизайна, дизайнерское проектирование и художественное конструирование и т.п. Тогда эти монографии не увидели света и остались в архиве. Опубликованы они были только в 1990 г.

Хотя непосредственные результаты работы лаборатории общетеоретических проблем тогда и не увидели света, выдвинутые тогда идеи (нормативной структуры деятельности, специфики социально-производственных систем и т.д.) определили многие направления исследований в области методологии социального, инженерно-психологического, архитектурного и других видов проектирования и в дальнейшем стали одной из основ организации и проведения организационно-деятельностных игр.

Появление нового направления и новой предметной и проблемно-тематической области никогда не означало прекращения исследований в других направлениях, а всегда имело своим следствием расширение горизонтов активности Г.П. и ММК. Дело в том, что результаты, полученные в рамках одного направления работы, становились объектом рефлексии и нормирования в категориях и теоретических схемах «теории деятельности» и в качестве средств методологического регулирования использовались для развития других направлений работы. Поэтому в эти же годы продолжается разработка проблем методологии науки и научной деятельности, обсуждаются и развиваются структурные модели и представления науки как системно-организованной научно-познавательной деятельности, предлагаются различные варианты схем строения и функционирования науки.¹³ Интенсивно продолжается цикл лингво-семиотических исследований, в которых семиотические проблемы ставятся и обсуждаются с междисциплинарной точки зрения – сопоставляются представления о знаках, развиваемые в психологии и логике, социологии и лингвистике.¹⁴

¹³ Результаты исследования науки, научно-познавательной деятельности в рамках ММК на этом этапе развития были в концентрированном виде представлены в работах Г.П. «О специфических характеристиках логико-методологического исследования науки» (1967) и «Научное исследование в системе методологической работы» (совместно с В.Я. Дубровским, 1967).

¹⁴ Сюда в первую очередь следует отнести работу «К характеристике основных направлений исследования знака в логике, психологии и языкознании» (совместно с В.Н. Садовским, 1964), посвященную анализу основных направлений изучения знака и возможностям выработки единого представления о нем.

В целом ряде работ, написанных в эти годы, Г.П. развивает, во-первых, представление о методологии языкознания как особого рода практике и, во-вторых, представление о самом языкознании как деятельности, связанной с созданием «программ» и «норм» речевой деятельности (языковедение как инженерия), отстаивает необходимость учитывать и отражать в семиотических исследованиях связь между системами объектных сопоставлений и знаками языка.¹⁵ Такой подход к языковедческим проблемам позволял сделать радикальные выводы о речи-языке. В частности, тот вывод, что грамматика по своей основной функции – не совокупность знаний о языке и речи, как это часто полагают языковеды, а форма существования самого языка и одно из средств, необходимых для осуществления рече-мыслительной деятельности. А это, в свою очередь, означало для Г.П., что перед языкознанием во весь рост встала проблема построения «онтологической картины» речи-языка в качестве объекта изучения, без которой оно, по сути дела, не может существовать как отрасль собственно науки.

В рамках этой линии исследований был осуществлен особый цикл работ, связанных с обсуждением проблем статуса и оснований семиотики как особой науки о знаках и знаковых системах.¹⁶ В этих работах был подвергнут анализу и критике расхожий подход к семиотике как простому расширению применения понятий и методов лингвистики на новые области эмпирического материала и отстаивалось представление о ней как о синтетической дисциплине, объединяющей представления о знаковой реальности, выработанные в психологии, логике, языкознании и т.д. В частности, предлагались абстрактные структурные модели социально-производственной единицы социума с семиотическими элементами и регулярные правила их развертывания для построения семиотических систем разного рода.

Центральный пункт всех исследований в этом направлении – разработка понятия знака и знаковой системы, вернее, системы та-

¹⁵ В этот цикл входят такие работы Г.П., как «Методологические замечания к проблеме происхождения языка» (1963), «Методологические замечания к проблеме типологической классификации языков» (1965), «Методологический смысл проблемы лингвистических универсалий» (1969).

¹⁶ К этому циклу относятся, прежде всего, работы участников семинаров ММК, опубликованные в сборнике «Семиотика и восточные языки». В их числе такие работы Г.П., как «О методе семиотического исследования знаковых систем» (1967), «"Естественное" и "искусственное" в знаковых системах» (совместно с В.А. Лефевром и Э.Г. Юдиным, 1967), «Концепция лингвистической относительности Л. Уорфа и проблемы исследования "языкового мышления"» (1967).

ких понятий, как «знак», «значение», «содержание», «смысл» и т.п., и структурной модели «знака» как такового.

Но его творческая активность в эти годы проявлялась и в других, более традиционных формах. Он – неизменный участник (как правило, вместе с «командой») множества научных конференций – по логике и методологии, психологии и педагогике, языковедению и лингвистике, кибернетике и управлению и т.д. Именно он являлся одним из фактических инициаторов, организаторов и ведущих участников многих Всесоюзных конференций по логике и методологии науки (начиная с первой в 1960 г. в г. Томске). Наряду с этим он читает факультативные циклы лекций в целом ряде научных и учебных заведений (на психологическом и философском факультетах МГУ, в МИФИ, НИИ общего и политехнического образования, МГПИ и т.п.), используя и пропагандируя результаты деятельности ММК.¹⁷ Участие в конференциях и чтение циклов лекций были неизменными составляющими творческой деятельности Г.П. и во все последующие годы.

В 1968 г. вместе с другими деятелями науки и культуры Г.П. подписал одно из коллективных писем руководителям КПСС и правительства в защиту диссидентов А. Гинзбурга и Ю. Галанскова и был исключен из КПСС «за действия, использованные во вред партии и страны». Репрессивная политика в отношении «подписантов» была тогда простой: партийные исключены из партии, беспартийные уволены с работы.

А вслед за тем в 1969 г., устами В. Афанасьева, главного редактора «Правды», взгляды Г.П. были в очередной раз признаны антимарксистскими. Поводом для этого послужила публикация в «Литературной газете» статьи «Данные науки или самообман?», где Г.П. отстаивал мысль, что у советской социологии еще нет своего предмета и что без него эмпирические исследования малоосмыслены. Результат «вольномудства» не замедлил сказаться: Г.П. тут же увольняют из ВНИИТЭ «по сокращению штатов». Последовали и другие санкции: был рассыпан набор книги «Педагогика и логика», легли на архивную полку и две вышеупомянутых монографии по методологии дизайна.

¹⁷ Здесь были лекции на разные темы: «Проблемы методологии исследования взаимоотношений в малых группах», «Процессы и структуры в мышлении», «Технология научного мышления», «Эмпирические исследования и теория в социологии», «К проблеме проектирования предмета социологии» и т.п.

С этого времени у Г.П. как человека с клеймом политически неблагонадежного в число проблем, требующих внимания, попадает отнюдь не методологическая проблема поиска работы. В последующие 20 лет он вынужден был сменить семь мест работы...

В 1969 г. при содействии друзей и знакомых ему удается устроиться на работу в Центральную учебно-экспериментальную студию Союза художников СССР, и он работает здесь до 1974 г. При всех изгибах личной судьбы главным и определяющим смысл его жизни является по-прежнему ММК и работа методологического семинара, который, несмотря на препятствия разного рода, продолжает жить своей напряженной жизнью. К концу 60-х годов сложились основные направления (научные предметы) междисциплинарных исследований и разработок ММК. Для Г.П. это были: «теория деятельности», «теория мышления», «семиотика», «теория науки», «теория проектирования» и «онтология системно-структурного анализа».

В 70-е годы он развивает свои семиотические идеи, связанные с проблемой знака и коммуникации, строит теоретико-методологические схемы для выражения таких традиционных тематизмов, как значение и смысл, мышление и понимание и т.п., на языке системно-структурной методологии и теории деятельности.¹⁸ В работах этого направления обсуждалось соотношение «натуралистического» и «деятельностного» подходов к решению семиотических проблем, сравнивался их категориальный аппарат, предлагалась трактовка знака как семиотической «организованности» деятельности, снимающей и оестествляющей в себе структуру кооперации разных видов и форм деятельности и закрепляющей ее в особого рода нормативных (конструктивных) схемах.

Развивая новые направления исследований и разработок, Г.П. не оставляет работу и над традиционной, классической для ММК проблемой – проблемой изучения мышления, мыслительной деятельности. Новый виток идейного развития представлен на этом этапе циклом обобщающих теоретико-методологических исследований мышления и понятия мышления в эволюционной и исторической перспективе. Помещение этой проблематики в широкий со-

¹⁸ Основные результаты этой работы отражены в таких публикациях Г.П., как «Знаки и деятельность» (1970), «Заметки к определению понятий "мышление" и "понимание"» (1973), «Структура знака: смыслы и значения» (1973), «Смысл и значение» (1974).

циокультурный контекст позволило выявить ее связи с проблемой создания «системных теорий популятивных объектов», с историческими условиями, обстоятельствами и содержанием идеологии «прогресса разума», с возможностями представления мышления не только в культурно-нормативной ипостаси, но и как естественного или естественно-искусственного объекта и т.д.

Особенностью этого цикла исследований является специальная организация средств системно-структурной методологии и деятельностного подхода для новой постановки – на новом уровне – традиционной проблематики мышления, использование всех результатов, полученных в процессе развития ММК, для методологической рефлексии и создания исследовательских программ в этой области. Поэтому работы, представляющие этот цикл, по сути дела, демонстрируют особенности методологического мышления как такового и являются одновременно своего рода обзорами результатов развития самого ММК.¹⁹

В 1974 г. Г.П. оставляет студию и переходит на работу в филиал Смоленского института физической культуры (с 1977 г. – Московский областной государственный институт физической культуры). На новом месте службы он читает студентам (и не только студентам) лекции по педагогике и истории педагогики, создает теоретико-методологический семинар, привлекая сотрудников к работе над проблемами методологии научно-педагогических исследований в спорте. Наряду с чтением лекций по месту службы, он по-прежнему читает в эти годы циклы лекций на разные темы: педагогика, основы современной теории знания, структура знака, мышление и понимание, смысл и значение, и т.д. в проектных и учебных организациях.

Но, как всегда, он не ограничивается чисто интеллектуальной активностью, а сочетает ее с социально-организационной: входит в Научный совет спорткомитета СССР и руководит Комиссией структурно-системных исследований и разработок в сфере физкультуры и спорта (1974), организует и проводит ряд Всесоюзных совещаний по проблемам системодейственного анализа в спорте.

По уже сложившейся традиции, исследования в новом направлении начались с использования традиционной «семинарской» фор-

¹⁹ См. работы Г.П.: «Проблемы построения системной теории сложного «популятивного» объекта» (1976), «Проблема исторического развития мышления» (1975), «Системно-структурный подход в анализе и описании эволюции мышления» (1973).

мы работы и уже существующих средств системно-структурной методологии и системоделятельного подхода для решения вопросов комплексной организации подготовки в спорте высших достижений, групповых взаимоотношений в спортивных командах, взаимоотношений «тренер – спортсмен» и т.д.²⁰ Далее, однако, особенности подготовки в спорте высших достижений стимулировали попытку использовать средства, методы и организационные формы, созданные в ходе междисциплинарного интеллектуального дискурса (методологического семинара), в учебно-деловых играх с коллективами тренеров, работающих в центрах олимпийской подготовки. В результате этого появились своеобразные гибридные игры (организованные вместе с Д.А. Аросьевым и В.И. Астаховым), соединяющие в себе свойства учебно-деловых игр и интеллектуального методологического дискурса.

Эта метаморфоза совпала и, по всей вероятности, была связана с двумя обстоятельствами внутренней жизни самого ММК. Во-первых, ей косвенно способствовал очередной кризис Кружка, когда его покинуло (обретая самостоятельность и собственный жизненный вектор развития) целое поколение ведущих методологов. В это время ушли О.И. Генисаретский, В.Я. Дубровский, Н.И. Кузнецова, А.Г. Раппапорт, В.М. Розин и др. Во-вторых, к этому времени для Г.П. стало почти аксиомой, что методология – это не просто учение о средствах и методах мышления и деятельности, а форма организации и в этом смысле «рамка» всей мыследеятельности и жизнедеятельности людей. А это одновременно означало, что ее нельзя транслировать как знание и набор инструментов от одного человека к другому, а можно лишь выращивать, включая людей в новую для них сферу методологической мыследеятельности и обеспечивая им там полную и целостную жизнедеятельность.

Все эти обстоятельства вместе взятые и предопределили происшедший к концу 70-х годов «переворот», ставший границей между двумя периодами развития ММК. До этого освоение новых областей социально значимой деятельности и включение их в орбиту ММК происходило в основном в «классической» форме: в те или

²⁰ Опыт этой работы в определенной степени отражен в таких публикациях Г.П., как «Проблематизация и проблемы в процессах программирования решений задач» (совместно с П.Г. Щедровицким) (1977), «Методологический подход как средство объединения знаний из разных научных предметов» (1978), «Комплексная организация научно-исследовательских работ как социотехническая система» (1979).

иные области научной, инженерно-технической, организационно-управленческой или иной деятельности непосредственно транслировались продукты методологического мышления и деятельности (мыследеятельности) – знания, модели, программы и т.п. С конца же 70-х годов в них стали транслироваться сами практические формы коллективной организации мыследеятельности.

Формальным рубежом между «семинарским» и «игровым» периодами существования ММК, или, вернее, методологического движения в лице ММК, стали подготовка и проведение в 1979 г. игры особого типа. Она была проведена с коллективом специалистов, разрабатывавших программы комплексных исследований и разработок для обеспечения рационального планирования ассортимента товаров широкого потребления в Уральском регионе.

Такие игры – отныне они приобретают регулярный характер – получили название «организационно-деятельностных» (ОДИ). В отличие от традиционных деловых и учебно-деловых игр, содержанием ОДИ стало – по образу и подобию методологического семинара – не усвоение знаний и готовых форм деятельности, а решение проблем. И в то же время в отличие от самого семинара это были уже не методологические, а предметно-ориентированные проблемы и решали их не непосредственно методологи, а специалисты-профессионалы, соорганизуемые методологами.

В 1980 г. Г.П. переходит на работу в НИИ общей и педагогической психологии АПН, в лабораторию принятия решений, и занимается «психологией оргуправленческой деятельности». Он становится руководителем совместной разработки коллективами сотрудников Научно-исследовательского института общей и педагогической психологии АПН СССР (НИИ ОПП) и Московского государственного института физической культуры (МОГИФК) новой темы: «Анализ техники решения сложных проблем и задач в условиях неполной информации и коллективного действия». При этом, как и всегда, чисто учрежденческую тематику он вписывает в широкий контекст развития методологического движения, что на этом этапе означает организацию и проведение ОДИ и разработку средств их интеллектуально-организационного обеспечения, поскольку предложенную тему решено было использовать для того, чтобы спроектировать и практически проверить новую, комплексную и системную форму организации коллективной мыследея-

тельности по образцу методологических обсуждений-дискуссий. В это время в методологическом движении наряду с «ветеранами» (Н.Г. Алексеев, Б.В. Сазонов, А.А. Тюков) начинает принимать участие новое поколение «игровых методологов» – Ю.В. Громыко, А.П. Зинченко, С.В. Наумов, В.А. Никитин, П.Г. Щедровицкий и др.

Хотя создание и практика ОДИ были основательно фундированы и всем арсеналом концептуальных средств методологии, и опытом многолетнего руководства методологическим семинаром, новая, игровая действительность оказалась настолько сложной (как в содержательном, социокультурном, так и в пространственно-временном отношении), что отрефлексировать и описать ее общезначимым образом с помощью существовавших средств было невозможно. Потребовались иные теоретические средства, понятия и язык (вплоть до нового самоназвания – «системомыследеятельностная методология»), интеллектуальные и оргпрактические технологии, игротехники и психотехники.

Интеллектуальные продукты осмысления опыта ОДИ представлены Г.П. в таких работах, как «Организационно-деятельностная игра как новая форма организации коллективной мыследеятельности» (1983), «Схема мыследеятельности – системно-структурное строение, смысл, содержание» (1987). Здесь Г.П., во-первых, разрабатывает представление об ОДИ как о многофокусной организационно-технической системе, имитирующей реальную социокультурную ситуацию и включающей по меньшей мере три фокуса управления ею – методологический, исследовательский и игротехнический, находящиеся в конкурентных отношениях между собой; во-вторых, вводит представления о различных «пространствах» в схеме мыследеятельности – мыслительном, мыслительно-коммуникационном и мыследействующем; в-третьих, осуществляет организационно-практический и организационно-технический синтез разных видов мыследеятельности – программирования и проблематизации, организации и коммуникации и т.п. – как составляющих комплексной и системной формы организации коллективной мыследеятельности.

Практика ОДИ оказалась эффективным способом социализации методологического движения. Круг людей, вовлекаемых через ОДИ в его орбиту, стремительно рос. Этому в немалой степени способствовали общественно-политические изменения в стране, начавшаяся «перестройка».

В 1983 году Г.П. вынужден был уйти из НИИОПП и устроиться на работу в отдел методологии и теории инженерных изысканий одного из НИИ системы Госстроя. В этой системе он работает до 1988 г.

Хотя вся энергия Г.П. в это время была так или иначе направлена на развитие оргдеятельностных и оргтехнических форм бытования методологического движения, он осваивает и ассимилирует и новую предметную проблематику. Работа над ней отражена в таких публикациях, как «Научные и практические вопросы создания проектов, эффективно реализуемых с точки зрения инженерных изысканий» (1985), «Категории сложности изыскательских работ как объект исследований с системодетельностной точки зрения» (1985).

В то же время Г.П. не отказывается и от традиционных форм семинарской работы, в частности организует и ведет межвузовский семинар по системному подходу в геологии. Для осмысления опыта организации и проведения ОДИ организует и проводит не один десяток тематических совещаний.

В 1988 г. Г.П., полгода проработав в НИИ управления и экономики народного образования АПН СССР, переходит во Всесоюзный НИИ теории архитектуры и градостроительства. Здесь он до 1992 г. возглавляет лабораторию организации проектно-строительного дела.

С конца 80-х годов происходит интенсивное социально-организационное оформление движения, его социализация. В 1988 г. Г.П. организует при Союзе научных и инженерных обществ СССР Комитет по СМД-методологии и ОДИ (первый случай организационного оформления под собственным именем). При комитете создается печатный орган – журнал «Вопросы методологии». ²¹ С 1989 г. начинают проводиться ежегодные съезды методологов. Возникают самостоятельные центры, возглавляемые учениками Г.П. ²² С середины 80-х годов ОДИ наряду с Г.П. начинают самостоятельно проводить методологи разных поколений. ²³ Проводятся также ОД-подобные игры, «индуцированные» ОДИ и организуемые теми, кто в них участвовал.

²¹ Выходил с 1991 по 1999 гг. Главный редактор первых номеров журнала – Г.П. Щедровицкий, ответственный секретарь – М.С. Хромченко, редактор – Г.А. Давыдова.

²² Межрегиональная методологическая ассоциация (С.В. Попов), Независимый методологический университет (Ю.В. Громыко), Сеть методологических лабораторий (А.П. Зинченко), Школа культурной политики (П.Г. Щедровицкий). Межрегиональная методологическая ассоциация (ММАСС) издает методологический и игротехнический альманах «Кентавр» (главный редактор – Г.Г. Копылов).

²³ Н.Г. Алексеев, О.С. Анисимов, А.П. Буряк, Ю.В. Громыко, А.П. Зинченко, С.В. Попов, Б.В. Сазонов, П.Г. Щедровицкий и др.

Та жизнь, которую в течение нескольких десятков лет вел Г.П., – а главным в ней всегда была работа – требовала от него непрерывного расхода жизненных сил. 80-е годы, отданные организационно-деятельностным играм, вычерпали эти силы без остатка. За период 1979–1991 гг. он организовал и провел свыше 90 игр (с количеством участников от десятка до нескольких сот человек) в самых разных регионах страны. Предметно-тематическое содержание их было невероятно разнообразно: педагогика и психология, наука и производство, право и экология, экономика и управление и т.д., и т.п.

Это была жизнь на полный износ. Каждая игра требовала длительной (иногда многомесячной) подготовки. В середине 80-х годов его здоровье стремительно ухудшается, но каждый раз, едва оправившись, он возвращался к интенсивной работе.

3 февраля 1994 года Георгий Петрович Щедровицкий скончался на даче в Болшево.

2. Московский Методологический Кружок (ММК)

С конца 50-х гг. все или почти все опубликованные работы Г.П. Щедровицкого становятся оформлением результатов деятельности ММК, бесменным идейным и организационным лидером которого он был на протяжении более трех десятков лет. Его личный идейный вклад в работу ММК был основным, но, конечно, не единственным. Тем более что любая идея, «вброшенная» в общее смысловое поле коллективного дискурса, проходила длинный путь становления и обретения своего места в системе методологических средств и представлений в результате жесткой критики и многопозиционного оппонирования. Следы истории становления этих идей хранит рабочий архив Г.П. Значительная часть этого архива – стенограммы докладов и обсуждений на семинарах ММК.

В 70–80-е годы, выступая с многочисленными лекциями на разные темы и перед разными аудиториями, Георгий Петрович неоднократно возвращался к вопросу о том, что же отличает ММК от других философско-научных направлений, школ и движений. Один из его ответов был таким:

Ключ к пониманию того, что происходило в Московском методологическом кружке, заключается в том, что мы с самого начала не просто исследовали некоторый предметно данный объект, а решали сложные методологические проблемы и задачи. Иначе говоря, наша работа началась в области, где еще не было предметов исследования. Поэтому мы должны были строить предметы и конструировать их элементы, а не исследовать.

Исследование появлялось вторично и в совершенно особой функции – как поиск, описание и анализ образцов или прототипов. Если надо было построить теорию мышления, то мы задавались вопросом, а как вообще строятся научные и всякие другие теории и какое строение они имеют; если нам надо было ввести какое-то понятие, то мы спрашивали, а как вообще создаются и вводятся понятия, как они устроены и как они работают. Так возникала исследовательская часть всех наших разработок.

Таким образом, наша работа с самого начала имела методологический характер, т.е. была направлена на создание новых форм жизнедеятельности и мышления.²⁴

Эта работа ММК всегда имела программный характер, т.е. была тесно связана с разработкой и реализацией программ формирования «методологических» приемов и способов мышления. Последней и наиболее развернутой полнообъемной программой, предложенной Г.П. Щедровицким, стала программа СМД-методологии («системомыследеятельностной методологии»).

Каждая программа, с одной стороны, оформляла определенный опыт рефлексии деятельности ММК, а с другой, становилась средством самоорганизации этой деятельности. Поэтому история становления этой общей программы – это одновременно история самого ММК, прошедшего в своем развитии ряд идейно-смысловых этапов, каждый из которых направлялся своей конкретной программой.²⁵ Сам Г.П. Щедровицкий делил историю ММК на четыре этапа – в соответствии с основным тематизмом и проблемным содержанием:

- 1) с 1952 г. по 1963 г. – этап содержательно-генетической эпистемологии (логики) и теории мышления;

²⁴ Щедровицкий Г.П. *Философия. Наука. Методология*. М., 1997. С. 51.

²⁵ См.: Щедровицкий Г.П. *Избранные труды*. М., 1995. – 800 с.; Щедровицкий Г.П. *Философия. Наука. Методология*. М., 1997. – 656 с.

- 2) с 1963 г. по 1972 г. – этап деятельностного подхода и общей теории деятельности;
- 3) с 1971 г. по 1979 г. – этап исследования мысли-коммуникации с одновременным переносом центра тяжести теоретических исследований и разработок на общую структуру методологии и ее основные единицы – подходы;
- 4) с 1979 г. – этап организационно-деятельностных игр и развитие методологических представлений и понятий с помощью игр и на материале, выявляемом играми.

Первые три этапа – это этапы доминирования в качестве ведущей семинарской формы осуществления коллективной методологической мыследеятельности. Последний, четвертый этап связан с доминированием уже не семинарской формы, а игровой.

Осуществляя непрерывную рефлексию и формируя парадигматику методологического движения в рамках ММК на новой, «игровой» основе, Г.П. стал рассматривать предыдущую, семинарскую форму его деятельности в качестве периода «интеллектуально-методологических игр». При известной условности такой ретроспективной трактовки «семинарского периода» существования ММК к тому были серьезные основания.

Для этого периода было характерно, что все новые идеи членов ММК получали в нем право на жизнь, только пройдя горнило интенсивных обсуждений на его семинарах. Уже в 60-е годы ММК становится сложным организмом, центральным стержнем которого был методологический семинар – непрерывный теоретический дискурс философов и социологов, психологов и педагогов, архитекторов и искусствоведов, инженеров и физиков и т.д. Вокруг «большого» семинара сложилась система «малых», имевших более определенную предметную направленность. Организация и поддержание деятельности такого организма, выработка языковых и концептуальных средств группового взаимодействия, нормирование и регулирование самого процесса интеллектуальной междисциплинарной коммуникации в основном лежали на плечах Г.П., что было возможно только благодаря его феноменальной работоспособности и выносливости.

Заседания большого семинара были открытыми, происходили во вместительных аудиториях, и любой человек «с улицы» мог присутствовать и участвовать в них. Скажем, когда в конце 60-х – начале 70-х гг. семинар выступал под названием «Системы и структуры

в современной науке», он чаще всего проводился в Большой аудитории Института общей и педагогической психологии АПН СССР. На каждом из таких заседаний присутствовало 50–150 человек.

В составе участников заседаний большого семинара можно выделить четыре основных группы лиц.

Прежде всего, довольно узкую «сплоченную группу» в 5–15 человек – активное ядро всего ММК, на котором лежала основная нагрузка в проведении и подготовке семинаров. Вторую группу лиц образовывали люди, сравнительно недавно (обычно менее пяти лет тому назад) вошедшие в ММК или проявлявшие меньшую активность в нем. В своем большинстве члены этой группы («младометодологи») были участниками одного из «малых» семинаров. Такие малые семинары, в отличие от большого, были более профессионально однородными (и вообще создавались по профессиональному признаку или месту работы одного из методологов) и более закрытыми. В их составе было 5–15 человек, и собирались они, в основном, на квартире у одного из членов семинара. Председателем (ведущим) каждого из малых семинаров был один из членов «сплоченной группы» методологов (но не все, а в соответствии с личными склонностями).

Две эти группы участников (т.е. собственно методологи и младометодологи) и были членами сообщества методологов (таким образом, одновременно активно участвовало в ММК – 50–100 человек). Младометодологи по мере сил и опыта включались в работу большого семинара, в проходившие на нем дискуссии и обсуждения.

Третью группу образовывали только знакомившиеся с ММК люди, не определившие своего отношения к нему. Среди них всегда были и лица случайные (забредшие «на огонек»). Это была наиболее нестабильная группа людей, потенциальный «резерв» сообщества. Наконец, была и четвертая группа лиц, регулярно посещавшая большой семинар (но редко малые) и зачастую участвовавшая в дискуссиях и обсуждениях, но не относящая себя к ММК. Среди них были и оппоненты, и просто наблюдатели, относившиеся к заседаниям семинара как к зрелищу. Некоторые из этих людей посещали большой семинар не один год.

Результаты работы семинара за его пределами проявлялись прежде всего в виде научных публикаций, но в них каждый из методологов (членов «сплоченной группы») в равной мере представ-

лял и ММК, и самого себя. Как члены определенного сообщества, объединенные общим мировоззрением и подходом, совокупностью развиваемых средств и методов, методологи проявляли себя для внешнего научно-культурного окружения на съездах, конференциях, симпозиумах и т.п. Поездки на конференции, распределение тем докладов и сообщений, поиск и утверждение особенностей подхода ММК к постановке и решению проблем, заявленных на конференциях, – все это было одной из неперенных форм интеграции усилий членов ММК и одновременно одним из способов «внутренней» организации самого ММК.

Главным содержанием всего методологического движения была работа большого семинара. Он с самого начала имел междисциплинарный характер и был направлен на выработку средств интеллектуальной коммуникации между представителями разных профессий. Общее направление его работы, ведущие темы, новые проблемы, понятия, модели, средства и методы – короче говоря, итоги работы семинара подводил в своем ежегодном заключительном (и одновременно открывающем) докладе председатель и ведущий семинара Г.П. Щедровицкий. Такой обзорно-программный доклад, включающий и некоторые элементы общего обсуждения, и дискуссии, сам занимал несколько заседаний. По результатам этого доклада (и в нем самом) планировался годовой цикл работы большого семинара. Члены «сплоченной группы» в той или иной форме высказывали свои предпочтения в выборе тем будущих докладов и их времени. Такая программа всегда носила ориентировочный характер, и в течение года в нее вносились те или иные изменения.

С чисто внешней точки зрения, деятельность большого семинара – это последовательность отдельных докладов и включенных в контекст докладов дискуссий-обсуждений. Но, с внутренней точки зрения, отношения здесь всегда были обратными: по своему смыслу работа большого семинара представляла собой последовательность дискуссий-обсуждений (междисциплинарное групповое интеллектуальное общение), основную тематическую канву которых задавало конкретное содержание доклада. На разных этапах существования ММК форма такого рода заседаний в определенной мере варьировалась, но главные ее «полоса» оставались постоянными. Ими были: докладчик, обеспечивающий содержательную, предметно-тематическую сторону обсуждения и представляющий

на суд методологического сообщества новые идеи, средства и методы; участники заседания-дискуссии; ведущий (председатель) заседания (семинара).

Ключевая роль здесь принадлежала ведущему. Именно он организовывал и координировал ход дискуссии вокруг доклада, выступая посредником между докладчиком и участниками обсуждения, поддерживал и направлял групповое взаимодействие.

В силу междисциплинарного характера семинара роль ведущего усложнялась еще и тем, что он должен был «слышать» и «понимать» всех участников, «доводить» тот или иной вопрос до ясности, «обрабатывать» или «переводить» его в случае необходимости на язык деятельностного подхода и системно-структурной методологии (общего для всех участников ММК). Причем, вся эта работа должна была осуществляться в режиме «текущего времени». Именно он – ведущий – должен был резюмировать основные итоги разных этапов обсуждения и всего его в целом. Как правило, основным ведущим был сам лидер ММК – Г.П. Щедровицкий, за исключением тех случаев, когда он сам выступал в роли докладчика (его место занимал тогда один из членов сплоченной группы методологов, наиболее подготовленный к этой роли).

От докладчика требовалось, чтобы он разбивал свой доклад на несколько смысловых «кусков». При изложении каждого из них допускались вопросы только «по пониманию», исключавшие элементы дискуссии, т.е. слушатель мог задать вопрос и выслушать разъяснение, возражение же докладчику исключалось.

После изложения очередного «смыслового» куска (его величина определялась или самим докладчиком, или ведущим) начиналась групповая дискуссия, включавшая вопросно-ответную процедуру и краткие аргументированные возражения, иные интерпретации и оценки и т.п. Развернутое оппонирование и изложение альтернативных точек зрения допускалось лишь в конце текущего заседания и всего доклада в целом. Обычно именно сама дискуссия занимала основное время заседания. Ее главная цель – полнообъемная рефлексия оснований и логики рассуждений докладчика, уяснение возможных позиций по отношению к содержанию доклада, оценка новизны идей и т.п. Особое внимание уделялось применяемым для анализа методологическим средствам и обоснованию рассуждений. Именно эффективностью разработки

таких средств как основных культурных продуктов ММК, интегрирующих его участников в единое сообщество, все участники и были озабочены в первую очередь. В связи с этим доклады людей «со стороны» (которые очень редко, но все же по разным причинам устраивались) или срывались, или воспринимались докладчиками как сплошная обструкция.

У организованного таким образом обсуждения всегда существовала опасность впасть в «дурную бесконечность». Прекращение дискуссии, идущей по кругу, – одна из основных функций ведущего. В его власти было прекратить дискуссию, резюмировать итог обсуждения очередного смыслового «куска» и дать докладчику возможность продолжить свое изложение.

Второй важной целью подобных дискуссий-обсуждений было развитие, повышение уровня компетенции самого методологического сообщества как единого организма (Г.П. Щедровицкий предпочитал рассматривать его как особую «машину»). Здесь методологический семинар выступал как единый, интегративный субъект методологической мыследеятельности, ответственный за ее воспроизведение и дальнейшее развитие.

И, наконец, третьей целью подобных обсуждений была профессионализация самих методологов – обеспечение постоянных условий для их профессионального и личностного роста. Каждый человек, попадавший в орбиту ММК, проходил свою школу методологической мыследеятельности. Каждый из прозелитов в процессе своего самоопределения сам контролировал степень и характер своей вовлеченности в ММК, интенсивность и скорость учения.

К концу 70-х годов, наряду с семинарской, появляется и собственно игропрактическая форма организации коллективной методологической мыследеятельности. В результате накопления опыта игровой деятельности и его рефлексии довольно скоро было осознано, что основным результатом и достижением ММК являются не только и не столько выработанные в его русле концептуальные и операциональные средства и методы и даже не столько постановка и решение тех или иных методологических проблем и задач, сколько сам методологический семинар с его особыми «организованностями» мышления и деятельности – как самовоспроизводящаяся форма междисциплинарной коллективной интеллектуальной коммуникации. Именно подобное осознание выразилось в

трактовке семинарского периода деятельности ММК как периода интеллектуально-методологических игр. А с начала 80-х гг. оформляется и культивируется в качестве ведущей и сама новая игропрактика коллективной мыследеятельности – организационно-деятельностные игры (ОДИ).

У ОДИ как особой формы игропрактики было фактически четыре источника: во-первых, совокупность методологических принципов организации коллективной мыследеятельности, выработанных в рамках ММК; во-вторых, практика проведения полидисциплинарных комплексных методологических семинаров ММК; в-третьих, теория и методология игры вообще как вида деятельности; и, в-четвертых, отрефлектированный опыт деловых игр. А по своему смыслу и значению они представляют собой выработанный в ММК способ распространения методологических форм мышления и деятельности на другие профессиональные сообщества (не методологов).

Область практического применения таких игр за пределами собственно методологического сообщества в общем и целом та же, где методология как таковая обретает практический смысл и значимость, – решение уникальных, не имеющих прототипов, народнохозяйственных и социокультурных проблем.

Такое распространение методологических форм мышления и деятельности требует, чтобы игровой процесс стимулировал процесс развития и тем самым представлял собой не решение тех или иных задач, а разрешение проблем. Поскольку проблема – это то задание, которое на данный момент не имеет решения, оно, как правило, в отличие от задачи, является комплексным. Иными словами, решение проблем требует объединения усилий многих профессионалов, каждый из которых в отдельности их решать не может. Когда же подобные специалисты непосредственно объединяются, то у них не оказывается ни общего языка, ни общих представлений и, кроме взаимных претензий и уверенности, что другие только мешают, иных результатов, как правило, не бывает.

Подобное взаимодействие оказывается продуктивным в том случае, если люди способны выйти за рамки своего профессионализма и начать мыслить методологически с помощью соответствующих особых средств. Тогда оказывается, что задача организатора решения проблем не в том, чтобы определить, какой продукт должен быть получен, а в том, чтобы организовать «деятельностную

машину», которая будет развиваться. Иначе говоря, здесь предполагается, что развиваться будет мыследеятельность, средства, люди, форма их взаимоотношений, а в результате это развитие и обеспечит в конечном счете искомый ответ на вопрос, исполнение задания. Другими словами, решение проблем всегда оказывается косвенным результатом работы подобной машины, составленной из людей, результатом сложного процесса развития всего коллектива, его коллективной мыследеятельности и средств, которые при этом создаются.

Любая ОДИ рождается в результате взаимодействия методологической игротехнической группы и группы профессионалов. Подготовка игры, в ходе которой создаются оргпроект и программы игры, ее сценарий и план, – всецело задача методологической группы. Эти продукты предварительной фазы игры призваны направлять и регулировать ее ход и могут разрабатываться игровым или неигровым способом. На этом же этапе в ходе обсуждений различных аспектов игры формируются игротехнические группы (организаторов, методологов, исследователей и т.д.); число этих групп зависит от тематического и мыследеятельностного содержания игры, а также от обстоятельств и условий ее проведения. Затем в ходе собственно игровой фазы, начинается реализация оргпроекта, его проигрывание соответственно программе и сценарию, но при этом люди живут своей собственной сложной жизнью, ведут внутри организованной игры свои собственные «игры» и порождают всевозможные отклонения от разработанного оргпроекта, т.е. то, что организаторы в принципе не могут заранее предусмотреть. Особенностью игровой действительности является то, что решение ищется и находится «здесь и теперь», так как оргпрограмма и оргпроект суть формы организации деятельности, а не ее продукта. А выход продукта обеспечивает сам игровой коллектив. При этом ОДИ всегда – многоцелевое образование, преследующее разнообразные исследовательские, организационные, методологические и т.п. цели.

Основной процесс в ОДИ, как правило, организуется за счет разделения игрового коллектива на малые рабочие группы (в том числе и за счет самоопределения) и фиксированного времени работы малых групп. Завершается каждый цикл работы переходом (переводом) в рефлексивную позицию, в которой члены группы,

готовясь к общей дискуссии, должны ответить на вопросы, что они сделали за это время, что у них не получилось, чего они не сделали, что надо сделать дальше и т.д. После этого рабочие группы выходят на общую дискуссию, которая продолжается несколько часов, где происходит их конфликтное столкновение (за организацию содержательных конфликтов и проблематизацию, т.е. создание проблемной ситуации, которая потом переводится в проблемы, отвечает специальная группа игротехников). Последующий рефлексивный анализ направлен на выяснение того, что произошло при этом столкновении и какая проблема при этом выявилась. Рефлексия здесь является основным и неизменным средством самоопределения всякого участника игры в непрерывно меняющихся ситуациях коллективной мыследеятельности, его самоорганизации в игре, в перестройке и развитии им своей мыследеятельности.

Таким образом практически реализуется следующая игровая стратегия – выполнение рабочего процесса, выход в рефлексию, подготовка к новому рабочему процессу и т.д. Это один из основных механизмов ОДИ. А непосредственная задача самих методологов здесь, как любил выражаться Г.П., – организация «мегамашины» деятельности. Метамашина деятельности, создаваемая методологами в ОДИ, такова, что заставляет участников развиваться. В ходе этого развития, если такую «мегамашину» удастся организовать, коллектив профессионалов оказывается способным дать ответы на поставленные вопросы.

Получение подобных ответов – это непосредственная задача проведения конкретной ОДИ. Но у любой конкретной ОДИ есть и более широкий контекст, в рамках которого решаются две ее сверхзадачи на этапе выхода из игры. Первая из них относится к тому коллективу профессионалов, который участвовал в игре. Игра оказывается по-настоящему успешной для них, если после ее завершения на месте проведения игры остается коллектив, способный играть и игровым способом решать подобные проблемы. Вторая сверхзадача стоит перед самими методологами – сделать опыт проведенной игры источником саморазвития. Эта задача решается за счет постигровой рефлексии – проведения новой, уже собственно методологической игры, направленной на выявление, анализ, объективацию, артефикацию и усвоение этого опыта.

3. Рабочий архив и публикация наследия Г.П. Щедровицкого

Описанная часть рабочего архива в настоящее время содержит более 4000 условных единиц хранения – пронумерованных папок разного объема (содержащих от 1–2 до 300 и более страниц) – и фиксирует следы сорокалетней деятельности Московского методологического кружка (ММК) и его бессменного лидера.

Сам Г.П. Щедровицкий прекрасно сознавал важность слежения за мыслью в ее самодвижении, в действии и коммуникации и потому стремился к максимально полной фиксации этого движения. Но лишь немногое из фиксированного, и лишь то, что получило законченное выражение в канонизированной научным сообществом форме (фактически в форме статей), было опубликовано при его жизни. Остальное осталось в архиве – в виде различного рода текстов, организованных для целей никогда не прекращавшейся мыследеятельности и связанных между собою многомерной сетью рефлексивных связей.

Архив включает в себя тексты лекций, докладов на семинарах и их обсуждений, неопубликованных статей и монографий, подготовительных материалов к ним, а также многочисленных заметок, которые Г.П. Щедровицкий делал почти каждый день.

Значительная часть материалов носит принципиально коллективный характер, отражающий основное содержание жизни ММК – коллективную мыследеятельность. Это уже упомянутые обсуждения, а также записи особого рода мероприятий, впервые возникших и культивировавшихся в ММК, т.е. – организационно-деятельностных игр (ОДИ).

В настоящее время нельзя, к сожалению, говорить об этом архиве как о едином целом: он рассредоточен в разных местах и у разных людей. Большая, можно сказать, основная его часть находится у Галины Алексеевны Давыдовой (вдовы Г.П. Щедровицкого). Именно эта часть в первом приближении описана.

Следует специально отметить, что материалы архива могут быть разбиты на две большие категории по способу их возникновения. Если часть материалов была написана (от руки или на пишущей машинке) их авторами, то другие – в том числе тексты всех семинаров и ОДИ – были записаны на магнитофон, согласно

неуклонно соблюдавшемуся в ММК принципу работы. Такие аудио-записи предназначались для последующей расшифровки и перевода в письменные тексты. Это и делалось в отношении семинаров ММК; таких записей в архиве довольно много, часто с редакторской правкой и пометами Г.П. Щедровицкого. В то же время для расшифровки большей части аудиозаписей средств не хватило, и существует проблема их сохранения.

Архитектура архива сложна и отражает предметно-тематическое содержание работы членов ММК, ее организационные и исторические формы, историю самого ММК и т.п. Кроме того, поскольку архив Г.П. Щедровицкого был в постоянной работе, то выстраивался им в соответствии с логикой собственной работы: появление новых проблем, тем и замыслов приводило к появлению «новых» папок и к изменениям в «старых». Иногда в новые папки просто переносились тексты из старых папок, а иногда только копии. Они дополнялись новыми материалами и комментариями, или у старых текстов появлялось новое продолжение, или же они включались на правах разделов в новые тексты и т.д. В разные годы сам Георгий Петрович неоднократно набрасывал варианты описания и приведения в порядок своего архива в соответствии с разными принципами, и таких набросков в его архиве несколько. В приводимом ниже варианте Г.П. Щедровицкий пытался упорядочить материалы своей работы и всего ММК хронологически, по мере появления в коллективном дискурсе тех или иных проблемно-тематических областей. Согласно этому варианту, к началу 70-х гг., например, в проблемном поле семинарской работы были уже так или иначе представлены в коллективном дискурсе следующие тематизмы:

- I. Классообразование
- II. Идеология
- III. Диплом
- IV. История философии
- V. Логика=теория мышления (этап первый)
- VI. Диссертация А.А. Зиновьева
- VII. Диссертация Б.А. Грушина
- VIII. Мышление как отражение
- IX. Происхождение языка
- X. Происхождение мышления

- XI. Модельные представления в физике
XII. Структура естественнонаучных понятий и механизмы их развития
XIII. Атрибутивные структуры
XIV. Системно-структурная методология
XV. Психология мышления и логика
XVI. Изучение речи=языка и методология лингвистики
XVII. Модели и моделирование
XVIII. Структура научной теории
XIX. Опыт анализа рассуждения
XX. Мышление и восприятие
XXI. Логика и методология
XXII. Знак и значение (первый этап)
XXIII.
XXIV.
XXV. Диссертация (логика – теория мышления – методология).
Теория мышления (последиссертационные работы) (второй этап)
XXVI. Понятие мышления
XXVII. История логики
XXVIII. История исследований мышления
XXIX. Исторический подход к мышлению
XXX. Методология построения исторической теории мышления
XXXI. Методология построения системной теории популярного объекта
XXXII. Знаки и деятельность. Деятельностный подход в семиотике и лингвистики (первый этап)
XXXIII. Методы историко-критической работы
XXXIV. Методы исторической реконструкции
XXXV. История ММК
XXXVI. История и методология математики
XXXVII. Решение задач
XXXVIII. Математическое образование
XXXIX. Конструктивная деятельность детей
XL. Методология педагогических исследований
XLI. Детская игра

- XLII. Игра и взаимоотношения
- XLIII. Обучение и развитие
- XLIV. Структура и методы воспитания
- XLV. Нравственное воспитание
- XLVI. Эстетическое воспитание
- XLVII. Исходные представления о деятельности
- XLVIII. Знаки и деятельность
- XLIX. Знания и деятельность
- L. Общая теория деятельности
- LI. Элементы теории деятельности
- LII.
- LIII. Естественное и искусственное
- LIV.
- LV. Системодеятельностная методология
- LVI. Методология и наука
- LVII. Деятельностный подход в педагогике
- LVIII.
- LIX.
- LX. Деятельностный подход в анализе искусства
- LXI. Дизайн в системе обособляющегося проектирования
- LXII. Мышление дизайнера
- LXIII. Профессия дизайнера
- LXIV. Основные категории дизайна
- LXV. Деятельностный подход в анализе вещи
- LXVI. Инженерно-психологическое проектирование
- LXVII. Системное проектирование
- LXVIII. Методология и теория проектирования
- LXIX.
- LXX. Педагогика и логика
- LXXI. Логика и психология
- LXXII. Педагогика и социология
- LXXIII. Ситуации обучения
- LXXIV. Управление, руководство и организация
- LXXV. Терминология
- LXXVI. Деятельностный подход в социологии
- LXXVII. Научно-техническая политика
- LXXVIII. Информатика
- LXXIX. Деятельность и коммуникация

В настоящее время осуществляется несколько проектов введения материалов этого архива в культурный оборот.

Прежде всего реализуется проект, связанный с традиционным, «гутенберговским» способом публикации. Конечно же, он не потерял своего значения, но сейчас это не единственный – и во многих отношениях не лучший – способ публикации текстов и работы с ними. Сейчас предметом повседневного обихода работника интеллектуального труда является персональный компьютер, а следовательно, возможны иные формы организации информационных массивов, позволяющие сделать архив доступным «в режиме реального времени», для всех заинтересованных в работе с ним. Более того, в еще более недавнее время произошла революция в сфере коммуникации и информационного обмена: значительная, все растущая часть компьютеров (а значит, рабочих мест научных и культурных работников) оказалась связанной всемирной компьютерной сетью – интернетом. Поэтому, наряду с бумажной, осуществляются и проекты компьютерно-цифровой публикации.

В настоящее время существует уже третья версия библиотеки «Наследие ММК», которую можно охарактеризовать так: персональная компьютеризованная библиотека-архив в виде базы данных (БД). С учетом пользовательских ситуаций и порождаемых ими потребностей, минимальный операциональный базис библиотеки позволяет осуществлять следующие задачи: поиск нужного текста и его вызов по ряду общезначимых формальных параметров (автор, время написания и т.д.); предметно-тематический поиск; библиографические справки и перекрестные (межтекстовые) переходы; словарно-понятийные справки.²⁶

Общий объем электронной библиотеки «Наследие ММК» в последней редакции включает 258 текстов. Из них 159 – тексты самого Г.П. Щедровицкого.

К настоящему времени в рамках проекта бумажной публикации наследия Г.П. Щедровицкого (кроме ряда текстов, напечатанных в журнале «Вопросы методологии», в том числе в номере (Вопросы методологии. 1996. № 3/4), полностью отданном под

²⁶ Эти операции осуществляются через главное меню, предоставляющее пользователю четыре возможности для «входа» в текстовое пространство архива: «Общий каталог»; «Предметный каталог»; «Глоссарий»; «Библиография».

работы Г.П. Щедровицкого, посвященные проблемам онтологии и онтологизации), издано:

- *Щедровицкий Г.П.* Избранные труды. М., 1995. – 759 с.
- Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1996. – 641 с.
- *Щедровицкий Г.П.* Программирование научных исследований и разработок / Из архива Г.П. Щедровицкого. Т. 1. М., 1999. – 286 с.
- *Щедровицкий Г.П.* Начала системно-структурного исследования взаимоотношений в малых группах. Курс лекций / Из архива Г.П. Щедровицкого. Т. 3. М., 1999. – 351 с.
- *Щедровицкий Г.П.* Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология. Курс лекций / Из архива Г.П. Щедровицкого. Т. 4. М., 2000. – 382 с.
- *Щедровицкий Г.П.* Я всегда был идеалистом... М., 2001. – 323 с.
- *Щедровицкий Г.П.* Методология и философия оргуправленческой деятельности: основные понятия и принципы (курс лекций) / Из архива Г.П. Щедровицкого. Т. 5. ОРУ (2). М., 2003. – 288 с.
- *Щедровицкий Г.П.* Процессы и структуры в мышлении (курс лекций) / Из архива Г.П. Щедровицкого. Т. 6. М., 2003. – 320 с.

В настоящее время к изданию подготовлены (и выйдут в течение 2004 г.) следующие работы:

- Г.П. Щедровицкий.* Психология и методология (1): Ситуация и условия возникновения концепции поэтапного формирования умственных действий / Из архива Г.П. Щедровицкого. Т. 2. Вып. 1. М.: Путь, 2004. – 368 с.
- Г.П. Щедровицкий.* Проблемы логики научного исследования и анализ структуры науки / Из архива Г.П. Щедровицкого. Т. 7. М.: Путь, 2004. – 400 с.
- Г.П. Щедровицкий.* Московский методологический кружок: развитие идей и подходов / Из архива Г.П. Щедровицкого. Т. 8. Вып. 1. М.: Путь, 2004. – 352 с.



**Швырев
Владимир
Сергеевич**
(р. 1934)

главный научный сотрудник Института философии РАН, доктор философских наук (1977), профессор, имеет звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1956), аспирантуру Института философии АН СССР (1962). Область научных интересов – проблемы соотношения теоретического и эмпирического в науке; разработка теории научной рациональности; анализ и критика неопозитивистской доктрины в философии науки XX века; философия образования. В частности, выделил два типа научной рациональности – «закрывающую», присущую классической науке, и «открывающую», которая свойственна науке современного уровня.

Автор более 200 научных публикаций, в том числе 5 монографий, среди которых: Неопозитивизм и проблема эмпирического обоснования науки (М., 1966); Теоретическое и эмпирическое в научном познании (М., 1978); Научное познание как деятельность (М., 1984); Проблемы философии образования и современная неклассическая рациональность // Мир психологии (1999) и др. Живет и работает в Москве.

ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДНЫХ ПРИНЦИПОВ АНАЛИЗА ПОЗНАЮЩЕГО МЫШЛЕНИЯ

В этой статье я хотел бы высказать ряд соображений относительно начального периода деятельности Г.П. Щедровицкого – с середины 50-х г. и до начала 60-х гг. прошлого столетия. Это был период формирования его основных, определяющих идей в области философии – теории познания и методологии науки, которые сыграли выдающуюся роль в развитии отечественной философско-методологической мысли, оказали значительное влияние на формирование целого ряда представителей моего поколения, только-только вступивших в то время в философскую жизнь.

1. «Играющий тренер»

Г.П. Щедровицкому принадлежит выдающаяся заслуга в преодолении догматической затхлости официальной философии, открытию перед молодым поколением перспектив действительно творческой конструктивной работы, созданию соответствующей этической нравственной атмосферы среди группировавшейся вокруг него и его ближайших друзей того времени молодежи. Мы познакомились с ним в годы моей студенческой молодости, вероятно, в 1954 году – когда я был студентом 4-го курса философского факультета Московского университета. Я с очень хорошим чувством, к которому примешивается сильная ностальгия по тому времени, вспоминаю дух, который царил в нашем сообществе, столь важное для молодых людей ощущение причастности к высокому делу, надежды на то, что в той далеко не простой обстановке, когда позиции догматизма были уже, конечно, ослаблены, но далеко не подорваны, сумели преодолеть его рамки и выйти на правильный путь. Конечно, с по-

зиции наших дней ясно видна и определенная ограниченность философских взглядов, которые царили в нашем сообществе, о чем я подробнее скажу позже, и объясняя в этом возрасте наивность и эйфория. Но лично я очень благодарен судьбе за то, что мое становление и как личности, и как специалиста происходило в такой обстановке, в такой среде, в такой духовной атмосфере. Хотелось бы подчеркнуть, что она создавала высокую планку по отношению к себе, к своей работе, к задачам и целям философской деятельности, как мы их понимали. Мы рассматривали свою конкретную частную работу как часть общего дела, в рамках которого всегда можно найти заинтересованность и взаимопонимание, отнюдь не исключающих нелицеприятной критики, которая всегда выступает показателем отсутствия равнодушия к деятельности своих товарищей.

И в создании всей этой атмосферы была неоценима роль Г.П. Щедровицкого, «Юры», как мы его дружески называли! Г.П. был выдающимся лидером-воспитателем, своего рода великолепным «играющим тренером», решусь на такую метафору. Он любил повторять принципиально важный для него тезис, что мышление родилось в общении и может функционировать и развиваться только в общении. И общение со своими коллегами, в том числе и с младшими товарищами, было для него совершенно необходимой стороной его жизни. И это общение отнюдь не ограничивалось обсуждением только профессиональных теоретических вопросов. Характернейшей чертой Г.П. был активный интерес к жизненным проблемам окружающих его людей. Г.П. зачастую упрекали – и для этого были известные основания – в давлении на людей, но, во-первых, это давление никак не было связано с грубостью, с неуважением к человеку, а, во-вторых, с моей точки зрения, оно выступало обратной стороной его равнодушия к людям. Сейчас, по прошествии многих десятков лет, я с глубокой благодарностью вспоминаю ту работу, которую он вел с нами и в теоретическом, и в человеческом плане. Те сложности, которые имели место в дальнейшем в наших взаимоотношениях, никоим образом не могут затмить всего того светлого, что было в то время. К тому же надо подчеркнуть, что эти сложности возникли в очень короткий период времени, впоследствии же мы всегда находились с Г.П. в дружеских отношениях вплоть до его кончины, и я всегда признавал и сейчас признаю то глубокое благотворное влияние, которое он оказал на меня.

К тому времени, к середине 50-х гг., Г.П. Щедровицкий, несмотря на свои относительно молодые годы, выступая как вполне сформированная личность с четкими мировоззренческими, социально-политическими, этическими взглядами, которые определяли его исключительно активную жизненную позицию. Его, как и его ближайших друзей того времени А.А. Зиновьева, Б.А. Грушина, М.К. Мамардашвили, на мой взгляд, нельзя характеризовать как «шестидесятников», особенно принимая в расчет обычно связываемые с этим понятием стимуляцию идеями XX съезда КПСС, принципиальное противопоставление ленинизма и сталинизма, идеалы «социализма с человеческим лицом» и пр. Г.П. и его друзья занимали во всех этих вопросах гораздо более критическую и трезвую позицию, четко осознавали пределы возможной хрущевской «оттепели», и XX съезд не мог оказать на них серьезного революционизирующего воздействия. Что касается формирования идейных позиций самого Г.П., то этот процесс подробно охарактеризован им в тексте из его архива, опубликованном под названием «Я всегда был идеалистом»,¹ и всем интересующимся я бы посоветовал ознакомиться с этим текстом. Сам я почерпнул из этой публикации много нового и неизвестного.

В этом контексте я хотел бы подчеркнуть характерную черту личности Г.П.: он всегда был противником всякого прекраснотушия, душевной расслабленности, что, однако, никоим образом не противоречило жизнелюбию, активности, оптимизму по высокому счету. Был ли Г.П. рационалистом? Если связывать это понятие с установкой на трезвое понимание «наличного бытия», на постоянное сопротивление тому, чтобы дать загнать себя в ловушки иллюзий, связанных с этим «наличным бытием», и стремление проникнуть в суть вещей, то, наверное, можно ответить на этот вопрос положительно. Но определяющим свойством его личности было отсутствие всякого рода конформизма, приспособленчества к существующему положению дел, ему совершенно была чужда позиция «плетью обуха не перешибешь», как правило, трактуемая ее сторонниками как единственно возможная рациональность. Рационализм Г.П. вписывался в более широкую и органически присущую его личности позицию, которую впоследствии и он сам, и другие стали называть «проектив-

¹ Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом... М., 2001.

но-конструктивным сознанием». Для него всегда трезвое восприятие того, что есть, «сущего», говоря философским языком, было необходимой, но лишь исходной позицией для реализации его «проекта», осуществления «должного». Именно поэтому его духовно-интеллектуальная эволюция в период его становления как личности четко и однозначно привела его к необходимости занятия философией, где сочетаются «сущее» и «должное», где восприятие первого теряет свою бесперспективность, пассивную перцептивность, бескрылость, а проективность второго лишена нереалистичности беспочвенного активизма. И основополагающий «идеализм» мировоззрения Г.П., о котором он говорит в упомянутом выше тексте, – это не уход от реального в морализирующий, идеологизирующий и тому подобный субъективизм, а прорыв в горизонты Действительности (в гегелевском смысле), открывающийся в теоретическом мышлении на высоте его возможностей. Это – сфера существования человека в «должном», если он сумеет оказаться на уровне последнего. С этим, как мне кажется, связана и известная рационалистичность или, может быть лучше сказать, интеллектуалистичность направленности сознания Г.П., некоторая недооценка философских традиций, опиравшихся на формы ценностного, прежде всего этического сознания, что, замечу, никак не означает недостатка четкости этических жизненных позиций. Отсюда же и его несомненные симпатии к Марксу, обращение к его традиции, определявшиеся отнюдь не идеологической конъюнктурой, а марксовым неприятием утопизма как формы субъективизма и его стремление внедрить в социальное сознание нормы теоретического мышления через раскрытие последним глубинных закономерностей развития социума.

Итак, важнейшей исходной установкой, определившей формирование системы взглядов Г.П. Щедровицкого, явилось убеждение в том, что рационально-теоретическое мышление, способное преодолеть ограниченность сознания, вписанного в «наличное бытие», и различные соблазны субъективизма, связанного с предвзятостью ценностных посылок, всякого рода мифологем и идеологизаций, выступает необходимым условием выработки мироотношения человека на высоте его возможностей. И замечу, именно такое мышление может стать предпосылкой проективно-конструктивного сознания, деятельностного подхода к миру – установка, которая получила развитие у Г.П. в более поздний период.

2. Логика как эмпирическая наука

В философии при этом на первый план выступают занятия логикой. Предоставим слово самому Г.П.:

Логика в тот момент стала центром живой, бьющейся философской мысли страны, это была единственная область, в которой стояли реальные проблемы и задачи и не нужно было все время искать хитросплетения, которые, как я уже говорил, создавали бы защитные барьеры для марксизма как идеологии от марксистских философских положений, и не надо было доказывать вечность и неизменность марксистских положений вопреки всему тому, что содержалось в живом когда-то учении Маркса.²

К этому, как мне представляется, надо сделать некоторые пояснения. Во-первых, обращение к логике в то время никоим образом не означало ухода в какую-то безопасную в идеологическом отношении сферу. Это значительно позже, где-то с середины 60-х гг. официальное идеологическое давление в философии науки, теории познания, логике и методологии значительно ослабло, а в ту пору, о которой идет речь, рассмотрение принципиальных вопросов об отношении мышления и бытия, о роли так называемого принципа отражения и т.д., которые неизбежно так или иначе вставали при обсуждении исходных принципов исследования познающего мышления, приводило к столкновению с официальной догматической позицией, что, естественно, было связано с определенными неприятностями. Достаточно вспомнить преследование на философском факультете МГУ так называемых «гносеологов», группировавшихся вокруг Э.В. Ильенкова, которое задело одновременно сторонников А.А. Зиновьева и Г.П. Щедровицкого. Во-вторых, я считаю, что обращение к логике, к методу познания стимулировалось в той ситуации не только невозможностью заниматься общемировоззренческими и социальными проблемами, но необходимостью освобождения от догматизма и развития живой исследовательской мысли, осуществления критической рефлексии над основаниями философско-теоретической мысли. Перед Г.П. Щедровицким и его единомышленниками того периода объективно стояла задача, в чем-то

² Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом. С. 275.

аналогичная той, которая в свое время стояла перед основоположниками философии Нового времени, выдвинувших идею создания свободной философской мысли, что неизбежно вело к разработке проблем метода как такового. С моей точки зрения, если бы в ту пору можно было предоставить такую абстрактную возможность, как занятие социально-философскими проблемами, то неизбежно пришлось бы начинать с методологической рефлексии, что, кстати, и было продемонстрировано в начале 60-х гг. в дискуссиях в методологическом кружке Г.П. Щедровицкого.

Как же понималась Г.П. и его единомышленниками та логика, задачу разработки которой они сформулировали? Исходным здесь выступало убеждение в том, что эта логика призвана изучать реально осуществляемое научно-теоретическое мышление. Тем самым логика рассматривалась как эмпирическая наука в том смысле, что она должна была изучать непосредственно данный в научных текстах объект. Логика в таком понимании противопоставлялась старой традиционной формальной логике, которую, кстати, только с конца 40-х гг. начали преподавать, а до этого она находилась под идеологическим запретом, как якобы противоречащая диалектической логике марксизма. Старую формальную логику критиковали за схоластичность, за отрыв от реальной практики мышления, в первую очередь научного мышления. Я хорошо запомнил, как на одной из дискуссий, посвященных этим вопросам, Г.П. Щедровицкий бросил обвинение сторонникам формальной логики:

Скажите, какое, чье реальное мышление вы изучаете? И получается, что вы занимаетесь мышлением Сократа, который смертен?

Я хотел бы подчеркнуть безусловную революционность в ту пору поворота к изучению реального мышления, уход от всякого рода схоластических споров, в частности, о соотношении формальной и диалектической логики. Этот поворот задавал молодежи, стремившейся заняться настоящим делом, программу действий. Г.П. и его единомышленники сами давали образцы нового типа исследований: А.А. Зиновьев – конкретным анализом логики «Капитала» Маркса, Г.П. Щедровицкий – исследованием развития научных понятий в физике, Б.А. Грушин – изучением исторического и логического методов. Эта программа противопоставлялась далее и кон-

цепции диалектической логики в рамках официозной философии, всякого рода схоластическим схемам «диалектических силлогизмов» и т.п. Противопоставлялась она также и позиции Э.В. Ильенкова, выдвинувшего идею разработки диалектической логики, прежде всего на основе возрождения культуры теоретического мышления Маркса, которая вышла из гегелевской философии и была утрачена в советской официозной философии. Соответственно, исследовательская программа, предлагаемая в середине 50-х гг. Э.В. Ильенковым, предполагала в первую очередь обращение к концептуальному аппарату диалектики как логики, прежде всего к методу восхождения от абстрактного к конкретному, с сильным креном в историю философии, особенно к гегелевской традиции. А.А. Зиновьев и Г.П. Щедровицкий также исходили из необходимости изучения логики «Капитала» как парадигмы реализации действительно теоретической мысли в марксистской традиции, однако А.А. Зиновьев, диссертация которого, получившая в ту пору огромный резонанс, была посвящена логике «Капитала», все время подчеркивал, что его целью являлось изучение реальных механизмов исследования в «Капитале», а не просто обсуждение той рефлексии по поводу этих механизмов, которая имела место у Маркса и его последователей. Подразумевалось, что определенные стороны реальной практики мышления в «Капитале» могут и не получать своего адекватного освещения в этой рефлексии. Далее, – в этом особая роль принадлежала Г.П. Щедровицкому, профессионально знакомому с историей физики и химии, – подчеркивалось, что разработка логики научного мышления не должна ограничиваться только логикой «Капитала» и изучением так называемых развивающихся систем, а должна опираться на исторический опыт науки в целом, включая естествознание.

Принципиальным моментом споров с Э.В. Ильенковым было также различное понимание самого познающего, как тогда любили говорить, мышления. Э.В. Ильенков исходил из того, что последнее есть движение, как он выражался, по логике предмета, по «контуру объекта», тем самым, в частности, развитие мысли призвано было повторять развитие предмета. В противовес тому А.А. Зиновьев и Г.П. Щедровицкий подчеркивали, что мысль имеет свою относительно независимую от предмета структуру, свою имманентную логику развития. Вместе с тем очень важно подчеркнуть: рассматрива-

емая концепция исследования познающего мышления исходила из того, что, хотя движение мысли и не определяется в каждом своем шаге структурой изучаемого объекта, система его операций и приемов существует в пространстве, действительно определяемом типом объекта, иными словами, логика мышления оказывалась связанной с его содержанием. В этом плане данная концепция безусловно противостояла «антионтологизму» и «антиметафизичности» господствовавшей долгое время на Западе неопозитивистской концепции логики науки.

Важнейшей особенностью концепции анализа знания, разрабатываемой группой, объединявшейся вокруг А.А. Зиновьева и Г.П. Щедровицкого в середине 50-х гг., явилась также четкая установка на изучение процессов и механизмов формирования и развития знания, генетически-конструктивный подход, понимание логики, прежде всего как «логики открытия», если пользоваться традиционным термином. Это также резко противостояло господствовавшим в ту пору на Западе неопозитивистским взглядам, принципиально разграничивавшим так называемый «контекст обоснования» и «контекст открытия» и считавшим предметом логико-методологического анализа только «контекст обоснования». Нетрудно убедиться в том, что подобный подход, так же как и отмеченная выше «привязка» механизмов движения мысли к определенному типу содержания, был связан с традицией исследования конструктивных процессов мышления, которая восходила к немецкой классической философии, трансцендентальной логике Канта и диалектике Гегеля. И здесь, конечно, значительную роль играло опосредование этой традиции марксистской мыслью. Заметим, что западная философия и методология науки признала и преодолела узость неопозитивистской концепции только где-то начиная с 60-х гг., обратившись к анализу процессов развития знания и признав значимость для методологии содержательно-онтологических предпосылок построения научных теорий.

Нетрудно убедиться, что охарактеризованное выше понимание логики как эмпирической науки о живом, развивающемся, данном в истории культуры научном мышлении с современной точки зрения в большей мере соответствует понятию методологического анализа науки, тесно связанного с ее историей и опирающегося на последнюю. Впоследствии, как известно, в процессе дальнейшего разви-

тия взглядов Г.П. Щедровицкого понятие методологии и у самого Г.П. постепенно вытеснило понятие логики, даже и в его новаторском понимании, что выразилось, в частности, в названии возглавляемого им «Московского методологического кружка». Но это произошло уже позже, после расхождения Г.П. с А.А. Зиновьевым, когда Г.П. выступает уже в роли лидера движения своих сторонников, объединившихся вокруг его четко оформленной концепции. В работах 1957–1958 гг. им был выдвинут ряд принципиальных идей, явившихся конкретизацией и развитием рассмотренной выше исследовательской программы и заложивших основы его собственной концепции, которая получила свое четкое выражение в конце 50-х – начале 60-х гг.

3. Проблема антиномий

Важнейшей идеей стала идея внутренних противоречий мысли – антиномий – как источника развития мысли, которая впервые была сформулирована в статье Г.П. «О некоторых моментах развития понятий».³ Вокруг этой идеи и непосредственно в связи с указанной статей Г.П. в философской литературе более позднего времени шли ожесточенные споры, связанные с противопоставлением двух позиций: пониманием противоречий мысли как воспроизводства противоречий бытия и пониманием их как антиномий самой развивающейся мысли. Здесь целесообразно остановиться вкратце на истории самой этой проблемы. Истоки ее восходят, как известно, еще к античной философии. В более же близкие к нам времена эта проблема получила свою достаточно конкретную разработку в немецкой классической философии. Кант выдвинул учение об антиномиях как о взаимоисключающих и в то же время равнообоснованных суждениях, к которым приходит познающая мысль, «теоретический разум» в своем стремлении выработать точное рациональное знание о так называемых «вещах в себе». Истоки антиномий Кант усматривал в несоразмерности возможностей «конечного» человеческого мышления масштабу задачи познания «вещей в себе», которые выходят за преде-

³ Щедровицкий Г.П. О некоторых моментах в развитии понятий // Вопросы философии. 1958. № 6.

лы опыта. Подобные «вещи в себе», например, мир в целом, невозможно освоить, ассимилировать в артикулированных моделях, наподобие тех, которые существуют в точных науках. Антиномии, по Канту, выступают, таким образом, как некая имманентная особенность человеческого познания, их появление свидетельствует о достижении принципиального предела возможностей рационального познания в его конструктивной функции, в функции рассудка. Гегель же, в сущности, продолжая кантовскую традицию понимания противоречий в мысли как ее структурной особенности, существенным образом пересматривает это понимание. Гегель исходит из того, что следует преодолеть кантовское представление об ограничении позитивных функций познания рамками рассудка как «конечного» мышления. В отличие от Канта Гегель считает, что, именно достигая стадии разума, мышление в полной мере реализует свои конструктивные способности, выступая как свободная, не связанная какими-либо внешними ограничениями спонтанная активность духа. Источник «конечности» мышления, рассудка как «закрытой» рациональности, ограниченной определенным горизонтом исходных предпосылок, лежит, по Гегелю, внутри самого мышления, в его недостаточной активности, в неспособности преодолеть заданный горизонт исходных предпосылок видения мира, то есть неспособность перейти, говоря современными терминами, от «закрытой» к «открытой» рациональности. В противоположность кантовскому пониманию появления антиномий как показателя предела возможностей рационального познания, Гегель рассматривает возникновение внутренних противоречий познающей мысли как стимул развития последней, открытия новых ее перспектив. «Разумность» мышления, то есть деятельность на высоте заложенных в нем возможностей, выражается, по Гегелю, в способности снять выявленные противоречия на более высоком уровне содержания, в котором, в свою очередь, обнаруживаются новые противоречия, являющиеся источником дальнейшего развития. Таким образом, развитие мысли выступает у Гегеля как процесс постоянного выявления (так называемая отрицательно-диалектическая сторона логического) и конструктивного разрешения противоречий путем творческого акта их синтеза (так называемая позитивно-спекулятивная сторона логического).

Этот перманентно воспроизводящийся ритм движения мысли, понятия в соответствии со своим объективно-идеалистическим уче-

нием о тождестве мысли и бытия Гегель рассматривает в качестве некоего всеобщего закона Реальности. Надо, однако, все время помнить, что для Гегеля эта Реальность представляет собой, в сущности, различные проявления активности духа, и противоречия, рассматриваемые Гегелем как корень всякого «движения и жизненности», являются внутренним ритмом этой активности. В так называемой материалистической диалектике, начиная с Энгельса, это гегелевское понимание, естественно, утрачивается. Идея противоречий, имманентно присущих Реальности как духовной активности, нерелексивно переносится на всякое бытие, в том числе природное, порождая псевдопроблему универсальности категории противоречия и заведомо обреченные на неудачи попытки искать противоречия везде и всюду. Более тонкие интерпретации материалистической диалектики исходили из того, что объективные противоречия могут стать предметом теоретического анализа при исследовании сложных развивающихся систем. В качестве парадигмы научного воспроизведения системы рассматривался «Капитал» Маркса. Действительно фиксируемые в тексте «Капитала» противоречия-антиномии типа: «товары продаются по их стоимости и товары не продаются по их стоимости», «капитал возникает и не возникает в сфере обращения» – трактовались Э.В. Ильенковым и его последователями как объективные противоречия, разрешаемые в процессе развития самой реальности товарно-капиталистических отношений. А.А. Зиновьев, также изучавший в 50-е гг. логику «Капитала», выступил против подобной позиции, впервые сформулировав еретический по тем временам тезис, что подобные противоречия – это именно антиномии развития теоретической мысли Маркса, разрешаемые в процессе восхождения от абстрактного к конкретному, т.е., говоря языком современной методологии науки, развертывание теоретической системы путем конкретизации исходного идеализированного объекта. А.А. Зиновьев выявил ряд приемов подобной конкретизации, позволяющих снять возникающие антиномии. Кстати, слабость интерпретации антиномий как объективных противоречий с методологической точки зрения как раз и заключалась в том, что она не стимулировала исследование подобных приемов.

Г.П. продолжил и развил этот подход. Развитие выразилось здесь прежде всего в том, что, проводя свое исследование на материале истории физики, Г.П. дал обоснование тезиса об универ-

сальности феномена антиномий для познающего мышления, обрвав, так сказать, пуповину связи проблематики антиномий исключительно с логикой «Капитала». Тем самым четко была показана независимость развития мысли от развития предмета мысли. В рассматриваемой статье Г.П. мы находим обобщающие характеристики антиномий как источника развития понятий:

Подобные логические противоречия, или антиномии, можно часто встретить в истории науки. Оба положения такого противоречия в равной мере истинны и неистинны. Истинны в том смысле, что они оба действительно, если мы исходим из существовавшего в то время определенного строения исходного понятия. Неистинны в том смысле, что это строение понятия уже не может дать однозначной характеристики новых исследуемых явлений.

Выявление подобного противоречия наталкивает исследователя на мысль, что он не учел в понятии какого-то обстоятельства, какого-то свойства исследуемого явления и заставляет искать это обстоятельство или свойство, а затем в соответствии с ним менять всю систему понятий, относящихся к исследуемой области явлений.⁴

В качестве важнейшего механизма разрешения антиномий и тем самым развития понятий Г.П. рассматривал их дифференциацию или «расщепление»:

Процесс дифференциации понятий имеет постоянное строение и является одним из наиболее общих процессов развития понятий... Лишь только какое-нибудь свойство, считавшееся до того простым и абсолютно сходным в ряде объектов мысли начинает рассматриваться с новой точки зрения, т.е. в других условиях и при других отношениях между предметами и явлениями, как оказывается, что это свойство не абсолютно сходно во всех рассматриваемых объектах, что оно наряду со сходными моментами несет в себе различия. Оказывается, что абстракция, отражавшая общее сходное свойство этих объектов

⁴ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. С. 585.

мысли, недостаточно точна, поверхностна и должна расщепиться на ряд новых абстракций, отражающих это различие.⁵

Таким образом, источником появления антиномий и необходимости последующего развития понятийного аппарата выступает вовлечение в поле мысли новых свойств и сторон реального изучаемого объекта. Этот объект сам в большинстве случаев не развивается (хотя эту возможность и не следует скидывать со счета), но развивается точка зрения исследователя, расширяется и углубляется его позиция, его деятельность с объектом. Концепция развития понятий неизбежно стимулирует обращение к анализу мышления как деятельности в последующих работах Щедровицкого.

При рассмотрении взглядов Г.П. в контексте истории философской мысли прежде всего возникает впечатление, что в сопоставлении позиций Канта и Гегеля в интерпретации противоречий мысли Г.П. исходит из гносеологизма Канта в противовес онтологизму Гегеля. Так считали, как правило, участники дискуссий вокруг этой проблемы, такую же точку зрения, кстати, высказывал и сам Г.П. Однако если мы примем во внимание подлинную суть так называемого онтологизма Гегеля, о которой я говорил выше, а именно то, что по существу это – онтология активности духа, онтология деятельности, как она понималась в немецкой классической философии, то становится ясно, что Г.П. вовсе не такой уже антагонист Гегеля, как это кажется на первый взгляд. Для Г.П., в отличие от Канта, фиксация антиномий отнюдь не выступает пределом деятельности мышления, напротив, как и у Гегеля, этот «негативно-диалектический» момент является лишь стимулом к позитивно-спекулятивному «развитию понятия». Иное дело, что Г.П. настойчиво подчеркивает роль вычленения мыслью в объекте нового содержания, для него деятельность, в отличие от идеалистов-гегельянцев, отнюдь не является чем-то имманентным спонтанной активности духа. Эта таинственная спонтанность духа при методологическом подходе к мышлению как деятельности становится конструктивной, воплощающейся в вполне зримо фиксируемых операциях мышления работой, предполагающей «схватываемое» в мышлении, но тем не менее имеющее свой независимый от мышления источник, содержание.

⁵ Там же. С. 588.

Идея внутренних противоречий мысли как источников его развития получает в отечественной философии и методологии науки в 60–70-е гг., независимое от дискуссии середины 50-х гг., «второе рождение». В западной методологии науки – не без воздействия диалектической традиции – она получает весьма удачную и довольно конкретную разработку в ранних работах Имре Лакатоса.⁶ Нельзя, однако, никоим образом недооценивать новаторский, я бы даже сказал, революционный характер позиции Г.П. по этой проблеме в середине 50-х гг. Она оказала очень большое стимулирующее воздействие на работу нашего более молодого поколения, но я бы хотел обратить внимание на другой момент. Рассмотренная выше статья Г.П. Щедровицкого объективно затронула ряд важнейших проблем философско-методологического характера, которые с необходимостью должны были получить разработку в последующей деятельности самого Г.П. как мыслителя, реализующего определенную логику развития идеи. Эта деятельность по необходимости концентрировалась вокруг двух основополагающих тем: отношения мысли как знания к реальности, фиксируемой в этом знании, и природы деятельности мышления, порождающей это знание. Обе эти кардинальные темы опять-таки с неизбежностью должны были исследоваться в острой конфронтации с господствующей официальной философией с ее столь же банальной, сколь и бессильной доктриной отражения.

4. Концепция «языкового мышления»

В качестве попытки разработки первой темы – о природе мысли в ее отношении к реальности, статусе мысли как некоего идеального объекта, наподобие идеальных объектов в естественных науках Г.П. выдвигает концепцию языкового мышления, сформулированную в статье «"Языковое мышление" и его анализ».⁷ Г.П. при этом исходит из того, что исследование мышления как зна-

⁶ Lakatos I. *Essays in the Logic of mathematical discovery*, Ph.D. Dissertation. Cambridge, 1961; Lakatos I. *Proofs & Refutations* // *British Journal of the Philosophy of Science*. 1963–1964. V.14. Русский перевод в книге: Лакатос И. *Доказательства и опровержения (как доказываются теоремы)*. М., 1967.

⁷ Щедровицкий Г.П. «Языковое мышление» и его анализ // *Вопросы философии*. 1957. № 1.

ния может начаться только с того, в чем оно проявляется на поверхности – с непосредственно созерцаемого. Таким материалом в данном случае является язык – непосредственная действительность мысли. Язык – а это очень важный момент концепции Г.П. – понимается предельно широко, как любая знаковая, семиотическая, как бы мы сейчас сказали, структура. Под языком понимается

вообще всякое движение, звучание, письменное изображение, имеющее самостоятельное значение.⁸

Как интерпретировать феномен значения, делающий язык непосредственной действительностью мысли? Г.П. выдвигает, несомненно, новаторскую в ту пору точку зрения, что значение языкового знака не может быть некоей субстанцией, оно функциональное свойство языковых структур, приобретаемое ими благодаря тому, что материал языка включается в структуру «объективное содержание – знак», в котором «—» означает замещение, как выражается Г.П., объективного содержания знаком, знаковой моделью. Естественно, что это замещение возникает не само по себе, а в результате определенной деятельности людей, что предполагает переход от рассмотрения мысли как знания к рассмотрению ее как познания, как порождающей мысль деятельности. Этот аспект анализа, заметим, только намечен в рассматриваемой статье Г.П., но он, несомненно, логически вытекает из концепции «языкового мышления» и получает развитие в дальнейших работах Г.П.

Сформулировав в своей статье 1957 г. по существу семиотическую концепцию мысли, Г.П. четко задал свое понимание мышления как предмета исследования. Это понимание позволяло размежеваться с подходом к мышлению как некоей непонятной субстанции, существующей где-то наряду с объективной действительностью и «отражающей» ее. Мышление оказывается работой со вполне материальной сферой эмпирически данных языковых, семиотических структур различного типа, взятой в определенных ракурсах и определенной функции – замещать, моделировать некоторые фрагменты опять-таки эмпирически данной реальности, выделенных путем реализации известных практических или теоретических установок.

⁸ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 456.

Подчеркнем, что подобный подход намечал перспективы анализа мышления как традиционного философско-логического (или методологического) предмета исследования в связи с семиотическими и культурологическими исследованиями, что и было реализовано в дальнейшей работе Г.П. и его сотрудников.

Конкретизацией и развитием концепции «языкового мышления», сформулированной в статье в «Вопросах языкознания» в 1957 г., прежде всего, в плане генетического анализа отношения «замещения» и возникающих на его основе порождающих процессов мышления выступила серия статей «О строении атрибутивного знания» в «Докладах АПН РСФСР».⁹ Должен сказать, что я очень люблю именно эту работу, считаю ее одним из лучших образцов исследовательского таланта Г.П. Я не буду здесь сколько-нибудь подробно рассматривать содержание этого достаточно сложного и пространного текста, который требует для своего понимания прослеживания механизмов генетико-логического выведения более сложных структур «языкового мышления» из более простых. Скажу лишь, что это выведение направлено на решение вопросов, каким образом из простейших форм мысли, непосредственно вписанных в практическую жизнедеятельность, возникают знаковые формы, выражающие собственно идеальное содержание, которое не может быть осознано непосредственно через контекст работы с объективной реальностью. Г.П. в своем тексте называет знания указанного выше типа «формальными знаниями» в отличие от «реального знания», полученного в работе с эмпирически данной действительностью, скажем, высказывание «металл лежит на столе» относится к последнему типу знания, а высказывание «металл электропроводен» – к первому.

В логико-семантической традиции издавна существовало представление о двух функциях, о двух «размерностях», «параметрах» понятия или знака, выражающего это понятие: выражения мысленного идеального содержания и отнесенности этого содержания к реальному предмету. Оно находит свое выражение в хорошо известных различиях содержания и объема понятия в традиционной логике, значения и соозначения, смысла и значения, интенсии и экстенсии терминов и т.п. Кстати, как я постарался показать в своих работах, это

⁹ Щедровицкий Г.П. О строении атрибутивного знания. Сообщения I–VI // Доклады АПН РСФСР. 1958. № 1, 4; 1959. № 1, 2, 4; 1960. № 6.

различение, так сказать, бивалентность знаковых образований, выражающих мысль, наличие вектора мышления, направленного на само идеальное мысленное содержание, и вектора, направленного вовне на реальный объект познания, носит кардинальный характер, выступая впоследствии в рационально-рефлексивном научном сознании основой для обособления теоретического и эмпирического «начал» науки. Г.П. Щедровицкий в рассматриваемой серии статей четко исходит из того, что носителем реального знания о мире знаковая структура может выступать только тогда, когда в конечном счете возможно соотнесение идеального содержания с предметной областью. Преимущество подхода Г.П. состоит при этом в том, что он предлагает ряд понятий, демонстрирующих генетически-эволюционные этапы движения от форм «реального знания» в его терминологии к этому идеальному содержанию. Так, выделяются функции абстракции, метки и обобщения, возникающие за счет знаков с объективным содержанием (их Г.П. называет объективно-содержательными); функция предмета-заместителя, возникающая за счет знаков, замещающих объективно-содержательные связи (Г.П. именует эти функции формально-содержательными); и, наконец, функции опосредствования, знаки группировки и знаки сокращения, которые связаны с работой со знаковыми структурами как таковыми (Г.П. называет их формально-структурными, или чисто формальными). Соответственно, можно различить действия мышления по выделению содержания непосредственно в объекте, движение в плоскости соответствующих связей внутри объективного содержания и формальные операции внутри знаковых структур. Совершенствование знания может происходить на любом из этих уровней, но развитие знания за счет углубления и расширения его отнесенности к реальности происходит благодаря единству и противоречивости функций абстракции и метки. Знак в функции абстракции выделяет какую-то одну сторону исследуемого предмета, но он же в функции метки представляет весь предмет в целом. Новые открываемые свойства предмета не укладываются в имеющиеся схемы, возникают антиномии, требующие их изменения.

Итак, где-то в период 1957–1958 гг. вышла серия работ Г.П., подготовивших его уже четко выраженную собственную позицию в отношении анализа познающего мышления. Эта позиция нашла выражение в его концепции содержательно-генетической логики. Эта концепция должна была исходить, по Г.П., из следующих положений:

1) мышление есть прежде всего деятельность, именно деятельность по выработке новых знаний; 2) ядро, сердцевину этой деятельности образует выделение определенного содержания в общем «фоне» действительности и «движение» по этому содержанию; 3) знаковые структуры, составляющие «материал» мышления, и техника оперирования ими зависят от того типа содержания, которое отражается в этих структурах; 4) мышление представляет собой исторически развивающееся, или, как говорил Маркс, «органическое» целое. Новая логика должна быть, следовательно, содержательной и генетической.¹⁰

Г.П. подчеркивал при этом, что такая логика должна являться эмпирической наукой, нацеленной на изучение реальности познающего мышления, противостоящей в этом отношении традиционной формальной логике. Сформулированные выше положения, на мой взгляд, действительно задавали эффективную программу исследования конструктивных процессов, прежде всего научного мышления. Реальная работа многих специалистов, примыкавших к Г.П. или так или иначе сотрудничавших с ним, действительно шла в этом русле, и тогда, и позже, в последующие десятилетия, приносила плодотворные результаты. Да и деятельность некоторых творческих исследователей, не находившихся непосредственно под влиянием Г.П., объективно, по самой логике работы, по существу осуществлялась в рамках содержательно-генетического подхода к научному мышлению. Этот подход, взятый в достаточно широком смысле, я считаю, является магистральным направлением изучения научного мышления в его развитии. И формулировка в рамках концепции содержательно-генетической логики его принципов в 50-е гг. является выдающейся заслугой Г.П.

Указывая на необходимость эмпиричности в смысле исследования реального объекта, Г.П. в то же время настойчиво выдвигал задачу подъема на теоретический уровень содержательно-генетического подхода к мышлению. В очень интересном с этой точки зрения тексте «Логика и методология науки», источником которого выступает расшифровка магнитофонной записи доклада Г.П. 1959 г., он связывает особую роль логики среди так называемых методологических или эпистемологических дисциплин именно с этой теоретичностью, тогда как методология в его тогдашнем понимании грешит эмпиричностью, имея дело с частным ма-

¹⁰ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 39.

териалом истории науки.¹¹ Г.П. выдвигал задачу разработки содержательно-генетической логики как теоретической дисциплины, дающей возможность, что принципиально важно, осуществлять прогностические функции в исследовании мышления. Перед Г.П. все время витал идеал теоретических идеализированных предметов в точных, математизированных естественных науках. Понимая своеобразие научного мышления по сравнению с реальностями, изучаемыми этими науками, понимая мышление как органическое исторически развивающееся целое, Г.П. ставил задачу развертывания содержательно-генетической логики посредством известного в марксистской традиции «восхождения от абстрактного к конкретному». Где-то, конечно, психологически понятным и оправданным представляется это стремление обеспечить науке, разработку которой он считал своим важнейшим делом, высокий методологический статус, поставить ее вровень с развитыми теоретическими дисциплинами в сфере естествознания. Однако фиксация внимания на этой задаче представляется мне в лучшем случае преждевременной. Явно утопической выглядит установка на выявление алфавита операций, то есть, говоря словами Г.П., конечного и сравнительно небольшого числа операций мышления, таких, что

все существующие эмпирические процессы мышления можно будет представить как их комбинации.¹²

Программа построения содержательно-генетической логики как теоретической системы оказалась нереализованной.

5. Деятельностный подход и концепция познающего мышления

Где-то с середины 60-х гг. интересы Г.П. как руководителя так называемого Московского методологического кружка концентрируются на вопросах, выходящих за пределы логики науки, прежде всего на разработке теории деятельности. Этим я отнюдь не хочу сказать, что Г.П. перестает заниматься проблематикой мышле-

¹¹ См.: Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 218-219.

¹² Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 44.

ния, однако эта проблематика рассматривается им преимущественно в более широком контексте деятельностного подхода в целом. В этот период, а тем более позднее – во время разработки теории и практики организационно-деятельностных игр – я уже не находился в рабочем контакте с Г.П. и не претендую на концептуальный анализ его деятельности. Я хотел бы закончить этот текст кратким рассмотрением той смысловой связи, которая существовала между концепцией логики и деятельностным подходом.

Несомненно, что сама оппозиция деятельностного и так называемого натуралистического подхода, явившаяся исходной предпосылкой концепции деятельности Г.П., которая стала идейным ядром его взглядов с 60-х гг., возникла в русле его понимания мышления как деятельности, как развитие и обобщение этого понимания. В уже упоминавшемся тексте «Логика и методология науки» (на основе доклада 1959 г.) настойчиво проводится мысль о принципиальном отличии предмета эпистемологических, методологических, логических наук от предметов других наук. Это отличие заключается в том, что методологические и т.п. науки рассматривают знание как продукт деятельности, как нечто противостоящее объекту как таковому.¹³ Развивая эти соображения в статье 1964 г., Г.П. утверждает, повторяя сказанное в 1959 г., что предмет методологии как науки принципиально отличен от предмета всех других конкретных наук, это – деятельность познания, мышления, но добавляет – и это принципиально новое, – что предметом методологии,

если говорить более точно, является вся деятельность человека, включая сюда не только познание, но и производство.¹⁴

Отметим два существенные, на мой взгляд, обстоятельства. Во-первых, выдвигание на первый план понятия методологии именно в контексте расширения ее предмета как науки, изучающей деятельность вообще, а не только деятельность в сфере познания. Во-вторых, вместе с тем формулирование обобщающего принципа деятельности, противопоставление так называемых натуралистического и деятельностного подходов, как нетрудно убедиться из ознакомления с процитированными выше текстами, происходит под решающим влиянием именно эпистемологической проблематики, прежде всего

¹³ См.: Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 206.

¹⁴ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 158.

анализа феномена антиномий и их разрешения, который с неизбежностью приводит к представлению о неплотодотворности объектно-натуралистического подхода. Замена его деятельностным подходом при анализе такого артефакта культуры, как знание, приводит к экстраполяции этого подхода на всю сферу артефактов культуры, где знание выступает лишь частным случаем.

Деятельностная концепция, как она развивалась далее Г.П. и его сотрудниками в рамках Московского методологического кружка (ММК), требует своего серьезного анализа, который, как я уже упоминал выше, выходит за рамки задач данной статьи. Отмечу лишь, что ряд распространенных упреков в адрес этой концепции лишены серьезных оснований. Так, она вовсе не отрицает значимости Реальности, независимой от Деятельности, в качестве предпосылки и условия осуществления последней. Она лишь подчеркивает, что феноменом человеческой культуры независимая от человека реальность становится только в результате определенного ее преобразования, благодаря вовлечению в деятельность. Деятельностный подход, в отличие от натуралистического, исходит из того, что ни в познании, ни в иных видах активного мироотношения человек не может иметь непосредственного выхода на реальность как на «вещь в себе» в смысле Канта без опосредствования определенными установками, если угодно, известным «аппаратом мироотношения». Не выдерживают критики и обвинения Г.П. в субстанционализации деятельности, превращении ее в некую надчеловеческую силу. Действительно, определенные формулировки Г.П., казалось бы, дают для этого основания:

...Человеческая социальная деятельность должна рассматриваться не как атрибут отдельного человека, а как исходная универсальная целостность, значительно более широкая, чем сами «люди».¹⁵

Надо, однако, учитывать, что это – исходная начальная абстракция, которая предполагает дальнейшую конкретизацию, при которой уже нельзя абстрагироваться от роли отдельных индивидов. В общем, повторяю, деятельностный подход в интерпретации Г.П. требует тщательного, в том числе и критического, анализа, который, однако, никак не должен ограничиваться поверхностным восприятием.

¹⁵ Щедровицкий Г.П. Избранные труды С. 241.



**Садовский
Вадим
Николаевич**
(р. 1934)

доктор философских наук (1974), профессор, заведующий отделом методологии и социологии системных исследований Института системного анализа РАН, заведующий кафедрой философии и логики Московского института экономики, политики и права. Действительный член Международной академии наук информации, информационных процессов и технологий. Член редколлегии журналов «Вопросы философии», «Свободная мысль», «Науковедение», «Synthese», зам. главного редактора ежегодника «Системные исследования. Методологические проблемы».

Окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1956), аспирантуру по кафедре философии Московского областного педагогического института (1960).

Область научных интересов – современная философия и методология науки; методология системных исследований; история отечественной философии XX века.

Глава российской научной школы «Философия и методология системных исследований», автор более 300 научных работ.

Живет и работает в Москве.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЛЕСК И ТВОРЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ РАННЕГО ЩЕДРОВИЦКОГО

1. Несколько предварительных замечаний

Вот почти уже пятьдесят лет моя жизнь теснейшим образом связана с жизнью и деятельностью Георгия Петровича Щедровицкого (23 февраля 1929 – 3 февраля 1994).

Он был моим Учителем с большой буквы, потому что учил не только своими многочисленными работами, но также своей жизнью, своей беззаветной преданностью науке, а также работами своих учеников, он учил и продолжает учить, потому что живет в моих воспоминаниях, как и в памяти огромного множества людей, которым посчастливилось с ним общаться.

Г.П. Щедровицкий прожил не очень долгую, но чрезвычайно насыщенную и яркую жизнь. После себя он оставил *огромное теоретическое наследие* – приблизительно полторы сотни публикаций, около четырех тысяч папок с работами, рукописями, заметками, машинописными копиями сотен обсуждений на философских, психологических, социологических и других семинарах, целую библиотеку материалов, связанных с подготовкой и проведением около сотни организационно-деятельностных игр, чем он в основном занимался в последние пятнадцать-двадцать лет своей жизни. И главное – тысячи учеников, разбросанных по всему миру, которые сегодня работают во многих консультативных и экспертных фирмах, в «Школе культурной политики», многочисленных созданных на основе идей Г.П. Щедровицкого методологических лабораториях и т.п. «Щедровитя» можно узнать через несколько минут после начала разговора: у них свой язык, свое миропонимание, свой подход к решению актуальных глобальных и национальных проблем. С ними можно и нужно спорить, порой не соглашаться с их идеями, политическими и идеологически-

ми предпочтениями, критиковать их методы научной и организационной работы, но нельзя не признать того, что Георгием Петровичем Щедровицким (далее я буду называть его Г.П., или Г.П.Щ., или просто Юрой, как его именовали коллеги и, по крайней мере, первые поколения его учеников, к которым я принадлежу) было создано одно из наиболее значительных направлений российской социокультурной жизни второй половины XX века.

В достаточно обширной литературе, появившейся в основном после его кончины, принято выделять разные этапы творчества Г.П. Мне кажется это совершенно оправданным: Юра ставил перед собой столь масштабные задачи, что их решение нельзя было уложить в какие-то определенные дисциплинарные рамки, требовалось привлекать материал других дисциплин, переходить от одних видов творческой деятельности к иным, например, от чисто теоретического исследования к – практическому действию, прежде всего к проведению организационно-деятельностных игр (ОДИ), что подразумевало смену основных интересов Г.П. и, естественно, привело к тому, что его творчество охватило разные теоретические и практические сферы. В биографической статье «Щедровицкий Г.П.», опубликованной в книге «Философы России XIX–XX столетий», выделяются три основных этапа творческого развития Г.П.: содержательно-генетическая эпистемология (логика) и теория мышления (1952–1961), деятельностный подход и общая теория деятельности (1961–1971), системомыследеятельностный подход (с 1971 – до конца жизни).¹ Можно согласиться с такой периодизацией, однако в настоящей статье я буду использовать более общую и выделю в творчестве Г.П.Щ. только два этапа: раннего Щедровицкого (1952 – приблизительно до 1965) и зрелого Щедровицкого (середина 60-х годов – и до конца жизни). Такая периодизация более точно соответствует целям моей статьи, она включает в себя вышеупомянутую, но избегает фиксации жестких границ между этапами, в частности, между содержательно-генетической логикой и деятельностным подходом. Думаю, это дает более адекватное понимание творческой эволюции Г.П.Щ.: проблемы деятельности его волновали и при разработке программы содержательно-генетической логики.

¹ (Автор не указан.) Щедровицкий Г.П. // Философы России XIX – XX столетий / Ведущий автор, составитель и главный редактор П.В. Алексеев. М., 2002. С. 1114.

В этой статье я буду обсуждать лишь творчество *«раннего Георгия Петровича Щедровицкого»* – *приблизительно до середины, в отдельных случаях до конца 60-х годов.*² В те годы мы часто с ним общались, я хорошо, как мне кажется, знал его работы, высоко ценил их (свою оценку я в принципе не изменил и в настоящее время) и могу сказать, что в какой-то степени был свидетелем того, как все это происходило. На этом основании я, как представляется, имею право высказывать те или иные суждения о программах, выдвинутых в те годы Г.П., о наиболее значительных достижениях Г.П.Щ. в то время, о том, что удалось или не удалось осуществить, о том, что из себя представлял Московский логический (позднее – методологический) кружок и т.п. Вместе с тем я совершенно не буду касаться творчества Г.П. в последние 25 лет его жизни, то есть в 70-е, 80-е и начале 90-х годов. Я был плохо знаком с творчеством Г.П.Щ. в эти годы и не берусь о нем судить и, тем более, его оценивать. Однако в этой связи возникают вполне резонные вопросы: а правомерно ли рассуждать о творчестве того или иного ученого, если не присмотреться к его зрелым научным усилиям? Допустимо ли вырвать лишь один, пускай даже весьма значительный период научных исканий человека и на этом основании судить о его творчестве в целом? На первый взгляд кажется, что на эти вопросы следует ответить отрицательно. Я, однако, полагаю, что могу это сделать, и в пользу этого приведу несколько аргументов.

Во-первых, в своих рассуждениях о Г.П.Щ. я не стремлюсь высказать истину, тем более абсолютную. Это – всего лишь *мои суждения* и *мои мнения*, которые, конечно же, *субъективны*. На большее я не претендую и, конечно, могу обсуждать лишь то, что знаю.

Во-вторых, два периода творчества Г.П.Щ. *настолько существенно различаются между собой*, что их *относительно самостоятельная оценка вполне возможна*. Георгий Петрович – не первый философ, в творчестве которого явно обнаруживаются разные периоды творчества. Далеко за примерами ходить не надо: «докритический» и «критический» Кант, а по времени ближе к нам – «ранний» и «поздний» Витгенштейн. В этих

² Я кратко затрагивал эту тему в своих предшествующих публикациях (см., например: Садовский В.Н. Философия в Москве в 50-е и 60-е годы // Вопросы философии. 1993. № 7. С. 147–164 (перепечатано в книге: Философия не кончается... Из истории отечественной философии. XX век. 1960–1980 гг. / Отв. ред. В.А. Лекторский. М., 1998. С. 13–42), теперь же рассмотрю ее подробно.

классических примерах можно обнаружить разные взаимоотношения ранних и поздних периодов творчества великих философов. Кант считал свой докритический период наивным и догматическим и в последние три десятилетия своей жизни к нему не обращался, однако историки философии с удивительным постоянством рассматривают и тот, и другой периоды его творческих исканий. Поздний Витгенштейн отверг идеи «Логико-философского трактата», но после этого чуть ли не подавляющее большинство логиков и философов науки XX века внимательнейшим образом анализировали буквально каждое утверждение этого трактата. Общим в этих классических примерах является то, что ранние и поздние периоды творчества Канта и Витгенштейна рассматриваются как *относительно независимые друг от друга этапы их творчества*. Нечто аналогичное можно сказать и о Г.П.Щ.

В зрелый период своей деятельности (конец 60-х годов и до конца жизни) Георгий Петрович не отказался ни от идей содержательно-генетической логики, ни от принципов анализа «языкового мышления», ни – тем более – от концепции деятельности. Правда, к дальнейшей разработке этих идей он более не возвращался (исключением является, по-видимому, только теория деятельности, которая была связующим звеном между ранним и зрелым Г.П.Щ.): при проведении организационно-деятельностных игр эти идеи служили как бы их *фоновым знанием*. Сами же организационно-деятельностные игры, как я их понимаю, не привели к каким-либо модификациям теоретических новаций раннего Г.П. Поэтому я считаю, что *вполне возможно анализировать и оценивать идеи раннего Щедровицкого относительно независимо от того, что он сделал в 70–90-е годы*.

И, наконец, третье. Те суждения о творчестве «раннего» Г.П.Щ. и те оценки полученных им результатов, которые я сформулирую далее, я ему излагал, конечно, в общем виде, во время наших, к сожалению, не очень частых, но неизменно дружеских встреч в 70–80-е годы. Георгию Петровичу, видимо, не очень нравилось, что я говорил тогда: мы дискутировали, но до острых баталий дело не доходило (у меня вообще никогда не было с ним острых споров). В моих воспоминаниях сохранилось ощущение, что, по крайней мере, в некоторых отношениях Юра со мной соглашался. И поэтому я считаю возможным теперь рассказать об этом публично.

2. «Я всегда был идеалистом...»

Георгий Петрович Щедровицкий учился в Московском государственном университете с 1946 по 1953 гг.: сначала три года на физическом факультете, а затем, начиная с 1949 года, четыре года – на философском факультете. Семь лет, проведенных Г.П. в МГУ, безусловно, добавили к его незаурядным природным данным глубокие знания, особенно в области физики, и дали возможность получить систематические представления о развитии философии. Годы своей учебы в Московском университете Г.П. подробно описал в биографической книге «Я всегда был идеалистом...», опубликованной через семь лет после его кончины, в 2001 году.³ В дальнейшем в этой статье я буду неоднократно обращаться к содержанию этой книги и поэтому сейчас скажу о ней несколько слов.

На самом деле «Я всегда был идеалистом...» не является книгой в строгом смысле этого слова. Это – рассказ Г.П.Щ. о некоторых этапах его жизни, доведенный приблизительно до середины 60-х годов. Этот рассказ был записан на магнитофон в 1980 и в 1981 гг. психологом Н. Щукиным, работавшим в то время в Институте общей и педагогической психологии АПН СССР. Поводом для этого рассказа явилась публикация в начале 80-х гг. в журнале «Знание – сила» цикла статей о деятелях советской психологии, и Г.П.Щ. захотел принять участие в этом обсуждении, поскольку в опубликованных материалах усмотрел много ошибок и несуразностей. В дальнейшем этот замысел претерпел существенные изменения, и текст книги охватил не только описание активного участия Г.П. в истории советской психологии 50–60-х гг., но и много других тем, связанных как с жизнью Георгия Петровича, так и вообще с интеллектуальной историей нашей страны в то время. После окончания этой работы текст был напечатан на пишущей машинке, положен в соответствующую архивную папку, и Г.П., как пишут его издатели, следующим образом распорядился его судьбой: «Эта рукопись не подлежала ни публикации, ни какому-либо другому использованию, а должна была просто "быть" и храниться на "будущее"».⁴

³ Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом... / Издатели Давыдова Г.А., Пископпель А.А., Рокитянский В.Р., Щедровицкий Л.П. М., 2001. Вскоре после выхода этой работы в свет на нее была опубликована интересная и глубокая рецензия одного из первых учеников Георгия Петровича Вадима Марковича Розина – см.: Розин В.М. Становление личности и время (Г.П. Щедровицкий и его воспоминания) // Вопросы философии. 2002. № 7. С. 171–178.

⁴ Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом. С. 4.

Есть некоторое логическое противоречие между этим распоряжением и замыслом всей работы – вряд ли Георгий Петрович рассказывал о психологии, философии, логике, о своих друзьях, коллегах и т.п. только для того, чтобы положить все это в архивную папку, и поэтому издатели этой книги, исправив «разного рода небрежности и оговорки устной речи», поступили совершенно правильно, опубликовав этот текст. Мы же, читатели, получили бесценный документ, рассказывающий о нашей истории 40–60-х гг., написанный к тому же удивительно искренне. Во всяком случае каждый, кто интересуется духовной историей России того времени, не может и не должен проигнорировать эту замечательную книгу.

Основным источником создания текста «Я всегда был идеалистом...» была блестящая память Георгия Петровича, которая подводила его крайне редко. Огромный содержащийся в этом сочинении фактологический материал у меня не вызывает сомнений. Однако все же память есть только память, и ее сбои могут иметь место. Поэтому я рекомендую читателю читать эту книгу с известной долей осторожности: мы не должны забывать, что ее текст Щедровицким не был написан и не был исправлен, как это обычно делается, при чтении верстки.

Укажу на одну ошибку памяти, с моей точки зрения, совершенно очевидную, которая проникла в текст книги. Г.П. вспоминает бурные дискуссии, которые велись на философском факультете в 1953–1955 гг. В книге говорится:

Дискуссии сменяли одна другую, происходили обсуждения, где молодое и старое поколения сталкивались в ожесточеннейшей, может быть, даже смертельной схватке. Смертельной, естественно, для старшего поколения, поскольку оно могло ее не выдержать. Тогда, кстати, возникла смешная легенда, что я убил профессора Трахтенберга.⁵

На одной такой дискуссии

профессор выступал по поводу диалектики, утверждая, что противоречия обнаруживаются в каждой вещи, а мне пришлось говорить после него, и я тогда вытащил монетку и попросил по-

⁵ Там же. С. 25.

казать мне, где в этой вещи противоречие... Такая трактовка «вещи», про которую он говорил, и требование вскрыть противоречие в реальности были для Трахтенберга совершеннейшей несуразностью. Он не был к этому в принципе готов. А пример был невероятно простой и наглядный, поэтому зал и хохотал. Это было очень обидно старому, заслуженному профессору, который читал на латинском языке средневековых философов.⁶ Ну злые языки и говорили, что у него из-за происшедшего случая случился инфаркт, и он умер, когда приехал домой.⁷

Злые языки могут говорить все, что угодно, но публикуемый далее рассказ Г.П. о значительно более позднем обсуждении в 1959 г. на расширенном партийном собрании Института психологии и редколлегии журнала «Вопросы психологии» подготовленного к изданию второго тома сочинений Л.С. Выготского написан в такой форме, что читатель может подумать, что упомянутый выше спор Щедровицкого с Трахтенбергом действительно привел к смерти последнего. В то время против публикации сочинений Л.С. Выготского выступали еще здравствующие его противники 30-х гг., а также и некоторые его ученики, которые занимали в 50-е гг. ведущие позиции в советской психологии. На этом заседании основной доклад было поручено сделать психологу, который еще в 30-е гг. «прославился как участник травли Выготского». В таком же духе он выступал и на собрании 1959 г., но когда заявил, что «Выготский отрицал ленинскую теорию отражения», то Щедровицкий, как сказано в этой книге, «заорал на весь зал: "Клевета!"».⁸ Далее произошло непредвиденное: оратор стал синеть, заваливаться назад... переполох в президиуме, переполох в зале, кто-то побежал за скорой помощью... Г.П. сидит и думает:

снова убил человека, вот же мало мне Трахтенберга – тут еще и про этого будут говорить... фу ты, черт, до чего противно.⁹

⁶ Хочу заметить, что О.В. Трахтенберг, родившийся в 1889 году и получивший прекрасное философское и юридическое образование, при советской власти был вынужден жить очень осторожно: в молодые годы он вступил в кадетскую партию и явственно ощущал за своей спиной дамоклов меч, который мог поразить его в любую минуту.

⁷ Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом. С. 25–26.

⁸ Там же. С. 76.

⁹ Там же. С. 77.

На самом деле О.В. Трахтенберг скончался 23 мая 1959 г., т.е. спустя 6 или 7 лет после описанного Георгием Петровичем эпизода, имевшего место на одной из публичных дискуссий, происходивших на философском факультете в начале 50-х годов.

Следует учесть также, что и само название книги «Я всегда был идеалистом...» придумано не самим ее автором, а издателями. А.А. Пископпель и Л.П. Щедровицкий в этой связи рассказали мне, что все четыре издателя (кроме названных лиц – еще Г.А. Давыдова и В.Р. Рокитянский) после некоторого обмена мнениями согласились с названием «Я всегда был идеалистом...», потому что очень близкие утверждения содержатся в тексте самой этой книги (см., например, публикуемое на с. 6 факсимиле Г.П.Щ.) и потому что – и это очень разумно – они хотели дать автобиографической книге броское название.

Думаю, однако, что не надо только считать – это может привести читателей к заблуждениям, – что когда Г.П. пишет в приведенном в книге факсимиле «Я был идеалистом...», он принимает одну из самых общих философских позиций, а именно – идеализм – за основу своего мировоззрения. Метафизическими проблемами типа «материализм или идеализм», с моей точки зрения, Георгий Петрович *вообще не занимался*. Я считаю, что приведенные в факсимиле слова Г.П.Щ. «для меня теории, теоретические принципы существовали как первая и подлинная реальность» следует понимать так: для него, Георгия Петровича Щедровицкого, поставившего одной из важнейших своих жизненных задач построение *теории мышления*, более того – *логической теории мышления*, теории, теоретические принципы существовали как первая и подлинная реальность, и это вполне естественно, но никакой метафизики за этим не стояло. При такой интерпретации приведенного утверждения Г.П.Щ. *не возникает никаких противоречий* между названием книги и многими опубликованными заявлениями Г.П.Щ., что при решении общих философских проблем он защищает материалистическую точку зрения (конечно, эти заявления можно отнести за счет учета Георгием Петровичем существовавшей в то время тяжелой идеологической обстановки, однако я так не думаю – не таков был Г.П.Щ. по своему характеру и убеждениям, да и не требовалось это делать в каждом конкретном случае).

3. Почему Московский логический кружок существовал столь короткое время

Во время обучения на философском факультете Г.П. Щедровицкий познакомился – скорее всего это произошло в самом начале 50-х гг. – с Александром Александровичем Зиновьевым (он окончил факультет в 1951 г. и учился в аспирантуре в 1951–1954 гг.), Борисом Андреевичем Грушиным (окончил факультет в 1952 г. и учился в аспирантуре в 1952–1955 гг.) и Мерабом Константиновичем Мамардашвили (окончил факультет в 1954 г. и учился в аспирантуре в 1954–1957 гг.). Вскоре между этой четверкой блестящих выпускников философского факультета (Г.П. Щедровицкий окончил факультет в 1953 г.) возникла *сильная психологическая привязанность*, очевидная близость теоретических интересов и твердое желание решительно бороться с господствующим на факультете догматизмом в преподавании и исследовании философских проблем. Конечно, они не заключали никаких формальных соглашений, не давали никаких клятв друг другу, они просто жили, изучали философию и пытались оказать влияние на тогдашнее ее положение в нашей стране. Отношение к официальной философии было у них вполне определенным: его выразил в то время Зиновьев в одном из своих выступлений, в котором он скорректировал знаменитый одиннадцатый тезис Маркса о Фейербахе следующим образом: если раньше философы объясняли мир, то теперь советские философы не делают и этого.

Проходившие на факультете в начале 50-х гг. философские дискуссии – по проблемам логики (декабрь 1953 – март 1954) и так называемая гносеологическая дискуссия (апрель – май 1954), в которых все они приняли активное участие, – еще более сплотили эту «великолепную четверку», которая несколько неожиданно, возможно, даже для них самих, приобрела статус Московского логического кружка. Члены кружка очень скоро стали шутливо называть разрабатываемую ими логическую концепцию диалектическим станковизмом (по аналогии с И. Ильфом и Е. Петровым, которые так называли представителей советского при-

способленческого искусства 20–30-х годов), а самих себя – диалектическими станковистами, или диастанкурами. Вначале, как заметил Б.А. Грушин, эти термины употреблялись «как маркер нашего отношения к официальной логике»,¹⁰ а затем получили достаточно широкое употребление.

Этот кружок оказался аспирантско-студенческим объединением совершенно нетрадиционного типа, о чем тридцать пять лет спустя очень хорошо скажет Мамардашвили:

Это было завязкой дружеских связей, связей заговорщиков личного бытия интеллектуальной, идеально-содержательной дружбы, то есть явления, которое исключалось существующим обществом. Если дружба случалась, то уже сама по себе она становилась разрушительной оппозицией по отношению к тогдашнему обществу. А знакомство запоминалось прежде всего потому, что стало первым выходом из внутренней эмиграции. Для меня это значило, что отныне существую не только я в своем одиночестве.¹¹

Московский логический кружок (позднее его название будет изменено – далее я скажу, по каким причинам, – на Московский методологический кружок) стал важным явлением истории отечественной философии второй половины XX века, и специальные статьи появились о нем в последнее время даже в российской энциклопедической философской литературе.¹² Об истории этого кружка, содержании деятельности его участников и т.п. опубликованы статьи как его создателей, так и тех студентов начала 50-х гг., которые очень быстро к нему примкнули.¹³

Свою версию истории создания Московского логического кружка и его преобразования в Московский методологический

¹⁰ Грушин Б.А. Мы пытались ответить на кардинальные вопросы... // Вопросы методологии. 1994. № 1–2. С. 20.

¹¹ Мамардашвили М.К. Начало всегда исторично, то есть случайно // Вопросы методологии. 1991. № 1. С. 44.

¹² См., например: Огурцов А.П. Московский методологический кружок // Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М., 1995. С. 351–352.

См. статьи М.К. Мамардашвили, И.С. Ладенко, Б.А. Грушина, опубликованные в журнале
¹³ См. статьи М.К. Мамардашвили, И.С. Ладенко, Б.А. Грушина, опубликованные в журнале «Вопросы методологии» (1991, № 1; 1991, № 3; 1994, № 1–2) и другие.

кружок неоднократно высказывал и сам Георгий Петрович. Протицируем один фрагмент публичных лекций Г.П., прочитанных в марте – мае 1989 г. в Киноцентре:

Московский логический кружок (МЛК) сложился в 1952 году, потом, в 1954-м, выдвинул на совещании по проблемам логики на философском факультете свою концепцию и просуществовал где-то до 1957 года. Его участниками были: Александр Зиновьев, Борис Грушин, Мераб Мамардашвили и я. И еще много-много студентов, позже вокруг него объединившихся. В 1957 году логический кружок распался в силу внутренних противоречий. Люди разошлись. И поэтому в 1957 году был создан Московский методологический кружок (ММК), который существует до нынешнего времени. Его создателем пришлось быть уже мне одному, поскольку и Зиновьев пошел своим путем, и Грушин своим путем, и Мамардашвили тоже своим путем.¹⁴

В рассказах участников Московского логического кружка о его истории есть много несоответствий, что вполне естественно: авторы главным образом опираются на свою память. Вместе с тем эти несоответствия касаются, как правило, частных и не искажают общей картины. Практически все свидетели признают, что кружок возник в 1952 году (в некоторых случаях указывается конец 1952 г.), что его создатели приняли участие в двух ранее упомянутых философских конференциях, прошедших в 1953–1954 гг., что на совещании по логике в 1954 г. кружок выдвинул свою концепцию, но перестал существовать из-за внутренних противоречий, скорее всего, в 1957 г. (иногда говорится, что это произошло в 1956 г.). И.С. Ладенко даже уточняет, что «раскол в МЛК произошел в мае 1956 года», «но еще с осени 1954 года роль лидера Кружка перешла к Г. Щедровицкому»,¹⁵ в других случаях утверждается, что МЛК просуществовал

¹⁴ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология / Сост. Пископпель А.А., Рокитянский В.Р., Щедровицкий Л.П. М., 1997. С. 2. (В эту книгу включены 15 «ключевых», с точки зрения ее составителей, ранее не публиковавшихся работ Георгия Петровича и хранящихся в его огромном по объему архиве.)

¹⁵ Ладенко И.С. Становление и развитие идей генетической логики // Вопросы методологии. 1991. № 3. С. 10 (доработанный и расширенный вариант этой статьи под названием «Г.П. Щедровицкий в развитии генетической логики и методологического движения» опубликован в книге: Философия не кончается... Из истории отечественной философии. XX век. 1960–1980-е годы / Под ред. Лекторского В.А. М., 1998. С. 564–595).

до 1958 г.). Все это, однако, не столь существенно, и, чтобы закончить обсуждение этого вопроса, я приведу еще лишь мнение Мераба Мамардашвили, которое кардинально отличается от того, что на этот счет было сказано Г.П.Щ., Ладенко и некоторыми другими. Мне представляется, что в мнении Мераба есть большой смысл.

Отвечая на вопрос ответственного секретаря журнала «Вопросы методологии» М.С. Хромченко: «Из-за чего распалось "общение" четырех создателей Московского логического кружка?», – М.К. Мамардашвили сказал:

Ну, в каком-то смысле оно вообще не распалось, как ни странно, в действительности. А если и распалось, то гораздо позже, чем в то время, о котором вы говорите. Скажем, знаком распада можно считать просто физический отъезд Зиновьева за границу, а это уже 1976 год. Что касается меня, то я вышел с самого начала, да и вхождение не было волевым актом – так случилось... и нам казалось, что так надо и так надо продолжать, а вскоре оказалось, что так не надо и так не надо продолжать, и продолжение взял на себя только Щедровицкий. И когда он взял это на себя, случилось то, о чем я сказал бы именно так: именно потому, что я в этом не участвовал, мы сохранили с ним дружеские отношения, то есть те, что были до того. И они держались потом независимо от того, встречались мы с ним или нет. В том смысле, как я уже говорил, он остается другом и сейчас, хотя последнее время мы почти не видимся...¹⁶

В одном из разговоров Мамардашвили с Щедровицким, о котором вспомнил Мераб, он сказал Юре:

Если ты хочешь, чтобы между нами сохранились дружеские отношения, чтобы мы могли обмениваться какими-то мыслями, которые будут взаимно интересными, то не втягивай меня, не ожидай от меня какого-либо участия в какой-либо организованной деятельности. Я не могу маршировать ни в каком ряду, ни в первом, ни в последнем, ни посередине никакого батальона, и весь этот

¹⁶ Мамардашвили М.К. Начало всегда исторично, то есть случайно // Вопросы методологии. 1991. № 1. С. 47.



церемониал общей организованной деятельности абсолютно противоречит моей сути, радикально противоречит тому, как я осознаю себя философом. Не мое это дело. Я философ, никакой я не методолог...¹⁷

Поистине Мераб был – и я убежден, что с этим согласятся все, кто его знал, – очень мудрым человеком.

Я рискну добавить к тому, что говорили о причинах распада МЛК Щедровицкий, Грушин, Ладенко и особенно Мамардашвили, одно свое соображение. Во второй половине 50-х гг. сильная человеческая тяга всех основателей Московского логического кружка друг к другу сменилась *глубокой психологической несовместимостью*. *Вместе работать они уже в принципе не могли*. Поскольку этот Кружок не был жесткой, строго структурированной системой, а представлял собой единство на основе интеллектуальной, идеально-содержательной дружбы, он еще мог существовать, возможно, весьма продолжительное время, во всяком случае, во взаимоотношениях Мамардашвили, Грушина, Щедровицкого и некоторых более молодых его участников, и он так и существовал в 60-е и даже в 70-е годы. Однако у этого Кружка был существенный *содержательный изъян*: его сторонники хорошо осознавали свою *негативную программу* – необходимость решительной борьбы с догматизмом, безграмотностью и полнейшей идеологизацией отечественной философии, но их *позитивная программа* была *аморфна и весьма неопределенна*.

Ключевой ее момент – *призыв к разработке проблем логики* – содержал, как минимум, одно чрезвычайно многозначное понятие, а именно – понятие «логика». В результате этого ни философы, которые были готовы поддержать это, казалось бы, весьма разумное начинание, ни оппоненты этой программы, ни даже сами ее участники не могли внятно объяснить, к чему же стремятся члены Московского логического кружка.

Понятие «логика» в этой программе использовалось как своего рода сакральный термин, и на его основе построить серьезную научную программу было невозможно. Любопытно, что такие психологические антиподы, как Мамардашвили и Щедровицкий, объяс-

¹⁷ Там же. С. 47.

няли обращение членов Московского логического кружка к логике почти что в тождественных формулировках.

М.К. Мамардашвили:

Наша порядочность и так называемая прогрессивность измерялась просто выбором соответствующих тем или сюжетов. Скажем, в мое время на философском факультете – я окончил его в 1954 году – всякий человек, который занимался историческим материализмом, был нами презираем, поскольку мы признавали только тех, кто занимался логикой и эпистемологией.¹⁸

Г.П. Щедровицкий:

Можно, конечно, и нужно в определенный момент заниматься социальной философией..., но тогда все это было невозможно, и потому все те, кто хотел заниматься философией по-настоящему, шли на кафедру логики и начинали обсуждать логику...¹⁹

После организационного распада Московского логического кружка каждый из его активных участников должен был определить *свое понимание логики* и решить вопрос о сфере своей дальнейшей научной деятельности. А.А. Зиновьев во второй половине 50-х и в 60-е гг. стал активно заниматься сначала изучением, а затем работой в области современной символической логики и опубликовал в 1960 г. обстоятельный анализ философских проблем многозначной логики,²⁰ который вскоре был издан также на английском языке и получил признание как в Советском Союзе, так и за рубежом. Активные участники Московского логического кружка в 50-е гг. В.К. Финн и Д.Г. Лахути, которые были близки к Зиновьеву по своим научным интересам, приняли очень разумное решение окончить, кроме философского факультета, еще и механико-математический факультет МГУ и впоследствии стали видными отечественными специалистами в области математичес-

¹⁸ Мамардашвили М.К. «Мой опыт нетипичен» // Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1992. С. 364.

¹⁹ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 2.

²⁰ Зиновьев А.А. Философские проблемы многозначной логики. М., 1960.

кой логики и информационной науки. Б.А. Грушин, начавший в 1955 г. свою работу в редакции газеты «Комсомольская правда», очень скоро создал в ее рамках Институт общественного мнения и в 60–70-е гг. стал одним из ведущих российских социологов. М.К. Мамардашвили на всю свою жизнь остался истинным философом (думаю, единственным из всех, кто был так или иначе связан с Московским логическим кружком²¹), а в 80-е годы заслуженно получил мировую известность.²² И.С. Ладенко многие годы упорно работал над исследованием рефлексивных процессов и связанных с ними научных знаний, но в начале 60-х гг. прервал (и навсегда, что очень обидно) свое научное общение с Г.П. Щедровицким, причиной чего был «отказ Ладенко от первоначальной принципиальной установки Московского логического кружка по отношению к формальной логике, которая (как стал позднее считать Иосаф Семенович – В.С.) охватывает широкий круг логических средств построения научных теорий, а не простого внешнего оформления готового знания».²³ (Замечу, я убежден, что Ладенко в этом споре был абсолютно прав). Мы с В.С. Швыревым в конце 50-х гг. были приняты в Институт философии АН СССР, я – в 1958 г. на работу, он – в 1959 г. в аспирантуру (кстати, и в том, и в другом случае нас рекомендовал А.А. Зиновьев – сложившееся в Московском логическом кружке неформальное общение продолжало действовать). И я, и Швырев поддерживали в то время творческие отношения с Г.П.Щ. У меня они продолжались приблизительно до середины 60-х гг., а позднее стали просто хорошими дружескими отношениями. Многие новаторские идеи Георгия Петровича мне нравились – например, сформулированный им принцип параллелизма содержания и формы мышления, и я в своих работах тех лет пытался привести те или иные аргументы в его пользу. Н.Г. Алексеев, с которым я и Швырев

²¹ В этой связи не могу не привести замечательные слова Б.А. Грушина, сказанные им в беседе с М.С. Хромченко: «Мамардашвили интересовала теория сознания на философском уровне. Он сделал совершенно гениальную работу по проблемам сознания у Маркса... Мамардашвили был единственным подлинным философом не только среди нас, но и среди, простите за канцеляризм, философской общественности страны, во всяком случае – первым из всех. Он вел себя всегда и думал как философ, даже в самых бытовых сюжетах, далеких от науки» (Грушин Б.А. Мы пытались ответить на кардинальные вопросы... // Вопросы методологии. 1994. № 1–2. С. 23).

²² Конгенитальность мысли. О философе Мерабе Мамардашвили / Ред.-сост. Кругликов В.А. М., 1994. См. также: Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4. СПб., 1997. С. 812.

²³ Ладенко И.С. Становление и развитие идей генетической логики // Вопросы методологии. 1991. № 3. С. 11.

учились на одном курсе, из-за болезни окончил философский факультет не в 1956-м, а в 1957 г., многие годы был очень близким по духу и по работе к Г.П.Щ. человеком. С Георгием Петровичем во второй половине 50-х годов продолжал активно работать В.А. Костеловский, начали сотрудничать Б.В. Сазонов, П. Гелазония, В.А. Лефевр, В.М. Розин и многие другие. Что касается самого Г.П. Щедровицкого, то после успехов и неудач Московского *логического кружка он твердо решил построить новую логику – содержательно-генетическую.*

4. Программа исследования «ЯЗЫКОВОГО МЫШЛЕНИЯ»

Прежде чем попытаться проанализировать проект построения содержательно-генетической логики, я остановлюсь на нескольких проблемах, которым Г.П.Щ. уделял большое внимание в конце 50-х – начале 60-х гг. и разработка которых во многом предшествовала выдвиганию программы содержательно-генетической логики.

В 1957 г. Г.П.Щ. опубликовал в журнале «Вопросы языкознания» свою первую статью «Языковое мышление» и его анализ.²⁴ Эта статья была не только первой статьёй Г.П.Щ., она, как и статья Б.А. Грушина «Логические и исторические приемы исследования в «Капитале» К. Маркса»,²⁵ оказались вообще первыми публикациями участников Московского логического (методологического) кружка.

Появление в ведущем советском академическом лингвистическом журнале статьи Г.П. Щедровицкого, практически совершенно еще не известного философа (языковедам он вообще был не знаком), – дело не ординарное. Я не знаю истории прохождения этой статьи в «Вопросах языкознания», но, видимо, члены редколлегии оценили новаторство и интеллектуальную глубину рассуждений ее автора. Статья Г.П. вызвала несомненный интерес и получила за сравнительно короткое время большой индекс цитирования.

²⁴ Щедровицкий Г.П. «Языковое мышление» и его анализ // Вопросы языкознания. 1957. № 1. (перепечатано в книге: Щедровицкий Г.П.: Избранные труды. М., 1995. С. 449–465).

²⁵ Грушин Б.А. Логические и исторические приемы исследования в «Капитале» К. Маркса // Вопросы философии. 1955. № 4.

Попытаюсь выделить ее основные тезисы. Прежде всего следует заметить, что в этой статье Г.П.Щ. четко фиксирует свой предмет – *мышление* – и не менее четко показывает, что анализ этого предмета требует *синтеза данных целого ряда наук*, исследующих мышление с разных его сторон – философии, логики, психологии, лингвистики. По сути дела, тем самым намечается программа *системного, целостного анализа мышления*, реализации которой Г.П. отдаст много сил.²⁶

Г.П.Щ. прекрасно осознает, что понятие «мышление» в многовековой интеллектуальной истории человечества употреблялось в столь разных смыслах, что для того, чтобы действительно анализировать мышление, надо четко определить, что следует понимать под мышлением или, по крайней мере, что автор под ним понимает. Статья «Языковое мышление» и его анализ» начинается именно с такого уточнения, проведенного, с моей точки зрения, просто с блеском.

Георгий Петрович писал:

Как реальность и как объект исследования мышление составляет какую-то сторону (элемент) сложного органического целого – всей общественной деятельности человека, или, если брать уже, его психической деятельности.²⁷

Мышление неразрывно связано с другими сторонами этого целого, и *отделить его от этих других сторон* (процессов труда, чувственных, волевых, эмоциональных процессов, процессов общения и т.п.) можно только в абстракции.

Аналогичным образом,

язык составляет какую-то сторону (элемент) общественной деятельности человека и не может быть отделен от ряда других сторон этой деятельности, в частности от мышления и процессов общения.²⁸

²⁶ Проблематика системного, целостного познания мышления и других объектов будет одной из важных сфер научных исследований Георгия Петровича как в ранние годы, так и в последующем. К сожалению, в этой статье я не смогу ее подробно рассмотреть, но планирую это сделать в ближайшем будущем в специальной статье.

²⁷ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 449.

²⁸ Там же.

Вместе с тем, мышление и язык – это, конечно, разные стороны общественной деятельности человека, и одно из самых существенных различий между ними состоит в том, что

мышление... само по себе недоступно непосредственному восприятию... но знание о мышлении... возникает и может возникнуть, очевидно, только из чего-то непосредственно данного, непосредственно воспринимаемого, а язык как система субстанциальных знаков, как субстанциальные изменения... представляет собой нечто доступное непосредственному восприятию и поэтому может служить исходным материалом в исследовании.²⁹

Естественно, что то *непосредственно данное, из чего возникает знание о мышлении, это – язык.*

Приведенные определения резюмируются Г.П.Щ. следующим образом:

нам дан язык, в котором, в частности, осуществляется мышление. Но и язык, с другой стороны, существует только в неразрывной связи с мышлением. В силу этого, приступая к исследованию мышления или языка как проявления мышления, мы не можем взять уже в *исходном пункте* язык и мышление отделенными друг от друга, а должны взять единое, выступающее какой-то своей стороной на поверхность и внутренне еще не расчлененное целое, содержащее в себе язык и мышление в качестве сторон. Мы будем называть это целое «языковым мышлением», подчеркивая тем самым его внутреннюю нерасчлененность.³⁰

Термин «языковое мышление», видимо, навеян Георгию Петровичу термином Л.С. Выготского «речевое мышление»³¹, который, по мнению Г.П.Щ.,

употреблял термин «речь», по-видимому, в том смысле, который мы обычно вкладываем в термин «язык».³²

²⁹ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 449.

³⁰ Там же. С. 449–450.

³¹ Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М., 1956. С. 49.

³² Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 451.

В итоге Г.П. так определяет свой предмет исследования в этой статье, (как, впрочем, и важнейший предмет всего раннего периода своего творчества):

в рамках «языкового мышления» в качестве мышления мы будем рассматривать только те формы отражения, которые выражаются в языке, а в качестве языка – все те и только те знаковые системы, которые служат для выражения мыслей.³³

В этом месте я считаю необходимым сделать два замечания.

Первое. Ограничивая понятие «мышление» только языковым мышлением, Г.П.Щ. выводит за скобки своего исследования все различные формы доязыкового и доречевого мышления, к анализу которых в то время – в середине 50-х гг. и даже ранее – было приковано значительное внимание психологов и лингвистов. В своей статье он, в частности, ссылается на три номера журнала «Acta Psychologica» за 1954 г., все статьи которых посвящены обсуждению именно этой проблематики,³⁴ и замечает при этом, что вопросы типа: всегда ли мышление выражается в языке или существует мышление, не связанное с языком, и язык, не выражающий мышления, являются «логически неправомочными».³⁵ Логика, на мой взгляд, здесь совсем ни при чем; что же касается неправомочности этих вопросов, то это утверждение справедливо только относительно данного Г.П.Щ. определения «языкового мышления». Для других же форм мышления такие вопросы имеют вполне определенный смысл, и недаром их анализом активно занимались в 50-е гг. и занимаются вплоть до настоящего времени.

И второе. Г.П.Щ. приводит в своей статье мнение Л.С. Выготского о существовании «так называемой доречевой стадии в развития мышления», но считает это мнение «неправильным с точки зрения его собственного (то есть Л.С. Выготского – В.С.) метода»,³⁶ что мне представляется весьма сомнительным.

После введения абстракции «языковое мышление» Георгий Петрович приступает к исследованию основной проблемы этой

³³ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 450.

³⁴ Acta Psychologica. 1954. Vol. X. № 1, 2, 4.

³⁵ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 450.

³⁶ Там же. С. 453.

статьи – выяснению взаимоотношения языка и мышления. Он упоминает о предложенной Л.С. Выготским классификации всех попыток решить проблему взаимоотношения мышления и речи (языка) на две группы: отождествление и полное слияние мысли и речи и столь же абсолютное их разъединение.³⁷ Если мысль и слово совпадают, никакое отношение между ними не может возникнуть и не может служить предметом исследования, считает Л.С. Выготский, и Георгий Петрович с ним полностью соглашается. По Выготскому, не дают решения рассматриваемой проблемы и сторонники второй группы, поскольку «знак языка, оторванный от мысли, теряет все свои специфические свойства, которые только и делают его знаком человеческого языка и выделяют из всех остальных природных процессов и явлений».³⁸ Г.П.Щ. согласен и с этим, и он решительно поддерживает идею Выготского о том, что «речевое (языковое) мышление» можно исследовать только в том случае, если удастся расчлнить сложное целое – «речевое мышление» на «единицы» – «такой продукт анализа, который в отличие от элементов обладает всеми основными свойствами, присущими целому, и который является далее неразложимой живой частью этого единства».³⁹

В дальнейшем методы исследования «языкового (речевого) мышления» Л.С. Выготским и Г.П. Щедровицким во многом расходятся: Выготский ведет свой анализ в рамках *психологии мышления*, Щедровицкий широко привлекает в своей работе *философско-методологический понятийный аппарат* (он его нередко называет логическим, что, с моей точки зрения, неоправданно, и об этом я буду говорить в последующих разделах этой моей статьи). Как бы там ни было, Г.П.Щ. определяет главную причину неудач сторонников второго направления исследования взаимоотношения языка и мышления в том,

что они и то и другое (язык и мышление – В.С.) представляли как равноправные в смысле вещественного существования и рядом положенные в сознании процессы и явления.⁴⁰

³⁷ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 451.

³⁸ Там же.

³⁹ Там же. С. 452. См. также: Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М., 1956. С. 48.

⁴⁰ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 452.

сегодня выглядят оправданными и хорошо обоснованными, но несомненно, что она оказала важной стимулирующее влияние на проведение строго научных исследований проблем языка и мышления.

5. Логико–методологический анализ строения понятий и процессов их развития

В 1958 году Георгий Петрович опубликовал в журнале «Вопросы философии» статью «О некоторых моментах в развитии понятий»,⁴⁴ в которой были изложены основные результаты его дипломной работы, защищенной на кафедре логики философского факультета МГУ в 1953 году. Сразу после окончания факультета опубликовать эту работу было невозможно и только через пять лет это удалось сделать. Предполагаю, что большую помощь в публикации этой статьи оказал М.К. Мамардашвили, который в 1958 г. стал работать в редакции журнала «Вопросы философии» (в этом случае, как и во многих других, старая дружба дает свои плоды).

Эта статья открывала целую серию публикаций Г.П.Щ., посвященных, как он любил говорить, проблемам *познающего мышления* – вопросам анализа строения и процессов развития понятий. С моей точки зрения, это очень важная сфера научных исследований Георгия Петровича, в которой он получил глубокие и интересные результаты. Наряду с названной статьей в этой связи следует упомянуть шесть статей Г.П.Щ. под общим названием «О строении атрибутивного знания»,⁴⁵ его большую неопубликованную работу «Опыт логического анализа рассуждений» («Аристарх Самосский»),⁴⁶ другие его статьи, а также статьи его учеников – И.С. Ладенко, В.С. Швырева, Н.Г. Алексева, В.А. Костеловского, В.А. Лефевра, В.М. Розина, А.С. Москаевой, О.И. Генисаретского⁴⁷ и других.⁴⁸

⁴⁴ Щедровицкий Г.П. О некоторых моментах в развитии понятий // Вопросы философии. 1958. № 6. С. 55–64 (перепечатано в книге: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 577–589).

⁴⁵ Щедровицкий Г.П. О строении атрибутивного знания. Сообщения I–VI // Доклады АПН РСФСР. 1958. № 1, 4; 1959. № 1, 2, 4; 1960. № 6 (перепечатано в книге: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 590–630).

⁴⁶ Щедровицкий Г.П. Опыт логического анализа рассуждений («Аристарх Самосский» // Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 57–202.

⁴⁷ Ссылки на их работы приведены в книге: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 727–746.

⁴⁸ По рекомендации Г.П. на четвертом курсе я тоже предпринял попытку проведения такого анализа на материале «Геометрии» Р. Декарта, но каких-то интересных выводов получить не смог. Поэтому моя курсовая работа за 4-й курс (1954/55 учебный год) не дошла до печати и осталась лишь эпизодом моей биографии.

Упомянутые работы Г.П.Щ. и его учеников носили *эмпирический* характер. Их, конечно, нельзя было назвать *историко-научными* (в них отсутствовало традиционное для истории науки подробное хронологическое описание деятельности тех или иных ученых, не было анализа соответствующих документов и т.п.), но они были *историко-методологическими*. Георгий Петрович, правда, часто называл их *логическими*, но это, как выяснилось впоследствии, было заблуждением, о котором я еще поговорю далее.

Во всех этих статьях четко фиксировался *конкретный предмет исследования* – например, выявление этапов развития понятия «скорость» в статье Г.П.Щ. 1958 года, анализ роли отношения эквивалентности в процессах мышления в исследованиях И.С. Ладенко, анализ функций знаковых средств, в частности чертежа, в работах В.М. Розина, попытка реконструкции Георгием Петровичем рассуждений Аристарха Самосского (III в. до н.э.), посредством которых тот определил отношений расстояний «Солнце – Земля» и «Луна – Земля»,⁴⁹ и т.п.

Во всех этих работах в качестве некоторой *посылки* принимался тезис о том, что

исследование процессов развития понятий ... выходит за рамки так называемого формально-логического подхода к мышлению, не рассматривающего процессы образования знаний.⁵⁰

Как и всякая посылка, она не доказывалась, а просто принималась. То, что традиционная аристотелевская логика не занималась процессами образования понятий, это – бесспорно; ее создатели таких задач перед собой не ставили. Однако из этого не следовало, что аппарат формальной логики, особенно разработанный в последние сто лет, *в принципе не может использоваться для исследования процессов развития знаний*. Поэтому названная посылка была, по меньшей мере, сомнительной, а из нее делался вывод о необходимости построения новой логики. Что такая логика может из себя представ-

⁴⁹ Эта рукопись Г.П.Щ. безусловно требует серьезного изучения, которое, насколько я знаю, пока никем не было проведено.

⁵⁰ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 577.

лять, я рассмотрю позже; сейчас же пока достаточно зафиксировать то, что эта посылка требовала обстоятельного обсуждения, которое в 50-е годы членами Московского логического кружка не было проведено.

И, наконец, конкретное содержание рассматриваемых работ Г.П.Щ. и его учеников состояло в *выявлении множества приемов и способов мышления*, с помощью которых, по мнению авторов этих исследований, происходит развитие научного знания. В качестве эталонного образца для таких исследований использовался текст кандидатской диссертации А.А. Зиновьева «Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале "Капитала" К. Маркса)»,⁵¹ в которой он, обладая фантастической способностью воображения, смог выявить (в то время говорили «вычленил»), и этот термин чуть ли не был символом приверженности новым веяниям в философии) такое множество различных логико-методологических приемов, якобы использованных К. Марксом при работе над «Капиталом», что в зиновьевской интерпретации теоретически-методологическая структура главного сочинения К. Маркса приобрела черты непревзойденного совершенства. По этому же пути пошли Г.П. Щедровицкий и его ученики.

Так, Г.П.Щ., исследуя последовательность этапов развития понятия «скорость», установил, что сначала

формируется *чувственно-непосредственная абстракция*, фиксируемая отдельным словом («соро», «сорое» и т.п.), затем *случайная мера*, меняющаяся от раза к разу, и, наконец, происходит выталкивание *эталона, всеобщей и постоянной меры*.⁵²

Однако на этом процесс не заканчивается. Когда возникло представление о равномерных и переменных движениях, выяснилось, что если мы используем для измерения скоростей этих двух видов движений одну и ту же формулу, у нас возникает ситуация логической антиномии – два противоречащих утверждения оказы-

⁵¹ Зиновьев А.А. Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале «Капитала» К. Маркса). М., 1954.

⁵² Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 582 (курсив мой – В.С.).

ваются в равной степени обоснованными. В такой ситуации необходимо произвести, как назвал эту процедуру Г.П.Щ., *расщепление*, или *дифференциацию*, понятия,

в результате чего понятие скорости *расщепляется* на два понятия: *средняя скорость* и *мгновенная скорость*.⁵³

Рассматриваемая статья Георгия Петровича, а также другие упомянутые его статьи и работы его учеников безусловно являются творческими и оригинальными историко-методологическими исследованиями. Следует учесть, что методология науки возникла значительно позже формальной логики – ну так приблизительно на пару тысяч лет, и в ней и к середине XX века, да и сейчас еще нет общепринятых концептуального аппарата и содержательной структуры: в методологии науки сосуществуют различные концепции и теоретические представления. И поэтому то, что удалось сделать в этой области Г.П. Щедровицкому и его ученикам, вполне может рассматриваться как *одно из интересных направлений этой философской дисциплины и как важный вклад в разработку современных проблем философии и методологии науки*.

По-иному я вынужден оценить *логическое содержание* этих исследований. Я уже сказал несколько слов по этому поводу в самом начале настоящего раздела моей статьи, теперь остановлюсь на этом несколько подробнее. В нескольких местах статьи Г.П.Щ. «О некоторых моментах в развитии понятий» говорится о том, что установленные в ней этапы развития понятий являются *общими*: вот, например, утверждение, содержащееся на первой ее странице:

На примере механического понятия скорости мы попробуем наметить некоторые, на наш взгляд, общие моменты в развитии строения понятий.⁵⁴

Здесь сказано еще очень осторожно: «попробуем наметить» и «наш взгляд». В ходе дальнейшего анализа Георгий Петрович выражается более определенно:

⁵³ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 587.

⁵⁴ Там же. С. 576.

Та последовательность этапов, которую мы наметили в развитии понятия *скорость*... является, на наш взгляд, общей закономерностью в развитии всех количественных понятий.⁵⁵

Здесь уже речь идет об общей закономерности, но на каком основании? Нельзя ведь считать, что общую закономерность можно установить на основе анализа только одного примера развития понятия скорости. Ситуацию не спасает и то, что в конце своей статьи Г.П.Щ. перечисляет ряд примеров дифференциации понятий, с которой

мы встречаемся на каждом шагу при изучении истории науки.⁵⁶

Элементарная формальная логика говорит нам о том, что общую закономерность нельзя вывести из анализа любого множества единичных примеров. Следовательно, здесь что-то не то.

Приведу, наконец, последний абзац рассматриваемой статьи Георгия Петровича:

На основе исследования процесса расщепления понятий мы можем построить *новую схему умозаключения*. Из посылок «А есть В», «А не есть В», относящихся к одному и тому же явлению, при условии, что оба эти положения получены путем «правильных» умозаключений, мы можем сделать вывод, что реальное содержание рассматриваемого явления не соответствует строению, в частности мысленному содержанию и строению формы прилагаемого к нему понятия. Мы должны искать в рассматриваемом явлении свойство, которое не отражено в понятии и которое в то же время играет существенную роль при данном анализе этого явления.⁵⁷

Может быть, я ошибаюсь, но никакой новой схемы умозаключения в проведенном Г.П.Щ. анализе обнаружить не могу. Речь здесь идет о некотором *методологическом правиле*, но не более того. Кстати, о важности методологических правил или решений К. Поппер писал еще в своей первой книге *«Logik der*

⁵⁵ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. С. 582.

⁵⁶ Там же. С. 588.

⁵⁷ Там же. С. 589 (курсив мой – В.С.).

Forschung», вышедшей в 1934 году,⁵⁸ но никто из участников Московского логического (методологического) кружка в 50-е годы об этом ничего не знал.

В связи со сказанным я не считаю оправданным утверждение Георгия Петровича о том, что рассматриваемая его работа

носит не историко-научный, а логический характер.⁵⁹

6. Содержательно-генетическая логика: проект и основные трудности его реализации

Этот самый *амбициозный проект раннего Г.П. Щедровицкого*, разработкой которого он интенсивно занимался в 50-е и в первой половине 60-х гг., а позднее, хотя новых исследований в этом направлении он не проводил, неоднократно к нему обращался, пытаясь вновь и вновь исследовать его основания и принципы. Фактически от задачи построения содержательно-генетической логики он не отказался до конца своей жизни. Вместе в тем это – проект, который *в полной мере Г.П.Щ осуществить не смог*, и – по моим сегодняшним представлениям – этот проект *вообще не может быть реализован, во всяком случае, в его исходных формулировках*. Раньше я оценивал этот проект и возможности его реализации по-другому – позднее постепенно пришло осознание ошибочности такой оценки, и теперь от нее следует отказаться.

Мне трудно определить более или менее точное время, когда в Московском логическом кружке была сформулирована идея содержательно-генетической логики. Это произошло, конечно в первой половине 50-х годов, когда я был еще студентом философского факультета младших курсов. Правда, с А.А. Зиновьевым я познакомился раньше: он, наряду с Э.В. Ильенковым, были главными действующими лицами факультетской стенгазеты «За ленинский стиль» (так, по-

⁵⁸ Popper K.R. Logik der Forschung. Wien, 1934 (англ. пер.: Popper K.R. The Logic of Scientific Discovery. London and New York, 1959; рус. пер.: Поппер К.Р. Логика научного исследования // Поппер К.Р. Логика и рост научного знания / Под ред. Садовского В.Н. М., 1983. С. 33–235; см. особенно главу II (с. 73–81).

⁵⁹ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 588

моему, она называлась). Я выполнял в газете *очень важные функции*: был машинисткой, и без моей работы газету просто нельзя было повесить в коридоре факультета. Естественно, я общался с Александром Александровичем (тогда все, в том числе и я, называли его просто Сашей), но никаких содержательных проблем мы не обсуждали. Где-то в конце 1952-го или начале 1953 года он познакомил меня с Георгием Петровичем, что во многом предопределило мою жизнь вплоть до настоящего времени. История формирования идей содержательно-генетической логики прошла мимо меня – я был слишком молод, но, работая уже многие годы в философии и, в частности, над этой статьей, я построил для себя определенное понимание этого процесса. Чтобы не попасть пальцем в небо, я решил обсудить это понимание с Борисом Андреевичем Грушиным, который в основном поддержал мои суждения на этот счет, но внес в них одно очень существенное дополнение. С учетом этого дополнения история формирования идей содержательно-генетической логики может быть представлена следующим образом.

Впервые эта идея, как и сам термин «содержательно-генетическая логика», возникли в 1952–1953 гг. во время обсуждений Зиновьевым и Грушиным логических проблем, в которых вскоре стали принимать участие сначала Щедровицкий, а позднее и Мамардашвили. Контуры концепции содержательно-генетической логики были сформулированы, видимо, перед и в ходе дискуссии по проблемам логики, которую я уже упоминал и которая проходила на философском факультете МГУ в декабре 1953 – марте 1954 гг. В этой дискуссии четыре основателя Московского логического кружка выступали единой командой, взгляды которой противостояли идеям защитников формальной логики (имелась в виду традиционная аристотелевская логика) и сторонников логики диалектической (которая и тогда трактовалась крайне неопределенно и аморфно, а со временем, правда, значительно позднее – в 70–80-е годы, практически совсем сошла со сцены собственно логики).

Первые публикации по проблемам содержательно-генетической логики появились значительно позднее – в самом конце 50-х и в начале 60-х годов,⁶⁰ и вот такова ирония судьбы – они вышли в

⁶⁰ См.: Щедровицкий Г.П., Алексеев Н.Г. О возможных путях исследования мышления как деятельности // Доклады АПН РСФСР. 1957. № 3; 1958. № 1, 4; 1959. № 1, 2, 4; 1960. № 2, 4, 5, 6; 1961. № 4, 5; 1962. № 2–6; Щедровицкий Г.П., Ладенко И.С. О некоторых принципах генетического исследования мышления // Тезисы докладов на I съезде Общества психологов. Вып. 1. М., 1959.

свет, когда создатели этого направления в логике уже решительно разошлись и, кроме Щедровицкого, больше никто из них этими проблемами больше не занимался.

В первом абзаце этого раздела моей статьи я назвал проект создания содержательно-генетической логики «... *проектом раннего Г.П. Щедровицкого*». Может показаться, что только что описанный генезис идей такой логики противоречит такому утверждению. Я так не считаю. То, что в конце 50-х годов Г.П.Щ. остался один на один (из основателей Московского логического кружка) с этим проектом, и то, что он считал его одной из основных областей своей теоретической деятельности, говорит о том, что есть все основания считать его *детисцем Георгия Петровича*, не забывая, конечно, о том, что его отцами были и Зиновьев, и Грушин.

Отношение к варианту содержательно-генетической логики, предложенному Г.П.Щ. в середине и в конце 50-х годов, у других основателей Московского логического кружка и более молодых его членов было *неоднозначным*.

Мераб Мамардашвили, верный своим принципам, о которых говорилось в разделе 3 настоящей статьи, в эту игру *вообще не играл*. Борис Грушин, также верный вынашиваемым им, Зиновьевым, Щедровицким и другими идеям начала 50-х годов о создании новой, содержательно-генетической логики, *положительно отнесся*, как можно судить, к проекту Г.П.Щ., хотя в это время этой проблематикой сам уже активно не занимался.⁶¹ Что касается А.А. Зиновьева, то он в 1959 году подверг программу логического исследования мышления, предложенную Г.П.Щ., *серьезной критике*.⁶² Прежде чем говорить о содержании этой критики, хочу обратить внимание читателей на тот факт, что Георгий Петрович – можно уверенно об этом говорить – способствовал появлению этой статьи, которая, как и все работы Г.П.Щ. и его ближайших коллег, была представлена для печати членом-корреспондентом АПН РСФСР П.А. Шеваревым, а никто из членов Московского логического кружка, кроме Георгия Петровича, с ним вообще практи-

⁶¹ В беседах с М.С. Хромченко, состоявшихся, как было отмечено ранее, в 1991–1993 годах, Б.А. Грушин несколько раз использует термин «содержательно-генетическая логика» безусловно в положительном смысле. (См.: Грушин Б.А. Мы пытались ответить на кардинальные вопросы... // Вопросы методологии. 1994. № 1–2. С. 21, 22, 24 и другие.)

⁶² Зиновьев А.А. Об одной программе исследования мышления // Доклады АПН РСФСР. 1959. № 2. С. 73–76.

чески не был знакомы. Таковы были *нравственные установки членов этого научно-дружеского объединения*.

Объектом критического анализа Зиновьева является ранее упомянутая статья Г.П. Щедровицкого и Н.Г. Алексеева «О возможных путях исследования мышления как деятельности».⁶³ Зиновьев пишет, что изложенная в этой статье «программа вызывает некоторые сомнения как с точки зрения формулирования общей задачи, так и с точки зрения предлагаемого пути ее решения»,⁶⁴ и сосредотачивает свое внимание на последнем. Зиновьев подчеркивает, что Щедровицкий и Алексеев «настаивают на необходимости исследования мышления как деятельности, посредством которой формулируются и используются знания, учитывая при этом целевую установку. Этот призыв появился, надо думать, как следствие принятого авторами отвлечения от того аспекта исследования мышления, который фактически имеет место в современной логике и близких к ней науках (кибернетике, логической семантике, ряде областей математики и т.д.) и от результатов этого исследования».⁶⁵

В своей статье А.А. Зиновьев убедительно показывает, что все намеченные в программе Г.П. Щедровицкого и Н.Г. Алексеева операции мышления, такие как сопоставление и отнесение и другие, при их выражении в языковой форме (а иным способом их, так сказать, вычленить вообще нельзя, и вряд ли Г.П.Щ стал бы спорить по этому поводу – см. соответствующие рассуждения и цитаты из Щедровицкого, приведенные в разделе 4 моей статьи), описываются в «обычных понятиях логики», и «круг (возникающих в этой связи – В.С.) проблем решается посредством обычных понятий логики».⁶⁶ Я считаю эту аргументацию Зиновьева бесспорной.

Завершая свой критический анализ, Зиновьев отмечает: «В общем можно сказать, что единственной проблемой, поставленной в программе и не решаемой в логике более или менее детально, является проблема образования форм "мысленных знаний" (по терминологии авторов) из форм генетически низшего порядка. Насколько это ново с точки зрения психологии и истории мышления, об этом пусть судят соответствующие специалисты».⁶⁷

⁶³ Щедровицкий Г.П., Алексеев Н.Г. О возможных путях исследования мышления как деятельности // Доклады АПН РСФСР. 1957. № 3.

⁶⁴ Зиновьев А.А. Об одной программе исследования мышления // Доклады АПН РСФСР. 1959. № 2. С. 73.

⁶⁵ Там же.

⁶⁶ Там же. С. 73, 75.

⁶⁷ Там же. С. 75.

В этом замечании Зиновьева меня удивляет содержащееся в нем утверждение о том, что в логике не решается более или менее детально задача образования форм «мысленных знаний» из форм генетически низшего порядка. *Такая задача в логике вообще никогда не стояла*, и, следовательно, не могла решаться в любой форме. К такому пониманию я пришел давно, правда, позже того времени, когда происходили рассматриваемые дискуссии. Хорошо известно, что легко быть умным задним числом, но хотелось бы надеяться, что хотя бы это иногда удается.

Когда же Зиновьев передает право вынесения вердикта по поводу предлагаемого Щедровицким и Алексеевым способа решения проблемы образования форм «мысленных знаний» из форм генетически низшего порядка, он практически уходит от обсуждаемой проблемы, поскольку именно она и является *сердцевиной программы содержательно-генетической логики, как ее понимал Г.П.Щ. в 50-е годы*. Здесь Зиновьев, с моей точки зрения, не прав, но ошибался в этих вопросах и Щедровицкий, что очень хорошо видно из некоторых фрагментов его книги «Философия. Наука. Методология», в которой опубликованы ранее не издававшиеся его рукописи.

В рукописи «Методология науки, логика, теория мышления» (1964) Г.П.Щ. делает следующее очень важное – с точки зрения рассматриваемых мною сейчас вопросов – примечание, в котором он вспоминает проходившую в 1961 году Всероссийскую межвузовскую конференцию по теме «Современный позитивизм и диалектический материализм». В этой связи он пишет:

Возражая против основных тезисов докладов И.С. Ладенко, В.Н. Садовского, Б.В. Сазонова, В.С. Швырева и Г.П. Щедровицкого, Е.К. Войшвилло и В.А. Смирнов говорили: «Из неудач неопозитивистской "логики науки" вы делаете вывод, что понятия современной формальной (то есть "математической") логики не могут служить основанием для методологии науки. Между тем неудачи и ошибки этого направления обусловлены совсем не применением понятий современной логики, а его идеалистическими основаниями. Поэтому ваши утверждения неправомерны».⁶⁶

⁶⁶ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 234.

Отнесем упоминание об идеалистическом характере неопозитивистской логики науки к идеологическим требованиям того времени. На самом деле неопозитивисты идеалистами никогда не были. Им действительно не удалось выполнить свою программу построения логики науки (хотя в ее реализации они добились значительных успехов), но это – обычная ситуация в развитии науки вообще и философии в особенности.

Возвратимся к рассуждениям Г.П. На возражения Е.К. Войшвилло и В.А. Смирнова:

Им, – пишет Щедровицкий, – отвечали: «Вывод о причинах краха неопозитивистской "логики науки" делается не из самого факта неудач и ошибок этого направления (да где это видано, чтобы из факта делали вывод о его причинах?), а *из анализа исходных принципов и понятий современной формальной (в том числе и "математической") логики, из анализа лежащих в ее основе абстракций, а тем самым – и границ их возможностей*».⁶⁹

Вот это утверждение, сегодня я убежден, считать обоснованным нельзя. Во всех упоминаемых Георгием Петровичем в связи с этой дискуссией работах – ни в его докладе и заранее опубликованных тезисах, ни в докладах и тезисах Швырева, Ладенко, Сазонова, ни в моем докладе, моих тезисах и других работах того времени⁷⁰ – *доказательство этого тезиса отсутствовало*. С моей сегодняшней точки зрения его вообще доказать невозможно.

Теперь я хочу высказать еще несколько дополнительных замечаний по поводу идеи создания содержательно-генетической логики. В этом разделе статьи я сформулирую два таких замечания.

Первое. Одним из ее оснований является сформулированный Г.П.Щ. принцип «параллелизма формы и содержания мышления».⁷¹ Формулировка этого принципа Георгием Петровичем проста и, я бы сказал, изящна. Приведу эту формулировку, опираясь на статью

⁶⁹ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 234–235 (курсив мой – В.С.).

⁷⁰ Библиографические описания этих работ имеются в книге: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. С. 717–746.

⁷¹ Щедровицкий Г.П., Алексеев Н.Г., Костеловский В.А. Принцип «параллелизма формы и содержания мышления» и его значение для традиционных логических и психологических исследований. Сообщения I–IV // Доклады АПН РСФСР. 1960. № 2, 4; 1961. № 4, 5 (перепечатано в книге: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 1–33).

Г.П.Щ. 1962 года «О различии исходных понятий "формальной" и "содержательной" логик»⁷²:

В традиционной логике, начиная с Аристотеля и кончая самыми последними «математическими» направлениями, эта реконструкция (определение строения плоскости содержания. – В.С.) осуществляется на основе «принципа параллелизма содержания и формы», то есть на основе предположения, что 1) каждому элементу знаковой формы языковых выражений соответствует строго определенный субстанциальный элемент содержания и 2) способ связи элементов содержания в точности соответствует способу связи элементов знаковой формы. Этот принцип полностью предопределил метод и предмет традиционной логики, превратив ее в логику *формальную*. Если между плоскостями содержания и формы мышления существует параллелизм, то не нужно исследовать обе плоскости и связь между ними, а достаточно рассмотреть одну плоскость. Поэтому традиционная логика исследовала всегда не мышление в его целостности, а *только одну его плоскость* – плоскость знаковой формы. Поскольку вторая плоскость языкового мышления – плоскость содержания – специально и сознательно не учитывалась и не фиксировалась в логических схемах, постольку и знаковая форма рассматривалась фактически как *бессодержательная*. В глазах подавляющего большинства логиков игнорирование особенностей содержания мышления при анализе его языковой формы является не ошибкой и недостатком логики, а ее достоинством. Фактическим выражением этой точки зрения является отнюдь не тезис о содержательности или бессодержательности логических характеристик, а положение об их *всеобщей применимости*, сознательно выдвигаемое со времен И. Канта в качестве основного принципа и критерия *формально-логического*.⁷³

Согласно Щедровицкому, содержательно-генетическая логика должна отказаться от использования принципа параллелизма

⁷² Щедровицкий Г.П. О различии исходных понятий «формальной» и «содержательной» логик // Методология и логика наук. Ученые записки Томского университета. № 41. Томск, 1962 (перепечатано в книге: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 34–49).

⁷³ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 35–36.

лизма содержания и формы мышления и сосредоточить все свои усилия на исследовании структуры и развития содержания познающего мышления. Однако возможно ли это сделать? Это – мое первое замечание. Я думаю, что нет, и моим основным союзником в этой дискуссии является... Георгий Петрович Щедровицкий. Ведь в соответствии с хорошо обоснованными им принципами анализа языкового мышления знание о мышлении может возникнуть только из чего-то непосредственно данного, то есть из языка, а если так, то от *параллелизма содержания мышления и языковой формы его выражения отказаться невозможно*. Допускаю, что Г.П.Щ., возможно, знал, как это можно сделать, но из его работ мне этого вычитать не удалось.

Второе замечание. Георгий Петрович мыслил содержательно-генетическую логику как *эмпирическую науку*. По его замыслу, в ее задачи должны входить вопросы такого типа: анализ деятельности по выработке новых знаний; выделение различного рода содержаний в общем «фоне» действительности и «движение» по этому содержанию; рассмотрение мышления как исторически развивающегося целого и т.п.⁷⁴ Все эти и аналогичные проблемы выходят за рамки исторически определенного предмета формальной логики, в рамках которого она только и могла достичь своих результатов. По сути дела, Г.П.Щ. под именем содержательно-генетической логики мыслил некоторую *комплексную дисциплину*, в которую должны входить данные гносеологии, психологии мышления, истории науки, методологии науки, в какой-то степени лингвистики и, возможно, еще каких-то наук, занимающихся анализом мышления. *В формулировании проблем такой комплексной дисциплины и в решении некоторых из ее задач Георгий Петрович добился очень многого, но это не были задачи логики в собственном смысле этого слова.*

Некоторые дополнительные замечания по проекту построения содержательно-генетической логики я сформулирую еще в следующем разделе этой статьи.

⁷⁴ См.: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 39.

7. Юра Щедровицкий и Имре Лакатос

Они – Юра Щедровицкий и Имре Лакатос – никогда не встречались, хотя это могло вполне произойти в середине 40-х гг., когда оба были в Москве и, возможно, даже одновременно учились в Московском государственном университете.

К сожалению, сведения о московском периоде жизни Лакатоса очень скудны: не очень ясно даже, учился ли он в МГУ, и если да, то на каком факультете. По одним источникам, получается, что на физическом, по другим – на механико-математическом, где якобы работал в семинаре С.А. Яновской по математической логике; неясно также, сколько лет он был в МГУ (кажется, менее одного года, и если так, то какой это был год?). Существует также мнение, что в Москву он приезжал не на учебу, а в командировку по линии Министерства образования Венгрии, где он, якобы, занимал достаточно высокий пост.

На эти вопросы я с определенностью ответить не могу, но в Москву в конце 40-х годов он, скорее всего, приезжал, и поэтому встретиться Лакатос и Щедровицкий, конечно, могли, но у них в то время еще не было чего-то важного и интересного, что они могли поведать друг другу. Ведь Щедровицкий только в самом конце 40-х годов начнет свою учебу на философском факультете, а Лакатос будет учиться у Карла Поппера не ранее второй половины 50-х годов – после эмиграции на Запад в 1956 году.

У Лакатоса и Щедровицкого была еще одна возможность познакомиться – в начале 70-х годов. В это время Советское национальное объединение по истории и философии науки – основная академическая организация, занимающаяся устройством научных контактов советских историков и философов науки с зарубежными коллегами, – предполагало пригласить в Советский Союз Лакатоса, в то время уже видного западного специалиста по философии науки, но его скоростигшая смерть 2 февраля 1974 года не дала возможности это осуществить.

В связи с обсуждаемой проблемой следует упомянуть, что Б.А. Грушин в своем интервью на вопрос М.С. Хромченко: «Я слышал, что началась, быстро оборвавшись, переписка с Лакатосом?» – ответил утвердительно: «Совершенно верно, обмен письмами был, и у кого-то в архиве должны сохраниться какие-то следы».⁷⁵ Я сам никогда об этом не

⁷⁵ Грушин Б.А. Мы пытались ответить на кардинальные вопросы... // Вопросы методологии. 1994. № 1–2. С. 27.

слышал и думал, что это, скорее всего, легенда. Однако Наталия Ивановна Кузнецова просветила меня, рассказав, что она сама видела небольшое послание Лакатоса Щедровицкому, по всей вероятности, направленное после публикации Георгием Петровичем рецензии на его книгу «Доказательства и опровержения. Как доказываются теоремы».

И все же Лакатос и Щедровицкий познакомились, правда, *заочно и односторонне*: Георгий Петрович смог прочитать некоторые важные логико-методологические работы Лакатоса и высоко их оценить, но Лакатосу не довелось прочитать ни одной работы Щедровицкого.

В 1967 г. была опубликована в русском переводе небольшая, но очень интересная книга И. Лакатоса «Доказательства и опровержения. Как доказываются теоремы».⁷⁶ Юра, как он сам об этом рассказывал, прочитал ее запоем, написал чрезвычайно доброжелательную рецензию на нее.⁷⁷ Общая оценка Георгием Петровичем этой книги такова:

В ней обсуждаются самые принципиальные и острые вопросы современной логики и «философии математики» ... Глубина поставленных научных проблем и тонкость их обсуждения вызывают восхищение; по форме изложения, легкой и изящной, эта книга – подлинное произведение искусства.⁷⁸

Остановимся на содержании книги Лакатоса и анализе, проведенном Г.П.Щ., – это даст нам возможность, во-первых, уточнить изложенное ранее понимание Георгием Петровичем задач и природы логики, а во-вторых, прояснить взаимоотношение между создаваемой Г.П. содержательно-генетической логикой и ситуационной логикой, которой пользуется Лакатос. (В скобках заметим, что Георгий Петрович ошибался, считая ситуационную логику одним из важных результатов, полученных Лакатосом, – на самом деле задача построения ситуацион-

⁷⁶ Лакатос И. Доказательства и опровержения. Как доказываются теоремы / Пер. с англ. Веселовского И.Н. М., 1967.

⁷⁷ Щедровицкий Г.П. Модели новых фактов для логики // Вопросы философии. 1968. № 4. С. 154–158.

⁷⁸ Там же. С. 154. Сказано прекрасно, однако не понимаю, по какой причине столь добropорядочный термин, как «философия математики», Г.П.Щ. поставил в кавычки. Лакатос этого не делает.

ной логики была поставлена К. Поппером, и им же были сформулированы ее основные принципы, а Лакатос просто пользовался тем, что сделал его учитель, правда, во многом развивая и дополняя первоначальные идеи такой логики,⁷⁹ – однако это не столь важно).

Основной текст книги «Доказательства и опровержения» Лакатос предваряет «Введением», в котором излагаются – нередко в нарочито резкой форме – его философские и логико-методологические взгляды. Лакатос совершенно справедливо считает, что эта его книга является «вызовом математическому формализму» и «догматической теории познания».⁸⁰ Его общая философская позиция базируется на критицизме, или «критическом рационализме», Карла Поппера. К позиции «классического критического рационализма» добавляются новации Т. Куна и молодых попперианцев – П. Фейерабенда, Ст. Тулмина, Дж. Агасси, Дж. Уоткинса, Д. Миллера и других, среди которых видное место занимает и сам И. Лакатос. Главная из этих новаций заключается в том, что попперианцы 60–70-х гг. показывают *недостаточность* для исследования научного знания только средств формальной логики в любом ее воплощении, включая разработанные в новейшей математической логике средства, и делают *акцент* на том, что для анализа научного знания нужна не только логика науки, как считали неопозитивисты, от которых они решительно дистанцируются, но и история науки, социология науки, психология науки и аналогичные научные дисциплины (заметим, что у Поппера все это уже было даже в его первой книге «Логика научного исследования» 1934 г., однако его ученики обратили на это особое внимание).

В рассматриваемой книге Лакатоса (она впервые была опубликована в журнале «The British Journal for the Philosophy of Science» в 1963/1964 гг.) он, перефразируя И. Канта, формулирует свою важнейшую методологическую установку: «История математики, лишившись руководства философии, сделалась *слепой*, тогда как философия математики, повернувшись спиной к наибо-

⁷⁹ См., например: Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. Карл Поппер и его критики / Пер. с англ. Лахути Д.Г., вступ. ст. и общ. ред. Садовского В.Н., посл. Финна В.К. М., 2000. (см.: в Предметном указателе статью «Ситуационная логика, ситуационный анализ», в которой указаны все страницы названной книги, на которых Поппер излагает идеи ситуационной логики).

⁸⁰ Лакатос И. Доказательства и опровержения. С. 10.

лее интригующим событиям истории математики, сделалась *пустой*.⁸¹ Позднее, в 1970 году, он обобщит этот принцип: «Философия науки без истории науки пуста; история науки без философии науки слепа».⁸²

В результате молодые попперианцы (несколько позже их стали называть в отечественной и в какой-то степени в зарубежной философской литературе сторонниками постпозитивизма⁸³) в философии математики подвергают резкой критике программу метаматематики и формалистскую философию математики. Против первой они выдвигают следующее возражение: «имеются математические задачи, которые выпадают из рамок метаматематической абстракции. В их числе находятся все задачи, относящиеся к «содержательной» математике и ее развитию, и все задачи, касающиеся ситуационной логики и решения математических задач».⁸⁴ Формалисты же «отделяют историю математики от философии математики, так как согласно формалистскому пониманию математики, собственно говоря, истории математики не существует... Формализм отрицает статус математики для большей части того, что обычно понималось как входящее в математику, и ничего не может сказать о ее "развитии". Ни один из "творческих" периодов и вряд ли один из "критических" периодов математических теорий может быть допущен в формалистическое небо, где математические теории пребывают как серафимы, очищенные от всех пятен земной недостоверности. Однако формалисты обычно оставляют открытым небольшой черный ход для падших ангелов; если для каких-нибудь "смесей математики и чего-то другого" окажется возможным построить формальные системы, "которые в некотором смысле включают их", то они могут быть туда допущены. При таких условиях Ньютону пришлось прождать четыре века, пока Пеано, Рассел и Куайн помогли ему влезть на небо, формализовав его исчисление бесконечно малых. Дирак оказался более счастливым: Шварц спас его душу еще при его жизни».⁸⁵

⁸¹ Лакатос И. Доказательства и опровержения. С. 6.

⁸² Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие науки. Из Бостонских исследований по философии науки / Вступ. ст. и общ. ред. Грязнова Б.С. и Садовского В.Н. М., 1978. С. 203.

⁸³ См.: Садовский В.Н., Юлина Н.С. Постпозитивизм // Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 1989. С. 498; Порус В.Н. Постпозитивизм // Новая философская энциклопедия. М., 2001. С. 298–299.

⁸⁴ Лакатос И. Доказательства и опровержения. С. 5.

⁸⁵ Там же. С. 6.

Г.П. Щедровицкий очень доброжелательно, можно даже сказать – с нескрываемой симпатией анализирует критику Лакатосом программ метаматематики и формалистской философии математики. Причины этого совершенно ясны: он считает, что эта критика *близка* к той, которую он с начала 50-х гг. проводил сам по отношению к основаниям формальной логики. Думаю, что в целом это правильно: *близость*, несомненно, есть, но есть и *существенные различия*, которых Г.П.Щ удивительным образом не замечает. С его точки зрения,

позиция Лакатоса оказывается вызовом не только по отношению к формализму и так называемой философии математики, но и вызовом по отношению ко всей традиционной логике (курсив мой – В.С.).⁸⁶

А вот с этим Лакатос, будучи верным учеником К.Поппера, никогда бы не согласился. Для Лакатоса, как и для Поппера, *подвергнуть сомнению каноны формальной логики невозможно*.

Конечно, критиковать *можно и даже необходимо*, но не основы формальной дедуктивной логики, а различные варианты логики, методологии и философии науки – например, неопозитивистскую логику науки, конвенционалистскую концепцию методологии науки, априористскую философию науки и т.п. При этом следует хорошо осознавать, что названные концепции и им аналогичные *логикой в строгом смысле слова не являются*: они используют логику, но их основные задачи – *методологические* (то есть *эмпирические*), а не *логические* (следовательно, *не аналитические*). Кстати сказать, Лакатос, будучи блестящим методологом науки, не был логиком и никогда себя таковым не считал: в этой связи напомним читателям, что одна из его основных работ, опубликованная в 1970 г., называется «Фальсификация и *методология* (курсив мой – В.С.) научно-ис-

⁸⁶ Щедровицкий Г.П. Модели новых фактов для логики // Вопросы философии. 1968. № 4. С. 156.

⁸⁷ Lakatos I. Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes // Criticism and the Growth of Knowledge / Ed. by Imre Lakatos & Alan Musgrave. Cambridge University Press, 1970. (Русский перевод: Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / Пер. с англ. и предисл. В.Н. Поруса. М., 1995.)

следовательских программ»,⁸⁷ а не «Фальсификация и *логика* научно-исследовательских программ». Ее предмет тем самым был очерчен очень четко.

Думаю, что нет никакой необходимости подробно рассматривать собственно содержательную часть книги Лакатоса «Доказательства и опровержения». Она говорит сама за себя, и читатель, который захочет окунуться в этот прекрасный анализ (или вспомнить его основные моменты), без большого труда найдет русский перевод этой книги. Мне важнее отметить описание основного замысла рассматриваемой книги Лакатоса, которое дает Г.П.Щ., и его комментарии к этому замыслу и результатам его реализации. Георгий Петрович напоминает, что основным эмпирическим материалом этой книги является

история одной стереометрической теоремы, касающейся соотношения между числом вершин V , ребер E и граней F многогранника ($V - E + F = 2$), впервые подмеченного и доказанного Эйлером... Выделив все исторические тексты, связанные с позднейшим обсуждением теоремы Эйлера, Лакатос не стал их излагать и пересказывать, а собрал все исторические персонажи в одну «классную комнату» в качестве «учеников» – участников единой дискуссии и заставил их доказывать первую догадку Эйлера, опровергать ее контрпримерами, снова строить доказательства *с учетом новых данных*, введенных предшествующими рассуждениями, и снова их опровергать.⁸⁸

Это описание основного замысла книги Лакатоса «Доказательства и опровержения», хотя и очень краткое, тем не менее дает четкое представление о задаче, которую решал автор этой работы.

Г.П.Щ. высоко оценивает «ряд обобщенных понятий», которые Лакатос использовал в своей книге для описания исследуемого им эмпирического материала. К числу таких понятий от-

⁸⁸ Щедровицкий Г.П. Модели новых фактов для логики // Вопросы философии. 1968. № 4. С. 154.

носятся «локальный» и «глобальный» контрпримеры, «расширение» и «сужение» понятий, «теоретическое» и «наивное» опровержение, «возрастание содержания» понятия и т.п.⁸⁹ Безоговорочно позитивное отношение Георгия Петровича к этим понятиям во многом обусловлено тем, что они напоминают ему – этот вопрос я уже рассматривал ранее – аналогичные по духу понятия (подчеркнем – методологические), которые использовал А.А. Зиновьев в своей кандидатской диссертации «Метод восхождения от абстрактного к конкретному в "Капитале" Маркса» (1954) и которые дали ему возможность раскрыть структуру и основные принципы этого метода, естественно, в его собственной, зиновьевской интерпретации.⁹⁰ Такие понятия – справедливо считает Г.П.Щ. – близки к понятиям, которые использовали также Б.А. Грушин в своей кандидатской диссертации, посвященной выявлению и анализу приемов и методов исторических процессов развития (представлена в 1955 г., защищена в 1957 г.)⁹¹, М.К. Мамардашвили при анализе процессов анализа и синтеза и методов построения истории философии как истории познания,⁹² И.С. Ладенко при исследовании отношения эквивалентности, широко используемого в различных областях научного знания,⁹³ и другие участники Московского логического кружка. В этом же направлении, начиная, по крайней мере, со своей дипломной работы (1953), двигался и Георгий Петрович.⁹⁴

⁸⁹ См.: Щедровицкий Г.П. Модели новых фактов для логики. С. 158.

⁹⁰ См.: Зиновьев А.А. Метод восхождения от абстрактного к конкретному в «Капитале» Маркса. Кандидатская диссертация. М., МГУ, 1954; Зиновьев А.А. Восхождение от абстрактного к конкретному // Философская энциклопедия. М., 1960. Т. 1. С. 296–298 (раздел «О логической природе восхождения от абстрактного к конкретному»).

⁹¹ См. Грушин Б.А. Приемы и способы воспроизведения в мышлении исторических процессов развития. Кандидатская диссертация. М., МГУ, 1957; Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования. М., 1961.

⁹² См.: Мамардашвили М.К. Процессы анализа и синтеза // Вопросы философии. 1958. № 2. С. 50–63; Мамардашвили М.К. Некоторые вопросы исследования истории философии как истории познания // Вопросы философии. 1959. № 12. С. 59–71.

⁹³ Ладенко И.С. Об отношении эквивалентности и его роли в некоторых процессах мышления // Доклады АПН РСФСР. 1958. № 1. Ладенко И.С. О некоторых процессах мышления, связанных с установлением отношения эквивалентности // Доклады АПН РСФСР. 1958. № 2.

⁹⁴ См.: Щедровицкий Г.П. О некоторых моментах в развитии понятий // Вопросы философии. 1958. № 6. С. 55–64 (перепечатано в: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. С. 577–589). В этой статье были изложены некоторые результаты, полученные в дипломной работе Г.П.Щ. «Логико-методологическое исследование генезиса научных понятий на материале истории физики», защищенной с оценкой «отлично» на кафедре логики философского факультета МГУ в 1953 г.

Г.П.Щ. убежден, что, пользуясь обобщенными понятиями, введенными в данном случае Лакатосом,

можно выявить подобный эмпирический материал и в других науках: физике, химии, биологии или языкознании, – причем в достаточно большом количестве. Но сколько бы ни было таких явлений, описываемых единообразным способом, *из них все равно никогда не получится логики, ибо примеры не дают и не могут дать знаний о закономерности и необходимости развития каких-либо объектов.* Чтобы получить «необходимое» знание, нужно перейти от историко-методических и эмпирических описаний к *собственно научным.* А это значит построить какой-то *идеальный объект* и в логико-методологических исследованиях описывать законы и механизмы его функционирования и развития (слова «идеальный объект» выделены Г.П.Щ., весь остальной курсив мой – В.С.).⁹⁵

В только что процитированных словах Г.П.Щ. содержится *очень важное утверждение*, в котором Георгий Петрович 1968 года исправляет некоторые из своих взглядов 1958 года. Десять лет тому назад в статье «О некоторых моментах в развитии понятий» – одной, по моему мнению, из лучших его законченных и опубликованных работ⁹⁶ – он считал возможным охарактеризовать анализ *только одного примера* развития строения понятия – понятия «скорость»⁹⁷ – как *логи-*

⁹⁵ Щедровицкий Г.П. Модели новых фактов для логики. С. 158.

⁹⁶ См.: Щедровицкий Г.П. О некоторых моментах в развитии понятий // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. С. 577–589. Я специально подчеркиваю «законченных и опубликованных», потому что в неопубликованных при его жизни сочинениях, например в «Опыте логического анализа рассуждений („Аристарх Самосский“)» и других, имеется еще по достоинству не оцененный богатейший эмпирический и теоретический материал.

⁹⁷ Постараюсь быть предельно точным: в рассматриваемой статье Г.П.Щ. не только проводит подробный анализ одного примера развития понятия «скорость», но и перечисляет несколько аналогичных примеров (спор К.Л. Бертолле и Ж.Л. Пру, приведший к раздвоению понятия соединения на понятия соединения и смесь; опыты Г. Галилея над соударением тел, в результате которых он разделил понятие силы на понятия силы удара и силы давления; произведенное К. Марксом разделение понятий стоимости и цены производства и другие), но, как совершенно правильно он сам пишет в рецензии на книгу Лакатоса в 1968 г., сколько бы таких примеров ни перечислять, они не могут дать знания о закономерности и необходимости, то есть логические знания.

ческое исследование, на основе которого возможно «выявление *общих характеристик строения нашей мысли*». ⁹⁸ Теперь от этого заблуждения он избавился.

Какие же выводы делает Георгий Петрович из проведенного им анализа книги Лакатоса «Доказательства и опровержения»? Их несколько: часть из них бесспорны, другие сомнительны, а в некоторых случаях, по моему мнению, просто ошибочны.

Г.П.Щ. положительно оценивает то, что Лакатос в своем исследовании производит

оборачивание истории в план деятельности людей и, наоборот, – деятельности в план истории. То же самое [по мнению Георгия Петровича – В.С.] делали Фихте и Гегель... Но если они представляли все как *самодвижение понятий*... то Лакатос, наоборот, ставит в центр всего именно рассуждения. Это дает ему возможность рассмотреть значительно более сложную эмпирическую единицу, нежели те, которые рассматривались исследователями до него, – индуктивную догадку вместе с доказательствами и опровержениями – и перевести саму идею исторического развития мышления из области философии в область эмпирических научных разработок. И уже одно это составляет значительный вклад в современную логику. ⁹⁹

Первая часть этого вывода – бесспорна, вторая, в которой говорится о «значительном вкладе в современную логику», на мой взгляд, ошибочна, потому что в своем исследовании Лакатос затрагивает *только проблемы методологии науки*, но *ни в коей мере не проблемы логики*. Создается явное ощущение, что Георгий Петрович *принимает желаемое за действительное*.

В конце своей рецензии на книгу Лакатоса Г.П.Щ. специально подчеркивает, что имеются

⁹⁸ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 588–589.

⁹⁹ Щедровицкий Г.П. Модели новых фактов для логики. С. 155.

расхождения между целями книги и ее действительным содержанием.¹⁰⁰

В чем же они состоят? По мнению Георгия Петровича, основным для современной логики и методологии науки является вопрос, что представляет собой тот идеальный объект, который мы должны ввести, чтобы иметь возможность необходимым и строго научным образом описать развитие науки и производящие его процессы рассуждений.¹⁰¹

В книге же Лакатоса, замечает Г.П.Щ.,

нет ни попыток построить такой идеальный объект, ни даже четкого тезиса о необходимости его.

Видимо, это объясняется тем, что

сам автор ее недостаточно осознает ограниченность всякой «методической логики» и необходимость перехода к «научной логике», описывающей тот или иной идеальный объект.¹⁰²

Да, в книге Лакатоса действительно нет ничего подобного – ни понимания логики как эмпирической дисциплины, ни попыток построения онтологической картины логики и ее идеального объекта в духе Г.П.Щ., ни «осознания ограниченности всякой "методической логики" и необходимости перехода к "научной логике", описывающей тот или иной идеальный объект». Но *надо ли и, более того, возможно ли вообще двигаться в этом направлении?* Если придерживаться классических трактовок формальной логики во всех ее вариантах как систем аналитических утверждений, ответ на этот вопрос, безусловно, должен быть отрицательным, и основной причиной этого является то, что проблемы построения онтологических картин логики, ее идеальных объектов, задачи разработки логики открытия и т.п. – это *не про-*

¹⁰⁰ Щедровицкий Г.П. Модели новых фактов для логики. С. 157.

¹⁰¹ Там же. С. 158.

¹⁰² Там же.

блемы логики в строгом смысле этого слова, а задачи методологии науки, один из вариантов которой пытался построить Г.П.Щ., настойчиво называя его новой, современной или научной логикой. Но нет никаких оснований отказываться от этого понимания природы и задач формальной логики, выдержавшего с успехом более двух тысячелетий.

И поэтому при всей близости методологических и историко-научных воззрений Лакатоса и Щедровицкого, если бы судьба распорядилась по-другому и они смогли бы встретиться, думаю, *во многом они не смогли бы понять друг друга*, хотя дискуссия между ними могла бы быть *интересной* и, возможно, даже *плодотворной*.

8. Г.П. Щедровицкий как социокультурный и соционаучный феномен

Георгий Петрович Щедровицкий представлял собой *очень яркий российский социокультурный и соционаучный феномен* образца XIX–XX веков: блестящие природные способности, не очень хорошее образование – «кусочное», во всяком случае *не-немецкое* и *не-английское*, титаническая, каждодневная работа над самообразованием и над своими идеями, практически безграничные амбиции и глубокие научные и организационные проекты, несомненный интеллектуальный блеск, лежащий на всем, что он делал, и одновременно множество серьезных трудностей и препятствий, которые не позволили ему с достаточной полнотой реализовать все, что он задумал и изобрел.

Очень рано, скорее всего, уже в университете Г.П. осознал и то, что ему предстоит *научная стезя*, и то, что он обладает для этого, скажем максимально мягко, всем *необходимым*, причем *в значительной степени*. В его автобиографической книге эта мысль излагается не один раз. Приведу пару примеров. В одном месте этой книги Георгий Петрович рассказывает историю попыток создания на философском факультете в начале 1957 г. психологического семинара под руководством А.Н. Леонтьева с основной задачей изучения наследия Л.С. Выготского. А.Н. Леонтьев не согласил-

ся с такой программой и сказал, что «надо заниматься маленькими конкретными проблемами и их, так сказать, штудировать, брать достаточно узко».

А так как, – вспоминает Г.П.Щ., – там собрались люди, претендовавшие в основном на теоретическую работу, и каждый из них – тот же Пономарев или, скажем, Давыдов, Ильенков, я – думал о себе, что *если он не самый умный в мире*, то во всяком случае способен на что-то значительное, то, естественно, установка Леонтьева сразу вошла в противоречие с чаяниями и ожиданиями остальных участников семинара (курсив мой – В.С.).¹⁰³

Знак избранности в данном случае приписывается не только самому Георгию Петровичу, но и его коллегам.

Аналогично, но, пожалуй, еще более определенно, эта мысль формулируется Георгием Петровичем, когда он рассказывает о собственных интеллектуальных поисках:

Понимаете, человек в своем развитии до какого-то момента ищет «Великий Рим» – то, где существуют наивысшие образцы человеческого существования, образцы самих людей. А вот где-то лет в тридцать пять (т.е. в 1964–1965 гг. – В.С.) я понял, что эти образцы, по-видимому, заключены в членах самого Московского методологического кружка и в том, что мы сами творим. Это был момент, когда я осознал, что... Я не знаю, правильно или ложно, – меня сейчас это не интересует, – но я пришел к выводу, что наш коллектив, Московский методологический кружок, это и есть то *высшее в каком-то смысле, чего достигло человечество*. И с этого момента проблема «Великого Рима» исчезла, ее решение я сформулировал очень четко: *«Великий Рим» заключен в нас самих, мы и есть «Великий Рим»* (курсив мой – В.С.).¹⁰⁴

¹⁰³ Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом. С. 36.

¹⁰⁴ Там же. С. 138.

Многие психологи, занимавшиеся анализом механизмов творческой деятельности людей, в частности в сфере научной деятельности, подчеркивали, что уверенность в своих способностях и творческом предназначении – важный фактор успеха. Люди с большим количеством комплексов, неуверенные в себе, должны прежде всего преодолеть самих себя: у Георгия Петровича такой задачи не было, или – это больше похоже на истину – он ее решил еще в школьные годы. И поэтому к реализации своих творческих замыслов он подошел в полном вооружении.

Говоря об амбициях Георгия Петровича, временами очень смелых, я не могу пройти мимо одного свидетельства, опубликованного в отечественной философской литературе и принадлежащего В.М. Розину. В своей ранее уже упоминавшейся рецензии на книгу «Я всегда был идеалистом...» он приводит следующие слова Георгия Петровича, сказанные однажды в пылу полемики: «Лично *меня этот мир не устраивает, я пришел, чтобы изменить его*, а с нашей вшивой интеллигенцией этого сделать невозможно, *я не задумаюсь переступить через нее* (курсив мой – В.С.)».¹⁰⁵

Примем во внимание, что это – не текст самого Щедровицкого, а пересказ его Розиным, сделанный по памяти, и в нем могут быть искажения. Однако, как бы там ни было, два момента этого текста поражают. Сказать, что я пришел в этот мир, чтобы изменить его, мог только Христос. Щедровицкий же был человеком, и ничто человеческое ему не было чуждо. Зловеще также звучит заявление о том, что он, не задумываясь, может переступить через нашу, пусть даже «вшивую» интеллигенцию. Георгий Петрович мог очень резко полемизировать с оппонентами и даже издеваться над ними, мог решительно рвать отношения со своими учениками, у него, конечно, были политические симпатии и антипатии, и он делал все возможное для того, чтобы прогрессивные, с его точки зрения, силы побеждали, но он никогда не мог переступить через кого бы то ни было. *Для него это было абсолютно невозможно.* Поэтому это свидетельство В.М.Розина следует, видимо, отнести за счет очень резкой поле-

¹⁰⁵ Розин В.М. Становление личности и время // Вопросы философии. 2002. № 7. С. 171.

мики с Г.П.Щ. в этот момент, в ходе которой Вадим Маркович услышал эти слова.

Хочу специально сказать об одной очень характерной для Г.П.Щ. как человека и ученого особенности. Он был *неистощимым генератором новых идей и крупномасштабных программ*. Однако *реализовывать* их, хотя бы до более или менее приемлемого вида, у него не было ни времени, ни сил. Поэтому многое, что он создал, осталось незавершенным, плохо понятым и скрытым за многочисленными схемами и рисунками, которые Г.П. так любил. В этом отношении – блестящего генератора нового и человека, которому не удалось реализовать намеченное, он – очень характерный для России тип ученого и интеллектуала.

Для характеристики Георгия Петровича как яркого российского социокультурного феномена надо обязательно обратить внимание на сформулированный им самим в 1952 г. принцип жизни, о котором он сказал в августе 1981 года, что он «придерживается его и сейчас»:

Каждый должен заботиться о себе, в первую очередь о себе как культурной личности, и в этом состоят его обязанности, его обязательства перед людьми, каждый отвечает за свое личное поведение: не быть подлым, не приспособливаться к условиям жизни, наоборот, постоянно сохранять непоколебимыми принципы и позицию, бороться за сохранение принципиальности в любой ситуации.¹⁰⁶

Убежден, что этому принципу Георгий Петрович Щедровицкий следовал всю жизнь.

Вскоре после кончины Георгия Петровича Б.А. Грушин в следующих словах охарактеризовал его как человека и ученого: «Самый верный идеям и практике "диалектического станковизма", самый неистребимый по запасам жизненной энергии и самый щедрый (ведь это тоже было одним из его имен) по отношению к тем, кто работал вместе с ним. В моих глазах он был и навсегда

¹⁰⁶ Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом. С. 302.

¹⁰⁷ Грушин Б.А. Мы пытались ответить на кардинальные вопросы // Вопросы методологии. 1994. № 1–2. С. 27.

останется тяжким обвинением для общества, в котором ему пришлось жить и которое так преступно пренебрегло его гигантским талантом исследователя и генератора идей. А главное – блистательным примером для всех, кто стремился следовать своему призванию вопреки любым внешним обстоятельствам». ¹⁰⁷ Мне кажется, лучше сказать о Георгии Петровиче практически невозможно.

* Автор выражает глубокую признательность Совету по грантам Президента Российской Федерации (проект НШ – 1922.2003.6) и руководству Школы Культурной Политики за финансовую поддержку настоящей работы.



**Степин
Вячеслав
Семенович**
(р. 1934)

доктор философских наук (1975), профессор, действительный член Российской академии наук, директор Института философии РАН, завкафедрой философской антропологии философского факультета МГУ. Иностраный член Национальной АН Белоруссии, Иностраный член Национальной АН Украины, почетный доктор Новгородского университета, почетный доктор Университета г. Карлсруэ (ФРГ). Член Международного института философии (Париж).

Окончил отделение философии исторического факультета Белорусского государственного университета (1956), аспирантуру по кафедре философии БГУ (1959).

Область научных интересов – теория познания, методология и история науки, философская антропология и социальная философия.

Автор более 250 научных работ, в том числе 17 монографий. Председатель научно-редакционного совета «Новой философской энциклопедии» в 4-х томах (М., 2000–2001).

Живет и работает в Москве.

ОТ ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ – К ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ (ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ИДЕЙ: 1950–1990–е гг.)

Мне представляется очевидным, что Георгий Петрович Щедровицкий был очень талантливым человеком и одним из влиятельных мыслителей середины XX века, по крайней мере в нашей отечественной философско-гуманитарной среде. Влиятельность эта связана не с тем, что он занимал какие-то важные административные посты, завоевал какие-то особые степени и ученые звания или престижные награды и даже не с тем, что он оставил нам несколько фундаментальных монографий. Георгий Петрович не занимал высоких постов и не написал ни одной солидной, по публичным меркам того времени, книги. И тем не менее, на многих из нас – представителей философско-гуманитарного сообщества – именно он оказал огромное влияние, в том числе и на меня лично. По прошествии лет факт этого влияния не только не потерял своего значения, но становится все более и более осозанным.

В дальнейшем я постараюсь проанализировать, в чем именно Щедровицкий существенно определял траекторию развития идей в той области, которой я профессионально занят вплоть до сегодняшнего момента – в области философии и методологии науки.

1. Встреча, контакты, влияние

Ялично познакомился с Георгием Петровичем в 1961 году. В Москве проходила Всесоюзная конференция по позитивизму. Я там выступал, и он там выступал. Сейчас, быть может, какие-то детали уже ускользнули из памяти, но хорошо помню одно: он сам подошел ко мне. Я хотел было подойти к нему после его доклада, но какой-то момент робости или застенчивости удер-

жал меня, я был тогда совсем молодой. Я стеснялся проявить свой интерес, потому что тогда толпа молодежи его обступила и что-то выясняла или расспрашивала, и мне было неловко стать еще одним назойливым вопрошателем. Но он сам подошел ко мне и начал разговор. В том своем докладе, который был посвящен критике позитивизма, я говорил о том, что позитивизм нельзя критиковать, если не учитывать позицию деятельности. Ведь идея позитивизма, в частности, состояла в том, что науку надо рассматривать как самоценность, как автономность, которая должна быть в этом рассмотрении изолирована от ее связей с культурой, с философией. Все это проистекало из позитивистской программы преодоления метафизики. Согласно этой программе необходимо было отыскать некий совершенный метод, который обеспечивает производство научного знания и который один-единственный на все века определяет специфику науки. Знание, в этом подходе, рассматривалось вне его исторического развития, вне связи с культурой и практической деятельностью.

В то время мы все, советские философы, были марксисты, но авангардная молодежь – отнюдь не все! – особенно широко пропагандировала знаменитый первый тезис Маркса о Фейербахе, который гласил: «Главный недостаток всего предшествующего материализма – включая и феербаховский – заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме *объекта*, или в форме *созерцания* , а не как *человеческая чувственная деятельность, практика*, не субъективно»¹. Этот хорошо известный тезис был давно высказан, но необходимо было сделать его не фразой, не догмой, а создать соответствующую программу развития гносеологии и философии науки.

Иными словами, авангардно настроенные молодые советские философы весьма трепетно относились к этой радикальной идее Маркса о том, что объект нам дан не в форме созерцания, а в форме практики. Это было как пароль. И вот Юра (Г.П. Щедровицкий) увидел, судя по всему, родную душу и подошел ко мне, молодому человеку из Минска, мы разговорились. Он дал мне литературу, свои знаменитые статьи – первую серию своих пионерских работ, которые были опубликованы в «Докладах АПН». Это были такие

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1955. Т. 3. С. 1.

статьи, как «О возможных путях исследования мышления как деятельности» (в соавторстве с Н.Г. Алексеевым), «О строении атрибутивного знания», «Принцип "параллелизма формы и содержания" и его значение для традиционных логических и психологических исследований» (в соавторстве с Н.Г. Алексеевым и В.А. Костеловским) и некоторые другие.

Я эти статьи изучил и законспектировал. Но потом наши связи как-то прервались. Хотя я внимательно изучил его работы, но не увидел вначале каких-то прямых выходов к темам, которыми занимался сам. Через некоторое время я защитил кандидатскую диссертацию, которая была посвящена критическому анализу позитивистской программы в философии науки. Возобновились наши контакты с Щедровицким в 1967 г., когда я приехал в Москву на «переподготовку» в Институт повышения квалификации Московского университета. В этот период мы общались уже не просто как коллеги, но и подружились.

Мы много беседовали и, конечно, вели жаркие споры. Было записано довольно много пленок – Юра тогда все свои беседы записывал на магнитофон. Таким образом, несколько магнитофонных катушек встали на его стеллажи под названием «Дискуссии со Степиным». И с этими пленками произошла следующая курьезная история.

В 1968 году – памятный для многих интеллигентов год – у нас с Щедровицким возникли аналогичные неприятности общественно-политического, если так можно выразиться, характера. Мои неприятности были связаны с критикой сталинизма и оправданием «пражской весны», которая была насильственно прервана вторжением в Чехословакию советских войск, а у Юры – в связи с подписанием письма к руководителям ЦК КПСС и правительству в защиту диссидентов А. Гинзбурга и Ю. Галанскова. Щедровицкий был исключен из партийных рядов, далее – уволен с работы «по сокращению штатов». Нечто аналогичное случилось и со мной.

Где-то вскоре – году в 1969 или 1970-м – в квартире Георгия Петровича органами КГБ был проведен обыск. Во время этой операции «блустители закона» изъяли из его квартиры некоторые магнитофонные пленки. Как он сам потом мне рассказывал, когда команда ГБ пришла с обыском и увидела сплошь уставленные полки книг, ряды папок с машинописными текстами и ряды магнито-

фонных пленок, физиономии офицеров стали весьма кислыми. Я понимаю, почему настроение у них сразу сильно испортилось: эту библиотеку внимательно просмотреть и проанализировать не было никакой возможности. Поэтому они взяли на выбор некоторые распечатки прошедших семинаров и несколько катушек с пленками. На стеллажах стояли пленки с названиями типа «Рефлексивный вход», «Рефлексивный выход»... и вдруг просто – «Беседы со Степиным». По причине этой простоты взяли именно эту серию. Юра позднее звонил мне в Минск и спрашивал: «Ты не помнишь, что там было?». Я помнил только, что мы говорили о квантовой механике. «А не было ли там что-нибудь такое, ненужное?..». Я отвечал: «Юра, не знаю. У нас с тобой одинаковая полоса в жизни, мне тоже очень неприятно, что так получилось...». Но через некоторое время он перезвонил и сказал: «Все в порядке. Меня вызвали в ГБ, все, что взяли, возвратили и сказали: «Вы хорошо работаете, продолжайте работать!». Этим, к счастью, все и закончилось.

В беседах наших, как я помню, мы перебирали очень много различных тем (помню, что в некоторых беседах принимал участие Вадим Розин). Кроме того, Юра познакомил меня с Эриком Юдиным, общение с которым также дало мне чрезвычайно много.

В Минске вместе с Л.М. Томильчиком я занимался тогда историко-методологической реконструкцией теории Максвелла. Тогда уже был черновой вариант этой реконструкции, и я рассказывал о проделанной работе, все вместе мы обсуждали этот вариант. Потом перешли к идеям квантовой механики. Георгий Петрович тогда говорил, что, с точки зрения высокой науки, здесь получился какой-то «уродец», потому что в квантовой механике нет онтологии. А я возражал, утверждая, что получилось все хорошо, потому что в квантовой механике отчетливо видна схема деятельности. Принцип дополнительности – это, по сути дела, принцип деятельности, потому что он показывает, что онтология вводится коррелятивно методу деятельности. В современной физике необходимо представить не сам по себе объект, а схему деятельности с ним – сжатое описание сути экспериментально-измерительных процедур. Физик представляет некоторую сущностную характеристику типа данных процедур в виде идеализированной схемы. Все, что в эту схему попадает, – это и есть изучаемый объект. А вот наглядно представить объект квантовой физики в то время было невозмож-

но – не просто затруднительно, но фактически невозможно, поэтому получилась такая несколько «странная» теория.

Эти беседы, несомненно, дали важнейший толчок моим собственным поискам. В последующие двадцать лет (70–90-е годы) я развернул намеченные тогда идеи в своих работах.

Влияние Георгия Петровича на людей было огромным. И дело не в том, что кто-то брал высказанную им идею и ее разрабатывал (хотя бывало и такое). Главное было в прививке самого подхода, самого метода мышления, самого принципа. Г.П. Щедровицкий был ярым глашатай теории деятельности. Он просто заражал этим людей. Для меня, в частности, это было очень важным. «Руками» я уже проделал анализ физической теории с точки зрения деятельностного подхода, но осознание еще не пришло. И только благодаря беседам и спорам с ним я отрефлектировал метод своей работы, осознал свой подход. Знание для меня выступало как такая форма репрезентации объекта, которая всегда задается в некоторой схеме деятельности и коррелятивна к ней.

И еще одна замечательная идея была у Щедровицкого. Он пытался увязать деятельностный подход с системным анализом, системным подходом, и это тоже было весьма перспективно. Эту линию также продолжали развивать другие молодые философы.

Фактически во многом благодаря этим двум людям – Г.П. Щедровицкому и Э.Г. Юдину – у меня возникло понимание того, что я делал и как надо двигаться дальше. Так часто бывает в жизни и науке: мы что-то «руками» делаем и это что-то уже выходит за рамки наших предварительных осознаний, но поначалу мы еще этого не можем отрефлектировать. Иначе говоря, руками мы уже делаем то, что голова еще не поспевает обдумать. Но само обдумывание является необходимым этапом дальнейшего движения. Я понимал себя в результате всех этих споров и разговоров, дискуссий и несогласий, а у нас с Г.П. было очень много острых столкновений, мы не сходились по очень многим позициям.

Надо сказать, что основные идеи деятельностного подхода участники семинара в Минске через меня усвоили еще в 60-е годы. Я всегда ссылался на работы Г.П. Щедровицкого, в которых разрабатывался этот подход. Но было время, когда ссылки на Г.П. Щедровицкого вымарывались из наших статей, в том числе из книг Института философии, после того как они попадали в одну из

редакций издательства «Наука». Помню одну коллективную монографию, где шла моя статья и где я написал, что «Щедровицкий – первый в нашей литературе высказал такие-то идеи» – эту фразу сразу вычеркнули. Но ссылка оставалась, и после этого я уже регулярно мог ссылаться на его работы. Теперь уже нет такой проблемы, чтобы издательство указывало авторам, какие работы следует цитировать, а какие работы и имена нельзя даже упоминать. Но вплоть до 90-х годов такая репрессивная практика издателей была очень распространена. По этой причине, в частности, современная молодежь не может только по публикациям проследить реальные траектории развития идей в отечественной философии науки и выделить подлинных, неформальных лидеров этой области.

В своей книге «Философская антропология и философия науки», опубликованной в 1992 году, я указал на такие важные работы Щедровицкого, как «Научное исследование в системе методологической работы» (1967, в соавторстве с В.Я. Дубровским), а также «О методе семиотического исследования языковых систем» (1967). В первой из них четко сформулировано, что любой элементарный акт деятельности осуществляется как взаимосвязь следующих компонентов: человека с его целями, знаниями и навыками; операций целесообразной деятельности; объектов, включаемых в ходе этих операций в определенные взаимодействия. Объекты, в свою очередь, расчленяются по своим функциям на предмет (исходный материал) деятельности, средства (прежде всего орудия) деятельности и продукты, получаемые в результате преобразования предмета деятельности. Эта классическая схематизация акта деятельности настолько вошла теперь в наши базовые представления, что трудно даже представить, что эта схематизация имела когда-то конкретного автора. Вторая статья разъясняет семиотический смысл любого акта человеческой деятельности и поведения, если последние рассматриваются в качестве социальных образцов. Таким образом, показано, что функционирование людей, их действий и поведения в качестве знаковых систем созидает не только конкретные производственные результаты, но и саму культуру. Щедровицкий писал:

Особые стечения обстоятельств – их надо анализировать специально – вытаскивают различные элементы в процессе трансляции, а затем закрепляют за ними новую специальную функ-

цию – быть эталонами. Таким образом, способ употребления превращает несемiotические по своему происхождению объекты в семиотические и дает им новую жизнь, подчиняющиеся своим специфическим законам. Семиотическими могут стать все составляющие производственных единиц, в том числе люди. Знаменитый дуэлянт и игрок, крупный политический деятель и кинозвезда часто являются семиотическими элементами социума по преимуществу («походка, как у Брижит Бардо», «свитер, как у Жана Маре» и т.д.), и нередко эта сторона определяет их поступки и действия.²

Иначе говоря, культура обладает семиотической природой, и «знаковость» суть ее фундаментальный признак. Социум в целом был представлен в виде простой и лаконичной модели, включающей процессы производства и трансляции (через образцы-эталонны, которые и есть «тело» культуры), а также процессы обучения, которые подготавливают людей к процессам «восстановления» деятельности по продуктам и примененным в ней знаковым средствам.

Кроме того, я хотел бы напомнить о важнейшей работе этого периода – о статье-манифесте трех авторов (В.А. Лефевр, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин) «"Естественное" и "искусственное" в семиотических системах»³, где была предъявлена еще одна важная новация: представление культуры как некоторого «генетического кода» социума. Такое представление закономерностей развития социокультурных систем было и новым, и плодотворным для дальнейшей работы и также стало базовым для многих из нас.

В своей книге «Теоретическое знание» я подчеркнул следующее: «Анализ исторической динамики знания я соединил с принципами деятельностного подхода, в разработке которого в 60–70-е годы выдающуюся роль сыграли Г.П. Щедровицкий и Э.Г. Юдин. Их исследования оказали влияние и на мое понимание науки и ее развития»⁴.

Осознание того, что я делаю в философии науки, во многом было связано с тем, что я общался, встречался, спорил с Георгием Петровичем Щедровицким. Это было удивительно продуктивно.

² Щедровицкий Г.П. О методе семиотического исследования знаковых систем // Семиотика и восточные языки. М., 1967. С. 41–42.

³ Лефевр В.А., Щедровицкий Г.П., Юдин Э.Г. «Естественное» и «искусственное» в семиотических системах // Семиотика и восточные языки. М., 1967. С. 48–56.

⁴ Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. С. 9.

Думаю, что, в свою очередь, мы все, его друзья-оппоненты, постоянно оказывали влияние на Георгия Петровича, потому что он был человеком, быстро схватывающим чужую мысль, он все замечания как-то учитывал и возражения воспринимал. Он постоянно думал, развивался, менял стратегии... Для него живое общение, столкновения, дискуссии были тем климатом, в котором он рос и в котором ему действительно было хорошо.

2. Ключевые идеи 50–60-х годов

Необходимо с современной точки зрения выделить и оценить те ключевые идеи, которые сделали Щедровицкого яркой «звездой» на нашем философском небосклоне 50–60-х годов.

Выше я говорил, что у Георгия Петровича к началу 60-х годов было по крайней мере две основных идеи, которые он активно пропагандировал и развивал: во-первых, сам деятельностный подход и, во-вторых, очень важное указание на связь деятельностного подхода с системным.

Эти основные идеи окружались также дополнительными соображениями и разработками, давали более конкретные результаты.

Мне хотелось бы подчеркнуть, что Щедровицкий имел не только философское образование, он три года проучился на физическом факультете Московского государственного университета. Можно уверенно сказать, что он хорошо знал физику, прежде всего классическую, и мог анализировать соответствующую научную литературу. Для профессиональных занятий в области эпистемологии и философии науки это чрезвычайно важно.

Вообще я считаю, что заниматься какими-то дельными вещами в теории познания, философии науки, эпистемологии невозможно без владения эмпирическим материалом. Занятия философией и методологией науки вообще очень трудоемкое занятие: здесь необходимо, как говорится, сидеть на двух стульях – знать и философию, и конкретные науки. Поэтому в нашей области так мало специалистов, и никогда эта область не будет многочисленной по составу участников. Здесь каждый толковый специалист на вес золота.

Методологические разработки любого сорта необходимо еще воплотить в материале. В методологии очень важна историческая

реконструкция. Саму историческую реконструкцию я рассматриваю теперь как особый тип теоретического знания. Когда мы имеем дело с развивающимися системами – причем эти системы могут быть уникальными, не типологизируемыми, – то теорией этих систем будет историческая реконструкция, где мы по точкам-фактам выстраиваем логику движения процесса, и эта логика движения уже есть теоретическая модель. Подчеркну: не сама история, а – теоретическая модель. Что такое сама история – только одному Богу известно. Вы можете ее восстанавливать, и по одному и тому же эмпирическому материалу вы можете построить несколько различных реконструкций. Так бывает и в любой науке, даже в тех классических формах, которые не связаны с идеей развивающихся объектов. Иными словами, может существовать несколько теоретических построений относительно одной и той же области фактов. Длительное время эти теоретические построения конкурируют: так, например, в физике XIX века конкурировали фарадеевско-максвелловская и амперо-веберовская версии электродинамики. Казалось, после того как были открыты электромагнитные волны, максвелловская версия победила окончательно, однако потом выяснилось, что в амперо-веберовском варианте были такие идеи, которые не утратили своего значения. Это выяснилось тогда, когда Ричард Фейнман строил квантовую электродинамику: он вернулся к классической бесполой концепции и развил свою идею «интегралов по траекториям» на идее запаздывающих потенциалов. Таким образом, если есть уже очерченная область фактов, то по отношению к ней можно построить много конкурирующих моделей. И какая из них лучше – решается в процессе длительного периода отбора.

Идея методологии как исторической реконструкции у меня также возникла когда-то в спорах с Георгием Петровичем.

В явном виде эта идея не была как-то проговорена ни мной, ни им, но тем не менее она во многом является плодом наших дискуссий. Я понял, что историческая реконструкция есть не просто организация эмпирического материала, она есть одновременно и описание, и объяснение, и – теоретическая модель. И то, что методология должна опираться на историко-научные факты, развиваться, выполняться в виде таких исторических реконструкций, – это была наша общая идея. Я работал на материале истории физики, классической и квантово-релятивистской, и он работал в том мате-

риале, который хорошо знал. Его публикация в «Вопросах философии» по поводу понятия скорости⁵, анализ текста Аристарха Самосского⁶ – вот некоторые из тех фрагментов истории физики, которые он использовал для демонстрации своих абстракций, своих методологических идей.

Сравнительно недавно я использовал такой образ: методолог подобен скульптору, который реализует свой замысел. Про этот замысел можно рассказывать сколько угодно, но пока автор не создаст реальную скульптуру, его замысел – чистые слова! Необходимо предъявить результат, показать, как замысел воплощен. Поэтому для меня, например, чрезвычайно важно не только изобрести какую-то методологическую схему, связанную с пониманием структуры знания, его динамики, а выполнить эту схему в эмпирическом, историко-научном материале – показать, как она работает.

Конечно, у нас было очень много и несогласий, конкретных расхождений в оценках и способах работы.

Как я говорил, прежде всего мы расходились в оценке современной физики. Щедровицкий прямо говорил: квантовая механика – «ублюдок». У нее нет онтологии. Я отвечал: да, онтологии нет, но есть схема метода деятельности, и это был единственный способ выстроить новую теорию, резко расходящуюся с классическими образцами. Чем хороша квантовая физика? Она демонстрирует первичность схемы измерения по отношению к онтологии. Поэтому, оказывается, можно какое-то время обойтись без ясной онтологии. Бор на Сольвеевском конгрессе предложил свой принцип дополнительности как своеобразный заменитель онтологии. Это не значит, что этим можно обойтись. Я соглашался с Щедровицким в том плане, что онтологию придется строить, хотя пока ее построить нельзя. Позднее я понял, почему нельзя. Причина была в том, что к объектам физического знания подходили как к неэволюционным объектам. Идеи эволюции в физике появились позднее, во второй половине двадцатого века. Проникновение эволюционных идей здесь шло по двум каналам: с одной стороны, развитие космологии показало, что элементарные частицы возникли в процессе «Большого взры-

⁵ Щедровицкий Г.П. О некоторых моментах в развитии понятий // Вопросы философии. 1958. № 6.

⁶ Щедровицкий Г.П. Опыт логического анализа рассуждений («Аристарх Самосский») // Философия. Методология. Наука. М., 1997. С. 57–202.

ва». Следовательно, есть какие-то временные стадии формирования различных сортов этих частиц. Стало ясно, что элементарные частицы – явно эволюционный объект. С другой стороны, разрабатывались идеи термодинамики неравновесных процессов (И. Пригожин), которые потом реализовались в движении современной синергетики. В синергетической картине стационарные, замкнутые (или квазизамкнутые) системы являются не базовыми элементами, а исключением. Базовыми как раз являются открытые, незамкнутые и нестабильные системы.

Был у нас с ним спор и о такой проблеме. Сначала, когда я реконструировал теорию Максвелла, была высказана такая мысль, что теоретическая схема используется как аналогия для ассимиляции нового эмпирического материала. Он мне возражал: нет, это плохо, необходимо, чтобы движение шло «сверху», а не «снизу», не от эмпирии, а от движения в слое теоретических идеальных объектов. Я не понимал, почему он так не принимает эту идею. Потом понял, в чем тут дело: действительно, здесь он был прав в том, что построение теории идет «сверху» по отношению к опыту. Понимать это необходимо следующим образом: построение идет не индуктивным путем, не выводится движением от опыта к теории, а строится за счет пробега мышления в сфере идеализированных объектов и построения гипотез – гипотетических схем исследуемой реальности. Но уже в первоначальной реконструкции эта идея явно содержалась. Движение на теоретическом уровне осуществляется как перенос теоретических моделей из одной области в другую. Основная проблема состояла в анализе эмпирического обоснования гипотез. И здесь обнаружили важные особенности. Представление о том, что гипотетические модели отбираются за счет непосредственного, прямого сравнения с эмпирическим материалом, является упрощенным. Считалось, что гипотеза, выдвинутая «сверху», получает право на жизнь, если она подтверждается опытом. Однако для того, чтобы гипотезу подтвердить опытом, ее нужно представить еще один раз как схему той деятельности, в рамках которой эти опытные данные будут получены. И вот, благодаря этим соображениям, я открыл процедуру конструктивного обоснования. Я считаю это одним из ключевых открытий в философии науки, которое мы сделали в Минске. Сейчас, когда мне придется выступать на Западе с лекциями и докладами, видно, что на

эту идею особенно сильно реагируют и оценивают ее очень высоко. Идея конструктивного обоснования впервые представлена в моих публикациях 70-х годов.

Вот эту идею Г.П. Щедровицкий поначалу как-то не воспринял. Она была ему неинтересна. А я считаю ее ключевой. Речь идет о теоретической модели, изобретенной именно за счет имманентного пробега мысли в сфере абстрактных объектов и последующего конструктивного обоснования модели.

Дело в том, что формирование концептуальной структуры новой теории является результатом взаимодействия математического аппарата, теоретической схемы и опыта. Динамика этого взаимодействия во многом определена процедурами конструктивного обоснования теоретической схемы. Можно представить идею конструктивности в качестве методологического правила, которое указывает пути построения адекватной интерпретации математического аппарата теории. Это правило может быть сформулировано следующим образом: после того как введена гипотетическая модель объяснения эмпирических фактов, нужно новые, гипотетические признаки абстрактных объектов модели ввести в качестве идеализаций, опирающихся на новый опыт, на ту область экспериментов и измерений, для объяснения которых создавалась модель. Кроме того, необходимо проверить, не противоречат ли новые признаки тем признакам абстрактных объектов, которые были обоснованы предшествующим опытом. Нужно понять, что правило конструктивности не просто констатирует необходимость эмпирического обоснования теории, а указывает, как, каким образом осуществляется такое обоснование⁷.

Но подобные детали уже не волновали Щедровицкого, ведь он работал очень широко. А широта работы всегда приводит к абстрагированию и отвлечению от деталей и конкретного материала. Георгий Петрович стремился распространить свои идеи вширь. Он хотел применить идеи теории деятельности к самым разным областям, и он это успешно делал – строил теорию и методологию дизайна, обсуждал вопросы детского воспитания, разнообразные проблемы педагогики и лингвистики, строил модели сферы обра-

⁷ См.: Степин В.С. Становление научной теории. Минск, 1976. С. 282–283, а также: Степин В.С. Теоретическое знание. С. 343.

зования, занимался методологией спорта. Я в эти проблемные поля никогда не вторгался. Меня интересовала главным образом научная деятельность, выявление ее специфики и ее методологии.

Бесспорно, в начале своего творческого пути Г.П. Щедровицкий был именно эпистемологом и философом науки. Однако эти предметные границы были для него слишком узкими. Мне кажется, сейчас он мог бы весьма успешно реализовать себя в сфере социальной философии, для этого у него были все необходимые заделы. Но в те годы мы стремились работать в тех областях, где идеологический прессинг не был удушающим, а потому прежде всего – в сфере гносеологии, философии науки, эпистемологии.

По прошествии лет Георгий Петрович начал осознавать себя прежде всего методологом. Мне не нравилась та технология методологической работы, которую он публично провозглашал и демонстрировал, в особенности когда я мог наблюдать за работой его собственного семинара. Мы неоднократно ожесточенно спорили по этому вопросу.

Некоторые его высказывания относительно методологии и тогда и теперь казались мне слишком жесткими. Когда Щедровицкий утверждал, что все в науке и жизни определит методолог, а не предметник, мне это было не близко. Не бывает беспредметной методологии. Методология всегда предметна, можно менять предмет и изменится методология, можно изменить методологию, но тогда обязательно появятся новые объекты и новые предметы.

Возражая, я обычно говорил ему так: изображаемый тобой методолог – это тот, который рассказывает, как надо копать яму, если бы он умел копать. Все разговоры о том, что ученому или практику *надо* делать, указания ему норм работы в виде серии команд – бессмысленны, потому что действующий человек не робот и его все равно не запрограммируешь. Если кому-то что-то так назойливо внушают, то этот кто-то тем более все перекрутит, переиначит и сделает по-своему. Я говорил: ведь это твой, Юра, тезис, что деятельность включает в себя два полюса – объект и субъект, они взаимно скоррелированы между собой. Вне деятельности объект не существует для человека. Это очень хорошая мысль.

Личные разговоры с Щедровицким были для меня гораздо интереснее, чем посещение руководимого им семинара. Когда мы разговаривали с глазу на глаз, это был другой человек. Он был актер

по природе, он очень хорошо чувствовал и понимал свою роль Гуру. В принципе вся его деятельность по организации семинара имела две стороны. Одна – содержательная, где он высказывал собственные идеи, развитые им самим, а также подхваченные его способными, прогрессивно мыслящими учениками; он высказывал идеи, проекты и молодежь таким образом программировал. И была еще организационно-публичная сторона, связанная с тем, как он себя видел и как он себя подавал в качестве носителя этих идей. Здесь он играл социальную роль и выполнял ее так, как этого требовала данная роль. Он был организатор, носитель и хранитель истины, он подавлял всякие сомнения людей в том, что демонстрирует истину, и он ни в коем случае – как я его видел на семинарах – не давал никому усомниться в том, что сам он все знал в той области, о которой говорил. На семинаре он был совсем другой, чем в частной беседе. Так получается у многих. Это закономерно, потому что когда организуется сообщество с явным лидером, то оно создается по системе традиционалистского общества: есть Учитель и есть ученик. Гуру нес истины и учил, ученики постигали эти истины. Таковы были ролевые игры, ролевые ситуации.

Наш семинар в Минске работал совсем в другой атмосфере. Никто никого не учил, не говорил, как *надо* действовать, просто все вместе читали и анализировали тексты по истории физики, реконструировали ходы мысли Максвелла или что-то подобное, спорили, выдвигали идеи и критиковали их. Никто из моих коллег не мог воспринимать меня как Гуру, а мне никогда не приходило в голову играть эту роль, хотя, наверное, лидирующие функции я выполнял. Но сейчас я не стал бы утверждать, что работа семинара Г.П. Щедровицкого с его довольно жесткой дисциплиной дискуссий могла бы стать более продуктивной, если бы изменился стиль его работы. Наверное, само утверждение деятельностной парадигмы, ее внедрение в умы потребовало определенного авторитарного стиля организации семинара. Ведь туда приходили не только уже сложившиеся исследователи, но и совсем молодые люди, только начинающие свой путь в науке. И семинар для них был не столько полем научных дискуссий, сколько своеобразной обучающей системой, своего рода вторым Университетом. Конечно, можно зафиксировать, что наиболее интересные исследователи уходили из семинара, хотя с его лидером продолжали поддерживать и науч-

ные и лично-дружеские связи. Но можно на эту же ситуацию взглянуть с другой стороны. Есть такое полущутливое высказывание в одном из рассказов О'Генри – «во всяком деле есть две стороны, начнем со второй». Так вот, с этой второй стороны достаточно просто перечислить имена известных и признанных исследователей: И.С. Алексеев, Н.Г. Алексеев, Н.И. Кузнецова, В.А. Лефевр, М.А. Розов, В.М. Розин, В.Н. Садовский, В.С. Швырев, Э.Г. Юдин. Все они в разные годы участвовали в работе московского методологического семинара, некоторые из них на какой-то стадии становились столь же значимыми его лидерами, как и Г.П. Щедровицкий. И наверняка эта работа оказала влияние на формирование их собственных исследовательских программ.

3. Философские парадигмы Г.П. Щедровицкого

В каких философских традициях мы работали в те времена? Идея деятельностного подхода формировалась, несомненно, как освоение первого тезиса Маркса о Фейербахе. Мы, тогдашняя молодежь послевоенной генерации советских философов, искренне прокламировали и пропагандировали этот тезис, потому что он был очень удобен. С одной стороны, это – марксизм, к чему не придерешься. С другой стороны, отталкиваясь от него, можно было совершать следующие шаги. Мы все, конечно, нуждались в обязательной привязке к той стандартной идеологии преподавания философии, которая царила в нашей стране. Г.П. Щедровицкий был очень искренний марксист. Но когда я проделал свою работу в сфере философии науки, то к концу 70-х – началу 80-х годов понял, что я не столько марксист, сколько неокантианец. Думаю, что этот дрейф в сторону неокантианства не был случайным.

Если обратиться к истории отечественной философии и проанализировать то изменение сознания у российских марксистов, наиболее видных теоретиков, которое произошло где-то после революции 1905 года, то обнаружим следующее. Известно, что А.А. Богданов, В.А. Базаров, П.С. Юшкевич были раскритикованы В.И. Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме» за то, что они-де хотят соединить марксизм с кантианством. Через Канта,

утверждал Ленин, они идут еще далее вспять, к Юму. И происходит подмена материализма идеализмом. Так это подавалось и преподавалось долгие годы.

На самом деле эти отечественные теоретики марксизма двигались очень продуктивно. Я понял это, когда начал читать их работы в оригинале, а не в цитатах и критической подаче автора «Материализма и эмпириокритицизма».

Каким образом мне удалось познакомиться с оригиналами? Это тоже сюжет для небольшого рассказа о советской эпохе. Чтобы написать диссертацию по неопозитивизму, мне необходимо было прочитать работы Венского кружка, а в наших библиотеках эта литература находилась в так называемом спецхране. Для меня был оформлен допуск по второй форме. И поскольку допуск уже был получен, я воспользовался ситуацией для самообразования. Я тогда прочитал много запрещенной литературы: и той, где мои неопозитивисты ругали советскую власть, и Стенограммы XIV, XV, XVI партийных съездов, которые были засекречены от рядовых членов КПСС. Взял я для знакомства «Философию живого опыта», «Тектологию» Богданова и другие его работы. Почему-то особенно трудно было достать «Очерки по философии марксизма» (1908). Узнал много нового и интересного.

Богданов развивал марксизм, считая, что учение Маркса – только ступень для всеобщей организационной науки – тектологии. Он писал: «В технике мы нашли организацию вещей для человеческих целей; теперь мы ее находим в природе вне человека. Вся природа, в свою очередь, оказывается полем организационного опыта. Так, исходя из фактов и из идей современной науки, мы неизбежно приходим к единственно целостному, единственно монистическому пониманию вселенной. Она выступает перед нами как беспредельно развертывающаяся ткань форм разных типов и степеней организованности, от неизвестных нам элементов эфира до человеческих коллективов и звездных систем. Все эти формы, в их взаимных сплетениях и взаимной борьбе, в их постоянных изменениях, образуют мировой организационный процесс, неограниченно дробящийся в своих частях, непрерывный и неразрывный в своем целом. Итак, *область организационного опыта совпадает с областью опыта вообще. Организационный опыт – это и есть весь наш опыт, взятый с*

*организационной точки зрения, то есть как мир процессов организующих и дезорганизующих».*⁸

В этом контексте Богданов пришел к утверждению, что общественное бытие равно общественному сознанию. Если перевести на современный язык, то можно изложить его идею следующим образом: сложные, развивающиеся (органические) системы обязательно содержат структуры, которые аккумулируют опыт взаимодействия системы со средой. Иначе говоря, органические саморазвивающиеся системы включают в себя особые информационные управляющие подсистемы. Сегодня мы бы сказали, что общественное сознание (и социальное бессознательное) следует интерпретировать как культуру, основания которой выступают своего рода генами социального организма. Подобно тому, как в биологии гены определяют структуру живых организмов, так общественное сознание в каких-то основных, базисных его характеристиках определяют структуры социальной жизни. Ленин увидел в этом путь к идеализму и отступление от марксизма, хотя сам тип анализа, когда общество рассматривается как целостная система, живущая по своим естественным законам, – главная, краеугольная идея Маркса, в подходе Богданова полностью сохранялась.

«Тектология» Богданова – это одна из версий, набросков теории систем. Здесь он шел от Маркса, который одним из первых начал анализировать сложную органическую, саморазвивающуюся систему. Кстати говоря, многие молодые советские философы, включая А.А. Зиновьева и Г.П. Щедровицкого, начинали свой творческий путь, отталкивались от анализа «Капитала». Действительно, Маркс показал, в чем состоит сама идеология анализа сложных органических, развивающихся систем, и можно было, опираясь на предложенный вариант, предложить новые идеи, что и делали А.А. Зиновьев, Э.В. Ильенков, другие. И Г.П. Щедровицкий во многом отталкивался от такого типа анализа. Зиновьев и Ильенков начали работать несколько раньше, потом пришел Щедровицкий, который, с одной стороны, полемизировал с ними, но с другой стороны, оттуда он заимствовал и стал развивать идею деятельностного подхода.

Развитие этих идей открывало новую тематику – роли культуры в организации социальной жизни и социокультурной детерми-

⁸ Богданов А. Всеобщая организационная наука (тектология). Л.-М., 1925. С. 30–31.

нации познания. Русские эмпириокритики действительно много ссылались и весьма похвально отзывались о неокантианстве, так как проблема культурной детерминации научного познания этой традицией была уже прозондирована.

Уже в рамках классической философии в преддверии XIX столетия была поставлена проблема предпосылок познавательной деятельности и оснований естествознания (Кант). Все яснее осознавалась активно-деятельностная природа познания и историческое развитие его категориальных структур (Фихте, Гегель). Наконец, переход от классического этапа развития философии к современному и начатый в середине XIX столетия пересмотр установок «классической философии», доминировавших с XVII по XIX столетие, постепенно выявляли включенность познающего разума в исторически сложившиеся и исторически меняющиеся структуры общественной жизни, поставив проблематику социальной детерминации познания и, в качестве одного из ее аспектов, вопросы историчности глубинных оснований и предпосылок научного исследования⁹.

Это была эпоха становления неклассической рациональности, когда рядом с классической парадигмой суверенного разума, как бы со стороны познающей мир, возникает альтернативный подход к пониманию познающего субъекта. В новой парадигме он рассматривается в качестве погруженного в мир, действующего внутри него и постигающего объекты в зависимости от того, каким образом исторически определенные состояния человеческого жизненного мира обеспечивают включение объектов в познавательную деятельность людей.

Осмысление этой укорененности сознания в структурах человеческого бытия и его обусловленности этими структурами нашло выражение во многих философских идеях второй половины XIX – начала XX столетия (Маркс, Кассирер, Риккерт, Виндельбанд, Вебер, Ницше, Фрейд и другие). В философии науки эти идеи проявились прежде всего в интенсивном обсуждении проблематики научных онтологий. Традиционному отождествлению фундаментальных абстракций науки и реальности противостояла критика

⁹ См.: Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии // Философия в современном мире. Философия и наука. М., 1972.

такого отождествления, опирающаяся на опыт исторического анализа науки. Ряд важных моментов этой проблематики был развит конвенционализмом и эмпириокритицизмом, и той особой версией «марксистски окрашенного эмпириокритицизма», который разрабатывал А.А. Богданов.

Эти разработки достаточно легко монтировались с марксистской традицией, ведь для Маркса любая идея, которая возникает в общественном сознании, детерминирована общественным бытием. Только нужно было рассмотреть общественное бытие в более широком понимании, не сводя его только к способу производства, а включить в него систему социальных отношений и коммуникаций, программируемых культурой.

Развитие деятельной концепции познания и его социокультурной обусловленности требовало преодоления наивно-реалистической версии познания, которую по существу отстаивал В.И. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме». Здесь главная идея состояла в том, что познание отражает объект, а результат отражения, знание, есть зеркальный образ объекта (*Spiegelbild*, как любил подчеркивать Ленин). И лишь позднее Ленин модифицирует наивно-реалистическую концепцию, включая в гносеологию идею практики и теории деятельности. Надо сказать, что возврат к «аутентичному Марксу» был колоссальным прогрессом для той ситуации, в которой мы все тогда оказались. Советская философия, на мой взгляд, этим возвращением к классике марксизма во многом спасла себя от деградации в крайности чистой идеологии. И от Маркса можно было далее идти в различные стороны. Э.В. Ильенков, сближая Маркса с неогегельянскими мотивами, разрабатывал диалектику познания. А.А. Зиновьев вообще ушел в разработку формальной логики, а начинал с анализа методологии «Капитала». Г.П. Щедровицкий также начинал под влиянием Маркса, но пошел каким-то своим путем. Не знаю, в какой мере он сам осознавал влияние неокантианства, но думаю, что эта традиция ему была близка, поскольку модель культуры, которую он развивал, выходила за рамки узко марксистского подхода.

Внешне культура предстает как сложная смесь взаимодействующих между собой знаний, предписаний, норм, образцов деятельности, идей, проблем, верований, обобщенных видений мира и т.д. Выработываемые в различных сферах культуры (науке, обы-

денном познании, техническом творчестве, искусстве, религиозном и нравственном сознании и т.д.), они обладают регулятивной функцией по отношению к различным видам деятельности, поведения и общения людей. В этом смысле можно говорить о культуре как о сложно организованном наборе надбиологических программ человеческой жизнедеятельности, программ, в соответствии с которыми осуществляются определенные виды деятельности, поведения и общения. В жизнедеятельности людей в принципе взаимодействуют программы двух типов: биологические (инстинкты самосохранения, питания, половой инстинкт, инстинктивная предрасположенность к общению, выработанная как результат приспособления человеческих предков к стадному образу жизни и т.д.) и социальные, которые как бы надстраиваются над биологическими в процессе становления и развития человечества (поэтому их можно назвать надбиологическими программами). Если первые передаются через наследственный генетический код, то вторые хранятся и передаются в обществе в качестве культурной традиции.

Динамика культуры связана с появлением одних и отмиранием других надбиологических программ человеческой жизнедеятельности. Все эти программы образуют сложную развивающуюся систему, в которой можно выделить три уровня. Первый из них – реликтовые программы, представляющие своеобразные осколки прошлых культур, уже потерявшие ценность для общества новой исторической эпохи (обычай, суеверия, ритуалы, предметы прошлого и т.п.). Второй уровень культурных образований – программы, которые обеспечивают воспроизводство форм и видов деятельности, жизненно важных для данного типа общества и определяющих его специфику. Можно выделить и еще один (третий) уровень культурных феноменов, в котором вырабатываются программы будущих форм и видов поведения и деятельности, соответствующих последующим ступеням социального развития (таковы новые научные знания, которые генерируют новые технологии и технику, идеалы будущего социального устройства, этические принципы и т.п.)¹⁰. Георгий Петрович, например, красиво говорил в своих лекциях:

¹⁰ Подробнее см.: Степин В. С. Теоретическое знание. С. 267–269.

Человечество постепенно овладевает своим собственным развитием, начинает ставить перед собой жесткие целевые установки и осуществлять их. Как бы вынесенные вперед цели и идеалы начинают все более и более определять пути человеческого развития.¹¹

Щедровицкий также много и часто говорил в статьях, а также в своих докладах и лекциях, о методе «восхождения от абстрактного к конкретному». Он, вслед за своим учителем Зиновьевым, весьма высоко оценивал этот метод, который позволил Марксу проанализировать экономику капитализма, создать «Капитал». Он писал в одной из ранних своих работ:

Совокупность всех суждений и умозаключений, с помощью которых мы, начиная с чувственно-конкретного, переходим к чувственно-абстрактному, затем логически-абстрактному и, в конце концов, вновь восходим к логически-конкретному, – весь этот процесс, рассматриваемый как результат научного исследования, представляет собой современное понятие. Только вся эта сложная система, вся совокупность абстракций, связанных в суждения и умозаключения, является знанием о том или ином предмете. Классическим примером такого понятия являются три тома «Капитала» Маркса.

Процесс нисхождения от чувственно-конкретного к логически-абстрактному и восхождения от логически-абстрактного к логически-конкретному составляет основу современного научного мышления. Только на его общей основе могут быть исследованы все частные приемы и методы абстрагирования, все законы функционирования и развития форм нашей мысли.¹²

В свое время в книге «Методы научного познания»¹³ я попытался интерпретировать этот метод как применимый не только в сфере экономики, как у Маркса, но пытался показать, что он работает в математике и естественных науках. Речь там идет о том, что ученый начинает с некой общей, абстрактной идеи, а потом

¹¹ Щедровицкий Г.П. Процессы и структуры в мышлении. М., 2003. С. 283.

¹² Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 37.

¹³ Степин В.С., Елсуков А.Н. Методы научного познания. Минск, 1974.

начинает конкретизировать идею, менять ее каждый раз, пытаюсь учесть новые факты, и тогда теория развивается как сложное системное целое.

Сейчас я сказал бы так: метод «восхождения» – специфический метод, применимый там, где речь идет об исследовании исторически развивающихся объектов. В принципе этот метод имеет эвристическую ценность, но работает ли он в реальной научной практике? Одно дело, когда мы из учебно-идеологических соображений пытаемся его применить, другое – показать, что кто-то действительно так работал, его использовал, когда и как. Вероятно, никто им не пользовался сознательно, кроме Маркса, хотя то, о чем я писал тогда, можно было бы изложить и в терминах «восхождения».

Здесь, вероятно, надо вспомнить о гегелевских истоках учения Маркса. У Гегеля была следующая хорошая идея: когда развивающаяся система начинает взаимодействовать со средой, то всегда проходит через какие-то периоды разбалансировки – Гегель это называл «скачки» (сейчас бы мы сказали, «динамический хаос»). Мне представляется, что само словосочетание «восхождение от абстрактного к конкретному» появилось у Гегеля в результате осмысления способа построения им системы категорий. Происходило это примерно следующим образом: нечто (какая-то категория) рождает свое иное, вступает с ним в рефлексивную связь. Нечто изменяется под воздействием этого иного, потом происходит погружение в основание, и вот эта система «нечто плюс иное» перестраивается в новое целое, перестраивает свое основание, потом это снова и снова повторяется.

В такой форме схвачена краеугольная идея развития. Если система развивающаяся, то это связано с наращиванием уровней иерархической организации целого. Иными словами, когда возникает каждый новый уровень, то он воздействует на предыдущие, меняет композицию их элементов, их характеристики, и возникает новый тип сложности системы. Я эту динамику понял достаточно поздно, но когда понял, то стал сознательно использовать. Сейчас эти процессы можно и нужно описать более совершенным языком, чем тот, которым пользовался Гегель.

Гегель не имел в своем распоряжении достаточного естественнонаучного материала для разработки общих схем развития. Только в XIX столетии естествознание приступило к исследованию объ-

ектов, учитывая их эволюцию, – в палеонтологии, геологии, биологических науках (наиболее весомый вклад внес в это движение Дарвин). А Гегель выбрал в качестве исходного объекта анализа историю человеческого мышления, реализовавшуюся в таких формах культуры, как философия, искусство, право, нравственность и т.д. Этот предмет анализа был представлен Гегелем как саморазвитие абсолютной идеи. Он анализировал развитие этого объекта (идеи) по указанной выше схеме: объект порождает свое «иное», которое начинает взаимодействовать с породившим его основанием, и, перестраивая его, формирует новое целое. Распространив эту схему развивающегося понятия на любые объекты (поскольку они трактовались как инобытие идеи), Гегель, хотя и в спекулятивной форме, выявил некоторые особенности развивающихся систем: их способность, развертывая исходное противоречие, заключенное в их первоначальном зародышевом состоянии, наращивать все новые уровни организации и перестраивать при появлении каждого нового уровня сложное целое системы.

Сетка категорий, развитая в гегелевской философии на базе этого понимания, может быть расценена как сформулированный в первом приближении категориальный аппарат, который позволял осваивать объекты, относящиеся к типу саморазвивающихся систем.¹⁴

Маркс применил к изучению капитала гегелевскую схему. Теперь это выступает как метод, хотя сам Маркс писал, что он «кокетничал с гегелевской формой». Его восхищало, например, как Гегель описал превращение качества в количество. Действительно, у Гегеля это получалось довольно изящно. Он рассуждает так: если вы имеете качество, то это то, что отличает один предмет от другого. Но тогда вы должны иметь *другое*. Само понятие *качества*, оказывается, беременно категорией *количество*. Если вы говорите зеленое, то это имеет смысл, если имеет место красное, голубое, коричневое... А если бы мир был монохромен, то понятие «зеленый» не имело бы смысла. Этот смысл существует потому, что есть другие смыслы. Следовательно, существует множество качеств, а значит – существует количество. Подобные схемы Маркс использовал в своей работе, анализируя товарный обмен и то, как возникают деньги.

¹⁴ См.: Степин В.С. Теоретическое знание. С. 266–267.

Он показал, как один товар, сохраняя временно потребительную стоимость, становится универсальным средством обмена, потом утрачивает эту потребительную стоимость и становится только символом меновой стоимости. Это все очень красивые вещи, у Маркса они были, и именно это, вероятно, можно интерпретировать в терминах метода восхождения от абстрактного к конкретному.

Суть дела не в словах, а в том, продуктивна ли схема сама по себе? Нужно ли сохранять эти приемы в такой гегелевской терминологии? Дает ли подобная терминология что-нибудь для конкретной деятельности? Думаю, что это простой и очень продуктивный метод только для тех случаев, о которых я говорил выше.

4. Типы изучаемых систем и типы методологий в науке

К чему в конечном итоге привела идея Щедровицкого о необходимости связать деятельностный и системный подход?

С моей точки зрения, суть дела заключается в следующем: необходимо, конечно, рассматривать все объекты в форме деятельности, но следует также признать, что существуют различные типы систем. Георгий Петрович понимал, что есть разные типы систем: малые системы – например, механические; сложные, с гомеостазисом, где целое не сводится к сумме частей, где есть системное качество. Каждый раз смена объекта требует осуществления иного типа деятельности. С разными типами систем реализуется различная деятельность.

В чем достоинство этой схемы? Деятельность, как было показано, – это не просто действия субъекта по отношению к внешнему для него объекту. У Щедровицкого деятельность включает и субъект и объект сразу, это – два полюса! Неслучайно он говорил о субстанции деятельности, подчеркивая наличие этих двух полюсов, без которых не бывает деятельности. Как только я начинаю действовать с объектом, он уже включен в мою деятельность, он, если угодно, окультурен, он оформлен деятельностью, втянут в деятельность, становится ее частью.

Если из этого исходить, тогда очень важно понять, с каким типом системного объекта здесь сталкиваешься. От этого зависит вы-

бор операций, процедур, сама организация субъекта. Эта идея была очень важной. Я не берусь утверждать, что Георгий Петрович сам понимал это в тех терминах, которыми я охарактеризовал идею связи деятельностного и системного подходов. Но я это для себя так интерпретировал.

Другие его идеи меня лично мало затрагивали. Я не занимался теорией деятельности как таковой, не задавал вопроса, что такое субстанция деятельности и тому подобное. Для моих задач нужно было только то, о чем я сказал выше. И из моей интерпретации следовало, что вначале необходимо типологизировать системные объекты.

Я начинал с различения малых и больших систем (об этом писал еще Г.Н. Поваров и другие, это обсуждалось в сборниках «Системные исследования»¹⁵). Но есть еще системы с саморазвитием. У Поварова это тоже указывалось, но как-то мельком. Я же хотел проанализировать это детально. Исходя из этих соображений, лет через 20, в конце 80-х годов, – я пришел к различению *классической, неклассической и постнеклассической науки*¹⁶. Сегодня, надо сказать, это различение так прижилось, что начинает употребляться в качестве «ходячей истины» в самых различных контекстах. Однако подход к этому различению был достаточно долгим.

Все зависит от того, какие объекты осваивает деятельность. Наука всегда предметна, объектна. В человеческой деятельности наука выделяет только ее предметную структуру и все рассматривает сквозь призму этой структуры. Как царь Мидас из известной древней легенды – к чему бы он ни прикасался, все обращалось в золото, – так и наука, к чему бы она ни прикоснулась, все для нее предмет, который живет, функционирует и развивается по объективным законам. Она может изучать, что угодно: сознание, человека, отношения людей, природные объекты, социальные структуры – и все это для нее объекты, живущие по естественным законам. Поэтому важно понять, как наука типологизирует свои объекты, в каких си-

¹⁵ Поваров Г.Н. Сложность систем как показатель научно-технического прогресса // Проблемы исследования систем и структур. М., 1965. С. 8–9; Поваров Г.Н. To Daidalu ptero (К познанию научно-технического прогресса) // Системные исследования. Ежегодник 1971. М., 1972. С. 153–170.

¹⁶ Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации // Вопросы философии. 1989. № 10. С. 3–18.

темных характеристиках она его изучает и описывает. От этого зависит сам тип деятельности с изучаемым объектом.

Одно дело – освоение простых систем, чем занята вся классическая наука, начиная с механики, включая всю вторую половину XIX века. В начале XX века наука начинает втягивать в орбиту своего практического освоения большие системы. Меняется вся структура познания: начинаются сложности с интерпретацией квантовой механики и философским осмыслением теории относительности. Совершенно ясно видно: для того, чтобы построить онтологию исследуемого объекта, необходимо эксплицировать процедуры деятельности.

Я пришел к идее, что картина мира всегда строится коррелятивно схеме метода деятельности. А схема метода деятельности выражается в системе идеалов и норм науки. Если отрефлексировать эти идеалы и нормы, можно эксплицировать методологические принципы. Пока не построена схема метода, которая адекватна деятельности с изучаемым объектом, картины мира, онтологические представления объекта будут в лучшем случае лишь гипотезами. Я проанализировал, как строилась механика Галилея–Ньютона. В результате этого анализа стало видно, что в классической науке присутствовал следующий принцип, если угодно – постулат: исследователь может один и тот же объект перевести в различные процедуры деятельности, сохраняя его себетождественность. Исследователь, например, может изучить маятник, потом этот же маятник перенести в другую ситуацию – ученый знает, что маятник не разрушится, что он имеет дело с тем же самым объектом. Можно маятник исследовать в экспериментальной ситуации, когда он, скажем, не просто свободно колеблется под действием силы тяжести Земли, а связан с какой-то пружиной, которая будет тормозить его колебания, и они будут затухающими. Можно маятник использовать как средство изучения других объектов – когда создают маятниковые часы. Иначе говоря, я могу из одной деятельности в другую перетягивать объекты, и у меня нет проблемы, тот ли это объект или другой, предполагается, что себетождественность объекта не требует особых исследовательских процедур. Так обстоит дело, пока изучаются малые системы, здесь особых сложностей не возникает. В классической физике неявно принимается особая система постулатов измерения: допускается, что измерительные процедуры не меняют

радикально сам объект. Допускается далее, что часы и линейки физической лаборатории не меняются при переходе от одной системы отсчета к другой. На теоретическом уровне описание это соответствует инвариантности пространственных и временных интервалов во всех инерциальных системах отсчета. А это в свою очередь выражается в представлениях механической картины мира об абсолютном пространстве и абсолютном времени. Все подобные допущения – неявные, они просто фиксируют схему той экспериментально-измерительной практики, с которой начинали Галилей, Ньютон, Гюйгенс и все те, кто с ними работал и создавал механику. Именно эта схема, эти допущения, были «впечатаны» в научную картину мира – механическую картину в виде представлений об абсолютном пространстве и времени, лапласовской детерминации. Затем эта картина была вполне успешно использована для построения классической электродинамики и термодинамики.

Однако далее, когда эту схему перенесли на мир атомных и субатомных процессов, когда стали изучать движение электронов и других частиц микромира, выяснилось, что привычная картина начинает разрушаться! Квантовая механика выявила принципиальные трудности установления себестоимости микрообъектов. В конечном итоге пришлось пересматривать идею движения частиц по траекториям, дополняя представления о лапласовской причинности идеями вероятностной причинности. Примерно в это же время, когда начала создаваться квантовая теория, были радикально пересмотрены представления механической картины мира о пространстве и времени. Была создана теория относительности, которая разрешила парадоксы, возникавшие при переносе механической картины в мир больших скоростей передачи взаимодействия, сопоставимых со скоростью света. В обеих ситуациях создание новых теорий было теснейшим образом связано с анализом операциональных структур, коррелятивно которым вводятся представления о физической реальности – с выяснением ограничений схемы экспериментально-измерительной деятельности, которая неявно принималась классической физикой и которую потребовалось серьезно корректировать.

В этом плане очень показательна интуиция такого гениального исследователя, как Эйнштейн. В «Автобиографических заметках» 1949 года он рассказывает о муках создания теории относительнос-

ти. Он выразительно писал: «Мне стало ясно, что ни механика, ни термодинамика не могут претендовать на полную точность (за исключением предельных случаев). Постепенно я стал отчаиваться в возможности докопаться до истинных законов путем конструктивных обобщений известных фактов. Чем дольше и отчаяннее я старался, тем больше я приходил к заключению, что только открытие общего формального принципа может привести нас к надежным результатам. Образцом представлялась мне термодинамика. Там общий принцип был дан в предложении: законы природы таковы, что построить вечный двигатель (первого и второго рода) невозможно. Но как же найти общий принцип, подобный этому?»¹⁷ Что такое первое и второе начало термодинамики? Первое – закон сохранения энергии, второе – принцип, связанный с увеличением энтропии в замкнутых системах. Эти два онтологических принципа завязаны на операциональные принципы: первый утверждает, что нельзя построить вечный двигатель первого рода, второй говорит о том, нельзя построить вечный двигатель второго рода. Эйнштейн интуитивно осознал, что нужно найти операциональную основу предлагаемых онтологий. Собственно говоря, он это и сделал. Это и был переход к неклассическому способу исследования. И он понял, что надо менять фундамент научных исследований, менять физическую аксиоматику. «Такой принцип, – продолжает Эйнштейн, – я получил после десяти лет размышлений из парадокса, на который я натолкнулся уже в 16 лет. Парадокс заключался в следующем. Если бы я стал двигаться вслед за лучом света со скоростью c (скорость света в пустоте), то я должен был бы воспринимать такой луч света как покоящееся, переменное в пространстве электромагнитное поле. Но ничего подобного не существует; это видно как на основании опыта, так и из уравнений Максвелла... Можно видеть, что в этом парадоксе уже содержится зародыш специальной теории относительности. Сейчас, конечно, всякий знает, что все попытки удовлетворительно разъяснить этот парадокс были обречены на неудачу до тех пор, пока аксиома об абсолютном характере времени и одновременности оставалась укоренившейся, хотя и неосознанной в нашем мышлении. Установить наличие этой аксиомы и признать ее произвольность в сущности уже означает решить проблему».¹⁸

¹⁷ Эйнштейн А. Собр. научных трудов. Т. 4. М., 1967. С. 277–278.

¹⁸ Там же. С. 278.

Классика имела дело с онтологией, а какая схема деятельности лежит за этой онтологией, ее мало интересовало. Но в квантово-релятивистской физике экспликация операциональных оснований онтологий становится необходимым компонентом построения новых представлений о мире.

В таком контексте, кстати, появляется знаменитая аналогия Артура Эддингтона, которую потом использовал Карл Поппер, и ее часто незаслуженно приписывают Попперу. Эддингтон это высказал в 1929 году, а Поппер издал «Логику научного исследования», где это использовано, в 1934 году. Эддингтон сказал: теория – это сеть, которую мы забрасываем в мир.

С моей точки зрения, речь здесь идет не о теории в привычном смысле слова, а о схеме деятельности, в которой фиксируется операциональный аспект теории. Это – схема метода, которая представлена системой идеалов и норм научного исследования, т.е. серией постулатов такого типа: как я объясняю, что значит описывать? что такое доказательство? как знание должно быть устроено? и т.п. Подобная схема «заполняется» одновременно в различных дисциплинах: в физике это схема экспериментально-измерительных процедур, в биологии – схема той деятельности, которой занимается биолог, и так далее. Какова эта «сетка», что попадет в эту схему, что выловишь в ней, – таково будет знание. Если продолжать говорить на языке этого образа, получится так: если наша сеть имеет большие ячейки, то ловятся только большие рыбы, тогда говорится, что в мире, кроме больших рыб, ничего и нет; если сплетена сетка с мелкими ячейками – улов иной, много вытащили и говорят: смотри, как разнообразна природа – не только рыбы, но и рачки какие-то попадаются!.. Главное в том, как устроена «сетка». Сама эта идея возникла где-то в глубинных структурах творчества естествоиспытателей, а Эддингтон ее только озвучил.

Отталкиваясь от этих соображений, я пошел дальше: я понял, что если в деятельность включаются различные системные объекты, следовательно, деятельность должна зависеть от типа объекта, она коррелятивна типу изучаемого объекта. Если мы рассмотрели систему идеалов и норм исследования как своего рода «сетку метода», которую наука «забрасывает в мир» с тем, чтобы «выудить» из него определенные типы объектов, тогда можно спросить: чем обусловлено устройство этой «сетки»? Ответ звучит следующим

образом: эта «сетка» детерминирована двояким образом. С одной стороны, характером исследуемых объектов, а с другой – социокультурными факторами, мировоззренческими установками, доминирующими в культуре той или иной исторической эпохи. С изменением идеалов и норм открывается возможность познания новых типов объектов.

И теперь мы должны сделать следующий шаг, поскольку традиционная проблематика философии науки радикально расширяется.

5. Выход к философской антропологии

Каким образом проблематика философии науки переходит в философскую антропологию? Мне кажется, это вполне закономерный шаг.

Я отгалкивался от трех выделенных этапов развития науки. Дело в том, что для каждого этапа строилась своя методология: есть методология классической науки, методология неклассической и методология постнеклассической науки.

Методология классической науки рассматривает, какие именно категории необходимы для того, чтобы осваивать изучаемый объект. И она этим занимается, анализируя прежде всего такие категории, как движение, пространство, время, причинность. Все это очень нужно науке, потому что через эти категории наука включала в культуру свои достижения.

В связи с этим я предложил объяснение, зачем нужны философские основания науки. Они выполняют двоякую функцию: эвристическую и – что не менее важно – обоснование полученных результатов, включение их в культуру. Любой результат фундаментальной науки выходит за рамки здравого смысла, открывает предметные миры, которые человек еще не освоил в практике обычной жизнедеятельности. И поэтому категориальные схемы, с помощью которых наука осваивает новые миры, при помощи которых она их познает и понимает, часто не совпадают с ходячими категориальными схемами культуры данной исторической эпохи. Нужна «прослойка», медиатор которой адаптировал бы видение новых объектов, новые предметные миры, открытые наукой, к той культурной

ситуации, которая пока с этими объектами не работала. Роль такого медиатора выполняют философские основания науки.

Например, когда Фарадей обнаружил в своих опытах электрические и магнитные силовые линии и попытался на этой основе ввести в научную картину мира представления об электрическом и магнитном поле, то сразу же столкнулся с необходимостью обосновать эти идеи. Его предположение, что силы распространяются в пространстве с конечной скоростью от точки к точке, приводило к представлению о силах как существующих в отрыве от материальных источников (зарядов и источников магнетизма). Но это противоречило общему принципу: силы всегда связаны с материей. Чтобы устранить это противоречие, Фарадей рассматривает поля сил в качестве особой материальной среды. Философский принцип неразрывной связи материи и силы выступал здесь основанием для введения в картину мира постулата о существовании электрического и магнитного полей, имеющих такой же статус материальности, как и вещество. Аналогично Н. Бор обосновывал принцип дополненности и особенности квантовомеханического описания, когда микрообъект рассматривается относительно средств наблюдения, опираясь на философский анализ принципиальной «макроскопичности» познающего субъекта.

Таким образом, благодаря процедурам философского обоснования, наука адаптирует свои идеи к культуре своей эпохи.

С этой точки зрения, всякий переход к новому типу системных объектов требует иных философско-методологических обоснований. Поэтому я различил методологию классической науки и методологию неклассической науки. Анализ показал, что методология неклассической науки – это методология деятельностного подхода. Г.П. Щедровицкий с его идеями был как раз весьма созвучен идеалам и нормам неклассической науки. Я бы сказал, что в его жизни было фундаментальное противоречие: он не принимал квантовую механику, оценивал ее с позиций классической науки, поскольку у нее нет ценностной онтологии, но в то же время идеи, которые он сам генерировал и пропагандировал, фиксировали первичность деятельности по отношению к объекту, что является признаком методологии неклассической физики.

Я бы даже так сказал: идеи Щедровицкого утверждали, что объект существует только так, как он дан в структуре деятельнос-

ти. Если можно задать другой тип деятельности, тогда можно включить в нее и другие типы объектов. Существуют различные типы системных объектов: в 70-х годах в центре анализа методологии деятельности находились сложные саморегулирующиеся системы, но существует и более сложный тип систем – системы с саморазвитием. Осознание необходимости их методологического анализа и выяснение особенностей этого анализа у меня возникло к концу 80-х – началу 90-х годов. Но в 70-е годы главным было выяснение операциональной структуры всех онтологических схем и понятий. Это как раз очень важно для методологии исследования сложных систем. Для изучения малых систем операционализм избыточен, даже не нужен. Операциональная схема там есть, она там присутствует как бы автоматически. Практика устроена таким образом, что исследователь каждый раз имеет дело с объектом, установить идентичность которого в разных операциях не представляет труда. Он берет проводник с током, насыпает вокруг него опилки и демонстрирует, что вокруг проводника с током есть магнитные силовые линии. Исследователь не сомневается в том, что, насыпав опилки, он ничего не изменил в проводнике с током. А когда экспериментатор работает с объектами микромира, дело другое. Там, условно говоря, насыпав опилки, он может изменить объект. Сама ситуация эксперимента влияет на объект. Поэтому деятельностная схема, деятельностная парадигма настраивала прежде всего на операциональный анализ, выяснение схем деятельности. В методологии неклассической науки основной была такая проблематика: как строится и как развивается научное знание? Каковы операции, схемы и методы деятельности и как они меняются в зависимости от того, как появляются новые объекты?

А далее в развитии науки – во второй половине XX столетия – появился третий этап, который я назвал постнеклассическим. Выясняется, что, когда наука начинает осваивать развивающиеся системы, системы с саморазвитием, деятельностно-операциональный подход недостаточен. Эти развивающиеся системы таковы, что, когда исследователь начинает с ними действовать, деятельность становится частью системы. Деятельность становится элементом системы, встраивается в систему. Система втягивается в деятельность, становится коррелятивна ей. Исследователь как действующий субъект начинает оказывать влияние на изучаемую систему.

Для саморазвивающихся систем по-новому ставится проблема искусственного и естественного. Противопоставление естественного, как возникающего без вмешательства человека, искусственному, как результату деятельности человека, основанной на вмешательстве в ход естественных процессов, уже не является абсолютным. Новые состояния саморазвивающейся системы возникают как результат реализации ее потенциальных возможностей, как один из нескольких вероятных сценариев развития системы. В состояниях неустойчивости, в точках бифуркации система становится особо чувствительной к внешним воздействиям, а сами эти воздействия не являются чем-то таким, что насильственно меняет природу саморазвивающейся системы. Ее сущностной характеристикой является актуализация определенных сценариев развития в зависимости от особенностей внешних воздействий. Причем возможны не всякие сценарии, их выбор в точках бифуркации определен генетическими особенностями системы. С этой точки зрения, деятельность, актуализируя те или иные сценарии, или «русла» (по выражению Г.Г. Малинецкого), становится «соучастником» естественного процесса эволюции. Реализация одного из возможных сценариев предстает и как искусственно созданная, и как результат естественного развития. Другое дело, что благодаря деятельности могут реализовываться маловероятные сценарии развития, В этом аспекте различие естественного и искусственного может сохранять свой смысл.

Для саморазвивающихся систем операции деятельности перестают быть чем-то внешним по отношению к развитию системы, а предстают как процесс-компонент, включенный в это развитие.

Необходимо подчеркнуть, что при изменении исторических типов научной рациональности меняется сама идеализация «познающего субъекта». Это важно, в частности, для понимания того, каким образом проблематика эпистемологии и философии науки переходит в проблематику философской антропологии.

При описании познавательных ситуаций постнеклассической науки требуется значительно расширить набор признаков, существенно характеризующих познавательный субъект. Он должен не только иметь профессиональные знания и усвоить внутренний этос науки. Внутренний этос науки состоит, во-первых, в требовании поиска истины (запрет на фальсификацию) и, во-вто-

рых, в установке на рост истинного знания (запрет на плагиат). Кроме того, познающий субъект должен ориентироваться на неклассические идеалы и нормативы объяснения и описания, обоснования и доказательности знания (относительность объекта к средствам и операциям деятельности), а также осуществлять рефлексию над ценностными основаниями научной деятельности, выраженными в научном этосе. Такого рода рефлексия предполагает соотнесение принципов внутринаучного этоса с социальными ценностями, представленными гуманистическими идеалами, и затем введение дополнительных этических обязательств при исследовании и технологическом освоении сложных «человекообразных» систем.¹⁹

Дело в том, что среди исторически развивающихся объектов современной науки особое место занимают природные комплексы, в которые включен в качестве компонента сам человек. Примерами таких «человекообразных» комплексов могут служить медико-биологические объекты, объекты экологии, включая биосферу в целом (глобальная экология), объекты биотехнологии (в первую очередь объекты генетической инженерии), системы «человек–машина» (включая соответствующие аспекты развития информационных технологий, создания «искусственного интеллекта», функционирования системы Интернет и т.п.). При изучении «человекообразных» объектов поиск истины оказывается связанным с определением стратегии и возможных направлений практического преобразования такого объекта, что непосредственно затрагивает гуманистические ценности. Здесь необходимо введение таких этических принципов, как «не навреди!», необходима социо-гуманитарная и экологическая экспертиза крупных научно-технологических программ и т.д., и т.п.

Когда мы имеем дело с человекообразными, развивающимися системами, тогда очень важно не просто операционально все это изучить, но еще важно посмотреть, какие социокультурные предпосылки есть для анализа и какие возможны следствия при реализации деятельности с этой системой. Исследователь не может реализовывать любой сценарий, потому что возможны

¹⁹ См. подробнее: Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность // Вопросы философии. 2003. № 8. С. 14–16.

опасные сценарии, возможны какие-то ловушки, которые мы обязаны предвидеть и избежать нежелательного для человека хода событий. Возникают этические запреты. Возникают с такой остротой и необходимостью, что становится понятно: для таких познавательных ситуаций внутреннего этоса науки просто не хватает.

Методология науки – в соответствии с этими типами объектов и тремя этапами развития рациональности – тоже расчленяется на типы. Первый этап примерно от Галилея и Ньютона до Максвелла: это – классика; далее от Маха до постпозитивизма – это неклассика; а далее – постнеклассика, где-то с середины XX века. В это время в рамках методологии неизбежно возникает интерес к социокультурной детерминации науки, к вопросам связи науки и культуры, взаимодействия науки как особой области знания с культурой, вопросы организации науки как социального института. Эти темы возникли в рамках постпозитивизма на Западе в 50–60-е годы, аналогичные вопросы обсуждались в нашей отечественной литературе.

Для меня важно, что можно охарактеризовать эту динамику единым принципом: изменение типа научной рациональности происходит в связи с изменением типа изучаемых объектов; изменяется схема деятельности – и изменяется методология. Не бывает единой, на все века данной методологии, она развивается.

Классическая, неклассическая, постнеклассическая наука предполагают различные типы рефлексии над деятельностью: от элиминации из процедур объяснения всего, что не относится к объекту (классика), к осмыслению соотнесенности объясняемых характеристик объекта с особенностями средств и операций деятельности (неклассика), до осмысления ценностно-целевых ориентаций субъекта научной деятельности в их соотнесении с социальными целями и ценностями (постнеклассика). Важно, что каждый из этих уровней рефлексии коррелятивен системным особенностям исследуемых объектов и выступает условием их эффективного освоения (простых систем как доминирующих объектов в классической науке, сложных саморегулирующихся систем – в неклассической, сложных саморазвивающихся – в постнеклассической). Объективность исследования как основная установка науки достигается каждый раз только благодаря соответствующему уровню рефлексии, а не вопреки ему.

Я уже не раз отмечал, что все три типа научной рациональности взаимодействуют и появление каждого нового из них не отменяет предшествующего, а лишь ограничивает его, очерчивает сферу его действия. При теоретико-познавательном описании ситуаций, относящихся к различным типам рациональности, требуется вводить каждый раз особую идеализацию познающего субъекта. И между этими идеализациями можно установить связи. Классическая наука и ее методология абстрагируются от деятельностной природы субъекта, в неклассической эта природа уже выступает в явном виде, в постнеклассической она дополняется идеями социокультурной обусловленности науки и субъекта научной деятельности.

Конечно, идеализация познающего субъекта не означает, что речь идет об отдельно взятом исследователе, осуществляющем поиск и создающем, скажем, новую теорию. Это может быть и коллективный субъект познания. В этом отношении ситуация в науке также быстро изменяется. Если классическую теорию электромагнитного поля создал Максвелл, то для построения ее неклассического аналога – квантовой электродинамики – потребовались усилия целого созвездия физиков XX века. Все они вместе образовали «совокупного исследователя», создавшего новую теорию. Еще более сложные коммуникационные связи возникают внутри исследовательского сообщества постнеклассической науки. Это не просто междисциплинарное взаимодействие при решении какой-то научной проблемы. При освоении «человекоразмерных систем» появляются новые функциональные роли в кооперации исследовательского труда. Необходимость этической оценки исследовательских программ требует специальных экспертных знаний. Возрастает роль методологической работы как условия коммуникации носителей разных «дисциплинарных знаний», привлекаемых в состав «коллективного исследователя» той или иной развивающейся человеко-размерной системы.

Все это требует углубленного анализа и нового философско-методологического осмысления. Очевидно при этом, что философия и методология науки неизбежно выходят в пространство проблематики философской антропологии как общего учения о культуре и человеке и совершенно спонтанно вносят свой вклад в построение представлений о природе человека, в построение мо-

делей культуры. Можно сказать, бросая ретроспективный взгляд на ключевые идеи 50–60-х годов, что такая возможность была заложена в идеях Г.П. Щедровицкого, который утверждал глубокую связь деятельностного и системного подходов.

6. Многообразие отечественных философских школ

Я считаю, что Георгий Петрович Щедровицкий был бесспорно талантливый человек, который жил в достаточно сложную эпоху и который отточил свой талант именно в этих условиях. Он начал самостоятельную работу, когда царила достаточно суровая, догматическая идеология предхрущевской эпохи. Посталенинская эпоха (эпоха Хрущева) – это был уже период разброда и шатания. После XX съезда появилась какая-то отдушина. Все мы, в общем, дети XX съезда.

Чем Г.П. Щедровицкий был значим и замечателен, прежде всего для молодежи той поры? Я бы сказал так: Александр Зиновьев, Эвальд Ильенков, Георгий Щедровицкий – люди, которые сломали хребет господствовавшей в вузах философской догматике. Не выходя на первых порах за рамки марксистской идеологии, философской традиции марксизма, они сумели внести туда такую мощную научную базу, соединить новые идеи со всеми достижениями современной науки – естествознания, логики, социальных наук, педагогики, проектирования и архитектуры, внести колоссальную энергию живой мысли, что занятия философией приобрели совершенно новый смысл. И с этого момента начался прогресс советской философии. Теперь, когда поднялся «железный занавес», мы хорошо видим, что многое было сделано, хотя и в отрыве от западной традиции, но не хуже и не беднее. В особенности когда речь идет о философии и методологии науки.

Люди, о которых я говорю, демонстрировали какой-то новый тип философствования в рамках марксизма. Новый тип оказался очень продуктивным и дал результаты. Именно эти люди сформировали, если так можно выразиться, какие-то новые культурные гены в марксистской традиции – тип философского мышления, которое потом вышло на более глубокий уровень, уже не законсер-

вирунный и не зашоренный от всех действительно актуальных проблем. Щедровицкий сыграл в этих процессах огромную роль, прежде всего потому, что работал с молодежью. В Московский методологический кружок приходили различные люди, и всех их он растормаживал, из привычной, заскорузлой колеи вытаскивал в русло собственного движения. Это было очень важным.

Сейчас я могу сказать, что эти люди сформировали, определили нашу философию 60-х годов, а тем самым и дальнейшее ее развитие. На мой взгляд, тогда были сделаны чрезвычайно интересные и принципиальные работы. Многие люди испытали их влияние, прямое или косвенное, сумели потом выйти на самостоятельную постановку проблем, получить их нетривиальные решения и сегодня продолжают работать.

Я также отметил бы, что в нашей советской философии науки вообще не было единой, монолитной, абсолютно одинаковой «диаматовской» философии науки. Было множество различных направлений. Все они обставлялись цитатами из Маркса и считались марксистскими, но внутри них было много совсем немарксистского. Возникло несколько оригинальных и продуктивных школ, которые поддерживали контакты и обменивались информацией друг с другом.

В Москве интересные исследования велись в нескольких местах. В Институте философии – в секторе философских проблем естествознания, который был создан при участии С.И. Вавилова и который далее возглавляли Б.М. Кедров, И.В. Кузнецов, М.Э. Омеляновский. Значительную роль играл сектор теории познания, где работали Э.В. Ильенков, В.А. Лекторский; логики, в котором работал В.А. Смирнов и др. В Институте истории естествознания и техники АН СССР целая группа исследователей, которые успешно строили детальные историко-научные реконструкции, а также пытались выявить исторические закономерности развития науки. В 70-е годы периодически проводились замечательно яркие симпозиумы по методологии историко-научных исследований, инициатором которых был Б.С. Грязнов. Кроме того, логические исследования развивались группой В.А. Смирнова, к ним тесно примыкали логики из Московского университета. Активно и напряженно работал Московский методологический кружок под руководством Г.П. Щедровицкого.

Своеобразная школа возникла в Ленинграде (В.П. Бранский, А.С. Кармин, М.С. Козлова и др.) Оригинальная школа работала в Киве (лидером ее поначалу был П.В. Копнин, в нее входили М.В. Попович, С.Б. Крымский, П.С. Дышлевы и др.). Была Томская школа, которую также основал Копнин, откуда вышел В.А. Смирнов, а далее лидером был А.К. Сухотин. В Новосибирске работал методологический семинар под руководством М.А. Розова (И.С. Алексеев, С.С. Розова, Л.С. Сычева, Г.А. Антипов и др.). В Воронеже работали Б.Я. Пахомов, А.С. Кравец; в Ростове – школа М.К. Петрова. Я уже говорил выше о Минской школе, которая тоже имела свою специфику.

Таким образом, было несколько различных групп, которые образовывали Большое Сообщество философов науки, с разными подходами, шла хорошая работа, велись дружеские дискуссии, мы читали работы друг друга и вместе двигались вперед – к пониманию структуры и динамики развития науки. Именно это позволило нашей отечественной традиции не захиреть под гнетом социального прессинга, а, напротив, создать оригинальные подходы и, сохраняя свое лицо, успешно теперь сотрудничать с мировым сообществом.

И в том, что отечественная традиция философии науки и эпистемологии не оказалась на задворках мировой культуры, неоценимо велика роль Георгия Петровича Щедровицкого.



**Лекторский
Владислав
Александрович**
(р. 1932)

доктор философских наук, профессор, действительный член Российской академии образования, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий сектором теории познания Института философии РАН, главный редактор журнала «Вопросы философии». Член Международного института философии (Париж), член руководства Международного общества по исследованию культуры и теории деятельности, член Центра по философии науки Университета Питтсбурга (США). Окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1955), аспирантуру Института философии АН СССР (1959).

Область научных интересов – теория познания, эпистемология и философия науки, история культуры, проблемы теории деятельности и теории сознания, история отечественной философии XX века, философия образования.

Организатор, издатель и редактор целой серии исследований в области гносеологии, проблем рефлексии, рациональности, ценностных ориентаций современной цивилизации. Автор более 200 научных работ.

Живет и работает в Москве.

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ЩЕДРОВИЦКИЙ И СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ

1. Начало пути. «Штурм неба»

Я никогда не был учеником Георгия Петровича, не участвовал в работе его семинаров и всего лишь несколько раз в жизни что-то совместно с ним обсуждал (в частности, в начале 60-х гг. мне пришлось делать доклад об эпистемологической концепции Ж. Пиаже на его семинаре). Правда, при выступлениях Г.П. Щедровицкого мне приходилось неоднократно присутствовать, о работе его семинара я был наслышан, его первые публикации (и публикации членов его Кружка) внимательно читал и много размышлял над ними. Некоторые из моих близких друзей и впоследствии соавторов (В.Н. Садовский, В.С. Швырев, Э.Г. Юдин) прошли в свое время школу Г.П. Щедровицкого. Идеино близкий мне психолог В.В. Давыдов активно взаимодействовал с Георгием Петровичем на заседаниях Комиссии по психологии мышления и логики при Московском отделении Общества психологов. Мимо его идей вообще не мог пройти никто из тех, кто входил в отечественную философию в конце 50-х – начале 60-х гг. и интересовался проблематикой познания вообще, мышления в частности. Ибо Георгий Петрович уже в это время обозначил себя как один из лидеров в исследовании этой тематики. А именно этот круг вопросов по некоторым причинам (о которых я не буду сейчас говорить, тем более, что мне уже приходилось высказываться на эту тему¹) стал наиболее притягательным для ряда представителей нового поколения отечественных философов, пытавшихся пробить стену догматизма официальной советской философии того времени.

Дело в том, что мой путь к изучению проблем теории познания, философии мышления был существенно иным, чем путь Георгия

¹ См.: Митрохин Л.Н., Лекторский В.А. О прошлом и настоящем (беседа) // Вопросы философии. 2002. № 9.

Петровича, а представления о характере и целях этих исследований серьезно отличались от тех, которыми руководствовался Г.П. Щедровицкий и которые приняли члены его Кружка. Моим философским учителем был Э.В. Ильенков, научивший меня внимательному чтению Канта, Гегеля, Маркса, истории философии, большое влияние оказал на мое понимание возможностей философского анализа познания К.С. Бакрадзе, открывший для меня немецких неокантианцев (в частности, Э. Кассирера и Э. Гуссерля), а затем современная англо-американская аналитическая философия. Мое понимание смысла и целей философского анализа познания выработалось, таким образом, в русле классической философской традиции. Иначе все это мыслил Георгий Петрович. Это было ясно уже из его первых программных публикаций по этой тематике.

С самого начала у меня возникло двойственное отношение к программе Г.П. Щедровицкого. Я не мог не признать ее оригинальности: она действительно открывала такие возможности в исследовании мышления, которых не давали ни формальная логика, ни существовавшая к тому времени психология мышления. Я мог убедиться в результативности этой программы: в ее рамках и на основе анализа эмпирических фактов удавалось реконструировать возникновение и развитие ряда понятий из области физики и математики, автор программы сумел продемонстрировать плодотворность, по крайней мере, ряда ее идей для психологии и педагогики. Тонкость осуществленного Г.П. Щедровицким анализа, обилие предлагавшихся им идей, его умение проблематизации производили сильнейшее впечатление. Да и личность самого Георгия Петровича завораживала: яркий оратор, я бы даже сказал, пламенный трибун, умелый полемист, блестящий организатор, сначала умело управлявший своей школой (существовавшей и развивавшейся, несмотря на смену состава в течение нескольких десятилетий), а затем искусно руководивший многочисленными организационно-деятельностными играми. И в то же время было в этой программе, да и, в самой деятельности школы, что-то такое, что я не принимал, ибо это было несовместимо с тем представлением о философии и методологии, которое сложилось у меня в результате моего философского развития. В течение многих лет я не мог отчетливо сформулировать, что же именно не устраивает меня в методологической программе Г.П. Щедровицкого. Этому мешало и то обстоятельство,

что все его выступления – а он выступал очень много и целый ряд принципиальных идей формулировал, как Сократ, именно в устной форме – и ряд его важных текстов не были опубликованы при его жизни (и были, таким образом, доступны только непосредственным членам его Кружка), а то, что напечатано, было разбросано по таким изданиям, которые в большинстве своем были трудно доступны. Составить четкое представление об идеях Г.П. Щедровицкого, об их развитии (а они существенно менялись) было практически невозможно для того, кто с ним непосредственно не взаимодействовал. Сейчас значительная часть его наследия собрана и издана в виде двух объемистых книг². Их чтение позволило мне, как я смею думать, и лучше понять оригинальность его творчества, его место в философии и методологии XX века, и более четко сформулировать то, что я не могу принять в его исследовательской программе, что в принципе, может быть, и осуществимо, но с моей точки зрения, не связано с выполнением философией ее главной миссии в современной культуре. Об этом я и хочу рассказать

Но сначала о той исследовательской программе, которая была сформулирована Георгием Петровичем в конце 50-х, а затем была частично реализована им и его учениками в это же время и в первой половине 60-х гг. Первоначально предполагалось построение логической теории мышления на основе особого понимания логики – как содержательно-генетической. При таком подходе логика мыслилась как наука, и притом наука эмпирическая (в отличие от логики формальной), т.е. как теория, базирующаяся на изучении эмпирических образцов мышления, воплощенных прежде всего в текстах научных рассуждений. Эта программа понималась как реализация и развитие ряда идей А.А. Зиновьева, которые он выразил в своей кандидатской диссертации, посвященной изучению метода восхождения от абстрактного к конкретному на примере его выражения в тексте «Капитала» Маркса. Правда, сам А.А. Зиновьев довольно быстро отказался от своей концепции, переключившись на исследования в области символической логики. Что же касается Георгия Петровича, то он не только подхватил основные идеи раннего А.А. Зиновьева, но и существенно их модифицировал и развил.

² Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995; Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997.

Концепция содержательно-генетической логики – это оригинальная теория самого Г.П. Щедровицкого. Небезынтересно отметить, что эти его идеи исторически возникли в контексте дискуссии между представителями формальной и диалектической логики. Сначала содержательно-генетическая логика и понималась как воплощение идеи диалектической логики: содержательность и генетический, т.е. исторический, подход всегда признавались в качестве специфических характеристик именно диалектического мышления (и А.А. Зиновьев, и разделявшие в это время его идеи Б.А. Грушин и М.К. Мамардашвили тоже считали себя в это время представителями диалектической логики и с этих позиций противостояли логике формальной). Однако довольно быстро выяснилось, что теория Георгия Петровича сильно отличается от других, выступавших в это время от имени диалектической логики. Большинство представителей последней в лучшем случае понимали ее как слегка обновленный вариант гегелевской диалектики, а в худшем – как «диалектические рассуждения» по поводу формальной логики. Именно для того, чтобы подчеркнуть свое отличие от подобным образом понятой диалектической логики Георгий Петрович предпочитал именовать собственное понимание логики содержательно-генетическим (иногда операционально-генетическим). Для него принципиально важным было то, что логика в любом случае – понимается ли она как формальная или же как содержательная – должна формулировать четкие способы оперирования. По его мнению, не только со знаковой формой, но и с содержанием можно работать по строгим правилам (более того, содержательное оперирование и оперирование формально-знаковое предполагают, с его точки зрения, друг друга). Иными словами, содержательно-генетическая логика должна быть «строгой наукой» в духе известной идеи Э. Гуссерля о феноменологии. (Между прочим, изучение ранних работ Г.П. Щедровицкого показывает, что он прекрасно знал не только «Капитал» и ряд других текстов Маркса, но и работы Канта, Фихте, Гегеля, немецких неокантианцев, в частности, Э. Кассирера, логические работы Э. Гуссерля и ряда других выдающихся логиков начала XX века). Полемика Георгия Петровича с формальной логикой в конце 50-х и начале 60-х гг. – это, по сути дела, попытка показать, что последняя во всех своих модификациях, в том числе и как символическая, не занимается исследованием возник-

новения и развития понятий и что поэтому не может претендовать на то, чтобы быть теорией мышления. Но дело в том, что современная формальная логика и не имеет таких притязаний (некоторые ее теоретики даже утверждают, что логика не имеет никакого отношения к исследованию мышления). Формальная логика – это теория рассуждений, при этом даже не всех, а определенного их класса. Поэтому в действительности область исследований Г.П. Щедровицкого с самого начала лежала за пределами компетенции формальной логики, он не имел дела с тем, чем занимается эта логика, и поэтому по сути дела не мог ей противостоять. Другое дело, что представители последней могли сомневаться в том, что можно формулировать правила оперирования содержанием, что можно найти что-то вроде алгоритмов возникновения и развития понятий – а именно подобная цель формулировалась в программе Г.П. Щедровицкого. Формальные логики могли не соглашаться с притязаниями Георгия Петровича на расширение области логики за счет исследования тех процессов, которые он анализировал. В этих случаях взаимная полемика была неизбежной. Но, повторяю, по сути дела, то, чем начал заниматься Г.П. Щедровицкий, а затем и его ученики, не противостояло тому, что исследовала формальная, а затем и символическая логика. Poleмика Г.П. Щедровицкого с формальной логикой в конце 50-х и начале 60-х гг. – во многом плод недоразумения.

Основные идеи разработки содержательно-генетической логики можно представить следующим образом³. Мышление понимается как деятельность, и притом как деятельность в двух плоскостях: порождения содержания и движения в знаковой форме. Сначала генерируется соответствующее мыслительное содержание (его обобщенные типы представлены в виде категорий) при помощи операций предметно-практического сопоставления, затем оно фиксируется в соответствующей знаковой форме, а потом происходит оперирование с самой этой формой – получение соответствующего «формального знания». Результаты этого оперирования соотносятся с исходным объектом, который начинает пониматься в свете полученного таким образом знания. Операции порождения

³ Исходные идеи программы выражены, в частности, в статьях «О строении атрибутивного знания» (1958–1960) и «О различии исходных понятий "формальной" и "содержательной" логик» (1962) // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 590–630; 34–49.

мысленного содержания и его замещения знаковой формой – это своего рода элементарный способ мыслительной деятельности. Ибо такие замещения могут быть многоэтажными: сами действия в знаковой плоскости могут порождать новое содержание (знаковая плоскость, хотя и является формой знания, никогда не есть нечто чисто формальное, так как выражает определенное содержание), которое в свою очередь будет выражено в соответствующей знаковой форме, и т.д. Поэтому мышление может быть деятельностью не только в двух, но и в трех, четырех, пяти и т.д. плоскостях. Принципиально важно для Г.П. Щедровицкого, что в любом случае мышление не есть одноплоскостное движение, так как предполагает переход от одной группы объектов оперирования к другой, замещающих первые. В это же время Георгий Петрович формулирует идею (некоторые его ученики подхватывают и развивают ее) о так называемом «рефлексивном выходе», представляющем собой осознание способа мыслительной деятельности как развитие этого способа и построение нового, в результате чего мыслительный процесс в целом поднимается на новый уровень.

Я хочу обратить внимание на одну существенную особенность работы Г.П. Щедровицкого этого времени. Программа, о которой идет речь, была не просто декларирована. В соответствие с идеей о том, что содержательная логика – это теория мышления и что она есть эмпирическая наука, логические исследования Георгия Петровича строятся на основании тщательного анализа реальных образцов мышления. Это относится и к пониманию строения атрибутивного знания как результата соответствующих процессов мышления⁴, и к исследованию мыслительной деятельности Галилея по анализу неравномерного движения и изменению им в этой связи понятия скорости⁵. На меня произвел сильное впечатление прочитанный мною недавно и опубликованный только в 1997 г. (т.е. уже после смерти Георгия Петровича) его большой текст под названием «Опыт логического анализа рассуждений ("Аристарх Самосский")»⁶. Текст был закончен еще в 1959 г. и посвящен исследо-

⁴ Щедровицкий Г.П. О строении атрибутивного знания // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 590–630.

⁵ Щедровицкий Г.П. О некоторых моментах в развитии понятий // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 577–589.

⁶ Щедровицкий Г.П. Опыт логического анализа рассуждений («Аристарх Самосский») // Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 57–202.

ванию рассуждений Аристарха Самосского (III в. до н.э.), посредством которых он определил отношение расстояний «Солнце – Земля» и «Луна – Земля». Георгий Петрович не только мастерски препарирует логику рассуждений Аристарха Самосского, но очень интересно анализирует мыслительные процессы в геометрии, полемизируя в этой связи с такими авторитетами, как Л. Кутюра, Д. Гильберт и др. Я не знаю исследования подобного рода в мировой литературе. Но оно стало возможным именно на основе тех концептуальных средств, которые были предложены в содержательно-генетической логике. Ученики Г.П. Щедровицкого (И.С. Ладенко, В.М. Розин и др.) в эти годы изучают на материале геометрии эквивалентное замещение одних мыслительных операций другими⁷. Сам Георгий Петрович применяет свои идеи в педагогике (и в этой связи плодотворно сотрудничает с психологами и педагогами), формулируя типологию и структуру решения мыслительных задач в процессе обучения⁸.

Все это было новым, интересным и выглядело перспективным и многообещающим. Однако, как мне представляется, были в этой программе такие моменты, которые на первых порах не мешали получению в ее рамках значимых результатов, но затем стали тормозить развитие исследований, а на определенной стадии привели к тому, что дальнейшая работа по программе была фактически свернута, хотя это никогда и не было декларировано.

Я бы выделил два момента, которые, на мой взгляд, изначально предопределяли невозможность полной реализации программы.

Прежде всего это идея так называемого «генетического выведения». Было предположено, что все существующие процессы мышления могут быть поняты как комбинации небольшого числа конечных операций, алфавит которых может быть составлен. Считается, что все операции в свою очередь разлагаются на две составные части (действия): сопоставления и отнесения. Из разных сочетаний элементарных действий и операций, согласно программе, выводимы все процессы мышления. Иными словами, все то в

⁷ Ладенко И.С. Об отношении эквивалентности и его роли в некоторых процессах мышления // Доклады АПН РСФСР. 1958. № 1; Розин В.М. Логический анализ функций чертежа в геометрии // Тезисы докладов на 2 съезде Общества психологов. Вып. 2. М., 1963.

⁸ Щедровицкий Г.П. К анализу процессов решения задач // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 667–672.

мышлении, что выглядит сложным и, возможно, даже не поддающимся логическому анализу, может быть представлено как результат усложнения (посредством комбинирования) элементарных составляющих. Предполагается, что в основе операций, а значит, и мыслительных процессов, лежит действие сопоставления. Именно последнее устанавливает тип выделяемого мыслительного содержания⁹. Очень важно также то, что это действие было понято как предметно-практическое. Думаю, что такая интерпретация сопоставления возникла, с одной стороны, под влиянием известной статьи С.А. Яновской¹⁰, в которой процесс абстрагирования, т.е. выделения определенного познавательного содержания, был истолкован именно таким образом, с другой стороны, в контексте общей марксистской установки на понимание практической деятельности как основы мышления.

Итак, с этой точки зрения, мысленное содержание задано исходными действиями предметно-практического сопоставления. Все остальные мыслительные действия и операции, в том числе и такие, которые работают с выделенным содержанием и сами порождают некое новое содержание, зависят от исходных действий и находятся в отношении строгого соподчинения к ним. Иными словами, ставится задача: исходя из элементарных составляющих – чувственно-предметных практических действий, – понять («вывести») все процессы образования и развития понятий, включая понятия научные и построенные на них теории. По сути дела, это было попыткой реализовать старую мечту о «Логике открытия» в современных условиях, т.е. найти нечто вроде алгоритмов, задающих правила мышления, следование которым гарантирует истинность результата. Конечно, эта программа – своеобразная попытка «штурмовать небо» – изначально была невыполнимой. Если и возможно понять некоторые процессы мышления таким образом (а то, что в ряде случаев это так, продемонстрировали исследования самого Георгия Петровича и его учеников), то в отношении сложных процессов мышления, особенно мышления на теоретическом уровне, это не получается. Из опыта, в том числе опыта предметно-практических операций, теоретические понятия невыводимы, хотя они и

⁹ См.: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 44–45.

¹⁰ См.: Яновская С.А. О так называемом «определении через абстракцию» // Философия математики. М., 1936.

могут быть спроецированы на опыт, а последний может и должен быть понят в свете теоретических понятий. Логическую программу Георгия Петровича интересно сравнить с иной, весьма популярной в 30–40-е гг. как в физике, так и в других науках, но впоследствии оставленной. Я имею в виду операционализм П. Бриджмена. Основная идея последнего: возможность и необходимость представить все осмысленные научные понятия как сводящиеся к фиксации соответствующих экспериментальных (прежде всего измерительных) операций. Обсуждение операционалистской методологии в 50-е гг. прошлого столетия показало, что теоретические понятия имеют «открытый» характер, т.е. их содержание не задается «снизу», совокупностью экспериментальных операций, а скорее определяется «сверху» – принятой системой онтологических допущений и используемыми теоретическими моделями (впоследствии сам Георгий Петрович много писал о роли моделей и онтологических картин в мыслительной деятельности). Именно последние определяют характер и смысл экспериментальных операций, которые не определяют содержание теоретических понятий, а скорее, фиксируют условия их эмпирической применимости. Концепция Г.П. Щедровицкого, конечно, во многих отношениях богаче и интереснее теории Бриджмена. Действия предметно-практического сопоставления, согласно Георгию Петровичу, не сводятся к операциям измерения или иным экспериментальным процедурам, а понимаются гораздо шире (типы этих действий, соотносимые с типами выделяемого содержания, выражаются, по Г.П. Щедровицкому, в категориях). Важным моментом его программы является идея о замещении порождаемого содержания знаковой формой и возможности действия в рамках этой формы («формальное мышление»), в связи с чем мышление предстает как двухплоскостное движение. И тем не менее, установка на определенную редукцию верхних этажей мышления к нижним – хотя для Г.П. Щедровицкого это не формальная редукция, а своеобразное диалектическое нисхождение, а затем восхождение – все же, на мой взгляд, имеется и в этой программе, что, с моей точки зрения, предопределяет невозможность ее полной реализуемости.

Второй момент программы, который тоже весьма специфичен, – идея о том, что можно гарантировать необходимый характер связи между элементами порождаемого мысленного содержания с помо-

шью определенных процедур (правил) мышления. Это старая философская проблема: как обосновать необходимый характер тех зависимостей, которые либо прямо фиксируются в эмпирическом опыте, либо относятся к нему, т.е. тех, с которыми имеют дело фактуальные науки – в отличие от наук дедуктивных (математика, символическая логика)? Ясно, что простое обобщение эмпирического опыта, в том числе и с помощью процедур индуктивного вывода (формулированных, в частности, Д.С. Миллем), таких гарантий дать не может. Если даже предположить существование некоторых априорных связей в мышлении (идея Канта), то ясно, что и это не дает гарантии необходимости (а значит, и всеобщности) значительной части зависимостей, относящихся к эмпирическому опыту. Отсюда проблематичность фактуального знания, а поэтому и наших представлений о том, что считать реально существующим, – проблема, которая всегда была и осталась одной из центральных для философии и особенно для такого ее раздела, как теория познания (эпистемология). Для Георгия Петровича этой проблемы как бы не существует. Он постулирует (именно постулирует, ибо аргументировать это невозможно), что необходимая связь свойств, выделяемых в предметах, устанавливается не после образования соответствующих понятий, а каким-то непонятным образом «в процессе и самим способом их формирования»¹¹. Эти процессы он предлагает именовать «дедуктивным согласованием», впрочем, тут же оговариваясь, что термин «дедукция» он употребляет в ином смысле, чем это принято в формальной логике¹². Почему в данном случае он все же использует именно этот общепринятый термин, совершенно ясно: ведь именно дедуктивное знание является неоспоримым образом необходимости и всеобщности. Те процедуры мышления, которые реально исследовались Г.П. Щедровицким, такой гарантии необходимости выявленных связей на самом деле дать не могут. Но в соответствии с идеей принятой программы о существовании неких правил и алгоритмов, гарантирующих истинность получаемого результата, нужно было допустить, что и в отношении фактуального знания существуют какие-то процедуры («дедуктивное согласование»), которые обеспечивают получение необходимого знания. Такое допущение и было сделано.

¹¹ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 607.

¹² Там же. С. 608.

2. Философия, эпистемология, методология. «Методологическая Касталия»

Содержательно-генетическая логика первоначально понималась не только как теория мышления, полученная в результате изучения эмпирических образцов такового, но и в качестве определенной методологии, которая дает предписания мыслительной деятельности, нормирует ее и поэтому может быть использована для реформирования последней. Онтологические картины, которые конструирует философия, тоже выполняют методологическую функцию, но, по мысли Георгия Петровича, философия делает это все же не вполне полноценно, так как не учитывает мыслительных процедур, операций и действий. Таким образом, знания о реально осуществляющихся процессах мышления и нормативные методологические предписания, хотя и различаются (ибо знание – это описание того, что есть, а норма – это предписание для будущего действия), все же взаимосвязаны. Логика (в том числе та, созданию которой посвятил свою деятельность Георгий Петрович) – это одновременно наука, теория и нормативная дисциплина.

Но затем представления Г.П. Щедровицкого о мышлении, деятельности и методологии существенно меняются. Я связываю эти перемены с тем, что разработка содержательно-генетической логики была фактически прекращена (хотя было предположено, что она в основном завершена), а сам Георгий Петрович вместе с группой своих учеников переключился на разработку теории дизайна и на деятельность по осмыслению практики проектирования. В середине 60-х гг. он формулирует важное для его поздней концепции положение о том, что мышление не может рассматриваться как естественный процесс, что оно целиком искусственно, ибо определяется принятыми процедурами и нормами мыслительной деятельности¹³. Об искусственном характере последней свидетельствует, с его точки зрения, и тот факт, что результаты, полученные при изучении мышления, существенно меняют характер изучаемых процессов, ибо встраиваются в них и их перестраивают. Правда, проце-

¹³ См.: Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 347.

дуры мышления «оестествляются», и оно приобретает вид квази-естественного. Это обстоятельство, по мнению Г.П. Щедровицкого, затрудняет разработку методологии, так как мешает понять тот важный факт, что методолог должен руководствоваться не тем, что ныне есть в мышлении, и тем более не тем, что в нем было, а возможностями конструирования новых способов и мыслительных процедур, т.е. принципиально новых форм мышления. В методологии нужно руководствоваться не «фактами» (любые факты, как относящиеся к мышлению, так и к внешней реальности, – не что иное, как «выпавшие в осадок» результаты предшествующей деятельности, поэтому они вполне могут быть переосмыслены, а тем самым изменены¹⁴), а теми задачами, которые сегодня возникают перед мышлением и для решения которых нужно сконструировать соответствующие средства. Цель методологии начинает пониматься Г.П. Щедровицким уже не как формулировка средств и норм на основе изучения реальных процессов мыслительной деятельности, не как рефлексия над познанием вообще, научным познанием в частности¹⁵, а как в значительной степени автономная работа по конструированию и проектированию средств деятельности. Если раньше Г.П. Щедровицкий связывал нормы мышления и знания о мышлении, то теперь он резко противопоставляет знания и предписания. Сначала нужно построить средства, подчеркивает он, и лишь потом их можно применять к анализу реально имеющихся образцов мыслительной деятельности. Он писал:

Разработка средств очень скоро стала самостоятельным и во многом автономным разделом нашей работы. А анализ эмпирического материала, анализ античной, средневековой и современной науки и соответствующих формаций мышления стал специальной задачей, которую нужно было формулировать и ставить саму по себе, предполагая, что средства для этого уже есть, что они уже разработаны. Таким образом, в рамках нашего общего движения появились две принципиально разные задачи, вся наша работа получила два разных направления: одно состояло в разработке средств и методов логико-методологиче-

¹⁴ См.: Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 499–500; 508.

¹⁵ См.: Там же. С. 322–329.

ского исследования, другое – в применении этих средств и методов при описании различных формаций мышления и порождаемых ими систем знаний¹⁶.

Расширяется и представление о сфере действия методологии. Во-первых, если методология имеет дело с мышлением, то последнее должно быть понято не только как познающее мышление, в частности, научное. В действительности, считает Г.П. Щедровицкий, можно и нужно выделять несколько типов мышления, в частности, философское, религиозное, инженерно-конструктивное, научное, проектное и, наконец, методологическое¹⁷. Для него все более интересным и важным становится изучение не познания, а проектирования. Во-вторых, методология вырабатывает предписания не только для мышления, но также и для других видов деятельности. Ведь деятельность не сводится к мышлению (в том числе и проектному). В начале 70-х гг. Георгий Петрович строит так называемую «Общую теорию деятельности»¹⁸. Методология понимается уже как разработка предписаний для производства разного рода «организованностей» – не только мыслительных, но и практических: систем коммуникаций, социальных организаций и т.д. При этом важно иметь в виду, что его старая установка на то, что можно разработать соответствующие процедуры для решения любой задачи, сохраняется. В том случае, если возникает задача, для решения которой соответствующих средств нет, необходимость выработки этих средств становится новой задачей, для решения которой должны существовать уже свои средства, а если нет и их, то проблема сдвигается в новую плоскость, и так происходит до тех пор, пока необходимые средства не найдутся¹⁹. Он подчеркивает:

Нам для того и надо программировать, чтобы заранее, до начала исследования выяснить, можем мы или не можем получить то, что хотим²⁰.

¹⁶ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 322.

¹⁷ См.: Там же. С. 337.

¹⁸ Щедровицкий Г.П. Исходные представления и категориальные средства теории деятельности // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 233–280.

¹⁹ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 226–227.

²⁰ Там же. С. 461.

Цель методологов состоит в том, чтобы сконструировать средства, которые будут давать решение любой возможной задачи. Эта цель мыслится в принципе осуществимой, как реализуемым до этого представлялось построение содержательно-генетической логики. Поэтому, с одной стороны, предполагается необходимость дальнейшей разработки методологии, а с другой стороны, считается, что в значительной степени она уже построена и может быть применена к решению любых задач.

В этой связи познание начинает пониматься как в целом производное от проектирования²¹. Средства для решения определенных задач превращаются в понятия, относимые к объекту (Г.П. Щедровицкий иллюстрирует этот тезис на конкретных исторических примерах). Сконструированные онтологические схемы и модели «оестествляются» и становятся познаваемыми предметами, в том числе и научными. Формулируемые в науке естественные законы истолковываются Георгием Петровичем как правила конструирования моделей²². Методология не вырастает из рефлексии над научным мышлением, заявляет Г.П. Щедровицкий. Наоборот, научные предметы, а значит, и сами науки с их способами познания, исторически возникают из методологии. Так, например, по мнению Георгия Петровича, «Диалоги о двух системах мира» Галилея как раз свидетельствуют о появлении предмета классической механики из методологии, ибо сами «Диалоги...» – это еще не наука, а лишь методологический способ ее конструирования²³.

Хотя наука исторически возникла из методологии, считает Г.П. Щедровицкий, долгое время это обстоятельство не осознавалось. Ныне, когда это стало ясным, нужно понять также и то, что наука переходяща. Он заявляет:

Наука как таковая умирает, а может быть, даже и умерла уже²⁴.

Система науки в целом никакого научного поиска не осуществляет, а лишь функционирует по внутренним законам своей организации²⁵.

²¹ Различие между познанием и практикой должно быть снято. Познание и есть разновидность практики, подчеркивает Г.П. Щедровицкий. См.: Там же. С.508.

²² Там же. С. 344.

²³ См.: Там же. С. 493.

²⁴ Там же. С. 482.

²⁵ Там же. С. 474.

В поздних выступлениях Георгия Петровича можно обнаружить множество критических высказываний по поводу науки и научного познания (нередко сознательно эпатажирующих), а слово «научник» используется в пренебрежительном смысле. Но прежде чем спорить с ним по поводу понимания науки (а я не согласен с его пониманием), нужно сначала все же попытаться верно понять его позицию.

Критика науки Г.П. Щедровицким осуществляется вовсе не с позиций иррационалистического антисциентизма. Георгий Петрович всегда был и остался ультрарационалистом. Когда он утверждает, что «наука умирает», он имеет в виду следующее. Во-первых, что познание производно от конструирования, что научные предметы создаются методологией и что научное мышление поэтому зависит от мышления методологического. Во-вторых, что существующие во второй половине XX века научные предметы (и соответствующие им научные дисциплины) становятся анахронизмом, что эти предметы нуждаются в переплавке (как сегодня сказали бы, в «деконструкции»), в новом полагании. В-третьих, что наука ныне распалась на множество научных предметов и соответствующих им дисциплин, которые утратили связи между собою. Раньше (XVII–XVIII вв.) роль интегратора научных предметов выполняла философия, затем (XIX в.) – научная картина мира. Ныне такого интегратора нет. Между тем, по мысли Георгия Петровича, без интеграции любое мышление, в том числе и исследовательское, невозможно. Роль такого интегратора в современной ситуации может выполнить только методология,

соорганизующая разные дисциплины и разные стили мышления единая форма работы с научными предметами – через них и поверх них²⁶.

Наконец, в-четвертых, нужно понять, что методология имеет дело не только с исследовательской деятельностью, даже не только с мышлением, а со способами производства «организованностей» самого разного рода. И поскольку задача проектирования становится важнейшей для современного человека, именно работа в сфере методологии становится ведущей деятельностью в культуре.

²⁶ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С.483.

Научное исследование не исчезает, но оно становится подчиненным методологической работе –

наука как таковая как бы низводится на более низкий уровень иерархии²⁷ –

оно уже не может выработать мировоззренческую картину и ориентировать современного человека. Можно принимать или нет эти тезисы (а я во многом не могу их принять), но нельзя не признать, что они касаются реальных и современных проблем.

Между тем, из этих положений Г.П. Щедровицкий делает следующий вывод:

Все мы, хотим мы этого или нет, понимаем это или не понимаем, являемся свидетелями и участниками исключительно важного исторического переворота: место науки как формы, организующей и объединяющей разные научные предметы, занимает методология, совершенно по-новому организующая рефлексию человеческой деятельности и создающая новые формы мышления²⁸.

Методология – это, по мысли Г.П. Щедровицкого, высшая форма мышления, «снимающая» в себе все другие формы. Она же задает и современное мировоззрение. Она самоценна. Это некий организм и образ жизни, сам себя воспроизводящий и существующий ради самого себя. Цели и задачи своей работы формулируют и ставят сами методологи, эти цели не могут поступать в методологический организм извне. В этом смысле методология никого и ничто не обслуживает (хотя может это делать, если захочет), а развивается в соответствии с внутренними процессами и механизмами жизни собственного организма²⁹. Вот только некоторые его высказывания по этому поводу:

Из этого следует...ответ на вопрос, как же относится методология к другим видам, типам и организмам деятельности, в частности, к философии, науке, инженерии, педагогике и т.п. Для нача-

²⁷ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 482.

²⁸ Там же. С. 483.

²⁹ Там же. С. 367.

ла и очень грубо можно сказать, что методологию все это просто не интересует. Она может быть ко всему этому безразлична, а ее цели и задачи заключаются в том, чтобы развернуть самое себя³⁰.

Методология есть нечто существующее, и как таковая она ничего не позволяет – она просто существует. В методологию человек может войти, и он может начать в ней работать, если хочет. ... Но если вы будете работать внутри методологии, в методологической команде, то у вас не будет всех этих проблем: зачем нужна методология, что она позволяет и чего она, наоборот, не позволяет. Вы будете методологизировать – и все³¹.

У методологов, говорит Георгий Петрович, нет проблемы внедрения их разработок:

...у нас нет проблем внедрения; как правило, мы создаем знания, необходимые нам самим и всем тем, кто хочет работать, как мы³².

При этом Георгий Петрович считает, что методологическое мышление как особый и высший тип мышления, в отличие от научного, не нуждается в доказательствах и аргументах. Способом его обоснования является реализуемость соответствующих методологических проектов³³. А поскольку он считает, что так понимаемая методология есть, реально существует, то тем самым предполагает, что методологические проекты такого рода уже реализованы или же реализуемы.

Нужно сказать, что, по моему мнению, в действительности декларации Г.П. Щедровицкого об автономности методологии и ее безразличии ко всем другим видам деятельности, часто встречающиеся в его выступлениях 70-х гг., были, с одной стороны, реакцией на непризнание его идей, а с другой – желанием создать для себя и своей группы некую экологическую нишу, в которой можно было бы жить и работать. Ибо главный пафос всей деятельности Георгия Петровича с начала и до конца, как я себе это представляю,

³⁰ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 377.

³¹ Там же. С. 419.

³² Там же. С. 446.

³³ Там же. С. 358–359.

был на самом деле совершенно иным: создание средств для радикального реформирования мышления, науки, практики, культуры, социальных организаций. Имеется в виду тотальное проектирование всего социума и самого человека. Именно в этом и был смысл и задача методологии, как она им понималась.

Теория деятельности, – говорил он, – ставит вопрос о глобальном, или тотальном, проектировании и планировании всего социума, об управлении им на научных основах³⁴.

Необходимо, утверждал Георгий Петрович, –

выработать методы проектирования человека будущего общества³⁵.

По мнению Г.П. Щедровицкого, разрабатываемая им и его соратниками методология уже сумела сделать очень много. Так, в 1974 г. он заявляет, что она, во-первых, создала ряд «квазинаучных дисциплин»: теорию деятельности, теорию мышления, теорию знания (эпистемологию), семиотику, теорию науки, теорию проектирования и т.д., и т.п.³⁶ Во-вторых,

уже созданы новая программа семиотики и новая программа лингвистики, создан проект новой педагогики, проект инженерной психологии, идет работа над проектами психологии, социологии, теории проектирования, теории управления, Вся эта работа имеет много разнообразных практических выходов³⁷.

Но главное в том, чтобы

спроектировать систему новых социальных и гуманитарных наук, соответствующих новым социотехническим и социокультурным потребностям нашего общества³⁸.

³⁴ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 320.

³⁵ Там же. С. 227.

³⁶ Там же. С. 420.

³⁷ Там же.

³⁸ Там же.

Поэтому когда в начале 80-х гг. появилась возможность создания организационно-деятельностных игр (ОДИ), то именно в них с их сугубо практической нацеленностью Георгий Петрович усмотрел необходимое средство применения и дальнейшей разработки своих методологических проектов.

В одном из самых последних своих выступлений (1989 г.) Г.П. Щедровицкий делится сокровенной мечтой о создании своеобразной «методологической Касталии» (образ взят из известного романа Германа Гессе «Игра в бисер»):

Для меня работа в области методологической Касталии есть главное. Если мне удастся подготовить сто – сто пятьдесят методологов на страну, я умру спокойно. Поскольку они дальше будут по принципу лавины готовить следующих...³⁹

А какое отношение, с точки зрения Г.П. Щедровицкого, имеет к этим методологическим замыслам философия?

По мнению Георгия Петровича, философия уже сыграла свою роль. В свое время (XVII–XVIII вв.) она конструировала онтологии и тем самым помогала становлению научных предметов, а также интегрировала эти предметы в рамках философской картины мира. Затем (в XIX в.) подобной интеграцией стала заниматься сама наука. Философия испытала кризис, от которого она не оправилась до сих пор. Ныне наука, по его мнению, уступает место интегратору мышления методологии. Именно методология сегодня может и должна конструировать и онтологии, и процедуры деятельности. Себя и своих сторонников Г.П. Щедровицкий называл не философами, а методологами. Эпистемология понимается им в качестве производной от методологии в его смысле – как теория знания, имеющая дело со способами производства, структурой и разными типами знаний, и как отличная от философской теории познания. В этой связи Георгий Петрович пытается различить эпистемологию и теорию познания следующим образом: ведь в точном переводе на русский язык «эпистемология» – это не теория познания, а именно теория знания⁴⁰. В действительности эти рассуждения являются недоразумением: то, что по-русски мы привыкли именовать «теорией

³⁹ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 24.

⁴⁰ Там же. С. 311–320.

познания» во всех западных языках и есть «теория знания» (*theory of knowledge, theorie de la connaissance*), при этом «теория знания» и «эпистемология» (*epistemologie*) везде в мире понимаются как синонимы.

Как я оцениваю методологический проект Г.П. Щедровицкого в целом?

Я считаю, что на самом деле та работа, которую осуществляли Георгий Петрович и его группа и которую они рассматривали как методологическую, была способом выработки некоторых технологических и социально-организационных процедур, применимых при решении ряда задач из области проектирования и в организационно-деятельностных играх. Все это имеет несомненный практический смысл. Я понимаю, что работа в этой области может быть интересной, полезной, и она увлекала ее участников. Однако никаких методов решения творческих, нестандартных задач в смысле конкретных процедур и мыслительных операций (а именно на это претендовал Г.П. Щедровицкий) данная методология не предлагает, да и не может предложить, по той простой причине, что таких методов просто не существует в природе. Идея «Научного Метода» или «Логики Открытия» – старая идея, которой увлекались многие выдающиеся умы. Современной философии от нее пришлось отказаться, и это не случайно. Если обратиться к основной линии развития исследований в области эпистемологии и философии науки в западной философии XX века, то попытки формулировать методы обоснования уже полученного знания (не методы его получения, а только лишь методы проверки) были предприняты сначала логическими позитивистами (критерий верификации), а затем Карлом Поппером (критерий фальсификации). Но и эти методы оказались неработающими. Влиятельная ныне теория Томаса Куна считает подобные поиски вообще бессмысленными, ибо каждая парадигма задает свои способы работы (при этом речь идет о некоторых самых общих предписаниях, а не о конкретных процедурах решения той или иной задачи); при переходе от одной парадигмы к другой эти способы меняются. Симптоматично название известной книги Пола Фейерабенда – «Против метода». Из известных философов науки только Имре Лакатос использовал идею методологии в названии своей концепции: «Методология научно-исследовательских программ». Между прочим, Георгий Петрович видел некото-

рое сходство между своими идеями и теорией Лакатоса. Действительно, в последней делается попытка анализа средств развертывания научных программ, выделяются определенные эвристические средства (если угодно, методы развития исходной теоретической модели), задается способ оценки конкурирующих между собою программ. Однако теория Имре Лакатоса не может дать никаких рекомендаций относительно того, как должен вести себя ученый на определенной стадии развертывания исследовательской программы, в рамках которой он работает. Даже если с точки зрения того способа оценки, который рекомендует Лакатос, данная программа дегенерирует, в то время как ее соперница развивается прогрессивно, это вовсе не значит, что от данной программы нужно отказаться в пользу конкурентки. Дело в том, что дегенерирующая программа может найти такие внутренние источники своего развития (предсказать это невозможно, никаких методов в этой связи не существует), что она начнет опережать другую. Таким образом, методологических рекомендаций не может предложить и теория Лакатоса. Можно считать, что некоторая методология (в самом общем виде – как направление исследований) встроена в разные научные онтологии. Методологическую функцию выполняют философские концепции. Но никакая специальная дисциплина под названием «Методология», автономно развивающаяся по своим внутренним законам и снабжающая социум и культуру строгими предписаниями и правилами по производству научных предметов и социальных организованностей, по моему мнению, невозможна.

Что же касается философии, то, вопреки мнению Г.П. Щедровицкого, роль ее не только не уменьшается, а резко возрастает. И это связано с ее характером. Философия всегда нечто проектирует. Но это не есть построение предмета по строгим правилам и предписаниям. Это свободное создание идеальной модели, идеального эталона познания и практической деятельности. Эта модель играет роль оценки существующего эмпирического положения вещей и одновременно стимула для перестройки эмпирии. Это, если угодно, некая утопия, которая дает возможность для критики того, что есть в наличии, и одновременно задает направление движения к тому, чего пока нет (это можно понимать и как некую методологическую функцию в самом общем смысле слова). Поэтому любая

значимая философская концепция всегда имеет две ипостаси. С одной стороны, это критика существующего положения дел: в познании, в моральной жизни, в политическом и социальном устройстве и т.д. С другой стороны, это построение определенного идеала знания, моральной жизни, политического устройства. В свете построенного идеала формулируются нормы деятельности, направленной на его достижение. Представление идеала как осуществимого – это форма утопии, ибо эмпирически тот или иной идеал никогда не был реализован, хотя и мыслился философом либо как осуществимый в принципе, либо в качестве того, к чему можно приближаться, – пусть даже бесконечно. Обе отмеченные стороны философии взаимосвязаны, ибо именно в свете идеала и ведется критика – иначе она не имела бы смысла. Критика направлена на изменение существующих форм культуры – в этом смысле философию можно понять как самокритику культуры. В свете идеала и на основе предписываемых норм проектируются новые культурные формы. В качестве иллюстрации этой роли философии можно привести множество примеров, начиная от утопии государства у Платона, правового государства философов XVII столетия и идеального социального устройства у К. Маркса и кончая кантовским категорическим императивом (человек не средство, а самоцель), идеалом чисто описательной науки у Эрнста Маха, а также представлением об идеальном научном языке у логических эмпириков и идеальной речевой коммуникации у Юргена Хабермаса. Важно при этом подчеркнуть, что во многих случаях спроектированные идеалы оказывали реальное влияние на практику познания и социальной деятельности: если они и не были реализованы или были реализованы не в полной мере, они в любом случае по-новому нормировали деятельность и давали новые способы ее оценки. В этой связи можно вспомнить и идеал правового государства, который в ряде стран был в значительной степени осуществлен, и влияние идеала описательной науки на современную физику, и многие другие сюжеты подобного рода.

Но очень важен принципиальный тезис: проектирование идеала (построение утопий) возможно в философии только на основе *познания, постижения* того, что реально есть в разных сферах культуры. Конструирование нормы осуществимо только на основании *знания* того, что существует (так что, вопреки Г.П. Ще-

дровицкому, знание и норма не могут быть противопоставлены). Философия была и остается прежде всего *рефлексией* над предельными основаниями познания, деятельности и оценки. Иными словами, возможности для трансформации тех или иных сфер культуры с помощью их философского осмысления не конструируются из пустоты, а обнаруживаются в том, что существует.

Роль философии в современной культуре серьезно возрастает, ибо основания всех видов деятельности (в том числе предельные, с выявлением которых связана философская деятельность) меняются сегодня быстрее, чем когда-либо раньше. Потребность в философском анализе становится все более насущной. Я имею в виду не только интенсивную работу по обсуждению теоретических оснований таких наук, как математика, физика, биология, – эта работа активно шла в течение всего XX столетия и продолжается сегодня. Я хочу обратить внимание на то, что такие науки о человеке и обществе, как психология, социология, социальная и культурная антропология, филология, которые с момента их возникновения и до недавних пор претендовали на полную независимость от философии, сегодня вступают в сильное взаимодействие с последней, если угодно, все более «философизируются». Что касается, например, психологии, то она в двух своих наиболее влиятельных вариантах – как когнитивная и как культурно-историческая – имеет дело с такими философскими сюжетами, как ментальные репрезентации, сознание, смысл, значение, интерпретация, коммуникация и т.п., и активно использует философские наработки, взаимодействует с философами. В социологии интенсивно обсуждаются проблемы понимания, объяснения, деятельности и структуры, возможность истолкования социальных институтов как своеобразных «фабрик значения», при этом используются идеи аналитической философии, феноменологии и герменевтики. В принципе то же можно сказать о других социальных и гуманитарных науках. Философы активно участвуют в разработке когнитивной науки – во взаимодействии с психологами, математиками и лингвистами. При этом философские концепции иногда получают самое неожиданное применение. Так, например, специалисты в области искусственного интеллекта обнаружили необходимость в создании систем «формальной онтологии», важной для реализации их идей в виде компьютерных программ. С этой целью они занялись изучением ряда систем философской ме-

тафизики, в частности, Альфреда Уайтхеда и Николая Гартмана. Без активного участия философов не могла бы развиваться такая современная дисциплина, как биоэтика. Политическая философия (концепции идеала политического устройства, социальной справедливости, демократии, политического участия, толерантности и др.) прямо влияет на программы современных политических партий, а такие философы, как К. Поппер, Ю. Хабермас, Дж. Роулз, привлекались для консультаций политическими деятелями.

При этом происходит важное изменение в способах философствования. Если раньше философы претендовали на окончательное нахождение идеала познания, деятельности и ценностных ориентиров и выступали как судьи и устроители культуры, то сегодня ясна служебная роль философии в отношении культуры. Все более утверждается понимание того, что в философии нет и в принципе не может быть окончательных результатов, ибо культура, в том числе в своих основаниях, постоянно трансформируется, а значит, и рефлектирующая над ней (и влияющая на нее) философия тоже неизбежно будет меняться. Поэтому конструируемые философом идеальные утопии могут иметь лишь временный и как бы частичный характер (хотя без их построения нельзя обойтись). Роль философии – не в нахождении окончательной истины или совокупности строгих методологических правил и предписаний (на что претендует Методология в понимании Георгия Петровича), а в постоянной *проблематизации* того, что есть в культуре, в выявлении новых возможностей ее развития. Философия антидогматична по самой своей природе. Это культура сомнения. Это постоянное вопрошание. Эта работа не имеет конца, она длится, пока существует культура, ибо философия и есть способ представления культуры в ее целостности и средство самоизменения последней.

Эпистемология (равно как и теория познания) как философская дисциплина всегда имела дело не просто со структурой знаний, процедурами их получения или их типологией, как это представлял Георгий Петрович. Эти вопросы в действительности производны от главного вопроса эпистемологии как именно философской (а не методологической дисциплины): что есть знание? Это было и остается проблемой. Ибо знание, как известно со времен Платона, – это то, что может быть обос-

новано (и чему соответствует реальность). Что же касается возможностей обоснования и его способов, то представления об этом менялись и продолжают меняться вместе с изменениями в культуре и в науке. Эпистемология занимается не конструированием правил и процедур, а проблематизацией сложившихся традиций понимания знания. В наше время эта проблематика исключительно актуальна.

Роль методологии в понимании Георгия Петровича – это тотальное проектирование на основе сконструированных правил, методов и процедур. Каждой задаче соответствуют определенные средства. Вспоминается до боли знакомое: «Цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!» Конечно, есть такие сферы практики, в которых нужно руководствоваться именно такими установками. Однако миссия философии в другом – постоянная проблематизация самих целей и средств, но особенно целей. Как справедливо заметил один мыслитель, современная цивилизация – это цивилизация средств при потере целей: имеются в виду не частные цели, но цели долговременные. Философия и занята постоянным поиском этих целей, их осмыслением и переосмыслением.

Я не могу не признать, что Георгий Петрович прекрасно осознал характерную особенность современной цивилизации (которую В.С. Степин называет техногенной): проективно-конструктивную установку. Сегодня эта установка реализуется во все больших масштабах, включая пересоздание самой человеческой телесности. Понимание человека как творца собственного мира и самого себя – это идея многих, если не большинства, направлений западной философии Нового времени, особенно немецкой, начиная от Канта и включая Фихте, Гегеля и Маркса. Концепция Г.П. Щедровицкого при всей ее оригинальности – это движение в рамках именно этой программы и вместе с тем дальнейшее развитие последней в контексте современных реалий. Проблематика, обсуждаемая в этой связи Георгием Петровичем (общая теория деятельности, производство научных предметов, интегративные и дезинтегративные тенденции в современной науке, переход операциональных характеристик в предметные, истолкование познания как конструирования и др.), весьма актуальна, а соображения Г.П. Щедровицкого интересны и во многих отношениях перспективны. Думаю, что их значение еще не до конца осознано в нашей философской литера-

туре. Методологический проект Георгия Петровича, как я уже говорил выше, привел его к разработке технологических и социально-организационных предписаний, которые могут успешно использоваться на практике при осуществлении задач проектирования и проведении организационно-деятельностных игр. Однако понимание Г.П. Щедровицким методологии как основы для тотального проектирования я принять не могу. Мне кажется, что сегодня, когда становится все более ясной опасность для человечества дальнейшего бездумного развития по техногенному пути, исключительно важным становится рефлексия о целях цивилизационного развития и о лежащих в их основе ценностях. А это дело философии.

Внимательное изучение работ Георгия Петровича привело меня к мнению о том, что в основе его понимания деятельности и методологии лежат две идеи, казалось бы несовместимые друг с другом: во-первых, это гегелевская мысль о саморазвитии мышления (совпадающем с деятельностью) как об автономном и замкнутом на себя процессе (сам Г.П. Щедровицкий неоднократно ссылается на Гегеля), а во-вторых, представление о том, что деятельность (включая и мыслительную) можно понять как технологический процесс, осуществляющийся на основе строгого соответствия задач, средств, процедур, исходного и получаемого продукта. Подобное соединение Гегеля с технологической проектной установкой кажется чем-то невозможным. Между тем, Георгий Петрович не был первым мыслителем, который двигался по этому пути. Задолго до него идею о том, что человек – это продукт собственной деятельности, в основе которой лежит развитие техники, высказал Маркс (недаром иногда его называют «философом техники»). Конечно, у последнего есть и другое понимание практики и деятельности вообще, его философия гораздо шире и многообразнее. Концепция Г.П. Щедровицкого – это его собственное изобретение, невозможное у любого другого мыслителя. Но в принципе понимание деятельности Георгием Петровичем можно понять как развитие некоторых марксовых установок. Что касается проекта содержательно-генетической логики, то сам его автор претендовал на реализацию идеи диалектической логики, исходя в том числе из анализа мыслительной практики Маркса в «Капитале». В последующей разработке проекта методологии Г.П. Щедровицкий постоян-

но ссылается на Маркса, на его понимание деятельности. Я думаю, что это не просто дань официальным установкам того времени, когда работал Георгий Петрович, тем более, что Маркс упоминается практически и во всех устных выступлениях Г.П. Щедровицкого, опубликованных только после его смерти. Дело в том, что сама идея тотального проектирования, планирования и создания идеальной организации, исходящая из того, что цели развития ясны, вытекающие из них задачи могут быть легко установлены, и все дело в том, чтобы подобрать соответствующие технологические средства для их решения, – сама эта идея исходно марксистская. Эту глубинную марксистскую установку Г.П. Щедровицкий, по моему мнению, разделял всю жизнь – при всем его резком неприятии реальной социальной жизни советского времени.

3. «Человек – материал, на котором паразитирует деятельность и мышление». Умрет ли человек?

Известны эпатажные высказывания Г.П. Щедровицкого относительно человека:

...Так где существует человек? Является ли он автономной целостностью или он только частица внутри массы, движущаяся по законам этой массы? Это одна форма вопроса. Другая – творчество. Принадлежит ли оно индивиду или оно принадлежит функциональному месту в человеческой организации и структуре? Я на этот вопрос отвечаю очень жестко: конечно, не индивиду, а функциональному месту.⁴¹

...Что есть человек? Для меня первый грубый ответ таков: это есть, наряду с машинами, знаками, лишь часть материала, на котором паразитирует мышление.⁴²

⁴¹ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 10.

⁴² Там же. С.11.

...Главное мошенничество – это идея человека с его психикой, а второе мошенничество – это идея субъекта, оппозиция «субъект – объект».⁴³

Изучая мышление, утверждает Георгий Петрович, следует работать в схеме бессубъектности. Нужно искоренять свою субъективность:

Или – если пользоваться чеховскими словами о том, что раба надо из себя выдавливать, – надо эту субъективность из себя выдавливать. Когда выдавите, можете быть ученым, методологом, учеником. Человеком быть не можете.⁴⁴

Все это звучит странно и нарочито провокационно. Между тем, это совершенно логичный вывод из принятого Георгием Петровичем понимания мышления и деятельности. Если первоначально (на стадии разработки содержательно-генетической логики) Г.П. Щедровицкий понимал мышление как деятельность индивида, совершающего определенные действия, операции и мыслительные процедуры, то затем, когда он приступил к построению Общей теории деятельности, последняя стала пониматься иначе: как принципиально бессубъектный процесс, носителем которого не может быть отдельный индивид. Последний захватывается коллективной деятельностью, к ней приобщается, в ней участвует и становится человеком лишь вследствие того, что занимает в этой деятельности определенное функциональное место. Так же может быть понято и мышление – как своего рода самостоятельная субстанция, саморазвивающаяся по собственным внутренним законам. Отдельный индивид может приобщиться к этому объективному процессу и в меру этой приобщенности начать мыслить. Нужно сказать, что такое понимание деятельности и мышления при всей его кажущейся парадоксальности имеет серьезные основания. Подобные представления развивали многие выдающиеся мыслители, начиная по крайней мере с Гегеля. Я вполне разделяю антипсихологический пафос Георгия Петровича. Мне кажется, что развитие фи-

⁴³ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 570.

⁴⁴ Там же. С. 574–575.

лософии и наук о человеке в XX веке в самом деле убедительно показало, что именно с антипсихологических позиций можно понять и развитие познания, и коллективную деятельность, и самого человека с его психикой и сознанием. В наше время сходного понимание мышления (как объективного процесса в «третьем мире») придерживался Карл Поппер, а в отечественной литературе Эвальд Васильевич Ильенков.

Другое дело, что с этим пониманием деятельности и мышления нужно согласовать признание особой и ничем не заменимой роли индивидуальной личности, субъекта, человека, без которых коллективная деятельность и объективный процесс мышления невозможны. Для меня решение этой проблемы предполагает учет двух важных обстоятельств. Во-первых, того, что описание деятельности как коллективного процесса (имеющего свою структуру или даже множество структур и соответствующие им функциональные места) и как совокупности индивидуальных действий, акций, поступков – относятся к двум уровням одной действительности. Точно так же, как стул не сводится к процессам, совершающимся на атомно-молекулярном уровне, а существует реально – как нечто, относящееся к другому уровню реальности, индивид и его действия существуют реально и не могут быть редуцированы к коллективной деятельности. Во-вторых, надо учесть, что эта деятельность не только предполагает наличие включенных в нее индивидов, отвечающих за свои действия (это условие существования коллективной деятельности), но и на определенном этапе развития делает необходимым возникновение субъекта, субъективности, сознания, «Я», иными словами, – того, что мы ныне считаем человеком, который является автономной целостной системой.

Мне кажется, что Георгий Петрович не мог согласовать понимание исключительной важности проблемы субъективности со своей теорией деятельности. Говорить об антигуманистической и антиантропологической направленности его концепции я все же не стал бы (хотя такие обвинения по его адресу высказываются нередко). Дело в том, что в последних выступлениях Георгия Петровича содержатся не только эпатажные рассуждения о том, что «человек – это вранье», но и слова другого рода. Так, например, он признал, что, хотя схема «субъект – объект» не годится при исследовании мышления и при занятиях методологией, без нее нельзя обойтись при

анализе процессов коммуникации и организационно-деятельностных игр⁴⁵, что во всех этих случаях необходим и важен процесс «субъективизации», что деятельностный подход предполагает невозможность для человека снятия с себя ответственности, что

эта сторона, субъективный подход и волевое решение, необходима в каждом деле и есть, наверное, самое главное, что требуется от каждого человека.⁴⁶

И, наконец, рассуждение, даже неожиданное для Г.П. Щедровицкого:

Вы никуда не уйдете от развития организационных структур, и выход состоит только в том, что человек победит в этом соревновании с организационными структурами. Единственный способ выскочить из западни – это сделать индивида более сильным, чем эти структуры. Должна наступить эпоха соревнования структур и индивида, И я стою на стороне индивида, поскольку я считаю, что он обманет эти структуры и победит.⁴⁷

Я повторяю: на мой взгляд, Георгий Петрович не смог согласовать в рамках своей концепции эти два типа своих высказываний о человеке. Но главное не в этом, а в том, что сегодня вопрос о человеке как об автономном образовании и о его судьбе в современной цивилизации – это не только вопрос теоретический, а прежде всего сугубо практический. Я думаю, что Г.П. Щедровицкий не мог предвидеть этого нового поворота обсуждений старого вопроса. Его концепция методологии и проективно-конструктивной деятельности не может дать в данном случае ответа. Дело в том, что современная острота вопроса о человеке в значительной степени связана со стихийным развитием именно той проективно-конструктивной деятельности, разработке методологии которой посвятил себя Георгий Петрович.

Сегодня рассуждения о «смерти человека», о «конце субъекта» стали чем-то обычным (особенно в устах постмодернистов). Нас

⁴⁵ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 577.

⁴⁶ Там же. С. 16.

⁴⁷ Там же. С. 18.

уверяют в том, что человек, такой, каким мы его знали до сих пор, бесповоротно гибнет и уже не сохранит тех качеств, которые мы привыкли связывать с его человеческой сущностью. Сегодня говорят о «*постчеловеческом*» будущем (Френсис Фукуяма), ибо те, кто будет жить в новой цивилизации, могут и не походить на тех, кого мы до сих пор называли словом «человек». В повестке современных обсуждений и вопрос о том, что же такое человек, в чем его природа (как сейчас ясно, мы до сих пор плохо это знаем), и вопрос о том, какая грань отделяет человека от «нечеловека», и, наконец, вопрос о том, нужно ли защищать и спасать человека, а если нужно, то можно ли, а если можно, то что для этого следует сделать. Проблематика человека с новой, нередко необычной стороны, становится центральной для многих дисциплин, начиная с философии, включая психологию и социологию и кончая генетикой.

В результате новейшего этапа развития науки и техники, возникновения новых информационных технологий (телевидение, использование компьютера, коммуникация с помощью интернета) наиболее развитые страны вступили в так называемое «информационное общество». Высокий темп обновления знаний, характерный для информационного общества, влечет быструю сменяемость социальных структур и институтов, воплощающих это знание, типов и способов коммуникации. Многие социальные процессы становятся чем-то эфемерным, существующим относительно небольшое время. Интеграция прошлого и будущего в единую цепь событий, образующая индивидуальную биографию и лежащая в основе личности, «Я», оказывается в некоторых случаях непростым делом. Все более усложняющаяся в современном обществе цепь социальных и технологических опосредований между действием и его результатом делает сложным рациональное планирование действий не только на коллективном, но даже и на индивидуальном уровне – вопреки мечте Георгия Петровича о тотальном проектировании и планировании. Но дело не только в этом. Любое рациональное действие предполагает как учет его возможных последствий, так и соотнесение выбранных средств с существующими в обществе нормами поведения, с коллективными представлениями о дозволенном и недозволенном, с представлениями действующего субъекта о самом себе, своей биографии, о принятых на себя в прошлом обязательствах, о при-

надлежности к той или иной коллективной общности, т.е. с тем, что называется индивидуальной идентичностью. Между тем, современный западный мир переживает кризис индивидуальной идентичности. Начинается кризис и ряда коллективных идентичностей. Недаром эта проблема сегодня одна из самых обсуждаемых на различных конференциях философов, психологов, социологов. Это связано с разрушением многих привычных норм, с упомянутой эфемерностью социальных процессов, с трудностью интеграции прошлого и будущего, разных коммуникационных потоков и разных систем социальных взаимодействий на индивидуальном уровне. Возникает все больше индивидов, характеризующихся *полиидентичностью* или *«размытой идентичностью»*; это – те, сознание которых оказывается фрагментированным и которые не могут ответить на вопрос, кем они являются («кто я такой?»). Такой индивид уже не человек в привычном смысле слова, так как важнейшее условие нормальной человеческой жизнедеятельности (с точки зрения той нормы, которая до сих пор была неоспоримой) – существование единства сознания как синхронного, так и диахронного. По Канту, единство индивидуального сознания – это априорное условие его возможности. Но именно это единство сегодня находится под вопросом, если верить результатам ряда социологических и психологических исследований. Поскольку же без единства сознания невозможно «Я», можно сделать вывод, что и «Я» в строгом смысле слова более не существует. Но ведь ясно, что индивид, у которого отсутствует «Я», у которого жизнь делится на ряд не связанных между собою эпизодов, не может нести ответственности за свои поступки, а тем самым не может считаться человеком в принятом до сих пор смысле этого слова. Получается, что и в самом деле человек как будто бы исчезает...

Еще один современный вызов нашим представлениям о человеке – это попытки с помощью воздействия на генную систему изменить саму человеческую телесность, создать более «совершенного» человека, наиболее приспособленного к выполнению тех или иных конкретных функций. Кажется, что современная наука открывает такие возможности. Появились энтузиасты, пропагандирующие новые способы экспериментирования над человеческим телом и связывающие с изменением человеческой телеснос-

ти осуществление самых дерзновенных мечтаний, реализацию новой генно-технологической утопии. Возникающая в этой связи проблема связана даже не столько с возможностью или невозможностью такого рода экспериментов (как писал Николай Бердяев, особенность утопии не в том, что она не существует, а в том, что она может осуществиться), сколько с тем, что подобного рода вмешательство может привести к необратимым последствиям, сходным с результатами человеческого воздействия на природу: человек может перестать быть таковым. Между тем, вся наша культура, нравственность, представления о демократии основаны на той человеческой телесности, с теми присущими ей возможностями, с тем распределением способностей между индивидами, которая до сих пор считалась чем-то неотъемлемым от самого понимания человека.

Для понимания как современного смысла проблемы человека, так и возможных путей ее решения нужно учесть еще одну особенность современной цивилизации. Она характеризуется не только быстротечностью процессов, эфемерностью многих социальных и культурных структур, но также и (как следствие этого) частым возникновением нештатных, неординарных ситуаций, повышением степени риска. Выход из этих ситуаций, в которых нередко оказывается отдельный человек, требует от него принятия собственного и при этом творческого, нестандартного решения. Это значит, что колоссально усиливаются требования к отдельному индивиду, который уже не может спрятаться за анонимным решением безликого коллектива, а должен действовать на свой страх и риск. Следствие этого – повышение роли индивида в социальной жизни, *рост индивидуализации* и повышение личной ответственности. Свободное действие индивида – а без свободы невозможна ответственность – это основа коллективной деятельности, порождающей социальные институты и культуру. А свобода и ответственность и есть те узлы, которые завязывают единство сознания и само «Я». Ведь именно «Я» есть инстанция принятия свободных решений. *Свобода* – вот одна из главных проблем философии во все времена, особенно сегодня. Лишь при наличии свободы и единства сознания возможна ответственность за поступки, которая немыслима в том случае, если сознание распадается на не связанные друг с другом фрагменты, если прошлое

не связывается с настоящим и будущим. «Я», как и вся сфера субъективной реальности, в том числе и человеческая свобода, это действительно социально-культурная конструкция, если угодно, изобретение, а не природный факт, нечто искусственное (Георгий Петрович с удовольствием поддержал бы этот тезис). «Я», однако, не становится от этого чем-то нереальным. Ибо и общественные институты, и культуры – это объективная реальность, хотя и иного рода, чем реальность природная. Субъективность – это тоже реальность, хотя и специфическая.

Но это значит только то, что задача по интеграции разного рода деятельностей в единство «Я» может быть сегодня в ряде случаев непростой, но это задача, которую индивид каким-то образом должен решить. Иногда он ее не решает, но если такого рода случаи становятся массовыми, то распадается не только «Я», но и сама ткань социальности. Думать, что культура и общество могут пережить смерть человека как индивидуального «Я», нелепо. Между тем, нет никаких оснований думать, что человечество стремится к самоубийству. Поэтому задача спасения человека, помощи человеку в сохранении своей личности, телесности, а вместе с ним и спасения культуры – вполне практическая. Одно из важных средств в решении этой задачи – сохранение ряда традиционных ценностей культуры, если угодно, осторожный консерватизм, который должен уравновесить безудержную проективно-конструктивную установку современной цивилизации. Именно это, а не развитие методологии тотального проектирования, которой посвятил свою жизнедеятельность Георгий Петрович, – одна из важнейших задач современной философии. Сегодня важно не только заниматься критикой культуры (что всегда делала философия), но и защищать и поддерживать традиционные ценности свободы, рациональности, личности и индивидуальной телесности. Без такой их поддержки, без их сознательного культивирования разными средствами культуры (включая систему образования, разные социальные институты, систему ограничений на экспериментирование с человеческой телесностью, осторожное отслеживание этих экспериментов, выявление границ такого рода вмешательства и т.д.) эти ценности вряд ли смогут воспроизводиться, а значит, под угрозой будет и существование человека. Работа в этом направлении, предполагающая

изучение реальных социальных, культурных и психических процессов, соотнесение современных культурных сдвигов с традициями европейской культуры – одна из важнейших проблем, с которыми столкнулось сегодня человечество и в решении которой философия играет исключительную роль.

★ ★ ★

Георгий Петрович Щедровицкий – один из крупнейших, отечественных мыслителей XX столетия. Его концепция – реализация важной и весьма характерной тенденции в развитии европейской цивилизации последних трех столетий: конструктивно-проективной установки. То, что он сделал, позволяет лучше понять возможности и опасности развития в этом направлении. Сформулированные им идеи живут самостоятельной жизнью и обнаруживают важный современный смысл. Разработанные им проекты и программы не были осуществлены в полной степени (да и не могли быть осуществлены, по моему убеждению). Но ведь ни один философский проект никогда не был полностью претворен в жизнь. Однако без этих проектов (можно назвать их иллюзиями) было бы невозможно развитие культуры и науки. Я убежден, что проекты Г.П. Щедровицкого оказали серьезное воздействие на современную культуру. После его работ мы иными глазами смотрим на многие проблемы философии и наук о человеке. Вряд ли мыслитель может сделать больше.



**Розов
Михаил
Александрович**
(р. 1930)

доктор философских наук (1990), профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН.

Окончил философский факультет и аспирантуру Ленинградского государственного университета (1955, 1958 гг.).

Работал в Сибирском Отделении АН СССР (1958–1981). Руководитель Новосибирского семинара по философии и методологии науки. Область научных интересов – гносеология, философия и методология науки, эпистемология, история науки и культуры. В его работах исследуется способ бытия семиотических объектов, включая объекты математики, механизмы новаций в развитии науки, методологические проблемы исследования систем с рефлексией, к числу которых относится и наука, и ряд других вопросов. Автор более 140 научных работ, среди которых монографии: Научная абстракция и ее виды (Новосибирск, 1965); Проблемы эмпирического анализа научных знаний (Новосибирск, 1977); Философия науки и техники (в соавторстве со Степиным В.С., Гороховым В.Г.; М., 1996); Феномен социальных эстафет (сборник статей; Смоленск, 2004).

Живет и работает в Москве.

ПРОБЛЕМА СПОСОБА БЫТИЯ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ (ПО СЛЕДАМ Г. П. ЩЕДРОВИЦКОГО)

И то сказать: должна людская память
Утратить связь вещественную с прошлым,
Чтобы создать из сплетни эпопею
И в музыку молчанье претворить.

В. Набоков

Я долго думал, как мне озаглавить эту статью, и выбрал вариант эмоционально самый нейтральный, хотя он и не выражает полностью того, что мне хотелось бы обсудить. Были и другие более экспрессивные варианты: Тайны Щедровицкого; Музыка проблематизации; Трагедия нерешенных проблем; Трудность последнего шага... Все эти темы так или иначе все же будут звучать в данной статье.

Г.П. Щедровицкий – это, несомненно, наиболее яркий и интересный человек из всех, кого мне довелось повстречать на своем жизненном пути. А мне, надо сказать, везло на встречи, и многие из моих знакомых или собеседников еще при жизни обеспечили себе место в энциклопедических словарях. Впрочем, как все мы понимаем, энциклопедии – это далеко не тот фильтр, которому следует доверять.

С Георгием Петровичем я познакомился в 1960 году на симпозиуме в Томске, где мы сразу нашли общий язык. Мне сейчас как-то странно и даже неприятно писать это официальное «Георгий Петрович», ибо мы всегда были на «ты» и обращались друг к другу по именам. Но сейчас между нами пролегла бездонная пропасть смерти, и он уже там, а я еще здесь. И это наше неравенство сильно усложняет задачу написания этой статьи. Когда-нибудь беспристрастный историк оценит вклад Г.П. Щедровицкого в развитие философской мысли, и он будет иметь на это право, ибо дистанция во времени расширяет кругозор. Но мы еще слишком близко, мы еще участни-

ки того процесса, в который был вовлечен и он. Мы еще не приобрели право на объективность, но утратили право на равноправную дискуссию, ибо у нас преимущество в десять лет. Время сначала скрывает и только потом дарует свободу. Все дальнейшее – это попытка найти компромисс в этой отнюдь не простой ситуации.

Невозможно излагать и анализировать его взгляды целиком. Это далеко выходит за рамки статьи, об этом надо писать книгу. Я не сомневаюсь, что такую книгу следует написать, ибо Щедровицкий – это очень яркое явление в нашей философии второй половины минувшего века, и он заслуживает книги никак не в меньшей степени, чем те отечественные и многие зарубежные философы, о которых мы постоянно пишем и пишем. Это, однако, значительно превышает мои возможности, так как Щедровицкий в своих работах касается большого количества предметов и проблем, выходящих за рамки моей компетенции. Это, например, проблемы психологии, педагогики, теории дизайна, теории организационно-деятельностных игр. Как же задать предмет моего обсуждения? Вероятно, это можно сделать только откровенно субъективно: «Щедровицкий для меня» или «Мой Щедровицкий». Может быть, так и следовало назвать статью, хотя это и звучит недостаточно академично. Я хотел бы обсудить те проблемы, которые он постоянно поднимал и которые были стержнем и моей собственной работы на протяжении почти сорока лет. К сожалению, он не может мне сейчас возражать, а полемист он, по общему признанию, был блестящий.

1. «Музыка» проблематизации

В среде физиков и математиков я неоднократно слышал, что ученые делятся на «постановщиков» и «решателей», одни ставят проблемы, другие участвуют в их разработке и решении. Первых при этом ценили гораздо выше. Это и понятно, ибо главное и самое трудное в познании – посмотреть на мир свежим, непредубежденным взглядом и увидеть тайну, тайну, мимо которой проходит огромное количество равнодушных людей, не замечая ее и даже не желая ее замечать. Надо быть Ньютоном, чтобы обратить внимание на упавшее яблоко. Один научный работник, когда я показал, что его статья базируется на очень сомнительных предпо-

сылках, вспыхнул и сказал: «Ну, знаешь, этак я ни одной статьи не напишу!» Вероятно, он был прав. Но вот Фердинанд де Соссюр, обнаружив, что в языке нет субстанции, честно замолчал на целых 25 лет, полагая, что он не имеет права замалчивать эту трудность, которую при этом не может преодолеть. Известный наш геометр академик А.Д. Александров как-то сказал: «Тот факт, что мы сводим площадь треугольника к половине произведения основания на высоту, – это не менее таинственное явление, чем строение электрона!» К сожалению, большинство наших гуманитариев этого не понимают. Большинство, но не Г.П. Щедровицкий. Его, несомненно, следует отнести к «постановщикам». Он видел и умел ставить проблемы, умел видеть тайну, а это большой талант. Статью поэтому, перефразируя Хемингуэя, можно было бы назвать и так: Тайна всегда с тобой. Щедровицкий утверждал, что существуют разные типы мышления, сам он, как я полагаю, в основном был проектировщиком исследовательских программ. У него было постановочное, проблематизирующее мышление. Именно в проблематизации специфика его статей и докладов, именно это столь часто совершенно завораживало его читателей и слушателей. Простой, казалось бы, вопрос неожиданно превращался в его руках в манящее поле исследовательских поисков, с глаз слушателя точно падала пелена.

Он проблематизирует даже в своих воспоминаниях, надиктованных на магнитофон в конце 1980 года. Я не могу удержаться от того, чтобы не привести здесь с некоторыми сокращениями довольно большой кусок текста, так как он иллюстрирует стиль его мышления на максимально простом материале.

Вот начало его воспоминаний.

Когда Вы ... попросили меня рассказать о наиболее запомнившихся мне эпизодах из жизни психологов, а я несколько неосторожно согласился, то я и не мог предполагать, что дело это будет для меня столь сложным и проблематичным.¹

О Господи! Ну, просят тебя рассказать о встречах с психологами, ну возьми и расскажи! Какие проблемы?! Для любого «нормального» человека проблем нет, но не для Георгия Петровича.

¹ Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом... М., 2001. С. 9.

Дело в том, – продолжает он, – что история науки, философии имеет два сложных и не очень-то связанных между собой пласта. С одной стороны, это жизнь идей... , а с другой – это жизнь людей, их коммунальные отношения, их поведение, их действия, ориентации, цели, корысть. ... Поэтому, когда я начал думать, а что я собственно должен ... Вам рассказать ..., то вдруг, неожиданно для себя, обнаружил, что я должен либо обсуждать историю развития идей, в частности в той области, где я работал, ... но тогда не нужны воспоминания, тогда это должно быть результатом какого-то специального исторического анализа, специальной исторической реконструкции, либо же нужно оставить в стороне этот план развития идей, точнее, жизни людей в идеях и через них, но тогда остаются какие-то анекдотические истории, какая-то ерунда, которую в общем-то и неловко как-то рассказывать.²

Ну, разве это не проблема? Как же мы должны писать научные воспоминания? А, может быть, надо просто писать о тех людях, жизнь которых неразрывно слита с жизнью идей? Но, если выбросить из науки всех остальных, то, как писал А. Эйнштейн, храм науки катастрофически опустеет³. Ниже я постараюсь показать, что проблема, которую ставит Георгий Петрович, многоаспектна и связана отнюдь не только с написанием воспоминаний. Это глубокая и фундаментальная проблема. А пока вернемся еще раз к тексту.

И чем больше я размышлял на эту тему, – продолжает Щедровицкий, – тем более странным казалось положение, в которое я попал... И это, должен я признаться, привело меня в некоторое замешательство, заставило взглянуть на прожитые годы уже под новым углом зрения и задать себе вопрос: как же так получается?⁴

Обратите внимание, Щедровицкий все более и более драматизирует ситуацию, что, конечно же, держит читателя в напряжении. Вы только подумайте: автор попадает в «странное положение», он в замешательстве, он вынужден «взглянуть на прожитые годы уже

² Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом... С.9.

³ Эйнштейн А. Собрание научных трудов. М., 1967. Т. 4. С. 39.

⁴ Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом. С. 9.

под новым углом зрения». И мы уже не можем оторваться, мы ждем, что же дальше. А дальше следует нечто довольно ясное и понятное, с чего, казалось бы, и надо начинать.

И отвечая себе на этот вопрос, я пришел в каком-то смысле к очень печальному выводу: мне в общем-то не повезло на встрече с подлинными людьми науки. Подлинных людей науки, чья личная жизнь сливается в принципе с жизнью науки, с исследовательской деятельностью, – таких людей в моей жизни было всего несколько: если пять, то это хорошо.⁵

«Ну и что?», – любил повторять один мой знакомый, когда ему сообщали какую-либо информацию. Он при этом разочарованно пожимал плечами. Ну и что? Разве мы не знали, что далеко не все так называемые научные работники живут наукой? А. Эйнштейн писал в 1918 году: «Храм науки строение многосложное. Различны пребывающие в нем люди и приведшие их туда духовные силы. Некоторые занимаются наукой с гордым чувством своего интеллектуального превосходства; для них наука является тем подходящим спортом, который должен им дать полноту жизни и удовлетворение честолюбия. Можно найти в храме и других: плоды своих мыслей они приносят здесь в жертву только в утилитарных целях»⁶. И Эйнштейн, и Щедровицкий говорят по сути одно и то же, но Эйнштейн формулирует свою мысль без всякой предварительной подготовки, а Щедровицкий подводит к ней через проблему, через определенные конкретные трудности, через, выражаясь его языком, ситуацию разрыва. И вот давно известная и даже тривиальная мысль, точно Золушка, вдруг перестает быть известной и тривиальной, ибо она, как на маскараде, в совершенно новом костюме.

При более внимательном анализе видно, что в приведенном отрывке сливаются воедино как бы два тесно связанных «приема», которые почти постоянно присутствуют в статьях и выступлениях Георгия Петровича. Первый, как мы уже отмечали, заключается в удивительной способности преподносить слушателю или читателю тот или иной тезис через проблему. Второй – это умение создавать определенную эмоциональную напряженность за счет постоянного использова-

⁵ Щедровицкий Г. П. Я всегда был идеалистом... С. 10.

⁶ Эйнштейн А. Т. 4. С. 39.

ния выражений типа «я и не мог предполагать», «вдруг, неожиданно для себя, обнаружил», «и чем больше я размышлял на эту тему»... Перечитайте отрывок и вы почувствуете, что выражения такого типа все время звучат, сопровождая развитие мысли наподобие некоторого аккомпанеента. Можно, конечно, воспринимать это как чисто ораторский прием, но попробуйте этому подражать, и я почти уверен, что у вас ничего не получится. Дело в том, что «прием», о котором идет речь, будет выглядеть просто смешно, если он органически не связан со стилем мышления, с реальным и обоснованным переживанием поиска.

Щедровицкий был блестящим лектором и оратором и очень часто, как я уже отмечал, просто завораживал аудиторию. Это была одна из тайн Щедровицкого. Многие пытались ее разгадать. От одних я слышал, что все дело в интонациях, в расстановке акцентов, другие видели разгадку в пластике движений, в характерных жестах, задерживающих внимание аудитории на той или иной мысли. Все это было. Но главное, как мне представляется, заключается именно в таланте проблематизации, в удивительной способности драматизировать ситуацию, одевая свою мысль в загадочный проблемный наряд. Однажды знакомый философ, прослушав лекцию Щедровицкого, пришел ко мне в крайнем воодушевлении, говоря, что наконец-то он понял, как жить и работать. «А какой его основной тезис?» – спросил я. Он посмотрел в свои записи и кратко изложил содержание лекции. «И разве ты этого не знал раньше?» – «Знал», – ответил он крайне озадаченно. Я совершил кощунственное деяние, я снял бальное платье с Золушки. Впрочем, продолжая эту аналогию, следует подчеркнуть, что бальное платье не столько скрывало какие-либо недостатки Золушки, сколько выявляло ее подлинные достоинства. И мой знакомый был не совсем прав, отвечая на мой вопрос утвердительно. Он и знал и не знал тезис Щедровицкого, он знал, но не обращал внимания, знал, но не замечал.

2. Тайна всегда с тобой

Но перейдем к научным проблемам. Мне хочется привести два небольших отрывка из лекций Щедровицкого, прочитанных очень давно, в 1965 году. Что доминировало в нашей официальной философской литературе того уже далекого времени? Если говорить о проблемах познания, то, разумеется, теория

отражения. И знание рассматривалось тогда именно с этой и только с этой крайне примитивной точки зрения. И вот – совершенно неожиданный и новый для того времени вопрос.

Проводя аналогию с производственной деятельностью, – пишет Щедровицкий, – я ввел принципиально новое понятие – понятие объекта. Если теперь мыслительную операцию я буду рассматривать как то, что переводит знания из одной формы в другую, то естественно будет спросить: а можно ли рассматривать знания в качестве объекта оперирования? Может быть, мы оперируем не знаниями, а именно знаками, а о знании надо говорить в том случае, если мы используем его в качестве плана или регулятива операций. Анализируя вопрос о том, чем мы оперируем в деятельности, можно предполагать, что объектом будет не только знаковая форма, но, может быть, смысл знания, или тот объект, который обозначен, или отражен, в знании.⁷

Как привычно слышать, что мы знание создаем, строим, используем, проверяем, систематизируем, излагаем, развиваем... Разве это кому-нибудь режет слух, разве кто-нибудь ставил под сомнение правомерность этих выражений? А может ли знание быть объектом оперирования, объектом или продуктом нашей деятельности? У меня сейчас нет возможности анализировать тот контекст, в котором Щедровицкий ставит и обсуждает этот вопрос. Мне важен сам вопрос в его современном, если хотите, звучании. А вопрос этот и сейчас звучит как неожиданный удар бича. Я не уверен, что кто-то может на него удовлетворительно ответить, по крайней мере, я таких специалистов не знаю.

Но попробуем чуть-чуть «раскачать» проблему. Начнем для простоты не со знания, а с такого объекта, как слово. Может ли оно быть объектом оперирования? Казалось бы, положительный ответ почти очевиден: все мы говорим, используя при этом слова, каждый из нас в принципе способен ввести новый термин. Последнее даже очень просто, достаточно сказать: «Будем этот предмет называть так-то». А между тем мы равнодушно прошли мимо тайны,

⁷ Щедровицкий Г.П. Процессы и структуры в мышлении. Курс лекций. Из архива Г.П. Щедровицкого. Т. 6. М., 2003. С. 181–182.

просто ее не заметив. Слово – это объект крайне таинственный и непонятный, к нему даже не ясно, как подойти. Допустим, я написал слово «*какаду*». Постойте! А слово можно написать или произнести? Если, допустим, я написал «какаду», «КАКАДУ», «*kakadu*»... – это одно слово или разные? Можно сказать: это одно слово, т.к. мы одинаково понимаем все приведенные тексты, т.е. к ним применима одна и та же программа словоупотребления. На клетке с попугаем мы можем написать данное слово в любом из приведенных вариантов. Но ведь я привел всего четыре варианта, а в принципе, как все мы понимаем, их может быть бесконечно много. Что же такое слово? Напрашивается мысль, что речь должна идти о некоторой совокупности связанных друг с другом социальных программ. Имеется, например, некоторая достаточно сложная программа порождения акустических или графических объектов определенного типа, а также программа реализации или активации этой первой программы в определенных ситуациях. Мы, к сожалению, пока очень плохо знаем, как и где существуют эти программы, каков способ их существования и механизм взаимодействия. Так можем ли мы оперировать словом? Его явно нельзя подержать в руках, на него нельзя указать пальцем, мы не можем его точно локализовать в пространстве и времени. Мы вообще не знаем, где и как оно существует. А главное – совсем не ясно, мы оперируем словом или оно нами. Вот уж действительно, странное и непонятное всегда рядом, тайна всегда с тобой.

А можем ли мы создать новое слово, новый термин? Фактически я уже подготовил отрицательный ответ. Да, конечно, можно заявить, что вы предлагаете именовать то или иное явление таким-то образом. Но это еще не порождает социальную программу и вовсе не обязательно становится фактом языка или речи. Мало ли люди придумывали новые термины! Они просто не приобретали социальной значимости. Это примерно так же, как с посадкой растения: мы можем заложить в почву семечко, но не можем создать растение, оно должно вырасти само, но может и не вырасти.

Однако перейдем к знанию. Оно столь же загадочно, как и слово. Знание «мел бел» можно заменить предложением «мел имеет белый цвет», или «мел – это белое вещество» и т.д. Я уже не говорю, что каждое из этих предложений может быть представлено бесконечным в принципе количеством акустических или графических обра-

зований. Знание, как и слово, есть нечто совершенно неуловимое. Речь и здесь, вероятно, идет о какой-то совокупности связанных друг с другом социальных программ, но о совокупности более сложной, чем в случае слова. И опять-таки возникает вопрос: мы оперируем знанием или знание нами? Последнюю из этих возможностей и предусматривает Щедровицкий в вышеприведенном отрывке:

А о знании надо говорить, – пишет он, – в том случае, если мы используем его в качестве плана или регулятива операций.

Не мы, следовательно, оперируем знанием, а знание регулирует наши операции.

Но послушайте, может возразить читатель, знание мы можем проверить, существуют, следовательно, операции проверки знания. Но так ли? Допустим, вам сообщили номер телефона нужного вам учреждения, и вы хотите проверить полученное знание. С каким объектом вы при этом оперируете? Разумеется, с телефоном, а знание, которое вы проверяете, определяет характер ваших операций. Разве не парадокс: вы хотите проверить знание, но действия ваши направлены на телефон, вы хотите управлять знанием, а между тем оно управляет вами.

А в какой степени знание может быть продуктом наших познавательных операций, можем ли мы создавать знание? «А кто же его создает?» – может спросить читатель. Это так естественно полагать, что знание создает человек, что каждый в принципе способен построить новое знание. Научные статьи, открытия, законы, теории имеют авторов. И тем не менее в тех же лекциях, прочитанных уже 38 лет тому назад, Щедровицкий пишет:

...Мы приходим к общему принципиальному вопросу: что собственно должно рассматриваться в качестве продукта мыслительных операций?⁸

Имеет ли этот вопрос смысл? Несомненно, да. И опять-таки я не буду рассматривать конкретный контекст, в котором был поставлен этот вопрос, я только постараюсь показать его принципиальную

⁸ Там же. С. 205.

правомерность. Вернемся к примеру с номером телефона. «Владея этим знанием, вы тем самым имеете программу действий, необходимых для установления связи с некоторым учреждением. Но ведь программа эта создана не вами и не тем человеком, который сообщил вам номер телефона, и не автором телефонной книги. Последний просто установил соответствие между набором программ установления связи и множеством абонентов. А сами программы есть результат сложного исторического развития науки и техники. И каждое знание просто организует определенным образом уже существующие в обществе программы. Кеплер установил, что планеты движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, но ведь вовсе не он ввел в науку представление об эллипсе и его свойствах. Это напоминает высаживание растений в парке: вы не создаете эти растения, но вы можете высадить их в нужном месте и в нужном порядке.

А может ли отдельно взятый человек владеть знанием? Это далеко не простой вопрос. Сложность обусловлена, как отмечает Х. Патнэм, «разделением языкового труда»⁹. Немногие способны отличить мышьяк от других веществ, и тем не менее выражение «Мышьяк ядовит» – это знание, ибо в нашем языковом сообществе есть и постоянно воспроизводятся люди, владеющие соответствующими методами химического анализа. Иными словами, в нашем сообществе «живут» программы распознавания мышьяка, но далеко не все из нас умеют их реализовывать. В такой же степени выражение «Золото – драгоценный металл» мы с полным правом воспринимаем как знание, хотя очень немногие сумеют отличить золотое кольцо от подделки. Знание, следовательно, хотя бы в рассмотренных случаях – это достояние не отдельного человека, а общества в целом.

Я вовсе не пытаюсь дать развернутый ответ на поставленные Щедровицким вопросы. Мне важно показать, что они крайне интересны и способны направить эпистемологические исследования в новое и неожиданное, по крайней мере для того времени, русло. А таких вопросов уже в лекциях 1965 года очень много. Почти всем известны проблемы Гильберта; о существовании этих проблем знают даже люди, очень далекие от математики. Они не способны понять их содержание, но слышали, что они есть и что кому-то уда-

⁹ Патнэм Х. Значение и референция // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982. С. 383–385.

лось решить очередную проблему. А вот проблемы Щедровицкого мы в основном просто не замечаем, мы оставили их в неизвестности. И это беда нашего научного сообщества, которое совершенно не ценит свое собственное наследие.

А вот еще один вопрос из тех же лекций.

Совершенно непонятно, – пишет Георгий Петрович, – с чем, собственно, мы действуем, когда складываем числа, – с значками-цифрами, с объектами, обозначенными в них, или со смыслом чисел.¹⁰

Не такой уж простой вопрос. Но главное – он ориентирует на филигранный анализ знаковых систем науки, который и до сих пор не так уж и часто встречается в нашей литературе.

Математик Р.Л. Гудстейн сравнивает арифметику с шахматной игрой, где мы по определенным заданным правилам перемещаем по доске деревянные фигурки.¹¹ Эти деревяшки следует отличать от шахматных фигур типа короля, ферзя, пешки и т.п. Шахматными фигурами их делают правила ходов; деревяшка становится фигурой, если она играет на доске соответствующую роль. Эти деревянные фигурки аналогичны цифрам; цифра становится числом, если мы начинаем оперировать ею по определенным правилам. Шахматные фигурки можно делать не только из дерева, но из других материалов; потеряв какую-либо фигурку, ее можно заменить куском сахара или спичечным коробком. Главное – это правила игры. Но в такой же степени и цифры безразличны к материалу, их можно писать на бумаге или доске, а можно делать из железа или вырубать в камне. Число – это роль цифры в арифметической игре.

Но так ли все просто? Правила шахматной игры можно изменить, и мы получим новую игру, которая, возможно, вполне будет иметь право на существование. А можно ли с такой же легкостью изменить правила арифметики? Можно ли, например, предположить, что $3+2=9$? Не потеряет ли при этом арифметика своего смысла и значения? Или другой аналогичный вопрос. Представьте себе, что мы полностью забыли правила шахматной игры, можно

¹⁰ Щедровицкий Г.П. Процессы и структуры в мышлении. С. 182.

¹¹ Гудстейн Р.Л. Математическая логика. М., 1961. С. 21–23.

ли их как-то восстановить, если не осталось никаких воспоминаний и записей? Полагаю, что нет. А вот с арифметикой дело обстоит совсем иначе, правила арифметики восстановить можно. Но означает ли это, что, складывая числа, мы оперируем не с цифрами, а с реальными множествами, с совокупностями каких-то реальных предметов? Неужели, складывая два пятизначных или семизначных числа, вы имеете дело с реальными совокупностями?

Согласитесь, Георгий Петрович Щедровицкий умел задавать вопросы, и вопросы интересные, подталкивающие к исследованию и, несомненно, обогащающие проблемный мир эпистемологии. И это колоссально важно, уже этого достаточно для признания его заслуг перед нашей отечественной и, полагаю, мировой философией. Уже это делает его на голову выше большинства окружающих его людей, особенно в ту эпоху, когда все твердили замшелые «истины» так называемого диамата. Своими вопросами он нередко ставил в тупик докладчиков на конференциях и симпозиумах, его опасались и просто перестали приглашать. Но кто был готов ответить на вопрос, является ли рефлексия видом деятельности, или на вопрос: а можно ли рассматривать деятельность как процесс? За этими вопросами всегда чувствовалось какое-то серьезное содержание, и докладчик терялся, не желая попасть впросак. Интересно было бы выделить такого рода вопросы из его работ и опубликовать отдельным списком под заголовком «Проблемы Щедровицкого».

3. Проблема Фердинанда де Соссюра

Но одна из главных проблем, которую он ставил и которая, как я полагаю, является основной для всех гуманитарных наук, – это проблема способа бытия изучаемых объектов. Наиболее четко эта проблема сформулирована в его работах применительно к знаку, применительно к языку и речи. Приведем соответствующий текст из статьи 1967 года:

Знак как таковой существует лишь постольку, поскольку существует понимающее его сознание и обеспечивающие это понимание системы культурных средств. Но, сказав это, мы фактически оказываемся приведенными к вопросу, что же представляет

собой это существование знака. Как правило, мы стремимся мыслить его по аналогии с существованием других вещей нашего обихода – столов и стульев, хотя уже достаточно очевидно, что знак имеет какое-то принципиально иное существование – в деятельности, социальное, собственно знаковое. Эти формы существования мы и должны прежде всего определить, причем определить в категориальном плане, чтобы иметь возможность обсуждать, что такое знак, знаковая система и речь-знак как знаковая система. Формулируя это в виде собственно научных задач, мы должны сказать, что нужно определить *вид и форму существования знака как объекта принципиально нового, особого типа и найти особые графические средства для изображения и моделирования особой сущности таких объектов.*¹²

Я думаю, что все предыдущие вопросы, которые уже всплывали в нашем обсуждении, упираются в эту глобальную проблему способа бытия объектов гуманитарного исследования. Это и проблема категориальной природы деятельности (это вещь, процесс, структура?), и проблема природы знания (а может ли оно быть объектом оперирования?), и проблема рефлексии, и проблема работы с числами (а с чем собственно мы оперируем?). Строго говоря, в постановке этой проблемы Щедровицкий не оригинален. Применительно к языку эту проблему достаточно остро сформулировал великий лингвист Фердинанд де Соссюр. Он впервые обратил внимание на то, что язык совершенно не похож на те объекты, которые до сих пор изучали естественные науки. «Мы глубоко убеждены, – писал он, – что любой, кто вступает в область языка, должен сказать себе, что все возможные аналогии с земными и небесными явлениями надо отбросить»¹³. Специфика языка состоит прежде всего в том, что у него нет субстанции, нет субстрата. Вот несколько отрывков из заметок Соссюра. «Языковая деятельность нигде не проявляется в виде ... субстанции, а только в виде комбинированных или изолированных действий»¹⁴. «Любой языковой факт представляет собой отношение, в нем нет ничего, кроме

¹² Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. С. 542.

¹³ Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М., 1990. С. 102.

¹⁴ Там же. С. 106.

отношения. ... У языковых сущностей нет никакого субстрата¹⁵. И действительно, мы уже видели, что слово или предложение могут быть представлены в материале, который бесконечно варьирует, что слово нельзя подержать в руках. При этом любое из его переходящих материальных воплощений никак не объясняет, не обуславливает его знаковой природы.

Нам представляется, что Соссюр не дал окончательного и достаточно развернутого решения поставленной им проблемы, хотя в его текстах можно найти отдельные высказывания, которые, казалось бы, прямо к такому решению ведут. Общепринятого представления о способе бытия семиотических объектов нет до сих пор. Нам известны три попытки решить указанную проблему. Первая состоит в том, что наши понятия, знания, литературные произведения – это определенные состояния нервных клеток, или определенные физико-химические процессы в мозгу. Такой точки зрения придерживается Т. Котарбинский¹⁶ и ряд лингвистов. Так, например, У.Л. Чейф пишет: «Что же касается понятий, то они находятся глубоко внутри нервной системы человека. Можно предположить, что они обладают какой-то физической, электро-химической природой, но пока мы не в состоянии прямым образом использовать этот факт в лингвистических целях»¹⁷. Итак, если Соссюр отрицал наличие какой-либо языковой субстанции, то у Чейфа она налицо в виде физических или электрохимических процессов в нашем мозгу. Неясно только, почему эти процессы настолько согласованы, что можно говорить об одних и тех же понятиях у разных носителей языка? Не означает ли это, что существует какой-то социальный механизм, обеспечивающий эту согласованность? А может быть, этот механизм и есть язык? Такого вопроса Чейф не ставит.

Вторая точка зрения принадлежит К. Попперу, и она достаточно известна. Знание, с точки зрения Поппера, – это диспозиция текста, состоящая в том, что текст может быть понят. Но чем обусловлена эта диспозиция текста? Почему один текст мы понимаем, а другой, написанный на чужом языке, нет? Связано это с состоянием наших нервных клеток или существует какой-то социальный механизм понимания? Этот вопрос Поппер не рассматривает.

¹⁵ Там же. С. 197.

¹⁶ Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. М., 1975.

¹⁷ Чейф У.Л. Значение и структура языка. М., 1975. С. 92.

И, наконец, третья точка зрения принадлежит американским филологам Р. Уэллеку и О. Уоррену. Говоря о способе бытия литературного произведения, они рассматривают его как стратифицированную систему норм. «Таким образом, – пишут они, – поэзия должна быть рассмотрена как совокупность некоторых норм, связанных отношением структуры и лишь частично раскрывающихся в непосредственном опыте ее многочисленных читателей»¹⁸. Нам представляется, что это очень верный и многообещающий ход мысли, но авторы почему-то останавливаются на полпути. Чуть дальше они признают, что «понимание литературного произведения как стратифицированной системы норм оставляет открытым вопрос о том, каков же способ бытия этой системы»¹⁹.

Можно ли сказать, что Щедровицкий дал собственное решение обсуждаемой проблемы? Я такого решения у него не встречал, точнее, не встречал такого решения, которое меня бы удовлетворило. Однако в уже цитированной статье им представлена развернутая программа рассмотрения вопроса. Вот эта программа.

По традиции систему знаков понимают обычно как конструктивную организацию из отдельных знаков, иными словами, знаковая система в современном смысле – это совокупность знаков-атомов. В противоположность этому мы считаем, что определить знаковую систему значит задать всю ту совокупность отношений и связей внутри человеческой деятельности, которые превращают ее, с одной стороны, в особую «организованность» внутри деятельности, а с другой стороны – в органическую целостность и особый организм внутри социального целого.... Иными словами, главное в исследовании знаковых систем – не «внутренние» связи между знаками, а «внешние» связи знаковой системы с другими составляющими социального целого. Уже затем «внутренние» связи должны быть введены в соответствии с «внешними». В этом плане знаковая система должна рассматриваться как удовлетворяющая (1) теоретико-деятельностному принципу структурного противопоставления средств, процессов и продуктов, (2) социологическому принципу струк-

¹⁸ Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. М., 1978. С. 164.

¹⁹ Там же. С. 167.

турного противопоставления «нормы» и «социального объекта» как реализации нормы, (3) социально-психологическому принципу формирования сознания индивидов путем усвоения средств и норм культуры.²⁰

Тут сказано очень многое: знаковая система не состоит из знаков-атомов, внутренние связи определяются внешними, важно учитывать противопоставление нормы и реализации. Фактически уже звучит тезис, согласно которому все социальные объекты есть реализация некоторых социальных норм. К этому, я думаю, Щедровицкий приходит совершенно независимо от Уэллека и Уоррена. А дальше следует еще один очень важный шаг:

Специальные исследования по семиотике показывают, что ни знак как таковой, ни знаковые системы не могут быть поняты вне анализа социальной человеческой деятельности и механизмов ее воспроизводства.²¹

И в том же году в статье, написанной совместно с В.А. Лефевром и Э.Г. Юдиным «Естественное» и «искусственное» в семиотических системах» читаем следующее:

Рассмотрим простейший случай, когда восстановление составляющих какой-то социально-производственной структуры... происходит без введения каких-либо специальных средств трансляции и образцом, или «нормой», для составляющих каждой последующей единицы являются составляющие предшествующей.²²

Ну разве здесь уже не решен вопрос о способе бытия социальных норм, вопрос, перед которым остановились Уэллек и Уоррен? Увы, но Георгий Петрович тоже останавливается и не идет дальше. Решения проблемы не состоялось, хотя, как мне кажется, это решение здесь почти рядом. Что же произошло? Для меня это тоже загадка, одна из загадок Щедровицкого.

²⁰ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 543.

²¹ Там же. С. 542.

²² Там же. С. 50–51.

Напрашивается мысль, что для него главным всегда была именно проблематизация и конструирование программ исследования. Георгий Петрович был методологом до мозга костей, методологии он придавал огромное значение, рассматривая ее как особую формуляцию мышления. Вот что он писал о методологии в 1981 году:

Суть методологической работы не столько в познании, сколько *в создании методик и проектов*, она не только отражает, но также и в большей мере создает, творит заново, в том числе – через конструкцию и проект. И этим же определяется основная функция методологии: она обслуживает весь универсум человеческой деятельности прежде всего *проектами и предписаниями*. Но из этого следует также, что основные продукты методологической работы – конструкции, проекты, нормы, методические предписания и т.п. – не могут проверяться и никогда не проверяются на истинность. Они проверяются лишь на реализуемость. Здесь положение такое же, как в любом виде инженерии или архитектурного проектирования.²³

Увы, но сам Георгий Петрович чаще всего не проверял свои проекты указанным способом. Свою конечную задачу он, вероятно, видел именно в методологическом проектировании, включая и проектирование самой методологии. Однажды я упрекнул его в том, что он сам не реализует своих собственных программ. «Да, – согласился он. – Вероятно, я сам сделал бы это лучше, но я предпочитаю давать работу другим». Но однажды, сидя рядом со мной на заключительном банкете после симпозиума по кибернетике в Тбилиси и глядя на набитый людьми ресторанный зал, он сказал с горечью: «Мы, методологи, им не нужны, они все сделают сами, потому что их много и у них много времени». И я сразу представил себе многотысячную тучу комаров, которые беспорядочно бьются о полог моей палатки, и кто-то из них все же натывается на маленькую щель.

Щедровицкий был неутомимым охотником за тайной, он задавал интересные вопросы, формулировал проблемы, строил исследовательские проекты, и все же при чтении его работ, несомненно, интересных, возникает ощущение трагичности этой жизни, ибо

²³ Там же. С. 95.

тайна так и осталась тайной. Впрочем, это трагедия любого подлинного ученого. И хочется назвать статью «Трагедия нерешенных проблем».

4. Трудность последнего шага

Но вернемся к проблеме способа бытия семиотических объектов, ибо очень многое в работах Щедровицкого можно понять и оценить только в свете решения этой проблемы. Для этого, разумеется, я сам должен какое-то решение иметь. Я могу его предложить, но я далеко не уверен, что Георгий Петрович, будь он сейчас моим собеседником, признал бы мою концепцию. Существует такая возможность, что я буду оценивать его работы с позиций, которые сам он считал ошибочными. Это как раз та трудность, о которой я уже писал в начале статьи. Социум пока не решил этой проблемы. Мое предложение – это еще не факт истории.

Кстати, это вообще глобальная проблема историко-научного исследования. Историк науки оценивает прошлое, опираясь на современные представления. И чем дальше он отстоит от этого прошлого, тем больше у него уверенности, что он владеет истиной. Но это почти всегда иллюзия, ибо наши знания развиваются. Получается так, что историю, как отмечал Вернадский, надо переписывать с каждым новым открытием. История при таком подходе всегда иллюзорна, она есть интерпретация прошлого с точки зрения современного ученого. Я не буду здесь обсуждать эту проблему. Важно понимать, что я нахожусь в еще более сомнительном положении, ибо оцениваю работы Щедровицкого не с позиций устоявшихся точек зрения, которые, вероятно, предложит нам будущее, а со своих субъективных позиций. И тем не менее у меня нет другого выхода, нет других средств, ибо в противном случае я мог бы просто переизлагать Георгия Петровича возможно ближе к тексту, что просто не имеет смысла, ибо в таком случае всегда лучше читать самого автора.

Как мы уже видели, Щедровицкий подчеркивает, что решение проблемы способа бытия знаков и знаковых систем предполагает анализ механизмов воспроизведения социума. Это очень важное и принципиальное утверждение. Он же предлагает рассмотреть про-

стейший случай такого воспроизведения, когда еще нет никаких специальных средств трансляции и «образцом, или «нормой», для составляющих каждой последующей единицы являются составляющие предшествующей». Иными словами, воспроизведение социального поведения или социальной деятельности осуществляется в этом случае по непосредственным образцам такого поведения или деятельности. Остается только зафиксировать, что такое воспроизведение непосредственных образцов – это и есть базовый механизм социальной памяти. Шаг совершенно элементарный, и если Щедровицкий его не делает, то только потому, что его в указанной выше статье, да и в других работах интересует совсем другое. Его интересует прежде всего генетическое разворачивание и усложнение структур деятельности. Но ведь нужно еще понять, что такое деятельность. Об этом, кстати, неоднократно писал сам Георгий Петрович.

Посмотрим, куда мы придем, если попытаемся более детально исследовать элементарный механизм социальной памяти. Прежде всего нам нужен соответствующий термин. Будем трансляцию поведения или деятельности путем воспроизведения непосредственных образцов называть социальной эстафетой²⁴. Но что собой представляет сам акт воспроизведения образца? В социологии уже очень давно писали о подражании и о его роли в социуме. Вспомним хотя бы французского социолога Габриеля Тарда. Писали об этом и лингвисты, полагая, что ребенок усваивает язык, подражая взрослым. Где-то во второй половине минувшего века стало формироваться мнение, что ребенок подражать не умеет. Прежде всего об этом писали психолингвисты, базируясь на опытных данных. Но помимо опыта в пользу этого тезиса говорят и чисто теоретические соображения. Дело в том, что все на все похоже по тем или иным параметрам. Поэтому однозначное воспроизведение образца, который вам демонстрируют, в принципе невозможно, если, разумеется, мы предполагаем отсутствие других средств.

Как же тогда быть с воспроизведением образцов? Тут, как мне представляется, мы должны сделать следующий принципиальный шаг. Мы должны допустить, что отдельно взятый образец не определяет никакого четкого множества возможных реализаций, т.е.,

²⁴ Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996. С. 85–95.

строго говоря, и не является образцом. Образцом он становится только в контексте других образцов. Это сложный вопрос, и я ограничусь здесь только двумя примерами.

1. Допустим, вы указываете маленькому ребенку на некоторый предмет и произносите слово «яблоко». Опыт показывает, что после этого он может назвать словом «яблоко» (или по-детски – «обоко») зеленый карандаш или яйцо. Он при этом совершенно прав, ибо все эти предметы действительно похожи на яблоко. Что же происходит в дальнейшем? Во-первых, появляются другие образцы номинации, связанные с такими словами, как «карандаш», «яйцо», «зеленый» и т.д. Эти образцы ограничивают поле использования слова «яблоко». Во-вторых, наряду с образцами номинации, появляются образцы практического использования всех этих предметов, которые тоже приводят к их спецификации. Очевидно, что зеленый карандаш непригоден для яичницы, а яйцом нельзя рисовать.

2. Теперь представьте себе, что некто осуществляет на ваших глазах определенную деятельность и вы хотите ее воспроизвести. Легко обнаружить, что это невозможно. Дело в том, что деятельность – это целенаправленный акт, а перед вами только набор каких-то операций с каким-то набором предметов. Вам надо выделить в этом наборе объект, средства, продукт. Будем называть это поляризацией образца. Образец надо поляризовать, но это всегда можно сделать различным образом. Положение может спасти наличие других образцов, например, образцов, в рамках которых наши акции как-то обеспечивают друг друга и какая-то последующая акция невозможна без предыдущей. Допустим, человек заходит в магазин и покупает пачку сигарет. Какова была его цель? Были ему нужны сигареты или он хотел разменять крупную купюру? Если это и можно выяснить, то только в контексте предыдущих и последующих действий. Мы, разумеется, предполагаем, что никаких других средств трансляции у нас нет, и мы не можем просто спросить: «Что ты делаешь?».

На этом последнем примере стоит специально остановиться, так как он тесно связан с проблемой, которую Георгий Петрович обсуждает в начале своих воспоминаний. Как установить, живет ли человек интересами науки или делает карьеру? До поры до времени два научных работника могут реализовывать в принципе очень сходное поведение, преследуя при этом разные цели. Они могут

воспроизводить одни и те же образцы, но в условиях разной их поляризации. По этому поводу известные социологи науки Гилберт и Малкей пишут следующее: «Присутствие при оригинальном научном эксперименте и непосредственное наблюдение за ним – вовсе еще не гарантия безоговорочно точной характеристики данного действия. Ведь социальная подоплека лабораторной работы постоянно меняется в связи с тем, что ученые взаимодействуют в различных ситуациях и потому дают различные языковые толкования своих первоначальных действий»²⁵. А на следующей странице авторы делают очень интересный вывод: «... Социальный мир не состоит из дискретных одномерных действий, которые могут быть более или менее точно описаны. ... Мы мыслим социальный мир в терминах неопределенных рядов потенциально возможных языковых формул, которые могут быть реализованы многими сильно различающимися способами и к тому же постоянно переформулируются в ходе непрерывного интерпретационного процесса...».

Вывод звучит несколько парадоксально, т.к. естественно возникает вопрос: а что, интерпретация наших действий чисто произвольна или она имеет под собой какие-то объективные основания? Авторы говорят о потенциально возможных языковых формулах, но чем тогда заданы границы этой потенции? А может быть, социальный мир следует мыслить прежде всего как набор связанных друг с другом образцов, как сложную эстафетную структуру? Имеется в виду, конечно, не история, не традиция, а эстафетная структура в данном временном срезе. Для авторов, однако, просто не существует этой реальности. Они говорят, правда, о взаимодействии ученых в разных ситуациях, но ведь и это взаимодействие не произвольно, а социально запрограммировано.

Странным образом Щедровицкий тоже не замечает этой реальности, реальности эстафет, хотя, казалось бы, все время на нее наталкивается. Например, характеризуя трудности и парадоксы в работе лингвистов, он пишет:

Реальные акты речи объяснялись наличием соответствующих средств языка у индивидов, появление этих средств можно было объяснить только усвоением их, а это в свою очередь влекло за со-

²⁵ Гилберт Дж. Н., Малкей М. Открывая ящик Пандоры. М., 1987. С. 21.

бой вопрос: где же и в чем существуют эти средства как содержания усвоения. Если отвечали, что они существуют в речевых текстах, т.е. в продуктах деятельности, то круг замыкался, а если признавали существование системы языка помимо и вне продуктов речевой деятельности, то вставала проблема объяснить ее объективное существование...²⁶

А действительно ли круг обязательно замыкался? Он замыкался, если предполагалось, что «содержания усвоения» должны существовать в виде вербализованных правил, но ведь они существуют и на уровне образцов. В языкознании давно бытует точка зрения, что ребенок усваивает язык путем подражания²⁷. Кстати, речевые тексты в функции образцов тоже могут быть продуктами деятельности. Одна и та же фраза в разных ситуациях может быть произнесена и с целью передачи некоторой информации и с целью демонстрации образца речи. Но тут же напрашивается решение! Вот уж, действительно, последний шаг – он трудный самый.

Но вернемся к концепции социальных эстафет. Общий вывод такой: способность воспроизводить образцы деятельности не принадлежит индивиду самому по себе, это его социальное «свойство». В такой же степени отдельно взятых эстафет не существует, существуют только достаточно сложные эстафетные структуры. И при этом связи «образец → реализация», т.е. связи как бы внутри эстафеты, определяются эстафетной структурой, всем универсумом других образцов, т.е. «внешними» связями. Щедровицкий прав: «главное в исследовании знаковых систем – не «внутренние» связи между знаками, а «внешние» связи знаковой системы с другими составляющими социального целого». Это очень принципиальное утверждение, мне представляется, что это зародыш совершенно нового мировосприятия. Впрочем, еще раньше об этом писал Ф. де Соссюр: «По мере того, как мы углубляемся в предмет изучения лингвистики, мы все больше убеждаемся в справедливости утверждения, которое, признаться, дает нам богатейшую пищу для размышления: в области лингвистики

²⁶ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 234–235.

²⁷ См.: Блумфилд Л. Язык. М., 1968. С. 44–46.

связь, которую мы устанавливаем между объектами, предшествует *самим этим объектам* и служит их определению»²⁸. Э. Бенвенист пишет по поводу этого высказывания Соссюра: «Это кажущееся парадоксальным положение способно удивить еще и теперь. Некоторые лингвисты упрекают Соссюра за то, что он любит подчеркивать парадоксы в функционировании языка. Но язык и есть как раз самое парадоксальное в мире, и жаль тех, кто этого не видит»²⁹. Да, отдельно взятый образец не существует, но становится таковым, т.е. образцом в процессе его воспроизведения и в окружении других образцов. Целое выступает здесь как нечто первичное по отношению к своим элементам.

Социальные эстафеты и эстафетные структуры – это некоторая новая реальность, которая фактически еще никем не исследовалась. Что же она собой представляет? Есть ли в мире науки нечто аналогичное? Мне представляется, что социальная эстафета очень похожа на волну. Вот бежит по поверхности озера одиночная волна, и она все время новая по материалу, она захватывает все новые и новые частицы воды, заставляет их колебаться определенным образом и оставляет позади себя. Так и социальная эстафета реализуется на все новом и новом материале, захватывая в сферу своего действия все новых людей и определяя характер их поведения. Меняется все: люди, объекты оперирования, средства. Будем называть такие волноподобные объекты социальными куматоидами (от греческого *kuma* – волна). Социальная эстафета – это элементарный куматоид. Но к числу куматоидов можно отнести и многие, если не все, социальные явления: университет, наука, президент США и т.д. Любой знак, знание, речевая деятельность и деятельность вообще – это социальные куматоиды. Утверждения такого типа имеют примерно такую же методологическую значимость, как и утверждение, что свет – это электромагнитная волна. Мне представляется, что, вводя представление о социальных куматоидах, мы решаем тем самым проблему способа бытия объектов гуманитарного знания и более того – открываем новую «волновую» эпоху в развитии гуманитарных наук.

²⁸ Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М. 1990. С. 109–110.

²⁹ Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 56.

И опять-таки неясно, почему Щедровицкий не сделал этого последнего шага и не ввел представления о социальных «волнах». Вот что он пишет о деятельности:

Итак, мы сталкиваемся с тем, что есть поток деятельности, что деятельность сама по себе есть субстанция, целостность и универсум, что она течет через множество поколений, распределяясь между отдельными индивидами. Причем, это не просто индивиды, это люди и машины, и все это вместе образует единую материю, на которой паразитирует деятельность.³⁰

Ну, почему у него, физика по образованию, не возникла мысль, что деятельность – это вовсе не субстанция, а социальная «волна», которая бежит «через множество поколений, распределяясь между отдельными индивидами»? Может быть, потому, что он напряженно искал именно субстанцию, субстанцию языка, об отсутствии которой панически писал Соссюр, субстанцию мышления. В лекциях, прочитанных в 1988 году, Щедровицкий пишет, ссылаясь на Маркса:

Мне очень нравится переворот, который осуществил Маркс. Он сказал: кроме природы в мире есть еще деятельность и мышление. <...> И главное в мире – это не природа, а деятельность и мышление. Вот такой тезис, который мне очень нравится и кажется прорывом в будущее.³¹

А через год опять-таки в лекциях он выражается еще более определенно:

Мышление есть особая субстанция, которая может и должна существовать отдельно и независимо от субстанции материи.³²

Или чуть раньше:

Итак, положена особая субстанция – мышление. Теперь нужно задать статус этой субстанции, ответить на вопрос, как она

³⁰ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 257.

³¹ Там же. С. 519.

³² Там же. С. 13.

существует и каково пространство, в котором она, эта субстанция мышления, существует. Но ведь, по сути дела, ответ на этот вопрос означает задание другого представления о мире и о реальности, поскольку, если теперь мы говорим, что мышление есть реальность и другой мир, мы должны ответить, какой. Не натуральный – это понятно. А какой же? И приходится отвечать, что это – мир социокультурный, мир исторический.³³

5. Щедровицкий и Маркс

Не исключено, что этот поиск субстанции обусловлен традициями марксизма, в рамках которых Георгий Петрович работал и на которые постоянно ссылался. Маркс искал социальную субстанцию стоимости, Щедровицкий – субстанцию языка и мышления. Вообще традиции марксизма определяют многое в исходных установках Щедровицкого, и на этом стоит специально остановиться. При этом он ни в коем случае не относился к «марксидам» (термин Герцена), т.е. к слепым и догматичным начетчикам. Но он считал Маркса великим мыслителем, с чем и я, безусловно, согласен, и опирался на Маркса в своих поисках. В его работах четко просматриваются, по крайней мере, пять принципов марксизма. Мне хочется их перечислить с некоторыми краткими комментариями, с целью показать, что здесь, по меньшей мере, далеко не все ясно.

1. Первое – это установка на поиск социальной субстанции, о чем мы уже говорили. Перед нами здесь интересная и сложная проблема. Она, конечно, требует специального рассмотрения, но я не могу не сказать по ее поводу хотя бы несколько слов. Традиционно мы полагаем, что мир состоит из вещей, обладающих свойствами и вступающих друг с другом в определенные отношения или взаимодействия. При этом свойства и отношения обусловлены материалом вещи, ее составом и строением. Свойства атрибутивны, т.е. являются атрибутом некоторого материала, некоторой субстанции. Это – традиционное мировосприятие, традиционная

³³ Там же. С. 11–12.

онтология, которая, как мне представляется, сейчас уже не выдерживает критики. А критика слышится со всех сторон, и в том числе со стороны лингвистов.

Маркс занимал здесь странную и загадочную позицию. С одной стороны, он утверждал, что сущность человека – не есть нечто присущее отдельному индивиду, а представляет собой совокупность общественных отношений. Иными словами, существенные характеристики человека вовсе не являются его атрибутами. Эту идею, как мы увидим, всячески подчеркивает и развивает Щедровицкий. Но, с другой стороны, Маркс ищет субстанцию стоимости и утверждает, что стоимость – это кристаллизованный в товаре труд, общественно необходимый для его производства. Это очень странное утверждение, ибо никто еще не наблюдал такого явления, как кристаллизация труда. Это можно понимать только как некоторую метафору, но на этой метафоре построен весь «Капитал». Это тем более странно, что Маркс тут же утверждает, что стоимость – это общественное отношение, и разоблачает так называемый товарный фетишизм. Возникает естественный вопрос: зачем понадобилась Марксу эта мистификация с кристаллизацией труда? Побеждает здесь некоторое традиционное мировосприятие или перед нами методический прием, позволяющий сохранить традиционную логику изложения? Честно признаю, что я не знаю ответа на этот вопрос. Для меня это – загадка Маркса.

Но не менее загадочен и Георгий Петрович с его утверждением о субстанциональности деятельности и мышления. Зачем ему, тонкому мастеру категоризации, понадобилась здесь устаревшая категория субстанции? Это тем более странно в свете приведенного выше утверждения, что

главное в исследовании знаковых систем – не «внутренние» связи между знаками, а «внешние» связи знаковой системы с другими составляющими социального целого.

Здесь потенциально уже содержится отрицание традиционной нашей диалектики с ее ориентацией на внутренние противоречия, с приматом внутреннего над внешним, содержания над формой, необходимости над случайностью... Все это – онтология

XIX века, которую, однако, не так-то просто преодолеть. Преодолевает ли ее Георгий Петрович? И да и нет. Примерно так же, как и сам Маркс.

2. Второе – это понимание социальной природы человека и человеческого познания. Приведем отрывок из лекций Щедровицкого 1981 года:

Когда в домарксистской науке описывали человеческую работу, то рисовали этакое «Робинзона», одного человечка, и говорили, что человек действует, человек относится к природе, человек познает мир и т.д. Это все был один человечек. И отсюда у Маркса карикатура: он называл предшествующие исследования «робинзонадами», где Робинзон попадает на необитаемый остров и соотносится с природой.

Но хотя Маркс смеялся над этим в 50-е годы прошлого века, подавляющее большинство наук и до сих пор в качестве основной модели оставляет этого одного человечка, который действует, ставит цели, познает мир и т.д. То, что человек действует всегда в коллективе, всегда в определенной сложной организации, по-настоящему в науки не проникло, только-только начинает осознаваться. Поэтому за всем этим стоят сложные проблемы.³⁴

А что же такое человек в рамках изложенных представлений?

На этот вопрос, – говорит Щедровицкий, – мы должны сначала ответить странным и парадоксальным образом: человек есть ячейка внутри развивающейся системы деятельности. Это именно «место», к которому привязаны определенные функции нашего целого и некоторые виды деятельности.³⁵

А каким это образом функции или виды деятельности «привязаны» к социальному месту? Как расшифровать эту метафору? Не правильнее ли будет сказать, что человек действует в рамках оп-

³⁴ Щедровицкий Г.П. Организация руководство, управление. Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология. Курс лекций. Из архива Г.П. Щедровицкого Т. 4. М., 2000. С. 119.

³⁵ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 256.

ределенной эстафетной структуры, реализуя определенные образцы, что, точнее, именно эта эстафетная структура и делает его человеком? Это не противоречит тому, что уже сказано, но вскрывает плюс к этому механизм происходящего. И опять неясно, почему Георгий Петрович не пытается выяснить природу той связи, которую он декларирует.

В лекциях 1989 года Щедровицкий ставит вопрос о творчестве.

Принадлежит ли оно индивиду, – пишет он, – или оно принадлежит функциональному месту в человеческой организации и структуре? Я на этот вопрос отвечаю очень жестко: конечно, не индивиду, а функциональному месту! ... Я продолжаю эту мысль и говорю: с моей точки зрения, способность читать и писать, способность мыслить или, наоборот, не мыслить, переживать или не переживать, иметь нравственность или не иметь оной и жить без нее припеваючи – все это определяется принадлежностью к тому или иному функциональному месту в социальных структурах.³⁶

Это действительно очень жесткое заявление, и оно, как мне кажется, очень характерно для Щедровицкого как мыслителя. Я имею в виду не содержание, а именно жесткость и безапелляционность формулировки, способность доводить каждую мысль до конца. В отличие от огромного количества авторов, которые так старательно прячут свою мысль, что и придаться не к чему, он выражался резко и четко, не боясь подставить себя под удар. Это тоже признак подлинного ученого.

И поэтому я говорю: в науке, в философии нет разницы между истинным путем или ложным. Важно в жизни не мельтешить. Выбрал путь – иди до конца и не сгибайся. А что у тебя получится в результате – человечество проверит.³⁷

Четкая и мужественная установка. Но это тоже марксизм: все в конечном итоге определяет общечеловеческая практика.

³⁶ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 10.

³⁷ Там же. С. 15.

Что же касается творчества, то жесткий тезис Щедровицкого естественно вызывает возражения или, по крайней мере, вопрос: не является ли все-таки носителем творчества не функциональное место, а личность?

А личность, – согласно Щедровицкому, – это когда человек-индивид отвоевывает себе право не подчиняться законам места и бродить в этой социальной структуре.³⁸

Прямо скажу, я не встречал более интересного и перспективного понимания личности. Но разве творчество не связано с тем, что человек выходит за рамки тех программ, которые навязаны ему «местом», за рамки парадигмы и начинает комбинировать разные социальные программы?

3. Следующий принцип – это знаменитый первый тезис Маркса о Фейербахе, который неоднократно цитируется в работах Георгия Петровича и который, несомненно, определил основные черты развиваемой им теоретико-деятельностной методологии. Щедровицкий постоянно противопоставляет друг другу «принцип натурализма» и «принцип деятельности».

Натуралистическая точка зрения, – пишет он, – может быть определена прежде всего как предположение и убеждение, что человеку противостоят независимые от деятельности объекты природы; как таковые они вступают в те или иные отношения с человеком, взаимодействуют с ним, влияют на него и, благодаря этим взаимодействиям и влияниям, через них, *даны человеку*.³⁹

В противоположность этому

деятельностная точка зрения ... может быть определена прежде всего как предположение и убеждение, что все «вещи» или «предметы» даны человеку *через деятельность*, что их определенность как «предметов» обусловлена в первую очередь ха-

³⁸ Там же. С. 10.

³⁹ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 278.

рактором человеческой социальной деятельности, ... что, говоря об их *действительном существовании*, мы должны иметь в виду прежде всего рамки и контекст человеческой социальной деятельности, ибо все то, что принято называть «вещами», «свойствами», «отношениями» и т.д. лишь временные «сгустки», создаваемые *человеческой деятельностью* на базе захваченного и ассимилируемого ею материала.⁴⁰

Можно ли сказать, что названные два подхода противопоставлены друг другу достаточно четко? Разве Маркс отрицает, что «человеку противостоят независимые от деятельности объекты природы»? Нет, разумеется. Другое дело, что они даны нам не через созерцание, а через деятельность. Мне кажется, что Щедровицкий пытается вложить в тезис Маркса более глубокое содержание, и я здесь с ним солидарен, но в приведенном отрывке все сводится к явной метафоре: «все то, что принято называть «вещами», «свойствами», «отношениями» и т.д. лишь временные «сгустки», создаваемые *человеческой деятельностью*». Это образно, но едва ли с этим можно работать. Это опять-таки скорее постановка проблемы, чем ее решение. Но проблема важная и интересная, и я пока не знаю никаких попыток ее решения.

Интересны в плане развития сформулированного тезиса работы Щедровицкого, посвященные анализу системного подхода и понятию системы. Традиционно систему характеризуют как некоторую целостность, в которой можно выделить составные части, связанные друг с другом.

За этим определением, – пишет Щедровицкий, – мы как бы непосредственно «видим» объект, составленный из элементов и связей между ними; то, что мы «видим», и есть онтологическая картина системного подхода. Но сама эта картина снимает, как бы «свертывает» в себе все те процедуры и способы оперирования, которые мы применяем на разных уровнях познания, воспроизводящего те или иные объекты в виде систем.⁴¹

⁴⁰ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 279.

⁴¹ Там же. С. 228.

В частности, например, это процедуры разложения объекта на части и объединения частей в целое, процедуры выявления свойств целого и частей...

Все это не очень понятно. Я лично не могу отделаться от следующих навязчивых вопросов. Во-первых, что означает «как бы непосредственно видеть»? Если это отсылка к моему ментальному состоянию, то мне трудно точно установить, действительно ли я как бы что-то «вижу». Во-вторых, что означает выражение «как бы «свертывает» в себе»? В чем состоит механизм перехода от описания процедур к онтологической картине? Думаю, что использование выражения «как бы» свидетельствует, что автор и сам не смог бы ответить на эти вопросы и этого вовсе не скрывал. Правда, может быть, некоторый свет на акт онтологизации могут пролить рассуждения Щедровицкого о специфике научных знаний, но это уже специальная тема для обсуждения.

Хочется подчеркнуть, что Щедровицкий вслед за Марксом очень любит метафоры. И при этом их метафоры очень сходны. Маркс пишет о кристаллизации труда в товаре, Георгий Петрович – о «сгустках» деятельности, о «свертывании» процедур и способов оперирования в онтологической картине. Ну, чем не кристаллизация?

4. Четвертый принцип, на который многократно ссылается Георгий Петрович, – это принцип, или метод, восхождения от абстрактного к конкретному. Вот что он пишет по поводу исследований в области дизайна:

Таким образом, основным методом исследования дизайна и разработки его теоретической картины является метод восхождения от абстрактного к конкретному, введенный в науку К. Марксом: сначала мы строим простейшие модели, учитывающие только часть связей, глубинных и лежащих как бы в генетическом основании всего социального организма, а затем, на базе этого, развертываем более сложную модель, сначала включающую в себя первую модель как часть, а затем перестраивающие ее как элемент более сложной системы организма.⁴²

⁴² Там же. С. 324-325.

Последовательное разворачивание схем деятельности, которое мы встречаем в работах Щедровицкого, а также построение так называемой содержательно-генетической логики, начиная с простейшего акта распознавания, – все это примеры «восхождения от абстрактного к конкретному».

К сожалению, последние годы у нас не было работ, посвященных непредубежденному анализу этого метода. А это важно хотя бы потому, что у нас целые поколения росли на базе марксизма и было бы ошибкой просто забыть об этом и переключиться на перепевы западной литературы. Именно здесь я брал бы пример с Георгия Петровича, который в своей работе постоянно анализировал пройденный им путь, выявляя причины и основания отказа от тех или иных точек зрения. В этом плане очень интересны его доклады и лекции, посвященные истории Московского методологического кружка. Они задают поучительный образец целенаправленного и последовательного научного поиска с постоянным осознанием пройденного пути и возникающих трудностей. А что сейчас происходит в нашей философии? Каждый топчется на своем месте, решая собственные задачи, и нет никакого осознания общих проблем и общего продвижения к их решению. Так и хочется сказать: нет на вас Щедровицкого!

Что касается метода восхождения, то, не имея возможности анализировать здесь этот вопрос, я приведу все же небольшую выдержку из работ Ю.М. Лотмана, которая хотя бы показывает, что здесь есть проблема, заслуживающая внимания. Оценивая существующие в семиотике подходы, когда за основу при построении модели берется либо отдельный знак, либо акт коммуникации, Лотман пишет: «Такой подход отвечал известному правилу научного мышления: восходить от простого к сложному – и на первом этапе безусловно себя оправдал. Однако в нем таится и опасность: эвристическая целесообразность (удобство анализа) начинает восприниматься как онтологическое свойство объекта, которому приписывается структура, восходящая от простых и четко очерченных атомарных элементов к постепенному их усложнению»⁴³. Обратите внимание, это полностью соответствует точке зрения Щедровицкого о том, что онтологическая картина – это «свернутые» процедуры исследования.

⁴³ Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 11.

На той же странице Лотман продолжает: «Пройденный за последние двадцать пять лет путь семиотических исследований позволяет на многое взглянуть иначе. Как можно теперь предположить, четкие и функционально однозначные системы в реальном функционировании не существуют сами по себе, в изолированном виде. ... Ни одна из них, взятая отдельно, фактически не работоспособна». А как это может быть иначе, если сам Георгий Петрович утверждает, что внешние связи системы определяют ее связи внутренние? Не противоречит ли метод восхождения этому утверждению Георгия Петровича?

5. И, наконец, пятый и последний принцип, который, как мне кажется, существенно определил ценностные установки Щедровицкого, – это последний тезис Маркса о Фейербахе.

...Продукты и результаты методологической работы, – пишет Георгий Петрович, – в своей основной массе – это не знания, проверяемые на истинность, а проекты, проектные схемы и предписания. И это неизбежный вывод, как только мы отказываемся от слишком узкой, чисто познавательной установки, принимаем тезис К. Маркса о революционно-критическом, преобразующем характере человеческой деятельности и начинаем рассматривать наряду с познавательной деятельностью также инженерную, практическую и организационно-управленческую деятельность, которые ни в коем случае не могут быть сведены к получению знаний.⁴⁴

И тут у меня опять много вопросов, и очень жаль, что их уже некому задавать. Во-первых, как мне кажется, предписания – это вид знания, и они вполне допускают проверку на истинность. Конечно, императив типа «закройте дверь» не является ни истинным, ни ложным, но если я говорю: «чтобы избежать сквозняка, надо закрыть дверь», то это утверждение либо истинно, либо ложно. Кроме того, предписания могут приобретать форму знаний. Допустим, мой знакомый спрашивает меня, как ему поступить в сложившейся ситуации, а я в ответ говорю, что я в аналогичной ситуации поступал так-то и так-то. С одной стороны, это, безусловно, знание,

⁴⁴ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 96.

это описание моего поведения в определенной ситуации, но, с другой – это и предписание, ибо я задаю своему знакомому определенный образец, показывающий, как он может действовать.

Во-вторых, любой проект при своем построении нуждается в знаниях. Конечно, как отмечает Георгий Петрович, он прежде всего проверяется на реализуемость, но эта последняя может определяться многими факторами, и в том числе истинностью или ложностью исходных предпосылок. Нельзя реализовать проект двигателя, если этот проект противоречит закону сохранения энергии. С другой стороны, невозможность реализации проектов вечного двигателя доказывает закон сохранения энергии. Я не хочу сказать, что знание и проект – это одно и то же, но они тесно связаны, и их четкое противопоставление друг другу – это далеко не решенный вопрос.

В-третьих, «чисто познавательная установка» – это просто ложная рефлексивная конструкция, которая совершенно не соответствует реальной научной практике. Как отмечал Т. Кун, в науке мы постоянно сталкиваемся с образцами решенных задач, любой курс физики представляет собой в значительной части упорядоченный определенным образом набор таких образцов. А это своеобразная форма предписаний. Кроме того, ученый постоянно строит проекты, например проекты экспериментов, если он экспериментатор. Но и в работе теоретика есть существенный элемент инженерии. Дирак писал: «Если бы не инженерное образование, я, наверное, никогда не добился бы успеха в своей последующей деятельности»⁴⁵. Короче говоря, мне представляется, что резкое и безоговорочное противопоставление знаний и предписаний, познания и инженерии, практики ученого и проектировщика нуждается в большом количестве оговорок.

Щедровицкий, как мне представляется, никаких оговорок не делал, ему, напротив, импонировало резкое противопоставление разных позиций. Помню, где-то в конце 60-х годов мы шли с ним по Морскому проспекту в Городке Сибирского отделения АН, и я задал ему какой-то вопрос о строении науки. «У нас с тобой разные позиции, – сказал он, – ты ученый и тебя интересует то, что есть, а я проектировщик: меня не интересует наука как она есть, меня интересу-

⁴⁵ Дирак П.А.М. Воспоминания о необычайной эпохе. М., 1990. С. 11.

ет, какой она должна быть». Я думаю, эта установка очень существенна для понимания работ, да и всей жизни Г.П. Щедровицкого.

Кстати, резкое противопоставление науки и инженерии сказалось на его понимании того, что такое система. Нельзя не отметить здесь очень интересный ход мысли. Если, имея дело с онтологией, мы можем выявить «свернутые» в ней процедуры, то, вероятно, должен иметь место и обратный переход от процедур к онтологии. Традиционное представление системы связано с тем, что мы исследуем некоторый уже существующий объект, осуществляя процедуры выявления его свойств, процедуры разложения на части и сборки целого из частей, короче, исследуем поведение объекта в разных, создаваемых нами условиях. Но речь идет об изучении уже существующего объекта. А если мы проектируем некоторую систему? Здесь, казалось бы, должны иметь место совсем другие процедуры, а следовательно, нам нужно строить и другую онтологию. В принципе это очень интересно. Но в данном конкретном случае возникает следующий вопрос: а не присутствует ли элемент проектирования и при изучении уже существующих систем? От эмпирических процедур к системному представлению нет прямого пути. Изучив поведение объекта в разных условиях, мы должны обратиться к имеющимся у нас теоретическим представлениям и сконструировать на уровне проекта такую систему, которая осуществляла бы аналогичное поведение. Именно так и происходит в науке. «В каждом способном физике, – писал Г. Бонди, – сидит талантливый инженер»⁴⁶.

6. Что же такое деятельность?

Остановимся в заключение еще на одной проблеме, которая занимает очень существенное место в творчестве Щедровицкого и плюс к этому тесно связана с проблемой способа бытия. Это проблема деятельности и ее категоризации. Георгий Петрович приписывает этой проблеме огромное методологическое значение. Сейчас уже стало ясно, – пишет он в 1975 году, – что все отмеченные выше затруднения языковедения в анализе природы ре-

⁴⁶ Бонди Г. Гипотезы и мифы в физической теории. М., 1972. С. 30.

чи-языка (как и затруднения других наук в анализе иных, но тоже связанных с деятельностью предметов) были отражением более общих трудностей, с которыми столкнулось человеческое мышление, когда оно попыталось проникнуть в тайны деятельности.⁴⁷

Вот вам еще одна тайна, которую почти никто не замечает, кроме Щедровицкого. Как часто мы твердим «деятельность», «деятельность», не видя здесь никакой тайны. А в чем же эта тайна состоит? Да в том, что мы не можем ответить на вопрос об онтологическом статусе этого явления, у нас просто нет соответствующей категоризации.

Предшествующее развитие естественных наук, – пишет Георгий Петрович, – дало нам несколько хорошо разработанных категорий. Среди них самыми привычными и распространенными были категории «вещи», «свойства», и «процесса». Когда начали изучать деятельность, то прежде всего – и это было совершенно естественно – постарались применить именно эти категории. Но результатом было лишь множество парадоксов и затруднений разного рода.⁴⁸

Действительно, почти очевидно, что деятельность – это не вещь. Вещь всегда локализована в пространстве и времени, а где локализована деятельность? Вещь состоит из частей и в каждый момент времени представлена всеми своими частями, а из каких частей состоит деятельность и можно ли эти части пространственно суммировать в одно целое? Так может быть, деятельность – это процесс? Я уверен, что почти все ухватились бы именно за этот вариант ответа. Все мы, не задумываясь, говорим о процессах деятельности. Но вот что пишет по этому поводу Георгий Петрович:

Деятельность, взятая в своей минимальной объективной целостности, выступила как «размытая» во времени: разные ее части и элементы реализуются в разное время, и вместе с тем между

⁴⁷ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 239.

⁴⁸ Там же. С. 239.

ними существуют такие связи и зависимости, которые (благодаря каким-то специфическим механизмам) действуют все это время и объединяют все элементы в одну *целостную структуру*, чего не было в процессах изменения элементарных объектов.⁴⁹

Очень тонкое «наблюдение»! Читая и перечитывая это место, я не перестаю удивляться: как он это заметил? Георгий Петрович обладал удивительной способностью видеть проблему за привычным и тривиальным, способностью очищать предмет от паутины научной пошлости. Ведь и на самом деле в деятельности «благодаря каким-то специфическим механизмам» объединены и процесс, и структура, и синхрония, и диахрония. Скульптор видит в куске мрамора уже готовое произведение и убирает все лишнее, но это значит, что произведение, которое еще не появилось, уже все определяет задолго до своего появления. «Ну и что? – скажут многие, – деятельность – это целенаправленный акт, этим все и объясняется». Да, да, конечно, это сказал еще Маркс, сравнивая пчелу с архитектором, это, вероятно, знали и до Маркса. Так, может быть, закроем проблему, все же ясно? А что же такое деятельность, это процесс или нам нужна какая-то другая категоризация?

Меня не очень устраивает ответ Щедровицкого. В цитируемой статье он начинает с критики традиционного представления деятельности как атрибута отдельного человека.

Работы Гегеля и Маркса, – пишет он, – утвердили рядом с традиционным понятием деятельности другое, значительно более глубокое: согласно ему человеческая социальная деятельность должна рассматриваться не как атрибут отдельного человека, а как *исходная универсальная целостность*, значительно более широкая, чем сами «люди». Не отдельные индивиды тогда создают и производят деятельность, а наоборот: она сама *«захватывает» их и заставляет «вести» себя определенным образом.*⁵⁰

⁴⁹ Там же. С. 240.

⁵⁰ Там же. С. 241.

Прекрасно, но это доказывает только то, что деятельность не есть свойство или атрибут. Однако Георгий Петрович почему-то делает такой вывод:

Деятельность, рассматриваемая таким образом, оказывается системой с многочисленными и весьма разнообразными функциональными и материальными компонентами и связями между ними.⁵¹

Итак, не вещь, не свойство, не процесс, а система? Но ведь и любую вещь можно представить как систему. Нет, и здесь Щедровицкий, как мне кажется, не сделал последнего шага.

Мне кажется, что можно более обоснованно ответить на вопрос об онтологическом статусе деятельности, если сравнить ее с волной, если сказать, что деятельность – это социальная «волна» или куматоид. Об этом я уже писал выше. Думаю, что понятие волны в обобщенном его понимании – это вполне категориальное понятие, и оно может занять свое место в ряду таких категорий как «вещь», «свойство» или «процесс». Специфика «волны» в таком обобщенном понимании, специфика куматоида в том, что он относительно безразличен к материалу, на котором живет, он как бы перемещается по материалу. Но разве не об этом фактически пишет Щедровицкий, утверждая, что

не отдельные индивиды тогда создают и производят деятельность, а наоборот: она сама *«захватывает» их и заставляет «вести» себя определенным образом.*

Любой элементарный акт деятельности, с этой точки зрения, это не просто набор действий, это всегда реализация некоторого образца, т.е. объект типа «образец → реализация». И если реализация представляет собой определенный набор действий, распределенных во времени, то образец – это некоторая предшествующая деятельность, данная нам сразу в виде некой «структуры». Именно поэтому деятельность – это не процесс, как и утверждает Георгий Петрович, но это и не структура, и не система. Деятельность – это куматоид.

⁵¹ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 242.

Таким же образом можно подойти и к противопоставлению языка и речи. Язык – это речь, выступающая в функции образца. «Язык, – писал Соссюр, – это клад, практикой речи отлагаемый во всех, кто принадлежит к одному общественному коллективу, это грамматическая система, виртуально существующая у каждого в мозгу, точнее сказать, у целой совокупности индивидов, ибо язык не существует полностью ни в одном из них, он существует в полной мере лишь в коллективе»⁵². Каждый реализованный текст, устный или письменный, – становится принадлежностью языка, если он функционирует как образец, порождая акты речи. Но я бы не сказал, что этот образец или весь набор образцов существует в отдельной человеческой голове или в коллективе. Образец прежде всего должен демонстрироваться как некоторая объективная данность, т.е. существовать вообще вне человеческих голов. Другое дело, что без последних он не может быть реализован.

Однако, обсуждая все это таким образом, мы вовсе еще не раскрыли тайну деятельности. Рассмотрим еще одну проблему, которая здесь возникает. Строго говоря, тот универсум, который рассматривает Щедровицкий в приведенных выше высказываниях, вовсе не является деятельностью, это скорее суммарная человеческая активность, это социум. Деятельность – это всегда целенаправленный акт, что, как мне представляется, всегда признавал и Георгий Петрович. Деятельность, как я уже отмечал выше, это результат поляризации образцов. Напомню притчу, которую я уже неоднократно использовал в своих работах. На строительстве собора в средневековом городе Шартре спросили трех человек, каждый из которых катил тачку с камнями, что они делают. Первый пробормотал: «Тачку тяжелую качу, пропади она пропадом». Второй сказал: «Зарабатываю хлеб семье». А третий ответил с гордостью: «Я строю Шартрский собор!» Здесь для нас интересно следующее: все участники этой истории реализуют одни и те же операции, все они строят Шартрский собор и все зарабатывают хлеб семье, но они при этом реализуют разную деятельность, ибо различным образом осознают цель своих действий.

А не означает ли это, что деятельность – это феномен рефлексии? И универсум человеческой активности, который как волна за-

⁵² Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 52.

хватывает все новых и новых людей, распределяя их якобы по функциональным местам, порождает самые различные виды деятельности, чаще всего совершенно не соответствующие этим функциональным местам. Не означает ли это, что деятельность – это прерогатива личности? И участники истории с Шартрским собором – это разные личности, хотя они и занимают в социуме одно и то же функциональное место. Но тогда придется строить новый проект построения теории деятельности.

* * *

Щедровицкий оставил нам огромное проблемное поле. С ним можно соглашаться, ему можно возражать, время неминуемо уносит в прошлое его конкретные результаты, но проблемы, которые он ставил и обсуждал, не потеряли своего значения, и он, несомненно, занял свое историческое место в их разработке. Отталкиваясь от его работ, легко двигаться вперед. Даже не соглашаясь с ним, мы невольно обогащаем свое видение предмета. Он был марксист, но то, что он пишет, ссылаясь на Маркса, было у последнего только в зародыше. Я бы сказал, что в ряде пунктов, например, в понимании деятельности, Щедровицкий «открывает» нам Маркса.

Георгий Петрович оставил нам, что, может быть, еще важнее, образец жизни, отданной неутомимому интеллектуальному поиску. Один физик как-то сказал: «Я спрашиваю у своих знакомых гуманитариев, чем они занимаются. Почти каждый отвечает, что пишет монографию. Я спрашиваю, чем он занимается, а он отвечает, что пишет монографию!» У физика это вызывает недоумение, и над этим стоит подумать. Георгий Петрович прежде всего обсуждал проблемы, и именно это было главным в его жизни. И именно поэтому он не оставил нам объемных монографий и не нашел даже времени, чтобы защитить докторскую диссертацию. Для этого надо было остановиться, а он не мог.

У Маркса он заимствовал то положение, что мир следует не только объяснять, но и прежде всего изменять. Это положение определило стиль его мышления, его целевые устремления, определило всю его жизнь, ибо жизнь его – это и есть мышление. Мне ка-

жется, это была трагическая ошибка. Он был методологом, он строил не науку, а проекты наук, а затем он начал строить проекты построения самой методологии. Создается впечатление, что он как бы поднимался по лестнице от проектирования объекта А к проектированию деятельности по проектированию А, а затем к проектированию проектирования деятельности проектирования и т.д. И его работы, к сожалению, становились все более и более абстрактными. Схемы (графические изображения), которые постоянно присутствуют в этих работах, вовсе не преодолевали этой абстрактности, как он, я полагаю, надеялся.

Великий математик Эварист Галуа писал: «Человек, обладающий какой-нибудь идеей, имеет выбор: или иметь в течение своей жизни колоссальную репутацию ученого человека, или же создать себе школу, молчать и оставить большое имя в будущем. Первое имеет место, если пользоваться своей идеей, не высказывая ее; второе – если ее опубликовать. Есть третий способ, средний между обоими другими. Это и публиковать и пользоваться; тогда сделаешься смешным»⁵³. Щедровицкий оставил нам программные идеи, которые сам не реализовал, да и не хотел этого делать. И он, несомненно, оставил после себя школу.

Представьте себе группу людей, которые с трудом пробиваются по большому болоту. И вот летит над болотом сильная птица и кричит: «За мной идите, за мной! Я вижу сухой и высокий берег!» И все идут в указанном направлении, прыгая с кочки на кочку, но много мелких препятствий на этом пути, и приходится часто отступать перед непроходимой топью. Георгий Петрович Щедровицкий видится мне именно такой птицей. Спасибо ему за его программные идеи, но мы, увы, до сих пор в болоте. И долго нам идти, ибо, как писал тот же прозорливый Галуа, «наука есть продукт человеческого разума, более предназначенного к познанию, чем к знанию, более к отысканию, чем к нахождению истины»⁵⁴. И не исключено, что выйдем мы в конце концов совсем на другой и отнюдь не ближайший берег.

⁵³ Галуа Э. Сочинения. М.-Л., 1936. С. 112.

⁵⁴ Там же. С. 108.



**Литвинов
Виктор
Петрович**
(р. 1938)

кандидат филологических наук, профессор кафедры немецкой филологии Пятигорского государственного лингвистического университета.

Окончил Пятигорский государственный педагогический институт иностранных языков (1961).

Область научных интересов – лингвистика, философия и методология лингвистики, методика преподавания иностранных языков, философия и методология образования.

Автор более 100 научных работ, среди которых 6 монографий: Типологический метод в лингвистической семантике (1986); Полилогос: проблемное поле (1997); Метаграмматический трактат (1998); Мышление Ноама Хомского (1999); Resultatireconstructionen im Deutschen (Tubingen, 1988; в соавт.); Diedoppelten Perfektum bildungen in der Deutschen Literatursprachen (Tubingen, 1998; в соавт.).

Живет и работает в Пятигорске.

МЫШЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ ЯЗЫКА В ТРАДИЦИИ Г. П. ЩЕДРОВИЦКОГО

Введение

В мышлении Георгия Щедровицкого вопросы о языке и лингвистике были постоянным беспокоящим мотивом. Это беспокойство отчасти передавалось его ученикам-методологам, но, насколько возможно судить, не передалось методологическому движению, ставшему весьма активным после кончины основоположника.¹ Традиция оказалась «бесхозной». Иначе говоря, живой, воплощенной традиции этого языковедческого мышления просто нет. Но языковеды Щедровицкого читают, – не считая, однако, нужным цитировать и обсуждать его. Существует, таким образом, некоторый вызов, исходящий от Щедровицкого и присутствующий именно как вызов в «невидимом колледже» отечественного языковедения. Каким будет в конечном счете ответ на этот вызов, сказать трудно. Но вызов вполне реален, и тот, кто его принимает, может со своей позиции определять его как «традицию» – условно, но по сути оправданно.

В настоящем очерке читатель не найдет ни детального изложения, ни систематизации всего, что Щедровицкий говорил или писал по языковедческим темам, ни герменевтики его текстов в этих частях. С этим лучше подождать до лучших времен, когда его наследие будет по-настоящему доступно; ведь издание только начато. В данном случае автор видит свою задачу в том, чтобы показать – в одном возможном варианте, – что значит в данном деле принять вызов и развить традицию. Прежде всего следует исключить какую бы то ни было претензию на безусловную адекватность данного текста им-

¹ В дальнейшем, говоря «Щедровицкий», я всякий раз имею в виду Георгия Петровича, а не Льва Петровича или Петра Георгиевича. Говоря «методология», всякий раз подразумеваю системо-мысле-деятельностную (СМД) методологию Г. П. Щедровицкого, не предполагая, конечно, что нет других методологий. Некоторым методологам я обязан углубленным пониманием тех или иных деталей дела, но моим собственным пониманием. Галине Алексеевне Давыдовой бесконечно признателен за умные беседы и верную дружбу.

пульсу, исходящему от философа-методолога. Поэтому автор в дальнейшем выступает как «Я» – то есть я, принявший его вызов.

Мышление Щедровицкого по поводу языка представлено пятью проблемными узлами: 1. Искусственное/естественное и проблема онтологии языка. 2. Порядок языка в свете языковедческой деятельности. 3. Знак, речевая деятельность и текст, условия их мыслимости. 4. Коммуникация как мыслекоммуникация. 5. Языковед и лингвист как культурные роли/функции. Таким образом, я определяю пять тематических фокусов, и в каждой фокальной точке обнаруживается узел проблем, содержательных в мышлении Щедровицкого о языке, безусловно содержательных, если принять его подход.

Хочу оговориться, что не считаю для себя обязательным замыкаться в несколько эзотерическом дискурсе методологического движения. Пишу не для методологов. Схемы не рисую, за одним исключением, где этого не избежать. Пишу без отсылки к конкретным местам конкретных работ во всех случаях, где это допустимо по содержанию.² Из работ Щедровицкого в библиографию включаю только такие, которые опубликованы до конца 2002 года.³

² Общим фоном является следующая литература: Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994; Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. Л., 1929; Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984; Литвинов В.П. Метаграмматический трактат. Пятигорск, 1998; Литвинов В.П. О лингвистическом основании социальных наук // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 1998. № 3. С. 10–14; 1999. № 2. С. 54–58; 1999. № 3. С. 34–37; 1999. № 4. С. 13–18; Литвинов В.П. Мышление Ноама Хомского. Тольятти, 1999; Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII: Теория речевых актов. М., 1986. С. 22–129; Пути к теории иностранного языка / Ред. В.П. Литвинов. Пятигорск, 1992; Apel K.O. Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante bis Vico. Bonn: Bouvier, 1963; Benveniste E. La forme et le sens dans le langage // Le langage. Actes du XIII congrès des sociétés de philosophie de langue française. Neuchâtel: La Baconnière, 1967. P. 27–40; Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Ma.: The MIT Press, 1965; Chomsky N. Lectures on Government and Binding. Bordrecht: Foris, 1981; Chomsky N. The Minimalist Program. Cambridge, Ma: The MIT Press, 1995; Derrida J. De la grammatologie. Paris: Les Editions de Minuit, 1967; Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1 und 2. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981; Habermas J. Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1983; Habermas J. Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984; Merleau-Ponty M. Phenomenologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945; Merleau-Ponty M. Le visible et l'invisible. Paris: Gallimard, 1964; Merleau-Ponty M. La prose du monde. Paris: Gallimard, 1969; Peirce Ch.S. Selected Papers. Vol. I–VIII. 2d ed. Cambridge, Ma.: The MIT Press, 1960.

³ См.: Щедровицкий Г.П. Как возможна «лингвистика текста»: две программы исследований // Лингвистика текста. Материалы научной конференции. М., 1974. С. 197–205; Щедровицкий Г.П. Герменевтика: проблемы исследования понимания [«Дискуссия в Пятигорске»] // Вопросы методологии. 1992. № 1–2. С. 97–122; Щедровицкий Г.П. Рефлексия в деятельности // Вопросы методологии. 1994. № 3–4. С. 76–121; Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995; Вопросы методологии. 1996. № 3–4. (Специальный выпуск «Из архива Г.П. Щедровицкого»); Щедровицкий Г.П. Философия. Методология. Наука. М., 1997; Щедровицкий Г.П. Механизмы работы семинаров Московского методологического кружка // Вопросы методологии. 1998. № 1–2. С. 115–133; Щедровицкий Г.П. Начала системно-структурного исследования взаимоотношений в малых группах. Серия «Из архива Г.П. Щедровицкого». Вып. 3. М., 1999.

1. Искусственное/естественное и проблема онтологии языка

Для Щедровицкого вопрос об «объективном существовании языка» был бессодержательным. Но в дискуссиях с языковедами он нередко говорил: «Язык не существует», как если бы вопрос был содержательным, но требовал отрицательного ответа. Это был оправданный полемический жест, поскольку лингвист, т.е. языковед-теоретик, с необходимостью исходит из допущения о реальности своего объекта. Это – основа лингвистического мифа о языке, на деконструкции которого настаивал методолог. Конечно, речь шла не о том, чтобы критически разрушить науку; лингвистика важна, говорил Щедровицкий, но именно поэтому актуальна задача проверки ее онтологических допущений в аспектах их правдоподобия и рациональности, а такая проверка требует генетической реконструкции ее начал.

Щедровицкий – самый радикальный, но отнюдь не единственный проблематизатор «объективного языка». Уже некоторые представители так называемого «младogramматического» направления в языкознании второй половины XIX века выражали сомнение в научной состоятельности понятия язык, указывая на безусловную реальность единичных фактов речевых произведений говорящих людей. Эта точка зрения определялась методологией раннего позитивизма и могла бы быть отброшена как историческое заблуждение, когда этот позитивизм изжил себя. Но проблема задержалась в науке, поскольку появление лингвистической географии в начале XX века и теоретический интерес к ней итальянской «неолингвистики» ставили языковедов перед явным фактом отсутствия реальных границ между диалектами и реальных границ между языками. Но этим лингвистический миф о языке не мог быть окончательно поколеблен, поскольку есть два стандартных тезиса в его защиту.

1. Границы между реальными образованиями вообще размыты, это – не особенность языка. В науке же идеализированные представления концептуально задают границы, нужным образом соотносимые с размытыми границами в реальности (например, немецкого и нидерландского языков).

2. Большая реальность речевых произведений по сравнению с языком означает всего лишь то, что в своей непосредственной дей-

ствительности, выражаясь словами Гегеля и Маркса, язык дан как множество речевых актов (общее понимание «языка» у немецких младограмматиков и американских дескриптивистов). И можно продолжить, сохраняя марксовы различия: в своей же собственной, имманентной действительности язык есть нечто другое, например – в представлениях первой половины XX века (Фердинанд де Соссюр) – система знаков, парадигматически определяющая возможность речевых актов, высказываний.

Собственно, эти представления и были общепринятыми у лингвистов, с которыми полемизировал Щедровицкий. Сложившаяся в XX веке социолингвистика навязчиво предлагала лингвистам неудобные факты, например: всякий язык складывается на основе какого-то диалекта, но это не значит, что в том именно диалекте было больше «языка», чем в прочих диалектах. Больше того, если одновременно говорится, что любой диалект есть диалект какого-то языка, то спрашивается, диалектом какого языка был кастильский диалект до того, как на его основе сложился испанский язык? Здесь оправданы два обобщающих наблюдения.

Первое. Когда мы приписываем онтологическую реальность понятию диалект, наше знание безнадежно противоречиво: кастильский язык является исторически диалектом испанского языка, которым он не являлся, когда был, и является, когда перестал быть диалектом. Иначе говоря, содержательность и теоретическая оправданность понятия не гарантирует реальность его объекта.

Второе. Появление языков как систем явлено нам в их описаниях, прежде всего в продуктах национальных Академий языка. Именно здесь языки хорошо определены и разграничены. Но за этими продуктами стоит уже не данная нам явно деятельность прежних языковедов. Мы, т.е. лингвисты второй половины XX века, принимаем как очевидное, что те языковеды были лингвистами, т.е. учеными, озабоченными познанием языка. Но это вовсе не очевидно. Еще в XIX веке И.А. Бодуэн де Куртенэ предложил понять лингвиста, чтобы лучше понять язык. Щедровицкий ставит вопрос резче и определеннее: понять языковеда во всем разнообразии его актов и функций. Ибо в каком-то очень важном отношении языковед создает язык, которому лингвист задним числом приписывает статус «естественного» и «объективного».

Щедровицкий не говорит, однако же, что язык «искусствен», на том основании, что он создается языковедами. Из какого материала создается язык? Я отвечаю: из материала языка, языкового материала. Здесь «язык» равен «речи», как у лингвистов позитивистских направлений, но я не могу просто сказать: «из материала речи». Дело в том, что конструктивный языковед, о котором идет речь – он называется «грамматист» и изготавливает грамматики, – не лепит язык из речи, как скульптор из глины, он выявляет парадигматику языка в том смысле, что подчиняет себя сопротивляющемуся материалу речи.

Щедровицкий выразил заключенную здесь проблему как проблему естественно-искусственных образований. Сама эта проблематика более глобальна, но мы сведем ее к нашему частному предмету: язык не есть естественное, он не есть искусственное, он – «естественно-искусственное образование». А из этого непосредственно следует нетривиальность лингвистики как научного замысла, поскольку знание об искусственном строится вообще в других логиках, чем знание о естественном, о природе. В лингвистике, предполагаю я, если она всерьез принимает определение языка как И/Е-образования, должны быть определены его естественные свойства в гносеологической парадигме, его искусственные – в конструктивно-герменевтической. Но далее следует спросить, как такое двойственное знание может быть сделано цельным; и нелишне решить для себя, нужно ли непременно такое синтетическое знание или же должно проектировать его альтернативы. Как мы видим, само знание при этом оказывается не эпистемологическим, а эпистемотехническим предметом. Мы проектируем знание, мыслимое нами в данный момент как некоторая лингвистика, более адекватная реальности языка, чем сегодняшние лингвистики.

Не будем, однако же, спешить с заключением, что «другого не дано». Прежде чем продолжить развертывание вопросов в методологической манере Щедровицкого, присмотримся к опыту мышления последовательного ученого, делающего свои практические выводы из замеченной им недостоверности «объективного» и «естественного» «языка». Путь, которым идет Ноам Хомский, полярно противоположен идее Щедровицкого, и они, по-моему, оба становятся более понятными во взаимном отображении.

Хомский, самый проблематичный и одновременно самый влиятельный лингвист современности, с самого начала, т.е. со второй по-

ловины 50-х годов XX века, настаивает на безусловной научности лингвистики, науку же соглашается мыслить только как естественную науку. Первые версии его генеративной (порождающей) грамматики строились по гипотетико-дедуктивной схеме: принимаются, независимо от фактов, некоторые интуитивно оправданные начальные правила синтаксиса таким образом, чтобы из этих «ядерных» (позднее «глубинных» – отличие огромное, но нас здесь не занимающее) структур можно было по специальному алгоритму порождать все возможные предложения данного языка, причем должны были быть заблокированы в той же системе правил любые образования, не являющиеся правильными предложениями данного языка. Здесь обнаруживаются факты, конфликт с которыми заставляет пересматривать разные места системы правил. С сегодняшней позиции существенной новацией видится не то, что в свое время поразило воображение лингвистов и прославило молодого американца, т.е. новый тип формальной теории с использованием математических идей Пеано и Маркова, посаженных на категориальный язык дескриптивной лингвистики. Существенно, что на этой линии Хомский необходимым образом заменил традиционную онтологию языка, а далее вообще объявил «язык» не-лингвистическим предметом («Это социологи придумали язык, вот они пусть и объясняют, что это такое»).

Задержимся на этом моменте. Если мы должны, по условиям определения нашего предмета, устанавливать различия между правильными и неправильными образованиями в языке, тогда мы не можем оперировать внешними данными вроде записей речи или примеров из текстов: там есть далеко не все возможные правильные образования и сколько угодно неправильных. Мы должны апеллировать к чувству языка, «языковой компетенции», «знанию языка». Любой носитель русского языка свидетельствует, что «Семен думал зарезать козу на рассвете» – это по-русски, а «Семен видел стоять козу на лугу» – не по-русски. Не будем говорить, что второе якобы нелогично, поскольку в чешском языке правильна, «грамматична» точная копия этого второго предложения. Размышляя над такими фактами, мы пока еще молчаливо исходим из того, что границы компетенции совпадают с границами языка. Но компетенция, языковое чутье есть (как понятие) нечто другое, чем язык.

Поскольку только человек является говорящим существом и поскольку он является таковым с необходимостью, то с естествен-

нонаучной точки зрения следует предположить, что способность к языку ему врождена. Язык вырастает в человеке как орган; это метафора, говорит Хомский, но это – лучшая из возможных в данном случае метафор. Языковое окружение, в котором происходит становление организма, осуществляет триггерный эффект в развитии компетенции, направляет выбор параметров, различающих языки, в которых воплощены общие принципы – но не правила! – универсальной грамматики, каковая и есть врожденная способность к языку. Но окружение развивает прорастающий в человеке язык вместе, в сплаве с развитием мышления, знания, социальных и культурных навыков, а это значит, что компетенция в свою очередь не является претендентом на статус «естественного языка».

Теперь задача лингвиста, как ученого естественнонаучной ориентации, изменяется: он не должен строить порождающие модели компетенции, это – задача грамматиста; лингвист должен исследовать естественный объект, а это в совокупности того, что сходит за «язык» – только биологически врожденная языковая способность. Но она не явлена в фактах; вопрос стоит, заметим, о действительности возможности, а не о возможности действительности, как в классической науке. Факты универсальной грамматики строятся по специальной методике на основе косвенных фактов компетенции, где конструктивно различаются возможные и невозможные в принципе (а не в каком-то данном языке) конструкции; конструируемые языковые ошибки за пределами возможностей землянина прочерчивают границу проявления универсальной грамматики в возможных языках.

В этой связи Хомский указывает на четыре лингвистических предметизации, которые необходимо различать:

1	2	3	4
ДАННЫЕ	СПОСОБНОСТЬ	КОМПЕТЕНЦИЯ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЯЗЫКА	К ЯЗЫКУ		ЯЗЫКА

Знанием для блока 1 является дескриптивная лингвистика и вся традиционная грамматика. Знание для блока 3 – порождающие модели языков, трансформационная порождающая грамматика 50–60-х годов. Знание о «перформанции» (блок 4), т.е. использовании языка в речи и тексте, в жизни, в культуре – это за пределами

естественнонаучной лингвистики, и пока, по Хомскому, здесь невозможны никакие рекомендации. Знание о блоке 2 – это истинная задача научной лингвистики как части будущей психологии, включенной в будущую биологию человека; оно строится на основе фактов блока 3, специально препарированных так, чтобы они свидетельствовали о естественной способности к языку.

Общее представление о лингвистике Хомского в ее движении, если не требуется углубление в детали, можно составить на основе его трех книг, помечающих переломные моменты.⁴ Задержимся еще на следующем моменте, традиционно вызывающем трудности понимания: Хомский отрицает реальность «языка», но настаивает на реальности «знания языка». Для многих его читателей это – вызывающее противоречие. Я думаю, понятия здесь плывут, потому что они работают. Знание языка есть, по Хомскому, знание, что так-то говорят, а так-то не говорят или нельзя говорить. Отсюда можно заключить, что язык есть эта совокупная виртуальность, но это соответствует понятию компетенции, а не понятию языка. Для сравнения: поведенческая компетенция не доказывает натурального существования поведения наряду с тем, что люди как-то себя ведут. Это – категориальная ошибка в смысле Гилберта Райла.

Щедровицкий – реальная и весьма радикальная оппозиция к Хомскому, при том что они оба радикально проблематизируют и преодолевают лингвистическую традицию. Однако, если Хомский настойчиво остается ученым-лингвистом (и поэтому, как он сам говорит, «язык» не исследует), то Щедровицкий ни в лингвисты, ни в ученые не записывается и ставит вопросы о языке таким образом, чтобы на них можно было отвечать рационально сегодня. Здесь необходимо выйти за пределы классической гносеологии. Следует определить саму возможность мышления по поводу языка, учитывая, что мышление – давно уже не синоним познания и что наряду с собственно научным, т.е. познающим, мышлением есть, например, инженерия, а в XX веке в качестве реальных альтернатив субъект-объектной гносеологии сложились феноменология, ситуационная аналитика (в частности, в экзистенциализме), британская языковая аналитика, (обновленная) герменевтика, наконец,

⁴ См.: Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge (Ma.), 1965; Chomsky N. Lectures on Government and Binding. Dordrecht, 1981; Chomsky N. The Minimalist Program. Cambridge (Ma.), 1995.

СМД-методология, и – last not least – философия не претендует больше на «научность» и не определяется рамками, а сама обсуждает возможность всякого рода дисциплинарных и парадигмальных рамок. Если мы будем ставить вопросы о языке как таковом с точки зрения феноменологии, мы получим эффект, обратный Хомскому: надо перестать быть лингвистом, если хочешь познать язык. Но познать феноменологически – значит понять феномен через конститутивную интенциональность. Герменевтический вопрос о социосмысловой необходимости понятия языка и методологический вопрос о производстве действительности языка на основе смысла, стоящего за деятельностью, дают нам ключ к загадке языка, и загадка сама оказывается производной от деформирующего влияния лингвистики в истории постижения логоса в европейской культуре. Историко-генетическая реконструкция понятия логоса, мышления и языка с параллельной деконструкцией унаследованных от науки представлений, открывает перспективы мышления, закрытые для сегодняшней лингвистики, включая Хомского.

Мышление Щедровицкого, определявшего себя как методолога, следует брать в контексте всех этих тенденций XX века. Основатель СМД-методологии – более чем методолог, но методолог, однако же, в первую очередь. Между прочим, это позволяет ему не путаться в парадоксах существования, поскольку для методолога все, что существует, существует в деятельности. В самом деле, любое утверждение о несуществовании аподиктически задает существование этого «несуществующего» в качестве предмета обсуждения, приписывая ему совокупность определяющих его признаков. Что значит «язык не существует»? Это значит, например: та действительность, которую вы, лингвисты, определяете такими-то и такими-то признаками, не существует в том предметном пространстве, которое вы при этом имеете в виду (например, в том пространстве, в котором не обнаруживают языка социолингвисты или Хомский). Значит ли это, что язык не существует «вообще»? Этот вопрос не имеет смысла. Вспомним, что Райл определил предикат существования как одну из самых коварных ловушек языка, в какие попадает наше мышление.

Определить существование языка – значит задать контексты деятельности, в которых нечто проявляет себя именно как язык (а не логос, не речь, не компетенция и т.д.) и может быть реально осу-

ществлено как язык сообразно нашему понятию языка, – например, как система знаков, оснащенная правилами, если таков смысл определяющей его деятельности. Онтология языка – это деятельностная онтология.

В своих теориях деятельности Щедровицкий оперирует понятием системы. Система включает, как минимум, структуру связей и отношений в предмете, структуру процесса, организацию материала и природную морфологию материала. С точки зрения Щедровицкого, Хомский исследует и истолковывает природную морфологию материала языка, а потому язык как таковой изучать не может. Хомский с этим, несомненно, согласился бы, добавив, что только это и может быть объектом естественнонаучной лингвистики. Все остальное – искусственное, и по Хомскому, и по Щедровицкому. Для системной онтологии Щедровицкого Хомский не нашел бы места в своих четырех предметизациях, и это тоже естественно. Щедровицкий рассматривает язык в той совокупности связей и отношений, которые делают его языком по полному понятию, а это далеко выходит за рамки всего того, за что до сих пор бралась лингвистика. Но, приняв его позицию, приходится признать, что лингвистика, при всей красоте ее построений и при ее великом научном авторитете, самого существенного про язык сказать не может.

2. Порядок языка в свете языковедческой деятельности

Хомский различил: а) функцию «носитель языка»; он располагает компетенцией, или знанием, языка; б) функцию «грамматист»; он описывает компетенции в виде систем правил; в) функцию «лингвист»; он оперирует понятием «возможный человеческий язык» и исследует устройство универсальной грамматики, определяющей и ограничивающей возможные грамматики языков. Из этих функций две – вторая и третья – функции языковеда. Для Щедровицкого языковед существовал в гораздо большем количестве вариантов-функций: учитель языка, методист в нескольких вариантах, языковед-инженер, языковед-исследователь и теоретик, языковед-методолог. Кстати говоря, Щедровицкий утверждал, что в истории знания о языке методологов всегда было больше, чем

теоретиков, и что ни у одного лингвиста, не исключая Соссюра и (раннего) Хомского, не было научной онтологии языка. Однако это едва ли обедняло языковедение как пространство социальных практик с языком.

Обратим наше внимание на любопытный момент в известной статье Щедровицкого «Смысл и значение». Реально протекают процессы речевого взаимодействия, в которых люди могут свидетельствовать об успешности или неуспешности речевых актов: «понял», «не понял». Значение появляется там, где некто «третий», не участник общения, его конструирует, чтобы методически обеспечить успешное взаимодействие. Смысл появляется там, где процессы понимания-непонимания опредмечиваются в абстрактном объекте; таким образом, знание о смысле возникает, когда еще смысла как такового нет ни в действительности двойного говорения, ни в действительности теоретического акта. Он «существует», если интенциональность теоретика проецируется на действительность процессов понимания; тогда предметный конструкт опускается в нижележащий слой кооперации и – «она понимает смысл того, что он говорит». И так далее.

Продолжая мысль Щедровицкого и обобщая критический опыт лингвистики XIX–XX веков, я могу сказать («для игры», как часто выражался Щедровицкий в ситуациях коллективного мышления):

- Диалекты не существуют, но историку языка и социолингвисту необходимо понятие диалекта, чтобы наводить порядок в своих данных.
- Синонимов не бывает, но лексикографу, т.е. инженеру-языковеду, создающему словари, необходимо понятие синонимии, чтобы определять одни слова через другие.
- Смыслов нет нигде, но теоретический семантик нуждается в понятии смысла, чтобы опредмечивать данные о процессах понимания.
- Значения – как ориентированности слов на вещи – не существует, но методист иностранного языка без этого понятия работать не сможет. Кроме того, в нем нуждается семиотик, т.е. теоретик знака. И т.д.

Это все в духе Щедровицкого, но это еще не истины Щедровицкого. Это часть его феноменологического метода. Все перечисленное обретает существование в организованной деятельности. Важно про-

сто понимать, что не следует приписывать объективно-природную реальность тому, что создаем мы сами для тех, кто придет после нас к этой действительности; для него она «естественна», поскольку найдена как готовая и, между прочим, имеющая свои закономерности, поскольку реализована в материале. Добавим: если нам удастся реализовать ее в материале. Сравним примечательное рассуждение Щедровицкого в тексте 1972 года о рефлексии: «...Когда я сейчас утверждаю, что "рефлексия" существует не как вещь или предмет практически-мыслительной деятельности, а лишь как некоторое культурное значение и как определенные смыслы, связанные с соответствующим словом, то этим самым я задаю ориентировку на условия и специальные средства, которые могут превратить "рефлексию" в предмет мысли и вещь...»,⁵ и т.д. Теперь надо обратить эту логику на сами феномены «смысл» и «значение».

Итак, я к известному положению Гуссерля о конститутивной интенциональности добавил мое положение о социосмысловой необходимости, истолковывающей саму интенциональность. Такой поворот феноменологии естествен в рамках СМД-методологии. С этим багажом я теперь могу пытаться ответить на общий вопрос о порядке языка как естественно-искусственного образования. Заметим, что этот вопрос о порядке необходим по понятию, ибо по понятию язык – феномен парадигматический, в отличие от речи, которая, опять же по понятию, процессна и синтагматична.

Я ставлю вопрос о социосмысловой необходимости в рациональном понятии языка. Я спрашиваю, в каком месте европейской истории и в контексте каких практик возникает вопрос о языке и в каких практиках складывается действительность языка как языка. Наличная история, зашифрованная в терминах «истории лингвистических учений», оказывается весьма поучительной. Если лингвистика понимается точно как научное знание о языке, тогда лингвистических учений до XVII века не было. Будем различать: а) языковедение как совокупность всех практик с языком (включая, естественно, и поздние теоретические практики); б) языкознание как совокупность знания, откладывающегося в культуре в результате языковедческих практик, – в первую очередь словарей и грамматик, но не исключая теоретического знания; в) лингвистику как научное знание об объекте «язык»

⁵ Щедровицкий Г.П. Рефлексия в деятельности // Вопросы методологии. 1994. № 3–4. С. 72.

и деятельность по его производству. Языковедение древне как человек; языкознание начинается с письменной культурой; лингвистика зарождается одновременно с рядом других дисциплинарных наук в XVII веке, ее первый образец – «Грамматика Пор-Рояля» Арно и Лансло 1660 года. Порядок языка определен грамматикой до лингвистики; лингвистика появилась как акт перепрочтения грамматики в режиме научного вопрошания.

Эта история общеизвестна. Единственное отличие в моих формулировках заключается в том, что я различаю формы знания и, шире, интеллектуальные практики. Европейская грамматика зародилась в античной Греции, но усматривать в этом «лингвистические учения» – значит приписывать тогдашним грекам наши вопросы, которых они не ставили, и предполагать у них объекты познания, которых у греков не могло быть. Аристотель, первым начавший сборку терминов-понятий, относящихся к грамматике, работал по проблематике логоса, т.е. единству, в котором мышление («*дианоия*») и язык («*глосса*») не следовало различать. «Глосса» (метафорическое использование названия органа в полости рта) относилась к особенностям чужой речи и не была предметом размышлений. Предметом был логос – звучащая мысль, или мысль, реализуемая как текст (соответственно, «Об истолковании» и «Поэтика»). Иначе, логос – это речь, несущая мысль, от «*легейн*» – «говорить». Начала грамматики у Аристотеля имели практический смысл в педагогике диалогического мышления и методике текстообразования, в целом же его систему можно определить как нормативную теорию логоса.

Появление грамматических описаний как таковых в Александрийской школе было определено новыми филологическими практиками на материале разных «глосс». В библиотечной работе аппарат Аристотеля встретился с буквой («*грамма*»), и здесь термин «грамматика», ранее значивший у греков просто «грамотность», выступает в его нынешнем значении. Однако он по-прежнему относится к логосу, а язык, т.е. материальная сторона логоса, самостоятельным объектом не мыслится. Одновременно в Стое появляется термин «синтаксис», но он тоже понимается как синтаксис форм логоса. Прокламация «логики» у стоиков и «грамматики» у александрийцев вовсе не означает, что уже есть «наука о мышлении» и «наука о языке».

Александрийские по своим корням грамматики Доната (IV в.) и Присциана (VI в.) представляли необходимую непроблематизируе-

мую догму в культуре мышления Средних веков – вплоть до Возрождения. Вся герменевтическая работа в экзегезе начиналась с грамматического определения *ad litteram*, «от буквы», и лишь затем следовал переход к интерпретации по другим смыслам. Богословско-догматический характер этих мыслительных опытов предполагал, что грамматика в свою очередь догматически зафиксирована и, во всяком случае, никакому «развитию» не подлежит. Когда историки языкознания говорят о «застое лингвистической мысли» в Средние века, они попросту игнорируют то обстоятельство, что грамматика – еще не наука и что в контексте средневековой культуры грамматика не могла, потому что не должна была, жить в чуждом ей режиме науки. И тем более не замечается то существенное обстоятельство, что язык (*lingua*), когда о нем вообще шла речь, мыслился в традиции логоса,

«Идея языка» (выражение К.О. Апеля⁶) – это возрожденческая идея. Только когда утверждается равномощность народных *linguae* с латынью в аспекте «элоквенции» (т.е. логики – диалектики – риторики) и народные языки становятся главными языками литературы, тогда появляются грамматики народных языков – кастильского и португальского в Иберии, флорентийско-тосканского в Италии, и они пишутся для иноземцев. Здесь впервые грамматика уже понята не как грамматика языка-логоса, а просто как грамматика языка. Грамматика теперь – форма предъявления языка миру. Значение этого культурного жеста: «Вот – кастильский язык». В обращенной рефлексии от иностранного языка свой язык осмысливается как родной (см.: Weisgerber, 1948). И когда в XVII веке в контексте зарождения дисциплинарных наук создается «Грамматика общая и рациональная» Пор-Рояля, она – «общая» в том смысле, что не показывает некий конкретный язык, а рассуждает о языке на материале разных языков, и она «рациональная» в том смысле, что язык и языки соотнесены с *ratio*, логосом. Здесь в самих процедурах разумного изложения выделяется язык как становящийся научный объект, отслаивающийся от тотального логоса. Вопрос «Что такое язык?» и дооформление научного объекта «язык» принадлежит более позднему времени (конец XVIII – начало XIX вв.).

⁶ См.: Apel K.O. Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante bis Vico. Bonn, 1963.

В каких отношениях поучительна для нас эта история? Во-первых, наша привычка мыслить мышление и язык как две сущности и спрашивать об «отношениях языка и мышления» – это унаследованное нами культурное обыкновение последних 300 лет, и оно затрудняет наше понимание культуры Античности и Средних веков. Но та культура показывает нам, что такое различие необязательно. В самом деле, и в XX веке можно обнаружить вполне современные работы, которые по жанру возможно отнести к нормативным теориям логоса, например – «Опыт и суждение» позднего Гуссерля, «О строении атрибутивного знания» раннего Щедровицкого. Трудность таких опытов, естественно, заключается в том, что приходится работать «по ту сторону» нововременных концептуализаций, одновременно с ними считаясь, располагая «языком» и «мышлением» как разными понятиями. Но заметим, что такие опыты – не игра в бисер культурными данностями, в них содержится вполне конструктивный современный импульс. Щедровицкому, кажется, никогда не было интересно размышлять о языке как отдельном явлении, вне его связи с мышлением и деятельностью. В этой части он – аристотелист, и в тех редких случаях, когда он предлагал грамматические решения, они бывали вызывающе аристотелевскими («Суп – подлежащее, а не дополнение в предложении «Суп сварили вчера» и т.п.). Чтобы понять, что это – не споры об истине и вообще не схоластические споры, требуется некоторое углубление в суть дела на основе генетической реконструкции сущностей-понятий. История дает нужные подсказки.

Аристотель отделяет «логос» от «фюсиса», используя аппарат грамматики. Теперь становятся возможными вопросы о Боге над миром, о законах мышления и т.п. Арно и Лансло в совокупном логосе отделяют «язык» от «мышления», используя аппарат грамматики. Теперь возможны вопросы о соотношении языка и мышления, об универсалиях языка и т.п. Оба шага абстракций («логоса» от бытия человека и «языка» от логоса) означали существенный прогресс мышления, науки и радикально расширяли возможности освоения действительности. Но они одновременно делали скрытым и неосознаваемым тот факт, что ни мышление, ни язык, как говорил Маркс в «Немецкой идеологии» (и независимо от него Хайдеггер в лекциях 1943 года о Гераклите), не представляют собой независимых реальностей, «особого царства», что они – «проявления дейст-

вительной жизни», я бы сказал – естественные отправления человеческого существа. Абстрагируя их, мы совершаем «категориальную ошибку» в смысле Райла, невероятно продуктивную в культурной истории; но всякий раз, когда требуется перепроверить основания нашей картины мира, необходимо начинать с деконструкции понятий и восхождения к здравому смыслу по ту сторону абстракций.

Если принять упрощенную формулу «Щедровицкий против Лингвиста», то бесполезно спрашивать, кто «прав». Следует спросить, в духе методологии и вообще в духе современного мышления, в какой мыследеятельности мы обретаемся в одном и в другом случае, какова феноменология в одном и другом подходе, каковы внешние социокультурные оправдания для одной и для другой позиции. Мы, современные в этом смысле герменевты, в конечном счете оправдаем то и другое, но сможем, если надо, положить на весы «Щедровицкого» и «Лингвиста» и посмотреть, кто окажется «слишком легким».

Главное же поучение, которое мы можем извлечь из истории европейского языковедения, относится к феномену языка. Мы видели, что выделение и полагание языка как автономного феномена произошло с использованием аппарата грамматики и прямо в терминах грамматики. В этом смысле грамматическая точка зрения конститутивна для языка как феномена, но также и как объекта в научном знании. Лингвистика как научное знание о языке могла вырасти только из грамматики, поскольку грамматика – тот единственный язык, на котором можно было говорить про язык. Но – продолжим восхождение к истокам – грамматика сама проистекает из задач филологической работы по письменным текстам и сама возможна только в формах письма, кодирующего логос. Увидеть язык как особую действительность можно только, если смотреть на говорящего человека через двойную призму грамматики и письма. Когда эта двойная призма делается культурным обыкновением, языковед (лингвист) за каждым явлением речи уже «видит» язык, который можно «выявить» как парадигматическую основу речи, и при этом лингвист не осознает своей двойной призмы, исключая ее вместе с самим собой как субъектом в объективирующем мышлении. Так язык становится «естественным» языком.

Чтобы текст мог свидетельствовать о речи как языке, он должен быть сопровожден грамматикой. Феноменально речь первична, феноменологически язык всякой речи вторичен относительно грамма-

тики. Но грамматика зависит не только от письма, но и от факта различия глосс, т.е. особенностей речи. Именно тот факт, что финикийцы говорят не как греки, а Гомер говорил не как его александрийские современники, создает социосмысловую необходимость в появлении грамматики как способа предъявления языка, например, при Александрийской библиотеке. Как мы знаем, идея языка в Возрождении в свою очередь связана с выдвиганием рядом с латынью языков-конкурентов, по поводу которых появились грамматики. Собственно, «язык»-«глосса» – это не тот факт, что люди говорят, а та специфика, как они говорят в другом месте в отличие от нас. Иначе люди просто говорили бы, а не «говорили на языке». Но с развитием лингвистики язык-объект стал пониматься натурально. Идея, что он есть «система» (Дж. Хэррис → Э.Б. де Кондильяк → В. фон Гумбольдт), и далее – что он есть система единиц и правил, делает его субстанциально определенным. Академии языка, начиная с XVI века, создают систематические словари и грамматики и осуществляют язык в материале сообразно уже наличествующей в культуре идее языка. Значит ли это, что у народов, не имеющих Академий и не пишущих грамматики, «нет языка»? Разумеется, не значит, феномены живут в обращенном времени, поскольку конститутивная для языка точка зрения опрокидывается на континуумы древних текстов и на континуумы речи народов, вообще не имеющих письменности. Но эта конститутивная интенциональность, с нашей точки зрения, сама есть продукт истории культуры, и она искусственно производит языки из естественного материала речи (еще точнее – из говорящих человеческих сообществ). Все это означает, что искусственность языка принадлежит к его естественным свойствам, более того – она реально оестествляется в окультуренной речи последующих поколений. Уразумев эту совокупность обстоятельств и факторов, мы можем отвечать на вопрос, в каком смысле язык существует, в каком – нет, в каком смысле язык является естественным, в каком – искусственным.

Когда Щедровицкий обсуждал процессные схемы мыследеятельности, он обычно рисовал две стрелки из «прошлого» в «будущее», символизовавшие две разных логики: мы можем обсуждать переход как организуемый, т.е. методологически-прожективно, или как протекающий, т.е. в исследовательской манере. В первом случае объект – «искусственный», во втором – «естественный». Но, определяя язык как естественный объект, мы не вправе утверж-

дать, что в реальности его нет целей и стратегий человеческой деятельности. И наоборот, определяя язык как создаваемый языковедами, мы не должны отрицать у него вообще всякие естественные свойства. В частности, если грамматист описывает язык потому, что языки разные, то описание должно учесть факт их различия, и естественные свойства особенного языка (специфической речи) включаются в описание как познанные свойства, а не приписанные. Это – естественный («естественный» по естеству грамматики) научный момент всякого грамматического описания.

Итак, у языковедов (лингвистов) есть основания усматривать в языке естественное начало. Но явная натяжка – абсолютизация этого начала в непроблематизируемом понятии «естественный язык», которое языковеды распространяют и на феномен иностранного языка, понимая под этим естественный язык, изучаемый как язык другой страны. Собственно говоря, в логическом пространстве лингвистики вообще нет места для понятий «родной язык» и «иностраный язык», но эти понятия есть у языковедов-методистов, которые тем не менее свои теории языка заимствуют в лингвистике. Здесь есть серьезная методологическая проблема, знакомая Щедровицкому; она разрабатывалась группой языковедов-методологов Северо-Кавказского научного центра высшей школы.⁷

Самым характерным свойством иностранного языка является его отдельность от его носителей. В этом смысле он не язык. Но лингвистические непрописанные онтологии языка имеют то же самое свойство: человек как носитель языка предполагается, но в определении языка не входит. Больше того, когда отечественные лингвисты обратились к прагматике, они заговорили о «человеческом факторе в языке»; это звучит как «человеческий фактор в мышлении» или «человеческий фактор в любви», но профессиональные лингвисты были выше здравого смысла. По замечанию Волошинова-Бахтина, еще в 20-е годы XX века, «лингвистика изучает живой язык так, как если бы он был мертвым, и родной – так, как если бы он был чужим».⁸ На основе наших рассуждений выше мы уточняем:

⁷ См.: Пути к теории иностранного языка. Пятигорск, 1992. Выступление Щедровицкого в этой проблемной группе не было записано на магнитофон. В его архиве есть домашний текст, посвященный данной программе и проблематике, но он пока еще ждет своей очереди на опубликование. Работа Пятигорской проблемной группы в значительной мере базировалась на идеях СМД-методологии.

⁸ Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. Л., 1929. С. 92, сноска 1.

- Представление об автономном языке связано по истории и по сути с феноменом иностранного языка.
- Лингвист может изучать язык только в записанной форме, т.е. отвлеченной от ситуации речи, как если бы этот язык был мертвым.

Но надо добавить к этому еще и третье соображение:

- Лингвист, принявший отвлеченный от носителей язык за язык как таковой, фактически заблокировал себе путь к пониманию на теоретическом уровне не только родного, но и иностранного языка. Ведь если мы методологически не бесприсветно наивны, мы должны спросить, при каких организационных условиях язык может начать существовать отдельно от его носителей. В этом значимость проблемы иностранного языка для общего языкознания.

Иностранный язык задан к освоению теми, кто говорит не на нем. Это – конститутивная для него интенциональность. Требуется взять язык в одном этническом месте и передать его в другое. Мы поймем устройство феномена «иностранный язык», если зададимся вопросом, что значит, в идеале и на практике, «взять» и «передать» язык. Язык «берется» в образцовой форме академических описаний, т.е. как реальный, воплощенный и отдельный от речи другой язык, из него делается отбор «языковых средств», которые иерархически распределяются по степеням доступности на последовательных этапах обучения, этот материал языка преобразуется в систему упражнений, которые методист создает и перепоручает учителю, работающему с учащимися. В актах обучения эти превращенные формы нормативного чужого языка должны быть сделаны основанием речевых (в широком смысле) иноязычных навыков; результат отображается на формы речи того народа, у которого «взят для передачи» язык.

Центральной функцией в этой системе является функция методиста, и если бы нам понадобилась теория иностранного языка (как иностранного, и как языка!), то конструкт «идеальный методист» должен был бы быть встроен в сам теоретический объект «иностранный язык». В этой ксенолингвистике становление иностранного языка как языка означает его фактичность как иностранного.

Естественно, что вопрос о порядке языка в ксенолингвистике будет принципиально другим по содержанию, чем вопрос о поряд-

ке языка в лингвистике. Жестче это формулирует О.В. Карасев: другим является сам статус упорядоченности.⁹

Порядок языка в лингвистике определяется грамматикой с ее категориями, которые изначально были категориями логоса и частично оказались обесмысленными, когда грамматика оторвалась от логоса. Порядок языка в замысле ксенолингвистики определяется технической установкой на методическую трансляцию языка через межэтническую границу в обучающих системах. Может возникнуть впечатление, что только иностранный язык, сущность которого постигается в технологической рамке с обязательным домысливанием целевой интенциональности, искусственен. Но исторический анализ показывает, что естественность языка вне этой рамки – результат переслоения смысла в истории: установка на объективацию в научном подходе сделала невидимой конструктивно-техническую природу грамматики вообще. Грамматика выявляет язык, предлагая порядок, накладываемый на континуум речи, и этническая специфика речи этим должна быть схвачена, но это не означает, что выявленный язык был языком безотносительно к этому акту и мог содержать в себе требования к будущей грамматике. В их взаимном отношении участвует третий «игрок», мыслекоммуникативный фактор, тематизированный в древнегреческом мире как «логос». Логос, осмысляющий себя, производит грамматический аппарат, который начинает показывать язык как материальную сторону логоса. Познание речи-мысли как языка совпадает с созданием языка как культурной формы для речи-мысли. Но это обстоятельство может пониматься только в контексте с исключенной лингвистикой, ибо она редуцирует язык к теоретически мыслимому «объекту», в котором с необходимостью исключены свойства той действительности, в которой грамматика еще понятна.

3. Знак, речевая деятельность и текст, условия их мыслимости

Щедровицкий не раз констатировал отсутствие такого определения языка, с которым можно было бы приступить к назревшим проблемам языкознания вообще и лингвистики в част-

⁹ Пути к теории иностранного языка / Ред. В.П. Литвинов. Пятигорск, 1992. С. 64.

ности. Если бы ему предложить мое данное выше определение языка как записанной речи с точки зрения грамматики, он мог бы найти его интересным, поскольку феноменологически корректным, но ни в коем случае не достаточным. Ведь я пока определил язык, отдельный от тотального логоса, а современные проблемы языка в разных науках, включая саму лингвистику, ставятся в более широких рамках. Язык, взятый имманентно, «в себе и для себя», как выразились издатели соссюрковского «Курса общей лингвистики», – так понятый язык только условно может считаться языком. Иначе говоря, «языковость» языка заключается в его органической связи с мышлением, коммуникацией, деятельностью. И интерес Щедровицкого к языку был частью его интереса к логосу, каковой он сам называл «языковым мышлением», начиная с ранних работ. Это же было темой его кандидатской диссертации 1964 года.

Отечественная лингвистика с конца 50-х годов повернулась к структурализму и соссюрской традиции языка как системы знаков. В мировой лингвистике это было время заката структурализма, и в СССР своевременно были поставлены актуальные вопросы о «лингвистике текста», далее, синхронно с Западом, о «прагмалингвистике», и затем о «когнитивной лингвистике». На практике в 60-е годы и позже все вопросы лингвистов уже были новыми, но при этом не ставилась задача переопределить язык онтологически. Очевидно, следовало разобраться с понятиями знака (уже не по Соссюру), речевого акта, речевой деятельности, текста, дискурса. Здесь проявляется парадокс, замеченный Соссюром: может быть построена наука о системе языка (*langue*), возможна в другой логике наука о речи (*parole*), но не может быть связного знания о *langage*, т.е. о языке как единстве *langue* и *parole*. Но лингвистика, начиная с 60-х годов, решила, что Соссюр не обязательно прав. Начались исследования по тексту и речевой деятельности, поначалу с допущением, что речь/текст – тоже «система» и тоже «система знаков».

В этом была проблема. Среди лингвистов ее четко отрефлектировал Эмиль Бенвенист на одной из философских конференций 60-х годов.¹⁰ Если брать язык имманентно и при этом определять

¹⁰ См.: Benveniste E. La forme et le sens dans le langage // Le langage. Actes du XIII congrès des sociétés de philosophie de langue française. Neuchâtel, 1967. P. 27–40.

его как систему знаков, то «знак» относится не к связке слова и предмета, а к связке «означающего и означаемого» внутри слова. И если лингвистика языка – часть «семиологии» в соссюрловском понимании, тогда «означаемое», значимость элемента языка в системе, семиотична, опять же в смысле Соссюра, но не семантическая. Только на уровне предложения/высказывания начинается семантика как таковая, она определяется актом предикации и не характеризуется «употреблением», поскольку всякий раз актуальна и однократна. Это – область исследования «дискурса». Заметим, что понятие дискурса может быть свободно от психологических ассоциаций, которые Соссюр считал неизбежными в понятии «речи». Но и у Бенвениста получается, что лингвистика дискурса вкуче с семантикой – это другая лингвистика, в которой значение высказывания несет мысль и осуществляет референцию, а значение слова в лингвистике дискурса – уже не знак (соссюрловский); правила его употребления понимаются примерно по Витгенштейну (вспомним в «Философских исследованиях» «языковые игры» и «грамматику слова»).

В новой культурной ситуации оказалось важным вернуться к понятию знака как такового (Соссюр его искажил вполне сознательно), к полному понятию языка (редукцию которого Соссюр считал необходимым условием научности лингвистики), к традиционному понятию семиотики (Соссюр не заметил работ Чарльза Пирса, но, между прочим, Щедровицкий его тоже проигнорировал, к сожалению).

Разумеется, именно за Щедровицким, а не за Бенвенистом или британскими аналитиками, надо признать заслугу в своевременной постановке методологических вопросов в тот момент, когда лингвистика нуждалась в пересмотре своих оснований. Я выделяю в этом контексте три понятия, работа над которыми нужна в направлении, обозначенном Щедровицким: а) знак, б) речевая деятельность, в) текст.

а) Знак

Соссюрловский «языковой знак» относился именно к автономному языку, а не к речевой деятельности, языковому мышлению или тексту. Но мы рассматриваем знак именно в этом, а не предыдущем разделе, поскольку вместе с Щедровицким (и, между прочим, вместе с Пирсом) попытаемся мыслить знак по несокращенному понятию.

Состояние разработки проблематики знака, охарактеризованное Щедровицким и Садовским в 1964 году через указание на источники определения,¹¹ вызывает удручающее впечатление, даже если допустить, что эти авторы в своем перечислении были недостаточно точны. В этом списке из семи «наметившихся линий» только две действительно прямо относятся к проблематике знака: семиотика Ч. Морриса и сосюрковский структурализм. Между тем проблема знака для Европы традиционна, и если бы наши авторы спросили не о непосредственных линиях влияния, а об исторических корнях, перечисление должно было бы быть примерно таким:

– Концепция знака Блаженного Августина («О христианском вероучении» и «Об учителе»).

– Дискуссии о знаке в схоластической философии, теории суппозиции.

– Британский рационализм о знаке (Дж. Локк и др.).

– Концепция языка и знака В. фон Гумбольдта и Г.В.Ф. Гегеля.

– Семиотика Ч. Пирса.

Общим моментом во всей этой значительной традиции является понимание знака как способа использования слова или вещи. Натурализм «системы знаков» возникает только у Соссюра. Заметим, что даже у Пирса, заместившего «сознание» кантовского идеализма на тотальный «семиозис», этот последний понимается как мир процессов: существуют слова, потенциальные «представители» возможных знаков, знаки же как таковые рождаются, живут и умирают в практиках. Действительность знака связана с третьей инстанцией – наряду с тем, что обозначает, и тем, что обозначается. Третья инстанция – это «интерпретант», истолковывающий знак в восприятии или учреждающий его в передаче, и это – не обязательно человек. В мире семиозиса знаки интерпретируются и учреждаются смыслами, т.е. фактически другими знаками. Пирс называл себя последователем Дунса Скота, и указанные нами моменты действительно отсылают к интересной средневековой традиции анализа суппозиций, где знак возникал через полагание отношения слова к вещи в мире, или вещи в душе, или к слову как вещи.

Если мы вникаем в семиотические тексты Щедровицкого с его разными соавторами, то сходство с теориями суппозиций и семи-

¹¹ См.: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 516.

отикой Пирса оказывается большим, чем с любым из направлений, перечисленных Щедровицким и Садовским в указанном месте. Прочитав пассаж из их работы, который представляется мне особенно принципиальным:

Знак перестает быть знаком, если мы берем его материал только в отношении к деятельности индивида, как средство организации деятельности. Но точно так же знак с его значениями становится совершенно мистическим образованием, если мы берем его только в отношении к объективному миру, вырвав из контекста деятельности, в которой он употребляется как знак. И это вполне понятно, так как по происхождению и назначению своему знаки и являются теми образованиями, которые обеспечивают подключение индивидов к общественной культуре и отчуждение продуктов индивидуальной деятельности в форму общественной культуры.¹²

Для понимания этого пассажа важно не упускать из вида, что для Щедровицкого не только духовная культура была парадигматичной. Мир деятельности имеет свою парадигматику, и в тех случаях, где возможны терминологические затруднения, Щедровицкий называл «деятельностью» устройство мира деятельности, а синтагматические процессы осуществляющейся деятельности называл «действованием», и оно состояло из «действий». Итак, знак должен быть конкретным, это то, что используется как знак. Так же у Августина, Оккама, Гегеля, Пирса. Но знак не может быть субъективным, он – то, что создает нашу общность в деятельности и в культуре.

Уместно указать в этой связи на «принцип логического социализма» Пирса, который означает распределенное право на интерпретацию. Вообще несхоластическая семиотика привлекательна для методолога тем, что она не оставляет места для фетиша субъективности и сознания. Щедровицкий отнюдь не отрицал содержательности вопросов о сознании и отражении, но обсуждал это в контекстах другой проблематики. Как и Пирс, Щедровицкий видел в языке и знаке ключ к постижению интеллектуального мира – знания, мышления,

¹² Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 517.

рефлексии и пр. И он знал, что в принципе это так и понималось в схоластике. К этому характерная полемическая цитата:

Когда есть язык, познание природы вообще не представляет задачи, а когда языка нет, то никакие познаватели природы ничего не могут сделать и стоят в полной растерянности и беспомощности перед проблемой современного мира... Иными словами, нужна новая схоластика, и пока ее не будет, пока не появятся новые Николай Орем, Р. Суайнскед, Дунс Скот и др., до тех пор в современной науке, мышлении, представлении о мире никаких новых шагов не будет.¹³

Значительной проблемой остается отношение знака и слова. Безусловно истинно, что слово языка может использоваться и часто используется как знак. Но ложно приравнивание: слово есть знак. Слово вместе с его значением просто узнается носителем языка. Знак же понимается, то есть

определить знаковую систему значит задать всю ту совокупность отношений и связей внутри человеческой социальной деятельности, которая превращает ее, с одной стороны, в особую организованность внутри деятельности, с другой стороны – в органическую целостность и особый организм внутри социального целого.¹⁴

Это значит, между прочим, что «язык» Соссюра не может быть знаковой системой,¹⁵ если «знак» не превращен в метафору. Проектирование и осуществление систем знаков является известной практикой: терминологии. Термины, естественно, не просто происходят, но существуют как знаки, знаки своих понятий и стоящих за ними предметных практик. Но это не предполагает, что здесь имеет место какое-то вырождение знака, который по определению конкретен. Термин – это то, что использовано как термин, но если актуальность ситуации практики растянута на продолжительное время, то знак длится, существует в этом продолжительном времени.

¹³ Вопросы методологии. 1996. № 3–4. С. 102.

¹⁴ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 543.

¹⁵ См.: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 544.

Феноменологически корректное определение знака задается установкой на означивание. Такое определяется контекстом коллективной мыследеятельности, в которой взаимно согласуются разные инициативы. Коммуникативная инициатива по этому поводу предполагает смещение в метадискурс, «слой мышления», в котором обсуждаются резоны и притязания, адекватные задаче установления норм дискурса для этой практики. Здесь определяется, что как называется по сути осуществляемого дела и, наоборот, какие выражения что значат, т.е. какие они представляют объективные содержания. «Объективные» же в этом случае значит десубъективированные. В этом деятельностном контексте знак по сути схематизируется как связь или соотношение формы знака с объективным содержанием.

Содержанием знака является интерпретированная деятельность в какой-то ее части. Знак при этом часто указывает на вещь; но не отношение к предмету, а отношение к деятельности, ее рациональное истолкование в этой точке есть сущность знака.

Напрашиваются две культурные параллели:

1. Отрицание поздним Витгенштейном значения слова как отношения к предмету (денотации) и замещение этого представления «грамматикой слова». Но Витгенштейн обсуждал жизнь слова в обыденном языке; для нас важна работа знака в языке как компоненте деятельности. Жизнь слова не тождественна работе знака.

2. Повсеместное принятие в искусственном интеллекте семантики фреймов вместо значения как денотации. Фрейм схематизирует формы устройств, организованностей и стандартизованных событий, в отображении на которые машинная программа распознает образы или читает тексты. Некоторые пассажи Щедровицкого явно сходны с идеей фрейма, но методолог промышливает не технические приспособления и не стандартные положения дел, а организацию человеческой мыследеятельности.

Если принять идею знака Щедровицкого для языковедения, мне видятся две содержательные линии ее разработки:

Первая: конструирование систем знаков для практик, оснащенных блоком коммуникаций, в том числе, вполне традиционно, развитие и контролируемое преобразование терминосистем;

Вторая: исследование языковых знаков, т.е. явлений языка в тех частях, где слова используются как знаки. Это предполагает анализ языка вместе с его миром, а здесь есть, помимо прочего,

проблематика фиктивных миров и безденотатных слов-псевдознаков. (На существование безденотатных выражений, в том числе в теоретических мирах, Щедровицкий указывал неоднократно.)

Ретроспективно мы можем теперь спросить о правоте Соссюра в контексте его собственного дела, его университетского курса как акта. Лекции Соссюра, на основе которых после его смерти изготовлена знаменитая книга, были посвящены задаче определения научной лингвистики на уровне начала XX века. Преодоление старого позитивизма младограмматиков, у которых исчезал сам язык, требовало восстановления в правах представления о языке как системе. Соссюр тщательно промышлял условия возможности науки о таком объекте и предложил его онтологию как чистой знаковой формы, без «психологизма». Представление о системе языковых знаков дает словарь: он перечисляет слова с указанием на то, что они обозначают, или с указанием на слова другого языка, которые обозначают. Но Соссюр не упомянул словарь как культурную форму, к сожалению. В этом случае надо было бы спросить, почему словарь, этот инженерный продукт языковеда, строится как упорядоченное знание о словах-знаках. Как бы то ни было, но слово может так характеризоваться, а в словарной работе это даже естественно. Мы вправе сказать: существенным свойством слова является то, что оно может использоваться как знак. Но мы допускаем ошибку, если замечаем модальность возможности на модальность действительности или необходимости, и другую ошибку, если практико-техническую разумность переинтерпретируем как научную рациональность. Познание лексики в форме словаря совмещено с созданием словаря как системы лексики, но культурное обыкновение работы со словарем заключается в том, что мы прорываемся к значению слова через обозначающий знак, которым может быть (а может и не быть!) это слово.

Соссюр смог создать осуществимый проект научной лингвистики. Но обедненное понятие языка, даже в «функционально» ориентированной Пражской школе структурализма, было обречено на критическое преодоление. Вот только лингвисты, осуществлявшие в 60-е и последующие годы это преодоление, не смогли подняться до уровня Соссюра в первоначальных, простых определениях онтологии и метода. Языковедческие штудии Щедровицкого 60–70-х годов – реакция на сумбур, возникший в лингвистике непосредственно после структурализма.

б) Речевая деятельность

Первый переводчик «Курса общей лингвистики» на русский язык А.М. Сухотин в поиске эквивалента для термина *langage* («язык») в отличие от *langue* («язык») остановился на выражении «речевая деятельность». Справедливо считается, что перевод неточен, а лучшего варианта не предложено. Но это выражение принял Щедровицкий; надо думать, что он знал, что такое *langage*, но независимо от задач перевода он стал бы настаивать на том, что *langage* надо мыслить, переосмыслить именно как речевую деятельность (что по-французски было бы *activite langagiere*, но именно *langagiere* от *langage*, а не *langagiere* от *langue*).

Иначе говоря, когда мы говорим по-русски о языке вообще как определении человеческого существования, а не о языках русском, французском и т.д., надо главное усилие понимания направить на речевую деятельность. Именно в ней язык обнаруживает себя как язык.

Теория речевой деятельности в 60-е годы обсуждалась отечественными языковедами в связи с проблемами психолингвистики. Щедровицкий готов был обсуждать и эту проблематику,¹⁶ но свою главную задачу видел в том, чтобы определить речевую деятельность в контексте общей теории деятельности.

В теории, деятельности должен, по Щедровицкому, быть схвачен тот принципиальный момент, что любая деятельность полипроцессна. В культурно-историческом представлении деятельности основным является процесс воспроизводства парадигматических норм действий. Приняв это как функциональное определение, мы можем в рамках механизма воспроизводства ставить вопросы о внутреннем устройстве деятельности как системы. И Щедровицкий утверждал, на мой взгляд с полным основанием, что в анализе реальных процессов речевой деятельности эта схема должна быть соблюдена.¹⁷ Деятельность культурно укоренена, но в синтагматике реальных речевых процессов, кроме множественной парадигматики норм, работают факторы индивидуальности участников.

Идея полипроцессности речевой деятельности была одновременно выражена Джоном Остином в его лекциях о речевых актах. Остин тоже вдохновлялся идеей построения общей теории деятельности, но в британской аналитической традиции. Смерть поме-

¹⁶ См.: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 360–366.

¹⁷ См.: Там же. С. 364.

шала ему. Он не успел серьезно продвинуться в этом деле, но мне представляется, что в любом случае решения британских аналитиков в исследовании деятельности будут простоваты на фоне СМД-методологии. Однако присмотримся к полипроцессу у Остина.

Речевой акт должен, по Остину, определяться как тройной: а) локуция; т.е. осуществление языкового выражения с его значением; б) иллокуция; т.е. реализация стандарта речевого акта (сообщение, просьба, вопрос, заявление и т.п.); в) перлокуция; т.е. произведение некоего внешнего эффекта.

Например, я сказал «Убью гада!», и тем самым я ему пригрозил, и тем самым перепугал его, и тем самым..., и тем самым... Перлокуция может быть многоступенчатой – как вообще последствия акта могут образовывать цепь.

Я не знаю, обсуждалась ли методологами специально теория речевых актов Остина, но в их дискуссиях, независимо от Остина, Серля и других британских аналитиков, вполне стандартным приемом были вопросы о деятельностном содержании речевых актов: «Ты сказал вот это, – что ты тем самым сделал?». Заметим, что ответ автора акта свидетельствует о его интенции, тогда как эффект акта может быть другим: «Он делал то-то, а фактически сделал вот это». Иначе говоря, намерение говорящего, реакция слушающего и деятельностное содержание высказывания в отображении на ситуацию могут быть тремя разными «интенциями», – момент, который у Остина–Серля и следовавших за ними прагматингвистов учитывался совершенно недостаточно. Но он в явной форме разыгрывался в методологических дискуссиях в СССР. Однако это на практике. Каким образом должна писаться прагматика речевого акта и, методологически точнее, теория речевой деятельности, – этот вопрос, занимавший Щедровицкого, в текстах методологов развития не получил.

Если мы абстрагируем речевой акт от его отправителя и получателя, он тоже несет интенцию. Иллокуции, как знаки, тоже конкретны и несубъективны. Если один из писателей, выступивших с осуждением Бориса Пастернака на заседании Московской писательской организации, в 1958 году, утверждает потом, что у него не было такого намерения, он-де только «выполнял партийное поручение» (Советская культура, 1988 г.), из этого вовсе не следует, что осуждения не было. Акт этого участника по жанру, т.е. по парадигматической норме, был актом осуждения, «дамнативом». Если мы строим на-

учную психолингвистику, объясняющую речезыковое поведение человека, то знание о нем должно учитывать социокультурную парадигму, относительно которой индивид проявляет себя как субъективный и делает то и не то, что он делает. А устройство социокультурной парадигмы – не предмет психологии, оно постигается герменевтически; поскольку речь идет о системах деятельности, то это – та герменевтика, которая органически входит в методологию.

Мне представляется (насколько я понимаю, вполне в духе мышления Щедровицкого), что необходимо обсуждать в этой связи не только отношения лингвистики и психологии, но (может быть, даже в первую очередь) отношения лингвистики и социологии или даже по ту сторону вопросов о возможных научных синтезах отношения языка и социальности. Здесь мы встречаем продуктивную подсказку со стороны Юргена Хабермаса, представителя другой, чем СМД-методология, линии неомарксизма.

Примерно в 1970 году Хабермас поставил вопрос «О лингвистическом основании социальных наук» и прочитал об этом специальный курс лекций в Принстонском университете.¹⁸ Хабермас ставит вопрос об условиях возможности социальности вообще, намечая в перспективе перестройку социологии на более фундаментальном основании, чем до сих пор, и приходит к решению о коммуникативной основе всякой социальности. Атом социальности создается коммуникативным (речевым) актом. Нет надобности повторять здесь его аргументацию, связанную с преодолением и продолжением понимающей социологии, равно как и мою альтернативную аргументацию.¹⁹ Задержимся на ключевом моменте, по поводу которого должны бы вступить в диалог два направления неомарксизма.

Хабермасу в той попытке «перепостроения исторического материализма» нужна была лингвистика, для которой открылось место в основании онтологии социальности. Но эта лингвистика лишь проект, поскольку ни одна из существующих лингвистических систем в этой роли выступать не может. В ней тип мышления заимствован у Хомского (замысел «порождающей теории общества»), принцип категоризации речевых действий – у Остина и Серля, по-

¹⁸ Немецкий оригинал: Habermas J. Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt a.M., 1984.

¹⁹ См.: Литвинов В.П. О лингвистическом основании социальных наук // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 1998. № 3. С. 10–14; 1999. № 2. С. 54–58; 1999. № 3. С. 34–37; 1999. № 4. С. 13–18.

нятие «грамматики» – у Витгенштейна, который, как мы помним, мыслил в синтезе языка и формы жизни. Синтез Хабермаса основан на социологии, еще не существующей в этом виде, и сомнительно, может ли он быть реализован. Понятно, что, например, универсальная прагматика, «врожденная» обществу (по аналогии с Хомским), не существует как знание, и неизвестно, состоятелен ли желаемый конструкт. Ясно, что речевой акт должен быть рассмотрен материалистически (как базовая категория, альтернативная недостаточно фундаментальной «практике» у Маркса, ведь практика вторична относительно мышления), – но здесь не обойтись без обращения к вопросам о смысле и содержании в их материальном бытии. Ясно также, что аналитика Витгенштейна не рассчитана на теоретическое перевыражение, и его понятие грамматики работать не будет, поскольку эта «грамматика» попросту не пишется и не должна писаться.

Совершенно очевидно, что по сложности задача Хабермаса относится к классу таких задач, какие в то время решались методологами в СССР. Наследник Франкфуртской школы не располагал средствами для решения таких: вопросов. Он вышел из положения, оставив в стороне вопрос о лингвистическом основании социальных наук и переключившись целиком на построение теории коммуникативной деятельности, молчаливо предполагая, видимо, что те, более ранние вопросы, если будет надобность, как-то будут решаться.

К проблематике коммуникации и к мышлению Хабермаса мы еще обратимся в четвертом разделе, а пока нам надо вернуться к размышлениям о речевой деятельности в ее отношении к жизненному миру. В мышлении Щедровицкого и заданной им традиции вопросы о фактичности смысла, значения, содержания ставятся и решаются как вопросы осуществления в материале того, что сначала реально как слово и как задача. «Смысл» как культурный смысл осуществляется в такой-то (схематизируемой с человеческими фигурами) системе отношений. В герменевтически обращенной версии – аналитика смысла возможна как реконструкция отношений, имплицитных и порождающих смысл. Смысл как условие возможности самих этих отношений – третья версия мышления на материале этих же конструкций. Это относится к тем средствам, отсутствие которых у Хабермаса мы констатировали.

Напомню одно из схемотехнических решений такого рода вопросов. Частые в методологической мыслительной работе трехслойные схемы включают, например:

- нижний слой: деятельность, которая может быть согласованной между фигурками;
- средний слой: речь по поводу деятельности, помогающая восстановить согласованность;
- верхний слой: речь по поводу этой речи, категоризирующая в мышлении отношения второго и первого слоя как знаковые отношения, т.е. объективно-содержательные.

На самой схеме изображены только фактические материальные образования, но в нижнем слое мы говорим не о «поведении», а о «деятельности» именно потому, что этот слой интерпретирован вторым слоем; мы говорим о «речи», а не о «сигналах», потому что все это – по поводу деятельности и оснащено метаречью; и мы говорим о «мышлении» по функции метаречи относительно отношений речи и деятельности. Возможный ответ Хомскому: если что-то врождено человеку, в отличие от животного, то это – способность выстраивать отношения, в которых материальные акты проявляют себя как акты смыслополагания. Возможный ответ Хабермасу и, походя, философской антропологии: все остальное в человеке – развитие этой способности в стаде, в результате чего человеческое стадо преобразуется в социум. Верно и обратное: уже наличная социальность воспроизводит и изоцирует эту способность человека-биоида. Далее, в зависимости от уточненного вопроса относительно слоев первого и второго мы получаем «смысл», «значение», «содержание» в их реальном бытии. Разумеется, мы полагаем, а не отражаем эту реальность, но мы называем ее именно реальностью, потому что в ней перечислены онтологически необходимые условия реального события, или даже существования смыслов, значений и содержаний.²⁰

Важно, что Щедровицкий и методология, в отличие, например, от Хомского и всякого рода когнитивистов, не апеллирует к голове и мозгу, в которых, разумеется, заложены биологические предпосылки мышления и речи, – но ничуть не более того. Речь

²⁰ О постижении реальности через полагание см.: Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 524–525 и далее по тексту.

происходит между людьми, мышление (как говорил Щедровицкий, нечаянно повторив Пирса) происходит на доске. Цитата:

Я все время настаиваю на том, что мышление людей есть функция от используемых ими знаковых средств, а отнюдь не функция нашего сознания. Человек мыслит не головой, а вещами и знаками...²¹ и т.д.

В традиции мышления Щедровицкого речевая деятельность заслуживает особого внимания, если верно, что существование человека и как социального, и как культурного, и как мыслящего существа коренится в каких-то свойствах того эмпирического факта, что «человек говорит». Схематизмы методологии – и пока никакая другая школа науки и мышления – делают возможными ответы на вопрос, что значит, что человек говорит.

Хабермас был прав в 1970 году: лингвистика должна быть вызвана к барьеру. И если лингвистика сегодня не может ставить главных вопросов о языке, следует требовать, чтобы она (она?) научилась это делать завтра. При этом Хабермас видит новые задачи лингвистики не в полном объеме, а только под углом зрения критики социологии. Вопросы Щедровицкого фундаментальнее.

Хабермас не поставил вопрос, который в его ситуации поставил бы методолог: об онтологии социального факта. Старое определение Дюркгейма в терминах обыкновений как «вещей» едва ли может быть принято как онтологическая картина. В русле идей Хабермаса следовало бы возобновить вопрос «Из чего состоит общество?», когда-то отвергнутый Марксом в его отрицательном определении: общество не состоит из индивидов; общество – это категория, выражающая отношения... и т.д. Поскольку в XX веке и далее социология существует как эмпирическая наука, приходится опять спрашивать: из чего же состоит реальное общество? Минимальный морфологический набор в русле идей Хабермаса такой: общество состоит из людей и текстов. Тексты как следы коммуникативных актов и как реифицированные смыслы присутствуют в пространстве жизненного мира и социальной системы в качестве категоризаторов и осмыслителей форм жизни. Как человек подни-

²¹ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 343.

мается над стадностью? Произнесенное слово, независимо от конкретного смысла, делает действительность отношений обсуждаемой. Уточним: не тот факт, что слово говорится, а тот следовый факт, что оно сказано, что оно присутствует в ситуации как сказанное перед этим, истинно важен. Видимо, этот момент когда-то был схвачен античными языковедами в понятии «лектон», стоики отвели «лектону» место в своей системе семиотических понятий. Но мы знаем о значении этой категории только на основании косвенных свидетельств, поэтому можем считать, что это мы, озабоченные проблемой Хабермаса, вводим понятие «лектон», т.е. «сказанное», и предлагаем рассматривать язык не как грамматику (Хомский), не как деятельность (Остин), не как словарь (расхожее представление), а как «лектику», т.е. знание о следах речевых актов, присутствующих в социальной фактографии в качестве социогенных.

Хорошее это решение или плохое, в данный момент неважно, не в этом задача данной публикации. Важно то, что определенным образом устроенное мышление, называемое методологическим, позволяет производить научные новации в точном соответствии с проблемной ситуацией и независимо от рамок сложившегося научного предмета. Заметим, кроме того, что даже плохое решение может проявить себя как продуктивное в разработке. Если главная форма «лектона» – печатный тиражированный или устный паремический текст, то постоянное присутствие лектона определяет и возможность социальной системы (тексты законов), и возможность социальных обыкновений (народная мудрость).

У Щедровицкого не было понятия *лектона*, но он иногда говорил о «речевых текстах». Однако вопрос о тексте должен быть рассмотрен нами более основательно.

в) Текст

Щедровицкий многократно говорил «текст», указывая на схемах на стрелку от говорящего к воспринимающему. Тем самым он в своих анализах деятельности как бы отделял лектон от акта, то, что сказано, от того, что тем самым сделано или делается. Наверняка он осознавал условность такого употребления слова «текст», поскольку иногда обсуждал и текст как таковой, например, на конференции 1974 года по «лингвистике текста» в Москве. Оправдание для условного использования слова «текст» в том, что высказывание

дискутанта можно записать; тогда оно изымается из актуальной ситуации и анализируется как материализованный смысл по отношению к памяти о ситуации. Таким образом, нельзя сказать, что Щедровицкий некорректно употреблял слово «текст», но можно определенно сказать, что тексту как таковому (феноменологически: тексту как тексту) он не придавал того значения, которого текст вроде бы заслуживает в деле, основанном Щедровицким. Я сделаю мою попытку восполнить этот пробел, понимая, что сам Щедровицкий сделал бы это иначе и, видимо, лучше.

Если речевая деятельность – форма события языка, в одном из модусов, то текст – форма его существования, не единственная, но повсеместная. Теоретическая лингвистика принимала текст как источник языкового материала, а когда решила принять его как объект, то просто соединила его с речью, назвав «текстом» любое связанное образование в любом материале языка. Как и в случае с Щедровицким, лингвиста надо оправдать: это употребление корректно в той мере, в какой всякая речь может быть записана и проанализирована как текст. И пока речь идет только о целостности и связности больших речезыковых образований, такое силовое соединение может быть оправдано. Но есть давно поставленные в культуре и частично забытые вопросы, обсуждение которых требует брать речь как речь, а текст как текст и не позволяет их смешивать. К ним относятся уже известные нам вопросы о возможности знака и о возможности грамматики.

Еще в V веке Блаженный Августин, фактический основатель семиотики, различавший знаки и метазнаки (правда, не употребляя этого термина), задался вопросом, каким образом знак может существовать. Ведь слова улетучиваются, соприкасаясь с воздухом, и длятся не дольше, чем их звучание; поэтому люди «с помощью букв сделали из слов знаки». Так звуки голоса, говорит он, становятся видимыми для глаза, но не как звуки, а как знаки. Важнее, добавлю я, что они теперь могут присутствовать не как память о сказанном, а как сказанное в собственной форме существования. В «Грамматике Пор-Рояля» XVII века еще есть отголоски решения этого вопроса Августином, а последующая лингвистика отбросила его как несущественное. «Фоноцентризм» современной лингвистики (Деррида) диктовал ей понимание письменных форм как всего лишь дублирующих устный язык.

Мы в нашем втором разделе обратили внимание на то, что грамматика, определяющая язык как феномен, сама возможна только по поводу записанного языка-речи, т.е. на материале текста, и сама она возможна лишь как текст. Размышляем ли мы о грамматике или о знаке в аспекте условий их возможности, мы в обоих случаях приходим к тому, что письмо феноменологически первично. Проблеме первичности письма посвящена одна из ранних книг Жака Деррида о «грамматологии». Деррида – современник и ровесник Щедровицкого, Хабермаса и Хомского, но дело не только в том, что интересно устанавливать между ними коммуникативные отношения, в которые реальные люди почти или совсем не вступали. Деррида при всей экстравагантности и, я бы сказал, недостаточной самодисциплине его мышления, прошел школу феноменологии Гуссерля и вопросы ставил на уровне своего времени. Его вопрос о грамматологии существенно дополняет наши вопросы о знаке и лингвистике, – при том, что истинной методологии у него еще меньше, чем у Хабермаса или Хомского.

Чтобы лучше понять идею Деррида, спросим для начала, что, собственно, происходит, когда мы уже вроде бы существующий языковой знак наделяем еще одним знаком, письменным знаком того звука, который значит. Пока лингвисты натуралистически изолируют звуковой язык, они отвечают, что ничего особенного не происходит, язык остается тем же самым языком. Но если мы восстановим ту позицию, с которой язык «до письма» был определен как «этот самый» язык, мы обнаружим, что как раз этого до письма не было. Язык, если его понимать как парадигматическую систему возможностей речи, записан. В этом качестве он понятен. Натуралистическая точка зрения на язык требует, чтобы языковед был исключен как «субъективный фактор», а язык как «объект» при этом мыслился бы в том же качестве, в котором он понятен в записях языковеда. Не будем спешить с утверждением, что это невозможно. Это можно себе помыслить в том случае, если предположить, что фактор, оформляющий язык нужным образом, заложен в самой природе языка как речевой деятельности, т.е. что язык в себе несет начало письма. У Деррида французское слово *écriture* обозначает и известные формы письма, и этот домысливаемый фактор, абстракцию, позволяющую в океане речи усматривать язык, например, в виде системы знаков. Я предложил не расширять в манере

Деррида традиционное понятие письма, а абстракцию, введенную им, назвать «скриптурой», т.е. возвести французские слово к его латинской основе и в этой форме далее обсуждать.²²

Как мыслить язык в терминах скриптуры? Самая явная трудность здесь заключается в известных исторических фактах. Мы знаем, когда и как создавалось большинство из систем письма, и знаем, что в них кодировался уже существующий язык. Но как быть с бесписьменными языками? Деррида дает единственно возможный для его подхода ответ: это иллюзия, бесписьменных языков не бывает. В наших терминах: не бывает языков доскриптурных. И это значит, что надо отвечать на вопрос: каким образом материально реализована скриптура в тех языках, где не институционализировано письмо?

В порядке мысленного эксперимента представим себе древнего методолога, который мыслит по Щедровицкому и говорит, например: «На самом деле знаков еще никогда не было. Но была идея знака и связанные с ней жизненные смыслы. Мы должны принять установку на создание условий и специальных средств, которые могут превратить "знак" в предмет мысли и реально существующую вещь». Результатом методологических усилий будет в лучшем случае инскрипция (буква, иероглиф), но нет никакой естественной необходимости именно в таком решении. Однако что же еще возможно? Деррида говорит: рисунки, зарубки, насечки, узелки и прочие средства запоминания, относительно которых выстраиваются и движутся жизненные и речевые смыслы, – но это, говорит он, только часть дела, верхняя часть айсберга. Поиск фактов скриптуры – не наше дело, оставим эту эмпирическую задачу этнографам, а себе оставим идею.

Самое важное преимущество концепции первичности скриптуры заключается в том, что теперь можно мыслить знак и язык без всякой мистики. В инскрипции знак делается существующим, присутствующим в мире, до инскрипции он в лучшем случае происходил (совершался). Можно ли нечто происходящее назвать «знаком»? Не будем спешить с отрицательным ответом. Видимо, можно – в том случае, если в знаке узнается норма знака. Можно ли помыслить норму знака при отсутствии письма? Да, если функцию, которую мы обнаруживаем у письма, будет выполнять другой род скриптуры.

²² Литвинов В.П. Метаграмматический трактат. Пятигорск, 1998. С. 188.

Начальные условия скриптуры, делающие возможным знак как таковой, внятно эксплицируются на трехслойных схемах методологии. Можно сказать, что только такое высокоорганизованное существо, которое способно производить сигнал по поводу сигнала, звук-2 по поводу звука-1, способно отнести звук-1 к чему-то, выбранному произвольно, – как его означаемое; это существо способно к языку, т.е. способно с помощью звука-2 задержать во времени звук-1 и сделать его присутствующим в ситуации, а ситуацию – осознанно наличествующей за счет означивания. Эту идею можно возвести к гердеровскому трактату о происхождении языка, но истинное ее развитие, и теоретическое, и оргдеятельностное, возможно на схемах МД, на которых легко показывается то, что даже Жаку Деррида так трудно выговорить. В частности, схема-трехслойка удостоверяет утверждение Деррида, что мистика знака преодолевается концепцией «игры означающих», «означающего для означающего», где «означаемое» разоблачается как фетиш (денотат не обязателен). Знак возможен как конституированный через метазнак, т.е. скриптуру, и это значит, что никогда не было «естественного языка».

Записанное слово не обречено на существование в качестве знака. Оно освобождается от своей знаковости и опять выступает как слово, в том числе в записанной форме, но в любое время может снова быть сделано знаком, например, в мышлении. Знак, говорил Гумбольдт, это логический заместитель слова.²³

Напротив, записанная речь становится текстом, чтобы оставаться текстом. Текст, воспроизведенный устно, есть звучащий текст, а не речь в точном смысле слова. Текст – самостоятельный феномен человеческого мира. Письмо делает возможной фиксацию речи в виде текста для подъема в культуру, но сама эта возможность непосредственно вызывает к жизни тексты, которые уже не являются записанной речью, а сразу претендуют на место в культуре, в мировой библиотеке.

Щедровицкий иногда интерпретировал понимание текста в точном соответствии с пониманием речи: я понял «это» в том случае, если теперь знаю, как мне действовать в ситуации.²⁴ Не отрицая осмыс-

²³ Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 317 и др.

²⁴ См. его опубликованное выступление в пятигорском семинаре «Герменевтика»: Щедровицкий Г.П. Герменевтика: проблемы исследования понимания [«Дискуссия в Пятигорске»] // Вопросы методологии. 1992. № 1–2. С. 97–122.

ленности такого решения, я считаю его частным. Считаю методологически целесообразным задержаться на феномене чтения, в свете которого феномен текста может быть понят более основательно, ибо текст, очевидно, характеризуется построенностью под задачу чтения, в его устройстве сняты интенциональности читателя и автора.

Особенность акта чтения определяется тем, что читатель смотрит на язык сообщения, имея его перед собой в пространстве, тогда как в устной речи он только слышит его во времени. В письменной речи (тексте) сказанное (смысл) дано вместе с механизмом смыслового накопления. Другая особенность заключается в том, что содержание текста не завязано на ситуацию; ситуация чтения отдельна от общения и жизнедеятельности, в ней выстраивается понимаемый мир, альтернативный актуальному. Как обсуждать эти явления методологически?

Щедровицкому его молодые поклонники часто задавали вопросы, общий смысл которых можно выразить так: «Как можно стать умным?» У методолога был на эти случаи стандартный здравомысленный ответ: «Надо читать хорошие книги». Этот нерerefлектированный совет как раз в нашем случае заслуживает анализа и приведения к эксплицитному смыслу.

В понимании сообщения базовым условием является владение языком, т.е. узнавание слов в конструкциях с их значениями. Это равно значимо для восприятия на слух и для чтения. Но собственно понимание как таковое происходит как распознавание интенции сообщения: в устной речи в отображении на общую ситуацию говорящего и слушающего, в чтении же оно означает реконструкцию, «вычитывание» из текста его «мира». Обсуждать особенность чтения как мыследеятельности следует, соответственно, на таком материале, где этот «мир» нетривиален, т.е. на более или менее тщательно сотворенных текстах, «хороших книгах».

Перед читателем – вязь слов, в которой он узнает язык и должен «извлечь смысл». Метафора извлечения создает иллюзию фактического присутствия смысла в тексте. Но методолог (равно как и герменевт, и французский семиолог) знает, что смысла в такой плоской действительности нет. Мышление читателя является «респонзивным» (термин Б. Вальденфельса): он принимает текст как смысловой вызов и должен провести работу над собой, чтобы сделать себя сомасштабным этому тексту. Читатель строит свою собственную мыслительную

конструкцию таким образом, чтобы лежащий перед ним текст мог быть выражением его, читателя, мысли. Когда он этого достигает, он «понял текст», хотя этим не гарантировано совпадение его мысли с мыслью создателя текста; но такое совпадение и не нужно, и вообще задача тождества двух мыслей бесперспективна и избыточна во всех случаях, что в принципе было понято уже Гумбольдтом.

Я настаиваю на значимости читательской, а не авторской интенциональности в определении феномена текста. Хотя читатель исходит из пресуппозиции авторства («Что он хотел нам сказать?»), а автор в свою очередь предвосхищает позицию читателя, отрабатывая свою конструкцию с точки зрения читающего, и в этом смысле каждый из них представляет обе релевантные точки зрения на текст, однако же для пишущего автора текст существует в будущем, в замысле, т.е. в модусе возможности; для читателя текст существует в настоящем как написанный в прошедшем, т.е. в модусе действительности. Именно для читателя текст уже есть текст, «в соединении интенциональности с очевидностью» (выражение феноменолога В. Орта).

Методология принципиально берет существование человека в мыследеятельности с его культурным измерением. Широко дискутировалась «схема воспроизводства деятельности и трансляции культуры», изображавшая параллельно два отдельных процесса: слева – цепочка последовательных, социетальных ситуаций, справа – цепочка последовательных культурных образований. Процессы должны моделироваться по отдельности, поскольку каждый протекает в своем времени (они «гетерохронны», как говорил Шедровицкий). Но методологи зачастую допускали в обсуждении этой схемы ошибку, спрашивая, как связаны или взаимодействуют эти два процесса. Решаюсь утверждать, что никаких реальных отношений, которые можно выявить, не следует предполагать, если заданы две отдельные действительности, хотя и живущие реально на общем материале. Корректный вопрос – это вопрос об установлении из третьей позиции отношения их взаимной интерпретации. Иначе говоря, мы проводим вертикальную черту, помечающую, что эти две действительности взаимно ортогональны, и на третьей плоскости под ними полагаем фигурку методолога-герменевта, который набрасывает смысловые скобки на отбираемые им предметы из левой и правой плоскостей. Функция фигурки, если ее перевыразить теоретически, это функция работающего логоса.

Применительно к общей проблематике языка правдоподобны следующие начальные решения: речевая деятельность действительна на левой плоскости, текст – на правой; знак действителен на левой плоскости, слово – на правой; коммуникация обсуждается на левой плоскости, чтение, как и создание текстов, – на правой, это участие человека в жизни культуры. Это – очень сильное упрощение; приняв его, мы должны далее находить и обсуждать смещенные явления типа знака в культуре и слова в жизни, и так далее. Но начальная идеализация задаст нам нужные опорные точки. После этого можно на новом основании обратиться к вопросу Щедровицкого о месте текста в деятельности и ее организации. Его утверждение, что понять текст значит знать, что теперь делать, относится к смещенным явлениям и не должен быть принципиальным ответом на вопросы о чтении.

Нам осталось опросить, чем все эти представления и положения отличаются от модной в 60–70-е годы «лингвистики текста». В 1974 г. Щедровицкий отделил вопросы лингвистов, касающиеся связи предложений в большее целое, от их вопросов, нацеленных на текст как таковой.²⁵ Если в первом случае они могут оставаться в рамках своей прежней традиции, то во втором им следует ставить вопрос о других онтологиях, как «переводить на язык лингвистики то, что в реальной речи и в тексте существует как их логические, предметно-онтологические и т.п. аспекты». Ибо всякий текст «вплетен в множество разных деятельностей и существует как текст лишь благодаря тому, что он имеет определенные функции в этих деятельностях».²⁶ Это относится равным образом к любым связным высказываниям, устным и письменным. Я бы добавил к этому, что текст в его первичной парадигматической форме, т.е. как письменный текст, предполагает наряду с социально-деятельностным еще и культурное «измерение в объекте».

Излишне говорить, что слово «объект» здесь употреблено условно, только в связи с претензией лингвистики текста на статус науки.

Текст не объективируется, как, надо думать, и речевая деятельность, и знак. Напомню созвучное замечание Деррида, что наука о знаке означала бы «науку о самой возможности науки», т.е. была бы разве что грамматикой.²⁷

²⁵ Щедровицкий Г.П. Как возможна «лингвистика текста»: две программы исследований // Лингвистика текста. Материалы научной конференции. М., 1974. С. 197–205.

²⁶ Там же. С. 203–204.

²⁷ Derrida J. De la grammatologie. Paris, 1967. P. 43.

4. Коммуникация как мыслекоммуникация

Несмотря на то, что мысли Щедровицкого о коммуникации рассеяны по его разным работам и не представлены в систематизированном виде, я считаю его одним из наиболее значительных теоретиков коммуникации, по содержательности решений вполне сопоставимым с Хабермасом, и мне представляется несомненным, что он – самый значительный практик-экспериментатор в области коммуникации.

На важность коммуникации при анализе языкового мышления Щедровицкий обращал внимание уже в своих ранних работах. Но к конструированию понятия он перешел лишь около 1970 года в связи с осмыслением проблем педагогики и психолингвистики (как теории речевой деятельности). Он никогда не приравнивал коммуникацию просто к диалогическому взаимодействию или обмену информацией. В статье «Смысл и значение» достаточно сложная схема речевого взаимодействия, правда, обозначена как «акт коммуникации», но к этому замечено, что полное системное понятие коммуникации остается открытым вопросом.

Решительное углубление и усложнение понятия происходило в контексте проблематики рефлексии в 1972–1975 годах. Рефлексия традиционно, в том числе у методологов, связывалась с актом индивидуального интеллекта; теперь Щедровицкий обсуждает и определяет ее онтологическое место как функции в системах мыследеятельности, с разным отношением к деятельности, мышлению и пониманию. В этой связи и феномен коммуникации начинает мыслиться поверх конкретных интеракций, уже не как средство, связывающее индивидуальные интеллекты, а как момент в мыследеятельном целом, конституирующий сам интеллект.²⁸ Здесь оправдана аналогия с понятиями «трансцендентального субъекта и «трансцендентальной интересубъективности» у позднего Гуссерля, – но, подчеркнем, не более чем аналогия на общем фронте так называемого «антипсихологизма».

Я сознательно выношу за скобки сложную проблематику взаимных отношений интеллектуальных функций, разрабатывавшую

²⁸ Я придерживаюсь формулировок, использованных Г.П. Щедровицким в одном из докладов 1976 года; см.: Щедровицкий Г.П. Механизмы работы семинаров Московского методологического кружка // Вопросы методологии. 1998. № 1–2. С. 129–130.

ся в 70-е годы. Я намекнул на нее, чтобы сразу сделать переход к тому решению с «базовой схемой МД», которую сам Щедровицкий в течение нескольких лет считал окончательным теоретическим решением для проблемы мыследеятельности. В этой теории коммуникация определяется как «мысль-коммуникация (М-К)» или «мыслекоммуникация (МК)».

Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению этого понятия, примем в соображение, что во второй половине XX века сложилось много понятий коммуникации, а также что в языковедении вообще и в лингвистике в частности бытовали упрощенные понятия и коммуникация понималась как диалогическая речь, или как разговорная речь, или даже как передача информации (в манере англ. *communication* от выражения *to communicate smth. to smb.*). В прагматической лингвистике начали складываться более интересные представления о коммуникации как споре, аргументативном дискурсе и т.п. Но феноменологический вопрос о коммуникации как таковой, по полному понятию, ни в лингвистике, ни в информатике поставлен быть не мог. По аналогии с приемами мышления Щедровицкого при обсуждении им деятельности и рефлексии, мы должны признать, что:

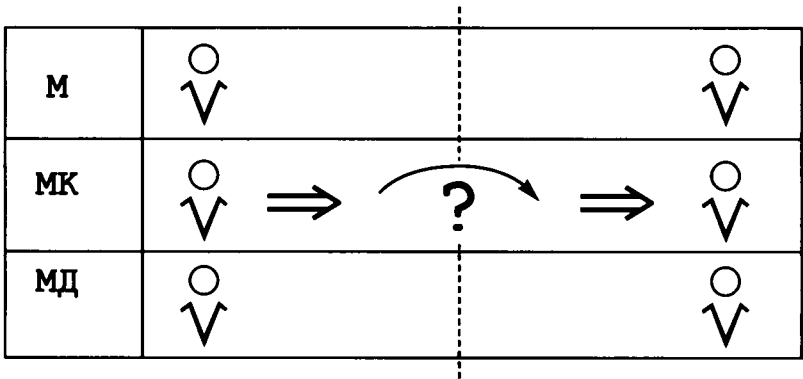
- полное понятие не может быть получено суммированием или синтезом понятий, каждое из которых оправданно существует в его собственном контексте;
- исключение тех или других понятий во имя непротиворечивости оставленного «хорошего» набора признаков – прием возможный, но не для методолога, признающего оправданность разных частных решений в частных практиках;
- полное понятие конструируется на основании методологического, т.е. конструктивного выявления/полагания смысла коммуникации и оргформ ее материального осуществления. Наш конструкт будет изображением коммуникации по полному понятию и будет состоятельным, если всякие частные понятия коммуникации будут им интерпретированы как сокращенные, модифицированные (или даже извращенные – почему нет?) по логике той практики, в которой они фигурируют.

Понятие «мыслекоммуникации» Щедровицкого отвечает этим требованиям. Его можно соотносить с понятием коммуникации у

Мориса Мерло-Понти и Юргена Хабермаса, что мы и будем делать по ходу изложения. Но бесполезно соотносить его с бесчисленными частными понятиями: слишком велик перепад в уровне притязаний. Может ли лингвистика, привыкшая к упрощенным понятиям коммуникации, брать уроки у этих авторов, «штурмующих небо»? Оставим пока этот вопрос без ответа. Заметим, между прочим, что Щедровицкий обсуждал проблематику коммуникации (по полному понятию) не в связи с языковедением, равно как Мерло-Понти и Хабермас свои теории не считали лингвистическими.

Место мыслекоммуникации в мыследеятельности показывается на трехслойной «базовой схеме МД». ²⁹ Я воспроизвожу ее без деталей, показывая только важный для нас принцип ее конструкции:

Схема МД Г.П. Щедровицкого (контур)



На схеме по вертикали расслоены: а) деятельность, б) коммуникация, в) мышление. Деятельность помечена как «МД», т.е. мыследействие, коммуникация – как «МК», т.е. мыслекоммуникация, мышление как «М», что значит чистое мышление. Схема читается как феноменологическая, т.е. все ее категории есть то, что они есть, с точки зрения других категорий. Действование является деятельностью (а не поведением или суетой), поскольку определяется в этом качестве коммуникацией, оснащенной мышлением. Мышление есть мышление по полному понятию, поскольку оно предметно содержательно через его

²⁹ См.: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 133, 287.

функциональное отношение к деятельности, опосредованное коммуникацией. Коммуникация есть мыслекоммуникация (а не просто разговор) по поводу деятельности на основе мышления. Все эти отношения возможны в этом качестве, поскольку горизонтальное измерение схемы рассечено вертикальной пунктирной линией: в каждом слое – интеллектуальное напряжение, ибо есть минимум две позиции (а по сути надо мыслить много); мыследеятельность плюралистична, мыслекоммуникация полилогична в смысле многих логик.

Щедровицкий замечал, что вместо «мыследействие» можно говорить просто «деятельность», а вместо «мысль-коммуникация» просто «коммуникация», ибо это и есть деятельность по сути и коммуникация по сути. Но методологу приходится добавлять эту квазиприсуказку *мысле-*, чтобы его высказывания/тексты не прочитывались с расхожим смыслом. Я в дальнейшем буду говорить просто «коммуникация», имея в виду это полное понятие по Щедровицкому.

Обоснование схемы МД вдвойне сложно: требуется учет развития представлений в Московском методологическом движении, включая 70-е годы, и предполагается знание об устройстве организационно-деятельностных игр (ОДИ), в ходе которых в начале 80-х годов было завершено построение схемы с ее полной интерпретацией. ОДИ – это тот великолепный эксперимент, который в чистом виде удостоверяет состоятельность понятий, поскольку эта схема, используемая как оргдеятельностная рамка, делает возможными различимые и удостоверяемые по сути процессы мышления, рефлексии, коммуникации. Я опять ограничиваю собственное изложение и отсылаю читателя к соответствующим очеркам.³⁰

Итак, схема окончательно сложилась как техническая, оргдеятельностная, но сам Щедровицкий считал оправданным прочтение ее как теоретической, т.е. как схемы принципиального знания о мыследеятельности в жизненном мире человека. Это значит: в принципе (но не в конкретном жизнеосуществлении) культурная парадигма, соответствующая этой схеме, посажена на человеческую жизнедеятельность, в которой мышление, рефлексия, коммуникация всегда «размазаны» по социуму в полипроцессах и выступают в редуцированных, формах. Можно было бы сказать: так в принципе живет человек, но люди в реальности живут иначе.

³⁰ Вопросы методологии. 1996. № 3–4.

Фактически эти размышления перемещают нас в проблематику «гуманитарных технологий». Так вопрос поставлен в самое последнее время, и он считается содержательным, хотя очевидно, что негуманитарно то, что технологично, и наоборот. Практика ОДИ и обобщения, сделанные методологами на материале ОДИ, – это первый ответ на вызов, содержащийся в требовании гуманитарных технологий: ни мышление, ни коммуникация не могут быть предметом проектирования и, соответственно, не могут быть технологизированы. Но могут промысливаться и реализоваться технологически оргдеятельностные устройства, вроде ОДИ, которые делают возможными нетехнологизируемые события мышления и коммуникации. И экспериментальный опыт ОДИ может считаться технологически надежным культурологическим доводом в пользу коммуникации как центрального понятия в деле гуманитарных технологий.

Неслучайно проблема коммуникации принадлежит к наиболее широко обсуждаемым проблемам в современном мире. Хабермас, несомненно, наиболее влиятельный теоретик коммуникации в современном мире, изложивший свою концепцию на добрых трех тысячах страниц, настаивает на приоритете этой проблематики и новой «коммуникативной рациональности» в связи с прогрессирующим дроблением нашей общей культурной основы: морали, религии, логики и пр. В ситуации нарастающих конфликтов цельность мироустройства не может зависеть ни от каких политических программ и технологий, но она может всякий раз восстанавливаться локально за счет коммуникации.

Его собственная теория коммуникации подвергалась критике, однако же, именно как недостаточно реалистическая. Такой «коммуникации», которую он представил в своих книгах, как говорил, например, Пьер Бурдьё, в реальности просто нет. Это – то же самое соображение, которое мы привели в связи с теорией Щедровицкого: осуществив телекоммуникацию в ОДИ, он не может указать на ее прямые аналоги в жизни. Мне представляется, что критика такого рода не задевает существа дела. Если мы обсуждаем не претендующие на истину определения наличного мироустройства, а гуманитарный стандарт должного мира, тогда нормативная теория Хабермаса должна оцениваться на других основаниях.

Теория Хабермаса имеет много общего со схематизмами Щедровицкого. Коммуникация есть диалог по поводу дела с надстроенной метакоммуникацией, в которой формулируются и обсуждают-

ся значимостные притязания (*Geltungsanaprueche*) коммуницирующих сторон. Иначе говоря, у Хабермаса в его онтологии коммуникации есть все три слоя по схеме МД и есть вертикальный разрез, предполагающий разные позиции. Цель коммуникации – достижение консенсуса, но не взаимных уступок; консенсус может заключаться в том, что обе стороны поняли и зафиксировали, в чем они различны. Понимание – единственная цель коммуникативного действия, а все внешние цели требуют других действий, стратегических. Как у Щедровицкого, деятельность здесь оказывается полипроцессной, и процесс коммуникации следует как можно точнее выделять из более сложной действительности.

Коммуникацию надо отличать от спора. В споре приватизируется работа, в коммуникации участники озабочены совместным определением ситуации. Они «коммуникативно компетентны», если владеют метакоммуникативными приемами, и они «коммуникативно вменяемы», если основания собственных актов считают подлежащими критике в той же мере, что и основания оппонента. Последний момент чрезвычайно важен: хотя Хабермас очевидно рассматривает коммуникацию как взаимодействие индивидов, но они у него – не носители «сознания», а представители дела, которое должно быть согласовано с чужим делом.

Как говорил, заметно опережая по времени Щедровицкого и Хабермаса, французский философ Мерло-Понти, в коммуникации речь идет об «общем делании», но не об общем мире. Разумеется, коммуниканты благодаря взаимодействию делают себя свидетелями общего мира, но они в нем остаются двумя разными фокусами смыслообразования. Коммуникацию, по Мерло-Понти, также можно удобно интерпретировать на схеме Щедровицкого: «общее делание» – нижний слой, речевые акты – средний слой, рефлексия – верхний слой, слой взаимного заимствования мышления. Если на схемах Щедровицкого рефлексивные переходы (в моем изображении опущенные) помечаются отдельно для левой и для правой частей схемы, то Мерло-Понти решительно заявляет: только рефлексия-в-Другом есть содержательная рефлексия в коммуникации. Я должен схватить моей мыслью мысль Другого (насколько я способен это сделать), тогда моя коммуникативная инициатива будет содержательна для обоих.³¹

³¹ Эта часть теории Мерло-Понти предвосхищена в России кругом Бахтина. Ср.: «В слове я оформляю себя с точки зрения другого» (Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Л., 1929. С. 102).

Концепция коммуникации у Мерло-Понти, как и у Щедровицкого, не представлена специальным текстом, а рассеяна по разным работам,³² и ни Хабермас, ни Щедровицкий не заметили важного предшественника, который в ряде моментов их интересно дополняет или поправляет. Впрочем, Мерло-Понти со своей стороны не заметил Волошинова-Бахтина. Интерпретация этих различных концепций коммуникации как единого потока мысли – это, похоже, наша задача.

Важным у Мерло-Понти является аспект проработки проблемы «Я» (или, иначе, индивидуального сознания). Мерло-Понти отвергает идеализм сознания, решительно утверждая реализм мышления, и это объединяет его с Хабермасом и Щедровицким; не столь важно, что реализм мышления для Щедровицкого – это реализм знака, для Хабермаса – реализм акта, для Мерло-Понти – реализм жеста. Важен общий пафос, определяемый обычно (может быть, не совсем удачно) как «антипсихологизм». У Мерло-Понти именно в связи с проблематикой коммуникации для этого есть серьезные предметные основания: материальным условием коммуникации являются два отдельных, человека. «Сознания» между ними нет.

В отличие, например, от Мартина Бубера, у которого коммуникация – это путь к «Я», Мерло-Понти рассматривает «Я» как формальное условие коммуникации, и оно оказывается пустым местом. Поскольку «Я» дано «Другому» для начала просто как тело, говорящий, рефлектирующий в Другом (*a travers l'autrui*), не воспринимает самого себя как «сознание», он как бы отменяет предыдущий, дискурсивный опыт и должен собственное тело и слово сделать мыслью для другого в выразительном жесте. Если мы в традиции методологии рисуем взаимодействующие фигурки и рядом – табло сознания, тогда исходный мыслительный акт, по Мерло-Понти, должен быть стиранием табло, которое потом снова появится, заполненное сокоммуникантом, который дает аттестацию непустоты говорящему «Я». Сознание, как у Декарта, есть осознание, т.е. событие, а не данность; но, в отличие от Декарта, оно есть интеракционное событие. «Я» понимает себя в «Другом».

Разумеется само собой, что «Я» и «Другой» – функции в составе коммуникации, а то, что для Мерло-Понти может следовать из это-

³² См.: Merleau-Ponty M. *Phenomenologie de la perception*. Paris, 1945; Merleau-Ponty M. *Le visible et l'invisible*. Paris, 1964; Merleau-Ponty M. *La prose du monde*. Paris, 1969.

го в трактовке экзистенции, к сущности коммуникативного взаимодействия уже не относится.

Речевой акт (*acte de parole*) у Мерло-Понти есть по сути речезыковой акт, в отличие от Остина и прагмалингвистов. У Остина язык является целиком преданным и мир – готовым к употреблению институциональным установлением. У Мерло-Понти мир – горизонт возможного опыта, и мир одного коммуницирует с миром другого, создавая новые «поля опыта», поскольку существенно не то, что люди понимают друг друга, а то, что две ситуации понимают друг друга. В отличие от спора, где чужой мир отвергается, в коммуникации чужой мир присваивается с сохранением разных точек зрения; частью «Моего» мира мир «Другого» становится как чужой. В этой связи вспоминается замечание Щедровицкого об индивидуальных фокусах удержания общего содержания в результате успешной коммуникации (или коллективного мышления, что по сути то же).

Для Мерло-Понти из всего этого вытекает необходимость различать два модуса языка-речи:

langage parole – langage parlant;
parole parlee – parole parlante.

Само различие между языком и речью здесь несущественно. «Язык» в смысле сосюрювской «системы знаков» – это, говорит Мерло-Понти, совокупность следов проговоренных слов, для коммуникации же важен язык – *langage*, речевая деятельность (сказал бы Щедровицкий).

В отличие от «языка проговоренного», простого воспроизведения расхожих смыслов в расхожих обстоятельствах, «язык говорящий» есть гумбольдтовская «*энергея*», он работает как смыслопроизводящий. «Язык говорящий» принадлежит в первую очередь мышлению, поэзии – и коммуникации. Коммуникативная инициатива, начальный смысловый жест, должна быть «новым словом», или, по Гумбольдту, «работой духа». Духовный мир, по Мерло-Понти, не дан, он конституируется в коммуникации. Смысл слова заложен в акте-жесте, которым слово вступает в мир уже освоенных значений. Мысль и мир совершаются в слове.

Хабермас, по моему мнению, неоправданно пренебрег этим уже стандартным различием:

эргон – энергея (Гумбольдт)

Gerede – Sage

«болтовня» – «сказывание» (Хайдеггер)

parole vide – parole pleine (Лакан)

«пустая речь» – «полная речь»

parole parlee – parole parlante (Мерло-Понти)

Не отделив «болтовню» от «сказывания», что делает сегодня в разных терминах большинство философов языка, Хабермас сделал для себя невозможной интерпретацию речевых взаимодействий в реальных ситуациях. Впрочем, он не испытывал в этом потребности.

Щедровицкому же, всю жизнь поддерживавшему напряженное мышление в проблемных семинарах и ОД-играх, на практике все время приходилось отсеивать «болтовню» и культивировать «языковое мышление». Его просто не интересовал язык на холостом ходу, язык обязан быть смыслопроизводящим, «новым словом» в смысле Мерло-Понти. И насколько я могу судить, здесь был постоянный, никем не эксплицированный барьер непонимания между методологами и лингвистами. Лингвисты никогда не замечали, что они исследуют только «проговоренный язык», завершённую «систему» в готовом мироустройстве. Лингвисты, правда, замечают, что они попадают в странную область, когда обращаются к языку поэзии, который им приходится квалифицировать как сферу «отклонений».

Итак, наиболее значимые на сегодняшний день теории коммуникации построены вне лингвистики и не рассчитаны на адаптацию со стороны лингвистов. Но именно так возможно постижение: коммуникации по полному понятию. Все три главных теоретика здесь знают о наличии «болевого точки» в теориях коммуникации: теория языка в них отсутствует, но предполагается ее возможность как адекватной понятию коммуникации. На моей редуцированной схеме мыследеятельности я поставил вопросительный знак под дужкой, переброшенной от условного говорящего к условному слушающему. На схемах в цитированных, текстах Щедровицкого этого значка нет, но в дискуссиях именно он сам иногда его в этом месте располагал. Смысл этого жеста можно передать

вопросом: «Что здесь?» и переадресовать вопрос лингвистам, которые желают исследовать коммуникацию как таковую (а не разговорный диалог и т.п.).

Говоря на методологическом жаргоне, лингвист должен взяться за этот вопросительный, знак и вывернуть предмет «коммуникация» через подпространство «языковая анатомия коммуникативного акта». В отличие от изолирующих абстракций, методологическое «выворачивание» не обрубает схему, а переструктурирует ее, сохраняя в ее составе все, что необходимо определяет феномен коммуникация, и не нарушая конститутивных отношений между составляющими.

Я подчеркиваю: мы формулируем научно-техническую задачу для лингвиста на схеме методолога, и наш шаг конструктивной дедукции возможен только на схеме (ибо «мышление происходит на доске»).

Я подчеркиваю также: нет нужды принимать в качестве опоры других, не менее значительных теоретиков коммуникации, поскольку схема Щедровицкого в полной мере интерпретирует мыслительные конструкции Мерло-Понти и Хабермаса, но не наоборот.

Значит, если лингвистика нуждается в теориях коммуникации (я лингвист, но не хотел бы говорить за все сообщество), то именно в этой точке надо начинать работу, стерея, как в требовании Мерло-Понти, наш предшествующий дискурсивный опыт.

5. Языковед и лингвист как культурные роли

Щедровицкий чрезвычайно высоко оценивал роль языковедов в культуре, замечая иной раз, что «без них мы не были бы людьми». При этом он считал проблематичной роль лингвиста. Я пытаюсь понять ту и другую оценку, памятуя, что оценки Щедровицкого – всегда итог некоторого промысливания. Но я не могу изложить это в его выражениях, поскольку эту тему он не развернул в опубликованных текстах.

Языковед с технической, а не познавательной-логической ориентацией мысли чрезвычайно разнообразен. Если мы попытаемся совокупно оценить роль создателей письменности, составителей словарей, словарей и энциклопедий, терминоведов, конструкто-

ров грамматик, интерпретаторов текстов (начиная с сакральных), методистов языка, выполняющих свои задачи в разнообразных контекстах, в многочисленных вариантах, то мы получим действительно впечатляющую картину. Добавим культурный опыт новейшего времени: разработчиков программ искусственного интеллекта, творцов искусственных языков, изобретателей языковых психотехник. При этом трудно будет провести границу, за которой кончается языковедение; может быть, среди творцов языковых «техник» следовало бы числить поэтов и, кроме того, всяких инициаторов толкования и нормировки слов и значений за пределами профессиональных, сфер. Можно еще заострить проблему языковеда, указав, что человек говорящий – стихийный языковед по сути, поскольку его «третий слой» на наших схемах определяет, что такое слово и что значит говорить. Естественно, что человечество выстраивает над своими жизненными обстоятельствами и практиками культурную службу языковедения.

Но я вслед за Щедровицким настаивал на несмешении языковедения с лингвистикой как наукой. Идеология сциентизма XVI–XIX веков вмняла всем понимание мышления как познания, и мы в XX веке и поныне с трудом восстанавливали и сейчас с трудом выдерживаем баланс между познающей рациональностью и другими рациональностями: интерпретирующей, ситуационно-аналитической, проектно-практической и оргдеятельностной и т.д. В значительной мере мы все еще заложники когнитивистского мифа о сознании и мышлении.

Но было бы недопустимым упрощением сказать, что Щедровицкий потому критиковал лингвистов, что лингвистика – наука, а основатель СМД-методологии – антисциентист, много раз говоривший, что наука умерла и незачем оживлять труп. Он же в иных ситуациях говорил, что его методология представляет собой преодоление науки, будучи одновременно ее продолжением.³³ Но еще важнее не утверждения того или иного рода, выхваченные из его текстов и демаршей в дискуссиях, сохранившихся в нашей памяти. В его собственных, работах разных периодов снова и снова по-разному обсуждается проблема знания, объективации смысла и конст-

³³ См. особенно: Щедровицкий Г.П. Начала системно-структурного исследования взаимоотношений в малых группах. Серия «Из архива Г.П. Щедровицкого». Вып. 3. М., 1999.

руирования теоретических и идеальных объектов и, отнюдь не на периферии, вопрос о научном освоении того или иного феномена. В этих контекстах слово «научный» имеет у него вполне программный смысл, но, конечно же, в общей рамке методологического мышления. Острие его критики было направлено против натурализма субъект-объектной науки, исходящей из допущений преданности объектов и возможности их знания с точки зрения, аналогичной божественной.

Реконструктивный анализ любой значительной научной новации показывает решающую роль методологии в получении результатов и замену ее на логику обоснования в объективированном знании. «Открытие» апостериорно представляется прозрением великого ума, потому что наука игнорирует действительную природу своих продуктов. Пример для лингвистов: размышляя о состоянии лингвистического знания сегодня, мы можем говорить, что Хомский «открыл» неизвестные до него механизмы языка, врожденную способность к языку, новые лингвистические факты и прочее. Но, присматриваясь к тому, что делал Хомский, в том виде, как это отразилось в его работах, мы видим именно труд ученого без всякой мистики. Он шаг за шагом создавал новый категориальный язык лингвистики. Его работа сдвигала онтологические представления о языке; он постулировал требуемую в этом контексте реальность врожденной способности к языку, и он придумал и изготавливал факты нового типа для своей лингвистики, которая оказалась отдельной от прочей лингвистики областью знания. Хомский не записывается в методологи и даже говорит при случае, что у него «нет никакого метода», а есть видение проблем, но мне важен не его взгляд на свою работу изнутри, а методологическое определение его новации извне.³⁴ Он фактически работает как ученый, выполняющий минимум методологических требований, и, таким образом, как современный ученый.

Щедровицкий недостаточно знал даже раннего Хомского и не мог в полной мере оценить эту линию лингвистики. Но мне представляется очевидным, что он, если бы это знал и мог оценить, не изменил бы своего общего отношения к лингвисту-гео-

³⁴ Литвинов В.П. Мышление Ноама Хомского. Тольятти, 1999. С. 9.

ретику. Лингвистика проблематична для него в целом и в принципе, но это надо понимать дословно: дело не в том, плоха она или хороша, достаточно ли она методична, высок ли ее авторитет. Вопрос стоит иначе: соответствует ли действительность лингвистики как науки идее лингвистики, не представляет ли она собой неосуществленный культурный проект. Иначе говоря, до того, как мы со всем нашим опытом научного языкознания станем обсуждать его перспективы, следовало бы сделать по-хайдеггеровски «шаг назад» и спросить, в чем заключалась интенция культуры, породившая лингвистику, и, далее, какими средствами и с какой организацией дела можно решать задачи, имплицированные в самом замысле лингвистики. Самая простая для начала формулировка может быть такой: лингвистика задумана как наука о языке. В этом смысле великие достижения Хомского – отклонение от основной идеи, и мы ими, по крайней мере временно, должны пренебречь. Далее следует задать контурные представления об онтологии языка. И здесь, по-видимому, мы весь исторический путь лингвистики от Грамматики Пор-Рояля и далее должны счесть проблематичным. Я не хочу говорить «ложным», здесь дело не в соответствии какой-то «истине». Грамматика задает свои условия определения истины о языке, а лингвистика приняла ее условия и с ними жила. Но вопрос «Что такое язык?» был в истории поставлен после того, как сложилась и некоторым образом утвердилась теоретическая грамматика: Гердер и Гумбольдт через 200 лет после Арно и Лансло. Иначе говоря, исторически запоздал относительно парадигмы самый принципиальный вопрос, от ответа на который зависит главное: говорит ли высокоразвитая научная лингвистика существенное о языке? Щедровицкий явно считал, что нет, и я боюсь, что отрицательный ответ здесь неизбежен. И, например, глубокая пропасть, разделяющая философию языка XX века и лингвистику XX века, симптоматична.

В определении онтологии лингвистического объекта следовало бы, если ограничиться только тем, что попало в поле нашего обсуждения в предыдущих разделах, серьезно отнестись к искусственному компоненту в естественном языке, к неизбежной неопределенности понятия язык (*эргон* – *энергея*, система – речевая деятельность, язык и дискурс в современности и в истории

и т.д.), к условиям допустимости или недопустимости абстрагирования языка от мышления, от деятельности, от социальности, от знания. Но очевидно также, что если бы вопрос «Что такое язык?» не запоздал, ответы на него в XVII веке могли бы быть только случайными. Когда мы пытаемся заново смоделировать ту ситуацию, мы проецируем на нее опыт мышления XX века, в результате чего начало лингвистики представляется нам ущербным. Но надо понять, что оно не было ущербным; оно было именно проблематичным, и это его свойство понимается нами с сегодняшней точки зрения. Наш истинный интерес принадлежит сегодняшней лингвистике и ее перспективам, а вопрос о ее корнях – это всего лишь часть нашей работы понимания.

С гораздо большим основанием мы можем посчитать ущербной сегодняшнюю лингвистику, поскольку сегодняшние средства мышления делают возможными проблематизации, на которые лингвистика не решается. Я беру как иллюстративный пример так называемый «дефиниционно-компонентный анализ», популярный в отечественной лексикологии. Дело не в его значительности (он-то как раз не очень значителен), я беру его потому, что он прозрачен в интересующем нас аспекте. Дефиниционно-компонентный анализ строится на данных словарей. Словарей одного языка должно быть несколько, чтобы данные могли обобщаться и усредняться до «объективности». Словарные дефиниции значения принимаются как указывающие на его компонентный состав: использованные в дефиниции слова метаязыка считаются названиями семантических компонентов. Для них, в свою очередь, отыскиваются дефиниции в других местах словаря (словарей), и так далее. Получаются записи структур значений, определенные научно. Далее привлекаются данные об употреблении исследуемых, слов в текстах, и употребления должны подтверждать определения; а если не подтверждают, тогда лингвист делает естественную для него, но по сути странную вещь. Лингвист говорит, что в этом отрывке автор допустил отклонение от системы языка; или же он говорит, что словари несовершенны. То и другое – явная натяжка, но что лингвист еще может сказать?

Обратим внимание, что проблема такого лексиколога снимается им самим в том месте, где она должна бы получить развитие. Ведь именно контрфакт есть факт для науки, т.е. такая

единица объективного опыта, которая требует категориального переосмысления и развития теории. Щедровицкий в совсем другой связи утверждал:

... «факт» есть всегда некоторое противоречие, и до того, как появится подобное противоречие, нет и не может быть фактов.³⁵

С этим согласна современная генеративная лингвистика, но отнюдь не лингвистика в целом. Допустим, однако, что наш лексиколог способен так смотреть на «факты» – что ему делать дальше? Двойной корпус материала у него гетерогенен, и в этом вроде бы его превосходство перед американскими лингвистическими школами. Но ведь надо придумать, как с этим работать. Словарь, во-первых, парадигматичен, во-вторых, искусствен. Лингвисту здесь следует усомниться в себе, в своей методологической невинности: он, оказывается, брал искусственный продукт языковой инженерии как источник данных о естественном языке. Текстовый пример синтагматичен и, разумеется, не искусствен в том смысле, в каком искусствен словарь. Он, конечно, искусствен в другом смысле, за ним – парадигма культуры, но это – не «система лексики». Как только этот лексиколог скажет себе, что текст – не прикладная лексикография, а словарь – не теория лексики «как системы», он поумнеет и кончится как ученый этой, т.е. традиционной натуралистической ориентации.

Чтобы сделать собственно научный, а это значит, по Щедровицкому, методологически корректный шаг вперед, следует заново поставить вопросы, на которые лексикологи отвечают до того, как поставили их: «Что такое лексика?», «Что такое словарь?», «Что такое текст?», «В чем литературность литературного текста?», «Что такое дискурс в его отношении к лексике?», «Что значит научно исследовать язык-language?» и другие подобные, список которых незачем уточнять.

Языковед, принявший установку на создание науки о языке (о языке в желательном полном смысле), должен решить для себя, включает ли он в свой теоретический объект текст, речевое действие, коммуникацию, и выбор его должен быть не произволен, а

³⁵ Щедровицкий Г.П. Начала системно-структурного исследования взаимоотношений в малых группах. С. 48. См. еще далее параграф «Природа "научного факта"». (Там же. С. 56–64).

обеспечен резонами. Трудность выбора в том, что язык по большому счету – это не система, а среда нашего человеческого существования, как не раз говорил Щедровицкий, цитируя Эрнста Кассирера. Но объект должен быть прост, и он должен быть представлен как система – система, модельно представляющая сущностные свойства языка как среды. В любом случае лингвисту придется предварительно провести несколько феноменологических редукций, и для начала окажется, что теория грамматики, теория текста, теория коммуникации взаимно не сводимы, поскольку эти частные онтологии положены в разных действительностях. Придется анализировать и взаимно соотносить интенциональные отношения и контексты мыследеятельности, в которых эти сущности суть то, что они есть. А далее наряду с этими построениями надо строить конструкт «язык», снимающий в себе (пока неясно, каким образом) существенные свойства всего этого.

Щедровицкий показывал устройство такой мыслительной работы на разном материале, но он, насколько я знаю, языковедческую проблематику обсуждал только по частям. Путь к состоятельной в означенном смысле лингвистике он не предлагал.

У меня такого проекта тоже нет. Я считаю осмысленной постановку такой задачи и понимаю масштаб замысла. И, по-моему, смысл оправдывает масштаб.

Но некоторые простые соображения можно высказать сразу. Это будет лингвистика языка в самом широком смысле. Это будет неклассическая наука. Это будет не обязательно наука по любым известным критериям. И если лингвистика окажется отдельной интеллектуальной практикой наряду с наукой, методологией и герменевтикой, в этом тоже не будет трагедии.



**Удин
Борис
Григорьевич**
(р. 1943)

доктор философских наук (1985), профессор, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института человека РАН, главный редактор журнала «Человек». Член Совета директоров Международной ассоциации биоэтики, член Бюро руководителей комитета по биоэтике Совета Европы.

Окончил Московское Высшее Техническое Училище им. Баумана (1967), аспирантуру Института истории естествознания и техники АН СССР (1971).

Область научных интересов – философско-методологические проблемы системных исследований, методология и социология науки, философские проблемы биоэтики. Автор более 200 научных работ, в том числе монографий: Наука и мир человека (в соавторстве, М., 1978); Методологический анализ как направление изучения науки (М., 1986); Введение в биоэтику (в соавторстве, М., 1998) Лауреат премии Капире (Италия). Живет и работает в Москве.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО

В этой статье меня будут интересовать два круга вопросов. Первый – то, что относится прежде всего к моему субъективному опыту и моим личным впечатлениям. Эти вопросы я ни с кем специально не обсуждал и заранее соглашаюсь с тем, что многое будет восприниматься либо как наивное, либо как неверное, неточное, либо же как надуманное, домысленное мною. Но я и не заставляю никого соглашаться со мной, а просто рассказываю о том, что и как видел.

Второй круг включает мои соображения по поводу некоторых содержательных проблем. В какой-то момент времени мои интересы разошлись с интересами Георгия Петровича Щедровицкого, и в дальнейшем это расхождение стало весьма глубоким, так что в известном смысле моя точка зрения – это взгляд со стороны, хотя, конечно, и не совсем. Но вот произошла смена столетий, которая, как становится все более очевидно, оказалась событием далеко не только лишь календарным, а весьма значимым, и *время Г.П. Щедровицкого уже стало прошедшим* – в том смысле, что на него теперь можно и нужно смотреть из другого времени. И сегодня, когда я стал продумывать эту статью, меня вдруг осенило: не один лишь долг памяти, но и эволюция моих собственных интересов настоятельно побуждает меня разобраться, понять значение того, что и как было сделано и прожито им. Это представляется мне весьма существенным и с точки зрения тех сюжетов и проблем, которые я считаю особенно значимыми именно теперь.

1. «Обработка металлов давлением...»

Для начала мне придется немного рассказать о себе и о том, чем стало в моей жизни появление Георгия Петровича Щедровицкого. Сразу признаюсь, что я вовсе не любитель, да к то-

му же и не мастер выступать в автобиографическом жанре, но в данном случае такая экспозиция будет совершенно необходимой для последующего изложения. К тому же время, увы, течет неумолимо, и сейчас уже осталось не очень много тех, кто был свидетелем событий, о которых я собираюсь напомнить.

Я познакомился с Г.П. в начале 60-х годов, на семинаре, который тогда проходил по понедельничным вечерам в здании Института психологии на Моховой. В последующей историографии этот семинар (вкуче с сопутствовавшими ему оргмероприятиями), как известно, получил название Московского Методологического Кружка.

Сам я в то время был студентом МВТУ им. Баумана, так что с точки зрения получаемого мною инженерного образования был крайне далек от проблем, обсуждавшихся на семинаре. В том, что я стал интересоваться ими, решающую роль сыграл мой старший брат, Эрик Григорьевич Юдин, который был тогда одним из руководителей семинара. Он получил юридическое образование, провел какое-то время на комсомольской работе, потом стал кандидатом философских наук и после защиты диссертации получил направление в Томск, где начал преподавать философию в местном пединституте.

Но вот в конце 1956 г., после подавления советскими войсками венгерского восстания, Эрик позволил себе с неодобрением отозваться об этой акции на институтском отчетно-выборном партийном собрании. Реакция была весьма жесткой: его сначала исключили из партии (хотя в первый момент, в ходе самого собрания, избрали членом партбюро – несмотря на его собственную просьбу об отводе, поддержанную и директором института, и первым секретарем горкома партии), а потом, естественно, уволили с работы. Когда же брат в поисках справедливости отправился в Москву, то был арестован на железнодорожной станции Тайга и уже под конвоем возвращен в Томск. В марте 1957 г. Томский областной суд приговорил Эрика к десяти годам лишения свободы по обвинению в антисоветской пропаганде (ч. 1 ст. 58-10 УК РСФСР).

Хлопотами наших родителей, особенно матери, и тех, кто им помогал, удалось добиться пересмотра приговора, так что весной 1960 г. мой брат освободился и вернулся в Москву. После этого ему пришлось несколько лет отработать прессовщиком на Московском заводе резинотехнических изделий № 1, т.к. профессионально заниматься философией, имея за плечами судимость по политичес-

кой статье, было запрещено.¹ Тем не менее уже тогда в свободное от работы на заводе время он стал активно участвовать в работе «семинара Щедровицкого».

Что касается меня, то к моменту возвращения брата в Москву я заканчивал школу, а потому надо было думать о дальнейшем образовании. У меня самого к этому времени сколько-нибудь сформировавшихся предпочтений, увы, не сложилось, так что фактически выбор за меня сделали родители. Они были экономистами-металлургами, далекими от гуманитарных наук, и случившееся с моим старшим братом, вполне естественно, привело их к выводу о том, что заниматься такими науками в Советском Союзе – дело довольно опасное. Столь же естественно, что против выбора родителей не мог возражать тогда и брат. Так я стал студентом вуза по специальности «машины и оборудование по обработке металлов давлением».

Однако, обжившись на семинаре, мой брат через какое-то время стал вовлекать туда и меня, обнаружив-таки у меня гуманитарные наклонности. Следует заметить, что он был для меня тогда практически непререкаемым авторитетом едва ли не по всем жизненным вопросам, так что именно под его влиянием и, более того, самым прямым воздействием я и занялся философией. При этом, однако, было решено, что мое инженерное образование будет продолжаться – одним из главных был такой резон: если, не дай бог, что-то случится, то у меня всегда останется возможность заработать на кусок хлеба в качестве инженера, а не прессовщика.

Вот так и получилось, что мое приобщение к философии происходило по двум направлениям. Во-первых, это было изучение литературы – для начала таких, как «История древней философии» В. Виндельбанда (эту книгу дал мне брат) и четырехтомная «Логика» Хр. Зигварта,² которую я получил от Г.П. Во-вторых, я стал регулярно посещать заседания семинара.

В некотором смысле мой опыт был далеко не уникальным – в те годы и очень часто под прямым влиянием Г.П. на стезю философии, методологии и вообще гуманитарного знания ступили довольно многие «технари» и естественники. Понятно, на первых порах я вообще

¹ Детали кратко описанных здесь событий можно найти в приложениях к книге: Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. М., 1997.

² Оба эти автора, будучи неокантианцами, уделяли значительное внимание той проблематике, которую позже стали именовать методологической.

мало что мог уразуметь из того, что слышал на семинаре. Тогда для меня приобщение к этому собранию имело смысл прежде всего идеологический, давая возможность соучастия в некоем движении (если воспользоваться термином, появившимся позже) *инакомыслия*. На семинаре, конечно, не обсуждались какие-то оппозиционные политические идеи, но само стремление мыслить самостоятельно, готовность отстаивать собственную позицию, не считаясь с авторитетами, воспринимались, по крайней мере мною, как наглядная демонстрация того самого инакомыслия. Довольно скоро я стал воспринимать и то, что можно было бы назвать культурой мысли, культурой аргументации, а вместе с тем и в высшей степени серьезное и ответственное отношение к слову – и устному, и особенно письменному. В этом плане семинар был, безусловно, первоклассной школой.

Впрочем, мои тогдашние наставники – и мой старший брат, и Г.П. – видимо, исходили из того известного положения, что наилучший способ научить человека плавать – это попросту бросить его в воду. Так я был подвигнут на то, чтобы заняться методологическими проблемами самоорганизации, которая тогда осмысливалась не в контексте синергетики, как сегодня, а в качестве одного из перспективных направлений чрезвычайно популярной тогда кибернетики и только начинавшего развиваться системного движения. В скором времени мне пришлось готовить для выступления на семинаре доклад на эту тему. Сейчас мне представляется, что доклад, скорее всего, был ученическим; тем не менее, его обсуждение растянулось аж на два семинарских заседания, и это само по себе стало для меня весьма ободряющим и вдохновляющим обстоятельством. Тогда еще я не понимал того, что острота и продолжительность дискуссий на семинаре может никак не соотноситься с содержанием обсуждаемого доклада.

2. Режиссура кооперативного мышления

Моими первыми шагами, таким образом, руководили два наставника; безусловно, мой брат был в этом отношении существенно более влиятельным и значимым, чем Г.П. Видимо, во многом именно поэтому после того, как они начали отходить друг от друга, мои контакты с Г.П. тоже стали ослабевать. Непосредст-

венное воздействие Г.П. на меня, следовательно, оказалось сравнительно непродолжительным, и только много позже я стал осознавать, насколько оно было глубоким.

Иными словами, я не могу утверждать, что был близок к нему, но я, как и многие, очень многие другие, испытал на себе влияние его личности (личности, замечу, для меня не столько обаятельной – хотя было, несомненно, и это, сколько магнетической) и его идей, причем со мной это случилось именно в то время, когда проходило мое личностное самоопределение. В чем-то я стремился следовать за ним, в чем-то – отталкиваться от него. Замечу при этом, что в слове «отталкиваться» заключено два смысла: во-первых, не соглашаться и идти в другом направлении, но, во-вторых, еще и брать в качестве точки отсчета, начала координат. Для меня в данном случае значимы оба этих смысла.

Таким образом, я не могу считать себя последователем или адептом Г.П. Щедровицкого, и это, казалось бы, дает мне основания рассматривать сделанное им с позиции внешнего наблюдателя, что предполагает в том числе и возможность достаточно критических суждений. Но это и не совсем так, поскольку многое исходящее от него либо так или иначе с ним связанное, соотнесенное, лежит во мне столь глубоко, что я попросту не способен на такое усилие рефлексии, которое позволило бы мне полностью отказаться от имманентной точки зрения.

Долгое время, и тогда, когда я посещал семинары ММК, и после этого, я стремился видеть – и проводить – различие между содержанием того, что слышу (или читаю), и формой подачи этого содержания. Я был всецело «на стороне» содержания, зачастую воспринимал форму как нечто чисто внешнее, как не более чем помеху на пути к постижению внутренней сути, т.е. содержания. Основательное содержание, по моим тогдашним представлениям, так или иначе само проложит дорогу к его пониманию и должной оценке. Поэтому мне казалось странным и даже чуждым многое из того, что я видел на самом семинаре и вокруг него.

Поражало прежде всего чрезвычайно серьезное отношение Г.П. к этому «вокруг». Нетрадиционными были не только темы и проблемы, обсуждавшиеся на семинаре, но и способы их подачи. Складывалось такое впечатление, как будто на семинаре Г.П. ничто не может происходить спонтанно, не будучи опосредованным его

интеллектом, логикой, его волей, наконец. Поражала при этом и удивительная, колоссальная целеустремленность Г.П., его умение весьма жестко подчинять имеющиеся средства тем целям, которых в данной ситуации, на данном этапе предстояло достичь.

Поражало также и то, насколько основательно подходил Г.П. именно к *организации* семинара, которому сопутствовала масса подготовительной и последующей работы, тщательное продумывание и проработка мельчайших деталей. И на самом семинаре, и особенно – на тех научных конференциях, в которых коллективно участвовали «щедровитяне», выступления – не только индивидуальные, но и командные – очень часто были отнюдь не импровизацией, а плодом специальной режиссерской постановки, в которой заранее определялась роль каждого. Впрочем, эта позиция режиссера была для Г.П. лишь одной из множества ипостасей, в которых он проявлял себя в качестве лидера.

Г.П., безусловно, принадлежал своей социокультурной ситуации, своему времени, и он так или иначе был одним из выразителей того, что можно назвать *духом времени* (и, между прочим, *места*). Так что порой бывает непросто отчленить в его идеях то, что идет собственно от него, от того, что мыслилось, высказывалось, обсуждалось более или менее широко. Но, во всяком случае, даже выражая что-то принятое, он делал это с каким-то радикализмом, зачастую прибегая к нарочито заостренным формулировкам. Использование такого риторического ресурса, в числе других факторов, делает его особенно заметным выразителем духа и настроений времени.

Продолжая разговор о лидерских потенциях и функциях Г.П., хотелось бы заметить, что, на мой взгляд, в своем жизненном опыте он не только с блеском реализовал идею М. Фуко о знании как силе, порождающей власть, но и разработал ее до уровня социальной технологии. Эта технология, будучи однажды созданной, обретает способность транслироваться, тиражироваться и функционировать отчужденно, независимо от ее творца. В качестве одной из форм воплощения этой идеи можно рассматривать, в частности, конструирование особых социальных общностей – коллективов, способных порождать знание, притом такое, создать которое невозможно, действуя в одиночку. Собственно, это было бы не более чем тривиальностью, если иметь в виду коллективы, занятые реше-

нием сложных проблем, когда проблема расчленяется на составляющие подпроблемы, каждая из которых становится доступной для одного индивида.

Но в данном случае речь идет о другом: о том, что расчленяется *не сама по себе проблема* и даже *не деятельность* по ее изучению и решению, – но производимому особым образом расчленению и последующему синтезу подлежит *само мышление, которое осуществляется* (или еще только должно быть осуществлено) *командой, коллективом*. При этом вполне может статься, что проблема, на которую направлено организованное такими способами мышление, в конечном счете окажется чем-то второстепенным, реальным же результатом будет именно это порождение способности коллективного мышления и особого социального организма, этой способностью обладающего.

Естественно, мышление в данном случае должно быть понято и представлено как деятельность, причем *деятельность* в своих существенных характеристиках *кооперативная*. А это, помимо всего прочего, имеет и тот смысл, что порождаемые ею отношения власти являются весьма специфическими. Власть в этом контексте далеко не всегда может принимать форму принуждения, приказа – ее ресурс обеспечивается тем, что ей можно подчиняться (насколько здесь вообще применимо это слово) *только* вполне добровольно и свободно.

Вместе с тем это – и не совсем та власть, которой обладает профессионал (скажем, врач или юрист) во взаимоотношениях с непосвященными и которую прежде всего имел в виду М. Фуко в своих рассуждениях о знании-власти. Здесь ведь и в помине нет какого-то сокровенного корпоративного знания – напротив, вся технология, вся «кухня» получения и применения знания принципиально открыта, продуктивно участвовать в кооперативном мыследействии можно, лишь становясь приобщенным и посвященным.

Разумеется, власть в этом контексте вовсе не обязательно является объектом какого-то специального вождения; необходимость обладать ею и осуществлять ее диктуется прежде всего соображениями функциональности, целесообразности, т.е. эффективного осуществления той самой *кооперативной мыследеятельности*. В идеале, вероятно, она могла бы быть не более чем камертоном, по которому выверяется звучание от-

дельных инструментов. Но, как бы то ни было, кооперативная деятельность, в том числе и такая, не может обойтись без того или иного организующего начала.

Учитывая такие особенности организации и строения этой кооперативной мыследеятельности, нетрудно понять, что далеко не все, кто вступал на этот путь, были готовы идти по нему до конца. Г.П., безусловно, был необычайно яркой личностью, но он был таковой отнюдь не на блеклом фоне – мне вообще представляется, что он обладал необыкновенным даром притягивать к себе сильные, неординарные умы. И сегодня в самых разных областях гуманитарного знания, а впрочем, далеко не одного лишь его, приходится встречать очень многих, кто если не прошел «школу Щедровицкого», то так или иначе, через какие-то опосредующие звенья, оказался причастен к ней.

Оборотной стороной такой одаренности Г.П., как идейной, так и личностной, была его хорошо известная «неуживчивость», я бы даже сказал – деспотичность характера, которая нередко бывает свойственна именно сильным личностям. Вследствие этого многие из тех, кто некогда был очень близок к нему, не смогли долго выносить положение ведомых им соратников, так что дело кончалось «разводом», иногда довольно болезненным для обеих сторон. По моим наблюдениям, впрочем, эти разрывы отношений чаще всего не были полными, так что контакты в той или иной степени продолжались.

Позволю себе процитировать одно место из воспоминаний Г.П., которое представляется мне весьма характерным:

Меня никогда не интересовал вопрос, что другие по моему поводу думают. Я действовал, и у меня был свой мир. Меня вообще не интересовал вопрос, что я сам несу и как. ...Если я и продумывал свое поведение, свои действия, свое место, то это были чисто деятельностные представления: каковы мое место, мои функции при осуществлении этой деятельности, при достижении этих целей, при решении этих задач? Что я должен делать? Но никогда в модальности «каков я сам?». Это всегда была модальность должностования: что нужно сделать, каким я должен быть для того, чтобы мы могли достичь определенного результата.³

³ Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом. М., 2001. С. 135.

Даже если сделать скидку на ощутимую в этих высказываниях нарочитую категоричность, обращает на себя внимание готовность пожертвовать – во имя того, чтобы деятельность была результативной – тем, как тебя воспринимают другие, вплоть до того, чтобы отказаться видеть в себе (как, впрочем, и в другом) личность, выходящую за пределы данной определенной деятельности. Примечательной представляется и содержащаяся в этом рассуждении трактовка деятельностных представлений как предполагающих сугубо функциональное понимание человека в качестве того, кто всего лишь занимает некоторое предначертанное место при деятельности.

Это – установка, предписывающая достаточно жесткое отношение и к самому себе, и к окружающим. Мне представляется, что из нее вытекает и такая характерная особенность Г.П., как стремление не столько приспособляться к ситуациям и обстоятельствам, сколько переделывать их, подчинять себе. Или, как поется в одной популярной сегодня песне: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Поэтому, между прочим, его действия и поступки подчас воспринимались многими как неадекватные, хотя, на мой взгляд, подобные ситуации он просто не воспринимал как ситуации выбора, и такими действиями, пусть даже кто-то считал их неадекватными, он *осуществлял* себя *вопреки* обстоятельствам.

В своей жизни я встречал немало людей весьма содержательных и ярких, а среди них – таких, кому удалось очень многого достичь. Но, я думаю, никто из них не смог реализоваться настолько полно, как Г.П. В самом деле, многие замыслы и идеи, намеченные еще в его ранних публикациях, впоследствии получили не только концептуальное развитие, но и реальное практическое воплощение.

И еще одно обстоятельство. Люди, как правило, осознают, а затем и осуществляют себя в тех пространствах возможностей (или сферах деятельности), которые они находят предзаданными, предпосланными всякой определенной деятельности. Конечно, при этом им подчас приходится решать столь сложную проблему, как выбор среди существующих пространств реализации именно того, которое наилучшим образом соответствует их устремлениям, возможностям, пристрастиям, но тем не менее подобный выбор – это именно попытка сориентироваться в спектре *наличных* альтернатив.

В отличие от этого, Г.П. по существу сам творил новые пространства возможностей, которых до него просто не существовало, и уже в последующем деятельность в этих пространствах получала социальное признание. Признание, конечно, тоже не приходило само собой, а требовало специальных организованных и скоординированных усилий, – и лишь благодаря им такая деятельность становилась социально востребованной и необходимой, даже социально институциализированной.

В первом приближении это можно охарактеризовать с помощью такого получающего сегодня все большее распространение термина, как «социальные технологии». Впрочем, он здесь имеет смысл именно как грубое приближение, как намек на то, что объектом интереса – и, более того, объектом технологического воздействия и объектом проектирования – для Г.П. было *мышление как социальное* (или социально распределенное) *действие*. (Стоит напомнить в этой связи о том, что уже в начале 60-х годов в своей привлекавшей весьма широкое внимание статье в «Известиях» Г.П. трактовал методологию именно как *технологию мышления*.⁴) Здесь можно было бы употребить и такой термин, как социология мышления, но только если понимать под ним не столько теоретическую рефлексию по поводу мышления, сколько его практическую социальную организацию.

Решающее значение в этом смысле имело обращение Г.П. к методологии организационно-деятельностных игр. Собственно говоря, именно создание этого пространства, этого мира ОДИ я прежде всего и имел в виду, говоря о самореализации Г.П. Признаюсь, поначалу я воспринимал этот шаг Г.П. не очень серьезно: то ли как возможность какого-то побочного заработка, то ли как некий вынужденный обстоятельствами суррогат действительно стоящего дела. Само собой разумеется, наиболее адекватной формой такого настоящего дела представлялась наука как деятельность (и поддерживающий ее социальный институт) прежде всего исследовательская, направленная на получение нового знания.

Поэтому обращение к методологии ОДИ, как и предшествующая стадия жизни и деятельности Г.П., когда он занимался социальным проектированием, в частности, работая во ВНИИТЭ, многим,

⁴ См.: Щедровицкий Г.П. Технология мышления // Известия. 1961. № 234.

включая и меня самого, представлялось тогда не как *main-stream*, а как нечто происходящее на периферии. То, что социально-гуманитарное знание может быть технологизировано и стать прикладным примерно в том же смысле, как знание естественнонаучное, что оно вообще может быть помыслено в такой перспективе, в те годы было отнюдь не очевидно. Но, видимо, это центристское движение от периферии заложено в самой природе социальных новаций.

В течение какого-то времени до меня доходили лишь отзывы разных людей – то ли тех, кто сам был вовлечен в проведение ОДИ, то ли тех, кто участвовал в них в качестве «пользователя». Меня удивляло, что и в тех, и в других случаях оценки часто были весьма высокими. Тем не менее, лишь много позже я начал понимать и мотивы, и значимость, и логику этого обращения к ОДИ.

Самым интересным было то, что, как выяснялось, обе категории участников ОДИ не обрели какого-то особого нового знания, получение которого могло бы объяснить растущую популярность этих деловых игр. Оказалось, что смысл заключен не в новом знании, а в новом понимании тех или иных ситуаций, т.е. *в новом сознании*. ОДИ, следовательно, оказались технологией, предназначенной для коллективной работы. Иначе говоря, обращение к ОДИ ознаменовало окончательный переход Г.П. от исследовательских задач к задачам проектно-конструкторским. Речь, конечно, вовсе не идет о том, что исследовательский интерес оказался напрочь отринутым, но он, как мне представляется, вполне осознанно был отставлен на задний план.

3. Объяснить или изменить?

Переход на стадию ОДИ, как я теперь понимаю, был стратегическим решением, подготовленным длительной предшествующей эволюцией взглядов Г.П. и на содержание, и на способы организации собственной деятельности, как и деятельности тех, кто работал вместе с ним. В то же время программные установки ОДИ, на мой взгляд, выражают в себе некоторые характерные тенденции, проблемы и напряжения современной культуры, которые сам я воспринимаю, оперируя с совершенно другим материалом.

Здесь я хотел бы процитировать еще одно место из воспоминаний Г.П. Вот его слова:

...точка зрения искусственного, или технического, была мне... – я понимаю, что здесь применяю натурализацию – она у меня была прирожденной, если хотите.⁵

Хочу обратить внимание на столь резко выраженную в этих словах установку на примат искусственного – вплоть до того, что Г.П. позволяет столь тяжкий, по его же собственным представлениям, грех натурализации.

Различение «естественного» и «искусственного», как оно проводится у Г.П., – на мой взгляд, одна из его наиболее глубоких и далеких идущих идей.⁶ Оно проходит красной нитью через все его творчество. Оно становится в высшей степени актуально сегодня и – я уверен – в последующие годы будет все более значимым и все более проблемным.

Оба члена этой фундаментальной для всякой культуры оппозиции несут в себе очень мощный ценностный заряд, который для каждого из противопоставляемых понятий бывает положительным либо отрицательным. В приведенной цитате Г.П., говоря о натурализации, скорее всего, имел в виду не столько «прирожденное» в строгом смысле слова, сколько нечто вроде глубинной исходной интуиции, которая во многом определяет то, в каких цветах ее носитель воспринимает те или иные явления окружающего мира.

«Естественное» может восприниматься как дикое, неосвоенное, чуждое, некультуренное, хаотичное, неорганизованное, неразумное, источник опасностей и угроз. Тогда «искусственное», напротив, будет представляться освоенным, окультуренным и своим, близким, организованным, упорядоченным, а также и тем, что дает прибежище и защиту. Либо, напротив, «естественное» будет выступать в качестве чего-то вне нас, обладающего собственными законами и потенциями своего бытия, собственным устройением, порядком и

⁵ Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом. С. 134.

⁶ Впервые оно появляется в статье «Естественное и искусственное в семиотических системах» (1967 г.), которая была написана в соавторстве с В.А. Лефевром и Э.Г. Юдиным. Как бы ни решался вопрос о том, кто из соавторов был прародителем идеи, ясно, что в последующем именно Г.П. обращался к ней наиболее часто.

организованностью, тем, что может восприниматься не просто как безразличный материал для нашей деятельности, но и как нечто самоценное, а также и то, чему мы можем внимать, в том числе и для извлечения каких-то уроков. В таком случае то, что будет пониматься под «искусственным» – это прежде всего вторичное, заведомо несовершенное, не более чем подражание – более или менее удачное – естественному, нечто, быть может, несущее «естественному», а вследствие этого – и самому себе – угрозу разрушения.

Г.П., очевидно, исходит из первой пары оппозиций, которая, помимо всего прочего, отражает у него примат и даже всемогущество *ratio* как способа отношения человека к миру. Такая точка зрения ныне кажется не особенно популярной, особенно в связи с широким осознанием негативных экологических последствий деятельности человека. Но эта видимая непопулярность не отменяет того, что на более глубоких уровнях своего сознания современный человек в целом чрезвычайно привержен деятельностной или, иначе говоря, технологической установке.

Искусственное для Г.П. – это, конечно же, не просто сделанное человеком; это не только техническое, но и *рационально* определенное и опосредованное, спроектированное, замышленное, деятельностное, а потом – и мыследеятельностное, то, в чем заключена и выражена *собственно человеческая* деятельность. Одной из важных форм раскрытия оппозиции «естественного» и «искусственного» становится у него различие натуралистической и деятельностной установок. При этом свой антинатурализм он выражает в предельно острых и напряженных формах, например, так:

Ничто, наверное, не оказало такого отрицательного влияния на развитие наук и философии в XIX и XX в., как натурализм, и попытки повсеместно распространить его на гуманитарные и социальные науки.⁷

Мне в этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что критика натурализма у Г.П. во многом строится по модели, разработанной К. Марксом. Дело здесь не только в том, что в этой критике он, как правило, обильно цитирует «Тезисы о Фейербахе» с

⁷ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. С. 280.

противопоставлением созерцания объекта и чувственной, практической деятельности, практики. Вообще говоря, обращение наших философов к проблематике деятельности в то время во многом было инспирировано именно «Тезисами» и другими, близкими к ним работами Маркса.

Как представляется, тогда был особенно актуален характерный для этих работ пафос, связанный с радикальным отвержением наличной ситуации. Созерцание выступало как синоним не критического отношения к этой ситуации, признания ее правомерности, согласия с ней, конформизма. Деятельностная же позиция так или иначе ассоциировалась с императивом радикального преобразования существующего положения дел.

Парадокс заключался в том, что столь радикальный мыслитель, как Маркс, в обществе, в верхах которого господствующими все больше становились консервативно-традиционалистские настроения, официально был признан и почитаем в качестве основоположника правящей и единственно допустимой идеологии. Получалось, что сами же власти, насаждая марксизм, выступали в роли основного производителя материала, предназначенного для подрыва устоев.

Радикально-критические интерпретации марксизма, таким образом, в те годы были в ходу не только на Западе. Впрочем, сам факт их популярности среди отечественных интеллектуалов не нуждается в каких-либо доказательствах – его можно просто констатировать. Для меня же здесь существенно то, что Маркс разработал весьма эффективные средства радикальной критики наличной действительности. Я имею в виду его критику идеологии как ложного сознания, критику, которая не ограничивается тем, чтобы объявить идеологию заблуждением – добросовестным либо злонамеренным, а идет глубже, показывая, что сами идеологические заблуждения есть исторически обусловленный, закономерный результат функционирования и производства сознания в соответствующих социальных условиях. Как оказалось, эти средства могут с успехом применяться для решения задач, выходящих далеко за пределы ниспровержения буржуазной идеологии.

На мой взгляд, существует структурное сходство между марксовской критикой ложного сознания и критикой натурализма у Г.П. Оно отчетливо обнаруживается в одной из последних прижизнен-

ных публикаций Г.П. – в его статье «Методологический смысл оппозиции натуралистического и системодетальностного подходов».⁸ В ней Г.П. вычленяет три исторически оформившихся основания натуралистического подхода: эпистемолого-организационные схемы, идущие от античности; гносеолого-организационные схемы субъект-объектных познавательных отношений, оформившиеся в XV в.; и натуралистическую конкретизацию этой схемы, сформировавшуюся на рубеже XVI–XVII вв. за счет введения понятия «природа».

К сожалению, этот анализ остался неразвернутым, но мне важно зафиксировать то, что по своей структуре он поразительно напоминает анализ идеологии у Маркса. Характерно в этой связи, что Г.П. специально отмечает ту самую историческую обусловленность (а значит, и преходящий характер) натуралистической позиции:

Натуралистический подход, на мой взгляд, является столь же законным и логически основательным, как и все другие подходы; более того, в противоположность многим другим подходам, он прекрасно проработан за последние четыреста лет, и именно ему наука обязана всеми своими основными успехами.⁹

Блеск и глубина марксова критического анализа ложного сознания очаровали очень и очень многих мыслителей, так что на его почве выросло не одно направление философской и социологической мысли. К их числу относится, скажем, столь влиятельная ныне, по Бергеру и Лукману, социология знания. «...Социология знания, – замечают они, – унаследовала от Маркса... несколько ее ключевых понятий, среди которых следует отметить такие понятия, как “идеология” (идеи как оружие социальных интересов) и “ложное сознание” (мышление, которое отчуждено от реального социального бытия мыслящего)».¹⁰ К их числу относятся и многочисленные исследования по социологии научного знания, выполненные в рамках по преимуществу британской традиции социального конструктивизма.

В этой связи замечу, что позиция Г.П. представляется мне более радикальной, чем довольно близкая по ряду параметров по-

⁸ См.: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 143–154.

⁹ Там же. С. 145. Хотелось бы обратить внимание на существенное расхождение этой оценки с той, что приведена мною в сноске 7, где цитируется работа 1975 г.

¹⁰ Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995. С. 16–17.

зияция Бергера и Лукмана. То социальное конструирование реальности (или каких-либо ее фрагментов), которое имеют в виду Бергер и Лукман, с точки зрения Г.П. будет выступать как «естественное» конструирование. Иначе говоря, их конструктивизм можно охарактеризовать как дескриптивный: они стремятся описывать социальный мир значений таким, каков он есть сам по себе. Или, если воспользоваться выражением К. Маркса, в этом случае можно говорить о естественно-историческом характере явлений социального мира – эти явления просто происходят с нами или вокруг нас, безотносительно к нашим планам, желаниям и т.п. Бергер и Лукман не идут так далеко, чтобы полагать, что эти значения можно (или нужно) формировать и переформировывать преднамеренно. Что касается Г.П., то применительно к его концепции я говорил бы об *интенциональном конструировании*, установке, предполагающей наличие технологических возможностей направленного вмешательства, с одной стороны, и намерений, верований, норм и т.д., воплощенных в произвольных и сознательно проектируемых социальных действиях, с другой.

При всей привлекательности марксова подхода у него, тем не менее, есть и свои теневые стороны. Во-первых, если говорить о позитивной альтернативе ложному сознанию, то ее основания представлялись Марксу примерно так. Само по себе появление критической позиции, сама ее возможность есть не просто изобретение какого-то ума, но свидетельство того, что уже созрели идейные предпосылки и вместе с тем оформляются социальные силы, призванные разрушить существующий и создать новый строй жизни общества. Эта посылка, вообще говоря, может быть оспорена – и с логической, и с исторической точки зрения. Но даже если и не соглашаться с ней, остается еще суггестивный эффект, обеспечиваемый тем мощным профетическим напором, с которым Маркс обрушивает на читателя свои интуиции грядущего революционного освобождения человека. Во-вторых, непонятно, какими средствами можно было бы обосновывать (а не просто провозглашать!) истинность собственной позиции критикующего: что, в конце концов, мешает признать ее еще одной версией того же ложного сознания?

Вполне вероятно, что загвоздка кроется в знаменитом 11-ом тезисе Маркса о Фейербахе: «Философы лишь различным обра-

зом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его». ¹¹ Можно, между прочим, заметить, что сам Маркс отнюдь не гнушался, особенно после того, как его попытка изменить мир оказалась безуспешной, тем, чтобы этот мир объяснять, в чем, надо сказать, он весьма преуспел. Но, как бы то ни было, в приведенных словах Маркса противопоставляются познавательная установка и установка, которую можно интерпретировать как технологическую, проектную, конструкторскую и т.п., причем в этом противопоставлении вторая сторона рассматривается как предпочтительная.

В отношении 11-го тезиса можно задаться и такими вопросами: а *чье именно* это дело – изменить мир? И в каких конкретно аспектах предосудительно стремление его объяснить? Надо полагать, тезис высказывается от имени исторической необходимости или ей подобной инстанции. Но если это так, то за прошедшие почти 140 лет историческая необходимость уже могла бы заявить о себе сколько-нибудь внятно и представить более убедительные свидетельства собственной достоверности. А поскольку этого так и не произошло, то можно задуматься: так ли уж обязательно отказываться от установки на объяснение, как, впрочем, и нацело отвергать натуралистическую позицию?

Можно рассуждать и иначе. Коль скоро установка на изменение мира считается более содержательной и продуктивной, чем установка на его объяснение, следовало бы ожидать, что последняя, сообразно чему-то аналогичному методологическому принципу соответствия, ¹² не должна просто отбрасываться. Напротив, более развитая концепция должна предложить средства, позволяющие, во-первых, вычленять все *существенные* результаты, полученные на основе предшествующей установки, и, во-вторых, эффективно ассимилировать их в новую, более богатую концепцию. Однако свойственный молодому Марксу радикализм – не очень-то подходящая позиция для поисков такого рода консенсуса.

¹¹ Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3. М., 1955. С. 4.

¹² Как писал И.В. Кузнецов, «теории, справедливость которых была экспериментально установлена для определенной группы явлений, с появлением новых теорий не отбрасываются, но сохраняют свое значение для прежней области явлений как предельная форма и частный случай новых теорий». (Принцип соответствия. М., 1979. С. 6).

4. Наука. Технология. Технонаука

Важной стороной разработки деятельностного подхода в нашей стране стало истолкование человеческого познания, в том числе научного, как особого рода деятельности. При этом в качестве наиболее адекватной, можно сказать, определяющей по отношению ко всем другим, рассматривалась – опять-таки в соответствии с идеями Маркса – чувственная, предметно-преобразующая практика. Помимо всего прочего, это предполагало понимание познавательной деятельности, включая и научную, как деятельности в некотором смысле вторичной, *подчиненной* по отношению к практическому преобразованию и окружающего мира, и самого человека. Тем самым открывалась возможность для переосмысления, точнее даже сказать – *оборачивания* – сложившегося ранее соотношения науки и технологии. Если традиционно это соотношение понималось как технологическое приложение, применение кем-то и когда-то выработанного научного знания, то теперь оказывалось, что сама деятельность по *получению такого знания «встраивается» в процессы создания и совершенствования тех или иных технологий.*

Меня здесь интересует не столько то, как подобные трансформации происходили в реальности, сколько то, как они осмысливались. На поверхности все вроде бы оставалось по-старому: провозглашалось, что наука – это ведущая сила технологического прогресса, который, в свою очередь, *использует достижения* науки.

Но вот начинается осознание того, что так называемая прикладная наука занимается теми проблемами, которые диктуются именно развитием технологий, а такая «обслуживающая» наука и по количественным масштабам, и по финансовому и иному обеспечению, и по социальному признанию становится определяющей. Регулятивом научной деятельности становится не получение знания, так или иначе претендующего на истинность, а получение результата, который может быть воплощен в эффективную технологию.

При этом, однако, продолжает воспроизводиться и поддерживаться – вплоть до настоящего времени – представление о том, что *технологическая эффективность знаний*

есть якобы прямое следствие их истинности. Эта иллюзия имеет смысл защитного механизма прежде всего для самосознания научного сообщества, но вместе с тем и для подтверждения общественного престижа научной деятельности. Впрочем, в последней функции она становится все менее работающей – в общественных ожиданиях сегодня явно доминируют запросы на новые эффективные технологии, а не на объяснение мира. Описываемые мною трансформации во взаимоотношениях между наукой, технологией и обществом, в частности, реальный переход науки с авангардных на служебные роли, начинаются в сфере естественных наук, но затем захватывают и науки социально-гуманитарные.

Г.П. не только зафиксировал и превосходно выразил эту тенденцию смены ориентиров, но и весьма основательно участвовал в ее реализации. Вот только один пример:

Традиционные науки, – пишет Г.П., – не дают знаний, необходимых для этой [организационно-управленческой – *Б.Ю.*] деятельности; объясняется это прежде всего сложным, синтетическим, или, как говорят, комплексным характером этой деятельности и *аналитическим, или «абстрактным», характером традиционных научных дисциплин* (курсив мой – *Б.Ю.*).¹³

Иными словами, существующие научные знания в силу своей абстрактности заведомо не подходят для решения новых задач; необходимы новые формы функционирования науки и новые способы ее подключения к тем сферам деятельности, которые становятся наиболее значимыми для жизни общества.

Вскоре после этого дается характеристика методологической работы как работы, порождающей новые средства и инструменты деятельности, а не отражающей то, что есть:

Суть методологической работы не столько в познании, сколько в *создании методик и проектов*, она не только отражает, но также и в большей мере создает, творит заново...

¹³ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 92.

А дальше – еще более четко:

И этим же определяется основная функция методологии: она обслуживает весь универсум человеческой деятельности прежде всего *проектами и предписаниями*. Но из этого следует также, что основные продукты методологической работы – конструкции, проекты, нормы, методические предписания и т.п. – *не могут проверяться и никогда не проверяются на истинность. Они проверяются лишь на реализуемость* (в последнем случае курсив мой – Б.Ю.).¹⁴

В данном случае речь идет о методологии, о методологической работе, но ясно, что такая работа понималась Г.П. чрезвычайно широко. Можно даже утверждать, что она включает в себя едва ли не всю сферу гуманитарных наук, но, конечно, не аналитических, «абстрактных», а понятых особым образом:

Научно-техническая революция... поставила сейчас, в начале 70-х годов нашего века, задачу синтеза в инженерии технических, естественных и социально-гуманитарных знаний, а вместе с тем – и этих наук. Дальнейшее развитие всех этих областей, и в первую очередь самой инженерии, без ориентации на гуманитарные науки, на мой взгляд, просто невозможно. Но синтез такого рода сегодня упирается, как мне кажется, в *неадекватность самих гуманитарных знаний* (курсив мой – Б.Ю.).¹⁵

Перед нами по сути дела – проект создания гуманитарного знания нового типа.

Принципиально важным представляется проводимое Г.П. различение и даже противопоставление результативности и истинности; здесь он прямо апеллирует к Марксу:

... продукты и результаты методологической работы в своей основной массе – это не знания, проверяемые на истинность, а

¹⁴ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 95.

¹⁵ Там же. С. 439.

проекты, проектные схемы и предписания. И это неизбежный вывод, как только мы отказываемся от узкой, *чисто познавательной установки*, принимаем тезис К. Маркса о революционно-критическом, преобразующем характере человеческой деятельности... (курсив мой – Б.Ю.).¹⁶

Конечно, сама по себе мысль о том, что в так называемых прикладных науках ценится не истинность получаемых знаний, а их эффективность, результативность, была бы не более чем банальностью. Но я хочу обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, Г.П. в этих рассуждениях характеризует познавательную установку с ее ориентацией на истинность не только как абстрактно-аналитическую, но и как узкую, стало быть, – ограниченную. Проблема истинности гуманитарного знания отнюдь не является простой и при традиционном его понимании как знания не столько объясняющего, сколько интерпретирующего, понимающего. Тем не менее познавательная установка с ее необходимостью так или иначе полагать объект, подлежащий пониманию и интерпретациям, пусть даже самым различным, как нечто существующее независимо от конструирующего мышления, задает ограничения, которых нет перед установкой проектно-деятельностной. Теперь же оказывается, что эта установка ограничивает возможности применения гуманитарного знания.

Во-вторых, речь у Г.П. идет – а это для того времени было совершенно новым и в силу такой новизны трудно фиксируемым – о том, что неадекватен сам традиционный процесс (или путь) *получения гуманитарных* или социально-гуманитарных *знаний*. Возможность не просто их применения, но и производства в сугубо технологической, утилитарно-функциональной перспективе представляется мне глубоким разрывом с существовавшими тогда представлениями о том, как устроено и как «работает» гуманитарное знание.

На мой взгляд, этот разрыв нашел свое выражение в идее *оборачивания задач*, решаемых в научном исследовании. Эту идею Г.П. формулирует в контексте анализа системной проблематики, но ведь по большому счету и эта проблематика, и методоло-

¹⁶ Там же. С. 96.

гическая работа, и организационно-деятельностные игры, и многое другое было для него лишь различными формами выражения и развития одних и тех же идей и умонастроений.

Нам здесь важно, – писал он, – не то, оправдывают или не оправдывают существующие варианты системного подхода возлагаемые на них надежды, а другой, можно сказать, обратный аспект проблемы: те *требования к системному подходу, которые выдвигает сложившаяся социокультурная ситуация*, и именно эти требования мы хотим положить в основу наших рассуждений. Если установка на интеграцию и синтез разных деятельностей фиксируется как факт и если она принимается как ценность..., то дальше *следует обернуть задачу и обсуждать строение того продукта, который должен быть получен* в системном движении... (в последнем случае курсив мой – Б.Ю.).¹⁷

И чуть дальше:

Необходимо подчеркнуть, что такое оборачивание задачи создаст совсем иной план и стиль анализа: он будет касаться не того, что реально создается сейчас в системном движении, а *программ и проектов*, выдвигаемых разными группами профессионалов, участвующих в системном движении, обоснованности этих программ и проектов и их реализуемости.¹⁸

Столь ярко описанное Г.П. оборачивание задачи и является, на мой взгляд, наиболее четким и последовательным выражением деятельностной, или проектно-конструкторско-технологической, «изменяющей мир» установки, «точки зрения искусственного», в противовес созерцательной, или объясняющей, или натуралистической установке. Иначе говоря, таким образом научное познание вписывается в новый социально-организационный контекст, в котором существенно трансформируются и его производители, и его потребители, и его эпистемологические и ценностные характеристики.

¹⁷ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 93.

¹⁸ Там же. С. 94.

Здесь я хочу еще раз обратить внимание на то, что тогда, когда Г.П. не только высказывал, но и реализовывал эти идеи, их было относительно нетрудно осмысливать применительно к естественным и техническим наукам. Если же говорить о гуманитарном знании, то, пожалуй, единственной сферой, где в принципе можно было задумываться об основанных на гуманитарном знании технологиях, была педагогика, но и для нее, насколько я могу судить, такой технологический подход был тогда совершенно чужд.

Представляется, что сегодня социально-гуманитарное знание в нашей стране все более основательно осваивает те маршруты, которые прокладывал для него Г.П. Я имею в виду то, что наиболее востребованными становятся именно технологические возможности этого знания. Это хорошо показано, в частности, в недавней статье науковеда А.В. Юревича «Звездный час гуманитариев: социогуманитарная наука в современной России».¹⁹

Сегодня мы постоянно слышим сетования по поводу тяжелого, если не безнадежного, состояния отечественной науки в целом, а особенно науки гуманитарной. Но вот на этом фоне обнаруживается, что по целому ряду выделяемых А.В. Юревичем симптомов можно зафиксировать возрождение социогуманитарной науки в современной России. Среди этих симптомов автор указывает такие чуткие индикаторы, как, например, возрастание общей численности специалистов и количества научных центров; наиболее высокая стоимость платного обучения и вместе с тем высокий спрос на него; постоянный интерес и внимание СМИ к проблематике социогуманитарного знания.

Это значит, что востребованность социогуманитарного знания является следствием приоритетов, запросов и потребностей, складывающихся в обществе, в его сознании, а не какой-то осмысленной политики властей. В пользу такого вывода говорит следующее обстоятельство. При сопоставлении различных «секторов» отечественной социогуманитарной науки: академического, вузовского, отраслевого и «независимого», по таким параметрам, как уровень доходов их представителей, общественный интерес, благополучие исследовательских центров, достаточно отчетливо обнаруживается, что в наилучшем положении оказалась «независи-

¹⁹ См.: Вопросы философии. 2003. № 12. С. 113–125.

мая» наука, а в худшем – отраслевая и академическая». ²⁰ К сказанному Юревичем можно добавить, что и те, кто занят в академической и отраслевой гуманитарной науке, все более склонны ориентироваться не столько на мизерное бюджетное финансирование, сколько на поиск возможностей, возникающих в сфере технологических приложений. Между прочим, становление и развитие деятельностных игр как организованной формы применения социогуманитарного знания можно интерпретировать как важный шаг на пути создания – в тех условиях, когда об этом трудно было даже помыслить, – независимых структур в этой области науки.

Таким образом, сегодня мы являемся свидетелями того, как находит свое воплощение многое из того, что в годы активного творчества Г.П. могло видаться лишь как более или менее отдаленная перспектива и вместе с тем чему его творчество весьма способствовало. Социально-гуманитарное знание все чаще выступает в технологических формах, будучи направленным не столько на объяснение, сколько на изменение реальности. Деятельностная установка существенно потеснила натуралистическую.

Сегодня, в начале XXI столетия, оформляется новый тип взаимоотношений и взаимодействия науки и технологии, который получил название *technoscience* – технонаука. Наиболее очевидный признак технонауки – это существенно более глубокая, чем прежде, встроенность научного познания в деятельность по созданию и продвижению новых технологий.

В целом же создание технологий выступает в качестве лишь одной из промежуточных стадий функционирования объемлющего контура, в который входит еще несколько составляющих элементов. Так, особой сферой деятельности внутри этого контура становится доведение вновь созданной технологии до потребителя. Скажем, по некоторым оценкам, при производстве нового лекарственного препарата собственно его создание отнимает примерно десятую часть всех финансовых затрат, а все остальные расходы ложатся на продвижение препарата до стадии рыночного продукта. Разумеется, деятельность по продвижению новой технологии тоже строится сегодня на технологической основе, причем на этих стадиях основную роль играют именно социально-гумани-

²⁰ Юревич А.В. Звездный час гуманитариев... С. 123–124.

тарные технологии. А это значит, что разработка некоторого продукта – в данном случае лекарственного препарата – в рамках технауки есть не более чем часть технологического процесса и что, стало быть, *технаука имеет дело прежде всего не с объектами* как таковыми, а с *обширными контурами*, включающими помимо этих объектов также совместную, согласованную деятельность самых разных людей и социальных структур.

Конечно же, каждый технаучный контур включает и те структуры, которые обеспечивают его финансовыми ресурсами, а по сути дела порождают его. Но есть и еще одна сторона, благодаря которой контур и обретает смысл – это потребитель тех продуктов, а точнее технологий, которые производит технаука. Важно при этом, что продукты технауки в подавляющем большинстве случаев ориентированы на массового, даже самого массового потребителя – на индивидуального человека. Благодаря этому технаука получает самый широкий рынок. А поскольку в контур включены и весьма эффективные технологии воздействия на потребителя такие, как агрессивная реклама, то рынок этот является и в высшей степени динамичным. Обеспечивая постоянное изменение и расширение потребностей, эти технологии создают не только спрос на непрерывный поток технаучных инноваций, но и безмерные ожидания научно-технических решений многих, если не всех, человеческих проблем.

Пришествие технауки свидетельствует о том, что современный человек все более глубоко погружается в мир искусственного. И здесь особенно существенно то, что новые технологии все в большей мере ориентированы непосредственно на человека. Такого не было еще лет 20–30 назад, когда обсуждалось главным образом опосредованное воздействие научно-технического прогресса на человека: технологически изменяя мир вокруг себя, человек тем самым преобразует не только этот мир, но и самого себя. Но современные технологии – это все чаще технологии воздействия на то, что непосредственно окружает человека, и, более того, прямого воздействия на человека.

Ф. Фукуяма говорит об этих технологиях как о технологиях свободы,²¹ имея при этом в виду то, что они неизмеримо расширяют

²¹ См.: Fukuyama F. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution. N.Y., 2002. P. 15.

возможности человека, а стало быть, укрепляют позиции либеральной демократии. Но и у этого процесса расширения возможностей есть оборотная сторона, которая ныне вызывает все большую озабоченность. Коль скоро направленное изменение человека становится осознанной целью технологических воздействий, возникают вопросы о том, как далеко можно и нужно идти по этому пути.

Инструментальный идеал здесь уже сформулирован. Это – понятие *designer baby*, т.е. ребенка, созданного в соответствии с предварительно составленным проектом. Безусловно, на пути технической реализации этого идеала существует масса препятствий. Однако сам он сегодня не представляется *принципиально* недостижимым вымыслом фантастов.

Некоторые существенные шаги на этом пути уже проделаны или делаются. Я имею в виду технологии, позволяющие проводить диагностику тех или иных черт будущего ребенка. Уже сегодня результаты такой диагностики используются для выбора пола (а значит, селективного аборта плодов нежеланного пола) значительно чаще, чем для того, чтобы выявить плоды с серьезными генетическими аномалиями. Существуют и достаточно простые технологии выбора – скажем, при искусственном оплодотворении – некоторых признаков будущего ребенка. Но все это – лишь первые приступы к полномасштабному дизайну ребенка.

Когда говорят о дизайне ребенка, имеется в виду не только то, что некоторые его черты, но и сам ребенок как таковой воспринимается в подобных ситуациях как произведенный, как «созданный» родителями. Причем речь идет о «созданности» не просто в генетическом или социально-психологическом, но и в собственно технологическом смысле. Другими словами, ребенок (а стало быть, и человек) в таких случаях понимается как некое достаточно произвольно проектируемое, конструируемое и даже реконструируемое существо, порождаемое не столько природой, сколько осуществлением человеческого замысла.

Перспективы применения биотехнологий к человеку как в этом, так и во многих других направлениях только начинают осознаваться и осваиваться. Важно то, что задачи улучшения человека стали восприниматься сегодня именно в такой, т.е. технологической плоскости. И в отличие от евгеники первой половины XX века, которая ставила задачи улучшения всего рода человеческого или

же отдельной расы или нации, сегодняшние проекты ориентированы на запросы индивидуального (хотя, конечно, и массового) потребителя. И, повторю, существуют достаточно эффективные технологии, позволяющие производить такого потребителя.

Принято считать, что источник технологий изменения и улучшения человека – это биомедицинские науки. Тот же Ф. Фукуяма, к примеру, с пренебрежением отзывается о технологиях прошлого, которые использовали социальные и психологические методы воздействия на человека: «Если, – замечает он, – оглянуться на средства, которые использовали социальные инженеры и планировщики утопий прошлого столетия, они представляются невероятно грубыми и ненаучными. Агитпроп, трудовые лагеря, перевоспитание, фрейдизм, выработка рефлексов в раннем детстве, бихевиоризм – все это было похоже на то, как если бы квадратный стержень природы человека пытались загонять в круглое отверстие социального планирования. Ни один из этих методов не опирался на знание нейронной структуры или биохимической основы мозга; ни у кого не было понимания генетических источников поведения, а если и было, то его нельзя было применить для воздействия на них».²²

Мне же представляется, что XX век многократно демонстрировал высочайшую эффективность технологий индоктринации, а уж современные методы психологического воздействия, формирования стереотипов восприятия и поведения достигают порой редкостной изощренности. Между прочим, то, что общественное мнение сегодня оказывается столь падким на посулы, исходящие от пропагандистов биотехнологий, тоже можно в определенной мере рассматривать в качестве результата такой социально-психологической обработки. И хотелось бы заметить, что для нашей культуры, видимо, более характерен подход, акцентирующий влияние среды и воспитания в формировании личности, в то время как, скажем американской культуре более свойственно ставить на первый план влияние биологии, генов. А значит, наша почва более благоприятствует социально-гуманитарным технологиям улучшения человека. ♦

Важно то, что в обоих случаях – и при биологическом, и при социально-гуманитарном подходе – сам человек рассматривается, во-первых, как материал для технологических манипуляций

²² Fukuyama F. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution. N.Y., 2002. P. 15.

и, во-вторых, как материал чрезвычайно пластичный. Замысел изменения мира, таким образом, фокусируется на задачах *улучшения* человека.

Но здесь-то и встает, уже на фоне реалий XXI столетия, вопрос о соотношении естественного и искусственного. Неслучайно в дискуссиях по поводу улучшения человека ключевое место заняла проблема, которая совсем недавно представлялась совершеннейшим архаизмом – проблема *природы человека*.

Действительно, с точки зрения искусственного, человек – всего лишь социальная конструкция:

Для того, чтобы строить эффективную систему образования, приспособленную к потребностям общества, нужно отчетливо представлять себе необходимый «продукт» ее, нужно хорошо знать, каким должен быть обученный и воспитанный индивид. Иначе это можно сказать так: чтобы построить «хорошую» систему обучения и воспитания, мы должны прежде всего задать конкретную «модель» человека будущего общества. Нужно выяснить, какие деятельности он должен будет осуществлять в этом обществе и в каких отношениях он должен будет находиться к другим людям и обществу. Здесь речь идет... о собственно «педагогическом» проектировании человека.²³

А если человек – не более чем социальная конструкция, то он и должен быть подчинен нормам и т.п., диктуемым закономерностями деятельности. Я, конечно, утрирую, но ведь и в самом деле точка зрения искусственного, деятельностный подход не содержат в себе каких-либо ограничений на такое отношение к человеку, которое позволяет ставить задачи его улучшения; более того, такое отношение вполне вписывается в установку на изменение мира. Тогда и натуралистическая установка, и ориентация на истинность, и попытка определить рамки дозволенного в технологиях воздействия на человека – все это будет трактоваться как издержки недостаточно методологически проработанной позиции.

И напротив, если мы попытаемся задаться вопросами о том, во имя каких целей мы собираемся изменять мир и улучшать челове-

²³ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 344.

ка, каков смысл нашей преобразующей деятельности – смысл, не предписываемый исторической необходимостью, а тот, который мы должны искать сами, на свой страх и риск, – то нам неизбежно придется искать точку опоры в чем-либо находящемся вне самой этой деятельности. Об этом говорил и писал мой старший брат – Эрик Григорьевич Юдин: «...Из того, например, факта, что человек становится личностью только в деятельности и через деятельность, еще не следует, что понятие деятельности непосредственно объясняет нам все проявления личности... Вывод подобного рода напрашивается и из того простого соображения, что личность есть не только продукт, но и условие деятельности, а это значит, что по крайней мере в известном смысле мы должны и саму деятельность объяснить через личность. Если же от этого отказаться, то мы вместо деятельности получаем Деятельность, при которой личность выступает на правах чисто функционального и, следовательно, в каждом конкретном случае необязательного придатка».²⁴

Меня отнюдь не привлекает та трактовка природы человека, которую дает, скажем, Ф. Фукуяма. Я не уверен и в том, что вообще обращение к понятию природы человека позволит решить те этические и ценностные проблемы, которые встают в связи с наступлением технологий улучшения и проектирования человека. Но я считаю необходимым обсуждение этих проблем и поиски тех оснований, на которые можно будет опираться в мире современных и будущих технологий.

Мне представляется, что сделанное и не сделанное Георгием Петровичем Щедровицким чрезвычайно актуально для понимания нынешней ситуации и продумывания путей в будущее.

²⁴ Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. С. 276–277.



**Зинченко
Владимир
Петрович**
(р. 1931)

доктор психологических наук, профессор, действительный член Российской академии образования. Почетный член Американской академии искусств и наук, член редколлегии журналов «Вопросы психологии», «Вопросы философии», «Человек», «Journal of Russian and East European Psychology» и др.

Область научных интересов – теоретическая и прикладная психология, история науки и культуры, философские проблемы психологии, философия образования, педагогика.

Автор более 400 научных работ, свыше 100 из которых изданы на различных языках. Писал научные статьи, книги и биографические эссе о А.А. Ухтомском, Н.А. Бернштейне, Г.Г. Шпете, О.Э. Мандельштаме, М.К. Мармардашвили, Л.С. Выготском, М. Вергеймере, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьеве, П.Я. Гальперине, А.В. Запорожце, Д.Б. Эльконине и др.

Живет и работает в Москве.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА К ТРУДАМ И ДНЯМ Г. П. ЩЕДРОВИЦКОГО

1. Глашатай Больших Проблем

В цивилизованном мире отчетливо различаются акты (процедуры, деятельности) решения проблем и принятия (действия) решений. У нас вошло в обыкновение принимать решения такого рода: «Без проблем!»; «Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай». Но нерешенная проблема не исчезает, не рассасывается сама собой. До поры до времени она стоит перед тобой, оставляет тебе шанс справиться с ней. Но если дело затягивается, то уже не проблема стоит перед тобой, а ты – перед ней, и чаще всего на коленях. Георгий Петрович Щедровицкий принадлежал к крайне немногочисленной у нас породе решателей проблем и делателей решений. Вся его жизнь была направлена на то, чтобы увеличить число людей, умеющих профессионально, разумно и ответственно обращаться с проблемами и осуществлять решения, какими бы эти проблемы ни были, научными или практическими. Одна из рекомендаций Г.П. (возможно, наивная) будущим решателям проблем состоит в том, чтобы *на себя оборотиться* – на свое собственное мышление, на свою собственную деятельность, а главное – понять мышление и деятельность как идеальные объекты, понять универсум мыследеятельности. Это очень трудная и очень полезная, хотя и с негарантированным результатом, работа. Ей нужно было учить и учиться самому. Привлечению единомышленников и расширению их круга, несомненно, способствовал его буйный научный темперамент, незаурядный педагогический талант и организаторские способности. Не последнюю роль играли сознание своей миссии и уверенность в себе. Что касается его организаторских талантов, то, с современной точки зрения, он был какой-то почти неправдоподобный *child-manager* – чистый, совестливый и бескорыстный. Его педагогический талант был не лишен лукавства,

которое тонко подметил А.М. Пятигорский, описывающий свои первые подростковые опыты философствования («мыследеятельности») во взрослом сообществе: «Да очень просто, – отвечал я, предвосхищая в этом вступительном обороте ораторскую манеру моего будущего друга, мэтра московских методологов Георгия Петровича...»¹. Иллюзия простоты и понятности в сочетании с ораторским даром, с несомненно присутствовавшим в нем элементами суггестии (видимо, искренней и непроизвольной), привлекали к нему многих, в том числе и наивно-невинных в философии и методологии. Надо ли говорить, что некоторая часть участников его Кружка так и не смогла расстаться со своей невинностью, усвоив и усугубив внешние черты поведения мэтра.

Будучи философом и ученым, он стремился обеспечить процедуры решения проблем и принятия решений соответствующим методологическим инструментарием. Как и полагалось в начале второй половины XX в., он еще искренне верил в науку, в научную организацию мышления и деятельности, заботился об эффективном развитии науки и ее практических приложений. Убеждение в том, что научную организацию человеческого бытия (которой, впрочем, никогда не было) сменит его тотальная методологическая организация, придет позднее. А до тех пор Г.П. отстаивал научность философии и *научность науки*. Атмосфера существования науки тех лет требовала именно этого. В разное время разные люди характеризовали ее как атмосферу торжества *самозванцев мысли, красного нетерпения, обнаглевшего самосознания, практиков-практикантов и фельдшеризма, философии в повелительном наклонении, растлевающего дурмана, непрожеванной и непереваренной мысли, безусловной банальности, усредненной, смутной понятности, тупоумных теорий, трагического дилетантизма, не сезона для мысли...* Но мысли рождались, в том числе и *несезонные*. Задним числом, оценивая то время, с горечью убеждаешься, что наука может развиваться, а ученые – размножаться даже в неволе. Трудно переоценить и роль наших учителей, которые заслуживают отдельного разговора.

¹ Пятигорский А.М. Философия одного переуллка. М., 1992. С. 41.

Конечно, в отстаивании научности философии и науки Г.П. был не одинок. Наше и последующие поколения с благодарностью вспоминают, наряду с Г.П., А.А. Зиновьева, Э.В. Ильенкова, В.И. Коровикова, Б.А. Грушина, М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорского, Б.С. Грязнова, Э.Г. Юдина и других... Одни из них наивно или – по-блоковски – считали (верили!), что с марксизма-ленинизма достаточно стереть *случайные черты*, и мы увидим – он прекрасен. Другие – также по-блоковски – предпочитали *свою обедню отслужить* и даже стать *новым иереем*. Так или иначе, но каждый по своему и все вместе они очищали и расширяли наше сознание, отвращали от догматизма, учили строгости мышления и на своем примере показывали, что можно (!) думать и можно думать иначе. В Г.П. удивительным образом сочетались убежденный марксист и столь же убежденный идеалист, в чем он, в отличие от официозных марксистов, не стеснялся признаваться и чему, по своему обыкновению, находил вполне рациональное объяснение. Видимо, это так и было. Мне кажется, что от идеализма он взял мышление, а от марксизма – его агрессивно-проектировочный, прожективный вектор. Последнее заразило не только его. Среди самых достойных можно указать Л.С. Выготского.

Конечно, я не смогу сколько-нибудь точно датировать свои первые осмысленные встречи с Г.П. Скорее могу вспомнить первые впечатления о нем, когда он пришел в 1949 г. на второй курс философского факультета МГУ. Они весьма смутны и не слишком благоприятны, так как связаны с его чрезмерной общественной активностью. Таких я всегда инстинктивно сторонился. Когда же он переключил свою энергию на более мирные, научные цели, у меня начал просыпаться интерес к нему. Наше сближение началось уже после университета в 1953–1954 гг. В университетские годы я сблизился с психологом В.В. Давыдовым, философами Б.М. Пышковым, И.В. Блаубергом, В.П. Кешелавой, бывших, как Давыдов и Г.П., моими однокашниками, а также с А.М. Пятигорским, А.А. Зиновьевым, которые были старше меня. Контакты и дружеские отношения с Э.В. Ильенковым, М.К. Мамардашвили установились позднее. Должен признаться, что все эти и другие контакты с философами, логиками на первых порах никак не были связаны со сколько-нибудь осознанными интересами к философии и тем более к методологии. Мне было приятно бывать с ними, узнавать, например, от А.А. Зиновьева, что *засуха в нашей стране оттого, что*

200 миллионов набрали в рот воды и не выпускают, или, что пожар есть горение вещей, к сожжению не предназначенных. Частенько наше общение трудно было назвать вполне трезвым. Пепси в Советском Союзе тогда не было, соответственно, и у нас не было выбора.

Когда Г.П. начал формировать свой круг единомышленников, он пытался вовлечь в него и меня, что было задолго до оформления Московского методологического кружка. Но то ли он был недостаточно настойчив, то ли я – слишком увлечен экспериментальными исследованиями и поэтому неподатлив, попытка не удалась, что не помешало связывавшим нас в течение десятилетий дружеским отношениям. Мне было достаточно методологического руководства с его стороны в наших лыжных прогулках и байдарочных походах. Г.П. был признанным всеми участниками Главным разъяснителем, и мы с восхищением, смешанным порой, с удивлением, воспринимали его категорические суждения, формулировавшиеся в виде законов, например: «Подметка – это *основа* ботинка!», «Береза *вообще* не сохнет – в этом ее особенность!», «В бакалее *всегда* много народа!» и т.п. Несмотря на его апломб, мы не рисковали доверять ему руководство нашими вылазками. Начальником, который всегда прав, неизменно был его брат – Лев Петрович Щедровицкий.

Я был доброжелательным наблюдателем содержательной стороны его жизни. Иногда давал советы, некоторые он принимал, некоторые – нет. Иногда я помогал делом, порой успешно, порой – безуспешно. Наши отношения – сюжет для специального рассказа, на который, возможно, я когда-нибудь решусь. Здесь приведу лишь некоторые эпизоды. Г.П. с молодых лет отличался неправдоподобно высокой продуктивностью. Он говорил, что старается ежедневно писать две-три страницы текста и рекомендовал мне делать то же самое. Я отшучивался, говоря нечто вроде того, что ты уже опоздал: чтобы догнать по продуктивности Вильгельма Вундта, тебе нужно было начинать со дня рождения. Я его явно недооценил: неполный «Архив Г.П. Щедровицкого» (1995) содержит 3553 единицы хранения. Первый вариант кандидатской диссертации Г.П. насчитывал свыше 900 страниц текста. В Ученом совете (кажется, Института философии АН СССР) ему сказали, чтобы из своего фолианта он извлек любую треть и этого будет более чем достаточно. По другой версии, ему сказали: таких диссертантов нужно

душить в колыбели. Версии о том, что эта работа может защищаться как докторская, к сожалению, не последовало. Писать еще одну было глупо, и Г.П. ограничился кандидатской.

Естественно, пространства журналов «Вопросы языкознания», «Вопросы философии», «Вопросы психологии» ему явно было мало. На его счастье, в 1957 г. начали издаваться «Доклады АПН РСФСР». Главным редактором издания стал А.Р. Лурия. Проблема состояла в том, что любая статья должна была быть представлена членом Академии педагогических наук. При этом нужно было найти такого человека, который бы дал себе труд разобраться в нелегких для понимания текстах Г.П. Мы перебрали с ним несколько кандидатур и остановились на Петре Алексеевиче Шевареве – ученом старой закалки, строгом и ответственном, что контрастировало с его удивительной мягкостью и доброжелательностью. Я познакомил их. П.А. Шеварев согласился прочесть его первую статью «О возможных путях исследования мышления как деятельности» и – *«Коготок увяз. . .»*. До сих пор я не знаю, чем нужно больше восхищаться: научной продуктивностью Г.П. или терпением и добросовестностью П.А. Шеварева. С 1957 по 1964 гг. Г.П. самостоятельно и с соавторами опубликовал в этом издании свыше 30 статей. В какой-то момент иссякло терпение у главного редактора. А.Р. Лурия при встрече попросил меня: «Передай своему приятелю Щедровицкому, что будет лучше для главного редактора, для "Докладов" и для автора, если он прекратит писать недоступные пониманию статьи». Все же А.Р. Лурия следует отдать должное. Он долго терпел «интеллектуальные безумства Г.П.» (выражение А.В. Запорожца, у которого в течение ряда лет в Институте дошкольного воспитания работал Г.П.). И А.Р. Лурия, и А.В. Запорожца трудно осуждать. По их словам, им и марксизм давался с трудом, как, впрочем, и мне, видимо, по наследству от моих учителей. Нужно отдать должное и Г.П. В 1978 г. он посвятил памяти П.А. Шеварева большую работу – «Опыт логического анализа рассуждений» («Аристарх Самосский»), изданную лишь в 1997 г., и с большой теплотой рассказывал о нем в своих воспоминаниях.

Описанный эпизод интересен тем, что он иллюстрирует отношение к Г.П. старшего поколения психологов. Это была смесь удивления и непонимания, восхищения и настороженности. Надолго запомнился случай, когда на одном представительном научном собрании в Психологическом институте Г.П. публично обвинил до-

кладчика в клевете. П.И. Размыслов, прославившийся еще в 30-е гг. зоологической ненавистью к Л.С. Выготскому, выступал с очередными инсинуациями в его адрес. Присутствовали многие ученики и соратники Выготского, но отреагировал лишь Г.П.

Известности Г.П. среди сотрудников института способствовала его работа в Издательстве АПН РСФСР и в редакции журнала «Вопросы психологии». А.А. Смирнов и Б.М. Теплов обсуждали с Г.П. вопрос о привлечении его к работе в институте. Г.П. сам объяснил, почему это не случилось: этих достойных людей настораживала его неумемная энергия и бескомпромиссность. Это не к тому, что они были научно беспринципны. Под фактическим руководством этих беспартийных ученых советская психология, несмотря на идеологический прессинг, была неизмеримо профессиональнее нынешней – российской. А.А. Смирнов и Б.М. Теплов были старше и мудрее. Они опасались скандалов, на которые их толкал несомненно талантливый, но чрезмерно задорный и задиристый Г.П. Спустя многие годы, в 1980 г., Г.П. высказал сожаление, что не стал сотрудником института². Кто знает, может, это был плод минутного настроения. Трудно сказать, как бы сложилась его академическая карьера в психологии, но стойкий и *пристрастный* интерес к ней он сохранял всю жизнь. Думаю, что эта не скрываемая им пристрастность помешала постоянно озабоченному методологией А.Н. Леонтьеву привлечь Г.П. к преподаванию методологии психологии на факультете психологии МГУ. Он предпочел истинного философа-олимпийца М.К. Мамардашвили, говорившего о сложнейших проблемах психологии, умудряясь при этом вовсе не упоминать психологию как науку и никого из психологов.

Как бы то ни было, Психологический институт, директором которого был благороднейший А.А. Смирнов, в 1958 г. на долгое время дал приют Комиссии по психологии мышления и логике, работавшей под патронажем все того же П.А. Шеварева и под фактическим руководством Г.П. В ее работу вовлеклись более молодые поколения психологов, не только и даже не столько из числа работавших в Психологическом институте. Конечно, участвовали и не психологи!

На многие поколения психологов, работавших в семинарах Г.П., он оказал огромное влияние. Нужно было бы провести нечто вроде специального социологического исследования среди участников се-

² Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом. М., 2001. С. 70.

минаров и среди тесно работавших с Г.П. психологов над теми или иными проблемами. Возможно, такая работа будет проделана. Я же ограничусь одним примером. Сильный психолог – теоретик и практик – Ф.Е. Василюк в предисловии к своей книге пишет: «Почти все методологические средства, которые используются в этой книге, были созданы работой знаменитого Московского методологического кружка под руководством Г.П. Щедровицкого. Мне довелось посещать кружок в середине 1970-х годов, и особенное влияние на мое мышление оказали тогда В.Я. Дубровский и О.И. Генисаретский, которых я считаю своими учителями в области методологии»³. Такое признание дорогого стоит. Думаящих психологов, в том числе и студентов, привлекали новизна, яркость, полемический талант, характерные для выступлений Г.П., неприятие им так называемых методологических принципов советской психологии, кстати, бытующих до сего времени. Особенно неприязненно он относился к принципу отражения. Влияние Г.П. на мышление ряда поколений психологов сравнимо по силе (но не по характеру) с влиянием Мераба Мамардашвили. К сожалению, после их ухода ничего сравнимого с ними не просматривается на психологическом горизонте.

Конечно, было и остается влияние другого рода. Дальнейшее изложение будет представлять собой попытку анализа и оценки значения трудов Г.П. для психологии. При этом я оставляю в покое методологические средства, разработанные Г.П. и его единомышленниками, тем более что я ими не пользовался. Если такое и было, то это следствие «латентного научения», и я не рефлексировал по их поводу. Мне даже кажется, что я впервые задумался о своем отношении к методологии благодаря моему семилетнему сыну Саше, который учился в 91 средней школе – школе Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова – вместе с сыном методологов, выращенных Г.П. из математиков. Учительница попросила первоклассников назвать слово на букву «м». Марик назвал слово «методология», на что Саша заметил: «Это неприличное слово». Давыдов, конечно, не преминул рассказать об этом Г.П. Впрочем, тот не удивился. Чтобы не возвращаться далее к «детскому» сюжету, вспомню еще об одном. Последователю Г.П. и В.В. Давыдова показалось мало учить младших школьников теоретическому мышлению. Он предложил обучать

³ Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. М., 2003. С. 7–8.

детей еще и началам методологии, на что В.И. Слободчиков резонно сказал: методологическое растление малолетних должно быть запрещено законом.

На мой взгляд, центральные проблемы, которые на протяжении всей научной жизни волновали Г.П., это проблемы мышления и деятельности. Хотя при их рассмотрении Г.П. и субъективно, и объективно чаще всего был настроен антипсихологически, именно здесь можно найти наиболее интересные и значительные для психологии результаты. В том числе значительные для ее теории и методологии. Хочу повиниться и предупредить, что, работая над настоящим текстом, я пользовался лишь доступными мне опубликованными материалами самого Г.П. и не обращался к работам его бывших учеников и единомышленников. Не могу обещать, что в своих комментариях к ним мне удастся, несмотря на добрую о нем память и все мои старания, сохранить полную беспристрастность. В свое время кураторы науки из ЦК КПСС, ощущавшие себя полными хозяевами науки и жизни, укоряли меня в том, что я веду себя в психологии слишком по-хозяйски. На что я отвечал, что психология – это действительно *мое* дело.

2. Объективация субъективного

Начну все же с методологии, от которой, к сожалению, никуда не денешься. Казалось бы, в соответствии со здравым смыслом эксперимент, теория и практика (это треугольник П.Л. Капицы) должны взаимодополнять и взаимопорождать друг друга, быть пронизаны если не вразумительной логикой взаимодействия, которая до сих пор не выявлена, то хотя бы общей *кровеносной системой смысла* (Г.Г. Шпет). Если же над такой триадой будет витать Дух, то мы приблизимся к идеалу науки (вернее – к утопии). Правда, с идеалами непонятно, что делать. С ними не спорят, ими даже трудно восхищаться, тем более подражать. Разве что их полезно держать в сознании. На деле же мы знаем, что реальная наука – это драма идей, драма людей. Наука имеет свой печальный мартиролог, горят и рукописи. Нам приходится слышать, что теории нужны лишь до тех пор, пока их не сменяют другие, лучшие теории. Или противоположное: если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов. В реальности все ока-

зывается не так просто. История науки – это не поле брани, усеянное трупами умственно отсталых предшественников. Б. Пастернак, вспоминая свое философское прошлое, характеризовал первоисточники как подлинные расписки мысли, оставленные ею в истории науки. Он писал, что Марбургская школа знала, что «всякая мысль сколь угодно отдаленного времени, достигнутая на месте и за делом, должна полностью допускать нашу логическую комментацию»⁴. Идеи и теории не умирают, а факты – упрямы. И те и другие, как и люди, имеют свою судьбу, достаточно долго живут независимо друг от друга и рано или поздно обогащают науку в целом.

В конце концов, в соответствии то ли с таинственной общей логикой, то ли с собственной логикой начинают строиться относительно автономные миры: мир теории, мир эксперимента, мир практики. Для выявления, понимания и совмещения таких миров, помимо интуиции ученых, необходима специальная работа и особые мыслительные (или методологические) средства и процедуры, предполагающие анализ ставшего, т.е. экспликацию возникших миров теории, эксперимента и практики; возвращение к истокам, к исходным смыслообразам, т.е. анализ их возникновения и автономизации; наконец, прочерчивание возможных путей развития. По идее такую работу должны выполнять философия, история и методология науки, представляющие собой нечто вроде ретро- и про- спективной рефлексии. Теоретически это, видимо, верно, а практически – это проблема, которую в каждом отдельном случае нужно осознать, осмыслить и корректно поставить. Думаю, что Г.П. исходил примерно из такой логики. Пожалуй, существенной особенностью его подхода была уверенность, что самой главной фигурой в науке, стоящей над теорией, экспериментом и практикой, является фигура методолога. Возможно, в душе он готов был бы поставить методологию и над идеологией, которая в СССР была над всем, на все накладывала свою печать (лапу!). Не был свободен от нее и Г.П., о чем позже. Вопрос о роли методологии в науке очень непростой. Его забавно обсуждал Л.С. Выготский: «Есть два различных способа методологического оформления конкретных психологических исследований. При одном методология исследования излагается отдельно от самого исследования, при другом она пронизывает все изложение. Можно бы-

⁴ Пастернак Б.Л. Избранное. В 2-х т. М., 1985. Т. 2.С. 156–157.

ло бы привести немало примеров того и другого. Одни животные – мягкотелые – носят свой костяк снаружи, как улитка раковину; у других скелет помещается внутри, образуя его внутренний остов⁵. Выготский, по его словам, предпочитал второй тип организации исследования; Г.П. – первый. Оба способа создают для читателей, критиков, даже последователей свои трудности. Например, мне у Г.П. приходится, пробираясь сквозь методологию, отыскивать исследовательскую фактуру, а у Выготского, пробираясь сквозь исследовательскую фактуру, восстанавливать методологический скелет. Уверен, что с подобными трудностями сталкиваюсь не я один.⁶

Так или иначе, но сейчас мне важнее сказать, что Г.П. решительно постулировал, хотя и не сразу и не без колебаний, наличие *теоретического мира*. В 1989 г. он, ссылаясь на К. Поппера, говорил, что его

принцип самостоятельного существования идеальных содержаний и сущностей отнюдь не смешон, не представляет собой идеалистической ошибки, а есть принцип жизненно важный, без которого развивать мышление и деятельность нельзя. Надо понять, что реально существуют сущности, или идеальные содержания, и это есть подлинный мир, а мир феноменальный – мир проявлений – есть, по сути дела, эпифеноменальный.⁷

Здесь Г.П. категоричнее самого К. Поппера в его более ранних работах, на которые ссылался Г.П.. Лишь в 1998 г. издана книга К. Поппера «Мир Парменида»⁸, где автор пишет, что Парменид был первым, кто стал явно утверждать, что существует теоретический мир как особая реальность, скрытая за феноменальным миром. Парменид впервые сформулировал критерий реальности, указывая на то, что подлинная реальность – это теоретический мир, который инвариантен по отношению к любым кажущимся изменениям⁹.

Согласно Пармениду, все, что реально, есть, должно быть вечным и неизменным и такое реальное бытие не может быть раскры-

⁵ Выготский Л.С. Собр. соч. В 6 т. М., 1982–1984. Т. 3. С. 23.

⁶ Зинченко В.П. Загадка творческого понимания (К 100-летию Д.Б. Эльконина) // Вопросы психологии. 2004. № 1.

⁷ Цедеровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 565.

⁸ Popper K. The World of Parmenides. London and New York, 1989.

⁹ См.: Овчинников Н.Ф. Парменид – чудо античной мысли и непреходящая идея инвариантов // Вопросы философии. 2003. № 5. С. 83.

то посредством чувств. Внутренне противоречиво приписывать существование тому, что никогда не является одним и тем же в разное время, и непоследовательно утверждать, что любая существующая вещь возникает из ничего. Чтобы избежать этого тупика, нужно вывести чувственность из сферы реального существования, так как лишь ощущение проявляет такое непостоянство. То, что остается после отбрасывания ощущений, есть сфера абстракций – непоколебимых и вечных истин, если и являющихся доступными, то только для разума¹⁰. Здесь уже абстракция, идея более объективна, чем действующий на органы чувств объективный мир в привычном для нас смысле слова «объективность».

Саркастично аргументировал объективность идей Г.Г. Шпет: «Идея, смысл, сюжет – объективны. Их бытие не зависит от нашего существования. Идея может влезть в голову философствующего персонажа, ее можно вбить в его голову или невозможно, но она есть, и ее бытие нимало не определяется емкостью его черепа. Даже то обстоятельство, что идея не влезает в его голову, можно принять за особо убедительное свидетельство ее независимого от философствующих особ бытия»¹¹. В 60-е гг. XX в. советские философы стали возвращаться к проблематике объективности идеального, утверждать существование *идеальных объектов, объектов знания*, образующих особую «действительность», которая существует наряду с эмпирическими объектами и является ничуть не меньшей реальностью, чем они¹². Признания мира идеальных объектов, мира теории Г.П. было мало. Он постулировал наличие *мира мышления* как особой субстанции, существующей в социокультурном пространстве, то есть в пространстве *между* людьми, а не в голове отдельного человека. Он говорил, что мир мышления должен быть положен как новая реальность – отдельно от реальности материи и противостоящая ей¹³. Своего рода ретроспективное подтверждение существования и некоторых особенностей мира мышления можно найти у Г.Г. Шпета, который в статье «Мудрость или разум», написанной и впервые изданной в 1917 г., отметил (кстати, тоже ссылаясь на Парменида) важнейшую для фи-

¹⁰ См.: Робинсон Д. Интеллектуальная история психологии. М., 2003.

¹¹ Шпет Г.Г. Сочинения. М., 1989. С. 422.

¹² Ильенков Э.В. Идеальное // Философская энциклопедия. В 5 т. Т. 2. М., 1962. С. 225–226; Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. С. 216–217.

¹³ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 10.

лософии и методологии Г.П. идею о том, что есть не только мир идей, мир теории, но есть и укорененный в бытии мир смысла и мир мышления: «Философия как знание создается тогда, когда мы направляем свою мысль на самую мысль. Бытие, как то, что есть, как истина, тогда изучается подлинно философски, когда наша рефлексия направляется на самую мысль о бытии. Ибо для мысли мысль открывается в себе самой, в своей подлинной сущности, а не как возникающее и преходящее, «нам кажущееся», здесь подлинно «незыблемое сердце совершенной Истины» Бытие само по себе есть бытие, и только. Лишь через мысль бытие становится предметом мысли и, следовательно, предметом философии как знания. Нужно прийти к этому сознанию, что бытие философски есть через мысль, что предмет мысли и предмет бытия есть одно и то же, есть *один* предмет. «Одно и то же, – по Пармениду, – мышление и бытие». Или он говорит еще яснее: «Одно и то же мышление и то, на что направляется мысль; и без сущего, в зависимости от которого высказывается мысль, ты не найдешь мышления». Итак, не только предмет бытия для философии есть предмет мысли, но и мысль, на которую направляется философия, есть непременно мысль о предмете, и мысли «ни о чем», следовательно, нет. Здесь у философии как знания – прочное и надежное начало»¹⁴.

У Парменида и в комментариях Шпета речь идет больше чем только о предметности мышления. Речь идет о его бытийности, по сути дела, об онтологии мышления, или о мире мышления, на чем настаивал и что по своему аргументировал Г.П. Впервые о мире мышления (и о мире деятельности) он писал в 1966 г., ссылаясь на В. фон Гумбольдта, говорившего о мире языка. (Афористически эту мысль выразил Иосиф Бродский, сказавший в Нобелевской лекции, что не язык – орудие поэта, а поэт – орудие языка). Аналогичен был ход мысли у Г.П.:

не человек осуществляет мышление, а мышление использует человека как агента. Мышление как бы вбирается отдельным человеком, а потом в том же виде или с некоторыми изменениями передается дальше.¹⁵

¹⁴ Шпет Г.Г. Философские этюды. М., 1994. С. 233–234.

¹⁵ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 235.

Для психологии вся проблема в том, как оно «вбирается», в чем проявляется и как передается. Г.П. предлагает свой вариант решения проблемы, как передать детям новые способы мышления в процессе обучения:

Мы им передаем не процедуру Аристарха Самосского (она достаточно сложна и громоздка), а результаты дальнейшей обработки и анализа его процедуры. Это – некоторая искусственная процедура, обеспечивающая получение того же самого результата. Этот механизм как бы непрерывного снятия процессов, которые были уже реализованы, переводение реальных процедур в набор средств и методов есть фактически *один из основных и важнейших механизмов развития нашей мыслительной деятельности и деятельности вообще*.¹⁶

Согласен, но с некоторым существенным ограничением. «Снимаемая» процессы, которые были уже реализованы, мы можем снять и приведем к ним мышление. А полученный набор средств и методов – это еще не мышление, а лишь его средства и методы. К. Гаусс говорил, что его результаты даны ему уже давно, но он еще не знает, как он к ним придет. И знание результата здесь довольно слабый помощник. Известно, что теоретический результат не содержит *говорящих следов* его получения. Тем не менее, выделение мира мышления и подчеркивание его значения для психологии весьма существенно. Конечно, имеются представления Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского о ноосфере, о планетарном мышлении, но психологи их идентифицируют скорее с космосом, чем с человеком.

По отношению к мирам языка, мышления, деятельности справедливы размышления (заметки) Г.Г. Шпета «Сознание и его собственник», написанные в 1916 г. В начале заметок он пишет: «Факты обнаружения психической деятельности человека в его восприятии или активном действии приписывают *душе* как носителю душевных сил и состояний человека, что приводит к определению самой души как нового значения я»¹⁷. Термин «я» оказывается синонимом не только души, но и личности, индивида, собственного

¹⁶ Там же. С. 261.

¹⁷ Шпет Г.Г. Философские этюды. С. 21.

имени, имярека. Шпет иронизирует: «Полагают, что достигли Бог знает какой широты, если позволяют себе называть "я" не только "душу", но и психофизиологический организм и при случае даже одетый в платье организм»¹⁸.

Шпет настаивает, что всякое «я» есть «собственное», уникальное, единственное. Но отсюда и соблазн говорить «мое сознание», «мое мышление», «моя деятельность», «моя душа» и т.д. Чье же мышление, сознание, чей язык на самом деле? Ответ Шпета на вопрос, кто собственник сознания, справедлив и для аналогичного вопроса о мышлении: «Если мы под сознанием и его единством понимаем *идеальный* предмет, т.е. рассматриваем его в сущности, то лишено смысла спрашивать чье оно: к сущности "я" может относиться сознание, но не видно, чтобы к сущности сознания относилось быть сознанием "я" или иного "субъекта"»¹⁹. Иное дело, что «я» может быть носителем сознания, в том числе и своего индивидуального сознания, своего мышления, своей глупости, наконец. Эта мысль не нова. Шпет ссылается на К. Леви-Брюля и Э. Дюркгейма. Последний писал, что образы действий, мысли и чувства представляют то замечательное свойство, что они существуют вне индивидуальных сознаний²⁰. Точно так же, как идеальная форма вещи существует вне самой вещи, что не уставал разъяснять Э.В. Ильенков. Есть и более древние источники, которые интересно проследивает С.С. Аверинцев. Он находит слово «софия» у Гомера в комбинации с именем Афины под знаком единства жизненно-практического и бытийственно-мифологического элементов. С Платона начинается поворот от понимания мудрости как свойства мудрого человека к иному пониманию, уже не гносеологическому, а онтологическому. Из субъекта предикат мудрости перемещается в объект, из человеческого ума в бытие²¹. Г.Г. Шпет сказал бы, что мудрость Востока начинает трансформироваться в разум Европы.

Дело не в том, кем и когда впервые были высказаны идеи о мире языка, мире мышления, мире мудрости, мире чувств, мирах образов и образов действий. А дело в том, что Г.П. проделал огромную работу по конструированию онтологических картин мира

¹⁸ Шпет Г.Г. Философские этюды. С. 93.

¹⁹ Там же. С. 108.

²⁰ Там же. С. 111.

²¹ Аверинцев С.С. София-Логос. Киев, 2001. С. 225–226.

мышления, существующего не как психический процесс, а объективно, как субстанция особого рода. Он бы вполне мог повторить за своими друзьями (и моими тоже) М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорским: «Без онтологии тоска берет за горло».

Выделение перечисленных миров, находящихся не в голове отдельного человека, *не между ушами*, как пошутил один американский психолог, а объективно, есть необходимое условие развития культурно-исторической психологии в любых ее вариантах, в том числе и собственно психологического исследования индивидуального мышления, что мне хотелось бы особенно подчеркнуть. Но условие – это одно, а предмет исследования – совершенно другое. Изучение «бессубъектного мышления» и «бессубъектной деятельности» есть антипсихологизм, в котором не вполне справедливо упрекали Г.Г. Шпета и к которому призывал психологов Г.П., порой не слишком стесняясь в выражениях. Приведу пример категорического заявления Г.П.:

... я убежден, что психика не есть качество человека. Психика должна рассматриваться субстанционально, если мы хотим строить психику вне субъектов.²²

Должна быть преодолена

предваряющая, преждевременная материализация (с разными вариациями – вроде той, что психика находится в голове у человека, и другой белиберды).²³

Замечу, что «психика вне субъекта» если и не построена, то строится уже довольно давно. А.М. Пятигорский говорил, что еще буддийские философы понимали, что «психика как материал, предмет может описываться (исследоваться, созерцаться, наконец) и как не-психологическое».²⁴ Автор замечает, что это соответствует Павловско-Шеррингтоновскому пониманию психики. Таким образом, названная предваряющей и преждевременной материализация

²² Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 578.

²³ Там же.

²⁴ Пятигорский А.М. Лекции по буддийской философии // Ахутин А., Бибахин В., Пятигорский А. Философия на троих. Рига, 2000. С. 350.

психики, которой с момента своего возникновения занимается классическая, естественнонаучная психология, «преодолела» (и, на мой взгляд, преждевременно) античную идеализацию психики, т.е. представление о ней как о душе, в том числе и представление о ней как о качестве человека. Человек в естественнонаучной парадигме был заменен на субъекта, т.е. изолированную психическую функцию испытуемого в психологической лаборатории. По инерции (или инертности и нечувствительности к языку) подозрительные психологические субъекты до сих пор блуждают по страницам психологической литературы и вытесняют такие замечательные слова, как дитя, ребенок, человек, личность.

Г.П. смешивает два вопроса: принадлежность психики и местопребывание психических актов. Обсуждая первый вопрос, Г.П. Шпет был добрее к психологии, чем Г.П. Продолжу ранее приведенную выписку из Шпета: «Само "я" как единство множества "единств сознания", есть коллектив и собрание. Если же мы имеем в виду некоторую совокупность эмпирических переживаний, то они, разумеется, как эмпирические, приурочиваются к определенному географическому, социальному и историческому моменту. "Чье" здесь только призывает указать "вещь", с помощью которой должны для нас раскрыться социальные отношения. Ответить на вопрос "чье" значит указать, к какому пункту социального целого нужно отнести данную проблему, которую мы можем назвать "объективацией", "изречением". В обсуждении соответствующих проблем, таким образом, нет решительно никаких препятствий указывать в качестве такого пункта любого имрека»²⁵.

В конце концов, при всей ограниченности противопоставления объективного и субъективного, при том, что субъективное не менее объективно, чем так называемое объективное (это мотив А.А. Ухтомского), субъективное тоже нуждается в онтологических представлениях и картинах. И опыт их построения в психологии накапливается. Правда, наиболее детальные онтологические картины не столько субъективного (душевная жизнь) мира, сколько субъектного и даже бессубъектного (психика) мира. Таковы модели когнитивных процессов, модели построения движений, в которых человек редуцирован к субъекту-функции. Очень постепенно в них вводятся такие от-

²⁵ Шпет Г.Г. Философские этюды. С. 108, 109.

четливо психологические феномены, как образ ситуации, образ требуемого действия, образ собственных возможностей его осуществления. Бессубъектные онтологические картины начинают одушевляться и отличаться от машинообразных прототипов. Наиболее интересные онтологические представления о психике могут быть построены на пересечении двух путей – объективации субъективного и субъективации объективного (это мотив Г.Г. Шпета). Один из моих любимых учителей П.Я. Гальперин (не слишком чтимый Г.П.) видел будущее психологии в том, что она станет объективной наукой о субъективном мире человека (и животных). И такой мир действительно есть. Иное дело, *что* в нем от Другого, от других, от коллектива, от «собора со всеми», а что от самого себя? Г.Г. Шпет, завершая обсуждение вопроса о том, чье сознание, пишет: «В конце концов, хитро не "собор со всеми держать", а себя найти мимо собора, найти себя в своей имярековой свободе, а не соборной»²⁶. Между прочим, Г.П. такой «хитростью» и такой свободой обладал в полной мере, особенно если учесть социальную ситуацию, в которой ему довелось жить и работать. Мне кажется, что онтологическая картина мышления, будь оно индивидуальное, коллективное или «чистое», без интуиции, страсти, хитрости, свободы, едва ли будет полной. Важно подчеркнуть, что онтологическую картину мира мышления Г.П. начал строить не сразу, а с исследования индивидуальных процессов мышления *per se* и попыток их онтологизации. Первые результаты такой работы публиковались, начиная с 1957 г. (совместно с Н.Г. Алексеевым), в упомянутых «Докладах АПН РСФСР».

Другой вопрос – местоположение индивидуального мышления. Для того чтобы ответить на него, не нужно быть философом и, к сожалению, лучше не быть психофизиологом:

*Что делать, самый нежный ум
Весь помещается снаружи...*

О. Мандельштам

Локализация мышления – старая проблема. Аристотель, например, помещал бессмертный ум в смертную душу, идею искали в изолированной голове или в сознании, а сознание – в той же голо-

²⁶ Там же. С. 116.

ве. Одна из последних нелепостей – поиск нейронов сознания (Фр. Крик). Видимо, все же прав поэт, прав М. Бубер, помещавший многое, в том числе и мышление, в пространстве *между*. Прав и М.М. Бахтин, помещавший мышление и его результат – идею – в пространстве диалога: «Человеческая мысль становится подлинной мыслью, т.е. идеей, только в условиях живого контакта с чужой мыслью, воплощенной в чужом голосе, т.е. в чужом, выраженном в слове сознании... Идея – это живое событие, разыгрывающееся в точке диалогической встречи двух или нескольких сознаний»²⁷. Забегая вперед, скажу, что представления М.М. Бахтина о диалогизме и полифонии сознания, об участии мышления в бытии, о философии поступка, наконец, о событийности сознания, мышления, мысли – прекрасное основание для всей СМД-методологии. Не менее полезны для нее соображения Л.С. Выготского о единстве общения и обобщения. Многие из этого она проигнорировала в теории, но не в практике, особенно в блистательном исполнении ее самим Г.П. По отношению к ней справедлив вечный вопрос, задаваемый Мастеру: что в мастерстве от науки, а что от искусства?

3. Мышление как субстанция в предмете психологии мышления

В настоящем контексте не столь важна проблема локализации индивидуального мышления по сравнению с утверждениями о субстанциональности и объективности мира мышления в целом. Здесь самое время обратиться к культурно-исторической психологии в версии Л.С. Выготского и отношения к ней Г.П. Последнее не было простым и однозначным. Мне даже кажется, что Г.П. не заметил в ней главного, и его в какой-то мере оправдывает то, что положения Л.С. Выготского об идеальной форме долгие годы не замечались соратниками и последователями самого Выготского, пожалуй, кроме Д.Б. Эльконина.

Г.П. отдавал должное идеям Выготского о единицах анализа психики, о взаимоотношениях мышления и речи, о функциональной роли игры в развитии ребенка и т.д. Г.П. мимоходом, в контексте

²⁷ Бахтин М.М. Проблема творчества Достоевского. Киев, 1994. С. 294.

те размышлений о знаке, отметил важность психологического направления Л.С. Выготского, в котором знак рассматривается как средство (или «орудие»), включающееся в поведение индивида и перестраивающее его²⁸. Наибольшей похвалы от Г.П. Выготский удостоился за его «антипсихологизм». Остановимся на этом подробнее. С точки зрения Г.П., концептуализм, или субъективно-психологическое понимание мышления, берущее начало с Абельяра, есть величайшая и самая значительная по своим последствиям научная ошибка в последнюю тысячу лет²⁹. Он считает, что история методологических исследований XVIII–XIX столетий – это история непрерывных колебаний между внешне-объективным и субъективно-психологическим пониманием мышления. Лишь в первой четверти XX в. происходит резкое отвержение и разрушение субъективно-психологической точки зрения, выдвижение на передний план «логицизма»³⁰. Под «психологизмом» Г.П. понимает переформулирование логических положений на язык так называемых «душевных», или «психических», явлений. Такая трактовка логических положений долгое время считалась оправданной, так как все соглашались с тем, что значения знаков языка задаются человеческим пониманием и, следовательно, должны существовать в этом «понимательном аппарате»³¹. Далее Г.П. со всей категоричностью утверждает, что психологизм ничего не дал теории мышления и даже не сумел выделить особого предмета психологической теории мышления. Развивая свою мысль, Г.П. как будто временно добреет: неудачи психологизма приводят к появлению *теории мышления* благодаря возникновению Вюрцбургской школы, гештальтпсихологии, школ Ж. Пиаже и Л.С. Выготского – *антагонистов психологизма*. Для всех этих школ, исключая гештальтпсихологию, отправной точкой явились знаки, их «значение» и «смысл», их употребление в деятельности людей. И, наконец, вновь печальный вывод: ни одной из школ, а также никому из представителей более мелких течений в психологии мышления так и не удалось сформировать ее предмет³². Из перечисленных научных школ Г.П. все же выделяет Выготского и его учеников, но с некоторыми оговорками:

²⁸ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 516.

²⁹ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 232–233.

³⁰ Там же.

³¹ Там же. С. 235.

³² Там же. С. 237.

Анализ употребления знаков в деятельности и их влияния на структуру поведения, обещавший богатые результаты, очень скоро выдвинул на передний план вопрос, что такое значение знака, а затем – с той же необходимостью вопрос об отношении знака к действительности, к объективному миру, т.е. вопрос традиционно логический. Психологическое исследование знаков и мышления как особого рода знакового поведения оказалось зависимым от логических понятий; предмет психологической теории мышления, намечавшийся казалось столь естественно в первых работах, вдруг исчез и слился с предметом логических теорий.³³

Столь же суровой оценке подверглись ученики Выготского, которые вовсе потеряли мышление, а также работы П.Я. Гальперина и Ж. Пиаже.

Казалось бы, после столь суровых оценок автор должен был бы предложить свою версию предмета психологии мышления. Вместо этого он оправдывает тщетность усилий психологов, направленных на поиск (построение) такого предмета. Оказывается, что сама установка на создание особой и самостоятельной психологии мышления сомнительна. В лучшем случае такое возможно после логического анализа и описания мышления. И, наконец, методология в «повелительном наклонении» (выражение И.Г. Фихте):

... нет и не может быть особой психологической теории мышления, нет и не может существовать мышления как особого предмета чисто психологического анализа.³⁴

Г.П. суров не только по отношению к психологии. Он ведь согласен с В.С. Швыревым, что логика исследует не мышление, а правила формального выведения, и сам пишет о непригодности логики для исследования мышления³⁵. Но это относится лишь к традиционной, формальной логике и не относится к новой, содержательной, или содержательно-генетической, логике, которую намеревается строить Г.П. как эмпирическую науку. Отрицание психологии мышления вполне логично, так как это расчищает дорогу

³³ Щедровицкий Г.П. *Философия. Наука. Методология*. С. 237–238.

³⁴ Там же. С. 239.

³⁵ Щедровицкий Г.П. *Избранные труды*. С. 37, 38.

для построения новой, эмпирической логики, предметом которой, в частности, выступают традиционные психологические проблемы: мышление как деятельность, выделение посредством нее определенного содержания, движение по этому содержанию и пр.³⁶ Я вовсе не отрицаю значения содержательно-генетических исследований Г.П. Напротив, думаю, что их результаты полезно сопоставить с содержательно-генетическими или казуально-генетическими (Л.С. Выготский) исследованиями мышления психологами.

Приведенные положения Г.П. о мышлении и роли психологии в его изучении датированы 1962 и 1964 гг. Но и спустя четверть века Г.П. не смягчил свою позицию. В 1989 г. он сочувственно приводит слова Р.Д. Коллингвуда, что психология есть мошенничество XX в. Г.П., правда, вносит поправку: не психология, а «психологические представления» –

ибо психология очень важна и нужна. Ее вполне можно построить на методологических основаниях, и в частности, на основаниях СМД-методологии, и тогда будет настоящая, подлинная психология. Подчеркиваю, впервые будет, потому что все, что существовало до этого, есть один сплошной психологизм без всякой психологии.³⁷

В отстаивании такого взгляда на психологию Г.П. был последовательным и, по его словам, жестким и даже догматичным.³⁸ Не смею спорить! Из его представлений, например, о творческом мышлении исчезла тайна:

Творческое мышление – это не мусорная свалка, в которой нет организованностей. Творческое мышление есть мышление со множеством противодействующих друг другу и конкурирующих организованностей. Там, следовательно, все время есть как бы точки устойчивости, которые задают структуру мышления. А реальное творческое мышление движется на переходах между ними. Чтобы творчески мыслить, надо быть не безграмотным, как у нас считают люди искусства и всякого рода мисти-

³⁶ Там же. С. 38–39.

³⁷ Там же. С. 559.

³⁸ Там же. С. 542.

ки... как это? – обладателями левополушарного мышления (безграмотные и мистики похваляются как раз правополушарным мышлением – В.З.) или еще чего-то в этом же роде, а знать и представлять себе структуру мышления.³⁹

Оставлю в стороне вопросы о полушариях и о природе организованностей. Ни лево-, ни правополушарный физиолог (впрочем, как и увлеченный полушариями психолог или лингвист) все равно не ответит на вопрос, какое полушарие отвечает за умные эмоции или за аффективную речь, за левые убеждения.

Равным образом, и до гештальтов еще надо дожить. Как нужно прийти и до знания о структуре мышления. А.А. Ухтомский когда-то заметил, что люди сначала научаются ходить, а затем задумываются, как им это удалось. Если задумываются! Не так ли обстоит дело и с мышлением? А. Эйнштейн, перед тем как начать рассказывать М. Вертгеймеру о создании теории относительности, сказал, что он сомневается в том, что можно понять чудо мышления. Эйнштейн же без ложной скромности заявлял, что люди и без него додумались бы до частной теории относительности. А общая теория относительности – это факт его личной биографии. Без него ее не было бы. Г.П., говоривший, что «человек вообще в мышлении ни при чем», едва ли бы согласился с Эйнштейном. Я понимаю, что многое Г.П. говорил и писал в полемическом запале, был и сознательный эпатаж, но «из песни слова не выкинешь» и «написано пером...». Если человек в мышлении есть случайность, то зачем ему знать свое мышление или структуру мышления? Мышление действительно чудо! Оно и процесс, как утверждал С.Л. Рубинштейн, и эту точку зрения упорно отстаивал А.В. Брушлинский. Оно и деятельность, действие, как утверждал А. Бергсон, а вслед за ним очень многие, включая А.Н. Леонтьева и того же С.Л. Рубинштейна. Что касается Г.П., то у него имеется аргументация как в пользу первого, так и второго утверждения. В одном случае, Г.П. членит мышление на процессы, а последнее – на операции и ставит задачу создания их алфавита. В другом случае он членит мышление на действия, а последние тоже на операции (известный пропагандист «нового мышления» – сторонник первой точки зрения: для него главное, чтобы *процесс пошел*).

³⁹ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 541.

При этом Г.П. решительно отвергает пригодность категории «процесс» для анализа деятельности, что вполне справедливо. Она не охватывает такие «вещи», как инсайт, событие, поступок, в которых присутствуют все три цвета времени: прошлое, настоящее, будущее. Но тогда возникает вопрос, какими категориями схватить реальность мыследеятельности, основной разговор о которой впереди.

Видимо, для мыследеятельности справедлив ответ, данный Г.П. относительно деятельности. Последняя есть структура, состоящая из разнородных элементов. Каждый ее элемент должен быть включен в свой особый закон развития, реализуемый с помощью специфических механизмов. Наконец, закономерности деятельности могут быть поняты только тогда, когда мы берем эту структуру как целое.⁴⁰ Абстрактно (методологически?) это может быть и верно, во всяком случае, – просто. А конкретно-психологически, практически проблема в том, что не хотят разнородные элементы составлять целое. Не хотят именно потому, что каждый из них включен *в свой закон развития*. Рецепт *стерпится – слюбится* далеко не всегда эффективен: *В одну упряжку впрясть не можно коня и третью лань*. Маркс был прав, характеризуя деятельность как органическую систему, которая *сама* порождает недостающие ей органы. Для деятельности, как и для организма, действительны проблемы совместимости органов и тканей и отторжения чужеродного. Поэтому-то для психологии крайне важно обсуждение запутанной проблемы единиц анализа психики, ее исходной клеточки, неразвитого начала развитого целого. И.М. Сеченов, возможно, наивно, но верно относил к элементам мысли не только чувственные ряды, но и ряды личного действия. На наличие элементов мысли в действии указывали Ч. Шеррингтон и С.Л. Рубинштейн.

Так что проблема мыследеятельности для психологии не нова. Иное дело, что путь *от действия к мысли*, намеченный А. Валлоном, не всегда достигает успеха. Элементы мысли не только развиваются, но и улетучиваются, деградируют. В итоге не мысль достигает планетарных масштабов, а глупость – геркулесовых столбов. Деятельность становится *иллюзорно-компенсаторной* (Б.С. Братусь), и вдохнуть в нее чужую мысль чрезвычайно трудно. Г.П., конечно, не только ощущал, но и постоянно сталкивался с по-

⁴⁰ Там же. С. 262.

добными трудностями на практике. Поэтому он так часто возвращался к проблематике *оестествления* проектируемых им искусственных образований, что для психологии весьма поучительно.

В том, что сказано и написано Г.П. о психологии, конечно, много не только пристрастного, но и наивного. Никакая наука, никакой исследователь не станет дожидаться, пока кем-то будет создана методология для развития его области исследований. Даже если ему обещают СМД-методологию. То же относится к соображениям по поводу определения предмета исследования целой науки или какой-либо ее части, например, психологии мышления. Некоторые ученые откровенно иронично относятся к задаче определения предмета своей науки: «Математика – это то, о чем математики разговаривают», а «физика – это то, чем физики занимаются». Я помню, как советские психологии в конце 40-х гг. XX в. не смогли договориться о предмете психологии, что удивило, кажется, только присутствовавших на дискуссиях студентов и зашланцев от власть предержащих. Последние, видимо, узнав об этом, в простоте душевной приказали: раз вы сами не знаете, что есть ваш предмет, изучайте высшую нервную деятельность и условные рефлексы. И тем самым едва не уничтожили психологию. С тех пор я предпочитаю не иметь определения предмета науки и иметь возможность работать в науке, чем иметь утвержденное и утвержденное кем-то единственное определение предмета и лишиться возможности работать. Меня, например, вполне удовлетворяют «определения» философии, данные М.К. Мамардашвили: «Философия – это сознание вслух», или «Философия – это знание о незнании». У меня нет претензий и к определению интеллекта Э. Торндайка: «Интеллект – это то, чем Платон, Аристотель и Фукидид отличались от афинских идиотов своего времени». Оно дает больший простор для его изучения, чем горькое определение Э. Боринга: «Интеллект – это то, что психологи измеряют с помощью тестов на интеллект». К несчастью, многие так и думают и в это верят.

К психологии, да и к любой науке, относятся размышления Г.Г. Шпета о предмете эстетики: «Для науки – предмет ее – маска на балу, аноним, биография без собственного имени, отчества и дедовства героя. Наука может рассказать о своем предмете мало, много, все, но одного она никогда не знает и существенно знать никогда не может – что такое ее предмет, его имя, отчество и семейство. Они – в запечатанном конверте, который хранится под тряпьем филосо-

фии»⁴¹. Г.П. был слишком систематичен, чтобы принять такое свободное отношение к предмету науки. Он стремился найти и распечатать конверт, в котором хранятся предмет логики, психологии мышления и конкретных наук.

Вернемся к отношению Г.П. к Л.С. Выготскому и к культурно-исторической психологии. Мне не удалось найти в трудах Г.П. признания Выготского создателем последней. Он упоминается по важным, но все же частным для психологии вопросам. Г.П. обошел главную идею Выготского, состоящую в утверждении объективности аффективно-смысловых образований человеческого сознания, существующих вне каждого отдельного человека в виде произведений искусства. Выготский настойчиво подчеркивал, что такие образования существуют раньше, чем индивидуальные аффективно-смысловые образования. Первые представляют собой идеальную форму, своего рода *общественную технику чувств*, источник умных эмоций отдельного индивида. Мы можем назвать объективно существующие аффективно-смысловые образования (по аналогии с миром языка, миром теории) миром аффектов и чувств, становящимся *образцом для дальнейшего человечества* (А.А. Ухтомский). Вслед за В. Гумбольдтом Выготский признавал наличие мира языка и называл его идеальной формой или культурой. Наличие подобных положений дало основания его ближайшему ученику и соратнику Д.Б. Эльконину утверждать новизну и неклассичность культурно-исторической психологии. В неявной форме у Выготского содержалось также признание объективно существующего мира идей, мира теории. Во всяком случае, иначе он не смог бы написать работу «Исторический смысл психологического кризиса», в которой он был почти столь же неласков к теориям психологии, как и Г.П. Правда, у Выготского это не распространялось на всю психологию.

Конечно, идеи объективного существования мира аффектов, мира искусств сами по себе не новость. В.В. Кандинский задолго до Выготского писал, что произведение искусства, отделившись от художника (если угодно, это есть объективация субъективного), получает самостоятельную жизнь, обладает активными *силами* (О. Мандельштам назвал бы их приглашающими), живет, действует и участвует в созидании духовной атмосферы⁴². Но Выготского лишь на первых порах его психологической карьеры, во время написания «Психологии

⁴¹ Шпет Г.Г. Сочинения. С. 246–247.

⁴² Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М., 1992. С. 99.

искусства», интересовало строение объективно существующего аффективно-смыслового мира искусства. Затем его основной проблемой стало индивидуальное формирование субъективного мира и овладение им. Отсюда и «переход от интериндивидуального к интраиндивидуальному» (что эквивалентно бахтинскому диалогизму и ставшей позднее модной коммуникативности), и «извне – внутрь», или понятие «интериоризации» (наличие которого у него со всей категоричностью отрицал Г.П.) и понятие «деятельности» (наличие которого с не меньшей категоричностью отрицал А.В. Брушлинский), и т.п. Но главная интенция Выготского состояла в том, чтобы понять механизм субъективации объективного. Средством такого понимания стали понятия «орудийности», «инструментальности», «опосредствования», которые практически не встречаются у Г.П. Отсюда интерес Выготского к орудиям, средствам медиации, к знаково-символической деятельности, к слову, к знаку, что больше всего привлекало в Выготском Г.П. Но для Выготского реальность субъективного, законы его образования были значительно более существенны, чем для Г.П. Для него самым главным было понять реальность мышления, существующего как субстанция, независимо от того, есть люди или нет людей.

Признание или «учреждение» мира мышления, а затем и мира деятельности, признание их объективности не менее значимо для культурно-исторической психологии как «науки будущего» (М. Коул), чем признание Выготским объективности аффективно-смысловых образований. Но на этом сходство заканчивается. Повторю уже упомянутый сюжет: Г.П. с одобрением воспроизвел сентенцию одного из своих единомышленников В.Я. Дубровского:

Люди есть случайные носители мышления.

Возможно, автор претендовал на скандальность своей сентенции, а получилось смешно. Да и чего можно ожидать от человека, пренебрежительно отозвавшегося о работе М.К. Мамардашвили – А.М. Пятигорского, посвященной сознанию, в которой авторы разъясняли фундаментальное положение об объективности субъективного. К большому сожалению, Г.П. согласился с В.Я. Дубровским и в этом случае⁴³, хотя в отличие от него понимал идеи философов.

⁴³ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 561, 593–592.

Субъективный мир стоит наравне с объективным миром, будь последний природным или миром теории, миром мышления и т.п. А в каких отношениях окажутся объективный и субъективный миры, вопрос личной судьбы и обстоятельств. Для психологии – это не случай, а искомое, проблема, при решении которой возможны разные варианты. Конечно, человек так или иначе отражает объективный мир, с большим или меньшим успехом ориентируется и действует в нем. Носитель субъективного мира может дистанцироваться от объективного мира, порождать иной мир, погружаться в него или объективировать, быть его хозяином или заложником, а то и жертвой. Испытывать внутреннюю клаустрофобию, бежать от себя, завоевывать свободу или бежать от нее. Ориентироваться в своем собственном мире (мирах!), а тем более овладевать им, жить в нем и с ним в мире никак не проще, чем жить в так называемом объективном мире. Если воспользоваться терминологией Г.П., можно сказать, что игры с самим собой не проще, чем игры с природой или оргдеятельностные игры. В конце концов, не только последние представляют собой

средство деструктурирования предметных форм и способ выращивания новых форм организации коллективной деятельности.⁴⁴

Психологи всегда подозревали, что декомпозиция образа есть одновременно композиция действия, а декомпозиция посредством действия предметных форм есть композиция нового образа измененной тем же действием ситуации. И такие акты композиции и декомпозиции есть выращивание новых форм организации *индивидуальной* деятельности. Правда, психологии выражали это не в терминологии Г.П. или главного деконструктивиста – Ж. Деррида.

Разумеется, легко заменить слово «психология» словечком «психологизм», равно как и объяснить реальный успех Выготского в развитии психологии тем, что он стал «антипсихологистом». Выготский не редуцировал все мышление к оперированию вещами и знаками. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно прочесть его поистине драматическое сочинение «Мышление и речь». Оно даже более драматично, чем его «Психология искусства». В последней мы

⁴⁴ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 293–294.

имеем дело с драматизмом, так сказать, объективным, выступающим предметом анализа автора, а в «Мышлении и речи» просвечивает драма самого автора, осознававшего приближение конца и спешившего закончить книгу. Выготскому, судя по началу книги, действительно очень хотелось понять мышление как оперирование знаками, значениями, понятиями, и он вовсе не случайно придал значению статус единицы анализа речевого мышления, что неоднократно с одобрением отмечал Г.П. Но логика исследования привела Выготского (не сразу и не прямо) к замене значения смыслом, что, впрочем, соответствовало его представлениям о смысловом строении сознания. Я уже не говорю о том, что Выготский, делая заключительный шаг в анализе речевого мышления, пишет: «Мысль еще не последняя инстанция в этом процессе... За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция»⁴⁵. Пользуясь терминологией Г.П., можно было бы сказать, что антипсихологист Выготский стал подлинным психологом. Хотя я думаю, что если Выготский и заблуждался, то он заблуждался как психолог. Психологи – тоже люди!

Другое дело, что у Выготского не сходятся начало и конец книги, на что Г.П. не обратил внимания, а может быть – слукавил, так как смысл не поддается изображению в схемах и моделях СМД-методологии. Более того, понятие смысла, как мне кажется, крайне редко находится в пределах ее тезауруса. Интересна в этом отношении упомянутая выше работа об Аристархе Самосском. Обсуждая «основную линию» осуществления мышления и его «краевые процессы», Г.П. задается вопросами о том, что их объединяет, что задает целостность движения мысли. Казалось бы, напрашивается ответ, что их цементирует *смысл* задачи, но Г.П. старательно избегает такого ответа, видимо, потому, что смысл нельзя изобразить на чертеже двухплоскостного процесса решения задач. Если бы смысл не чувствовался в подтексте, эта интересная работа многое бы потеряла.

Движение мысли Г.П. противоположно движению мысли Выготского. Если Выготский (в перспективе книги «Мышление и речь») уходит от значения к смыслу, то Г.П. – от смысла к значению. Это отчетливо видно в его статье «Смысл и значение», датированной 1974 г. В ней обещается развить деятельностный подход к этим категориям. Г.П., говоря о схемах и структурах смысла, отмечает их

⁴⁵ Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 т. Т. 2. М., 1982. С. 357.

роль в понимании, но предупреждает, что он тонкости последней проблемы оставляет за рамками статьи. Главное внимание Г.П. обращает на конструирование значений, на *сведение* понимаемых инженером-языковедом смыслов исходных знаковых выражений к создаваемым конструкциям значений. Такой инженер *выражает* множество *ситуативных смыслов* через наборы специально выделенных *элементарных значений и последующую организацию их в структуры*.⁴⁶ Любопытна все же одна «тонкость»: откуда языковед-инженер черпает *множество* смыслов? И откуда – критерии их адекватности? В примечании автор специально оговаривает (чтобы читатель не заблуждался), что «значения первичны» – такая деятельность начинается со значений: именно конструкции значений дают первое структурное представление понимания (там же). Дальнейшая задача языковеда-инженера состоит в очередном сведении, на сей раз значений к знакам. При обсуждении вопросов о «знании знаков», «знании о знаках», «знании языка» смысл вовсе не упоминается. При всем моем высоком уважении к «сконструированному» Г.П. языковеду-инженеру не могу не вспомнить, что даже Иисусу Христу не удалось однозначно выразить на понятном людям языке смысл (замысел, промысел) Божественного провидения: число толкователей не убывает. Не возвращается Г.П. и к работе понимания, рождающегося лишь во встречах двух противоположно направленных процессов – означения смысла и осмысления значения, которые происходят на всех этапах многоплоскостного решения задач и на всех этапах понимания. При этом приходится соглашаться с тем, что *полное* понимание в принципе невозможно. Последнее должно не удручать, а утешать, так как именно в дельте непонимания, т.е. разрыва (любимое слово СМД-методологов) между смыслом и значением возможно рождение нового. Поэтому, например, М.М. Бахтин настаивал на продуктивном, творческом характере подлинного понимания.

Следующий вопрос касается структуры смысла. Г.П., видимо, не случайно воздержался от ее изображения. Здесь больше подходят метафоры. Выше упоминалась метафора кровеносной системы смысла (Г.Г. Шпет). Удачна метафора М. Вебера: человек – это животное, повешенное в паутине смыслов, которую он же сам сплел (уме-

⁴⁶ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 568.

стно добавить – из своего собственного бытия). Близка к веберовской метафора Варлама Шаламова, уподоблявшего смысл стихотворения неводу, а рифму – крючку невода, мощному магниту, который высовывается в темноту и мимо него пролетает вся вселенная...

Г.П. тоже не удержался от метафоры. В контексте рассказа об оргдеятельностных играх он подчеркивает важную роль и значение «смыслового облака» общей работы, разные части и фрагменты которого удерживаются и схематизируются участниками игры. Обращу внимание на то, что в отличие от коллективной мыследеятельности, начинающейся со смыслового облака, индивидуальная работа лингвиста-инженера начинается со значения (см. выше).

«Смысловое облако» очень близко к описанию Л.С. Выготского, говорившего, правда, не о смысле, а о мысли: «Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое проливается дождем слов. Поэтому переход от мысли к речи представляет собой довольно сложный процесс расчленения мысли и ее воссоздания в слове»⁴⁷. Если отвлечься от трудноуловимой разницы между смыслом и мыслью (Г.Г. Шпет сказал, что смысл есть со-мысль), то сходство метафор очевидно. Очевидно и то, что оба автора расчленяют смысл и мысль на части, «кусочки», чтобы затем выразить их в словах ли, в значениях ли или в парадигматических схемах деятельности. Весь вопрос в том, не являются ли индивидуальный «мыслитель» Выготского или коллектив мыследеятельной игры Г.П. *печальными наборщиками готового смысла* или готовой мысли? Выготский давал на этот вопрос двусмысленный ответ: мысль и воплощается и совершается в слове. В конце книги «Мышление и речь» он склоняется ко второму варианту. У Г.П. в мыследеятельной ситуации происходит схематизация ее смысла и идеализация ее содержания. Интерпретируя Г.П., можно было бы сказать, что смысл воплощается (или совершается?) в деятельности. А деятельность, как известно, умирает в продукте, в том числе и в таком, каким является знак, схема, графема, значение, понятие, словом, во всем том, из чего людям в дальнейшем придется извлекать смысл. Меня, как психолога, интересует судьба смысла (мысли). Будет ли воплощенный смысл таким же, как исходное смысловое облако, или иным? В каком виде он будет присутствовать у носителей, реализаторов деятельности, ее акторов?

⁴⁷ Выготский Л.С. Т. 2. С. 356.

Всякая не пустая мысль (идея) есть мысль о смысле. И когда смысл воплощен в знаке, в действии, в образе, в словесном значении, это еще половина дела, хотя и чрезвычайно важная. Вторая половина – это извлечение смысла, его «вычитывание», которое вместе с тем является и «вчитыванием» своего смысла, что не проще. Г.П. с подкупающей наивностью ставит задачу языковеду-инженеру сделать всего один шаг – создать для «смысла» особые изображения, отличающиеся от изображений «значений»⁴⁸. Подозреваю, что это шаг длиной в вечность. Здесь трудности принципиальны. Указанная выше двуактность жизни мысли, смысла, идеи справедлива не только для точек диалогической встречи двух или нескольких сознаний (М.М. Бахтин), для обобщения, рождающегося в общении (Л.С. Выготский), но даже для рождения любого интеллектуального действия. В свое время (1938 г.) это было показано учеником Л.С. Выготского А.В. Запорожцем. Он рассматривал переход от владения предметными отношениями (типа навыка) к воспроизведению этих отношений или решению новых задач. Этот переход Запорожец называл переходом от интеллектуальных операций к интеллектуальным действиям и следующим образом описывал его: «Действие, бывшее ранее единым как бы раскалывается на две части – теоретическую и практическую: осмысление задачи и ее практическое решение... Первый акт состоит в преобразовании ситуации, преобразовании задачи, т.е. некоторая ситуация А превращается в ситуацию А1, которая делает возможным употребление известного способа решения... Второй акт представляет собой применение известного способа, инстинктивного или приобретенного путем навыка... Итак, само осуществление мышления главным образом сосредоточивается на первом акте интеллектуального действия. Но изменение мышления и его развитие происходят как раз на втором акте, ибо понятие, которое здесь возникло или было применено, привлечено к решению данной задачи, во-первых, проверяется, во-вторых, обогащается, претерпевает изменение»⁴⁹. Дифференциация действия на теоретическую и практическую части – это не случайная оговорка А.В. Запорожца. Эта проблема, видимо, обсуждалась в Харьковской школе психологов. Доказательством служат заметки в «Методологических тетрадах» А.Н. Леонтьева (1938–1942). Приведу

⁴⁸ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 568.

⁴⁹ Запорожец А.В. Избранные психологические труды. В 2-х т. Т. 1. М., 1986. С. 189–190.

соответствующий отрывок из них, посвященный *возникновению теоретического мышления*, который можно рассматривать и как подарок Г.П. и всей СМД-методологии: «Как разумное содержание (действие в отношениях межпредметных) приводит к возникновению интеллектуального действия?»

Действие отделяется от субъекта как вещь, как орудие или понятие. Разделяется собственно *подготовка* действия и само действие. Подготовка = приведение ситуации в соответствие со способом действия – орудием, понятием. Это теоретический, интеллектуальный акт, который, становясь особым действием (разделение труда), становится теоретическим мышлением. Значит, первоначально в социальном своем значении это – функция организаторов. Это – NB!⁵⁰. Леонтьевская трактовка генезиса теоретического мышления придает методологам статус теоретиков! Более того, первых теоретиков в истории человечества!!!

В цитированной работе А.В. Запорожец также отчетливо артикулировал ряд, казалось бы, важнейших для Г.П. положений о том, что мышление – это не процесс, происходящий внутри сознания и движимый силами самого сознания, что мышление есть деятельность субъекта по отношению к предмету, деятельность, в которой субъект приходит в соприкосновение с предметом, наталкивается на его сопротивление и познает таким образом его свойства⁵¹. Это я вспоминаю не только для того, чтобы еще раз показать, что действительная и деятельностная трактовка мышления для психологии не новость. Своего рода пролегомены к деятельностной трактовке мышления принадлежат Ч. Шеррингтону, А. Бергсону, Дж. Дьюи, М. Вертгеймеру, Ж. Пиаже, А. Валлону, П.Я. Гальперину и в их ряду – Г.П. Щедровицкому.

В размышлениях А.В. Запорожца роль смысла в осуществлении мыслительного акта выступает более выпукло, чем у его учителя Л.С. Выготского: итог первого этапа (осмысления) – найденный смысл определяет выбор средства, играет роль крючка или магнита, о котором писал В. Шаламов. Наличие такого смыслового магнита есть непременное условие поиска значения во внутреннем словаре или словаре отстоявшихся в культуре значений подходящего средства выражения. Когда оно найдено, оно становится не просто значением,

⁵⁰ Леонтьев А.Н. Философия психологии. М., 1994. С. 191.

⁵¹ Там же. С. 178.

а, по выражению Г.Г. Шпета, со-значением, т.е. живым значением или живым понятием. Без учета такого или подобного (или тонкостей, от которых абстрагировался Г.П.) работа языковеда-инженера, деятельность которого проектировал Г.П., едва ли может быть эффективной.

Здесь мы вплотную подошли к проблеме структуры знаковой операции, составляющей ткань человеческого мышления. Важность понимания этой структуры подчеркивали Г.Г. Шпет, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, А.В. Запорожец, М. Вертгеймер, Г.П. Щедровицкий, В.В. Давыдов и многие другие. Постановку проблемы внутренней структуры знаковой операции (и ее решение!) я нашел в «Записи ряда основных положений доклада Л.С. Выготского "Проблема сознания"», сделанной А.Н. Леонтьевым. Доклад состоялся в 1933–1934 гг. Точная дата не указана. Комментаторы сообщают, что в угловых скобках на четных страницах «Записей» приведены не слова Выготского, а соображения А.В. Запорожца и А.Н. Леонтьева. При этом в тексте не указывается автор приводимых соображений. После слов Выготского: «Значение есть путь от мысли к слову» – в угловых скобках написано: «Значение не есть сумма всех тех психологических операций, которые стоят за словом. Значение есть нечто более определенное – это внутренняя структура знаковой операции...»⁵². В.В. Давыдов одобрительно цитирует это положение, приписывая его Выготскому⁵³. Думаю, что кому бы оно ни принадлежало, оно сомнительно и противоречит приведенному выше исследованию А.В. Запорожца. Значение – это, скорее, результат знаковой операции, внутренняя же ее структура (или ее наполнение?) – это ее смысл. К такому же выводу можно прийти на основании результатов исследований Г.П., изложенных в «Аристархе Самосском», о чем вскользь упоминалось выше.

Приведу категорическое суждение Г.Г. Шпета, следующим образом характеризовавшего внутреннюю форму слова: «Между формами морфологическими (с их содержанием, которое то же, что и онтических форм) вклинивается, как *система отношений между ними*, сплетение новых форм, именно форм логических»⁵⁴. Логические формы – это формы существенного смысла (я не останавливаюсь на претензиях Шпета к формаль-

⁵² Выготский Л.С. Т. 1. С. 160.

⁵³ Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996. С. 407.

⁵⁴ Шпет Г.Г. Сочинения. С. 398.

ной логике). Внутренние логические формы сами конкретны, как формы смыслового содержания. Они суть «отношения», термины или «крайние члены» которого – языковая эмпирическая форма слова и принципиальный идеальный («отношение») смысл. Шпет специально аргументирует наличие строгого соответствия и возможностей перевода с языка логики на язык онтологии и обратно. Далее Шпет уподобляет смысловое содержание той материи, которая заполняет собой пространства, из вращательного движения которой вокруг собственного центра тяжести и от конденсации которой складываются в систему хаотические туманности. Только распределяясь по формам морфологическим, онтическим, логическим и др., смысл приобретает целесообразное и органическое бытие⁵⁵. Смысл, таким образом, не просто заменяющий значение посредник, как у Выготского. Он есть мысль, понимаемая как становление.

Чтобы избежать недоразумений относительно недооценки смысловой, т.е. собственно психологической составляющей мышления в более поздних работах Г.П., приведу недвусмысленное его описание автором:

...мышление людей есть функция от используемых ими знаковых средств, а отнюдь не функция нашего сознания. Человек мыслит не головой, а вещами и знаками, действуя с теми и другими и соотнося то, что получается, с эталонами, фиксированными в культуре. Сознание процессов мышления есть лишь условие работы, некий вспомогательный механизм... Итак, мысль и знание теснейшим образом связаны с их знаковыми формами. Знаковые формы являются конструкциями, которые создаются по определенным законам...⁵⁶

Добавлю: в том числе и по неопределенным, таинственным законам интуиции, инсайта, движения смысла, рефлексии и того же сознания. Справедливости ради должен сказать, что тайна и чудо мышления не вовсе ускользают из сознания Г.П.

Описывая практику организационно-деятельностных игр, он говорит о необычайно сложном «месиве» из фрагментов различных

⁵⁵ Шпет Г.Г. Сочинения. С. 416–417.

⁵⁶ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 343.

систем мыследеятельности, к которым можно добавить и «кусочки смыслового облака». Речь идет о

стихийном и хаотическом процессе состыковки друг с другом различных слоев и слоевых процессов из различных слоев индивидуальной мыследеятельности.⁵⁷

Все это напоминает ахматовский *сop, из какого, не ведая стыда, растут стихи*. И здесь организаторам таких игр можно посочувствовать и пожелать успехов в решении практических задач, в достижении поставленных целей. В то же время следует предупредить, что понять психологические механизмы коллективного мышления никак не проще, чем индивидуального. Как уже говорилось выше, успешный творческий (а другой не интересен) результат не несет на себе сколько-нибудь достоверных следов его получения.

4. Общая теория деятельности и проблема культуры

Значит, Г.П. заимствовал из культурно-исторической психологии лишь то, что относится к употреблению знаковых средств. Впрочем, это не так мало. Как заметил А.А. Брудный, культура все превращает в знак. Нельзя сказать, что в работах самого Г.П. размышления о культуре занимают большое место. Насколько я понимаю, он идентифицирует культуру или ее идею с идеей (понятием) воспроизводства деятельности. В свою очередь, воспроизведу его логику. Процесс воспроизводства деятельности – это не только культура, но и процесс, конституирующий само понятие деятельности. Деятельность, как и мышление, существует в истории, а не на отдельных людях. И задается она через процесс воспроизводства и тем самым – через исторические процессы. И далее вновь без ложной скромности:

насколько я понимаю, мы были первыми, кто ввел в советскую науку идею культуры. Более того, я опять-таки рискнул бы сказать, что мы – единственные в мире, кто имеет понятие культу-

⁵⁷ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 293.

ры... Я утверждаю, что в рамках методологии эта идея, задаваемая через схему воспроизводства деятельности, как один из элементов воспроизводства, работает, и работает «на большой палец». И насколько я понимаю, это единственное актуально работающее понятие культуры.⁵⁸

Г.П. добавляет: такого воспроизводства, которое противостоит развитию, функционированию и для которого даже не имеет значения категория производства⁵⁹.

Если оставить в стороне научный темперамент, или «кураж», как его предпочитал называть Г.П., то подобная идентификация культуры и процесса воспроизводства деятельности сделала излишним более широкое (в соответствии с логикой Г.П. его можно назвать и более узким) понимание культуры в культурно-исторической психологии.

Выше были перечислены некоторые механизмы овладения культурой, бывшие предметом изучения Выготского. К ним можно добавить особенно полюбившийся А.Н. Леонтьеву марксов термин «присвоение» культуры, над которым подшучивал В.В. Набоков в «Даре», называя его рыночным. Можно вспомнить и афористическое определение культуры как плодотворного существования, которое принадлежит Б. Пастернаку. Важную «деталь» подчеркивали Г.Г. Шпет, назвавший Возрождение «Воз-рождением», припоминанием рождения, воплощением тайны, ее овнешнением, и М.К. Мармардашвили, говоривший о культурном воспроизводстве как о «вос-производстве». Последний термин оттеняет динамическую составляющую культуры на фоне консервативной, которая в ней несомненно присутствует. Проще говоря, культура нуждается не только в воспроизводстве, но и в продолжении.

Впрочем, идеи воспроизводства и *производства* культуры отчетливо артикулированы Марксом, чего не заметил марксист Г.П., говоривший, что понятия простого и расширенного воспроизводства Маркс использует не в контексте культуры. Не стану воспроизводить полностью витиеватую форму изложения Маркса. Приведу лишь его идею о том, что главное не продукт, не условия процесса и способы его предметного воплощения. Другими слова-

⁵⁸ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 584.

⁵⁹ См.: Там же. С. 585.

ми, главное не деятельность. Все это лишь моменты. Главное – индивиды, но индивиды в их взаимных связях, которые они как воспроизводят, так и *производят наново*. Постоянным является лишь их собственный процесс движения, в котором они *обновляют самих себя* в такой же мере, в какой они обновляют тот мир богатства, который они создают⁶⁰. Здесь Маркс прав по существу, а не потому, что он марксист. Ведь если представить культуру результатом воспроизводства *бессубъектной* (об этом ниже) деятельности, то мы неизбежно придем к бессубъектности культуры. Такого вывода Г.П. не сделал!

Мне кажется, что если бы перед Г.П. возникла задача операционализации того, что он называет воспроизводством деятельности, то он непременно обратился бы к механизмам и законам психического развития, установленным, конечно, не только Л.С. Выготским и его научной школой. Правда, на этом пути его поджидало бы созданное им же самим препятствие. Предметом гордости Г.П. было основанное на идее воспроизводства деятельности принципиально важное для него разделение социальности и культуры. Сначала я подумал, что речь идет не о социальности, а социализации, на которую действительно ссылается Г.П.:

Можно сколько угодно быть социализированным, адаптированным к социальности и – в силу этого – быть абсолютно бескультурным или антикультурным.⁶¹

В этом случае утверждение Г.П. – банально, не соответствует тому пафосу, каким оно сопровождается. Однако эта проблема имеет свою предысторию. В 1972 г. она ставилась вне контекста социализации. Г.П. формулировал гипотезу о том, что

«логико-эпистемологическое» относится к определенным организованностям нашей деятельности, входящим в систему культуры, а «социальное» и «социально-психологическое» принадлежит к широкому кругу процессов, образующих как бы «сферу человеческой активности» вокруг этих организованностей...⁶²

⁶⁰ См.: Ильенков Э.В. Идеальное. С. 227.

⁶¹ Шедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 585.

⁶² Там же. С. 287.

Автор фиксирует целый ряд изобразительных (как представить в онтологической картине) и концептуальных трудностей, возникающих на пути подтверждения выдвинутого *предположения*. А в 1989 г. считает его доказанным.

Упрощая схему Г.П., можно представить выдвигаемую им оппозицию следующим образом: деятельность – это ядро, имеющее отношение к культуре, а активность – сфера, не имеющая к ней отношения. Возьмем наугад несколько характеристик культуры: «Культура – это преодоление хаоса» (А. Белый); «Культура – это связь людей» (М. Пришвин); «Культура – это культ разума» (Г.П. Шпет); «Культура – это язык, объединяющий человечество» (П.А. Флоренский); «Европейское понятие культуры включает в себя объективное, самоценное развитие внешних и внутренних условий жизни, повышение производительности материальной и духовной, совершенствование политических, социальных и бытовых форм общения, прогресс нравственности, религии, науки, искусства, словом, многостороннюю работу поднятия коллективного бытия на объективно высшую ступень»⁶³. С.Л. Франк завершает характеристику: то есть для европейца культура – это «совокупность осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных ценностей».

Во всех приведенных характеристиках в тело культуры входят «социальное», «социально-психологическое», словом, все «сферы человеческой активности», включая коммуникацию, которые Г.П. вынес за пределы культуры в социальное. Более того, цитированные авторы подчеркивают активный, в том числе и социально-активный (хорошо бы не революционный), разумеется, и деятельный, если угодно деятельностный характер культуры: «существование», «преодоление», «связь», «работа», «осуществление», т.е. то, что подчеркивал М.К. Мамардашвили, говоря, что «культура – это усилие человека быть» (человеком). Поэтому-то культура – это не давно прошедшее, а вечное настоящее (О. Фрейденберг). Все приведенное соответствует пониманию культуры в культурно-исторической психологии. Трудно сказать, почему подобное (или свое) понимание культуры не артикулировал Л.С. Выготский, но оно ясно из ее контекста.

⁶³ Франк С.Л. Этика нигилизма // Вехи. М., 1990. С. 160.

Так или иначе, но «логико-эпистемологические организованности нашей деятельности», о которых говорит Г.П., можно также включить в тело культуры. Но возможен и другой вариант. Не вернее ли их включить в тело цивилизации, которую М. Пришвин характеризовал как «силу вещей», что не противоречит трактовке мышления Г.П. Он утверждал, что

само мышление и движущиеся в нем знания представляют собой естественно действующий объект, который не меняется от соприкосновения его с другими надстраивающимися над ним формами, типами мышления. Мы должны показать, что мышление как предмет и объект познания подобно природе, что познающее мышление может стоять к мышлению-объекту в таком же отношении, в каком оно стоит к природе.⁶⁴

Правда, Г.П. оговаривает если не сомнительность, то проблематичность этого утверждения, но оптимистически смотрит на перспективы его обсуждения. Если принять тезис об «оестествлении» законов мышления, уподоблении их законам природы, то мир мышления (в трактовке Г.П.) выступает вслед за второй природой – предметным миром, по Марксу, – как очередная форма человеческой (или бесчеловечной) природы. И тогда логико-эпистемологические организованности нашей деятельности действительно могут быть отнесены не к культуре, а к цивилизации.

По отношению к обоим искусственным мирам – миру цивилизации и миру мышления – возникает одна и та же проблема: сделать их по возможности искусственно-естественными, т.е. проблема «оестествления» этих миров, как называл ее Г.П. Другими словами, сделать их человеко-размерными, не подавляющими человека. Эту проблему легче осознать и поставить, чем решить:

*Душу сражает, как громом, проклятие:
Творческий разум осилил – убил.*

А. Блок

⁶⁴ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 347.

Нечто подобное писал А. Бергсон, сетуя, что разрастающейся технике не хватает такой же большой души. Как ныне ее не хватает достигшему гомерических размеров технократическому мышлению. Что касается культуры, то, как писал М.М. Бахтин, она в принципе не имеет собственной территории, а располагается на границах. Поэтому она может выполнять защитные функции, вступаясь за слабого, например, за человека против техники (эргономика), за природу против человека (экология), за мышление против идеологии (Г.П. Щедровицкий; Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов). Последние упомянуты в связи с их проектом развития теоретического мышления у детей, который они начали осуществлять с конца 50-х гг. Я не сомневаюсь, что проект возник не без влияния Г.П. В.В. Давыдов, в отличие от меня, начиная с 1958 г., принимал активное участие в работе «Комиссии по психологии и логике мышления». Есть еще один аргумент в пользу связи социальной активности с культурой. П.Г. Щедровицкий обозначил свою сферу социальной активности «школой *культурной* политики».

Завершая комментарий к исследованиям Г.П. в области мышления, отмечу его счастливую непоследовательность, которая иногда прорывалась сквозь логико-методологический панцирь, которым он маскировал свою достаточно широкую натуру. Хотя он, утверждая свое понимание объективного, субстанционального и пр. мира мышления, более чем критически относился к психологическим исследованиям мышления, сам он приложил к ним и свою голову, и свои руки. И у него это неплохо получалось, особенно в ранний период его научной деятельности. Некоторые из его исследований вполне можно оценить как продолжение и развитие исследований продуктивного мышления классиком психологии Максом Вертгеймером. Работы Г.П. в области психологии и педагогики мышления *заслуживают* специального анализа. Косвенным подтверждением сказанного является то, что его друг В.В. Давыдов обошел их своим вниманием в печатном (но не в устном) слове. Впрочем, он обошел вниманием также работы Дж. Дьюи и М. Вертгеймера, которые также занимались изучением развития мышления, в том числе и теоретического.

Справедливости ради нужно сказать, что лишь в посмертно опубликованном докладе, подготовленном В.В. Давыдовым в 1998 г. и посвященном проблематике деятельности, был упомянут Г.П. Давыдов пишет, что Г.П. Щедровицкий «также имел своеобразную

теорию деятельности (1993). Она изложена в достаточно развернутом виде в его «Избранных трудах», которая пока мало известна психологам. Свою теорию сам Г.П. Щедровицкий назвал методологической теорией, но в каком-то смысле она сопоставима с психологическими теориями С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева⁶⁵. Запоздалое и *своеобразное* признание, сделанное В.В. Давыдовым незадолго до кончины, но тем более значимое.

Некоторые ученики и сотрудники В.В. Давыдова иначе относятся к психологическому наследию Г.П., чем их учитель. С.Ф. Горбов и Е.В. Чудинова, изучающие действие моделирования как важнейший компонент учебной деятельности школьников, опираются на идеи Г.П. о необходимости конструирования общих форм знаний, соответствующих «природе» рассматриваемых объектов. Авторы констатируют, что отсутствие понимания этой необходимости привело к тому, что в современной практике системы Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова не зафиксировано значение знаковых превращений в разных предметных дисциплинах и при переходах от одного учебного предмета к другому предмету. Особенное значение Горбов и Чудинова придают положению Г.П. о необходимости смены способа видения объектов (предметов рассмотрения и изучения). Г.П. говорит даже о перевороте в системе видения:

Хотя для человека-практика изменения объектов происходят всегда в деятельности и являются ее продуктами, он должен теперь взглянуть на них как на естественные процессы, происходящие независимо от его деятельности и подчиняющиеся своим *внутренним механизмам и внутренним законам*.⁶⁶

На основании приведенного положения Горбов и Чудинова предлагают вводить в качестве первого и необходимого в средней школе учебного действия в учебной задаче – действия порождения идеализированного объекта, а именно особой модели. Такой модели идеализированного объекта, который доступен видимому преобразованию⁶⁷. По сути дела, вслед за Г.П. авторы утверждают, что

⁶⁵ Давыдов В.В. Новый подход к пониманию структуры и содержания деятельности // Вопросы психологии. 2003. № 2. С. 43.

⁶⁶ Щедровицкий Г.П. Психология и педагогика. М., 1993. С. 56.

⁶⁷ Горбов С.Ф., Чудинова Е.В. Действие моделирования в учебной деятельности школьников (к постановке проблемы) // Психологическая наука и образование. 2000. № 2. С. 107–109.

необходимым компонентом, возможно, условием теоретического мышления является мышление визуальное, хотя авторы и не используют это понятие. Визуальное мышление есть порождение новых образов, новых визуальных форм, несущих смысловую нагрузку и делающих значение видимым.

5. Деятельность в активном и пассивном залоге

Отвлечемся пока от того, насколько было обосновано «учреждение» мира мышления и правдоподобна его интерпретация. Несомненно, что Г.П. нашел свою нишу для интересной и вполне академической работы. Он сотворил себе некий метанаучный, возможно даже метафилософский мир, в котором можно было скромно жить, над которым можно размышлять. Почти гарантировано, что размышления о мире мышления не прошли бы незамеченными. Как говорилось выше, некоторые психологи, например Н.И. Непомнящая, их помнят и сейчас. Другими словами, можно было бы почти по-хайдегеровски эмигрировать в миры сознания, теории, мышления и мысли. Но не таков Г.П., который по складу своего характера был реформатором (в его реформаторски-критических установках по отношению к науке было что-то от Выготского, которому было недостаточно психологии искусства и ее мира аффектов). Г.П. привлекала не только научно-исследовательская деятельность, но и социальная активность, что не часто встречается среди ученых-профессионалов и еще реже среди философов. О «самозванцах мысли» (выражение М.К. Мамардашвили) речи не идет. Обе доминанты его души – научная деятельность и социальная активность – довольно долго соревновались одна с другой. Г.П. было мало утверждения бытия мышления и растворения себя в этом бытии. Пользуясь выражением М.М. Бахтина, его собственное мышление должно было стать участным в полном или всеобщем бытии. Его личностная позиция – *не-алиби в бытии* – сформировалась, видимо, в бурной комсомольской молодости. Г.П. вполне по-советски призывал своих единомышленников занимать «активную жизненную позицию». И он, как ученый, для реализации своей социальной активности учреждает еще один мир – мир окружающей нас деятельности, представля-

ющий, как и мир мышления, субстанцию, целостность, универсум особого рода⁶⁸. Будучи человеком цельным, Г.П. соединяет мир мышления с миром деятельности в единый мир – *мир мыследеятельности*. А пока остановимся на мире деятельности.

Забегая вперед, скажу, что при всем пиетете, с которым Г.П. цитирует принцип деятельности, принадлежащий К. Марксу, к нему самому, по крайней мере частично, может быть обращена марксова критика материализма. Напомню, что в материализме «предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме *созерцания* , а не как *человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно* ». Перефразируя Маркса, можно сказать, что, с точки зрения психологии, главный недостаток теории деятельности Г.П. состоит в том, что она берется только в форме объекта, а не субъективно. Дальнейшее послужит обоснованию этого тезиса.

Главная, но лишь частично справедливая претензия Г.П. к любым, в том числе и к психологическим, исследованиям деятельности состоит в том, что они носят эмпирический характер и до сих пор деятельность не выделена в качестве *идеального предмета изучения* , не выделены единицы ее анализа, нет ясности в том, что такое деятельность – вещь или процесс, и т.п. Этому противоречит следующее высказывание Г.П.:

...сами выражения «деятельность», «действие», если оставить в стороне определение их через схемы воспроизводства (с которыми мы уже частично знакомы – В.З.) выступают как выражения сильных идеализаций, чрезмерных редукций, которым в реальной жизни могут соответствовать только крайне редкие искусственно созданные и экзотические случаи.⁶⁹

Между прочим, редкость явлений или событий еще не основание, по которому наука ими должна пренебрегать. А что касается искусственности, экзотики и даже абсурда, то их элементы присутствуют в любом экспериментальном исследовании. Эксперимент – это все же создание условий, которые в жизни не встречаются. Иначе он не нужен.

⁶⁸ Шедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 510.

⁶⁹ Шедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 297.

Здесь полемизировать с Г.П. довольно сложно, потому что его критика в адрес психологических исследований деятельности носит слишком общий характер. Я готов согласиться с Г.П. в том, что существует лишь одна единица ее анализа – это она сама, т.е. весь универсум человеческой деятельности, если речь идет о его собственной методологической теории деятельности. Если же речь идет о психологической теории деятельности, в существовании которой Г.П. всегда сомневался, то в ней имеется классификация ее видов: коммуникативная, игровая, учебная, трудовая, управленческая, свободная и т.п. Изучению некоторых ее видов, например игровой, учебной, Г.П. посвящал свои исследования. Деятельность изучалась и «в глубину»: изучались многочисленные формы действий, операций, функциональных блоков, или блоков функций, для чего разрабатывались методы микроструктурного и даже микродинамического анализа компонентов деятельности. Сегодня анализ доведен до выделения волн и квантов действия.⁷⁰

Другое дело, что анализу деятельности *per se*, ее, так сказать, верхнего слоя можно и нужно предъявлять претензии в абстрактности. Он не слишком далеко ушел от гегелевской схемы: цель, средство, результат. Небогата и распространенная схема: планирование, реализация, контроль.

Могу согласиться с тем, что носителем деятельности является все человечество, живущее не только в настоящем, но и жившее в его истории. Подписываюсь и под тем, что деятельность является как бы (опять это «как бы!») особой субстанцией, которая развертывается по своим собственным внутренним, имманентным законам, что это поток, передающийся от одного поколения к другому, что он распределяется между отдельными индивидами. В.В. Давыдов, видимо, под влиянием Г.П., рассматривал учебную деятельность как коллективно-распределенную. Наконец, я могу согласиться даже с не вполне эстетически выраженным суждением, что люди и машины образуют единую материю, на которой *паразитирует* деятельность. То есть последняя как бы (на сей раз это «как бы» – мое) выступает в роли субъекта, хотя бы и неполноценного, паразитирующего. Повторяю, я не только готов согласиться, но уже со многим согласился.

⁷⁰ Гордеева Н.Д., Зинченко В.П. Роль рефлексии в построении предметного действия // Человек. 2000. № 6.

И тем не менее одно из моих «я» говорит другому «я», работавшему многие годы в оборонной промышленности над проблемами инженерно-психологического и эргономического анализа и проектирования деятельности операторов средств вооружения и военной техники: «Представь себе, что ты с этим бы пришел к своим товарищам – инженерам, проектировавшим и создававшим эту технику?». Ответ ясен: меня бы прогнали. Прогнали бы и в том случае, если бы я добавил, вслед за Г.П., что деятельность – это очень сложная структура, сверхсложная система. Последние слова я, конечно, произносил, но мне приходилось их подкреплять классификацией систем и структур операторской деятельности, простенькими или более сложными структурными их представлениями, моделями, или, говоря в терминах Г.П., онтологическими картинками. При этом я и мои коллеги по «человеческому фактору» занимались еще и «оцифровкой» таких картинок, т.е. комментировали их численными результатами экспериментальных исследований операторской деятельности или ее элементов.

Мы не гнушались операционализировать концептуальные представления, модели и схемы деятельности и действий, развитые Н.А. Бернштейном, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, Э.Г. Юдиным и др., и предлагать свои варианты. В.Э. Мильман опубликовал в журнале «Вопросы психологии» около 15 таких вариантов. И некоторые из них неплохо работали и служили основанием для разработки требований, рекомендаций и даже многих стандартов по учету человеческого фактора при проектировании техники. Снова встану на соглашательскую позицию: пусть наши исследования деятельности носили эмпирический характер и даже являлись (как и теория деятельности А.Н. Леонтьева) всего лишь искаженным психологизированным отражением методологической теории деятельности, развитой Г.П.⁷¹ Но тогда нужно предметно показать, в чем искажения, или вместо «психологизированной» теории деятельности предложить подлинно психологическую, а не только методологическую теорию деятельности. Или, как в случае мышления, сказать, что психологии деятельности нет и быть не может.

Должен сказать, что А.Н. Леонтьев не претендовал на окончательность своей теории (или представлений о) деятельности. Он прекрасно понимал, что «введение так называемой категории дея-

⁷¹ См.: Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 583.

тельности ставит много вопросов, в том числе и дискуссионных»; что «психологическому исследованию деятельности положено лишь начало, и оно по необходимости отвлекается от некоторых психологических реалий». ⁷² А.Н. Леонтьева незадолго до кончины волновало, чтобы теория деятельности была, пусть и в другом виде.

Что касается хронологии, то «Платон мне друг, но...». Вот как описывает А.Н. Леонтьев генезис и истоки возникновения теории деятельности (психологической!): «Очень важна работа Петра Ивановича Зинченко о произвольном запоминании. Я имею в виду особенно первую публикацию, которая появилась только, к сожалению, в 1939 г... В чем был пафос? Занимает предмет место цели – один эффект, занимает структурное место условия – другой эффект: в этом была сущность, главное для нас, по крайней мере.

Так возникло представление и вместе с тем членение, выделились понятия собственно деятельности, мотива, дальше – цели, условий; ну, словом, этот первоначально выделенный арсенал тех понятий, которые я описывал неоднократно в последние годы, а впервые – несколько раньше» ⁷³. К этим перечисленным Леонтьевым понятиям следует добавить понятие психологического действия и более узкое – мнемического действия; последнее у П.И. Зинченко стало единицей анализа памяти. Впоследствии С.Л. Рубинштейн предложил рассматривать действие как единицу анализа всей психики, своего рода клеточку, неразвитое начало развития целого. Цитированную А.Н. Леонтьевым работу П.И. Зинченко Г.П. хорошо знал и неоднократно на нее ссылаясь.

Я, разумеется, согласен с критикой Г.П. субъект-объектных представлений деятельности. От них, в конце концов, отказались авторы психологической теории деятельности. С.Л. Рубинштейн заменил их оппозицией «человек – мир», позднее А.Н. Леонтьев – оппозицией «человек – жизненный мир», стоящий за деятельностью. Можно пойти дальше и, вслед за О. Мандельштамом, сказать: *Я – создатель миров моих.* И более того:

*Все в мире переплетено
Моею собственной рукою.*

⁷² Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. В 2-х т. Т. 2. С. 244–245.

⁷³ Леонтьев А.Н. Проблема деятельности в истории советской психологии // Вопросы психологии. 1986. № 4. С. 116. См. также: Зинченко П.И. Проблема произвольного запоминания // Научные записки Харьковского педагогического института иностранных языков. 1939. Т. 1. С. 145–187; Мещеряков Б.Г. П.И. Зинченко и психология памяти (К 100-летию со дня рождения ученого) // Вопросы психологии. 2003. № 4. С. 84–103.

Мне кажется, что такой взгляд, по крайней мере, более оптимистичен (кстати, его подтверждает вся жизнь Г.П.), чем перевернутая субъект–объектная схема Г.П. В ней субъектом выступает либо деятельность, либо мышление, а в качестве объекта – человек. Получается парадоксальная ситуация: бессубъектная деятельность становится субъектом, что, учитывая издавна существующую у человечества манию персонификации, в принципе возможно. Ведь становится же время (созданное человеком) *действующим лицом*, что справедливо не только для Алисы в Стране Чудес. Вяч. И. Иванов, В.В. Кандинский говорили о великих произведениях искусства не только как о субъектах, а как о личностях, участвующих в создании духовной атмосферы. С другой стороны, не всякий человек соглашается стать объектом, винтиком (этот мотив тоже звучит у Г.П.) и позволять, чтобы на нем *паразитировала* деятельность. Ведь если допустить, что он, пусть и случайно, обладает сознанием, рефлексией, свободой воли, собственной мыследеятельностью, то сможет пойти против потока деятельности, выйти из него, сесть на берегу и посмотреть на суету сует, которую другие считают деятельностью, и отдаться, например, собственному потоку сознания. Это, конечно, очередная психологизация, но подобная интерпретация *методологической теории деятельности*, которую Г.П. называл *Общей Теорией Деятельности*, напрашивается сама собой. Она не столь уж и произвольна.

Удивительно, что марксист Г.П. в поисках характерной особенности мира деятельности не обратился к Марксу и не назвал ее всеобщей деятельностью по аналогии с марксовым *всеобщим трудом*. В этом случае был бы очевиден субъект такой деятельности или труда, которым является человечество. Кстати и индивиду приятнее участвовать во всеобщей, а не в бессубъектной деятельности. А вслед за всеобщей деятельностью можно вести разговор об особенной деятельности (А.Н. Леонтьев) как о ее разновидности, затем – об индивидуальной деятельности. В такой логике найдут место и упоминавшиеся выше иллюзорно-компенсаторные формы деятельности, например, пустой активизм и пр.

Н.В. Гоголь говорил об одном из своих персонажей, что *деятельность покинула его*. Это много хуже по сравнению с тем, когда человек сам оставляет деятельность. У человека органами, осуществляющими выбор желаемой деятельности (и не только

ее!) являются душа, сознание, личность. Имеются аргументы в пользу того, что не только деятельность, но и действие могут приобретать субъектные черты. Выше шла речь о том, что для методологической теории деятельности понятие действия не имеет ровно никакого значения. В психологической теории деятельности, напротив, понятие действия играет центральную роль. Э.Г. Юдин совершенно справедливо назвал изучение действия квинтэссенцией деятельностного подхода. Действительно, психологическая теория деятельности вправе гордиться исследованиями исполнительных, сенсорных, перцептивных, мнемических, умственных действий. В ее рамках внимание и эмоции также рассматривались как формы действия. Мне даже кажется, что настало время обобщения этих исследований и создания психологической теории действия. И именно со стороны исследований действия возможна дополнительная психологическая аргументация в пользу рассмотрения деятельности как субъекта.

В уже цитированной выше работе А.В. Запорожец рассматривает эту проблему, но применительно не к деятельности, а к действию: «Каким образом может действие сделаться целью для другого действия? Каким образом действие может быть так отчуждено, что субъект начинает стремиться к нему, как к известной внешней вещи, внешнему предмету? Каким образом он может стремиться к действию так, как стремился раньше к пище или к какому-нибудь другому предмету, удовлетворяющему его потребности? Как действие получает такого рода отчуждение, становится до такой степени внешним, что превращается в цель субъекта? Единственная возможность этого заключается в том, что действие опредмечивается, приобретает предметный характер. Тогда действие выступает перед ним как внешний субъект, в котором это действие овеществлено»⁷⁴. Поставленные А.В. Запорожцем вопросы и данный на них ответ, на мой взгляд, имеют такое же отношение к действию, как и к деятельности. Но для того, чтобы субъективировать действие и деятельность, нужно самому быть субъектом (лучше личностью!), быть в состоянии принять вызов с их стороны и суметь преодолеть их сопротивление. В итоге действие и деятельность одушевляются (ср. Н.А. Бернштейн: «живое движение» или «движение – живое существ-

⁷⁴ Запорожец А.В. Избранные психологические труды. Т. 1. С. 190.

во»). Одушевляют и знания. Г.Г. Шпет, С.Л. Франк, Ортега-и-Гассет писали о живом знании, о живом понятии. Я уже не говорю о живом слове. Все они выступают партнерами или соперниками индивида, бросают ему новые вызовы. И дело индивида – принять или отклонить их. Значит, в подобной логике мы имеем дело с субъект-субъектной схемой, а не объект-субъектной схемой, как получается в логике методологической теории деятельности, вопреки намерениям ее автора. Строго говоря, эта схема даже не объект-субъектная, а объект-объектная, если всерьез принять положения о том, что люди – лишь случайные и пассивные носители мышления и деятельности. Рискую выйти за пределы *психологического* комментирования, предположу, что субъективация, очеловечивание, а еще лучше – вочеловечивание субстантивированных миров мышления и деятельности, мира аффективно-смысловых образований снимет или, по крайней мере, существенно облегчит как проблему их распремечивания, так и проблему оестествления искусственного, которые заботили Г.П.

Г.П. в анализе деятельности более логичен и последователен, чем в анализе мышления. С его точки зрения, самым принципиальным пунктом для методологической теории деятельности является положение о том, что единственная схема, через которую деятельность может быть задана, – это схема *воспроизводства деятельности*, о которой частично шла речь выше. Хотя это и марксов термин, но в контексте размышлений о деятельности он не кажется мне удачным. В нем пассивный залог преобладает над активным залогом. Здесь ближе подходит понятие превращенных (нередко – превратных или извращенных) форм деятельности (этим понятием широко пользовался М.К. Мамардашвили). У психологов термин «воспроизводство» ассоциируется не столько с К. Марксом, не с его даже расширенным воспроизводством, сколько с исследованиями памяти Г. Эббингауза, со скудным воспроизведением по памяти, с повторением, даже с бессмысленной моторной персеверацией. В психологии есть и другое понимание воспроизведения, в котором на передний план выходит активный залог и которое может служить совсем не лишним подтверждением той исключительной роли, которую Г.П. придает воспроизводству деятельности.

Согласно биомеханике, физиологии активности (Н.А. Бернштейн), психологии действия, точное повторение чего бы то ни бы-

ло невозможно. Н.А. Бернштейн говорил, что упражнение – это повторение без повторения. Каждое движение строится, а не повторяется. Аналогичное происходит со словом. А.А. Потембня говорил, что каждое слово не повторяется, а рождается заново. П.И. Зинченко на основании изучения забывания и воспроизведения школьных знаний пришел к заключению, что процесс воспроизведения имеет творческий характер, а не является простым припоминанием, всплыванием представлений в том виде, в каком они были запечатлены при обучении. Повторение также активно. Оно служит «не только простому закреплению или восстановлению ранее приобретенных знаний, но и качественному их преобразованию»; или более метафорично: «повторение может не только привести к починке развалившегося здания, не только к укреплению этого здания, но и к полной его реконструкции, т.е. к каким-то глубоким качественным изменениям».⁷⁵

Справедливое на микроуровне оказывается верным и на макро-, даже на мегауровне. Напомню, что и у Маркса при повторении истории трагедия становится фарсом. Все же в связи с возможной двойственностью понимания термина «воспроизведение» в психологическом контексте более привычны и адекватны термины «трансляция», «развитие», «формирование деятельности», создание в ее актах новообразований. Вся эта терминология также используется Г.П.

Мне, конечно, можно возразить, что я снова занимаюсь очередной психологизацией деятельности, что через процесс воспроизводства

проходит демаркационная линия между деятельностью и действием, поскольку действие, оказывается, не есть единица деятельности (которая, как мы помним, сама себе единица, неделимый объект или субъект?! – В.З.) и деятельность из действий не складывается.⁷⁶

Каюсь, чем больше детализируется структура действия, тем менее отчетливо я могу представить демаркационную линию между деятельностью и действием. Разве что грань между ними в том, что представления о деятельности до сих пор достаточно абстрактны, а о действиях

⁷⁵ Зинченко П.И. О забывании и воспроизведении школьных знаний // Научные записки Харьковского педагогического института иностранных языков. 1939. Т. 1. С. 213.

⁷⁶ Шедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 584.

– весьма конкретны. Вместе с тем я согласен, в том числе и с А.Н. Леонтьевым, предупреждавшим, что деятельность не аддитивна. При всей справедливости этих утверждений, вне действий деятельность невозможна. Из чего-то ведь она должна состоять! Если деятельность – структура или система, то хотелось бы знать, какие компоненты ее конституируют. Не вспоминать же комичные варианты 30-летней давности, вроде системы «человек – автомобиль – дорога».

Я хорошо понимаю – меня этому учил Э.Г. Юдин, – что категория деятельности – это предельная абстракция, но я ожидаю от методологии помощи в том, чтобы меня еще научили делать корректные проекции этой абстрактной категории, а тем более методологической *теории* деятельности на тело моей родной психологии, в том числе и на тело эмпирически изучаемых мною видов деятельности. А если меня этому не учат, я делаю такие проекции сам. Мне это не только интересно, но еще за это зарплату платят. Может быть, я делаю проекцию не от той абстракции или не от той теории, но меня утешает то, что философы и методологи тоже от своих абстракций нередко восходят не к тому конкретному.

Г.П. ссылается на манифест деятельностного подхода, или методологической теории деятельности⁷⁷. Но, как хорошо известно, к Манифесту нужно относиться в высшей степени осторожно. Я бы предпочел (как в свое время западные немцы) Капитал. Методологический ригоризм по отношению к эмпирии должен иметь свои пределы. Кое-что значительное в науке делается не только не по методологическим уложениям, но и благодаря их незнанию или сознательному игнорированию. Если подобное случалось, то такое не только удивляло, но и фрустрировало Г.П.

Спор между эмпиризмом и рационализмом не вчера начался и не завтра кончится. В конце концов, ни тот, ни другой не должны забывать, что они веками взаимно *паразитируют* друг на друге. А если выбирать более парламентские выражения, то неистребимые (и, видимо, неисправимые) рационалисты и эмпирики вместе должны были бы исповедовать провозглашенный С.В. Мейеном *принцип сочувствия* в науке. Правда, подозреваю, что они еще долго будут предпочитать принцип фальсификации (взаимной) К. Поппера. Ду-

⁷⁷ См.: Щедровицкий Г.П. Автоматизация проектирования и задачи развития проектировочной деятельности // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектирование. М., 1975.

маю, что философы и методологи изобретают неклассические формы рационализма и разнообразные варианты модернизма, от которых *устал культурный человек*, не от хорошей жизни. А между тем практика организации деятельности не дремлет.

Бедность психологической и схематизм методологической интерпретации категории «деятельность» далеко не безобидны. Дело даже не в том, что психологи с помощью одного скудного по содержанию понятия пытаются объяснить другие значительно более содержательные. Кажущаяся понятность и простота деятельности, в свою очередь, создает иллюзию легкости ее проектирования (или воспроизведения?), конструирования, программирования, управления и т.п. И в самом деле, в чем проблема? Поставил цель, предоставил средства, задал результат, создал соответствующую социальную ситуацию или контекст достижения цели, объявил деятельность нормативной, установил правила-нормы, организовал сообщество, разделил обязанности между участниками, внушил «обманы путеводные», пообещал вознаграждение – «замотивировал», регламентировал кары, назвал организованное сообщество группой, коллективом, собранием, орденом, партией, классом, бандой, «собором со всеми» – и успех гарантирован. Конечно, для успеха нужен еще талантливый режиссер, лидер, менеджер, вождь, пахан, секреты деятельности которого, впрочем, остаются его секретами. Надо ли говорить, что нарисованная картинка весьма реалистична, это слепок с жизни, с практики организации деятельности, а не итог ее теоретико-методологических исследований. Для эффективности подобной практики «психологизация» исследований деятельности скорее помеха. На такой «пустяк», как свободная деятельность, лучше не обращать внимания. Если люди все равно случайные носители мышления и деятельности, то не все ли им равно, что носить. Как говорили в старину: таскать не перетаскать... Лучше и проще забыть, что свободной, согласно Гегелю и Марксу, является такая деятельность, где имеется свобода в постановке цели, в выборе средств ее достижения, в определении вида результата. Эта деятельность – творчество, в котором, между прочим, есть своя суровая дисциплина и ответственность. Уменьшение числа степеней свободы превращает деятельность в функционирование, в работу; сведение их до минимума, – в тяжелую обязанность, в каторгу. Еще одним «пустяком» (помехой) является сознание. Примечательно, что тоталитарные режимы, накопившие бо-

гатый опыт внешней организации жизни и деятельности подопечных им этносов, не имели сколько-нибудь серьезных претензий к психологическим исследованиям (теориям!) деятельности. Их агрессию вызывали психологические и другие исследования сознания. В крайнем случае оно должно было быть вторичным (*второй свежести*) и единым с деятельностью.

П.А. Флоренский ставил знак равенства между деятельностью и творчеством и приходил к не слишком оптимистическому для исследователей выводу: «... деятельность, по самому существу ее для рационалиста непостижима, ибо деятельность есть творчество, т.е. прибавление к данности того, что еще не есть данность и, следовательно, преодоление закона тождества»⁷⁸. Аналогичен ход мысли С.Л. Франка, который отличал внешнюю организацию общественной жизни от внутренней органичности. Он писал, что все органическое, живое, живущее внутренним единством, не может быть организовано. Единство и оформленность не извне налагаются на раздробленность и бесформенность частей, а действуют в них самих, изнутри пронизывая их и имманентно присутствуя в их внутренней жизни⁷⁹. Вспомним еще раз кровеносную систему смысла Г.Г. Шпета и паутину смыслов М. Вебера.

Постижима деятельность или нет – покажет будущее, оно же и подскажет средства ее постижения. Сегодня ясно, что необходимо существенное обогащение и развитие наших представлений о ней. Г.П. признавал наличие в деятельности имманентных ей законов развития. Спора нет, он многое сделал для ее рационального объяснения и понимания. Но тот же рационализм поставил ему пределы. Трудно сказать, помогут ли ее дальнейшему познанию постоянно изобретаемые новые неклассические формы рациональности.

6. «А был ли мальчик?», или Возможна ли мыследеятельность?...

Выше уже шла речь о том, что Г.П. соединял мир деятельности с миром мышления. Ему принадлежит неологизм *мыследеятельность*. Нравится он нам или нет, но он вошел в язык (я встретил его у модного сегодня японского писателя Харуки Мураками).

⁷⁸ Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М., 1990. С. 80.

⁷⁹ Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 56.

Конечно, введение нового слова проблемы не решает, о чем свидетельствует опыт психологии, в частности, попытки обогащения и развития психологической теории деятельности. Довольно длительное время психологическое содержание деятельности не столько извлекалось из нее, сколько искусственно вводилось. Например, деятельность плюс мотив (А.Н. Леонтьев); деятельность плюс потребность-нужда (В.В. Давыдов); деятельность плюс мышление, итог – осмысленная деятельность (П.Я. Гальперин); деятельность плюс сознание, итог – единство сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн). К деятельности «прибавлялись» также аффекты, функциональные состояния, личностные смыслы и пр. В этом же духе можно понимать и вариант Г.П.: деятельность плюс мышление, итог – мыследеятельность.

Это понятие не вытекает из слабых или сильных идеализаций, которые не удовлетворяли Г.П. в психологической теории деятельности, а имеет вполне практические основания:

В реальном мире общественной жизни деятельность и действие (в реальности Г.П. все же признает последнее – В.З.) могут существовать только вместе с мышлением и коммуникацией (хорошо бы было так на самом деле – В.З.). Отсюда и выражение «мыследеятельность», которое больше соответствует реальности и поэтому должно заменить и вытеснить выражение «деятельность» как при исследованиях, так и в практической организации.⁸⁰

То, что понятие «мыследеятельность» больше соответствует реальности, достаточно спорно, если, конечно, не ограничивать реальность участниками Московского методологического кружка. Думать трудно, и люди это делают без большой охоты. Так что в приложении к ним понятие «мыследеятельность» есть преждевременный комплимент, впрочем, не больший, чем Homo sapiens. Ср.: М. Цветаева:

*Это ты, тростник-то мыслящий?
Биллиардный кий!*

Понятие «мыследеятельность» все же довольно искусственно, хотя адекватно для ситуаций, в которых оно возникло. В нем фиксиру-

⁸⁰ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 297–298.

ются ситуации, когда мышление включено в контекст практической деятельности, когда необходимо организовать коллективную комплексированную работу.⁸¹ Мыследеятельность – это полезный инструмент организации надпрофессионального и надпредметного мышления, в которой у Г.П. был огромный и, кажется, неповторимый опыт. Думаю, если такая деятельность станет повсеместной, что едва ли случится скоро, приставка «мысле» отпадет сама собой. Ведь когда-то Маркс в качестве доминанты деятельности указывал на ее чувственно-предметный характер, называл он ее и чувственно-сверхчувственной. Может быть, ее доминантами станут созерцание или аффект, что, надеюсь, не повлечет за собой, например, замену и вытеснение выражением «*e-motion*» выражение «*motion*». Движение, действие, деятельность – вечные понятия (независимо от того, насколько нам удастся их раскрыть или включить в более широкий контекст).

Так или иначе, но стратегия обогащения понятия «действия» и стратегия изучения действия была совершенно иной по сравнению с обогащением понятия «деятельность». Его когнитивные, оценочные, аффективные, даже рефлексивные свойства и компоненты выявлялись в нем самом, извлекались из него, а не вводились извне. Рефлекторное кольцо Н.А. Бернштейна, заменившее рефлекторную дугу, оказалось настолько насыщенным и перенасыщенным психологическим содержанием, что утратило свое наименование, стало моделью, функциональной структурой *действия*. Общими усилиями многочисленных последователей Бернштейна в нем выявлены более двадцати когнитивных, оценочных, аффективных компонентов и различных видов связей между ними, составляющих функциональную структуру предметного действия. В ней не так просто отыскать, так сказать, чисто реактивные, моторные компоненты. Для действия характерно переплетение биодинамической, чувственной, аффективной, а на более высоких уровнях организации – и вербально-символической ткани. И все это разыгрывается при участии недоступных сознательному контролю, хотя и фоновых, но все же рефлексивных оценок⁸². Это обеспечивается наличием у живого движения двух видов чувствительности: к ситуации осуществления действия и к возможностям собственного исполнения. Сравнение их показаний и есть первичная форма фоновой рефлексивной оценки, на основе ко-

⁸¹ Там же. С. 115.

⁸² См.: Гордеева Н.Д. Экспериментальная психология исполнительного действия. М., 1995.

торой принимается решение о начале, продолжении или прекращении действия, срочной смене его направления, скорости, изменения усилия и других слабо поддающихся сознательной регуляции параметров.⁸³ Если вернуться к исходному термину, то рефлекторное кольцо на самом деле оказалось рефлексивным кольцом, которое со сдвигом по фазе открывает то внешнему миру, то внутреннему миру исполняющего действие индивида. Поразительно не то, что такое происходит, а то, что оно происходит при совершении даже самых элементарных движений с частотой несколько раз в секунду.

Для описания свойств живого движения не вполне адекватен образ кольца даже с прилагательным «рефлексивное». Здесь ближе подходит образ динамической ленты Мебиуса, одна сторона которой – это биодинамическая ткань, а другая – чувственная ткань живого движения. Казалось бы, рефлекс и рефлексия отличаются всего лишь окончанием: рефлекс-и-Я. Разумеется, Я в живом движении – это скорее метафора, или своего рода прото-Я живого существа. Напомню, что Н.А. Бернштейн, столкнувшись со сложностью живого движения, уподоблял последнее живому существу. Он бы едва ли удивился, что в *самом* живом движении обнаружены свойства, составляющие фундамент будущей осознанной регуляции движений. Различия между рефлекторной и рефлексивной организацией кардинальны, они меняют принцип *условно-отраженного действия* (А.А. Ухтомский) на принцип свободно-порожденного, личного действия. Как говорил Томас Элиот:

В моем начале – мой конец.

В моем конце – мое начало.

Сам Н.А. Бернштейн говорил об этом в терминах сличения личного и должного: *istwert* (что есть) и *sollwert* (что должно быть). В.А. Лефевр рисовал человечка, держащего в руках планшет, на котором изображен его двойник, выбирающий разные варианты действий. Таким образом он иллюстрировал возможность проигрывания действия до действия, т.е. рефлексивность действия и его принципиальную субъективность. Г.П. ссылаясь на это особое изображение рефлексии Лефевром, предложенное им в 1962 г.⁸⁴ В 1965 г.

⁸³ Гордеева Н.Д., Зинченко В.П. Роль рефлексии в построении предметного действия // Человек. 2000. № 6.

⁸⁴ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 410.

Лефевр опубликовал материалы к конференции, о которых Г.П. не мог не знать⁸⁵. Они вызвали скандал из-за фразы: «"существо", являющееся лидером». Цензура переполошилась, хотя внятного объяснения причин переполоха не дала. Скорее, в подтексте сквозила обида за лидера, которому маловато быть существом. Статья же Лефевра посвящена самоорганизующимся и саморефлексивным системам. В ней рассматривается возникновение индивидуального сознания и самосознания, а также некоторые условия организации коллективной деятельности, правда, еще не мыследеятельности. Г.П. проигнорировал эту работу Лефевра, как и все последующие, посвященные конфликтующим структурам и рефлексивному управлению. Не думаю, что игнорирование имело личностные причины. Они, скорее, принципиальны и связаны с тем, что проблему сознания и самосознания Г.П. сознательно оставлял за пределами своих научных интересов и поисков. Включение этой проблематики могло бы поколебать его взгляд на деятельность как на бессубъектную. Возможно, он именно поэтому настаивал на наличии демаркационной линии между деятельностью и действием. Может быть, он прав, утверждая, что деятельность не складывается из действий, но она из них вырастает, не утрачивая ни рефлексивности, ни субъектности. В противном случае она вырождается в нечто иное. Сказанное имеет отношение к деятельности и к мыследеятельности в особенности. И. Бродский удачно охарактеризовал рефлексию как постскрипtum к мысли. С не меньшим основанием ее можно признать прескрипtumом к действию. А если к этому добавить наличие фонового уровня рефлексии внутри действия, то она и есть движение смысла, о котором писали Г.Г. Шпет, Н.А. Бернштейн и А.В. Запорожец. В этом свете людей, обладающих рефлексией, переживающих и порождающих новые смыслы, едва ли можно признать *случайными эпифеноменами мира мышления и деятельности*⁸⁶.

При развитии структурных представлений о действии, естественно, возникал вопрос, а есть ли в нем место для мышления, в частности, для принятия решений? Оказалось, что мышление и принятие решений есть, а конкретное место указать невозможно. Напомню,

⁸⁵ Лефевр В.А. О самоорганизующихся и саморефлективных системах и их исследования // Проблемы и исследования систем и структур. М., 1965. См. также повторную публикацию: Прикладная эргономика. 1994. № 1.

⁸⁶ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 569.

что И.М. Сеченов целое личное действие считал элементом мысли. В цитированном выше исследовании А.В. Запорожец находил элементы мысли (смысла и значения) на обоих актах предметного действия. А в современных функциональных структурах действия присутствуют десятки потенциально возможных актов, и каждый из них может оказаться решающим. Как может оказаться решающим каждый миг человеческой жизни. А.А. Ухтомский в свое время говорил, что судьба реакции решается не на станции отправления, а на станции назначения. Этого до сих пор не может понять никакая власть. Помню, как в молодые годы Г.П., работавший редактором в Издательстве АПН РСФСР, смеясь, рассказывал, что он получил для работы «Педагогическую энциклопедию» с замечаниями главного редактора – Президента Академии. Рядом с термином «Центр Вернике» было написано: «"Центр Брока" уже был, а в мозгу может быть только один центр».

Результаты исследований предметного действия показывают, что судьба реакции решается и на станции отправления, и на станции назначения, и на всех промежуточных станциях. Действие либо целиком умное, либо целиком если и не глупое, то ошибочное, несовершенное. Словосочетание «умное делание» не только достояние теологии. Мне кажется, что при развитии методологической теории деятельности полезно учитывать результаты психологических исследований предметных, перцептивных, мнемических, умственных и аффективных действий, а не считать их интеллектуальными излишествами.

7. Удачная аббревиатура

Развитие методологической теории деятельности пошло не вглубь, а вширь. Продолжая вербальные игры, Г.П. к и без того непривычному словосочетанию «мыследеятельность» прибавил слово «система». В итоге получился труднопроизносимый вербальный монстр «системомыследеятельность». Пользователей выручает только довольно благозвучная многократно использованная выше аббревиатура – СМД-методология. Трудно сказать о мотивах создания этого монстра. Возможно, они связаны с тем, что слово «мыследеятельность» не несет на себе отчетливых следов методологии и философии. Возможно также, что прибавление слова «система» –

дань модному в то время системному подходу, с помощью которого философы и методологи пытались заменить или, по крайней мере, смягчить становившуюся одиозной марксистско-ленинскую фразеологию. В оправдание ее «окультуривания» Маркса даже назначили родоначальником системного подхода, что выдавалось за революционный шаг в развитии марксизма. Наконец, возможно, наиболее правдоподобный мотив – это экспансионистские претензии методологии, развивавшейся Г.П. и его единомышленниками.

На мой взгляд, если даже все перечисленные мотивы действительны, добавление слова «система» излишне. Фонетическую громоздкость и неудобоваримость этого словосочетания еще можно как-то пережить. А с убеждениями что делать? Понятия «мышление» и «деятельность» и без того беспредельно широки, а главное, что ни тому ни другому слово «система» не к лицу. Оно наделяет их оттенком какой-то безнадежности. Это хорошо видно на примере психологии, где поветрие системного подхода превратилось в ветрянку. Сам по себе принцип системности, или системный подход, вполне разумен и даже природосообразен, если не приписывать ему безграничную силу и власть. Нужно сказать, что отчетливому формулированию принципа системности как общенаучного, методологического и философского предшествовала его критика. П.А. Флоренский писал, что система есть результат события мысли, а не его предпосылка. Когда ее делают предпосылкой – здесь Флоренский ссылается на В. Ваккенродера, – лучше уж суеверие, чем системоверие. М.К. Мамардашвили формулировал еще более жестко: там, где система, там смерть. Хаос – не менее почтенный предмет исследования, чем система, и психологические наблюдения и исследования возникновения порядка (в терминологии Г.П. – организованностей) из хаоса, как и возникновение свободы из порядка, не менее поучительны, чем физико-химические исследования И.Р. Пригожиным эволюции диссипативных структур. К порядку и системе еще нужно суметь прийти через хаос, случай, беспорядок, неопределенность, свободу и при этом понимать, что достигнутые порядок, устойчивость и система не вечны и продолжают зависеть от всего перечисленного.

В психологии системный подход складывался независимо от размышлений А.А. Богданова, Людвига фон Берталанфи и даже независимо от Маркса. Л.С. Выготский восхищался системностью бихевиоризма. Он сам писал о системном (но не только!) и смысловом строении

сознания. Но у Выготского до и после системы, над и под ней просвечивали культура и история с их непредсказуемостью. По-своему системны гештальтпсихология, генетическая эпистемология Ж. Пиаже и другие направления в психологии. Еще раз обратимся к Выготскому: «Понятие структуры одинаково распространяется на все формы поведения и психики. Снова в свете или, вернее, в сумерках структуры все кошки серы: вся разница в том, что один вечный закон природы – закон ассоциации сменяется другим, столь же вечным законом природы – законом структуры. Для культурного, исторического в человеческом поведении снова нет соответствующих понятий».⁸⁷

Сказанное полностью относится и к «законам» системного подхода, некоторое время тому назад неправдоподобно быстро распространившегося в советской психологии и столь же быстро забытого. К счастью, *административно-системный подход*, породивший все это недоразумение в психологии, оказался не вечным. Наступила пора (надолго ли?) идеологической и методологической передышки, и сегодня психология живет без царя в голове. Административно-системный подход сменился административно-рыночным. А существа, тщась стать лидерами психологии, довольно успешно вписались в так называемую рыночную экономику. В науке они сделали максимум возможного, изобретя новую форму редуционизма в психологии, – редукицию всей совокупности человеческих отношений к отношениям денежным. В остальном они малопрофессиональны. Ни предьявить, ни предложить нечто содержательное они не в состоянии. Это было бы смешно, если бы не было так грустно: алчность идет рука об руку с завистью и углубляет комплексы неполноценности. Подобный букет создает не слишком благоприятную социальную ситуацию развития психологии. Что делать, любой подход порождает свои издержки, которые почему-то в первую очередь затрагивают культурное, историческое и человеческое (?). По сравнению с административно-системным и административно-рыночными подходами к психологии СМД-методология, несмотря на настойчивость попыток ее внедрения, кажется верхом либерализма.

В оправдание введения громоздкого выражения «СМД-методология» скажу, что, видимо, для Г.П. оно было средством обозначе-

⁸⁷ Выготский Л.С. Собр. соч. Т. 3. М., 1983. С. 16.

ния и очерчивания своей области исследований и интересов. СМД-методология стала неким знаком, свидетельствующим о принадлежности к философско-методологическому движению или к кругу единомышленников, созданному и возглавлявшемуся Г.П.

8. Проектируя человека?..

В начале этого текста шла речь о том, что в молодости Г.П. верил в науку, в научное мировоззрение. К концу 80-х гг. он посуровел и отказал науке в возможностях проектирования, программирования, предвидения будущего и т.д.⁸⁸ Скорее всего он прав. Ноосфера не состоялась! Но настораживает предлагаемая им альтернатива:

Методология... есть нравственность XX в. и ближайших последующих веков, ибо жить по традиционной морали уже нельзя... А как жить – непонятно. Приходится через мышление строить нравственность совершенно по-новому и потом ее использовать как временный склад морали.⁸⁹

Но ведь нечто подобное *мы уже проходили*. Нравственность не построить! Она, как совесть, если она есть, так она есть, а если нет, так – нет. На философском языке это называется безосновность. И здесь, к счастью, бессильно как научное, так и методологическое мышление. Самое простое было бы отнести приведенный и последующие пассажи Г.П. за счет «куража», но, к сожалению, кураж не случаен. И дело даже не в претензиях СМД-методологии на тотальность: *До леса – мое, лес – мой и за лесом – тоже мое*. А дело в том, что на всех нас были и остаются лохмотья сталинской шинели. Когда перманентная революция не получилась, ее заменили перманентным воспитанием, впечатывавшим в нас советскую символику, мифологию, мистику. Хорошо известно, что распечатывание и разоблачение символов, ритуалов, схематизмов сознания, архетипов – это большой труд и положительный результат, т.е.

⁸⁸ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 566.

⁸⁹ Там же.

достижение истины, не гарантирован. В СМД-методологии сохранилась, естественно, в трансформированном виде навязывавшаяся нам идеологическая ориентация человека в мире.

Подобная ориентация порождает и продолжает порождать идеи и проекты социально-педагогического проектирования образования в целом и конструирования человека. Приведу программу такого конструктивизма, сформулированную Г.П.:

Представление человека, в аспекте педагогических процессов формирования и изготовления его, дает основание не только для более эффективной практической точки зрения и не только для преобразования педагогической практики в конструктивно-техническую деятельность, но и для нового естественнонаучного представления «человека», при котором он выступает как порождение системы обучения и воспитания, обладающее всеми теми свойствами и качествами, которые закладываются в него этими процессами. (Не могу понять, почему П.Я. Гальперин вызывал гнев Г.П. Ведь он претендовал всего лишь на формирование умственных действий с наперед заданными свойствами, а не всего человека? Нельзя сказать, что Петр Яковлевич платил ему тем же. Но к претензиям Г.П. на понимание того, кому и как разрабатывать психологию, он относился весьма иронично. – В.З.). Более того, оказывается, что именно это представление впервые дает нам средства для того, чтобы связать воедино логико-социологические и собственно психологические картины и таким образом продвинуться в создании общей модели «человека», конфигурирующей все имеющиеся сейчас знания. И в этом состоит главное значение педагогической точки зрения на «человека», которое мы здесь хотим подчеркнуть. Вместе с тем очень важно и существенно, что естественнонаучные знания о «человеке», с какой бы точки зрения они ни вводились и сколь бы сложными и синтетическими ни были, не могут заменить педагогических проектов «человека». Поэтому, наряду с исследованием живущих сейчас и живших в прошлом людей, остается специальная деятельность педагогического проектирования «человека».⁹⁰

⁹⁰ Щедровицкий Г.П. Педагогика и логика. М., 1993. С. 133.

Не только остается прежняя деятельность:

В системе педагогики появляется особая специальность педагога-проектировщика, разрабатывающего модель-проект человека будущего общества.⁹¹

И вполне логичное завершение:

вся система «инкубатора» в целом дает возможность формировать именно таких людей, какие нужны обществу.⁹²

Прошу простить меня за избыточное цитирование, призванное показать, что речь идет не о случайных оговорках. Г.П. был занятым картезианцем. Принцип *Cogito* он, видимо, склонен был в большей мере относить только к своему ego, а не к другим. И в его размышлениях о мышлении, деятельности,мыследеятельности и в размышлениях о воспитании явно недооценивалась человеческая субъективность, хотя на практике многих он учил и научил думать. Жутковатое впечатление производит и «инкубатор». Это посильнее, чем *tabula rasa*. Все это несколько смягчается наличием в окрестностях «инкубатора» слова «клуб». Г.П. был, конечно, интеллигентным ученым и ссылался на *идеалы* проектирования человека, на необходимость работы по их построению. Но ведь в России интеллигенция, к несчастью, привыкла *из вечных истин строить казематы* (М. Волошин). А что такое проектируемый нужный обществу «новый человек», популярно объяснил Андрей Платонов. Это *человек без души и имущества, в предбаннике истории, готовый на все, только не на прошлое*.

Г.П., крайне резко и во многом справедливо оценивая весьма скромные успехи в решении психолого-педагогической наукой классической проблемы соотношения обучения и развития, заключает:

...все и любые психологические знания о «человеке» до сих пор не могли дать знаний, необходимых для целенаправленного и

⁹¹ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 208.

⁹² Там же. С. 209.

сознательного формирования людей, обладающих заранее заданными свойствами и качествами.⁹³

И слава Богу, поскольку, благодаря этой своей некомпетентности, психологи просто не смогли внести сколько-нибудь существенный вклад в формирование «нового человека». Они были слишком академичны (может быть, слишком порядочны) для этого. Можно даже согласиться с тем, что психологи были слишком путано академичны, порой и нарочито путанны. Ведь пока психологи не смогут договориться о том, что такое личность, она может чувствовать себя в безопасности. В таком деле можно не без удовольствия принять упрек в недостатке таланта. При желании и добром отношении к психологам такую неспособность можно интерпретировать как род их пассивного сопротивления.

Энтузиасты проектирования человека, как правило, обходят старую, как мир, постановку вопроса, по чьему образу и подобию? Я и Рабинович В.Л., обсуждая его, пришли к заключению, что в самой постановке содержится ответ. По образу – означает работу самого индивида, поскольку образ должен быть сотворен, порожден, построен и осмыслен. Образ может быть верным или ошибочным, хорошим или плохим, но он оригинален. В нем есть инновация и рефлексивность, он может быть *мучительным и зыбким*, т.е. он внесимволичен. Что касается подобия, то это всегда имитация, подражание, эпигонство, воспроизведение часто не распечатанного, не разоблаченного, а впечатанного по типу импринтинга символа. Имитация при всей своей возможной символичности внерефлексивна и вполне может быть бессмысленной. Самый безобидный пример «Мартышка и очки». Педагогическое проектирование «человека» ориентировано исключительно на имитацию.

Такой ориентации сопротивлялись литература и поэзия (не вся) и подлинная философия. Приведу характеристику идеологической ориентации человека в мире, данную подлинным картезианцем М.К. Мамардашвили:

⁹³ Там же. С. 129.

...мы обычно предполагаем (это очень наглядно видно в просветительстве, во всяких волонтаристских манипуляциях с социальной материей, в идее «нового человека», которая одна из самых глупых и трагических в XX веке и примером которой может быть фраза: «писатели – инженеры человеческих душ»), что как существование самого вопроса о том, каков человек в определенном состоянии, в определенном бытии, так и ответ на этот вопрос есть привилегия кого-то другого, который лучше самого этого человека может знать, что хорошо этому человеку, а что – плохо. И поскольку и тот и другой (например, и воспитуемый и воспитатель) приобщены, согласно классической посылке, к одной и той же цепи бытия, которая однородна по всему пространству и допускает перенос знания, то «знающий» может перенести знание решительными действиями в жизнь другого, кроить и перестраивать ее. А если будет сопротивляться, то, как говорил Чернышевский, 70 тысяч голов не жалко для установления истины, кому-то ясной за других (с тех пор масштабы «нежалкого» несопоставимо и чуть ли не космически возросли). Отсюда фантастическое развитие своего рода торжествующей социальной алхимии. И, конечно, алхимическое претворение «социального тела» в непосредственное царство божье на земле, естественно, должно обращаться к массовому насилию, потому что люди обычно сопротивляются этому и не дают себя «тащить в истину».⁹⁴

Хочу обратить внимание на то, что оба процитированных автора – Г.П. Щедровицкий и М.К. Мамардашвили – шестидесятники. Они были дружны, участвовали вместе с Б.А. Грушиным и А.А. Зиновьевым во второй половине 50-х годов в кружке «диалектических станковистов». Когда они разошлись идейно, то сохраняли в высшей степени уважительное отношение друг к другу. Оба были не в восторге от советской власти, особенно М.К. Мамардашвили. Вадим Рабинович недавно вспоминал свой разговор с Мерабом, где тот сказал:

⁹⁴ Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. Тбилиси, 1984. С. 68–69.

Для того, чтобы понять, что такое Советская власть, не нужно подпольных кружков, читать Тамиздат или Самиздат, нужно просто пожить в СССР одну неделю, но внимательно!

Мне кажется, что это совет для России на все времена. Отношение Мераба к власти даже нельзя было назвать презрением или ненавистью. Это было какое-то физиологическое отвращение, брезгливость и несовместимость с ней. Он стоял к ней не в духовной, а в «телесной» оппозиции. Примерно, в такой же, как О. Мандельштам к Сталину.

Оба выполняли роль посредников – медиаторов между философией, методологией науки и психологией, педагогикой (возможно, и другими науками). К числу таких посредников относились Э.В. Ильенков, Э.Г. Юдин, Г.С. Батищев, многие другие, разумеется, тоже далеко не во всем согласные как друг с другом, так и с М.К. Мамардашвили и Г.П. Щедровицким. Но, к сожалению, в то время многие полярности, хотя и были выявлены, но не были отчетливо артикулированы и опубликованы. Приходится констатировать, что ситуация с шестидесятниками XX столетия отобразила ситуацию с шестидесятниками XIX столетия, что и было выражено Вячеславом Ивановым:

*Но века сын! Шестидесятых
Годов земли российской тип;
«Интеллигент», сиречь «проклятых
Вопросов» жертва – иль Эдип...*

★ ★ ★

Для того, чтобы перестать ходить по кругу, системомыследательности многовато, а мыследательности явно маловато. К последней нужно добавить память и переживания, рождающие новые жизненные смыслы взамен утрачиваемых. В этом случае проектирование жизни становится ее *творением*. И творимая *жизнь будет жизнью, а не тенью суждений* (это мотив А. Белого). На практике Г.П. это хорошо знал, что и привлекало к нему множество людей. Возможно, это объясняется тем,

что Георгий Петрович Щедровицкий всю свою жизненную практику подчинял принципу: руководствоваться не какими бы то ни было реалистическими или мифическими функциями полезности, а сохранять верность самому себе. В 2003 г. его школьный ученик В.А. Лефевр, ставший ныне маститым американским профессором, представил этот принцип в виде закона соответствия или закона само-рефлексии: человек генерирует такие образцы поведения, при которых устанавливается и сохраняется отношение подобия между субъектом и его моделью себя⁹⁵. Несколько мудрено, но верно. Верность самому себе, к сожалению, не часто встречается. Г.П. был одним из немногих, и мне посчастливилось быть с ним в дружбе.

⁹⁵ Лефевр В.А. Закон само-рефлексии: возможное общее объяснение трех различных психологических феноменов // Рефлексивные процессы и управление. 2003. Т. 3. № 1. С. 64–73.



**Калиниченко
Владимир
Валентинович**
(р. 1948)

кандидат философских наук, доцент,
директор филиала Российского госу-
дарственного гуманитарного универ-
ситета в г. Киров.

Окончил отделение теоретической
физики физфака Нижегородского го-
сударственного университета им. Н.И.
Лобачевского, аспирантуру в Институ-
те истории естествознания и техники
АН СССР (научный руководитель –
М.К. Мамардашвили).

Работал в Совете по проблеме «Созна-
ние» (Институт молекулярной генети-
ки АН СССР), на кафедре современ-
ных проблем философии
философского факультета Российско-
го государственного гуманитарного
университета (РГГУ); с 2000 г. – дирек-
тор филиала РГГУ в г. Киров. Прини-
мал участие в создании философского
факультета РГГУ, Центра феноменоло-
гической философии РГГУ. Член науч-
ного Совета философско-литератур-
ного журнала «Логос».

Область научных интересов – феноме-
нологическая философия и герменев-
тика; проблема сознания и филосо-
фия истории.

Живет и работает в Кирове.

МЕСТО Г.П. ЩЕДРОВИЦКОГО В «ИСТОРИИ БЕЗУМИЯ» XX СТОЛЕТИЯ (НЕСКОЛЬКО ПАРАФРАЗ М. ФУКО К ТРАКТОВКЕ ИДЕЙ ММК)

Про себя я могу сказать очень твердо: для меня – это можно рассматривать как уродство моего воспитания – определяющей и единственно реальной действительностью всегда была действительность исторического существования человечества. ...Тогда у меня вовсе не было (это появилось много позже) представления о том, что могут быть два мира, так сказать, идеальный и реальный, две жизни, две истины... Дурацкая цельность, которая была загадкой для моих сверстников, соучеников и коллег. Они просто не могли понять, как это в тех сложнейших условиях социальной жизни, в которых мы жили, можно было быть таким цельным дураком.

Г.П. Щедровицкий.

«Я всегда был идеалистом».

1. Тема и название

Эта работа инициирована Петром Георгиевичем Щедровицким, оказавшим мне большую честь, пригласив выступить на Чтениях, посвященных наследию Георгия Петровича Щедровицкого, – человека, которому я обязан слишком многим...

Тема была задана: «Фуко и Щедровицкий» – в рамках общей задачи понимания наследия Г.П. в контексте мировой философской культуры. Стиль, установки, цели и даже образ жизни этих мыслителей были весьма различны, поэтому какой-либо компаративистский замысел в развитии темы кажется маловразумительным. Ко-

нечно, принадлежность их к одному времени выдают общие симптомы: у одного это «смерть человека», у второго – «коллективное мышление». Общность можно усмотреть и в более тонком, но далеко идущем обстоятельстве: оба, каждый по-своему, вопрос «Кант или Гегель?» решали в пользу последнего.

Интересно другое: архео- и генеалогические анализы Фуко могут быть продолжены за пределы интересующих его феноменов. «Всякому хорошо известно, – писал Фуко в "Политехнической технологии индивидов", – что этнология родилась благодаря колонизации (что, конечно же, не означает, что она является наукой империалистической), и точно таким же образом я полагаю, что, если человек (мы – существа жизни, слова и труда) превратился в предмет для разных наук, причину этого надо искать не в какой-то идеологии, но в существовании той политической технологии, которая в лоне наших обществ образовала нас¹. В не меньшей мере это относится к методологии и теории деятельности. Истоки и смысл этого движения следует искать, соотнося его с современными политическими технологиями и с той более широкой характеристикой состояния человека и структур его жизненного мира, которую называют рациональностью.

Я сделаю только первые шаги в том, что назову чтением Г.П. Шедровицкого с помощью текстов Фуко, и попытаюсь посмотреть на дело Г.П. через клинику и безумие, опираясь на «Историю безумия в классическую эпоху» и «Рождение клиники», а также на некоторые реплики в адрес Фуко, сделанные Жаком Деррида в его работе «Когито и история безумия». Именно через клинику и безумие можно увидеть особые смыслы в реализации и даже содержании одного из самых грандиозных интеллектуальных проектов XX столетия. Благодаря фукианской оптике, или, как сегодня принято говорить, используя язык Фуко в качестве интерпретационного кода относительно дела Г.П., можно увидеть новую соорганизованность основных тем, сюжетов и понятий общей методологии, что оказывается важным для нашего самоосмысления. Поясню сразу: я рассматриваю наследие Г.П. не как «уже историю», но как живое дело, топика которого не predetermined даже самим создателем. Я не считаю ОДИ полной и един-

¹ Фуко М. Интеллектуалы и власть. М., 2002. С. 381.

ственной реализацией того, что создавал Г.П. Собственно исследовательская (научная или по преимуществу философская) часть наследия ММК остается далеко не исчерпанной в продуктивности поставленных вопросов и самого языка этой постановки. Кроме того, исследование есть то наклонение, из которого сама игра может получить цель и смысл. Тем самым я не говорю ничего нового: судьбы таких движений XX века, как позитивизм, психоанализ или феноменология, точно так же не предопределялись своими творцами в движении к заранее обозначенной – иногда ими же и вполне определено – земле обетованной. Мышление – сильный наездник и постоянно требует свежих лошадей...

Слова «клиника» или «безумие» следует брать в кавычки, поскольку моя задача предполагает метафоризацию этих понятий, расширение их предметного поля. Собственно, провокации и поводы к подобному расширению можно найти у самого Фуко, что образует особую глубину и очарование его культурологического письма. Примером такого рода выступает и трактовка безумия в упомянутой работе Деррида, для которого слово «безумец» обозначает лишь «другое» каждой определенной формы логоса.²

Моя задача предполагает чувствительность к точкам, допускающим расширение или трансформацию предметного поля фукианских представлений применительно к теории деятельности. Стилистическую подстановку некоторых ключевых характеристик методологического движения в риторику Фуко я называю парафразом, чем буду пользоваться здесь со всеми возможными злоупотребительными последствиями...

2. «Методология может все»

Возможность указанного прочтения наследия Г.П. основана на ключевой интуиции Фуко относительно социокультурных и эпистемологических структур: их формирование может быть понято и представлено как становление власти-знания. Теория деятельности, возможно, как никакой другой проект в интеллектуальной истории XX века, формировалась как такое

² Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000. С. 92.

становление, и ее практика, воплотившаяся в ОДИ, была реализацией заботы о самой методологии: первично методологические семинары и были такими играми. Поэтому переход к игротехнике был буквально закодирован в сформированном этосе семинаров. Была действительно создана система контроля и власти, власти методологического разума, – конечно, замышляемая не как насилие и не для осуществления каких-то иных целей, кроме самой методологии. Было создано особое дисциплинарное пространство и язык с его схемами, планкартами и прочими знаками методологической техники. Более того, сложилась особая риторика, доведенная до множимых и узнаваемых жестов, по которым, как по этническому говору, можно было идентифицировать щедровитян. Несмотря на всю открытость семинаров, работу выдерживали немногие. Участников было много, но большинство – скорее, зрители, а многие созревали лишь до нескольких реплик или вопросов, но и этого им хватало на жизнь. Тех, кто действительно работал, были единицы – но какие! Феномен ММК был гораздо более мощным и рефлексивно более плотным движением, чем, скажем, «Венский кружок». По внешним обстоятельствам это можно объяснить значительно более высоким уровнем несвободы членов ММК: из советского гетто им просто некуда было деться, и оставалось только взяться за руки, чтоб не пропасть поодиночке...

Задача «помещения в культурный контекст» дела Г.П. предполагает некоторое предварительное выделение контура этого дела из своего, более узкого, контекста – контура, который обозначает и «линию обороны», противостояния «другому», а стало быть, некоторым образом определяется, индуцируется этим «другим». Здесь нужно различать «другое» как ситуацию, заданную временем и местом, и «другое» как то, что специально создается имманентным жестом критики по существу обсуждаемых вопросов о мышлении, деятельности и т.д. Первая оппозиция задает одну – генеалогическую, в терминах Фуко, – линию прочтения Г.П., вторая – археологическую. Я буду следовать преимущественно первой линии и лишь кратко намечу вторую в конце своей работы.

«Другое» первого рода – это собственно официоз и традиция. По отношению к ним дело Г.П. было явно безумно уже потому, что это был методологический проект, по радикальности своих пре-

тензий на преобразование мира вряд ли в XX веке сравнимый с каким-либо еще (если не брать политических проектов прошлой эпохи) – даже с такими технически оснащенными, как позитивизм или феноменология. Дело Г.П. было безумием, безумием относительно принятой формы логоса, логоса официоза, безумием именно как «другим» этого официоза, поскольку было организовано именно в его пространстве и стремилось быть институциональным и внешне открытым. Кроме того, по привлекательности и захвату аудитории оно не знало себе равных, и это также предопределялось ситуацией – ситуацией травмы, уже к тому времени почти осознанной: методология явилась своего рода компенсацией неудачи Великой революции. Нужно со всей серьезностью отнестись к словам Г.П.:

Методология ...есть нравственность XX века и ближайших последующих веков...³

И это был своего рода «симметричный ответ» всей соц.системе. И борьба разворачивалась здесь, в этом ближайшем поле, и вокруг Маркса, и не только... Потом границы были расширены, но вряд ли преодолены. *(Вспоминаю, как зимним полуднем, еще ярко светившем в окна большой аудитории Института психологии АПН, на вопрос из зала, будут ли в связи с праздниками перенесены выходные, Г.П., сидя на подиуме перед огромным ящиком магнитофона, указал в сторону Кремля, сказав, что это решают там, – что вызвало очень живую реакцию. Указание на близкий Кремль было особым жестом: он оставлял Им только такие решения, на самом же деле все существенное решалось здесь, в этой аудитории).*

Подчеркну, что отношение «быть другим» предполагает существенное касание этой другой формы логоса. Последний же был идеологически тотален, и нужно было быть тем «цельным дураком», чтобы, принимая эту тотальность всерьез так же, как в свое время Лютер всерьез и без всякого юмора воспринял като-

³ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997.С. 566.

лицизм, преодолеть отчуждение этой тотальности, создав свою тотальность. Власть была отчужденной, тотальной и незыблемой. Чтобы победить ее, нужно было противопоставить ей еще более мощный тотальный проект, каковым и выступила общая методология.

Тоталитарная организация есть способ жизни сегодня, и никуда вы от этого не денетесь. Это точно такой же закон, как солнце всходит и заходит. А поэтому есть один-единственный способ, чтобы люди стали сильнее организации: усиление организации должно (обратим особое внимание на это слово «должно» – В.К.) сопровождаться усилением индивидуально-личностных потенциалов. [...] Поэтому главное – это мыследеятельность. Советский человек должен быть самым сильным человеком, поскольку он живет в самых тяжелых условиях.⁴

Итак, системе нужно противопоставить еще более сильную систему. *(Однажды мой друг и неизменный участник семинаров, понизив голос, сказал: а представляешь, что будет, если в КГБ станет работать методолог?..)*

Для официоза Г.П. был легальным маргиналом, он работал как бы в поле традиционного логоса, что мешало власти полностью опознать его как явного диссидента; в то же время официальный истеблишмент не допускал его в свои ряды именно в виду его серьезности и цельности. *(Один уважаемый ученый и бывший соратник Г.П. говорил мне: попробуй, допусти его работать в институт, он же всех проглотит своей методологией... Г.П., в свою очередь, считал: они все чего-то стоили и стоят, поскольку вообще были причастны методологии, участвовали в этом коллективном мышлении и питались его идеями. – И оба были правы).*

Ближайшей болезнью для методологического семинара как оргструктуры было «индивидуальное мышление», и Г.П. создает «клинику», своеобразный изолят, или Касталию, где не просто начи-

⁴ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 18–19.

нают нечто изучать, но происходит открытие новой сферы видимого, где создается сама возможность изучения и экспериментально-терапевтической работы с мышлением. Но для этого необходимо было изгнать мышление за пределы человека в сферу видимого, «положить» его в особых знаковых формах, схемах и контекстах кооперативной мыследеятельности.

...Мышление существует реально – как субстанция, независимо от того, есть люди или нет людей.⁵

По сути дела, не человек мыслит, а мышление мыслит через человека. Человек есть случайный материал, носитель мышления.⁶

Человек есть

наряду с машинами, знаками, лишь часть материала, на котором паразитирует мышление. [...] Вот эта искусственная компонента формирования человека, или образования его, есть приобщение человека к мышлению и деятельности, которое мы производим искусственно-технически, если хотим иметь культурных и развитых людей.⁷

Итак, была создана Касталия, хотя это сравнение условно. Касталия – все же утопия, которая реализовалась только как произведение, это внутренняя келья одного, тут слишком много созерцания. У Гессе, как он сам говорил, это было «описанием идеи». А ММК – это тело, стремящееся к расширению, это динамика и аудитория, зрелище, интеллектуальный театр с отсутствием четвертой стены, где действие вряд ли всегда совпадало с ожиданиями даже его главного режиссера. Это было пространство, где формировался новый логос, пространство, где можно было разворачивать «дискурсивные практики», где возможно было что-то доказывать, а не просто утверждать или ссылаться, пространство, полагавшее себя вообще местом, где происходит история. В деятельности ММК не было ни-

⁵ Там же. С. 561.

⁶ Там же. С. 11.

⁷ Там же. С. 11.

какой иносказательности. Это отличало его от официоза, который существовал, по выражению Мамардашвили, в гримасе всепонимающего подмигивания.

В форме организационно-деятельностных игр мы создали для себя, для методологического семинара, практику, поскольку вот эта, имитационная форма есть практика в подлинном смысле слова. Причем она может выступать в качестве исторической практики, и никакой другой практики, как я теперь думаю, в общем-то и не надо людям. И отсюда я делаю утверждение: мы создали новую социокультурную форму коллективной работы, коллективного мышления, коллективной деятельности... Я утверждаю, что она очень нужна советским людям для имитации настоящей жизни, которой мы на работе, на службе никогда не имели.⁸ (Вариант своего рода светского исихазма – В.К.).

Всякая Школа имеет своего Создателя, и, как правило, с уходом его она так или иначе приходит в упадок. Г.П. удалось почти невероятное: создать столь мощные механизмы воспроизводства, своего рода методологическую этику, включающую формы и правила артикуляции мысли, риторику, порядок рефлексии и т.п., – что действительно максимально приблизило эту школу к форме, устойчивой к ересям или индивидуальным особенностям носителей коллективного мышления. Коллективное мышление, или мыследеятельность, – эта идея, какую бы долю индивидуального безумия она ни предполагала, будучи формально оснащенной, могла поглотить все ереси или содержания, включить их в сам принцип существования и развития Школы. Вероятно, это было какое-то отображение тотальной матрицы незыблемой Партии, зависимость от своего теоретического наследия которой оказало ей плохую услугу: Партия, в отличие от ММК, не создала своей практики и потерпела поражение.

ММК не зависел ни от какого теоретического наследия уже потому, что принцип деятельности проводился и культивировался здесь с редкой – если не вообще единственно случившейся в миро-

⁸ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 22.

вой истории – последовательностью: это и критика всяческого натурализма, по радикализму которой Гуссерль не идет ни в какое сравнение, это и отрицание какой-либо единопредметной картины мира или его фрагментов вне систем деятельности и ее рефлексивных или иных иерархий, это, соответственно, отрицание вообще каких-либо «природ» самих по себе, схватываемых хотя бы в сколь угодно смутной данности или непосредственности своего содержания. Если (перефразируя Гегеля) «существует лишь деятельность» – тогда методология может все.

...Сейчас я мог бы создать программу для любой научной разработки, построить проект любой новой науки – это специфические продукты методологической работы.⁹

Методологии тем самым придавался статус некоей гарантии успеха, и при всей колоссальности усилий, которые затрачивали лидеры ММК, работая в невероятном режиме, вера в такую гарантию, вера в то, что ты на верном пути и ставки заведомо велики, была сильна, маниакальна и потому оправданна. Методологическое сообщество сопровождалось чарующей «естественной модальностью» своей причастности к Истине, ибо таковая в конечном счете «полагалась» (от немецкого *Setzung*, ключевой термин, который в русском переводе приобрел несвойственный, скажем, кантовскому употреблению волюнтаристический акцент). Методология может все, стоит только захотеть и расставить всех в нужные места – дать возможность пойти эксперименту, и в осадке будет то, что вы хотели, или мы убедим вас в том, что вы хотели именно этого. – Своего рода оборотная сторона машинерии коллективности – ход, известный в иной связи Декарту: отсутствие индивидуальной души у вещи и есть условие ее механической, каузальной модели. Отсюда как осознание или расширение пределов этого безумия пошла особая интересная тема «естественное–искусственное». С заботой о той же машинерии коллективности связана важнейшая, лежащая в основании всей методологии интуиция *непараллелизма* знаковой формы и содержания мышления, или мыследеятельности, – о чем еще пойдет речь.

⁹ Там же. С. 423.

3. Безумие как «иное» разума

Фуко фиксирует, что в XIV веке происходит изменение отношения к безумию: последнее начинает трактоваться не как отклонение, но как обратная сторона самого разума, как некое состояние, где разум испытывает себя в своих пределах и по отношению к чему разум может нечто выговорить о самом себе. А знать собственные пределы и есть существенное условие разумности. Характеризуя эволюцию опыта безумия, Фуко пишет: «Безумие превращается в одну из форм самого разума. Оно проникает в него, представляя либо одной из его скрытых сил, либо одним из его воплощений, либо некоей парадоксальной формой его самосознания. В любом случае безумие сохраняет определенный смысл и самоценность, лишь находясь в пространстве разума. [...] Ибо если и есть в чем разум, то именно в приятии этого постоянного круговорота мудрости и безумия, именно в отчетливом сознании их взаимосвязи и неразделимости».¹⁰ Эта общность территории разума и безумия делает возможным сам отмеченный круговорот, в котором неизвестно еще, что приобретет больший вес. В становлении методологии важным моментом было то, что она начинала работать на одной территории с иным логосом.

Конечно, Фуко говорит именно о безумии, которое не есть у него метафора. Он постоянно подчеркивает смысл безумия как темной стороны человека. Истина человека, которая обнаруживается в безумии, – негативна и, как пишет Фуко, «безумие приходит, когда мир начинает стареть; и каждый из ликов безумия, сменявших друг друга с течением времени, являет собой форму и истину этой порчи, настигающей мир».¹¹ Но если в классическую эпоху трактовка безумия подчинялась бинарным оппозициям (истина и заблуждение, мир и фантазм, бытие и небытие, День и Ночь), то в современную эпоху это уже трехчленная структура: человек, его безумие и его истина. Появляется представление о безумии без бреда: «На протяжении всего классического периода трансцендентность бреда всегда удерживала безумие, каким бы

¹⁰ Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. С. 52–53.

¹¹ Там же. С. 507.

явным оно ни было, как бы внутри человека, не позволяла ему распространяться вовне, обеспечивала его прочное и совершенно особое соотношение с самим собой. Теперь все безумие и все в безумии должно получать свой внешний эквивалент; или, точнее, сама сущность безумия будет состоять в объективации человека, в изгнании его за пределы самого себя и в конечном счете – в низведении его до уровня чистой природы, до уровня предмета. ...Существование "безумия без бреда", или "нравственных видов безумия", стало своего рода теоретическим скандалом.¹²

В методологии такого рода скандал был решен путем отказа считать его чисто теоретическим, а также за счет манифестаций «конца науки» и перехода к работе с полипредметными, конфигурационными моделями. Объективация, которую получает человек в рамках методологии, вытесняющей его мышление в оргструктуры коллективной деятельности, уже не соответствует научным обычаям классической рациональности. Так, на вопрос, который касался обсуждения оргдеятельностных схем, – а не нужно ли в схеме нарисовать воспринимающего субъекта? – ответом было:

Это есть главный предрассудок советского народа. Человек вообще в мышлении ни при чем.¹³

«Безумие, – пишет далее Фуко, – это самая чистая, самая главная и первичная форма процесса, благодаря которому истина человека переходит на уровень объекта и становится доступной научному восприятию. Человек становится природой для самого себя лишь в той мере, в какой он способен к безумию. Безумие как стихийный переход к объективности – конститутивный момент становления человека как объекта».¹⁴ Если брать тотальность принципа деятельности, то как соотносить эту объективацию человека с искусственностью, полагаемостью объекта? Не есть ли этот вопрос роковой для теории деятельности, не заключено ли все же в идее коллективности мышления – этого отторжения мышления от человека – противоречие, где проступает объективация не как полагание чего-то в качестве объекта, но

¹² Там же. С. 511.

¹³ Щедровицкий Г. П. *Философия. Наука. Методология*. С. 542.

¹⁴ Фуко М. *История безумия в классическую эпоху*. С. 512.

как эффект некоего коллективного бессознательного или вторичный эффект действия некоего дуалистического архетипа, хранящего нечто от несводимой «природы человека»? Но развитие методологии шло по иному, более радикальному пути: отказа от традиционного «членения мира» и, соответственно, языка: нет мышления, а есть мыследеятельность. Можно сказать, что Г.П. не был затронут психоанализом. (*«Вот когда мы изгоним сознание – устроим пир!», – сказал как-то Г.П. после одного семинара. Интересно, что были и те, кто полагали, что так же следует поступить и с мышлением.»*)

Если, как полагает Фуко, прежний опыт безумия рассматривался на языке разума, и безумие ускользало от него, то теперь «...именно через безумие человек, даже в своей разумности, может стать в собственных глазах конкретной и объективной истиной. Путь от просто человека к человеку истинному лежит через человека безумного».¹⁵ И возможность самой психологии XXI века заложена в ее чисто негативном моменте: «...психология личности будет отталкиваться от раздвоения, психология памяти – от амнезии, психология языка – от афазии, психология ума и понимания – от умственной отсталости. Истина человека высказывает себя лишь в момент своего исчезновения; она проявляется лишь тогда, когда становится иной, отличной от самой себя».¹⁶ И можно продолжить – наука о сознании будет отталкиваться от бессознательного, от того бездонного измерения, которое открывается вместе с «внутренним человеком» христианства, усугубляется в протестантском смещении интереса с содержания веры на саму веру как состояние человека – вплоть до трансцендентализма и психоанализа.

Сложнее с методологией и теорией деятельности: она отталкивается от натурализма слишком радикально, чтобы удержаться в дуализме «внешнего и внутреннего», «мышления и деятельности», – хотя этот вопрос беспокоил Г.П., как это видно по его выступлениям последних лет. Дело в том, что если дуализм не сохраняется, то не от чего отталкиваться, и безумие занимает всю территорию

¹⁵ Фуко М. История безумия в классическую эпоху. С. 512.

¹⁶ Там же. С. 513.

разума, превращаясь в клинику. Это прекрасно понимал Г.П., когда говорил, например, о необходимости «для особых ситуаций» выделять работу субъективации¹⁷ или признавался в том, что он, к сожалению, не знает других теорий, кроме научных.¹⁸

И если, как считает Фуко, постулатом современной психологии является положение, согласно которому «человеческое бытие не характеризуется через некоторое отношение к истине, но наделено присущей ему и только ему, открытой вовне и одновременно потаенной, собственной истиной»¹⁹, то ясно, что здесь, кроме манифестации антинатурализма, все же через такую «присущность» сохраняется «потаенное» или «собственное», изгнание которого на поверхность через какую-то вторичную волну безумия означало бы действительно «смерть человека» и утверждение некоего супернатурализма, оплаченного ценной утраты языка, или «произведения». А отсутствие произведения, согласно Фуко, и есть признак безумия в прямом смысле этого слова.

4. Отторжение мышления для новой сферы видимого

Рождение клиники Фуко связывает с одним очень важным сдвигом, который происходит в начале XIX века: это некое изменение медицинского взгляда, его ограничение тем, что может быть объективировано и описано. Фиксируя в этой связи изменение самого стиля медицинского языка, Фуко пишет: «Чтобы постигнуть момент речевой мутации, необходимо, конечно же, обратиться не к его тематическому содержанию или логическому строению, но к той сфере, где "слова" и "вещи" еще не разделены, способы видения и высказывания слиты на языковом уровне. Нужно задаться вопросом об исходном распределении видимого и невидимого в той мере, в какой оно связано или разделено с тем, что себя выражает, и тем, что молчит: итак, артикуляция медицинского языка и его объекта появляется как цельная фигура».²⁰ Этот пункт – совпадение слова и вещи – очевидно, необходим, чтобы отследить и зафиксировать их последующее расхождение.

¹⁷ Щедровицкий Г.П. *Философия. Наука. Методология*. С. 517.

¹⁸ Там же. С. 593.

¹⁹ Фуко М. *История безумия в классическую эпоху*. С. 516.

²⁰ Фуко М. *Рождение клиники*. М., 1998. С. 11.

Если говорить о теории деятельности или общей методологии как языковой мутации, то она была сопряжена с различием предмета и объекта, а также с интуицией принципа параллелизма содержания и знаковой формы, соответственно, *непараллелизма* для построения логики, адекватной задаче изучения мышления. Здесь «словом» или выражением является схема «содержание – знаковая форма» и коннотирующая оппозиция объект–предмет выступает как та самая «вещь». Это слияние «слова» и «вещи» имеет место в работах 60-х годов, посвященных принципу параллелизма как характеристике и основанию критики формальной логики. Поэтому эти работы я считаю основополагающими для методологии, для закладки ее пафоса и окаянства (любимое слово Г.П.), ибо здесь получало свое оправдание и задание движение в знаковой форме как способ осуществления мышления, продуцирующего то, что нельзя было получить, оперируя с первоначальными объектами, и что на другом шаге можно было отнести к объекту, увидеть в нем особое содержание. Здесь схема мышления, схема знака и схема предмета–объекта по существу совпадали. Далее все это начинает расходиться, посредством вторичных схематизаций, надстроечных знаковых форм, и обсуждение знака идет по своей линии, а обсуждение различения «предмет – объект» по другой (хотя эти линии постоянно переплетаются, что было предопределено исходно).

Каково здесь «распределение видимого и невидимого», если использовать терминологию Фуко? Очевидно, что здесь появляется новое видимое: это не просто знак мышления, но знак знака, и этот знак уже не просто обозначает или удваивает то, что само было обозначающим, но он выступает, используя немецкое выражение, – как «чистый знак». Таким образом, здесь появляется новое видимое – знак как таковой, который до сих пор был в тени обозначаемого, являясь только обозначающим, всегда тем или иным и экземплярным. Но тем самым и то, что было ранее видимым, а именно содержание – становится невидимым, проблематичным, и тогда возникает сам вопрос о содержательно-генетической логике. Ибо оказывается, что экземплярность знака захватывает мысль в чистейший номинализм и не схватывает самостоятельности, несводимости к простой комбинаторике готовых форм всех возможностей развертывания знаковой формы. Содержание сводится к знаку – в

этом и есть принцип параллелизма, который лежит, согласно упомянутым работам, в основании всей традиционной логики. А увидеть *непараллелизм*, поставить так сам вопрос – в том числе и вопрос создания содержательной логики – можно было только увидев чистый знак, знак как таковой, создав для этого, казалось бы, совершенно простую знаковую форму или схему:

(A)
↑
ХΔ

Отмечу, что сама по себе интуиция непараллелизма не нова, она скорее симптоматична для опыта науки XX столетия. Приведу характерное свидетельство одного из героев этой науки: «Теперь мы уже в состоянии перейти к изучению феномена, с которым будем постоянно встречаться в дальнейшем на разных уровнях абстрактности в математике или естественных науках Нового времени. По отношению к процессу развития абстрактного мышления в науке его можно было бы назвать чем-то вроде прафеномена, – хотя Гете, разумеется, не использовал бы это изобретенное им выражение в подобном контексте. Феномен этот можно назвать, положим, развертыванием абстрактных структур. Понятия, первоначально полученные путем абстрагирования от конкретного опыта, обретают собственную жизнь. Они оказываются более содержательными и продуктивными, чем можно было бы ожидать поначалу. В последующем развитии они обнаруживают собственные конструктивные возможности: они способствуют построению новых форм и понятий, позволяют установить связи между ними и могут быть в известных пределах применимы в наших попытках понять мир явлений».²¹

Или иначе: нечто создав и назвав это означающим, мы сталкиваемся с демонией знака: он начинает говорить, жить как бы собственной жизнью, сам становится означаемым... Демония означает статус некоего «естества», и в математике это приводило к вопросам об особом существовании математических объектов. Этот момент не был упущен в методологии. Здесь вопрос о «естестве» знаковой формы был переведен в другую плоскость: речь шла о ее «опера-

²¹ Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987. С. 243.

тивных возможностях». Именно интуиция оперативных возможностей знаковой формы определила особый пафос изобретения методологической графики. Но сам сдвиг к этим изобретениям совершился, когда была создана новая сфера видимого, новая предметность и, соответственно, проект новой работы – теории деятельности. Схематизации самой деятельности, системно-структурная графика – вторичные продукты этого перераспределения видимого и невидимого. Хотя по значимости продукты эти суть не менее важные истоки, или порождающие точки и средства для дальнейшего развертывания методологической Игры, но все же находящиеся уже внутри движения, когда «дело пошло» (тут уж было много открытий и изобретений, сравнимых по интенсивности и захватывающей зримости с золотым веком в физике).

Фуко отмечает, что сдвиг в медицине произошел не от того, что было замечено что-то новое или что от спекуляций и химер перешли к позитивному наблюдению. Эмпиризм ММК также держался на реорганизации этого явного и тайного пространства, которое было открыто, когда тысячный взгляд аккомодировался и остановился на знаковой форме и оперировании с ней.²² «Между словами и вещами установилась новая связь, заставляющая видеть и говорить, причем иногда в рассуждении реально настолько "наивном", что оно казалось расположенным на более архаичном уровне рациональности, как если бы речь шла о возвращении к куда более ранним взглядам».²³ Действительно, схемы знака и языкового мышления были архаично просты... Вспомним к этому одно поразительно точное признание Г.П.:

И тут я так, про себя, с усмешкой говорю: в силу малограмотности мы выдумали такое, чего раньше не было. Если бы мы знали, что это делали другие мыслители до нас, мы бы, наверное, этого не придумали, но поскольку не знали и поскольку все наши оппоненты, т.е. наша профессура, были догматиками, отвечать им приходилось всегда просто и определенно, они ведь начинали понимать только тогда, когда схему на доске нарисуете и все разобъясните. Поэтому приходилось, общаясь с ними, все рисовать и доводить до абсолютной понятности.²⁴

²² Ср.: Фуко М. Рождение клиники. С. 12.

²³ Там же. С. 12.

²⁴ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 9.

Нужно добавить: рисовалось и доводилось для ясности уже не только внешним оппонентам, но и самим себе.

В этой новой области видимого пространство опыта ММК стало идентифицироваться с областью внимательного взгляда, с эмпирической бдительностью, открытой с очевидностью лишь для видимого содержания. Глаз методолога, его рука с мелом у непрременной доски стали хранителями и источниками ясности, располагая властью заставить выйти на свет истину, которую участник семинара принимал лишь в той мере, в какой она нарисована.²⁵

Характеризуя специфику новой оптики, Фуко пишет, что, в отличие от времени Декарта, «к концу XVIII века видеть – значило оставить в опыте самую большую телесную непрозрачность: внутреннюю твердость, неясность, плотность скрытых вещей, располагающих возможностями истинности, заимствованными не у света, а у медлительности взгляда, огибающего, понемногу в них проникающего и привносящего лишь собственную ясность. Пребывание истины в темной сердцевине вещей парадоксальным образом связано с этой суверенной возможностью взгляда, освещающего их тьму.... Рациональный дискурс меньше опирается на геометрию света, чем на сопротивляющуюся непроходимую плотность объекта... Взгляд пассивно связан с этой первичной наивностью, обрекающей его на бесконечную задачу осмотра и овладения. [...] Теперь разрешающая способность индивида будет бесконечной работой, но более не препятствием для опыта, который, принимая свои собственные ограничения, продолжает свою задачу в бесконечности...».²⁶ В ММК была создана действительно бесконечная мыследеятельность, или наука, не знающая границ, по сути в том же смысле, в каком понимал свою феноменологию Гуссерль.

Но есть еще один очень важный источник бесконечности или неисчерпаемости опыта методологии. Что, собственно, стало возможным увидеть через графику? – Стало возможным отслеживать рефлексивную, как бы наблюдать за ней. Гегель пытался это сделать, помещая рефлексивные связи своих формообразований в единую онтологию духа, не вынося их, таким образом, из монопредметной сферы некоей универсальной и абсолютной науки. Это не только

²⁵ Ср.: Фуко М. Рождение клиники. С. 13.

²⁶ Там же. С. 14–13.

потребовало создания тяжеловесной техники, но заключало принципиальные пороки, которые я не стану здесь обсуждать. В методологии рефлексия выносится в совершенно иной план – не план сознания или взаимоотражения формообразований духа, но в план организации деятельности, деятельностных позиций.

При этом сама работа ММК была в высшей степени рефлексивна, это отвечало тому, как строились и проходили доклады: они по первоначально провозглашаемым темам и сюжетам, как романы Марселя Пруста, не доводились до конца и не были простым нарративом. Докладчику не давали этого сделать, он под ударами вопросов, вынужден был постоянно уточнять свою и чужую позиции, а это требовало «перпендикулярного» движения и дополнительной графики. (Не случайно вышедшая на русском языке в 1967 г. работа Лакатоса «Доказательства и опровержения» удостоилась поразительно емкого и точного отзыва Г.П.²⁷) Сама эта практика, исключавшая традиционный нарратив доклада, исключала и построение каких-либо единопредметных теоретических представлений и моделей. Поэтому тезис Г.П. о том, что время науки кончилось, был, скорее, не выводом из наблюдений, а манифестацией стиля работы ММК. Любой предмет здесь переводился в рефлексии в некую потенциальность или предметность, которая уже виделась как иерархическая структура с разнородными уровнями и рефлексивными связями.

...Выходя в рефлексию, я как бы остаюсь в предыдущей, практической деятельности. Остаюсь в ее рамках и в ее контексте и, следовательно – смотрите, какая интересная мыслишка! – рефлексия в сути своей может оставаться в действительности практикой и, будучи рефлексией, оставаться практикой по отношению к предыдущему движению.²⁸

Любой объект мог быть помещен в бесконечные контексты деятельности, ибо последняя всегда оказывалась многоуровневой по рефлексивной организации. Так в статье 1974 г. Г.П. пишет о необходимости изучения рефлексии в рамках собственно научного, а не философского анализа деятельности и мышления. Это означает «сре-

²⁷ См.: Щедровицкий Г.П. Модели новых фактов для логики // Вопросы философии. 1968. № 4.

²⁸ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 545.

ди прочего» схематизацию свойств рефлексии, которые были выделены в предшествующих философских исследованиях. Но что значит схематизация? – Создание знаковой формы, развертки смысла, введение его в область видимого. И не только. Схематизация означает создание такой формы, которая обладала бы «оперативными возможностями» развертки схематизированных смыслов для получения новых. На этом пути анализа рефлексии, пишет Г.П., мы должны

так схематизировать и развернуть выбранные средства (включая сюда конфигурирование и разделение предметов), чтобы в изображениях и описаниях рефлексии, построенных на их основе, были бы сняты все отмеченные парадоксы, объяснены зафиксированные свойства рефлексии и вместе с тем сохранялась бы возможность эмпирической проверки всех этих изображений и описаний.²⁹

Обращаю внимание на сочетание: «схематизировать выбранные средства, чтобы в изображениях, построенных на их основе...». Это замечательный, можно сказать дидактический образец параллелизма мыслимого и видимого. Еще раз Фуко: методологический дискурс меньше опирается на геометрию света, чем на сопротивляющуюся непроходимую плотность объекта – замещающих схем и изображений на доске. Взгляд методолога прямо-таки пассивно связан с этой первичной наивностью (возникшей, как мы помним, из необходимости все наглядно разобъяснить неразумным профессорам), обрекающей его на бесконечную задачу осмотра и овладения путем схематизации этого осмотра и овладения.

Далее:

...рефлексия рассматривается нами в контексте деятельности и с точки зрения средств теории деятельности; при этом два аспекта представляются наиболее важными: 1) изображение рефлексии как процесса и особой структуры деятельности и 2) определение рефлексии как принципа развертывания схем деятельности; последнее предполагает, с одной стороны, формулирование соответствующих формальных правил, управляю-

²⁹ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. С. 487.

щих конструированием моделей теории деятельности, а с другой – представление рефлексии как механизма и закономерности естественного развития самой деятельности.³⁰

В этом плане уместна и дальнейшая характеристика произведенного методологией сдвига: взгляд методолога – более не то, что снижает индивида в объекте, но то, что создает его в неустранимом присутствии и делает возможным создание вокруг него рационального языка. «Объект дискурса может стать также субъектом без того, чтобы образы объективности были изменчивыми».³¹ Рефлексия в языке выступает комментированием (своего рода бесконечным комментарием) собственного движения. Но осуществлять рефлексивный комментарий – «...значит признавать, по определению, избыток означаемых над означающими, неизбежно не сформулированный остаток мысли, который язык оставляет во тьме...».³² При этом предполагается, что «невысказанное спит в речи, и что благодаря избыточности, присущей означающему, можно, вопрошая, заставить говорить содержание, которое отчетливо не было означено. Эта двойная избыточность, открывая возможность комментария, обрекает нас на бесконечную, ничем не ограниченную задачу: всегда есть дремлющие означаемые, которым нужно дать слово; что же касается означающих – они всегда предполагают изобилие, вопрошающее против нашей воли о том, что оно "хочет сказать". Означающее и означаемое получают также существенную автономию, которая обеспечивает каждому по отдельности сокровище возможного означения».³³ Это и есть, по сути, формулировка принципа непараллелизма, которую дает сам Фуко.

Итак, действительно, поворот, который фиксирует Фуко в истории клиники, обнаруживает черты изоморфизма с тем, что происходит в ММК. В практике ММК начинают сознательно перераспределяться связи означающего и означаемого на всех уровнях: между схемами, которые означают, и мышлением-рефлексией, которая означается, и т.д. Так вопрос о происхождении языка переводится в вопрос о происхождении самого «происхождения»:

³⁰ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 487.

³¹ Фуко М. Рождение клиники. С. 15.

³² Там же. С. 18.

³³ Там же. С. 18.

Определив, таким образом, задачу исследования происхождения языка, мы должны теперь рассмотреть само «происхождение» как категорию метода в системе структурного анализа.³⁴

Так «происхождение» из плана означающих переводится в план означаемых. Здесь на свет выходит глубина мышления, на ней устанавливается непредвзятый взгляд и меняются формы наблюдаемого. Но необходимо было еще поместить мышление в коллективное и однородное пространство мыследеятельности. Необходимо было также открыть язык совершенно новой области: постоянной и объективно установленной корреляции наблюдаемого и высказываемого.³⁵ Эта задача и была выполнена ММК.

Чтобы методологический опыт стал возможным как форма познания, была необходима полная реорганизация сферы мышления в системе деятельности, новое определение статуса методолога в обществе. Г.П. неоднократно говорил о ведущей роли методологии в будущей цивилизации. Эта роль может быть основана на том, что здесь спасение замещается технологией или знанием-властью. Ориентируясь на рефлексию, методология предлагает новому человеку устойчивый и утешительный лик конечности; в ней смерть подтверждается, но в то же самое время предотвращается; если методология без конца объявляет человеку предел, заключенный в нем самом, то она говорит и о том технологическом мире, который является вооруженной, позитивной и заполненной формой его конечности. «Так что современная мысль, надевшаяся с конца XIX века избежать позитивизма, добилась лишь того, что мало-помалу открыла то, что сделало его возможным».³⁶

5. «Вторая линия прочтения», или о разрывах и непрерывности истории

...**Н**е совершил ли я с самого начала промах, оставив в стороне вторую, археологическую линию прочтения, обозначенную во втором параграфе, приняв здесь без огово-

³⁴ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. С. 305.

³⁵ Ср.: Фуко М. Рождение клиники. С. 292.

³⁶ Там же. С. 297.

рок за образ «другого» официоз? Было ли *это* на самом деле «другим» для Г.П. или мы вправе рассматривать Г.П. как по сути продолжателя и даже завершителя этого грандиозного проекта организованного общества, своим невероятным усилием очистившим эту идею от приставшей по ходу реализации скверны, почти спасшим ее (если это вообще возможно) – вправе ли мы рассматривать Г.П. как своего рода протестанта, вернувшего этой традиции утраченный незамутненный исток и надежду на будущее? Ведь не случайны же были такие жертвы, ведь родился же советский человек, самый сильный, поскольку жил в самых тяжелых условиях, и не случайно СССР оказался родиной методологии!.. И хотя Валерий Подорога требовал от меня привести примеры успешного хождения интеллектуала во власть, а я не мог привести таких примеров, – разве не эту землю нам возделывать, не на ней ли жить нашим детям? Сделайте же мне, наконец, возможным позитивизм.

Вспомним реакцию Г.П. на то, что еще недавно мы называли «перестройкой». Это была реакция человека, далеко опередившего свое время. Но поскольку опережение происходит на круглой земле, то возникает иллюзия, что человек находится несколько сзади. Теперь земля сделала свои обороты, и иллюзия исчезает.

...Но независимо от этого, или, говоря археологически, независимо от обращения земли, мыслима иная линия прочтения, ибо существовал иной «другой» относительно дела Г.П. логос. Я укажу на него совершенно кратко, используя уже упоминавшуюся работу Жака Деррида, который ведет здесь мягкую полемику со своим учителем Фуко. Деррида усомнился в выполнимости задачи, которую поставил себе Фуко: написать историю *самого* безумия, до всякого «захвата» его знанием. Это ведет к молчанию, замечает Деррида, и продуктивнее предположить, – а это, вопреки замыслу, и вынужден делать Фуко, – что рассогласование разума и безумия всегда означает саморазделение, «внутреннюю муку смысла и логоса вообще».³⁷ Отсюда Деррида доказывает единственность логоса, или Разума, утверждая, что только благодаря единственности и «внутренней муке смысла» возможна история этого Разума. Вся история в конечном счете не может быть ничем иным, как историей смысла, т.е. Разума вообще. Но эта история возможна, если есть

³⁷ Деррида Ж. Письмо и различие. С. 65.

рассогласование внутри разума, т.е. история возможна благодаря безумию. «...Декарт знал, что у конечной мысли – то есть без помощи Бога – никогда не было *права* исключать безумие и т.п. Это возвращает нас к тому, чтобы сказать: она всегда исключает его только *на деле*, через насилие, внутри истории; или, скорее, что это исключение, как *различие* между правом и фактом как раз и оказывается историчностью, возможностью самой истории».³⁸ Но, становясь историчным, этот разум обманывает себя, мысля, что возможно некое конечное убежище собственной защищенности, иными словами, – что возможно оправдать свое насилие над «безумием», совершается ли оно под прикрытием Просвещения или Романтизма, консерватизма или либерализма или какой-либо иной «модификации рационализма». Здесь все равно не может быть алиби перед насилием. Все эти модификации по своему исходному смыслу являются (пользуясь выражением Фуко) мыслью бесконечного, «т.е. тем, что не может исчерпаться в какой-нибудь замкнутой тотальности, функции, инструментальном, техническом или политическом определении».³⁹ Проще говоря, мы не можем знать, как это насилие отзовется. Но это не возражение против исторического действия. Это лишь напоминание о другом логосе или – если, следуя Деррида, признавать единственность логоса как такового – о «внутренней муке смысла», что напоминает о себе как раз в те периоды, когда наши технологии успешно работают, да только «не туда» или неизвестно зачем.

Вторая линия прочтения наследия Г.П. могла бы направлять нас к выявлению внутренней и еще скрытой телеологии в архитектонике методологии, что предполагает анализ движения не как завоевания территории, но анализ полемик и противостояний *по существу*, – уже не с коллективным, а индивидуальным мышлением людей, находившихся как внутри самого методологического движения, так и вне – во времени и пространстве.

³⁸ Там же. С. 104.

³⁹ Там же. С. 103.



Подорога Валерий Александрович (р. 1946)

доктор философских наук (1992), заведующий сектором аналитической антропологии Института философии РАН, профессор Академии гуманитарных исследований.

Окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1970), аспирантуру Института философии АН СССР (1974).

Область научных интересов – философия телесности, философская антропология. На базе концепции телесности философским методом постструктуралистской феноменологии анализируются произведения литературы, искусства, включая искусство кинематографии, философские тексты. Основная цель подобной работы – подготовить категориальный инструментарий для осмысления отечественной традиции интеллектуальной истории и построить общую археологию чувственности или перцептивности русской культуры.

Автор шести книг и почти 200 научных статей, эссе, бесед; ряд его работ переведены в США, Англии, Австрии, Франции, Нидерландах, Германии, Японии. Лауреат Премии имени Андрея Белого (2001).

Живет и работает в Москве.

ПРОЕКТ И ОПЫТ (Г. ЩЕДРОВИЦКИЙ И М. МАМАРДАШВИЛИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТИЛЕЙ МЫШЛЕНИЯ)

1. Вступление

Вопрос о стиле. Сходства и различия

Достаточно разместить рядом два известных имени, как тут же вступает в игру сравнительная шкала, в каком-то смысле весьма унижительная для известных и достойных всяческого уважения авторов. В любом сравнении сравниваемое всегда теряет, старая мудрость верна: «всякое сравнение хромает...» В античной традиции такой автор, например, как Плутарх, в знаменитой книге «Сравнительные жизнеописания» использовал в качестве основного приема «попарную группировку биографий», греческой и римской. Посредствующее звено здесь само сравнение, то *третье*, что сопоставляет две великих культурных традиции и является начальным условием сравнительного эффекта. Сходство и различие – то, что в структуре жанра биографии выделяется как *прооимий и синкрисис*, – становится ощутимым в качестве результата благодаря неожиданному эффекту сопоставления¹. Подобные попытки были предприняты Мережковским в фундаментальном исследовании *Л. Толстой и Ф. Достоевский (Том 1–3)*. Часто этот прием использовался Л. Шестовым: *Ницше и Достоевский, Толстой и Достоевский, Афины и Иерусалим*². Конечно, многие оппозиции можно навязать, и их принудительность скрыть крайне трудно. Достаточно указать на массу сравнительных исследований, которые традиционно ведутся в историко-филологическом или литературоведческом анализе: авторы сравниваются

¹ См. разработку темы: Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография. К вопросу о месте классика жанра в истории жанра. М., 1973. С. 209–256.

² См. например: Шестов Л. Афины и Иерусалим // Шестов Л. Сочинения в 2-х томах. Т. 1. М., 1993. С. 317–336.

произвольно, вне каких-либо оснований, какой-либо предварительной оценки эффективности возможных сопоставлений (порядка сходств/различий). Особенно слабой выглядят идеи подражательности и влияния, заимствования и филиации, которые должны были стать результатом сравнительного анализа. Лингвистически выстроенные оппозиции оказываются принудительными схемами отношений, ничего, собственно, не дающие исследованию, так как лишены должной интерпретативной силы.

Итак, объединение столь значимых авторов, как Г.Щ. и М.М. в концептуальную диаду может быть результативным на основе третьего, сравнительной шкалы, без нее техника сопоставления была бы невозможна. Это третье – схема различия для сходного и единства для различенного. В «третьем» все индивидуальные особенности обретают смысл из общего, корневого единства, и уже не кажутся навязанными. Таким третьим для творческого становления Г.Щ. и М.М., бесспорно, была идея Проекта.

К началу 50-х годов вокруг идеи обновленного марксистско-гегелевского Проекта начинает формироваться группа философов, историков и психологов, составивших так называемую Московскую марксистскую школу (сюда можно отнести, учитывая, конечно, разную степень влияния и вклад в «общее дело»: Э. Ильенкова, Г. Батищева, А. Зиновьева, Г. Щедровицкого, М. Мамардашвили, Б. Грушина, В. Давыдова, В. Зинченко и многих др.). Собственно, их профессиональное становление как исследователей проходит во временных границах (этот промежуток можно датировать: от смерти Сталина и речи Хрущева на XX съезде КПСС до 1968 года – «вторжения в Чехословакию» и начала первых диссидентских процессов). Если в краткое время «хрущевской оттепели» сохраняется возможность развивать идеи Проекта, совершенствовать методы и методики, то начиная с конца 60-х годов общая политическая ситуация в стране меняется (к этому времени завершается переход от тотальной, «сталинской» к избирательной репрессии). Ранние работы М.М. и Г.Щ. близки друг другу по идеям, стилю рассуждения, используемому языку, отличия незначительны по сравнению с единством аргументации и «работе в режиме рефлексии»³. Можно сказать, что они концептуально-рефлексивные

³ Может быть, даже нельзя говорить о некоем «раннем периоде» развития техники аргументации М.М. Скорее, раз сложившись в набор устойчиво повторяющихся рефлексивных операций, она фактически осталась неизменной. Да и М.М. сам не пытался критически

близнецы⁴. Вероятно, расхождения начинаются тогда, когда М.М. обращается к систематическому изучению истории европейской философской мысли. Г.Щ. же остается верен первоначальным идеям Проекта (а свидетельством тому, конечно, является учреждение Московского Методологического Кружка, – ММК) и вообще перестает мыслить вне актуальной практики Проекта.

Под *стилем* же я буду понимать *эстетическую форму мысли*. Стил – это дополнительное измерение (эстетическое), которое придает мысли индивидуальную форму, что отличает ее от всякой другой, делает неповторимой и единственной. Собственно, стил – это *воля-к-выражению*, или то, что Г.Щ. называл *волей к самореализации*, а М.М. *актом свободы*. Итак, стил – чувственно *во-площенная*, телесная, эстетически переживаемая форма мысли. Стил предвосхищает мысль, дает ей состояться, побуждает развиваться в сторону все большей *индивидуализации*, причем до тех пор, пока материал жизни не будет полностью освоен. Остается верной старая формула: «Стил – это человек», – граница индивидуальности отмечается понятием стилиа. Сказать, что стил воплощен в линии (а та может быть любой по конфигурации, «геометрии» и топич-

проанализировать предпосылки собственного стилиа мысли. Во всяком случае, следы побудительных попыток редки. И это неудивительно, ведь он рассматривал способ мыслить не как благоприобретенное орудие труда и ориентации в мире, а как дар, то, что не обсуждается, что не может быть подвергнуто сомнению. Начиная с первых текстов и завершая такими работами, как «Символ и сознание» (1973, в соавт. с А. Пятигорским), «Стрела времени» (середина 70-х годов), стилевые черты мысли сохраняются и для поздних этапов творчества; если мы будем внимательны, то обнаружим тот же самый набор концептуальных инструментов в историко-философских, эпиграфических штудиях М.М. о Канте, Декарте и Прусте.

⁴ Желаемый результат может быть достигнут, если в основе сравнительной шкалы лежит эффект, подобный близнецовому. Но как же организовать поле различий, которые позволили бы нам говорить о М.М. и Г.Щ., например, как об идейных близнецах-соперниках? (Иванов В.В. Близнецные мифы // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. М., 1980. С. 175). Ближайшая близость: скрытые двойники, партнеры или друзья-враги – конечно, это не подходит. В любом случае эти парные связи могут нас подтолкнуть к определению начальных условий стратегии различия, которых необходимо придерживаться в анализе. Принцип близнеца в сравнительной аналитике строится на основе пределов сближения сходного, в то время как принцип стилиа устанавливает возможные условия разведения различного. Особенно остро вопрос о близнечестве/двойничестве поставлен Р. Жираром в книге «Священное и насилие». Ведь наряду с двойниками-монстрами («братья-соперники») есть еще и позитивные двойники, удваивающие наше присутствие в мире, та идейная и чувственная сила ушедших авторов, которой мы пытаемся овладеть при размышлении над их мыслями. Так и М.М. явно удваивает себя в авторской мощи М. Пруста, И. Канта, того же Декарта. Другими словами, принцип близнеца как принцип сравнения имеет негативную и позитивную модальность, и, тем не менее, всегда сохраняет свою эффективность (конечно, если имеются достаточные условия для его применения). (См. также более широкий культурный горизонт темы: Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки; Ясперс К. Стриндберг и Ван-Гог; и многие другие.)

ке)⁵. Стиль обладает резко выраженной подчеркнутой линейностью, та описывает территорию мысли и ее инфраструктуру. Будучи *внешней* выразительной линией, она является различительной и для всех *внутренних* отношений. Другими словами, линейность стиля, проявления воли-к позволяет переходить от движения *вовне* к движению *внутри*, линия стиля *обратима* и *непрерывна*. Сходства *геометричны* и являются внешними, различия *топологичны* и являются внутренними. Каждая стилевая форма многосоставна, отмечена, по крайней мере, сочетанием двух моментов: индивидуального и общего, «коллективного». И здесь важно отметить, что в некотором времени, – во времени посмертного признания, – М.М. и Г.Щ. были выделены как наиболее значимые фигуры советского периода, обладающие сильной индивидуальностью и явно выпадающие из общего строя мысли. Однако, несмотря на всю оригинальность, их стили мысли были включены в другие, общие, или, если угодно, *коллективные* (стиль эпохи, например, или «дух времени»). Если полагать, что стиль по определению индивидуален, то его индивидуальность проявляется внутри общей стилевой нормы и всегда ей противостоит, даже если, на первый взгляд, *рабски* ей следует или тонко обыгрывает ее противоречия. Стиль не относится к манере *письма*, точнее, не может определяться ею полностью⁶.

⁵ Конечно, не всегда может быть удачен выбор концептуальной сетки терминов для сравнительной шкалы. Однако в нашем случае, как мне представляется, вполне можно прибегнуть к установлению различия на основании живописного и линейного стиля, базовой оппозиции художественного опыта, вероятно, впервые разработанной Г. Вельфлиным. Ср. например: «Линейный стиль есть стиль пластически почувствованной определенности. Равномерно твердое и ясное ограничение тел сообщает зрителю уверенность; он как бы получает возможность ощупать тела пальцами, и все моделирующие тени так тесно связываются с формой, что прямо-таки вызывают осязательное ощущение. Изображение и вещь являются как бы тождественными. Живописный стиль, напротив, в большей или меньшей степени отрешен от вещи, как она действительно существует. Для него нет непрерывных контуров, и осязаемые поверхности разрушены. Мы видим только расположенные рядом несвязанные между собой пятна. Рисунок и моделировка перестают геометрически совпадать с пластическими формами и передают только оптическое впечатление от вещи» (Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. М.-Л., 1930. С. 24–25). См. также: Гиро П. Разделы и направления стилистики и их проблематика // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. Лингвистика. М., 1980; Riegl A. Stilfragen. Grundlegenden zu einer Geschichte der Ornamentik. Munchen, 1985. S. 2–5; Granger G.-G. Essai d'une philosophie du stile. P., 1988. P. 206–216.

⁶ Р. Барт отличает стиль от письма. Так, например, есть политическое письмо (оно может быть классическим, революционным или марксистским), но есть и стиль того или иного мыслителя, тот способ, каким он овладевает языком, насколько он послушен собственной выразительной силе, вне каких-либо ограничений. «Так, под именем "стиль" возникает автономное слово, погруженное исключительно в личную, интимную мифологию автора, в сферу его речевого организма, где рождается самый первоначальный союз слов и вещей, где

Из моих предварительных изысканий смею сделать вывод, что Г.Щ. принадлежит определенному эстетическому стилю – этот стиль близок русскому авангарду начала середины и конца века. Авангард в данном случае рассматривается не столько как канон определенного письма (художественного), сколько как особый стиль проектной мысли. Г.Щ, как, впрочем, и предшественники: К. Малевич, П. Филонов, С. Эйзенштейн и Дз. Вертов, В. Мейерхольд и А. Платонов – относятся к одному эпохальному стилю, это революционная эстетика авангарда. Собственно, как это ни странно, но и А. Зиновьев (и в научно-философских трудах, и в известных и многочисленных сатирико-социологических романах) постоянно отражает крах величайшего «юношеского» мирового Проекта. Стиль же философствования М.М. можно отнести к *модерну*, во всяком случае, философ явно тяготеет к нему в последние годы жизни. Модернистские формы литературы и искусства многочисленны и широко известны, укажу лишь на те, к которым обращался так или иначе М.М.: прежде всего это М. Пруст, факультативно П. Сезанн, Ф. Кафка, А. Арто, символистская литература и поэзия начала века (А. Блок, Н. Гумилев, О. Мандельштам). Говоря, что М.М. – мыслитель стиля модерн, а Г.Щ. – стиля авангард, с одной стороны, я несколько упрощаю сравнительную базу, а с другой – невероятно усложняю для себя решение задачи. Все же это имена общих стилевых форм, по которым нельзя определить особенные горизонты развития индивидуальной мысли⁷. Конечно, необходимо уточнение: что, собственно, понимать под *авангардом* и *модерном* как стилями мышления. Если под авангардным видением понимать реализацию идеи глобального Проекта (замещающего собой наличную данность уже существующего мира), то под модернистским – только вопрос: как может быть человек-в-мире (где

однажды и навсегда складываются основные вербальные темы его существования. Как бы ни был изыскан стиль, в нем всегда есть нечто от сырья: стиль – это форма без назначения; его толкает некая сила снизу, а не влечет к себе известный замысел сверху; стиль – это человеческая мысль в ее вертикальном и обособленном измерении» (Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика языка и литературы. М., 1983. С. 310.)

⁷ Наша сравнительная база выстраивается на первоначальных весьма существенных оппозициях: модерн-авангард, визуальное-вербальное, герменевтика-логика, размышление-рассуждение – я бы сказал, что здесь демонстрируется порядок уточняющих друг друга оппозиций все более локальных и индивидуальных. Но среди них мы выделили (но в стороне) опыт и проект (знание опытное и проективное) – вот что создает основной план различия и подтверждает все сходства. Приблизительно так и будет строиться наш сравнительный анализ: описывать стилевую форму мысли, уточняя ее границы кривыми сходств/различий, для того чтобы каждый раз через третье (то через Опыт, то через Проект подтверждать их).

отдельный вопрос о самом мире не имеет смысла)? Обычно под «человеком» понимается не человек вообще, а «последний человек». Проектный субъект (авангардный) всегда *вне* мира, субъект опыта (модерный) всегда *в* мире⁸.

Оказывается, на этих наспех очерченных философских территориях (И. Канта, Р. Декарта, М. Пруста или Л. Витгенштейна) мы не найдем образцов собственно историко-философской работы (как работы, посвященной тому или иному философу), она заказана именно в силу того, что тот, кто мыслит на этих территориях, нуждается как философ в поддержке со стороны авторитетов. Он даже не столько опирается на них, сколько выбирает пути сквозь те страны, которые им принадлежат, отрекаясь каждый раз от них, прячась, пробираясь совершенно лицом неизвестным, как шпион. Шпиономания Киркегора, а он выслеживал свои экзистенциальные цели внутри гегелевской системы. И что это за страны? А М.М., сам-то он кто – путешественник, завоеватель, свидетель-историк, – кто он, или, точнее, в какой функции выступает, раз пересекает чужую территорию мысли, желая остаться неопознанным? Да и что позволяет ее пересечь, уклонившись от встречи с тем, с кем он должен был, в общем-то, встретиться непременно? Кто устанавливает границы стран, давая им имена «Декарта», «Канта», «Пруста» и др.? Да и есть ли они, эти страны? Может быть, есть только одна страна, на карте которой некая горная цепь после покорения получает одно-единственное имя?⁹

⁸ К важным признакам авангардного проекта можно отнести следующие:

- история вместо природы (природное как инертно-практический материал);
- активистская позиция Субъекта (преодоление сопротивления со стороны социальной и природной материи);
- пантехническая утопия (западная цивилизация как парк орудий);
- опора на труд, бесконечное волевое усилие, напряжение в преодолении любого препятствия;
- всякое сопротивление (любые препятствия или помехи) выносятся при проектировании за скобки как мнимая угроза, исходящая из прошлого, но несущественная для будущего;
- отказ от субъекта конечного в пользу Субъекта проективного (бесконечного), который реализует себя в Проекте (Проект и есть Субъект, а Субъект – Проект, их нельзя разделить);
- обратная (вторичная) проекция на настоящее со стороны будущего, т.е. абсолютная, в себе завершенная Проекция, отбрасывающая всякую связь с прошлым;
- формирование революционного сообщества, способного к радикальному действию в горизонте глобального Проекта.

⁹ Ср.: "Повторяю, если мы действительно помыслили какую-то мысль, например, Декарта, то окажется, что это мысль и Сократа, и Платона, и Витгенштейна, и Гуссерля. То есть закон состоит в том, что если кто-то когда-то выполнил акт философского мышления, то в нем есть все, что вообще бывает в философском мышлении. В этом смысле в философии нет ничего нового, никаких изобретений. Ибо мы можем или мыслить или не мыслить, но если мы мыслим, то мыслим то, что уже помыслено. И поэтому Декарт будет похож на Канта, Кант будет похож на Сократа и т.д." (Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. М., 1993. С. 80.) Философия – это не то, что мы привносим, а куда мы входим...некое понимающее пространство, чтобы стать мудрыми.

Паралогия

Один *рассуждает*, другой *размышляет*. . . один мыслит, чтобы получить результат, другой мыслит, чтобы продолжить мышление, овладеть искусством медитации. Можно сказать и иначе: один – *инструктор*, он мыслит, *ин-струируя* или *инструктируя*, т.е. его мысле-действие и следует понимать именно так (мыслить не *головой*, а *руками*, мысль не как действие, а само действие – вот главный принцип). Но что такое инструктировать? Собственно, я полагаю, что Г.Щ. не столько что-то конструирует, сколько *ин-структирует*, как «правильно» и «точно» пользоваться тем, что можно назвать мыслью. In-structio отличается от con-sructio (re-consructio), но и de-struction (М. Хайдеггер), de-construction (Ж. Деррида), от тематики *конструкции* в эстетике Шеллинга и психоанализе З. Фрейда. Делать мыслимое – нечто иное, чем показывать, *как* это делать, не делая *что*; поэтому инструктировать – это разворачивать некоторые из возможностей мысле-действия по определенным правилам *изображения*. В инструктаже – идея методологии. Ведь понятно, что инструктировать – это «вводить в курс (в дело)», «предупреждать», «оговаривать условия», «отрабатывать», «показывать» – обучать первоначальным навыкам работы (поэтому в инструктаж входит тренировка, наличие необходимых упражнений и специальных орудий, переподготовка и многое другое). Тем и отличается инструктирование от конструирования, например, что второе есть *прямое* мысле-действие, в отличие от инструктирования как опосредованного, предваряющего или дополнительного действия. Однако если мы придаем инструктированию столь исключительное значение, то в таком случае оно должно предопределять и всю технологию проектирования – Проект как таковой¹⁰. Инструктирование невозможно без со-общения с Другим, в то время как конструирование не просто возможно, оно должно быть таковым по замыслу. Иначе, инструктирование – это вырабатываемая форма коммуникации по поводу типа знания, которое будет конструироваться в качестве сообщаемого (понимаемого).

¹⁰Здесь есть противоречие между in-structio и con-sructio. Методолог, по определению, и не должен конструировать, а только учить других, как это делать. Нелепо говорить методологу: «Не учи, покажи, сделай сначала сам». Неясность этих двух друг друга теснящих позиций: методолога-инструктора и методолога-конструктора.

Ход методологическо-инструктирующей мысли следующий: если вам необходимо осуществить проект (любой, поскольку все проекты по технике проектирования ничем не отличаются), то вы должны следовать неким весьма пространным и подробным предписаниям. А эти предписания касаются прежде всего тех инструментов (вербальных, визуальных, ментальных), которыми вы собираетесь воспользоваться, чтобы осуществить проект, и без которых он был бы невозможен. Наиболее совершенный по искусству проект был бы проектом, использующим только «свои» собственные инструменты. Приведу пример: я покупаю молоток. Правда, одно дело, когда я его покупаю в американском супермаркете, а другое – в российском. К молотку, купленному в американском магазине, прилагается подробная инструкция. С точки зрения здравого смысла эта инструкция не нужна, смешно читать инструкцию к правилам использования молотка. Но с точки зрения некоторых особенностей американской правовой культуры инструкция должна прилагаться к любому орудию труда (а молоток такое же орудие труда, как и любое другое, пускай наиболее примитивное). Чтобы за нарушение правил безопасности отвечал потребитель, а не продавец, для этого прежде всего и необходима инструкция (в ней все, что необходимо было, изложено). В сущности, методолог готов инструктировать вас по правилам использования молотка, как, впрочем, и любого объекта человеческой деятельности, но так, как если бы при этом инструктировании вы смогли бы овладеть совершенно новыми свойствами этого орудия, где, например, *молотковость* была бы стерта («первоначальное назначение») и заменена.

Тотальный характер проектирования заключается в том, что даже то, что мыслится, мыслит себя не как мысль, а как проект мысли.

Итак, один – инженер-инструктор, «технар» – легко освобождается от пут нашей сравнительной шкалы и не может быть оценен *в сравнении с другим*... Действительно, сравнивать «инженера», «логику» или «физика-экспериментатора», «дизайнера» и «оргуправленца» с «философом-мудрецом» не имеет смысла. Но Г.Щ., конечно, не был просто «инженером» и ставил перед мыследеятельностью самые широкие преобразовательные цели. В сущности, он разрабатывал методологию не частного, а глобального мирового Проекта¹¹.

¹¹Отсылаю к рискованному, но исполненному, как мне кажется, искреннего пафоса высказываниям Г.Щ. о «превосходстве методологии над наукой и философией» (см., например: Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 550–552).

М.М. ощущал мысль как *дело* философии. Однако мыслить – это занятие сугубо частное (здесь, по глубокому убеждению М. Хайдеггера, отличие философии от науки, которая «не мыслит»). Конечно, на фоне М.М. философствующего Г.Щ. может показаться *универсальным технологом*, экспериментатором, выдающимся и сокрушительным мастером инструктажа. Видно, насколько старательно он избегал встречи с философией как автономным и герметичным опытом мысли. Для него классическая философская традиция была не *опытом*, а *результатом*, который следует учесть и использовать по возможности с наибольшей эффективностью. Сама по себе мысль не интересна, если перед ней не поставлена задача, ему, вероятно, показалось бы странным такое вот буддийское бездельное состояние мысли, столь высоко ценимое М.М. на поздних этапах его творчества. М.М. читал курсы по Канту и Декарту и видел в работе по истолкованию великих философских систем истинное предназначение философии.

Трудности еще и в том, что ни М.М., ни Г.Щ. не имели литературного вкуса к письму и писательству, они были теми, кто мыслил, говоря, – говорящими мыслителями. Вот почему их наследие, большая часть которого сохранилась в магнитофонных записях, после того как было расшифровано и переведено в план письменного текста (отдельных книг, лекционных курсов, автобиографии, воспоминаний современников и пр.), это уже не то наследие, которое сохранилось в памяти первых учеников, в передающейся и стихийно распространяющейся молве. Сегодня, когда изданы уже основные корпуса лекционных курсов, каждый из них (и М.М., и Г.Щ.) наделен книжной легендой, хотя никто из них не писал книг (т.е. не понимал книгу как форму и задание мысли). Мне представляется, что для различных групп философско-методологической интеллигенции 50–70-х годов *книга* не имела значения сообщения, не была message, следовательно, не могла обрести статуса общественного события. Ведь тогдашняя «книга» в силу крайних цензурных ограничений находилась в двусмысленном положении. Выпустить книгу, да и просто опубликоваться в то время, означало «негромко и с достоинством» заявить о некоем сопротивлении власти, и та в свою очередь должна или не заметить его, или «дать ход делу». Вот почему подавляющая часть мыслительной работы ушла в неофициальные пространства, смежные официальным, но настолько отличные от них, что спутать их было невозможно. «Кружки»,

«семинары», «школы», не организуемые официально на университетской или партийной основе, стали своего рода экзистенциально обязательным поведением для тех, кто действительно интересовался подлинным философствованием. Естественно, одни кружки были более терпимы властью, другие – нет. Глобальный советский запрет на суверенную речь (мысль) хорошо осознавался этой репрессированной, бездомной суверенностью. Она заявляла протест своим ускользанием из-под непосредственного контроля. М.М. никогда не был (разве только на начальном этапе своей карьеры) членом кружка, в отличие от Г.Ц. – создателя целой «школы» (то, что сегодня называется *Московским Методологическим Кружком*). Одни кружки стремились к корпоративной замкнутости, вербовке новых членов, пренебрегая той открытостью, которая на данный момент была возможна («школа» или кружок «диалектиков-марксистов» Ильенкова–Батищева, группа «диалога культур» В.С. Библера, кружок самого Г.П. Щедровицкого). И это понятно, ведь разработка проблем в каждом из кружков требовала от их членов непрерывной совместной работы, и естественно, что каждый новый член кружка должен давать негласную присягу на верность тем ценностям и идеалам, которые исповедовали члены кружка и их лидер¹². Однако легитимация кружкового принципа была прерогативой власти. Легитимация довольно-таки странная – она осуществлялась через *запрет* и *прямую репрессию*. Другими словами, чем более опасным казалось власти чье-то творческое усилие, тем легче осуществлялась легитимации идеи. Как мне кажется, одним из таких кружков, который сформировался на авангардных «прогрессистских» принципах и задачах благодаря этой двойственной легитимации, и был ММК.

Что касается легитимации, которая подтверждала творчество М.М., то она была совершенно иной, сначала вполне академической. Собственно, М.М. имел обычную официозную карьеру. Однако с некоторого времени стал «неофициально» мыслящим философом (если не диссидентом, то «невъездным» уж точно). Отличие его творческой активности от коллективной деятельности членов ММК очевидно. Во-первых, он стремился, или, во всяком случае, так получалось, что он читал «публичные» лекции (Институт психологии АН СССР, факульте-

¹² Тут действовали многие факторы: новое дело, «новая наука», доступность и открытость, помощь в карьере, овладение «секретным оружием», благодаря которому можно стать столь же неуязвимым, как Г.Ц.

ты психологии и философии МГУ, режиссерский ВГИКа, Институт философии АН Грузии и др.), не вел никакого закрытого кружка, четко отделяя «работу мысли» от общения. Во-вторых, харизматический стиль философствования – мыслить не *вместе-с-другими*, а *одному*. Мастер размышлений (медитаций), монологист чистой воды, пренебрегающий непосредственным аудиторным контактом (вопросы во время лекции невозможны и не задаются). К порядку медленно развертывающихся размышлений, которыми М.М. оснащает рассказываемую им «историю», добавляется аура посвященности и запрета, которая окутывает и чарует зрительскую аудиторию (слушать «запрещенную» властями речь – в этом что-то есть...), – не отсюда ли вся необычность мыслительного ритуала, в котором смешиваются храмовое действо, публичная проповедь, театральное представление. М.М. объяснял свое отношение к «философским кружкам» не личным отношением, например, к А. Зиновьеву или Г. Щедровицкому, а как сопротивление возможному ограничению свободы со стороны коллег по цеху; он не хотел нести ответственность за коллективные действия и проекты; по его собственному признанию, «коллективистский дух» ему был чужд, и он сторонился его, насколько мог. Другое дело – друзья, беседа и лекция, дружба и любовь, застолье и хорошее вино, табак, стильная одежда – да, все это и есть М.М., вероятно, один из наиболее заметных денди тогдашнего советского философского круга¹³.

Но как только мы возвращаемся к стилю Г.Щ., мы сразу замечаем, насколько он несовместим со стилем М.М. Эгалитарный, разговорно-дискуссионный, «научно-технический» стиль Г.Щ.; он даже и не мыслит, он рассуждает и если рассуждает, то стремится всегда ответить на поставленный вопрос, и *вместе-с* (аудиторией); он коллективист, мастер общения, спора, дискуссии и полемики. Дуэлист, мастер принимать и бросать вызов. В сущности, все те лекции, которые мы можем найти в издаваемых сегодня томах наследия Г.Щ., делимы

¹³ В каком-то смысле можно говорить о М.М. как денди: он имел вкус к одежде и дорогим вещам. В тогдашнем просторечье он был пижоном. Умение одеваться и следить за собой как-то с неожиданной стороны отдаляло его от коллег и друзей. Старые профессора с дворянскими привычками и величественными жестами, со своей философией прекрасного ушли, а остался безликий профессорско-преподавательский отряд, не знающий, кроме советского, никакого иного эстетического переживания. Поэтому было как-то непривычно видеть М.М. на лекциях в МГУ в тонком летнем костюме – яркое светлое пятно на сером фоне всесезонно одетой университетской массы. И надо признать, он производил на эту массу почти отталкивающее впечатление, хотя мы, студенты, видя этот разительный контраст, чувствовали, что за этим образом «стильного» философа стоит особая эстетическая программа, неотделимая от его мысли и жизненных позиций.

на два основных жанра – *лекцию-диспут* и *лекцию-обучение*. Я бы не назвал его манеру *диалогической* или более открытой для слушателя, чем у М.М., его стиль также монологичен (даже моноцентричен), просто используются иные средства воздействия на слушателя. Воздействие в основном полемическое, истина – скорее победа в споре (т.е. она достается более дорогой ценой, чем можно себе представить, занимаясь чистым исследованием или медитациями). В ходе постоянной защиты собственной позиции развивается и сама позиция, точнее, средства защиты, а не та истина, которая могла бы быть приемлема без обсуждения. Другими словами, средства проектирования, весь этот теоретико-методологический парк орудий, намного ценнее, чем достигнутая истина (которая, надо признать, рассматривается как род победы в споре). Что такое, собственно, проект? Допустим, что это *будущее, которое должно состояться сегодня*, – а как это возможно? Здесь все дело, как мне представляется, в способности проектировщика убедить общество в необходимости предложенного проекта (поэтому-то он не может быть ни истинен, ни ложен). Без убеждения в ценности проекта нет и самого проекта. Идеализм Г.Щ. в этой проектируемой защите. Я думаю, что с какого-то времени этот аспект защиты был переработан в тему игры, тренировки, постоянного тренинга, т.е. технологизм приобред черты профессионального навыка, чуть ли не вида спорта.

Собственно, это не подпольная философия, это скорее неофициальная, а сегодня неакадемическая философия, т.е. философия, противостоящая основным направлениям советского идеологического мейнстрима (а такими направлениями были прежде всего *научный коммунизм*, а позднее *философия естествознания*). Как это ни удивительно, но по дискуссиям Г.Щ. с академическими и университетскими философами заметно, насколько он тогда и всегда был за границами привычного для тех лет уровня «здравого смысла». В этом смысле философствование М.М. самим фактом существования было направлено против существующего режима, в то время как методологическое конструирование – вся годами разрабатываемая технология изготовления идеальных объектов-проектов, в сущности, была *политически нейтральна*, не была *другой* и *чуждой*, она была вполне *понятной* власти. И скорее находилась в оппозиции к советскому академическому истеблишменту, нежели к существующему режиму¹⁴. Следует заметить, что раздражение, которое вы-

зывало творчество одного у партийных идеологов (и другие, куда более глубокие отрицательные чувства), было совсем иное, чем то, что вызывалось дискуссионным стилем рассуждений другого. Снобизм и мнимая «европейскость» М.М. были более опасны. В то время как Г.Щ. рассматривался академическими авторитетами как менее компетентный и потому менее опасный. Победа Г.Щ. в споре ничего не предвещала, напротив, делала его слабее в академическом отношении. Ведь после наступления более благоприятных времен и отмены цензуры снова возросла ценность академической книги, подводящей итог многолетним трудам. Но ни один, ни другой так и не получили академического признания: они не имели книги.

И вот что интересно – критика в адрес М.М., насколько я помню, заключалась в основной претензии: все, что он пишет и говорит, *непонятно*¹⁵. Протесты подобного рода всегда исходили от той части

¹⁴ Хотя, например, такие фигуры, приблизительно одного поколения с М.М. и Г.Щ., как Вяч. Иванов, С. Аверинцев, В. Топоров получили академические почести и были признаны новым “перестроечным” офицюзом науки. Другое дело, насколько они сами смогли воспользоваться ими и не пошли наговор с властью.

¹⁵ Вот, например, наиболее типичное высказывание: «Я понимаю, когда мне объясняют, что Мераб Константинович Мамардашвили – большой философ. И когда он опубликовал свою статью в журнале “Юность” и прописал, что такое философия и что такое философствование, то это очень здорово, но я ведь всего этого не понимаю. И хотя мы с ним большие друзья, и двинулись вместе с начала 50-х годов, и я его очень люблю и уважаю, – я при этом говорю: я его не понимаю. Пускай он рассуждает про философствование и строит свои невероятно сложные смысловые структуры, но я ведь опишу на основе моделей – детальнее, лучше, понятнее и много практичнее. И когда Виталий Яковлевич Дубровский прочитал после моих настояний эту работу, Мамардашвили – Пятигорского (1971), он мне сказал: “Знаковую форму не уважают, идею знаковости не признают, невероятно сложно пишут о том, о чем мы пишем коротко на основе наших схем. Чего вы мне морочите голову, Георгий Петрович?” – “Да не морочу, знать надо”. А он мне говорит: “Мало чего знать надо”. Я его понимаю, поскольку внутренне и сам так думаю. Я понятно отвечаю? И работаю мы в научной модальности, на основе моделирования. Схемы мысле-деятельности строим. Схемы искусственного и естественного строим. Мераб Константинович работает на высоком понятийном, спекулятивном уровне. Я его понимаю, я сам так учился и знаю мощь спекулятивного философского подхода. Даже призы получал за это». (Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 593–594.)

Можно найти еще ряд замечаний Г.Щ. в адрес М.М. И здесь есть, бесспорно, и напряжение, вызванное соперничеством, и в то же время принципиальные расхождения, которые хотя и не приводят к отказу признать дело Другого, но все-таки ставят под сомнение его форму. Узловой момент и первейшее требование, которое всегда предъявлялось М.М. как “философская вина”, – неумение в простой и доступной форме излагать свои мысли. А что же имеется в виду? Нет простоты, наглядности, ответственности за передачу мысли другому, – иначе говоря, отсутствуют проектные качества мысли. Но М.М. мыслил экзистенциально, избегая, и вполне осознанно, правил проектного мышления. Усложнение простого равносильно усилению моментов непонимания в той среде (лекционной аудитории), которая требовала, я бы даже сказал, остро нуждалась в непонимании (“незнании”, “недеянии”, “неведении” и т.п.). Ведь внешнее повседневное давление ясных и законченных форм идеологического насилия (как бы ни сопротивляться ему) было настолько сильно и всепроникающе, что всякий акт непонимания казался наделенным новизной. Чуть не вестник недоступного и свободного мира мысли (в основном западного). Не понимаю этого не потому, что непонятно, а потому, что оно никоим образом не соотносимо с доминирующей формой идеологии; отсюда гипнотизирующая сила другого слова. Продуктивность непонимания. Возможно, это и не главное условие объяснения стиля М.М., но весьма существенная черта того сопротивления, которое постоянно оказывалось коммунистическому режиму.

гуманитарной интеллигенции, которая была более, что ли, *технически* ориентированной по образованию и воспитанию. Отчасти критика справедлива, но только в том случае, если мы будем полагать, что, например, М.М. нарушил какой-то чрезвычайный запрет, причем всеми давно принятый и до сих пор не отмененный, он как бы *преступил* (чего нельзя было делать): например, нельзя говорить так (и мыслить так), как ты мыслишь, нужно, например, мыслить вместе со всеми, и так, как все, тогда-то и возрастает ценность *истины*, ведь только она одна может удержать нас в общем пространстве, в «коллективной мысли». «Не понимать» – это осуждать другого за непонимание, отказывать ему в признании, даже если сам его лишен.

Вопросы и ответы

В отличие от опыта *размышления* М.М. техника *рассуждения* Г.Щ. нуждалась в разработке стратегии задавания вопросов. Отношения вопроса и ответа все определяют.

Говорящему, диспутирующему свои лекции нужны вопросы, много вопросов, следящих за его речью, постоянно преследующих, и он требует их, будоражит, подгоняет аудиторию. Он нуждается в вопросах, чтобы говорить, т.е. говорить не столько ради рассуждения, а на основании задавания вопросов. Всякий вопрос ценен тем, что на него может быть получен ответ (отрицательный или положительный). И вот, когда перечитываешь изданные лекции Г.Щ., видишь, как работает эта машина ответов-вопросов. Во-первых, она всегда «срабатывает» в том смысле, что всякий вопрос, причем неважно, уместен ли он, правильно ли поставлен, получает ответ и тем самым снимается. Рассуждение всегда имеет начало и конец, оно служит некой цели, оно прагматично и представляет собой образец перевода мысли в практическое *действие*. Во-вторых, пространство рассуждения располагается там, где мысль обретает законченную форму то ли в виде ответа, то ли вопроса. Всякая неточность и неопределенность или неясность отвергается как ошибка мысли. В рассуждениях поддерживается достаточно высокий уровень *истинности*, проверки высказывания на предмет его логической достоверности («идеальной»). Может быть, М.М. и Г.Щ. в советскую эпоху и были настоящими врагами *здорового смысла*, common sense, как известно, опирающегося на веру в превосходство ответа над вопросом. Здравый смысл полон пред-

рассудков, «мифологии», традиционно-консервативных убеждений, и так же полон страхов перед неизвестностью жизни, перед событиями, которые являются неповторимыми, новыми, шокирующими. Все, что неповторимо, все, на что не найдено ответа или на что нет и не может быть ответа, скрывает в себе угрозу нарушения процесса повторения жизненных циклов, смену образцов и норм. Опровержение прошлого опыта недопустимо, и на всякий вопрос должен быть найден ответ. Ответов же всегда больше, чем вопросов. Возможно, М.М. двигался по пути развития идеи внутреннего личностного опыта, «экзистенциального развития», и скорее ставил вопросы, объясняя причины, по которым они были поставлены, но те, в свою очередь, оказывались новыми вопросами. Размышление, вопрошающее об истине, а не ее демонстрирующее, не имеет завершающего итога, оно должно продолжаться... Вопрошание делало двусмысленным любой завершённый ответ, если он не проходил это иногда головокружительное вращение в экзистенциальной аргументации М.М.

Отношение между вопросом и ответом в мысли Г.Щ, как мне представляется, радикально иное. В области научного познания все вопросы получают ответ. Я хочу сказать, что наука придерживается стратегии превосходства вопроса над ответом, и эта власть, по сути дела, ничем не ограничена, беспредельна, как и само стремление познавать. Наука познает, задавая вопросы Природе, требует от нее ответа и всегда получает необходимый ответ, который переходит в ранг *истины*. Даже самый плохой вопрос – тоже ответ. Ответом на вопрос и будет истина. О чем это говорит? Это говорит о том, что наука задает свои вопросы так, как если бы она в то же самое время что-то делала с тем, у кого она спрашивает ответа. И это не просто вопрос, это вопрос, который воплощается в определенный порядок действий вопрошания, которое преследует определенную цель – *эксперимент*. Превращая природный процесс, факт, событие в объект, наука заставляет (принуждает) дать требуемый ответ. В данном случае неважно, что ответы и вопросы все время уточняются и снимают друг друга в пределах экспериментального времени. *Эксперимент* (проверка «идеи»), в качестве подтверждения правомочности задавания вопросов, является необходимым посредствующим звеном между вопросом и ответом. Ответ может быть получен только в том случае,

если мы уже имеем ответ. Вопрос и есть ответ. Поэтому вопрос приобретает сверхценное значение, ведь всякий вопрос при свободной обратимости в ответ и есть то, что называют *научным открытием*. Здравый смысл был атакован именно теми вопросами, на которые не мог найти ответа.

Двойственность жеста

М.М. и Г.Щ. обращались к одной и той же аудитории; ядро ее составляли в основном слушатели моего поколения, чуть старше или чуть младше, короче, те, чей профессиональный интерес к занятиям наукой (психологией) и философией формировался как раз в это время (в 60–70-х годах)¹⁶. Однако М.М., в отличие от Г.Щ., не имел учеников, его аудитория, в отличие от аудитории Г.Щ., была менее специализированная и значительно более смешанная, я бы сказал, не отобранная через кружок: от «почитателей таланта», или, как говорят сегодня, *фанов*, которых, конечно, нельзя отнести к ученикам, до просто любопытствующих и интересующихся и далее – до профессионально работающих в гуманитарной области, признающих исследовательский энтузиазм М.М. Не следует забывать также, что и М.М., и Г.Щ. оказывали значительное влияние на окружающих своей личностью, манерой говорить, привычками и т.п.

В границах стиливого поведения можно засечь единый жест, чьи особенности различаются на уровне его направленности. Такого рода жест, в каком-то смысле мета-физический, не стоит путать с жестом, который направляется против «расхожего мнения толпы» и «непонимания» в старой, но неизменно повторяемой фор-

¹⁶ Эдипов комплекс так и не был преодолен; собственно, поколение 60-х годов имело в своем активе один важный революционный ресурс: непризнание или отказ от Отца. Во всяком случае, другое, более старшее поколение, «сталинское», все эти назначенные советские академики Константинов, Митин, Федосеев (чл.-корр. Кружков, Иовчук и др), а некоторые из них лично участвовали в погромах и преследовании гуманитарной интеллигенции старой формации, легко брали на себя роль верных сынов «Отца всех народов», чтобы самим овладеть искусством быть Отцами (официально признанными). Покровительственный, патерналистский тон философского начальника был оправдан всеми этими унижительными обстоятельствами тогдашнего тоталитарного быта. Вероятно, а мое предположение мне кажется оправданным, у философов 60-х годов почти отсутствовало какое-то стремление к созданию школы. И не только потому, что подобное было запрещено, т.е. не потому, что она не могла и быть создана, но и потому, что отказ от ответственности, от преодоления комплекса Эдипа, отказ от того, чтобы знать, кто есть ты сам, чтобы указать другим, кто они, взять на себя роль отца было верхом абсурда, да и просто предательством идеалов поколения. Нет отцов, ибо все отцы провоцируют появление сталинских Эдипов. В целом советская власть стала казаться таким Отцом-Эдипом. Сами же «шестидесятники», так и не став Отцами, остались верными сыновьями советской власти: не замыслили ни бунта, ни революции (за редким исключением), надеясь путем постепенных реформ переделать сталинское государство в «социализм с человеческим лицом».

муле: «...тому, кто откуда-либо приближается к крепости, в которой мы нашли убежище, которую намереваемся защищать и удерживать, мы повторяем с жестом, отвергающим всякую профанацию: «Noli me tangere» – так пытается «освободить» себя М. Фуко¹⁷. Подобный жест был часто используем М.М., когда он, пытаясь сохранить логику трансцендентального аргумента, опережал всякий вопрос, идущий от «здравого смысла», сокрушающим ответом: «Я (говоря) *не о том...*» Конечно, это жест защиты, описывающий собой сферу существования мысли, которая не может быть оспорена или отменена, подвергнута сомнению, осуждена как «ложная» или «снобистская». Человек, который мыслит, оказывается один (без другого) в собственной мысли, и никакое внешнее соучастие в его мысли, «спор» с ней или присваивание другими, не может отменить *единственность* мыслящего. Непосильная задача подавляет: попытаться высказать то, что уже было сказано, перехватить речь другого, присвоить... и продолжить. Итак, жест М.М. имеет как будто лицевую сторону и изнанку. С лицевой стороны это жест, физически наблюдаемый как отмахка и знак разочарования, чуть ли не судорога: «Я ведь не о том...». Вы так ничего и не поняли, и не хотите понимать, а почему? Да потому, что не хотите вместе со мной думать, и думать так, как получается, а не так, как, вы полагаете, следует думать. От слушателя требуется позитивное молчание, увлеченность рассказываемой «историей», совместное открытие возможного горизонта мысли. Правда, М.М. не призвал думать *вместе*: скорее демонстрировал, как он пытается это делать *один*, тем самым вольно или невольно отвергал всякую попытку слушателя вмешаться в его речь¹⁸. Поэтому задавать вопросы ему было столь же нелепо, как и спрашивать: «Скажите, а чем все-таки должна кончиться эта история?», – вместо того, чтобы

¹⁷ Foucault M. L'archeologie du savoir. P., 1969. P. 264.

¹⁸ Как-то один из тех, кто "не любил" философию М.М., заметил: "Я, конечно, понимаю, что Мераб Константинович читает замечательные лекции, но почему их посещают парикмахерши?". Этот упрек несправедлив. Если говорить о публичности, то, например, во Франции, где философская культура не менее обособлена от массовой, чем "советская", вы можете в центре Парижа на дверях какого-нибудь собора прочесть объявление о вечерней дискуссии, которую будет вести, например, П. Рикер. Лекции известного, с мировым именем философа и открытый доступ публики? Если они действительно вызывают интерес у просвещенной части городского населения и туристов, то почему бы мы считали это и нет?! Этот "нездоровый" интерес к лекциям М.М. был, конечно, вызван тем, что лектор представал перед слушателями свободно мыслящей личностью; не то чтобы он отрицал догмы партийно-советской идеологии, намного хуже – он просто не замечал их. Ценность экзистенциально насыщенной философской речи определялась только самой личностью. Тогда это был прекрасный образец философской позиции.

выслушать ее до конца. С другой стороны, «я не о том...», потому что вы – о том, что не относится к мысли. Жест отказа предстает как форма защиты мысли, и даже не мысли, а просто голоса, который вдруг осмеливается говорить о своем и от себя¹⁹. С точки зрения же самого мыслящего, ему незнакома победа над мыслью, он – лишь инструмент, нечто из рода орудий, мысль или образ – то, что в нем говорится, но чего он сам не является автором. У мысли нет автора. Если мысль и высказана, то ее высказывание вне пределов авторского влияния, она есть просто возможность быть в качестве мыслящего. Как если бы мысль была случайным результатом этого усилия преодолеть себя как живого, экзистенциального персонажа, физиогномически видимого знака мысли. Мысль есть бытие, мыслить – это быть, здесь, собственно, открывается картина экзистенциальной онтологии, объясняющей свою первоначальную свободу. И тем не менее, оба этих жеста сопровождают друг друга и поддерживают, составляют единое поле трансцендентального мимесиса мысли. Ибо первый жест создает беспрецедентную ситуацию, так как пыгается утвердить в качестве нормы мысли то, что не может стать ею в момент утверждения. Второй же жест проявляет себя с неменьшей силой и страстью, с какой мысль, себя утверждающая, пыгается добиться свободы и автономии от господствующего «здорового смысла», – он прерывает возможную коммуникацию высказываемой мысли с теми, кто находится вне ее логики и принятого порядка размышлений, наконец, стиля и живой манеры речи. Другими словами, второй жест, *лицевой*, антикоммуникативен, экзистенциален, театрален и поэтому уклончив, легко манипулирует различного рода дистанциями (является как свидетельством защиты, так и атаки)²⁰. И он

¹⁹ Некогда проф. Ю. Замошкин в одной из своих "доперестроечных" статей призывал перестать бояться говорить "я", что пришло время думать от имени собственного "я", а не от безличного "мы". Легко сказать, одно дело использовать личное местоимение, а другое дело – действительно смочь мыслить от собственного "я" (если ты раньше этого не делал). Оказалось, что лингвистического переворота недостаточно, что нужно научиться чему-то другому, чему научиться уже нельзя... В этом отношении то, что М.М. и Г.Щ. говорили от имени собственного "я", индивидуальности, казалось неслыханным кощунством в темные совковые времена: как это можно говорить так, как если бы ты был сам тем, кто мыслит, творит мысль, как если бы ты был "Кантом" или "Марксом"? Ведь право мыслить могли иметь только они, великие покойники, но не те смертные, которые были рядом, к тому же слишком поглощенные борьбой с "реальностью". Привычка принижать личное, индивидуальное, устранять его при первых же признаках навязчивого проявления была исключительно сильна.

²⁰ Среди подобных жестов, например, не последнюю роль начинает играть "черный юмор", а иногда используется весь арсенал сюрреалистического коварства и перверсии.

скрывает от нас собственную *изнанку*, другой второй, более глубинный жест, который может быть назван *стилевым*. Не всякий слушатель готов признать превосходство мыслимого над мыслящим, утратить контроль над движением в мысли. М.М. идет на это – лишь бы развернуть общее движение мыслей приблизительно в одном направлении. И это движение не диалектическое, – которое, вероятно, является самым быстрым философским движением вообще, – а крайне медленное, круговое, скорее герменевтическое, требующее богатой созерцательной практики, вкус к ней. Другими словами, стиль мысли М.М. *опытный*, не проективный.

Что же касается Г.Щ., то он имел, как мне представляется, совершенно иной тип жестовой двойственности, *другой* жест, не жест *оспаривания*²¹. Читая тексты и особенно стенограммы дискуссий, можно найти одну из его часто повторяемых приказок: «Готов стреляться!», – что приблизительно означает: «Я утверждаю следующее..., и если вы сомневаетесь, я готов доказать свою правоту, более того, вступить с вами в спор и все доказать; если и этого будет недостаточно, готов вызвать вас на дуэль, готов драться с вами...». Идея спора и соперничества, идея общего завершающего диспута (с возможными жертвами и последующим общим признанием истины за победившей стороной) была очень важной составляющей в функционировании ММК. Как если бы вопрос об истине решался в поисках все новых аргументов для ее защиты. Как известно, истина нуждается в «хорошей» защите. Ведь сама истина мало что значит, и если ее объявляют, то это знак того, что готовы драться за нее. Вот откуда эта постоянная переброска черно-белыми шарами спора, вопросы подменяют ответы, а ответы вопросы. Принцип дуэли как основа мышления²². Г.Щ. – неутомимый спорщик: единая жестикуляция мысли, «духа» и тела (физиогномическая): одна может выразить себя через другую, но это не значит, что они заменимы. Готовность доказать свою правоту мы уже не можем

²¹ Жест не-утверждающего суждения (non-affirmative decision). См.: Фуко М. О трансгрессии // Танатография Эроса. СПб., 1994. С. 119.

²² Но для критико-диалектической мысли подобный дуэльный образ мысли был всегда близок. Возьмите, к примеру, таких записных дуэлянтов мысли, как Ш. Бодлер, Ф. Ницше, К. Краус или В.В. Розанов.

рассматривать как чисто полемический прием, здесь несколько иной горизонт – *исторический*²³.

Отказ от опыта

Затем идет достаточно тонкая и ясная рефлексия своего логического идеализма: *отказ от опыта*. Опыт определяется из ситуативности происходящего.

И вот это, как я уже сказал, объясняет, почему у меня складывалось то или иное соотношение между тем, что я извлекал из ситуаций, и тем, что формировалось при чтении книг, через чистое мышление, а не через опыт жизни. По отношению к опыту жизни я тогда был и потом, кстати, оставался непроницаемым или избирательно проницаемым. Во всех этих ситуациях меня всегда интересовало только то, что было значимо для достижения моих конечных целей²⁴.

Каждая новая ситуация создает препятствия, которые каждый раз нужно преодолевать, изыскивая новые возможности и средства. Ситуация – как основная характеристика опытного знания – и есть препятствие, как бы посылаемый нам жизнью сигнал, указывающей на границы действующих образцов опыта: «После такого ... уже больше нельзя жить-действовать, как прежде». Мыслить в понимании Г.Щ. – это избегать ситуаций (опыта), заставляющих действовать в ущерб тому, что проектировалось. Другими словами, проектирование и есть вводимый нами контроль мысле-действия над случайностью ситуаций («опыта»), и мы контролируем их лишь в той степени, в какой способны воспроизвести их вновь, повторить, подготовить образцы (причем, так, чтобы не утратить контроль). В

²³ Наступательно-революционный, "передовой" образ мысли Г.Щ. В своих воспоминаниях он как раз настаивает на авангардном, бросающим вперед образе мысли своей юности: "Именно поэтому современные поколения являются принципиально аисторическими. Для них не существует ни исторической действительности, ни их собственного действия в истории. Про себя я могу сказать очень твердо: для меня – это можно рассматривать как уродство моего воспитания – определяющей и единственной реальностью всегда была действительность исторического существования человечества. И вот для себя, в своих собственных проектах, устремлениях, ориентациях, я существовал только там, и только тот мир, мир человеческой истории, был для меня не просто действительным, а реальным миром, точнее, миром, в котором надо реализоваться". (Щедровицкий Г.П. Я всегда был идеалистом... М., 2001. С. 148.) И далее: "Я по происхождению принадлежал к тем, кто делал историю. Все мое семейное воспитание, образование фактически наталкивало на это". (Там же. С. 149.)

²⁴ Там же. С. 152.

этом, мне представляется, сила логического идеализма и конструкторской мощи Г.Щ., которая так смущала его коллег по цеху²⁵. Преодоление ситуаций, развитие искусства ситуативного *выхода/захода* – вот что становится гарантией удачного проекта.

2. Методолог (проект и стиль авангарда)

...человек реализует и материализует
свою мысль через проект.

...люди есть случайные носители мышления.

...конструирую, и в этом плане
я выступаю как Господь Бог.

Из разговоров в ММК

Что значит просто мыслить?

Метафизика знака

Метод Щ. технически-инженерный, или логика его действует в сфере объектов, поддающихся членению, разрезанию и упрощению. Принцип идеальной простоты выглядит в качестве *прагмемы*, универсального стратегического задания. Стремление к выделению все более и более простых объектов приводит к тому, что множество других, более сложных объектов начинает исчезать или просто отбрасываться. Я не знаю еще, как это сформулировать, но проблема заключается не в том, что рассуждения логико-методологического порядка Г.Щ. неверны и требуют коррекции, скорее область их применимости ограничена выборкой самих объектов. Если они применяются и должны применяться только в области исследования систем управления (организации и конструирования), то это говорит лишь о том, что в той области, где их намеревались применить, не должно существовать объектов, сопротивляющихся вводимой простоте образца или примера, логической задаче. Короче, я полагаю, что современная мысль сталкивается с все более усложненными и несводи-

²⁵ Вероятно, коллеги интуитивно чувствовали здесь некую тоталитарную (технократическую) модель сообщества, схожую с теми, какие можно найти в утопиях Ж. Верна или Ш. Фурье, антиутопиях А. Платонова и Е. Замятина.

мыми объектами (герменевтическими), которые существуют, пока идет работа по их толкованию (строения элементов, т.е. самой сложности). Естественно, что если я противопоставляю сложный объект простому, то говорю о том, что и сложный объект является простым с точки зрения принципа «простого объекта», – он далее неделим без потери своих качеств, без того, чтобы не был разрушен. Такими сложными объектами (т.е. объектами, которые не могут быть простыми) являются все так называемые *герменевтические объекты* (требующие толкования, учета контекста, несводимые к другим – подобным и неподобным). Например, как можно исследовать такой сложный объект, как «вина» или «совесть», «красота», «стиль» или «истина»? Ведь все эти герменевтические объекты тем и характерны, что не могут быть упрощены и что в них всегда есть некий остаток, который требует герменевтического понимания. А как мы знаем, понимать – это изменяться (в то время как познавать – это изменять). Вот это довольно обширное поле герменевтических объектов не может быть разложено на более простые составные части. Герменевтические объекты сложны, а аналитически-проективные, идеальные – просты. Помимо литературы, искусства, истории, есть и другие области существования герменевтических объектов, не редуцируемых к более простым, например, феноменологии повседневного опыта. Не только «язык», «текст», «субъект», но и все то, что составляет область Dasein-анализа, и есть область существования герменевтических объектов, чья базовая онтологическая функция заключается в *понимании*: они существуют, только если понимаемы. Собственно, такого рода сложные объекты подчиняются правилу *герменевтического кружения*: часть получает толкование через целое, как целое через часть. Часть как *динамическое* целое. Сложные объекты изменяются в результате нашего толкования, сохраняя свою первоначальную целостность, и не поддаются расчленению. Операции разложения/сборки недопустимы. Простые же объекты – сколько бы мы ни представляли их себе сложными – изменяются в результате познания их составных частей, «элементов», или «единиц».

Возьмем в качестве примера одну из статей Г.Ш., обращенную к проектированию антропологически широко освоенной темы: *что такое Человек?*

Вспомните: тот, кто не имеет места в обществе, тот не человек. Человек – это единство места и биологического наполнения. Человек есть совокупность общественных отношений, в которые он включен. Это системный подход к человеку.

Человек всегда включен в структуры деятельности: отношениями других людей и организационной фиксацией ему задается место. И есть совокупность мест, через которые люди проходят, поднимаясь по общественной лестнице. Но люди относительно свободны по отношению к этим местам. Маркс говорит, что человек – это элемент человеческого общества; он идет не от людей к обществу, а от общества как целого к отдельному человеку. Общество имеет определенную социокультурную структуру, и эта структура воплощается во множестве мест, четко фиксированных: тут начальник управления строительством, тут – разнорабочий, тут – тунеядец (это тоже определенное место). Итак, человек, попадая в этот мир, функционирует в нем, и только потом начинает осознавать себя и выделяет себя как личность. Личность, индивидуальность – это и есть то, что всегда дается борьбой, это не дано изначально. Отнюдь не всякий человек «имеет» личность. Более того, существовали исторические эпохи, когда люди вообще не имели личности. Раб не имеет личности. Личность надо заработать, получить за счет реализации личностного отношения к делу, в частности за счет осознания себя как личности²⁶.

Сейчас – время больших деятельностных организаций, которые используют человека как ресурс²⁷.

Ясно, что «человек» – сложный объект, чье упрощение («проектирование») представляется невозможным. Тем не менее Г.Щ. начинает с того, что рассматривает «человека» с точки зрения *человеческого*, т.е. возможного знания о человеке. Понятие «человек» нуждается в логической, идеальной сборке, чтобы установить основные направления изучения. Однако тот «человек», который всегда

²⁶ Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление. Курс лекций. 2-е изд. М., 2003. С. 282–283.

²⁷ Там же. С. 284

имеется в виду, уже существует, дан, этого невозможно отрицать; по мнению Г.Ц., он и должен быть представлен в качестве антропологического материала (некоторого рода *организованностей*), иначе проектирование такого объекта, как «человек», было бы невозможно. Человек есть и объект проектируемый, и то, что уже есть, существует в качестве эмпирически данной, наглядной формы: *биоид* (биологическое существо), *индивид* и *личность*. И вот здесь методолог совершает довольно-таки странную ошибку (по крайней мере, для нас): он полагает, что слова «личность», «индивид» и «биоид» (в том аспекте выделения, который он им придает) *что-то значат сами по себе* или что их значение общепринято и понятно. Более того, они обозначают в человеке нечто разное – отдельные слои человеческого, причем совершенно автономные и независимые (!?). Но как это возможно, чтобы личность, индивид или «биоид» были чем-то еще помимо слов-имен, обладающих неопределенным, расплывчатым значением? Следовательно, уже первые интуиции методолога выстраиваются не на опытных данных (понятиях), а на конвенционально предлагаемых значениях человеческого, которые принимаются как логически очевидные. Нет ни малейшего сомнения в том, что человек существует и всегда существовал и что человеческое свидетельствует «Человека» как идеальную сущность существования всего человеческого.

Однако насколько возможно вообще ставить вопрос о *сборке* всего человеческого в единую высшую форму Человека? Человек как совершенно идеальное существование (годное к подобной сборке) прежде всего и должно быть проблематизировано. Удивительно то, что человек не столько объект (объектом ему еще нужно стать), сколько материал, *материя* человеческого. Некая субстанция, совершенно неопределенная, «темная», беспорядочно флуктуирующая в социальном пространстве-времени, без *места, функции и целей*, – вот что такое человек как некая еще не освоенная методологией территория человеческого. А это значит, что методолог, описывая идеальные условия изучения «человека», начинает словно с чистого листа (правда, он всегда старается так начинать). Ему и в голову не приходит поставить под сомнение тот факт, что «человек» проблематизируется не с точки зрения синтезированных знаний о человеке (которых всегда недостаточно), а с точки зрения того, что мы называем человеческим и даем ему имя *человек*.

Ошибкой (методической) следует назвать отказ Г.Щ. от анализа предыдущих способов конструирования темы «Человека». От анализа прежних условий задавания вопроса о том, *что такое (есть) человек*. Сам вопрос – это уже представление метода, то есть определенной манеры задаваться вопросом. Но что значит спрашивать, что такое человек (не предполагать ли, что он *уже* есть?). Ведь *есть* – это *быть*, а *быть* – это что-то *иметь*, что и позволяет быть. Человек – это существование на грани риска, «бытие риска» (А. Гелен), «бытие-к-смерти» (М. Хайдеггер), «не-специализированное» (К. Лоренц), т.е. это вид ничем вне себя не обусловленного существования – ни природно-органическими факторами (Природой), ни мегаявлениями (Космосом), ни тем более локальным «место-положением-в»; *человеческое существование есть бытие духа*, он вне места и пространства-времени (М. Шелер). Скрытая и открытая *deitas*, приписываемая человеческому в подобного рода вопросах. Спрашивая о человеке, спрашивают о Боге, тем самым устанавливают порядок вопросов с ориентировкой на эту скрытую подмену. Человек не может вынести прямого взгляда со стороны Ничто, в нем самом – Ничто, картина ничтожения того, кто всматривается в это, как будто совсем черное зеркало. И главное, что вообще не учитывается Г.Щ., фигура «Человек» исторична, она появляется из обратной *проекции-снизу-вверх-обратно-вниз* (по вертикальному сечению) фигуры Бога (Бога-геометра, Бога-часовщика, Бога-природы (пантеизм Спинозы)). Антропологическое рождение имени «Человек» – в ответе, не ожидающем повторного вопроса, вызывает потребность в дублере, как точка требует для своего развития постоянной устойчивости сферы, и отказывается от причуд и случайности линии или кривой, и таким дублером-гарантом выступает Бог.

Другими словами, методолог не испытывает никакого сопротивления со стороны объекта, который, собственно, им-то и порождается, или точнее, потенцируется как возможный конструируемый объект. Пребывание в безвоздушном, совершенно идеализированном пространстве мысли, где ей мыслить нечего, кроме себя самой. Итак, по мере развития методологических идей о Человеке, тема человеческого переходит в автоматический режим инструктажа: как и что надо делать, с помощью каких инструментов, как долго, где, если вы действительно хотите *правильно*

помыслить, что такое человек, не прибегая ни к какому предшествующему знанию, событию, историческому движению, сопутствовавшим рождению вопроса: что такое человек?²⁸

Топы времени

Насколько возможно расширение или даже экспансия технического объекта на среду в целом? И нет ли здесь изначальной погрешности, которая обусловлена слишком узким пониманием качеств *авангардного* Проекта (выдвижение на первый план идеологии технического прогресса). Я думаю, как это ни обсуждать, но наш интерес к доктрине *проекта* Г.Щ опирается на принципиальные идеи. Одна из них – это предельно расширительное толкование методологической установки – *методология как универсальное проектирование Реальности*; вместо того чтобы только мыслить, необходимо изменять, делать и переделывать действительность, т.е. *проектировать* ее как *Реальность* (только в проекте *мысль* становится *действием*, *мысле-действием*). Только в том случае можно что-то обсуждать, если Проект является одним единственным и универсальным инструментом описания/конструирования мира²⁹. Проект или проектирование пребывает в центре методологической вселенной. Методолог и есть тот, кто проектирует события так, что они не могут не свершиться. Метод исходит из самого себя, а не из опыта, как раз потому, что он прилагается к опыту, он не изменяется. Проект – универсальная матрица Мира. Почему? Да потому, что метод, там, где он достигает высоты и силы, есть управлением временем, не временем настоящего, а только, в сущности, двумя временами – прошлым и будущим. Действительно, метод и есть условие преодоления временной случайности, но как бы мост между временем завершимся и временем, которое еще не начало свершаться. Метод с самого начала проективен, поскольку отрабатывается на состояв-

²⁸Здесь есть удивляющая несколько, но вполне закономерная связь по родству с проектом великой социалистическо-авангардной темы СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК (книга акад. Смирнова так и называлась: "Советский человек"). Именно такая форма знания о человеке отличалась чистотой и ясностью высшего уровня абстрактности, противостоящей эмпирически недостоверной реальности, "искаженной" общества развитого социализма.

²⁹Ср.: "Программы и проекты тоже нуждаются в обосновании, но не путем отнесения их к некоему эмпирическому материалу и выяснения соответствий между ними и этим эмпирическим материалом, а путем выяснения реализуемости проектов и программ, что достигается путем отнесения их к существующим или возможным структурам деятельности" (Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 358–359).

шихся фактах, завершившихся процессах, представленных событиях, т.е. на всем бесконечном круге рефлексивных актов. Это не значит, правда, что Г.Щ. пытается опереться на прошлое в догматически-абсолютном смысле, в каком историк-архивист или библиотекарь видит в нем свершившееся время как таковое, которое уже невозможно повторить. Нет, он выдвигается из прошлого, как из лаборатории (кузницы), где он создавал метод. Но прошлое – время вечное, в нем отсутствует изменение. Поэтому следует учесть эту невольную аберрацию времени; метод становится возможным лишь в том случае, когда, опираясь на всю совокупность фактичности прошлого, он придает значение лишь отдельным фактам, *научным*, неизменно воспроизводящим условия истины. Время научного открытия – чистое время (время вне времени). Вот это наложение времени истины на время прошлого и позволяет устранить прошлое как завершившее себя время.

Проект не мог бы состояться, если бы он не был заброшен в будущее. С самого начала проект развертывается в странной ретроспекции, он преобразует прошлое из будущего, будущее это и есть истинное время проекта. Почему темпоральная сущность проекта столь уникальна? Да потому, что он всегда строится (делается) в том времени, которое *отсутствует*, и тогда есть одно время, – *идеальное* время самого проекта. Вот что, и не раз, подчеркивает Г.Щ.:

С точки зрения оргуправленца то, что есть сейчас, есть прошлое. Ведь управлять настоящим невозможно, управлять можно только по отношению к будущему. А то, что реализуется «здесь и теперь», уже неуправляемо. Оно есть и неотвратно проходит³⁰.

Прошлый опыт переводится в форму знания, потом знание перерабатывается в проект, и проект переносится в будущую ситуацию.

На этом переходе от знания, фиксирующего прошлую ситуацию, как бы фотографирующего, отображающего ее, к проекту, который есть план будущей ситуации, происходит формирова-

³⁰ Щедровицкий Г.П. Методология и философия оргуправленческой деятельности. Основные понятия и принципы. Курс лекций. С. 239.

ние будущего. Мы как бы предвосхищаем будущее, в прямом смысле слова проектируем его. В человеческой мыслительности все построено на переносе из прошлого в будущее. Смысл познания и знания в том, чтобы обеспечивать работу в будущем на основе того, что было в прошлом³¹.

Проектировать можно только тогда, когда знаешь, что должно получиться³².

Проект не то, что мы проектируем на будущее, а то, чем мы контролируем настоящее. Собственно, проект включает в себя программы, циклы, планы, т.е. многие другие вспомогательные орудия, благодаря которым мы сможем захватить будущее. Будущее оказывается способом репрезентации проекта, будущее вне горизонта проектирования просто не существует (с точки зрения опережающего время сознания). Но тогда получается, что проект, поскольку он всегда *меньше* деятельности, обладает невероятной свободой по отношению к реальности, так как сама реальность – следствие проектирующей деятельностной позиции. В этом отношении прогноз (некое представление о проектировании) становится возможным, когда нет средств для реализации прогнозирования в качестве проекта. Начальное положение: мир не дан, и нет никакого привилегированного наблюдателя, свободного и автономного. Другими словами, нет мира, в котором не было того, что Г.Ш. называет *деятельностью*, т.е. набора всех необходимых условий, благодаря которым мир может быть деятельно освоен, следовательно, мыслим. Мир не имеет в себе какого-то особого места для наблюдения, ибо сама мысль уже есть в мире, до того, как кто-то попытается ее помыслить, она есть действие, деяние, деятельностный акт. И вот что важно: есть только одна-единственная Реальность, *деятельностная*, и нет никакой другой. Вот эта единственная реальность и позволяет последовательно вводить многие предпосылки, позволяющие ее каждый раз заново конструировать. Потому что она единственная, всякое ее преобразование становится проектно возможным.

³¹ Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление. С. 368–369.

³² Там же. С. 121.

Разрезать и связывать.

Правила сборки

Давайте немного подумаем о том, что Гегель называл *несобственным значением* слов. Когда Г.Щ. говорит, что необходимо сначала разрезать на части («расчленишь», «разложить», «разобрать» и пр.), то глагол *резать* является *образом*, который должен представить *физичность* действия, специфически преодолевающего сопротивление со стороны материи. Мало того, это первоначальная операция, предшествующая акту деяния – «разрушить...и потом» («...каждый объект «вырезается» из фона. Неважно, социальный это объект или природный, он *вырезается* за счет наших действий»³³; «...объект задается предметно, через схему, которая *вырезает* из мира как целого объект с определенными границами»³⁴).

В древних китайских книгах можно найти много примеров того, как взаимодействуют между собой *пустота* и *полнота*, *пустое* и *заполненное* (принцип Ян и Инь). В одной из книг, например «Начало гигиены» Чжуан-Цзы, приводится рассказ одного мясника-мастера о том, как он овладевал своим искусством. И овладевал им в первую очередь благодаря развитию чувства *пустоты*, пока не овладел им настолько, что смог раскраивать мясную тушу, словно следуя незримому божественному плану. Его нож отсекал тушу, минуя кости и хрящи, двигался только по тем пустотам, которые, собственно, и были скрытыми узловыми местами, которые удерживали в едином целом плоть, кости, весь организм животного. В этой притче, как мне кажется, хорошо показано, как практика разрезания избавляется от аналогии с насильственным вторжением механического в органическое. Материя не оказывает никакого сопротивления, оно преодолено... Но как? Ответ очевиден: резка на части проходит по линии пустых мест, проемов, жизненно важных условий сцепления всех частей целого. Можно сказать, что искусство подобной разделки переводит целое в некое состояние, и, будучи расчлененным, оно остается себе тождественным и восстанавливаемым по линии разреза. То, что разрезает, само есть условие соедине-

³³Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление. Идеология, методология, технология. Курс лекций(1). М., 2003. С. 268.

³⁴Там же. С. 277.

ния, восстановление частей в целое³⁵. Пустота, пустотное истолковывается как фундаментальное бытийно-онтологическое условие всеобщей связи живого и мертвого (во всяком случае, это верно для древнекитайской пантеистической системы мысли). Другими словами, нож не тупится никогда, ибо он и не используется как нож, он лишь открывает устройство бытия, оставляя в стороне образы слепого насилия.

О чем-то подобном пытается сказать и Г.Щ.:

Это напоминает то, как если бы врач пытался резать человека, как мясник, разделяющий тушу. *Разломы* никак не соответствуют внутреннему устройству, это нечто, накладываемое на объект извне³⁶.

Но ведь членения эти могут быть механическими, если режет «мясник». А хороший хирург работает иначе: он знает, как устроен объект. Он режет, хотя и целевым образом, но учитывая все эти тонкости внутреннего устройства. Поэтому есть еще проблема такого резания, чтобы это резание соответствовало самому объекту³⁷.

Из того, что мы расчленили на части некоторое целое, вовсе не следует появление *элементов*, они появляются лишь тогда, когда необходимо восстановить целое. Но понятно, что это целое *другое*, не то, которое *было*, а *новое* целое, которое должно быть, и его восстановление строится на иных принципах, чем процесс расчленения. И две эти процедуры – *разрезание* (разложение, расчленение и пр.) и *связывание* – выглядят довольно-таки отчужденными: на мой взгляд, они не обратимы. Следовательно, эти две

³⁵ Не удивляешься упоминанию Г.Щ. о так называемом ритуальном действе в древнерусской фольклорной магии, о живой и мертвой воде; мертвая вода "связывает" разрозненные части, а живая вода "оживляет", делает целое активным, действующим. "Если я нечто разделил, разрезал, то теперь я должен ввести связи. И в этом смысле сказки были куда мудрее нас. По сказкам, если человека убили и разрежали, его надо сначала облить мертвой водой, а потом – живой. Так и тут: мне нужны эти две процедуры. Я разделил, а теперь мне надо собрать разделенное. Но я ведь имею труп (в терминологии Гегеля). И только введя связи, т.е. нечто вроде мертвой воды и живой, я могу теперь получить это как целое". (См.: Щедровицкий Г.П. Методология и философия оргуправленческой деятельности. Основные понятия и принципы. Курс лекций. М., 2003. С. 190–191).

³⁶ Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление. Идеология, методология, технология. Курс лекций (1). С. 302.

³⁷ Там же. С. 325.

операции – противоположно направленные. Отрицают ли они друг друга или нет? Ведь если мы разрезаем выделенный предмет или вещь на части, то от этого он еще не становится объектом; предмет или вещь тогда следует понимать в качестве природного объекта, т.е. не искусственного, а *естественного* происхождения. Итак, объект *не дан*, так как еще не имеет собственного представления, он не представлен, его еще не выделили из окружающей среды (фона), не разбили на части, не перевели эти части в новые, умопостигаемые взаимосвязи и отношения, создав элементы. Но вот что интересно: это первоначальное расчленение, «резка целого на части», должна выстраиваться не так, как у хирурга, т.е. с последующим восстановлением жизненных функций организма (хотя бы в ограниченном объеме), а напротив, как новый проект другой, неорганической жизни. Может ли объект быть соотносим с «резкой»? Да, может, но только если он переходит на высший уровень существования в качестве объекта – проектный. Проектирование – игра механических сил. Кстати, эта игра особенно хорошо была представлена фурьеристской утопией³⁸.

Ведь хирург действует, исходя из целостного представления, а не из разрезания, искусность хирурга именно в том, чтобы удалить или обновить функцию действующего целого. В любом случае хирург изначально полагает существование сложного объекта, не сводимого к своим частям, но действует так, как если бы он был способен преодолеть эту сложность. Когда хирург «режет», то он, конечно, не расчленяет («расчленяют... трупы» только патологоанатомы – это другая хирургия), он режет, чтобы упростить живое целое ради его усиления. Можно говорить, следовательно, с все большей уверенностью, что существует некий разрыв, *порог несводимости* результатов анализа (разрезания) и синтеза (связывания). Если из проекта исключена экзистенциально-герменевтическая функция (мера темпоральная), то мы имеем дело исключительно с *техническим* проектом, который как раз и становится возможен благодаря этому исключению. Проект, не ориентированный на поведение людей, которые выполняют его, а исключительно на условия, которые позволят ему состояться (даже вопреки «человеческому фактору»). Если мы оставляем за операцией разрезания

³⁸См.: Фурье Ш. Избранные сочинения. М., 1954. С. 150–213.

(«разделки туши») столь важную функцию, без которой вторая – *связывание* – невозможна, то остается лишь спросить, что же разделяется, что подлежит разделке? Ответ известен:

В этом мире – социальном, природном, комплексном, как говорил Маркс, нет объектов. Там есть материя, которая не разрезана на части, не очерчена, не представлена как объект³⁹.

Материя разделяется с целью ее преодоления, это косное, массивное природное вещество, оказывающее сопротивление. Преодоление как цель и реальный процесс образования вместо старого целого нового – Проекта⁴⁰. Деятельность (как вырезание-связывание-конструирование) описывается как преодоление сопротивления со стороны материи естественных, природных сред и фонов, вещества. И это со времен гегелевской феноменологии труда стало общепризнанным. Человек – тот, кто трудится, кто деятельно-активен, кто пользуется орудиями и т.п. В этом есть что-то божественное: методолог словно знает, что такое первые мгновения Творения, он творит мир из Ничто, можно сказать, сам-то мир и становится возможным лишь благодаря деятельностному акту.

Сетка и зеркало

Но вот что интересно. Как только мы касаемся некоторых метафор, образов и прежде всего аналогий опыта (И. Кант), то обретает смысл целостный взгляд, в котором мы так нуждаемся для разрешения проблемы. Г.Щ. часто использует метафору *зеркала* (в некоторых лекционных курсах она присутствует в качестве основного примера), которая становится действительно развернутой аналогией опытной ситуации⁴¹. Приведем ее:

³⁹Щедровицкий Г.П. Организация. Руководство. Управление. С. 267.

⁴⁰Ср.: "Проект есть, но что там произойдет в природе по этому проекту, получится или не получится – никто ответственно сказать не может" (Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление. С. 339).

⁴¹Ср., например, и другие варианты: "Представьте себе зеркало. Неловкое движение, оно падает и разбивается. А мне нужно иметь зеркало. Я начинаю собирать эти осколки и склеивать их. Теперь я работаю технически – я ввожу связи, коих не было, пока зеркало не разбилось. Конечно, физик скажет, что связи были – микросвязи, энергетические. Но с точки зрения обыденной, практической, связей не было (...)

Значит, когда я положу эту самую структуру назад, положу в рамочку целого, то я туда погружу гораздо больше, чем там было до того, как у меня разбилось зеркало". (Щедровицкий Г.П. Методология и философия оргуправленческой деятельности. Основные понятия и принципы. С. 191.)

Представьте себе еще зеркало, которое упало и разбилось на массу кусочков. Чтобы вновь собрать эти кусочки, вы вводите систему стерженьков, скрепляющих их всех в единое целое. Когда затем вновь полученное образование начинают сопоставлять с прежним, то все его составляющие резко членятся на две группы: в одну входит все то, что соответствует частям прежнего зеркала, а в другую – все то, что было введено дополнительно, чтобы собрать его в единое целое. Именно это сопоставление разбивает составляющие вновь собранного целого на две группы – элементов и связей. Связи, будь то клей или скрепляющие стерженьки, рассматриваются вами не как то, что присуще зеркалу как таковому, не как элементы зеркала.

Но вы можете задать и совсем другой ряд сопоставлений. Тогда все составляющие в равной мере будут элементами, хотя и разными. Таким образом, выделение элементов и связей в рассматриваемом нами целом определяется прежде всего нашим способом подхода, теми задачами, которые мы решаем.

Это точно соответствует природе и строению человеческой социальной деятельности. Ведь суть ее состоит в том, что мы организуем и структурируем в более широкие и сложные целостности элементы природного и социального мира. Иначе можно сказать, что суть человеческой деятельности состоит в том, что она на одни процессы и явления накладывает как бы сетку других процессов и явлений, соединяя первые в сложные целостности. После того как это сделано и деятельность как бы собрала из заданного ей набора элементов более сложное целое, скрепив элементы связями, мы можем рассмотреть это целое как одно природное явление, как поле разнородных элементов, скажем, кусочков зеркала и стерженьков. И тогда как одни, так и другие будут только элементами, хотя и разными.

Но чтобы представить имеющееся у вас поле объектов как поле разнородных образований, связанных в одно целое, вам придется ввести еще третью группу образований, которые и будут выступать как собственно связи, объединяющие и кусочки зеркала, и стерженьки. *Это третье тоже будет чем-то* материальным или, во всяком случае, может быть таким, а представлять его нужно будет как нематериальное, как чистую связь. (...)

Я могу сказать в этой связи, что структура – это и есть то зеркало, которое я восстановил из разбитых кусочков с помощью стерженьков связи. Действительно, ведь вновь собранное из осколков зеркало состоит не только из осколков самого зеркала, но также из стерженьков, т.е. образований, отличных от зеркала, и, более того, образований, которые нужно скрыть, или, иначе, ввести в целое таким образом, чтобы они не мешали «глядеться» в зеркало. Вы легко можете заметить, что именно здесь и возникает то различие между интересующими нас свойствами целого и свойствами, которыми обладают элементы. Зеркало должно отражать лучи света, а стерженьки их не отражают. Именно здесь и возникают необходимость различения единиц и элементов и весь гигантский круг проблем, которые с этим связаны. Стерженьки участвуют в зеркале, но таким образом, что их свойства не называются на свойствах целого, не «портят» их.⁴²

Можно, конечно, рассуждать, насколько этот пример удачен или неудачен, – главное, что он повторяется. Зеркало разбито, и ясно, что нет надежд восстановить его даже при самой удачной склейке. Но отбросим в сторону реализм детализации. Зеркало отражает или должно отражать, т.е. оно имеет отражательное свойство в качестве естественной онтологии собственного бытия. Если же мы разобьем зеркало, то мы уже не в силах восстановить его в качестве прежнего. Г.Щ. выбирает этот пример, как мне кажется, потому, что на нем легче показать отличие между действием, преодолевающим сопротивление материи, и действием восстанавливающим, но уже в виде необходимой инструментальной формы (между *анализом* и *синтезом*). Зеркальная поверхность однородна, по сути дела, она – идеальная поверхность, все связи которой, образующие зеркальные качества, находятся в микроскопических измерениях и остаются недостижимы даже в том случае, если поверхность рассыпается на самые мельчайшие фрагменты и осколки. Никакой из них не является однородным другому. Правда, зеркало можно *варить*, как *варят* лед. Зеркало можно «сделать» (в определенном производственном процессе), но нельзя восстановить. Г.Щ. не перестает настаивать, что в природе нет тех не-

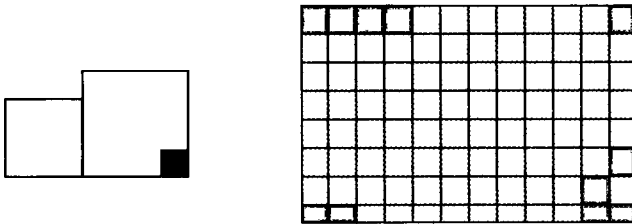
⁴² Там же. С. 104–109.

обходимых связей, в которых мы нуждаемся, чтобы создавать себе второй мир (мир артефактов). В таком случае восстановление зеркальной поверхности будет новой задачей, изменяющей наше представление о зеркальности как таковой. Действительно, мы можем (совершенно аналогично игрушкам puzzle или ребусу) собирать осколки, насаживая их на единую основу (вполне сгодился бы лист плотной бумаги). Но если бы задача заключалась только в этом. Задача – в другом, и уж во всяком случае, не в восстановлении идеального состояния зеркальности. Что же должно восстановить? Нельзя восстановить ни прежний взгляд, ни идеальный *порог визуализации*, существовавший до совершенных актов мыследействия. В ходе восстановления прежнего мы обретаем новый, только на данный момент доступный нам порог визуализации, не идеальный, каким, возможно, повторяю, обладает зеркальное отражение (отражающее все: и то, что мы видим, и что мы не видим). Восстановленная поверхность будет *другой*, фрагментированной, рассеченной, со следами прошлых разрушений. Главным же здесь оказывается не столько достижение идеальной чистоты поверхности, сколько обретение некоего уровня визуализации, который становится возможен благодаря использованию вот такой и именно структурной основы видимого, если угодно, решеток, таблиц, схем, «сетки сеток» и др.⁴³ Зеркало отражает *все*, а надо, чтобы оно отражало *что-то* (не все). Две поверхности – та, которая *была*, и та, которая *должна быть*, и между ними разрыв, бесконечный *темпоральный* провал, никаким иным временем не заполняемый. Вот почему операции анализа у Г.Щ. никогда не приводят нас к синтезу, который был бы в силах вернуть нам прежнее состояние или организма или системы: анализ остается в прошлом, в то вре-

⁴³ Например, тема калейдоскопа здесь была бы вполне уместна. Проект имеет отражательные устройства не зеркального типа, а калейдоскопического, т.е. ограниченного порога визуализации. Действительно, мы не можем устранить тотальную зрительность нашего мира, его зеркальность, кусочки и фрагменты прежде расплавленного целого, вновь организованные посредством динамической симметрии, могут образовать удивительные миры, столь же причудливые, сколько и возможные, как в калейдоскопе. Некую выдуманную им "первичную" науку Леви-Строс называет бриколажем, по сути наукой игры, или играющей наукой; "...бриколер – это тот, кто творит сам, самостоятельно, используя подручные средства в отличие от средств, используемых специалистом". (Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994. С. 126.) Бриколер, субъект этой науки, в отличие, скажем, от инженера, целиком и полностью ориентирован на предыдущий опыт и им же ограничен. То, что он использует в качестве инструментов или идей, имеет ограничение и в пространстве и времени использования. В отличие от того же инженера, который создает необходимые для него инструменты и может бесконечно расширять собственные ресурсы ради Проекта, ибо тот и создается как отрицание (пускай, не полное и не очевидное) предыдущего опыта. Он пытается развести приблизительно в том же едином горизонте позиции инженера и игрока.

мя как синтез – это уже проектная актуализация будущего. Вот почему связующим *третьим* выступает структура или некая регулярная упорядоченность, поперечная временному потоку следования событий, или то, что мы называем сетью, тончайшей арматурой зеркального. Ведь структура, или решетка, или таблица, с разнесением по клеткам позволяет открыть единый срез событийности, разом остановить все процессы, заместить временные характеристики пространственными образованиями. Это своего рода ретроспекция, это движение времени назад (а в анализе так и происходит), и это движение разрушительно для прежнего целого (ведь оно не может быть восстановлено).

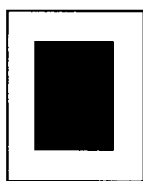
Пример с зеркалом, вероятно, тем был и важен для Г.Щ., что он находил в нем удачную иллюстрацию допустимого порога визуализации (схемы мысле-действия). Ведь Проект – это и есть способ визуализации вербального потока мысли, без чего мысль не может перейти в действие. Порог визуализации – фильтр, не пропускающий ничего вербального; во всяком случае, может показаться, что именно так и рассуждает Г.Щ.



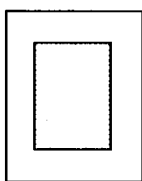
Действие – это проекция на самой доске, чистой поверхности *tabula rasa* («чистой доски») события, никогда не происходившего. Поверхность чиста, поскольку единственным и вечным началом мировой сети является клеточка, пустая и незаполненная. Благодаря сетевому делению мира можно проектировать любые объекты. Так как отраженность любого (материального) объекта возрастает в зависимости от этой, практически бесконечной поклеточной расчлененности его образа на модели. Если представить себе полную отражаемость, то она, вероятно, заключалась бы в простом отражении. Но любое простое отражение искажает, и только то отражение оказывается аутентичным, которое вмещает в себя образ без

искажения. Другими словами, чтобы получить необходимый эффект отражаемости, нам необходимо использовать мягкое подвижное зеркало, состоящее из множества зеркальных бликов, словно скроенных по фигуре отражаемого объекта.

Если в качестве примера завершенного опыта *авангардности* мы возьмем тот же квадрат К. Малевича, то вот он-то и есть *tabula rasa*.⁴⁴



черный



красный



синий

Р. Краусс в ряде статей – «Решетки», «Подлинность авангарда» – пытается доказать нечто совершенно странное, даже удивительное: современное/авангардное, то, что в художественном опыте стремится выступать от имени нового, оригинального и подлинного – важнейшие характеристики произведения искусства, – опирается на дух и материю изначальной *решетки* («конструкции Мира») ⁴⁵. Вся оригинальность и новизна художественного жеста исчерпывается тем, насколько он способен обратиться к самым глубинным слоям опыта чувственного. Однако, если следовать принципу решетки, то это значит стереть все, что могло быть нанесено на мировой поверхнос-

⁴⁴ Важно напомнить в этом отношении об одном названии, которое Казимир Малевич дал своему "красному квадрату": Красный квадрат. Живописный реализм крестьянки в 2-х измерениях (1915). (Казимир Малевич. 1878–1939. Каталог. Ленинград–Москва–Амстердам, 1989. С. 133). В двумерной плоскости сочетание красного и белого при встроенности одного квадрата в другой – потенцированность плоскости в глубину, или развертывание третьего измерения, которое открывает нам образ крестьянки, как бы в поперечном сечении, может, в конфликте двух этих плоскостей – белого и красного квадрата.

⁴⁵ Ошибка Р. Краусса, как мне кажется, в том, что она приписывает авангарду некие позитивные свойства выражения ("репрезентации") состояний мира: подлинности, изначальности, и новизны. И все потому, что позиция авангардного художника рассматривается в терминах передового, обновляющего художественную практику действия. Так в круг авангардистов зачисляются все и всяческие художники, авангард путается с авангардистским сознанием..., а можно ли допускать такую путаницу? Ведь на самом деле авангард и авангардное сознание крайне позднее явление в художественном переживании мира. Не только позднее, но и кратковременное (поразительно неустойчивое, хотя богатое по следствиям). Не всякий художник является авангардистом, а только тот, кто решается все предшествующее искусство поставить под вопрос. И это еще не значит, что он что-то изменил, и тем более, что изменение перешло в режим события, важного для многих (Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003. С. 19–31, 153–173, 247–258; См. также: Krauss R. The Optical Unconscious. London, 1973. P. 1–30).

ти и что затрудняло распознавание решетчатой основы. Нет поверхности уже не разграфленной, не разнесенной на клетки... Но что такое квадрат? Не «нулевое ли это означающее», или «изначально идеальное», или «первокопия»? Вот почему Малевич трактует свои супрематические квадраты прежде всего в качестве шаблонов (наряду с *архитектурами* и *таблицами*)⁴⁶. Черный квадрат (любые квадраты, не только черный) – не живопись, а орудие живописи, если угодно, шаблон, с помощью которого возможно модифицирование любого будущего живописного объекта. Живописное, само художественное *дело* вновь стало ремеслом, не столько даже призванием, сколько неким техническим умением наряду с другими умениями, и оно, так же как и все другие умения, участвует в революционном переустройстве Мира. Квадрат Малевича состоит из двух квадратов, вложенных друг в друга, общей рамки границ поверхности (покрытой краской) внутренних границ квадратов. Такова наиболее примитивная машина живописи, живописи Нового времени (я бы даже назвал ее *машиной авангарда*). Чередование двух квадратов, малого и большого, игра, в сущности, двух клеток в одной и той же решетке отношений, занятой/незанятой, полной/пустой, световой/темной. Вот это создание/вос-создание этой очень древней и примитивной машины живописи и есть цель авангардного искусства как такового. Смыслом наделяется только то, с помощью чего может быть совершено само Творение, но не оно само, ибо если бы оно было возможно, то отпала бы необходимость в самом инструменте, – полное Воскресение Нового Мира. В модерне и модернизме значение произведения искусства еще имеет смысл в общей структуре тотального Мимезиса, здесь же, в авангардном видении, побеждающе утверждает себя Матезис⁴⁷, тотальной

⁴⁶ Бурсма Л.С. Об искусстве, художественном анализе и преподавании искусства: теоретические таблицы Казимира Малевича // Казимир Малевич. 1878–1939. Каталог. С. 206–224.

⁴⁷ Любопытны размышления Л. Витгенштейна о сетке и зеркале. В частности, он указывает на следующий аспект, и не без иронии: "Как может всеобъемлющая, отражающая мир логика употреблять такие специальные трюки и манипуляции? Только связывая все это вместе в бесконечно тонкую сеть, образуя огромное зеркало!". (См.: Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. Томск, 1998. С. 58.) Это важный момент перехода от сетки к видимому. Сетка и обеспечивает саму видимость, само зеркальное отображение именно в той мере, в какой мы вообще видим (с помощью сетки). Сетка позволяет свободно проектировать Реальность в виде ее собственного отражения – Зеркала: "То, что картину типа вышеупомянутой можно описать с помощью сетки определенной формы, ничего не говорит о данной картине. (Ибо это имеет силу для любой картины такого рода.) Что действительно же характеризует картину так это то, что с помощью особой сетки определенной частоты она вполне может быть описана". (Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994. С. 67.) Нам просто необходима эта сеть, без нее нет визуальной отражаемости объекта.

трансформации. Но и весь парк новых проектных инструментов живописи – ничто по сравнению с самим Проектом, представляющим Творение (завершенное и абсолютное Произведение).

Возможно признание за авангардом какой-то особенной событийности, которая была соответствующей модерну (модернистской). Ведь в нашем определении авангардистское сознание или левое искусство (Б. Брехт, Дз. Вертов, А. Платонов, П. Филонов или В. Хлебников и др.) есть сознание революционное, то есть там, где оно осуществляется, оно открывает такую сторону мира, которая определяется не постепенным характером изменений, а *взрывным*. Авангардное сознание балансирует между разрушением и возобновлением, «новым началом». Но это начало есть некая цель самого разрушения. Разрушение определяет возможность начала, и чем радикальнее, тем более сокрушительна сама новизна. «Покажи мне, как ты способен разрушать, и я скажу тебе, какой ты авангардист!» Итак, мы приходим к выводу, что авангардистский жест в целом – это жест полного и завершенного в себе *отрицания* (т.е. такого, которое лишено всяких черт утверждения). Полное *нет* противопоставляется бесконечному набору частичных утверждений *да*. В этом полном *нет* заключена остановка всех возможных времен повседневности.

Театр мысли. Правила изображения и «прибавочный элемент»

Мы можем предвидеть только то,
что конструируем сами.

Л. Витгенштейн

Я рисую изображение и говорю,
что мир устроен так, как я его изобразил.

Из разговоров в ММК

Ведь проектное мышление не может быть бесконечно ретроспективным актом отступления к началу и систематического разложения материала на все более мелкие и мелкие составляющие... Так что же, мы отказываемся от поиска желанного предела визуальности, с помощью которого в пространстве-времени конструи-

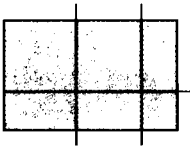
руется проектируемое целое? Конечная цель анализа, его *ограничение* – в находящемся пределе визуализации, обладающим, на взгляд методолога, конструктивной мощью.

Утверждая, что мышление может рассматриваться как процесс, что существуют определенные процессы мысли, мы тем самым обрекли себя на то, чтобы рассматривать мышление именно таким образом, т.е. задавать какие-то параметры и раскладывать мышление на последовательность кусочков (элементов-единиц), из аддитивной суммы которых складывается все мыслительное целое. Точно так же: утверждать, что данный текст, или рассуждение, есть некоторый процесс, – это означало утверждать, что существует лишь одно единственное направление его анализа, а именно разложение на части, из последовательной цепи которых и должно затем складываться целое.⁴⁸

Представим себе, как могло бы выглядеть все поле операций:

Схема групп общих операций⁴⁹:

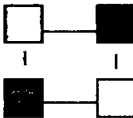
1. Разрезать



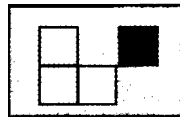
2. Дополнять



3. Связывать



4. Собирать (заново)



⁴⁸Щедровицкий Г.П. Процессы и структуры в мышлении. Курс лекций. М., 2003. С. 91.

⁴⁹Эта схематизация используется не мною, сам Г.Щ. в лекционной работе по шагам описывает всю группу необходимых операций в элементарном анализе. Вот, например, следующее рассуждение: "Сложный объект представлен как система, если мы: во-первых, выделили его из окружения, либо совсем оборвав его связи, либо же сохранив их в форме свойств-функций; во-вторых, разделили на части (механически или соответственно его внутренней структуре) и получили, таким образом, совокупность частей; в-третьих, связали части воедино, превратив их в элементы; в-четвертых, организовали связи в единую структуру; в-пятых, вложили эту структуру на прежнее место, очертив таким образом систему как целое". (Там же, с. 317).

К анализу можно отнести операции (1,2), к тому, что можно назвать синтезом – (3,4). Конечно, когда мы говорим о темпоральном разрыве между двумя этими операциями, то и разъединяет их и соединяет. Некое качество появляется тогда в серии перечисляемых фрагментов, когда подтверждается в качестве возможного типа связи как *добавочный* или *прибавочный* элемент. Почему так велико значение подобного элемента в конструировании проекта? Да потому, что он преобразует один вид операции в другой. Разрезать, но потом связывать, а связать можно лишь те части, которые составлены с помощью прибавочных элементов, т.е. приемов, видов и типов *связывания*, привносимых в структуру целого и преобразующих его в совершенно новое целое. Рисование оказывается тем действием (операцией), которое соединяет расчленение со связыванием, поскольку отображает на единой картине и то и другое, является, по сути дела, дополняющим⁵⁰. Следовательно, у Г.Щ., а шире – в авангардном искусстве проектирования, мы сталкиваемся с переносом идеи целого к его несущему элементу – *прибавочному* или *дополнительному*. Прибавочный элемент дает целое, изменяет предыдущую форму, преобразует в новую. Именно прибавочный элемент проективен, он и есть несущая и одновременно работающая часть Проекта. Прибавочный элемент и есть *деяние*, деятельностное, активное движение, направленное против инертной материи; предыдущая форма не в силах более удерживать ее, она распалась; а еще недавно она перерабатывала ее в содержание и технико-пластически подчиняла себе. Конечно, напрашивается сравнение между теорией *прибавочного элемента* К. Малевича и теорией *прибавочной стоимости* К. Маркса. Но если мы захотим расширить список сходных тем и понятий в новейшей философии, то мы легко выйдем и на работы М.М., посвященные анализу «превращенной формы» в «Капитале»⁵¹. Термин «превращенная форма» может быть применен по отношению к явлениям, которые являются формами других явлений, но собственной формой не обладают. *Дополнитель-*

⁵⁰Менделеев Д. Элементы(химические) // Энциклопедический словарь. СПб., 1904. С. 632–636.

⁵¹Мамардашвили М. Превращенная форма // Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 387; Мамардашвили М. Анализ сознания в работах Маркса // Вопросы философии. 1970. № 6. См. также: Ильенков Э.В. Идеальное // Философская энциклопедия. М., 1962. Т. 2. С. 219–227.

ность подобных превращенных форм очевидна, поскольку они могут быть и являются объяснительно-понимательными моделями сложных процессов только потому, что эти процессы не могут функционировать без субъекта, который бы понимал. Но главное здесь, как мне кажется, не форма, а способность формы к превращению, т.е. *превращенность формы* или превращенность тех связей, которые форма и должна выразить.

Следует обратить внимание и на похожие понятия, которые по отличному от настоящего поводам возникают в новейшей философии. Например, на понятие *дополнения (приложения или восполнения)*, введенного Ж. Деррида⁵². Правда, я полагаю, что переводчик оказался не совсем точен, когда попытался лавировать между несколькими значениями французского слова, приписывая ему все-таки значение *восполнения*. Мне же представляется, что прием, используемый в комментариях Деррида к «Исповеди» Руссо, как раз и состоит в том, чтобы прочесть письмо Руссо (в отличие от речи), и много шире – Культуру, в отличие от Природы, в режиме слова дополнение, *supplement* (но никак не восполнения). Ведь как раз сила дополнения в том, что оно дополняет и то, что необходимо дополнить (через *нехватку*), и то, что вовсе не нуждается в дополнении. Дополнение – то, что прилагается к тому, что не нуждается в дополнении, и не изменяет дополняемое. И по мере того как серии увеличиваются и дополняющие образы следуют друг за другом, ценность того, что сопротивлялось дополнению, утрачивается сама собой, целое распадается, хотя его и пытаются улучшить, сделать полнее (например, стойкая добродетель, атакуемая дополнениями, которые ставят ее в неудобное положение, сама становится лишь частью серийного потока, если не в силах прекратить его движение или сопротивляться. Внутреннее смыкается во внешнем и распадается. Понимаемое таким образом *дополнение* чуждо всякой системной интерпретации, подобной той, которая декларирована М.М. в *превращенной форме* или в понятии *элемента* у Г.Ц.

Для чего нужно рисовать? Зачем эти человечки-морковки? Можно сказать, что мысль, которая не изображает себя в качестве мысли, не есть мысле-действие. Чтобы увидеть, надо устранить не-

⁵² Деррида Ж. О грамматологии / Пер. Н. Автономовой. М., 2000. С. 295–296.

видимое⁵³. Вот чего, как мне кажется, и добивается Г.Щ. Ведь его попытки визуализировать, превратить процесс мысли в наглядную схему позволяет с помощью этой схемы уже управлять процессом, а не только его описывать. Важно все-таки задать вопрос: как невидимое приобретает зримость в процессе его конструирования в качестве объекта мысли, постигаемого уже в качестве схемы? Что это за схема? *Схема* (структура) проекта? Схема того, что мыслится, или того, что рисуется? Если, например, мы рисуем этих маленьких человечков, которые появляются перед нами как изображение того, что отсутствует, или, напротив, что только так и может существовать в рефлексивной обращенности операций мысли. Позиционный человек – знак не ситуации (которая может остаться неизменной), а рефлексии, которая контролирует углы зрения на тот же самый объект («конфигурацию свойств объекта», по Г.Щ.).

Поскольку должно и нужно работать в схеме *бессубъектно-сти*, у вас есть мышление, которое живет по своим законам и разворачивается в своих особых механизмах. И когда на схему, рядом, скажем, со знаками коммуникации или в схеме коммуникации, ставятся эти самые знаки, «морковки», то ведь я этим самым продельваю очень важную процедуру – я выношу индивида на доску и произвожу его отчуждение. Он теперь есть момент объективности, и я рассматриваю, как он там живет, вне меня. С этим связаны очень сложные проблемы, поскольку есть я, который здесь рассказывает и рисует, но я с собою должен работать совершенно особым способом. И в особом модальном отношении – при этом особом модальном отношении никакого выхода на знания, на законы, на объективность быть не может. Чтобы работать с индивидом в мышлении и деятельности, надо этого индивида вынести на схему и быть ему противопоставленным. И он должен стать тем, что немцы называют *Gegenstand*, т.е. «противостоящий мне». И если эта процедура не стала вашей основной процедурой, считайте, что вы живете вообще без смысла.⁵⁴

⁵³ Ср.: "И все, что я обсуждаю, переводя смыслы в конструкции значений и вытягивая затем из конструкций значения знания, – это и есть описание и объяснение того, каким образом особая работа Духа превращает неизобразительные, несущие перпендикулярные к миру объектов смыслы, тексты в изобразительные, изображающие объектный мир". (Щедровицкий Г.П. Знаки и деятельность. Т. 1. Лекции за 1971–1972. С. 148–149. (рук. вариант, в печати)).

⁵⁴ Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. С. 570–571.

Важнее всего здесь противопоставление, и оно весьма значимо: отчуждение индивида (в виде значка). Но это позволяет противопоставить проектируемое той самой реальной среде, в которой строится проект. *Против-стоящий* – вот принцип отчуждения субъективности самого методолога: перенесение вовнутрь логической схемы возможно, но в результате отказа от какой-либо позиции, объясняющей статус самого методолога в его собственной культуре. Создается, как мне кажется, ложная иллюзия высвобождения субъекта из плена текущего времени и его молниеносного перевода в *трансцендентальное* время, *бессубъектное*⁵⁵. На самом деле субъект *против-стоящий*, хотя и в тени, но в тени потому, что получает позицию «абсолютного наблюдателя», тем самым устраняет себя в качестве равноположенного тому, кому противопоставит. С другой стороны, проектная интерпретация поведения субъектов настолько их обедняет, что последующее намерение обогатить их новыми, все более усложняющимися связями не спасает положения. Когда же Г.Щ. утверждает идею *бессубъектности*, то он имеет в виду, конечно, ограничения, которые налагаются самим проектом, т.е. степенью *идеализации* или *материализации* проектируемых объектов. Проект не вторичен по отношению к субъекту, его мыслящему (или субъектам, сообществу), а *первичен*, именно он определяет условия, при которых субъективность может воздействовать на формирование проекта.

Проектная картина радикально, с невероятным оптимизмом отрицает опыт «нечистой доски», утверждая великую утопию зеркальности.

Позиционные человечки постоянно смещаются. Они *прибавляются-к*, ибо представляют собой *позицию* прежде всего, а только потом – *место* и *наполнение*, следовательно, смещение позиции есть признак *прибавочного элемента*, обнаружение все новых и новых элементов – связей в организации целого Проек-

⁵⁵ При формулировке стратегии культурного фона или естественной среды обитания методолога Г.Щ. выстраивает несколько наивную идеальную типичку персонажей современного ему советского философского театра. Из поведенческих стратегий рождаются позиционные фигуранты мысли: те, кто является носителем здравого смысла, те, кто склонен к подражательству и имитации, те, кто выше всего ценит самовыражение (отказ от истины), кто похож на схимника, и те, кто предстает субъектами исторического действия, – он, естественно, выбирает последнюю. Наивность же в том, что подобные мировоззренческие установки однозначно определяют проектные горизонты каждого поведенческого типа. Но их возможности отличать один тип от другого ограничены уже тем, что сами типы недостаточно описаны (и могут быть совместимы). (Там же. С. 300–307.)

та. Прибавочный элемент есть признак дополнительности – как системно-структурный принцип. Стоит напомнить о мысли Малевича: раз прибавочный элемент действует и вносит решающие изменения в человеческое ощущение в зависимости от среды, в какой он оказывается, то живопись должна как раз создавать эти истинные образы реального. «Под знаком прибавочного элемента кроется целая культура действия, которую можно определить типичным или характерным состоянием прямых или кривых. От введения прибавочного элемента (новых норм) кривой волокнисто-образной Сезанна поведение живописца будет другое, чем от серповидной кубизма или прямой супрематизма»⁵⁶. Так, образ человека, захваченный деревенским ландшафтом, выстраивается на совершенно ином типе чувственности, не на том, который копирует жесткие, угловые прямые, и железным и полым фигурам городского пространства

Хорошо, но что значит мыслить? – возникает и такой вопрос. Мыслят не головой, а руками, мыслят тем, что уже нас мыслит, или то, что мыслит само по себе, мыслится.

Человек мыслит не головой, а вещами и знаками, действуя с теми и другими и соотнося то, что получается, с эталонами, фиксированными в культуре.⁵⁷

Если мы рассматриваем идеальную схему, на которых человечки указывают начальные и конечные точки движения линий – пря-

⁵⁶ Малевич К. Собр. соч.: В 5-и т. Т. 2. Статьи и теоретические сочинения, опубликованные в Германии, Польше и на Украине. 1924–1930. М., 1998. С. 66.

⁵⁷ Щедровицкий Г.П. Философия. Методология. Наука. С. 343. Ср. также: «И "головка" к мышлению не имеет никакого отношения, она вторична, факультативна по отношению к мышлению. Мышление происходит с помощью рук и находится вне человека. А голова за счет анализаторов, памяти отражает и сохраняет продукты мыслительной деятельности. Ибо, говорю я, мышление есть вариация от деятельности, не от работы сознания и головы... Отражение вам тоже в знаковых формах дается?

Да. Я же работаю руками. Вы все норовите "головкой" сообразить, а вам ничего не удастся. Это понятно: головка есть орган отражения, поэтому в ней ничего креативного, творческого появиться не может. Творческое рождается за счет работы в знаковых формах /.../ Вы считаете, что человек работает головой. А человек руками работает.

А думает человек чем?

Руками.

А фантазирует чем?

Тем более только руками». (Там же. С. 527–528.)

Я думаю, что все вышесказанное, хотя и имеет отчасти провокационный "дуэльный" характер, указывает на инструментальную, "орудийную" ценность знаковых образований. Совокупность действий закрепляет себя определенными знаками (в иерархии, системе или целостности), отдельное действие интерпретируется как "подручное", определяемое этим, если так можно выразиться, знаковым бессознательным, в котором, как в своей естественной среде, действие совершается, ориентируясь по оставленным другой деятельностью знакам.

мых, – то рисовать вот таких *позиционных человечков* в разных проективных измерениях и есть мыслить. В каком-то смысле Г.Щ. действительно приближается к авангардистскому художнику (типа Малевича или Татлина), он создает маленькие театры мыследействия, используя минималистские средства изображения. Авангардистская модель минимализма – человек-позиционный.

Теоретики организации разворачивают это в плане организации, руководства, управления. Все расчертили: живут там у них эти смешные фигурки, которыми они двигают, вроде тех, которые я рисую – позиционные человечки, – или работают какие-то математические уравнения, законы термодинамики, законы еще чего-то и т.д. И так разворачивается мир логоса, который нужен нам для того, чтобы мы теперь могли взять все эти схемы, начать накладывать их в определенном порядке на реальность и видеть реальность через эти схемы и с помощью этих схем. И вот, когда мы это делаем, мы мыслим. И мышление возникает только в этом случае. Вот эта работа и есть собственно мышление в отличие от мыследеятельности.

/.../ Когда я в общении с людьми начинаю строить речевые тексты, ориентируясь на доску, т.е. на идеальную действительность мышления, описывая то, что происходит в этой идеальной действительности, по логическим правилам и так называемым «природным законам», – вот тогда я мыслю. Это и есть чистое мышление.⁵⁸

Визуальная составляющая позволяет осуществлять полную презентацию *действия*. Вот на что надо обратить внимание. Проектируется действие. Позиционные *человечки-морковки* позволяют разворачивать рефлексивные процедуры так, как если бы они могли быть полностью контролируемы первоначальным движением-действием. Проект мыследействия = схеме контроля. Презентация действия должна совпадать с реальным действием. В этом вся суть проектирования, планировать порядок действий, как если бы эти действия выполнялись в реальном времени-пространстве, не проективном. Но что такое этот «человечек»? Он означает *пустое* место, постоянно заполняемое, т.е. всегда готовое к заполнению: его место существования в схеме – пустая клеточка, ко-

⁵⁸ Щедровицкий. Философия. Методология. Наука. С. 177.

тору он заполняет, но из которой может быть «вышвырнут» в любое мгновение. Вот как это описывает Г.Щ.:

При этом мы вводим понятия «место» и «наполнение». Элемент представляет собой единство места и наполнения, единство функционального места, или места в структуре, и наполнения этого места. Место – это то, что обладает свойствами-функциями. Если убрать наполнение, вынуть его из структуры, место в структуре остается, при консервативности и жесткости структуры, и удерживается оно связями. Место несет совокупность свойств-функций. А наполнение – это то, что обладает атрибутивными свойствами. Атрибутивные свойства – это те, которые (теперь мы можем сказать так) остаются у наполнения места, если его, это наполнение, вынуть из данной структуры.⁵⁹

Отношение между тем, что является пустой или чистой плоскостью и теми функциями («способностями») позиционного человечка, которые позволяют ему отражаться, т.е. заполнять пустое, высвобожденное место. Без этой начальной пустоты не было бы и позиционного человечка, пустота существует до него, именно поэтому он и отражается.

Видеть – это не говорить, а мыслить. Но что значит видеть? Это не просто видеть, а видеть *сквозь* то, что кажется видимым, но им не является. Ведь методолог видит все-таки не данное непосредственно, а *идеальное*, видеть – здесь нечто подобное рентгенографии, видеть-сквозь, или нечто другое. Но так ли это? Вернемся к метафоре зеркала. Если я рисую на доске какую-то схему (карту, план или схему), то я преследую ряд целей. Например, читая лекцию, я использую рисунок в качестве схемы-поддержки, т.е. как чисто вероятностный образ, который позволит слушателям закрепить материал в доступной для повторения форме. Но это один, и вполне наивный аспект *рисования-на-доске*. Рисунок как поддержка мысли, «упор мысли», но и как мнемоническая структура, – не относится ли он скорее к памяти, нежели к воображению? Но если мы рисуем, то все же для того, чтобы создать структуру внутри неясного и колеблющегося образа, объективировать ее, и удержать перед собой и поставить под полный контроль. Рисуем, чтобы контролировать то, что норовит ус-

⁵⁹ Там же. С. 310–311.

кользнуть из-под контроля, – само мышление. Рисуем не для того, чтобы мыслить, а чтобы контролировать мыслимое (посредством его зеркального отображения). Действительно, зеркало может пониматься и как «живая» и как «застывшая вода», – и как окно (проем) и как стена-доска (через *что* видят и на *что* проектируют). В одном случае мы оцениваем собственный взгляд в терминах прозрачного/непрозрачного, в другом – нам необходима *точность* отражения при переходе из внутреннего во внешнее, качество наглядности (а это значит – логической убедительности и достоверности); мы мыслим в терминах истины (мышления). Г.Щ. говорит о «табло сознания», «отражаемости», «наглядности»⁶⁰. В таком случае рисунок уже толкуется как схема, которая позволяет осуществлять полный контроль над мыслимым. Г.Щ. не перестает напоминать слушателям:

...Я двигаюсь в изображенной мною плоскости, в действительности, где объективно существующее и изображение совпадают. Для меня объект таков, каким я его изобразил.⁶¹

Вот этот момент изображения, представления, отображения и предполагает эффект зеркальности, но что самое удивительное – он не связан с возможностями некоего зрительного акта, который мы наделяем пониманием. Не я мыслю, не моя голова, не мой взгляд мыслит то, что я объективировал в виде рисунка, теперь рисунок мыслит самого мыслящего, ибо потенцирован дополнительными конструктивными (изобразительными) силами, прежде невидимыми.⁶²

Действительно, эти «позиционные человечки» – не драматические персонажи, они, похожие на микрокентавров, картезианских монстров, являются чистыми фикциями, «пустыми местами», требующими постоян-

⁶⁰ Ср.: «Кроме того, человек имеет так называемое табло сознания. Здесь у нас возникают образы. Я рисую "табло" вот с такими стрелочками. Что я этим хочу подчеркнуть? То, что у нас всегда имеются не отношения восприятия, а интенциональные отношения. Что это значит? Вот вы видите меня. Но где вы меня видите: у себя в глазу или стоящим вот здесь? Сознание всегда работает на "выносящих" отношениях, мир организуется нами за счет работы сознания как вне нас положенный. Сознание все время выносит вовне. Сознание всегда активно, а не пассивно». (Щедровицкий Г.П. Организация, руководство, управление. С. 44, 45.)

⁶¹ Щедровицкий Г.П. Знаки и деятельность. Т. 1. 21 лекция. 1971–1972 г. С. 92.

⁶² Мыслить – это рисовать, создавать условия для проектирования ситуаций прямым актом мысли (тыкание, "тыкать указательным пальцем в доску"). Ср.: «Вот я указываю пальцем на стоящий рядом стол и говорю "стол". Движение пальца производит отнесение или устанавливает связь. Такое отношение именования есть для меня конструкция значения. В нее войдет реальный стол, слово "стол" и действие, указание пальцем, устанавливающее связь. Конструкцией значений будет для меня также список разноразличных терминов: "стол – a table". Конструкцией значения будет "3+3=6". Все такого рода отношения суть конструкции значений». (Там же. С. 86.)

ного заполнения/дополнения. Было бы неверно упрекать Г.Щ. в том, что он лишил своих «человечков» души и воли, «истории жизни», – таково условие задачи. Вопрос в другом: раз я мыслю-рисую, то мое мышление относится не к тому, как я рисую, хорошо или нет, а к тому, что я рисую, а рисую я лишь то, что могу мыслить, т.е. воспроизводить в адекватных пониманию логических взаимосвязях. Итак, я мыслю, следовательно (в данный момент), я рисую, схематизирую, конструирую, само-отчуждаюсь, отстраняюсь, ведь каждый тип связи должен соответствовать той идеальной ситуации, в которую «заброшен» объект. Но вот что я рисую? И тогда оказывается, что я рисую некоторый порядок объектов (элементов) – типы связи, все возможные процедуры связывания, – который является реальностью идеального. То, что я рисую (по замыслу), и должно меня выгеснить как рисующего, десубъективировать рисуемое и перевернуть всю ситуацию. Поскольку я как рисующий в данном сокращенном логическом варианте и есть этот странный «позиционный человек», некий гомункулус познания, с помощью которого разворачиваются определенные логические операции. Но вот тогда и встает вопрос о применимости естественно-научных формальных логик (не «физик») к той области, которая, по определению, не может подчиняться и не подчиняется закону *предельной простоты*; это область сложных объектов, требующих иных методов понимания – не проектно-схематических или чисто логических.

Рисование якобы должно прекратить удвоение мира (собственно, в этом цель проектного переустройства Мира), как если бы этот идеальный мир был сам необыкновенной машиной, точнее, мегамашиной (которой незнакомо трение, любое сопротивление со стороны материи), той предельно организованной во всех направлениях решеткой отношений, которая поэтому управляла бы собой как Реальностью, лишенной всякой глубины.

3. Философ (Опыт и стиль модерна⁶³)

Творчество М.М. объемно и разнопланово (во всяком случае, так оно сегодня представлено). И все же особое – если не главное – место в нем заняло творчество Марселя Пруста.

⁶³Этот отрывок ранее публиковался в моем эссе "Начало в пространстве мысли. М. Мамардашвили читает М. Пруста". (Подорога В.А. Феноменология тела. М., 1995. С. 226–281.) Здесь он представлен полностью переработанным и исправленным.

Читать Пруста – это, скорее, не столько читать великий роман «В поисках утраченного времени», сколько беседовать с его автором. Чтение как беседа. Пруст как автор-собеседник. Больше того, как Друг. Останавливается движение прустовского письма, и наступает время беседы-размышления, – всегда после и даже до чтения. Текст Пруста видится как набор *трансцендентных шифров* (К. Ясперс), которые еще нужно понять, чтобы узнать в конечном итоге, как мы читаем и каков тот скрытый смысл, который якобы вложил в свое повествование Пруст. Одним ударом освободиться от Пруста – человека *письма* и его многотомного романа как формы выражения («история жизни»). И вот следующая мысль, высказываемая М.М. технически: факт некой психической реальности, который мы соотносим с отдельной сценой романа, является фактом присвоенным, нашим элементарным переживанием, а не переживанием Пруста (поскольку его-то мы и не можем восстановить)⁶⁴. Вот почему важно лишь то, что скрывается, или то, что имеется в виду, что говорит *действительно* Пруст, говоря то, что скрывает смысл того, что говорится. Интерпретация здесь следует за темой «мой Пруст» (у каждого есть «свой» Пруст)⁶⁵. Если произносится кем-то словечко «мой, мое и т.д.», то, естественно, это сразу же снимает какую-либо возможность критики, ведь изначально объявлен экзистенциальный выбор пути (не оспариваемый или обсуждаемый). Но это не просто «мой Пруст», имеется в виду путь даже не вместе с Прустом, а вместо Пруста. Читать – это использовать оптику или опыт Другого в своих целях, есть ведь «ваш Пруст», что я вполне допускаю, но ведь и есть и «мой Пруст», что и вы должны признать. М.М. полагает, что *его* Пруст не был художником – это вторичное качество по сравнению с Прустом-мыслителем, выражающим отношение к жизни не столько произведением искусства, а мыслью, переходящей в поступок, нравственно оправданное действие.

⁶⁴ Ср.: «Книга была для Пруста духовным инструментом, посредством которого можно (или нельзя) заглянуть в свою душу и в ней дать вырвать эквиваленту. А перенести из книги великие мысли или состояния в другого человека нельзя. То есть книга была частью жизни для Пруста. В каком смысле? Не в том смысле, что иногда на досуге мы читаем книги, а в том, что что-то фундаментальное происходит с нами, когда акт чтения вплетен в какую-то совокупность наших жизненных проявлений, жизненных поступков, в зависимости от того, как будет откристаллизовываться в понятную форму то, что с нами произошло, то, что мы испытали, что увидели, что нам сказано, и что мы прочитали. И вот так мы должны попытаться отнестись к тексту самого Пруста. Он позволяет нам это сделать. Пруст говорил, что книги, в конце концов, не такие уж торжественные вещи, они не очень сильно отличаются от платья, которое можно кроить и так, и этак, приспосабливая к своей фигуре. Поэтому не надо стоять по стойке смирно перед книгами. Такова мысль Пруста». (Мамардашвили М. Лекции о Прусте. С. 9).

⁶⁵ Ср.: «Мой Пушкин» М. Цветаевой.

Индивидуальная стратегия Пруста, его особенный и уникальный опыт жизни (письма) оказывается вне игры. Ведь существует не только точка начала мысли, из которой разворачивается речь М.М., существует еще начало, или, точнее, точка начала письма/чтения Пруста, которая принадлежит его произведению⁶⁶. М.М. читает Пруста с остановками, готовясь мыслить отобранное, тем не менее он читает каждый день страницу за страницей, не отступая в сторону от замысла ни на шаг, ни дня без прочитанной (откомментированной) страницы. Так и не отошел на достаточное расстояние от Пруста, чтобы сказать: это он, а вот я. Пруст как ближайший Другой. Необычный опыт биографического смещения, когда чужая жизнь непозволительно близко – в основном через языковые максимы (эпиграфика) – начинает вдруг свое движение и затрагивает опыт, который ей неизвестен. Не просто по касательной, а пересекая, соединяя и смешивая между собой то, что было пережито, и то, что уже не может быть пережито.

Искусство эпиграфики

Используемая М.М. техника толкования *эпиграфологическая*⁶⁷. Рече-действие производится как бы наоборот: сначала отыскивается эпиграф, а потом к нему делается комментарий, который дает смысловую форму, которая, в свою очередь, подтверждает свой статус другим эпиграфом (афористическим высказыванием то ли из самого Пруста, то ли из другого текста, причем совершенно безразлично из какого). Как только статус предшествующего эпиграфа подтвержден, возможно двинуться дальше, найти новый эпиграф и следующую цепочку эпиграфических элементов, которые должны раскрыть первоначальное значение мысли Пруста. Но для того, чтобы эта цепь событий замкнулась на себя, нужно использовать роман

⁶⁶ М.М. вполне осознает этот момент: "...наши рассуждения не строятся на эстетических качествах литературного текста. Мы именно рассуждаем". (Мамардашвили М. Лекции о Прусте. Психологическая топология пути. М., 1984. С. 165). Но а как же устроено текстовое пространство, например, французского моралиста Шамфора, Монтеня или Ларошфуко? Оно состоит из коллекции, достаточно ограниченной, но тем не менее полной, разного рода высказываний, каждое из которых закончено по смыслу и форме и имеет конечную цель: выражает некую мысль, которая, ко всему прочему, еще и назидает, воспитывает, рассказывает анекдот или басню, советует и т.п. Все эти высказывания есть опыт размышления, который передается посредством некой свободной литературной формы, которую принято называть эссе.

⁶⁷ Не совсем удавшаяся попытка осмыслить литературное значение эпиграфа была предпринята: Кржижановский С. "Страны, которых нет...". Статьи о литературе и театре. Записные тетради. М., 1994. С. 40–61; им же предполагается и новая теоретическая дисциплина эпиграфология.

Пруста в качестве первоначального *материала*. Как определить этот материал? Это даже не материал, а сокровищница житейской (и мистической) мудрости. Мудрость и есть смешение, сплавление мистического чувства мира со здравым смыслом (мистический смысл есть здравый возведенный в степень). И вот оттуда М.М. и черпает (извлекает) свои *вокабулы, эквиваленты, дубли и эпиграфы* для переживания безымянного состояния мысли (медитация), которое им в данный момент владеет. Вот о чем не следует забывать: отношение к Прусту – не отношение даже как к собеседнику (тема встречи Пруста и М.М. остается еще под вопросом), а просто как к материалу, лексикону страстей, некоему странному словарю, где порядок иероглифических записей – набор эпиграфов и афоризмов.

Это значит, что текст М. Пруста («В поисках утраченного времени») не столько интерпретируется, сколько дешифруется, причем отличие дешифровки от интерпретации заключается в бесконечном и дискретном опыте истолкования: дешифровать – это *раскрыть* истинный смысл, в то время как интерпретировать – это всего лишь *перевести* на другой язык (как один из возможных переводов, но не как единственный). Значение эпиграфа невероятно повышается. Практически каждая лекция М.М. посвящена поиску истинного смысла того или иного эпиграфически представленного фрагмента мысли. М.М. систематически использует определенные приемы извлечения эпиграфических высказываний из общего потока прустовского письма. Мы встречаем множество самых разных в чрезвычайной массе представленных *эпиграфов* (отдельные фразы, афоризмы, слова П. Валери, М. Монтеня, Данте Алигьери, Ф. Достоевского, В. Набокова, У. Фолкнера, Вяч. Иванова, А. Введенского, Гераклита, Ф. Ницше, Л. Толстого, У. Блейка, А. Арто, Н. Гумилева, Г. Флобера, Э. Паунда, Т.С. Элиота, Н. Федорова, Ш. Фурье, Р. Музиля, М. Лютера, Дж. Джойса, И. Ньютона, Л. Витгенштейна, И. Канта, Р. Декарта, Б. Спинозы, А. Блока, Н. Бердяева, Х.Л. Борхеса, Малларме, Стендаля.⁶⁸

⁶⁸ Вот почти всегда предпосылаемые М.М. к началу работы с текстом уведомления: «Нашей дальнейшей работе мы можем предпослать два эпиграфа. Один эпиграф я хочу заимствовать из Хлебникова, а второй – из Малларме. Хлебниковская фраза очень хорошо очерчивает то, что он искал в своей поэзии. Она звучит так: "Игра количеств за сумерком качеств". А из Малларме – казалось бы более понятный, пронзительный эпиграф, который звучит так: "Плоть печальна, увь". В скобках к эпиграфу из Малларме можно поставить старую философскую мысль, она присутствует в философии еще со времен Пифагора вплоть до Канта, о том, что наша чувственность, или наше психофизическое устройство, по определению, как таковое, патологично. Вот что означает фраза Малларме "наша плоть печальна, увь"». (Мамардашвили М. Лекции о Прусте. С. 180.) Или в другом месте: "...расчисти поля для дальнейшей работы, которая будет протекать под знаменем двух эпиграфов, которые я привел". (Там же. С. 189.)

Так объявляется одна из значительных прустовских тем: расколдование чувства любви. И вот следует целая серия фраз, дублируемых эпиграфами:

(1) Н. Гумилев :

В час моего ночного бреда
Ты возникаешь
Пред глазами –
Самофракийская Победа
С простертыми вперед руками.
Спугнув безмолвие ночное,
Рождает головокруженье
Твое крылатое, слепое
Неудержимое стремленье.

И я не знаю, ты жива ли
Иль только взор твой жив, сверкая,
Ища в неисследимой дали
Огней невиданного рая. (С. 195.)

М. Пруст :

(2) Золотые двери мира грез захлопнулись за Рашелью.

(3) Так же как Ева рождена из ребра Адама, так из ложного положения моего ребра рождалась женщина.

(4) Б. Пастернак :

Так играл пред землей молодою
Одаренный один режиссер
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тер
И протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,
За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил.

Ф. Тютчев :

(5) Жизнь как подстреленная птица, подняться хочет и не может. (С. 208.)

Г. Флобер:

(6) «Корабль шел, рассекая воду, проходя между плавающими обломками деревьев, которые колебались по мере колыхания самих волн» (С.208.).

М. Пруст

(7) ...не является ли такого рода *ondulation*, колыхание, зачатком или первым элементом стиля?»

Таково движение эпиграфов, столь сильный поток, замечен мною в лекции 12 (курс Пруст–81) – в других лекциях такие потоки также наблюдаемы. Я извлекаю из него только часть – в последовательности, необходимой для организации всей цепочки, поддерживающей смысловую форму. Однако я опускаю комментарии М.М., которые так же подвижны и уклончивы, как и те эпиграфы, которые он комментирует. Каждая фраза М. Пруста и каждое эпиграфическое высказывание, коим М.М. ее интерпретирует, не в силах удержать смысл и завершить его. Всегда остается некий *избыток* смысла, который надо обязательно компенсировать, а точнее, упразднить, сведя к тому, что в эпиграфе лаконично и как будто законченно выражено. Но этого опять не происходит. Следовательно, важен не комментарий, а *замещение* одного эпиграфа (фразы) другим. Комментируемое не столько зависит от авторского голоса, сколько от участия в беседе других великих авторов. Замещая отдельную фразу или даже целый абзац, а иногда и несколько десятков страниц прустовского текста, эпиграф оказывается предельно лаконичным комментарием чужого опыта. Можно сказать, эпиграф извлекает фрагмент опыта из повествования, позволяет комментатору его присвоить в качестве собственного. Это и есть мудрость. Пытаться извлечь понимание собственного опыта из чужого, из того именно, что уже состоялся для другого, – труднейшая задача⁶⁹.

Некоторое время до приобретения им литературного жанрового знака эпиграф, как и *эпиграмма*, *эпитафия*, означали крат-

⁶⁹ Во многих других высказываниях М.М. все-таки сознательно или нет склонялся тому, чтобы возвести в высшую человеческую добродетель именно мудрость, не философию. Конечно, фило-софия и есть любовь к мудрости. Но сегодня философия уже не претендует на прежний почти божественный статус мудрости. Нельзя научить тому, чему нельзя научить, а быть мудрым... действительно, этому нельзя научить. Или ты мудр или нет, и это не зависит от того, читал ли ты Гегеля или Канта и что ты там понял.

кие изречения на тему *смерти*. Эпиграф – буквально, *надпись на камне* – есть компактное высказывание, которое вырезается, даже высекается на твердой поверхности камня (обычно погребального), изречение одной строкой подытоживает путь человека. На первый взгляд, цитата или фраза отличаются от эпиграфа по местоположению, они ведь находятся *внутри* текста. Но мы совершим ошибку, если решим, что эпиграф определяется только по *месту* (а он располагается в промежуточном, свободном пространстве между *заглавием и текстом*). Эпиграф, краткое и точное высказывание, повисает в этом чистом белом пространстве, указывая на загадочный смысл того, что сказано, но будет высказано не так, как сказано, а иначе, и намного пространнее. Получается, что эпиграф не только *проводник*, уже имеющий собственный смысл, но *шифр*, который обязательно должен быть дешифрован. В отличие от фразы и цитаты (независимо от ее размеров и места, которая она должна занять в тексте), эпиграф имеет значение высказывания, относящегося к постоянству восприятия (текст может быть разрушен временем, но не эпиграф, который из него изъят). Вот почему эпиграф часто воспринимается как то, что усиливает сообщаемость культурных традиций, непрерывность авторитета, переходность тем и смысловых заданий в литературном опыте. Но вот это качество вечного, более изначального, несомненно. Да, это своего рода руины, руинозный остаток прежнего текста, который не принадлежит одному автору, но великому Анониму. Эпиграф – своего рода послание, свидетельство того, что осталось в памяти, что не может быть стерто, ведь оно выбито в каменной тверди той силой, которая и сделала его незабываемым. Эпиграф – важнейшая форма памяти, он напоминает о том, что должно сделать после, чему уже предначертан путь. М.М. активно внедряется в текст Пруста с помощью именно подобной эпиграфики, и он исходит из некоей метафизической конструкции КНИГИ (как «порожденной природы»): это не эта книга и не другая, а книга *вообще* (не роман, не повесть, не научный или философский трактат).

Что же это за речения (высказывания), почему они не могут быть стерты? Да потому, что в них описана и разрешена отдельная ситуация опыта как общая. Дешифруя эпиграфическое значение, мы тем самым присваиваем себе собственный опыт как опыт *другого*. Как же это получается? А получается именно потому, что

мысле-речение лишено первоначального контекста и ситуативно-го фона (т.е. может быть использовано во многих ситуациях, а не только в той, из которой оно будто бы и произошло).

Одна сторона – сторона письма, эпиграфическая, или *книга надписей*; другая сторона – *погребальный камень*, сторона упования, спасения и смерти; третья – те, кто *читают*. «В поисках утраченного времени» и нужно воспринимать *эпиграфически* – как *Книгу памяти*. Надписи, нанесенные на камень резцом, оставляющим после себя двойную борозду или некие таинственные, если не мистические, знаки, иероглифы – вот это и есть свидетельство опыта, то, что отложилось в виде опытного знания и что не стерто временем (во всяком случае, для М.М. – читателя Пруста). Отложиться может только то, что не имеет прямого внятного смысла, что является посланием «всем и никому». И то, что мы расколдовали, – какое-то звено из цепи высказываний; и ничто не изменилось, мы раскрыли смысл лишь для себя, но мы не овладели универсальным смыслом. Эпиграф – предельно сжатая форма сообщения о ценности отсутствующего текста (Смысла), который, кстати, может быть и не написан, поскольку ценность передаваемого опыта соизмерима лишь с тем опытом, которым мы уже обладаем. Не больше того, что имеем, не меньше. А этот опыт всегда один, это опыт смертный, *опыт-предел*⁷⁰. «Все это иероглифы, которые не просто являются изображением предмета, а обладают свойством определенной связи, соотношения, которое задается законом присутствия смерти»⁷¹.

Записано в нас, но скрыто. Поэтому Пруст и говорил: есть одна единственная книга, которая в нас самих, и ее письма мы должны прочитать. Письмена этой книги – не буквы фонетического алфавита, а иероглифы, т.е. особые телесные образования, являющиеся одновременно изображением и тем, что изображается. Иероглиф и есть значение, и материя того, значением чего он является.⁷²

Надо признать с самого начала, что самое трудное в мысли не сама мысль, а ее выражение в языке. Я полагаю, что становление мысли

⁷⁰ См.: Бланшо М. Опыт-предел. Танатография эроса // Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПб., 1994. С. 62–77.

⁷¹ Там же. С. 156.

⁷² Мамардашвили М. Лекции о Прусте. С. 290.

М.М. проходит под знаком анти-лингвистической утопии, по его собственному выражению, он так и не стал «любимцем языка». Можно предположить, что М.М. утратил чувство родного языка, или, точнее, обретя относительное знание многих языков и невольно попытавшись уравнивать их между собой, он пошел на риск утраты чувства *родного* языка. Действительно, какой язык для М.М. родной – грузинский, русский, французский, итальянский или какой-нибудь еще?⁷³ Можно ведь пользоваться языком достаточно умело, но не чувствовать его внутренней формы, не обладать языковой интуицией. И дело не только в том, что М.М. «не умел писать» или «ему было чуждо письмо» (как судили некоторые коллеги с оттенком легкого превосходства), он выстроил, на мой взгляд, совершенно иное отношение к языку. Читая Пруста, – а это значит для М.М. *переводя*, – он переводил его с французского языка на русский. Он не пользуется уже известными и доброкачественными переводами. Почему? Если бы они учитывались, мы смогли бы установить более точно цель этих странных «цитат-дословников», которыми пользовался автор? Правда, в одной из лекций, пытаясь объяснить переводческую технику, которой придерживается, М.М. замечает:

Я прибегну к *прозаическому* переводу, так как перевод Лозинского, безусловно, блестящий, именно в силу этого иногда скрывает смыслы, просто потому, что смыслы в действительности, в нашем сознании выстраиваются тогда, когда мы останавливаемся, то есть из-за затруднения. Легкость же перевода, наоборот, заставляет нас проскакивать многие места, а вот если бы перевод был более *неуклюжий*, то мы остановились бы на том, что какие-то слова не случайны. И поэтому моей бездарной прозой я попытаюсь передать сцену, сохраняя слова, которые у Данте фигурируют в рассказе.⁷⁴

⁷³ М.М. больше 30 лет прожил в Москве, там получил образование, сформировался как философ. Последние 10 лет в Тбилиси, где он лекциями по Прусту начинает возвращаться в Грузию как «грузин», уже не как «русский» или «европеец». Естественно, что языки, которыми он владел, не владея, отражали это его «вечно» переходное состояние, несмотря на то, что он был уже в Грузии, он был и в Москве и в мире (перед самой смертью буквально молниеносное посещение престижной конференции в США, которое, конечно, сказалось на его тогдашнем самочувствии). Все-таки он был и русским, и европейцем (больше французом или итальянцем), и грузином, не будучи во владении ни одним языком. Или, лучше сказать, им не владел полностью ни один язык, но зато он использовал разные языки, среди которых, как мне кажется, не было «родного». Именно это и есть настоящее преимущество над языком. Те же, кто повторяет, что М.М. «не умел писать», не говорят, что он не умел мыслить, но даже если это они и говорят, то они не помнят того, что мыслить – это всегда восставать против языка. И, может быть, М.М. это «восстание» было легче всего осуществить этим невольным отречением от родного языка

⁷⁴ Мамардашвили М. Лекции о Прусте. Курск 1981. С. 85.

Но что значит переводить и читать, – разве чтение и перевод равны, разве одно и есть другое? Можно, конечно, сказать, что их стоит уравнивать, ведь всякий уровень чтения требует переводческой активности (даже самый примитивный, полностью автоматизированный ход чтения все же перевод). И все-таки переводить – это не читать: ведь при переводе сказывается сопротивление текста – главное препятствие для его понимания, – в то время как для обычного чтения это сопротивление должно быть устранено.

Вот эта *не-встреча* с собственным родным языком и есть высвобождение от языка. Именно лингвистическая свобода позволила ему относиться к языку как к орудию мысли, но не как единственной и автономной реальности, а как препятствию для мысли. Борьба с языком (это и есть та «борьба с сознанием», которую Мамардашвили и Пятигорский объявили в своей книге «Символ и сознание»⁷⁵). Теперь представим себе, что мы действительно не владеем отдельным языком как родным, что у нас нет или не сложилась лингвистическая матрица, мы лишились интуиции *материнского* языка. Следовательно, любой язык (который мы изучили или изучаем) может предстать как якобы родной, мы впервые учимся говорить и опознавать окружающий нас мир. Именно отсутствие первоначальной интуиции языковой формы позволяет говорить на всяком языке как на первоначальном, словно это язык *священных имен*, – говорить, называя вещи своими именами.

Характерным примером является как раз акцент на эпиграфике как малой жанровой форме, которая и должна разрушить поле идиоматики. *Эпиграфика* против *идиоматики*. Понятно, что, читая/толкая текст, мы пользуемся набором словарных значений, но их бывает явно недостаточно, чтобы определить оттенок слова, появившийся в новом контексте. Переводчик, естественно, пытается установить смысл налагаемых контекстов, чтобы потом перевести этот словесный оттенок из одного языка в другой, т.е. спасти и тем самым обогатить язык новым лингвистическим переживанием. М.М. же предлагает внеконтекстное толкование, то, что называют подстрочником (для поэзии), открыть искомый смысл слова в нем самом, в его первоначальном корневом смысле. Это начинание близко тому, что мы встречаем у П. Флоренского и, прежде всего, в этимологиях М.

⁷⁵ Мамардашвили М., Пятигорский А. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символическом и языке. М., 1997. С. 28–29.

Хайдеггера, но беднее по замыслу. Ведь главное здесь все-таки не толкование отдельного слова, но смысл отдельной фразы (впрочем, и так уже вырванной из контекста). И фраза, или эпитафия (т.е. фраза, наделенная значением завершеного высказывания, поэтому и «вечностью»), должна нести в себе и решающий смысл, но не определенный в однозначной формуле, и допускать *бесконечное* толкование. Естественно, что предполагать наличие в слове единственного значения было бы абсурдно, каждое слово – пучок дифференциальных признаков, ни одно из его словарных значений не перекрывает другое и не отменяет. Есть и правила лингвистического использования слова, они могут меняться во времени. Под *идиоматикой* я понимаю сложившиеся формы грамматических образцов и правила пользования ими; если их нарушают, то, следовательно, с какой-то целью, – пытаются отменить прежний контекст и принцип грамматического управления, возобновить прежний или вернуться к *собственному* значению слова. М.М., как мне кажется, ставит под сомнение именно грамматическую форму, и здесь – в этом разрушении грамматики неродного языка – следует искать следы его борьбы с языком, основания той языковой свободы, которой он пользуется.

Ведь что такое устная речь и что такое мыслить вслух? Это, конечно, не значит разрушать язык, и тем не менее тот, кто мыслит спонтанно, мыслит в какой-то мере всегда один раз (даже если он и возвращается снова к тому моменту, с которого начал). Риск велик, но реальный ход мысли здесь открывается через полное телесное присутствие говорящего/мыслящего в собственном языке, ибо тот рождается сейчас и здесь каждый раз, когда говорит. Другими словами, этот циклизм – непрерывный возврат к тому, что уже состоялось и новое возобновление, причем так, как будто мыслимое впервые рождается, – это важнейший принцип мысли М.М.

Что значит точно мыслить?

Метафизика символа

М.М. говорил: «Если мы не мыслим *точно*, то нами *играет дьявол* (курсив мой – В.П.)»⁶. Термин *точность* здесь имеет двойкий смысл, причем первый смысл – точность как строгость, после-

⁶См., например: «Героическое сознание знает, что дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно. Изволь мыслить точно. Значит, ты просто не мыслил. Не потому, что этого не хотел, – в тот момент, когда был последний час, тогда ты не мыслил». (Мамардашвили М., Пруст–81. С. 95.)

довательность, законченность мысли, короче, *логика ее развития в ряде положений* уступает второму, что низводит значение точности к нахождению и удержанию мысли в избранной *точке* (месте). Стиль философствования М.М., оставаясь точным, сбором всех точностей, может ли он быть описан в оппозиции к тем неточностям, которые касаются опыта достоверности или истины в мышлении М.М.? Ведь быть точным в мысли – это найти некий порядок точек и установить последовательность, или их выражение в себе подобных, или возможность сведения от одной к другим. Найти и занять точку, увидеть некую точность в неточном. Но что тогда будет неточным, неточностью? Ведь мыслить *точно* (и строго) – это одно, а вот мыслить точно, точками, точностью (скоплением точек) – это другое. М.М. мыслит не метрически точно, и не логически, а *топологически* (или, во всяком случае, пытается это сделать), используя материал книги Пруста. В таком случае можно ли так мыслить и чем тогда мыслят – образами, понятиями или символами? Как мыслить *точкой*, точками или *точечно*?⁷⁷

Послушаем, как поясняет М.М. практически в каждой лекции (в курсе Пруст–81 и Пруст–84) топологию *точки* и *точности*.

Начнем хотя бы с этой небольшой подборки примеров, число которых можно умножить:

... есть некоторая точка, которую мы выделяем, которая выделена и самим построением нашей сознательной жизни. Точка (здесь и сейчас) – главная действующая точка нашей сознательной жизни, в которой нет ни прошлого, ни будущего, и в которой прежде всего запрещено удвоение мира и времен.⁷⁸

⁷⁷ Точное и неточное вступают в самую настоящую конкуренцию и борьбу за право представлять себя в мысли. Поэтому мы не должны рассматривать "несуразицы", "ошибки", "редакции" текста в качестве основной причины неточного. Легко можно задать ряд вопросов, какие обычно задаются такого рода исследованиям (вопросы, определяющие жанр и цель переводческой работы). Например, следующие:

- почему не учтены переводы М. Пруста на русский язык и почему нужно было делать "свой" перевод (я имею в виду прежде всего переводы А. Франковского – известный малодоступный четырехтомник вышел еще в 30-х годах, – но вот переводы Н. Любимова начали публиковаться в 70–80-е гг.)?

- почему так мало ссылок на отдельные важнейшие литературоведческие работы, объясняющие структуру, цели и технику письма в прустовском произведении (Ж. Пуле, Ж. Женетт, Дубровский, Ж. Делез)? Разве не от этого зависит наше понимание того, что "делает" М.М. читателем?

- в чем смысл отказа изучать произведение прежде, чем объяснять, что и как оно говорит?

- почему Пруст говорит у М.М. столько раз, сколько необходимо, чтобы то, что он говорит, было расшифровано в качестве невысказанного?

⁷⁸ Мамардашвили М. Пруст-81. С. 5 (лекция 4).

Я говорил вам о том, что древняя метафора Бога формулируется так: Бог есть бесконечная сфера, центр которой везде, а окружность или периферия нигде (...) Так вот, я обращаюсь снова к вашему воображению: на этой некой поверхности, но которой нет, – «нигде», – мы должны представить точку. Мы в этой точке. Она нулевая (я говорил вам, что там – редуцированные предметные качества мира и психические свойства человека и т.д.). Я требую, казалось бы, от вас невозможного: вообразить себя точкой на такой окружности, которой нет. Лишь центр, который есть везде (и к тому же в странном смысле). А окружности нет; я же говорю вам – вообразите себя точкой на этой окружности. Реалии нашей психологической жизни, в общем, легко подставить под эту нулевую точку. Например, я говорил вам: если я, кто-то, воображаю себя кем-то, то я уже выпал из центра. То есть я – не в этой точке, которая на равном расстоянии от центра, потому что – что такое центр? Это такая точка, в отношении которой все точки периферии, окружности, находятся на равном расстоянии (...)... если я кто-то, то я уже не в этой точке.⁷⁹

Условно назовем нашу нулевую точку предельной или пограничной ситуацией, где мы один на один с миром в том смысле, что из мира вынуты все привычные связи и привычные способы получения информации. И в (этом смысле) том числе из мира выброшен я сам. То есть меня с моим «я» нет в этом мире.⁸⁰

В каком-то смысле наша точка обладает таким свойством, что в ней мы представляем себе мир как творимый заново в каждой точке, что нет некоторого готового, заданного мира, а он воспроизводится и длится именно потому, что воссоздается каждый раз – *в точке*. В том виде, в каком мир длится, он длится только потому, что *заново воссоздается*.⁸¹

Итак, *точно* мыслить – это удерживать всякий раз мысль в точке начала. С точкой что-то начинается и что-то в ней же заканчивается. Выразить что-либо со всей точностью – это указать на точку нача-

⁷⁹ Там же. С. 8–9 (лекция 6).

⁸⁰ Там же. С. 17 (лекция 6).

⁸¹ Там же. С. 11 (лекция 7).

ла мысли, опереться на точку. Конечно, точка не должна пониматься в чисто логическом или математическом смысле (да она так и не понимается). Точно мыслить – значит иметь отправную точку мысли, в которую мыслящий должен все время – пока мыслит – возвращаться, как в свое единственное убежище. Мысль отходит от начала, чтобы в него возвращаться. Для мысли нет никакой роковой «точки возврата». Ибо немислимым является не мыслимый предмет, а само начало мысли, не-предметное бес-предметное. Вот почему мы должны считаться с тем, что точка здесь объемное и сложное понятие трансцендентального свойства. Точка – не мельчайшее геометрическое единство, которое начинает линию, не царапина на стене, не место географического пункта. Точка – это место, где пересекается между собой ряд мыслительных операций. Удержать мысль – это значит помочь ей вернуться туда, откуда она началась (к тому, что ее вызвало, породило, «толкнуло»), вернуться и повторить свое начало, ибо мыслительные содержания, которыми обогащается мысль, выходя за свои пределы, нуждаются в собственном подтверждении через точку начала. Трансцендентальные операции сводимы к удержанию начала, что сам М.М. называл *этикой усилия*, – к изобретению различных способов возврата мысли к собственной точке начала. Поэтому мысль всегда есть себе иная и та же самая («иная» – поскольку выходит за свои пределы к образам предметов, и «та же самая» – поскольку вся эта мыслимая предметность должна быть развернута через точку начала⁸²).

⁸²Помню, как на семинаре, посвященном творчеству известного в то время французского философа Л. Альтюссера, М.М. говорил о нем так, как можно говорить о человеке, который, помимо философии, имеет еще и особое хобби – политику, причем политику марксистско-ленинского чекана. Но вот вы знаете, и такое бывает, говорил приблизительно так М.М., – это великий человек, но есть у него одно довольно странное увлечение, так сказать, хобби, он считает себя марксистом-ленинцем, он готов отдать все за «диктатуру пролетариата». И вот когда я, но уже сегодня, слушаю по «Свободе» передачу о М.М. (зачитываются отрывки из его книги «Грузия вблизи и издалека» – собрание его интервью, заметок и статей, изданных в Грузии в последнее десятилетие его жизни, когда он был втянут в политическую борьбу за власть между различными группировками). Сегодня, по прошествии стольких лет, все эти политические высказывания, окрашенные пафосом «национального мифа», выглядят как бессильные моральные увещания, переходящие в сетования, экзистенциальную риторику и дидактику; в том, что говорит М.М., обращаясь к «грузинскому народу», нет каких-то элементов строго осмысленной этической позиции, о которой когда-то говорил М.М. на лекциях в Москве. Так и хочется сказать: есть европейский философ Мамардашвили, русский фрондирующий интеллигент и влиятельный грузинский политик, и эти ипостаси, как можно убедиться по текстам М.М., несоединимы. Последние годы у него проявилась одна слабость, впрочем, простительная: с какого-то времени он стал считать себя грузином. Не могу себе представить, чтобы мне был интересен Ж. Деррида-сифар (как выходец из Алжира), француз или как кто-то еще... Остаться грузином – значит попытаться вновь обрести свою национальную и культурную идентичность – вот что, весьма вероятно, стало почти единственным, о чем только и могла думать тбилисская интеллигенция в Грузии конца 80-х и начала 90-х годов. И этот, поистине народный, кризис идентичности происходит на фоне грандиозной катастрофы – распада СССР; собственно, он и есть следствие из нее: быть больше, чем грузин (имперский код), и быть только грузином (этнически-культурный код) – вот где еще сохраняется драма национального возрождения.

Точка отсчета – это и есть, собственно, точка зрения, отграниченная самим отсчетом, в то время как точка, топологически понимаемая, не имеет никакого присущего ей качества *проективности* («точкой зрения» не является). Вот почему она называется *точкой рассеяния, равноденствия, нулевой* и прочее. Напротив, все точки, которые мы можем назвать проективными, и являются точками зрения. Другими словами, нет одной, «только вот этой точки», есть множество точек, и самое главное: у каждой точки есть свой двойник, указывающий на границы самой точности, так сказать, бордюрная линия, отделяющая *эту* точку от *другой*, внутри единой области их точности. В сущности, вся интерпретация М.М. текста Пруста и заключается в нахождении этой точки начала, ее удержании и непрерывном повторении в интерпретационном движении собственной речи.

Обрести место. Как найти место, чтобы идентифицировать себя с тем, кто в силах занять эту точку? У Кастанеды как раз и есть этот поиск места (общее сравнение).

Что же это за точка, раз она не дана, а должна быть найдена?

Представим это поле, что размещается перед нами на бескрайней поверхности опыта жизни, все эти сингулярные точки, что скапливаются на границах прежних переходов и границ, они – знаки памяти и знаки забвения, ибо мы можем находиться лишь в одной из точек, все другие мы можем лишь иметь в качестве запасных, будущих, отринутых, проклятых, истинных и т.п. Откуда эти точки и почему, что значат эти точки? М.М. говорит нам, что надо занять точку, все, что есть в мире, есть благодаря тому, что имеется место для каждого из нас на *мировой* поверхности. Точка и равна и не равна месту, которое мы занимаем, поскольку точка не круг, предельно сжимающий пространства вокруг нас, а отверстие, некая сжатая пустота с правилами свободного падения и подъема. Где мы есть мы, там не удержаться, точка эта пуста, нейтральна, лишена внешних опор и содержаний. Удержать точку – это все равно что удержаться в ней самой. Следовательно, *пустая* точка – это еще не занятое нами место, возможное место и место, занятое уже нами, где мы идентичны тому внешнему, что признаем в качестве собственного статусного (социализованного) «я», *заполненная* точка. Но что такое мировая поверхность и как ее интерпретировать? Эта поверхность есть сфера, отношение сферы и точки М.М. объявляет основными инструментами аналогий опыта (метафор, образов или

понятий). Но что такое сфера, когда нас интересует характер трансформаций, которые допускаются М.М. в качестве аналогий опыта (психологического, эстетического, ментального или этического). И здесь нам могут помочь все те же и постоянно используемые образы отношений *внутреннего/внешнего*, символ *туннеля*, символ *двух дисков* с пробитыми в них точками-отверстиями (пространственный)⁸³, символ *весов* (испытываемой принудительной тяжести и освобождения от нее), символ *двух воронок* (одна из них втягивает, другая выталкивает, поднимает над собой), или *конусов* (чьи вершины то расширяются, то сужаются)⁸⁴.

Точка как центр и точка как периферия, крайняя, маргинальная. Если точка центральная все в себя втягивает, то точка периферийная действует на поверхности и соотносит себя не с глубинной центральной точкой, а с соседней, смежной, близкой или далекой.

Все это оставляет нам единственную возможность понимания: точка действует как орудие пробивания и вскрытия сферы, поверхность испещрена дырами, оставленными этими опытными ситуациями.

Вот что мы еще замечаем: точка, как она здесь описывается (все заметные повторы не привносят ничего нового), *пассивна*, т.е. в нее возвращаются не для того, чтобы выйти одним порывом в творение (создать, вновь и вновь создавать мир), а остаться там, ибо там открывается мир как он есть. Мир как представление рождается с каждым актом мысли, но эта мысль связана объектом как смысловой структурой, она не свободна, т.е. не абсолютно свободна (каковой ей надо быть по определению). И чем больше вы изучаете эту точную

⁸³ Ср., например: "Итак, приведем в движение нашу образную способность – способность наглядно увидеть то, о чем мы говорим. Представим себе, что плюсовые явления расположены на каком-то диске и каждому из них соответствуют дырочки диска. Круглый диск и на нем дырочки. Возьмем два диска – плюс и минус, и будем их двигать. Так вот, великая идея Пруста состоит в том, что эти дырочки не совпадают. Мы можем иметь явление на отрицательном диске, явление с отрицательным знаком – и не иметь его с положительным знаком. Под отрицательным знаком имеется в виду то, что я не почувствовал". (Мамардашвили М. Пруст–81. С. 105.)

⁸⁴ Ср.: "Напомню вам, что психологическая топология есть топология пути, выходение на который зависит от психических возможностей субъекта. В этом топосе пути существует как бы другая реальность, в которой живут особые поля или органы, невидимые нами, органы нашей мысли, наших чувств – в той мере, в какой они проработаны через какие-то структуры. И прежде всего через структуру произведения". (Там же. С. 317.)

Сколько бы ни читали подобных объяснений М.М., его общая концепция топологии так и остается неясной по своим первоначальным онтологическим интуициям. Тем более что в работах М.М. по философии науки мы находим те же топологические схемы, которые он позднее применяет в курсах по Прусту. Явно ощутима опасность подменить имманентную топологию пути, характерную именно для произведения Пруста, универсальными топологическими образами, буквально, топо-тавтологиями.

стратегию М.М., тем больше вы чувствуете, что идет речь о пассивной точке, вбирающей в себя мир, а не о проектирующей его, не активной, как у Г. Щедровицкого, точке, в которой все исчезает, чтобы тут же, так же самопроизвольно родиться. М.М. как философа-мудреца притягивает к себе как раз это исчезновение, возможное в акте буддической медитации. Хотя он и говорит об учреждении в центре своей системы взглядов позиции *этики усилия* (трудового), но как еще ее интерпретировать – вот в чем вопрос.

Топологический анализ начинается с обсуждения телесной ценности точки, чтобы затем перейти к *линии* и *поверхности*. В сущности, как мы далее убедимся, представление о точке или образе точки – это то, что необходимо преодолеть, чтобы открыть топологическую размерность телесного образа. Но что такое точка, или образ точки? Обычно принято понимать точку как некое неразложимое далее единство, некий атом или монаду, т.е. как наиболее простую дискретную форму, не обладающую никакими частями, т.е., в конечном счете, как некий образ предельной и мельчайшей единицы, покоящейся в одном и том же месте и не могущей занимать другое, вопреки меняющемуся миру. Ставить точку, завершать, останавливать, обрывать – все эти и еще многие другие глаголы обслуживают *физику* (точнее, физическую геометрию) точек.

Точка, установленная где-то в мире, удваивает мир: точка *против* и *отдельно-от* мира как некоего целостного образа бытия. Совершенно ясно, что в подобных определениях точки мы не можем использовать математический аппарат – ведь мы знаем, что в геометриях точка берется как начало и ограничение прямой; и даже если точка получает движение в функциях математических кривых или поверхностей, она все равно остается минимальной единицей, неким абстрактом математического исчисления. Естественно, что нас будут интересовать качественные интерпретации точки. Когда я говорю *точка*, то полагаю с самого начала, что точки в ее эмпирической данности мы не имеем: она всегда или математический абстракт, значок, чернильное пятно, царапина, место пересечения – т.е. всегда то, что противостоит линии, непрерывно делимой и себе не равной; нет такой эмпирически достоверной точки, которая бы совпала с математической фигурой точки. Точка – это то, что появляется в нашем чувственном и мыслительном опыте, когда мы – в качестве субъектов – испытываем потребность выделить самих себя из своих отношений с миром. Другими словами, точ-

ка обладает топологической размерностью, т.е. как бы составляется из тех образов-интерпретаций, которые нам необходимы (и всегда у нас «под рукой»), чтобы указать на начало и конец мысли (события, переживания или чувства). Точка – говоря «точка», я имею в виду то лишь, что принято за точку – всегда есть место активно действующей силы (восприятия, познания, чувствования и т.п.). Мы не можем сказать, что точка есть точка, что точка тождественна себе или равна; мы не можем утверждать ее в некоей зоне субъектной пассивности, поскольку для того, чтобы ее выделить из других точек, были необходимы те же силы, что делают ее точкой. Точка слишком часто наделяется психическими, сознательно-рефлексивными качествами; фактически, фиксируя точку (явно или неявно), мы соотносим ее с «живым» субъектом или с *трансцендентальным*, сама она, сама по себе не есть, т.е. не может заметить бытие или его представлять.

Данте Алигьери: «Ад», песнь XXXIV

По мнению М.М., первые страницы «В поисках утраченного времени» могут рассматриваться как необычная *парафраза* «Божественной комедии» Данте (в частности, эпизода «Ад», песни XXXIV), как целостный образ пути или даже как своего рода frame of reference (рамка для вывода), которой М.М. пользуется при наделении смыслом прустовского опыта. Великое творение Данте становится эпиграфической сокровищницей.

Помните, у Данте путешествие совершается путем нисхождения вниз по кратеру, и этим нисхождением он проходит разные круги, а потом в один момент, в точке, где сошлись все тяжести, Данте и Вергилий, уцепившись за шерсть Люцифера, начинают подъем, но при этом Вергилий предупреждает Данте, что они, начиная подъем, перевернулись. И, перевернувшись, совершают странный подъем по странной кривой – некоторые математики пытались истолковать ее в терминах мнимых геометрических поверхностей – и оказываются в той же точке, что начали, но головой уже вниз, и над ними другое небо.

Так вот, представьте себе, что Я – левая сторона равенства, о котором я говорил, – в точке начинает движение вглубь и завершает его там же, – только это уже вторая, правая половина равенства Я; и это – другое Я, если над головой другое небо.⁸⁵

Приведем этот фрагмент в границах комментария, которых придерживался М.М.:

Приблизился, вцепился в стан косматый
 И стал спускаться вниз, с клона на клок,
 Меж корок льда и грудью волосатой.
*Когда пробирались там, где бок,
 Загнув к бедру, дает уклон пологий,
 Вождь, тяжело дыша, с усильем лег
 Челом туда, где прежде были ноги,
 И стал по шерсти подыматься ввысь,*
 Я думал – вспять, по той же вновь дороге,
 Учитель молвил: «Крепче ухватись, –
 И он дышал, как человек усталый. –
 Вот путь, чтоб нам из бездны зла спастись».
 Он в толще скал проник сквозь отступ малый,
 Помог мне сесть на край, потом ко мне
 Уверенно перешагнул на скалы.
 Я ждал, глаза подьемля к Сатане,
 Что он такой, как я его покинул,
А он торчал ногами к вышине.
 И что за трепет на меня нахлынул,
 Пусть судят те, кто, слыша мой рассказ,
 Не угадал, какой рубеж я минул.
 «Встань, – вождь промолвил... – Ожидает нас
 Немалый путь, и нелегка дорога,
 А солнце входит во второй свой час».
 Мы были с ним не посреди чертога;
 То был, верней, естественный подвал,
 С неровным дном, и свет мерцал убого.
 «Учитель, – молвил я, как только встал, –
Пока мы здесь, на глубине безвестной,
 Скажи, чтоб я в сомненьях не блуждал:
 Где лед? Зачем вот этот в яме тесной
 Торчит стремглав? И как уже пройден
 От ночи к утру солнцем путь небесный?

⁸⁵ Мамардашвили М. Лекция по Прусту. Рукописи. С. 1–2 (лекция 3).

«Ты думал – мы, как прежде, – молвил он, –
 За средоточьем, там, где я вцепился
 В руно червя, которым мир пронзен?
Спускаясь вниз, ты там и находился;
Но я в той точке сделал поворот,
Где гнет всех грузов отовсюду слился;
И над тобой теперь небесный свод,
Обратный своду, что вознесен навеки
 Над сушей и под сенью чьих высот
 Угасла жизнь в безгрешном Человеке;
 Тебя держащий каменный настил
 Есть малый круг, обратный лик Джудекки.
 Тут – день встает, там – вечер наступил;
 А этот вот, чья лестница мохната,
 Все так же воткнут, как и прежде был.
 Сюда с небес вонзился он когда-то;
 Земля, что раньше наверху цвела,
 Застлалась морем, ужасом объята,
 И в наше полушарье перешла;
 И здесь, быть может, вверх горой скакнула,
 И он остался в пустоте дупла.
 Там место есть, вдали от Вельзевула,
 Насколько стены склепа вдаль ведут;
Оно приметно только из-за гула
 Ручья, который вытекает тут,
 Пробившись через камень, им точимый;
 Он вьется сверху, и наклон не крут.
Мой вождь и я на этот путь незримый
Ступили, чтоб вернуться в ясный свет,
 И двигались все вверх, неутомимы,
 Он – впереди, а ему вослед,
 Пока моих очей не озарила
 Краса небес в зияющий просвет;
 И здесь мы вышли вновь узреть светила.⁸⁶

⁸⁶Мной специально выделены интерпретационные узлы, на которые насаживается комментарий М.М. См.: Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1967. С. 153–154.

Вероятно, М.М. знал о комментарии П. Флоренского (хотя на него не ссылается), который, используя аппарат современных ему физических и математических теорий, анализирует тот же эпизод из «Божественной комедии» Данте⁸⁷. Я привожу здесь три последовательных шага в аналитической аргументации Флоренского; первый шаг дает представление самого эпизода, второй уточняет физическую и геометрическую природу «путешествия» и, наконец, в третьем вводится понятие светового тела, которое образуется при бесконечном увеличении скорости света и его переходе в пространство с мнимыми параметрами существования. Одна и та же операция, которая позволяет условному телу переходить от *действительного* в *мнимое* измерение: *выворачивание тела* через самого себя, и то, что мы бы назвали несколько иным, но общим термином: *оборачивание в символе*. А это значит, что сам переход возможен лишь с помощью определенного транспортного средства, символического, или точнее, просто символа. Все эти состояния переходные, хотя и противостоящие, которые упоминаются Флоренским при анализе *иконостаса*, такие как *возрастание-убывание*, *восхождение-нисхождение*, *уменьшение-увеличение*, предполагают общую операцию *оборачивания в символе*, а это, в свою очередь, демонстрирует то, что оборачивание одного в другое возможно только в силу использования символического, что позволяет соединить между собой несходное в одном акте уподобления. Физическая конструкция символа открывается в динамике оборачивания векторов силы (напряжение в силовом поле, разность потенциалов), что дает *складку* движения при переходе от одного к другому и что составляет своеобразную *физику* символа. Допустим, что под оборачиванием следует понимать прохождение пути внутри символического пространства. Как его пройти, если это не соответствует любому его реальному прохождению? Но только в случае этого прохождения и может быть обретен опыт иного, мнимого, символического пространства. Было бы ошибкой, если бы мы посчитали, что путь Данта – путь физического тела? Да, физического, но скорее понимаемого в своей непосредственно данной символизируе-

⁸⁷ Флоренский П. Мнимости в геометрии. Расширение области двумерных образов геометрии. М., 1991. С. 44–51.

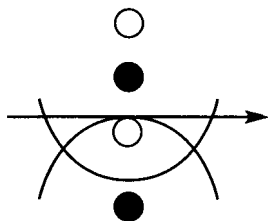
мой телесности. Ибо никакое человеческое тело не может совершить этот *оборот*, и то, что свершается (и поэтому остается впечатлением, что само тело пиита не изменяется), – это то, что само пространство претерпевает определенное искажение, трансформацию, превращение и что его структура оказывается подчиненной кривой, катастрофе *складки*. Если мы предполагаем, что существуют два пространства и что персонажу нужно перейти из одного пространства в другое, то это было бы возможным, если бы персонаж полностью изменялся, превращался в некоего другого персонажа и тем самым мог бы существовать в этом новом пространстве в своем новом облике и качествах, которые допускает это новое пространство. Но вот если вы вернетесь к Данту, то, естественно, заметите, что с ним ничего не происходит, изменяется само пространство. Или, иначе говоря, между раем и адом существует некая связь, или *складка*, или что-то, что позволяет развернуться друг через друга: там, где станет святой, там и будет Рай, там, где станет грешник, там будет Ад. Вот этот принцип, что изменяется само пространство и что, собственно, путешественники как бы выворачиваются через себя, – не просто метафора наблюдателя. На самом деле никакого наблюдателя для этого выворачивания не существует, и оборачивание в символе не предполагает того, чтобы сам верующий был еще и наблюдателем момента перехода. Иными словами, путешествие Данта-Вергилия в миры мнимого (Ад-Чистилище-Рай) нельзя отнести к событиям телесно-физическим (т.е. указать на психомоторику или физиологию образов переворачивания). В момент перехода свершается *внетелесное*, или *трансфизическое*, событие, которое затрагивает не столько персонажей, сколько само пространство: это пространство изменилось настолько, что персонаж оказался вдруг в ином качестве и в ином положении в качестве наблюдателя. Но поскольку Дант-Вергилий не те, кто входит в пространство, а скорее то, что их соединяет, и поэтому между ними самими существует тот же тип связи, какой существует между этими двумя пространствами. Откуда, из какого пространства сам Вергилий (из Ада или Рая) – из промежуточного, из пространства складки? Вероятно, только так можно разрешить эту проблему. Мыслить не из пространства Ада или Рая по отдельности, а скорее из героики посредника – Вергилия, которому оба эти пространства доступны.

Диаграммы

Я предлагаю диаграмму процедуры чтения, которой пользуется М.М. в курсе лекций, посвященных Прусту (Тбилиси – 1981, 1984 г.). Полезность настоящей диаграммы не только в ее наглядности (она, в общем-то, фиктивна и нереферентна), но скорее в том, что она помогает высказать то, что не всегда выдерживает в передаче язык (часто не находится слов, но даже если мы их и находим, они убивают смысл, который мы пытаемся выразить).

Диаграмма (общая)
для точечной комбинаторики:

Текст «В поисках
утраченного времени»



Эпиграфические
комментарии

Необходимо остановить чтение в какой-то избранной точке текста, выделить ее из окружающего контекста и сосредоточиться на том, что в этой и только в этой точке происходит, что в этой точке высказывается независимо от других точек высказывания, которые еще будут обнаружены.

М.М. исходит из того, что каждая из выделенных точек прустовского текста по своей смысловой структуре (а это почти всегда для М.М. или эпизод, или жест персонажа, или фраза, короче – высказывание) замкнута на себя и на целое всего романа. Каждая *точно* взятая единица текста завершена в себе как лейбницевская монада. А это значит, что герменевтический опыт возможен, если в каждой выделенной точке текста присутствуют *начало* и *конец* смысловой структуры. Предполагается, что все высказывания Пруста являются

завершенными, т.е. мысль в них полностью себя высказала. В таком случае искусство чтения будет заключаться в том, чтобы открыть в прустовском высказывании скрытую, зашифрованную полноту его смысловой завершенности. Вот почему высказывание, получив статус завершенного, волей-неволей должно превратиться в шифр то, что кажется незавершенным. Читать – это значит *дешифровывать читаемое* (оценивать высказывание как шифр), завершать завершенное. Остановка движения письма/чтения приводит нас к завершенному высказыванию, высказыванию-монаде, высказыванию-шифру, в котором свернута вся прустовская вселенная. Однако было бы большой ошибкой понимать чтение М.М. как автоматическую дешифровку непонятных знаков; за знаками-шифрами стоят события, за событиями – положения, экзистенциальные и драматические, людей, которые в них включены. Поэтому чтение – это еще и экзистенциальный акт, процедура понимания, которая должна быть пережита интерпретатором как событие собственной жизни. Интерпретируя (читая-дешифруя) тексты Пруста, мы должны изменяться, ибо наше понимание является не чем иным, как лишь изменением самих себя. Сможем понять себя только в том случае, если поймем Другого⁸⁸.

Особое значение имеет обращение точек начала (а точнее, одной точки, которая дублирует себя в другой); одна точка, которую мы обозначили как пустую, является точкой начала мысли как чистой формы, не заполненной никакими ни мыслительными, ни психическими, ни языковыми содержаниями; она принадлежит мысли, которая контролирует невозможность начала, трансцендирует его, оття-

⁸⁸ Точка есть символ, если следовать "Symbolarium'y" Флоренского, собирающий в себе возможные точечные образы-отношения. Прежде всего точка есть собственный символ: она изображается точкой. Но точка себе не равна. В качестве символа точка обладает биполярной структурой, несущей в себе род драматического напряжения, которое сопровождается обращением друг в друга выделенных и поставленных в "сильную" оппозицию субстанциональных качеств бытия. Точка – знак, указывающий на состояние места, топоса, точка топологична, т.е. подчиняется размерности места ("качествам"). И как всякий символ, точка еще до своего соединения с актом зрительным (перспективным) уже обладает рядом необходимых значений. Точка эта (как символ точки) приравнивается и О (пустоте, Ничто, ничтожению, пропуску, нулю), и 1 (единице, полноте, бытию, "качеству"), но она и ни это, и ни то. Точка – координатор различия: Точка есть пустота, но она же и полнота. Однако и там и тут она мыслится на границе бытия и небытия или местом перехода от того, что мы считаем в здешней нашей жизни действительностью, – к ее отрицанию или, напротив, переходом от потусторонней реальности в здешнее ничтожество, но, во всяком случае, соединяющей два мира: мир действительного и мир мнимого, она есть место трансценза. Достойно внимания: почти во всех символических применениях точки символ может быть перетолковываем как в ту, так и в другую сторону, но эта, связующая две области, функция точки остается, хотя в том или другом определенном мировоззрении и делается акцентуация на положительном или отрицательном истолковании символа". (Флоренский П.А. Сочинения: В 4-х т. Т. 2. М., 1996. С. 582.)

гивает, задерживает, не дает содержаниям сознания заполнить собой структуру сознания (если здесь прибегнуть к терминологии М.М.); это полая форма, открытая всевозможным содержаниям, которые она структурирует и наделяет значениями, оставаясь независимой от них; другая точка – дубль, двойник первой, но расположена в текстовом пространстве Пруста в виде завершеного высказывания; она заполнена *аффектированным* или мыслительным содержанием, и на диаграмме заштрихована, т.е. избыточна по знаковому наполнению, пребывает на пересечении множества смысловых нитей (и важно, что эти нити есть, но обрезаны ради того, чтобы высказывание состоялось). Мыслительная процедура в таком случае распадается на ряд микроопераций, которые, в сущности, неотделимы от времени интерпретации, – на остановку, удержание и повторение. Все это единая процедура чтения, мысле-речения о Прусте.

(1) *Остановка*: нарушение движения прустовского письма, выделение отдельной мысли, фразы, символа, жеста и т.п. из единого контекста. Непонимание выделенного, и поэтому вопрос, который явно или неявно повторяется каждый раз: что здесь высказанное значит не вообще, а именно для меня, читающего, могу ли я это понять, но понять один, без других и самого Пруста, экзистенциально присвоить понятие? Эффект непонимания здесь исключительно силен, именно он освобождает точку начала мысли от ее предшествующего психического и ментального содержания (удивление, отстранение, глубина и сила аффекта). Эта остановка необходима и по ряду других причин. Если вы останавливаете чтения (а следовательно, движение письма), то вводите соразмерность двух пространств между собой как сообщающихся между собой. Первая пустая точка заполняется до возможных смысловых пределов. Ну, вот она заполнена, и начинается сразу же другой процесс: структуризация смыслового содержания, которое перетекло из текста, и попало, «осело» в первой точке, где находится мыслящий субъект. Цель подобного чтения: остановить движение текста и разложить его на меньшие или большие фрагменты, а те, в свою очередь, на смысловые единицы, годные к толкованию. Такими единицами смысла и будут фразы⁸⁹. М.М. называет роман Пру-

⁸⁹ Пруст посвятил многие страницы своих сочинений проблеме чтения-толкования поэтического произведения. И сам он предлагает такое правило чтения, которое относится к чтению как чистому и незамутненному ничем наслаждению отдельными фразами, т.е. несущими единый образ неважно какого целого, которые могут быть и символами, и знаками, и даже знаменаниями.

ста *машиной*, которую можно приспособить в собственных целях (например, как особый язык, на котором можно говорить об опытном переживании). Я бы сказал так, перефразируя Витгенштейна: прустовский роман для М.М. – это своего рода ящик с инструментами, используемых по усмотрению и в разных комбинациях, не нарушающих полезную функцию каждого инструмента. И так, вместо «удовольствия от чтения» – книга как ящик с инструментами, необходимыми для того, чтобы развить в себе лучшее понимание собственного Я. Остановка позволяет войти в другое пространство и соотносить себя с тем, что в нем не является моим, а становится моим. Остановка в таком случае провоцирует начало размышления: когда она становится возможной, то происходит нечто близкое тому, что можно назвать экзистенциальной подстановкой. Грубо говоря, М.М. встает или пыгается встать на место Пруста. Однако желает отвечать лишь на те вопросы, которые не имеют отношения к тем, которые задает Пруст. Спрашивать Пруста «его» вопросами, а отвечать на них «своими» ответами: спрашивать из первой точки, отвечать – из второй.

(2) *Удержание*: удерживается то, что возникло благодаря остановке; так может, в частности, удерживаться удивление перед высказанным, перед загадкой того, что высказано, упорство в дешифровке образа. Удерживание и есть, в сущности, акт дублирования того, что подверглось остановке. Необходимо создать поле смысловой резонанции, эхо смысла, некую систематику повторов того же самого, но как другого, чтобы каждый раз обновлять чувство удивления выявлением нового психического содержания. Удержание – прежде всего усилие, усилие воображения, я бы сказал, не столько сознательное, сколько волевое, телесное усилие постичь смысл того психического содержания, которым дополнено размышление. Подставить мысли другого «свое тело», т.е. понять мысль в телесном горизонте. Не поэтому ли такую фундаментальную роль в речевых медитациях М.М. играет эпиграфика как наглядный прием толкования (кстати, за ней следует вся *физика* метафорических и символических замещений)? В своей речи-мысли он пыгается варьировать прустовскую метафору, подчиняя ее речевой стратегии: каждый эпизод, жест, намек, знак проверять на себе, повторяя отчасти прустовский путь, но направляя его к себе. Задача очень индивидуальная, можно сказать, *приватная*,

слишком нарциссистская и вместе с тем понятная всякому, кто хоть раз не поленился открыть книгу Пруста. М.М. пытается мыслить (делать) собой, своим воображаемым телом то, что Пруст лишь высказал, облек в высказывательную форму, и тем самым удержать высказанное, но уже в качестве дрящегося события, в которое включен интерпретатор. Поэтому, вероятно, тот богатый, на удивление разнообразный ряд эпитафий, которые предлагает М.М., и не дает прустовской фразе раствориться в последующей, – она колеблется всегда в одной точке, в той, где его впервые выделил интерпретатор в качестве ядра смыслового высказывания, которое организуется поступающими эпитафиями. Итак, удержать – это значит удерживать точку начала пустой, открытой для заполнения. Все точки Пруста, текстовые пересечения заполнены, все точки М.М. ждут заполнения, лишь там возможно понимание, поскольку в точках Пруста быть нельзя.

(3) *Повторение*. Но прежде несколько слов о том, что я бы назвал концептуальным пуантилизмом, который, собственно, принят М.М. как стиль интерпретации, доставляющий столько трудностей читателю. Признаюсь, что многое в интерпретациях М.М я не понимаю, и не понимаю не потому, что это вообще непонятно (плохо, неясно сказано), – я не понимаю, почему это так говорится. Попробую объяснить с собственным непониманием. Прежде всего свобода М.М. по отношению к тексту, свобода *дистанции*: размышляющий то слишком приближается (дает длинную цитату, например), то удаляется – и столь далеко, что трудно сразу же понять, где он находится. Но самое сложное для понимания заключается в том, что каждое приближение/удаление локализует начало мысли (и оно не обязательно совпадает с началом отдельной лекции). Дистанция изменяется, начало каждый раз начинается. *Движение идет внутри (или вовне) прустовского текста так, как если бы его интерпретация не имела никакого предварительного плана*. Он не только читает Пруста «кусочками», наслаждаясь (иногда совершенно по-снобистски, дегустируя его, «снимая пробы») особой эстетикой существования текста в своем мире, но и читает *бес-связно*, словно зависит и дорожит только первым мгновением всякий раз возобновляющегося чтения. Понятия, которыми он пользуется, являются рабочими понятиями, чем-то вроде строительных лесов или под руку попавшихся строи-

тельных инструментов; сконденсировав ими смысловую ситуацию и убедившись, что нечто было высказано, он в следующей лекции или в ряде других уже их не использует или использует в другом смысловом горизонте, который невозможно свести к предыдущему. Вместе с тем – я уверен в этом, – вопреки привлечению нового цитатного материала лишь повторяется вновь и вновь, как единая сквозная, тема мысли (прежде всего в ее топологических и этических измерениях). Все, что говорится, есть лишь повтор предыдущего, но этот повтор скрыт только что рожденными понятиями и образами (или теми, что подхвачены у Пруста). Стремление к преобразованию отдельного, ускользающего впечатления в понятие, это нахлынувшее чувство «близости Прусту» ищет для себя понятийную форму, чтобы сохранить себя (а если удастся, то и наделить познавательными функциями). Все это приводит к мозаичности, пуантилистскому вторжению в текст, делает интерпретатора слишком свободным от него. И свободным настолько, что он утрачивает чувство критической дистанции по отношению к изобретенному тут образу-понятию (часто он гибнет сам по себе, а не от света «критической рефлексии»). Понятие не проверяется и поэтому используется иногда просто как метафора. В сущности, если попытаться высказать вышеприведенные размышления более кратко, повторяется одна и та же процедура не для того, чтобы просто повториться, а для того, чтобы ввести новые различия в уже сказанное. И этому способствует иницирующий, отчасти маевтический (но не *сократический* вовсе) стиль мысли-речения, которым М.М. пользуется. И здесь значительную роль играет воображаемая им псевдофизическая реальность образов, чтобы удержать мыслимое пространство высказанного в каждой точке начала говорения. Все эти столь явные «кружения», «петли», «спирали» – именно по этим большим фигурам стиля движется его лекционный курс, они и создают достаточно свободную форму речевого произведения.

(4) *Замещение*. Отмечу также неизбежность замещения как последний момент в эпитафической игре. Или несколько иначе: замещение и есть, собственно, основной прием по извлечению чужого опыта. Ведь неважно, точно подобран эпитаф или нет, важно только, что он *подобран* и готов заместить собой предшествующий. Эпитафы действительно выстраиваются в некую цепочку дополнений; дополняя друг друга, они между тем скорее (и чаще)

отменяют уже было наметившуюся передачу смысла, делая эпиграфическое множество *открытым* ко все новым замещениям. Неопределенность комментария растет, а проективная мощь постоянно падает.

Точки начала и pathos'a

Эта точка пуста и тем не менее всегда заполнена. Линия проводится внутри пространства точки. Эта точка несоединима ни с какой другой, материально признанной точкой. Отношение точка *пустая/заполненная* сохраняет свое значение в конструкции бытия по М.М.

Эта точка – точка предельной концентрации сознательной жизни, точка экзистенциального pathos'a (С. Киркегор), точка *патетическая*.

Эта точка – очаг топологических преобразований и смещений, она имманентна им по своему строению, но трансцендентна по своему точному расположению, ибо может быть и там и тут одновременно, т.е. нигде – *блуждающая* точка.

Эта точка может и описывается в различных терминологиях (экзистенциально-феноменологической, метафизической и абстракционистской, супрематической или сюрреалистической и т.п.), но главное в ней, что она и *начало* и *конец*, и правое и левое, высшее и низшее, черное и белое, она – точка *равновесия и равноденствия*.

Эффект аудитории

То, что М.М. называет вслед за П. Валери «эгоизмом», – развитие сознания для целей познания – можно определить еще как «внутренний опыт», некая неизбежность моего присутствия в собственной мысли. Нет ничего, что могло бы расторгнуть этот союз. Но так ли прочен этот союз, не предполагает ли его защита от разрушения извне выработку отношения к языку – языку, понимаемому в одном из своих фундаментальных проявлениях – речи. Речь, которая мыслит, – нечто такое, что не позволяет языку сковать движение мысли и подчинить себе. М.М. почти не упоминает никогда о том, что его философски представляемый внутренний опыт мысли погружен в поток речевого движения. Вот я говорю, говорю-мыслю, и если я делаю акцент только на движении мысли, то я за-

бываю про то, что я говорю. Но ведь я говорю все время, пока мыслю, а точнее, я мыслю, пока говорю. Мыслительный акт М.М. неотличим от речевых движений (незримой жестикуляции), которые он совершает, чтобы удержать мысль в точке начала. И в то же время эта речевая стихия, среда, в которой рождается мысль, им не замечается. Почему? Ведь очевидно, что, когда я говорю, я как бы переживаю нечто вроде патетического состояния и выхожу из себя (за себя); моя речь, пускай даже она обращается не только к другому, но и к себе как другому, оказывается вне меня самого (если я только пытаюсь представить себя существом молчаливым, когда другое существо, говорящее, в это время говорит; и эти два существа не могут существовать в одном моменте времени: или я говорю и тогда не молчу, или не говорю, но тогда молчу. Речь – нечто внешнее мне, ибо во мне есть еще существо, которое может молчать и никогда не говорить. Это существо *слушающее*. Вопрос заключался бы в следующем: почему это странное и вечно молчащее в нас существо, не могущее говорить, не только не замечается М.М., но и остается вообще за пределами его экзистенциального переживания мысли? Ведь именно это существо обнаруживает говорение мысли вне нашего «я». Слушая себя, прислушиваясь к тому, что говорится (конечно, во времени того, что я уже сказал, а не говорю), я вдруг узнаю, что все высказанное мною лежит как бы далеко за пределами моего отношения к себе, и в то же время, поскольку я говорю, оно является более внутренним для меня, чем мое молчащее существо. Внешнее, речь, которая удаляется от меня со скоростью дыхательных ритмов (придыханий), выбрасывающих звуки, является внутренним моего самого ближайшего к себе отношения, близости ближайшего (речи), которое я нахожу в своем *молчащем*, слушающем Эго. Все тот же несколько видоизмененный вопрос Ницше: *кто говорит?* М.М. утверждает, что всякая мысль, раз она мысль, не может не быть *объективной*, и в силу этого мой экзистенциальный опыт объективирован в сохраненном переживании, следовательно, также объективен, но тогда непонятно: почему речевой пафос мысли не имеет к мысли никакого отношения? Почему мы должны разделять мысль идеальную (молчащую, непронизносимую) и мысль произнесенную, себя оглашающую, доказывающую, утверждающую? И от чего мы идем, и к чему мы приходим? Ведь если использовать буддически настроенную логику, то

идем от речи высказывающей, саморазоблачающей себя, желающей – к речи немой, скрытой, тайной, в сущности, к медитации. С нашей стороны была бы вполне оправдана в данном случае попытка развести мысль и речь, в которой она себя впервые высказывает. Развести с той целью, чтобы указать на чистую мысль, ничем не обязанную тому, что ее порождает, – речи, которую произносят.

Чтобы начать говорить, надо попасть в то (или оказаться там), что Киркегор называл *точкой пафоса* (аналогичные определения, но мысле-движения, мы находим у М.М.) В точке пафоса становится возможной речь, само говорение, прежде всего говорение в мысли мыслью. Смысловые структуры тогда могут быть интерпретированы по точке экзистенциальной (речь=экстазу): пока я говорю – мыслю, не говорю – не мыслю. Или иначе: важно начать движение, перешагнуть порог языка как непреодолимого порога (формального) мысли, т.е. важно *начать говорить*. И раз я начал речь, то мой путь будет определяться не конечной целью – выразить именно это или то, что уже готово для выражения, что уже было помыслено неизвестно когда и кем, заключено в образец, оснащено правилами его использования, – а тем, что я на свой страх и риск пытаюсь высвободиться из языка, во-плотить мысль, минуя его формальный контроль.

Было слишком поспешно определять мысль и ее поддерживающую речь – даже «рождающую» – речь в терминах единства, – мыслеречения. Более того, важно обнаружить противодвижение между мыслью и самой речью, их вероятное драматическое несовпадение, ибо мысль по определению (раз она к тому же еще и претендует на то, чтобы стать мыслью мысли) пытается и должна освободиться от речевых импульсов, отклоняющих ее направление, невозможных без участия тела, и прийти в конечном итоге к чистой и ясной форме выражения. Но это не удастся сделать, поскольку мысль все же остается в стихии речевой формы и не может ее покинуть, ибо там, где она была бы себе равна и точна, нейтральна, она – уже не мысль. Вспомним одно из требований М.М.: мыслить можно только экзистенциально. А это значит, насколько правильно я понимаю, мыслят не мысль, а мысль (сама) мыслится ее переживанием. Переживание не только открывает путь к мысли, но и противостоит ее всякой готовой форме. Сколько мыслей мы не в силах помыслить (испытать на себе), и только из-за того, что не мо-

жем выработать к ним экзистенциального отношения. М. Хайдеггер говорит вслед за Киркегором и Шопенгауэром об «интересе», «интересном в философии». Мысль, постоянно возвращающаяся к себе, своей точке начала, никогда не приходит к ней разом и навсегда (объявляя истину); и если и достигает того, что можно принять за точку начала, то она теперь располагается чуть в стороне и даже в другом начале. Все эти отклонения, переживаемые мыслью на пути к себе, вызваны силой речевых телесных кривых мысли. Мы знаем, что М.М. мыслит вслух. Можно было бы предположить, что он просто делает доступной для нас собственную мысль, которая, прежде чем быть произнесенной, уже как проговаривается молча и всегда уже есть до произнесения. Но это совершенно неверно. Мыслить вслух – а так только и можно мыслить – это быть настолько свободным, что готов все потерять из-за одной ошибки или «неточности». Мысль должна рождаться в самом акте произнесения, ни «до», ни «после». Мыслить-вслух – не столько озвучивать уже помысленное, сколько переводить мыслимое – если не в собственный слух, то в слух для других. Произносимость – неотъемлемое качество мысли; и поскольку мысль произносима, она обязательно обращена к кому-то, без кого мысль не может состояться.

Неустрашимый и всегда желанный референт мысли-речи М.М. – *аудитория*. Собеседник – это Пруст (или Декарт), особый собеседник, встреча с которым требует определенных интеллектуальных и нравственных усилий, преодоления пространства и времени, идентичности (национальной, профессиональной личной). Эта встреча, раз она случилась, не требует аудитории, агоры, объявления и демонстрации, т.е. не требует какого-либо иного пространства, «места», кроме пространства самой встречи. Совсем другое дело – аудитория: место, где мысль разворачивает себя, научая других быть и мыслить. Две отличных стратегии и вместе с тем принадлежащих высказанной мысли. Но есть еще одна кривая мысли-речи, которая стремится замкнуться на себя и принадлежать только тому, что мыслится, – кривая мыслимого, ничего не знающая ни о собеседнике, ни об аудитории, в которой приходится читать лекции. Все эти отклонения, которые претерпевает мысль, отличны друг от друга по дуге возвращения к начальной точке мысли и никогда не совпадают в одном горизонте. И мы должны считаться с этим. Мысль, которая рождается в произнесении, рождается

«здесь-и-сейчас», – она современна, находится в движении, со-временном переживаемому мгновению мыслительного акта. М.М. постоянно оговаривает это принципиальное для него условие: современность мысли, ее «здесь-и-сейчас». Допустим, я вот читаю Пруста (Декарта, Канта, Кафку – правила чтения единые), и вот фраза, которая вдруг остановила меня («затронула», «поразила», «повергла в растерянность»), т.е. в этой остановке я ее пережил как истину, но, конечно, не как Пруст, поскольку для него фраза не могла быть завершена и вырвана столь грубо из того контекста, в котором она движется, – *Пруст-всегда-в-движении-письма*.⁹⁰

И что же дальше? А дальше это переживание фразы становится точкой начала мысли, но уже *моей*; и переживание чужой мысли начинает удалять меня от самой мысли, встреченной на страницах «Поисков». Следующий момент в преобразении чужой мысли наступает, когда я начинаю говорить, и то, что в ней еще сопротивлялось мне и действительно было *чужим*, полностью растворяется в моем речевом произведении, которое не столько состоит из других слов и способа их соединять в речь, но и из других переживаний. Итак, как мне представляется, мысль, выраженная речевым движением, закрывается от нас полупрозрачными пленками ее странных отклонений от собственного пути к себе. Аудиторный эффект создается несоединимостью этих отклонений, их разнонаправленностью, так как одни значения мысле-речения идут прямо к нам, к тем, кто слушает, другие вдоль – к месту встречи с Прустом-собеседником, третьи – обращены только к себе и образуют собой поле мыслимого, нейтрального к первым двум отклонениям мысли. Я выстраиваю этот порядок мысле-речения М.М. для того, чтобы показать ее общее движение, которое отнюдь не едино в себе, хотя и принадлежит во времени одной-единственной речи, одному речевому произведению. Более того, я бы сказал и так: хотя мысль и рождается из речи, она всегда ей противостоит, как может противостоять внутреннее

⁹⁰ Если мы движемся далее по пути реконструкции астматической онтологии прустовского мира, что нам придется, если мы хотим быть последовательными, ввести ряд важных понятий. Первое из них: среда дыхательная, атмосфера, то, что Ортега-и-Гассет называет "воздушной средой". Области воздушных сред подчиняются дыхательной практике, сама же дыхательная практика ритмизует план чтения. Мы читаем постольку, поскольку Пруст одалживает эти дыхательные аппараты – а их много, – чтобы двигаться в том воображаемом пространстве, где он мог жить, не принимая во внимание болезнь (не страшась), и зная, что их необходимо менять, чтобы чтение продолжалось, и без них – как без специальной кислородной маски – нельзя вступить в прустовский мир.

внешнему, если под внутренним мы будем понимать не столько мысль, сколько переживание мысли. Ведь разве это задача – мыслить для удержания мыслимого в его первом переживании? Каждая – даже самая далекая – дуга отклонения (аудитория) противостоит мысли и ее поддерживает: противостоит – так как не дает мысли прийти к завершению; поддерживает – так как позволяет разрастаться речевому пространству, вовлекая в него благодарных слушателей, сопереживающих усилие мысле-полагания (и совершенно неважно порой, насколько эта речь понятна: *важно, что она пережита как понятная*). И в таком случае манера говорить, дикция и ритм речи, жесты, сама фигура говорящего и позы – «психологический облик» – все это вместе оказывается источником суггестии, достаточно длительной для того, чтобы мысль, окруженная дополнительной энергией внешнего участия, начала движение к себе.

Герой. Понятие опыта

Однако без этой парадоксальной соотнесенности мыслящего с топологией *точки* невозможно было бы повторное, «новое рождение мира». И вот целая серия подстановок, которые ухитряется самым невинным образом производить мысль М.М. Мы как будто пребываем, даже погружаемся в план онтологических размышлений, «глубинных проработок смысла бытия» (см. работы М.М. «Стрела познания» или его совместные размышления о природе сознания с А. Пятигорским в книге «Символ и сознание»), хотя на самом деле нам нужно знать совсем иное – тот первоначальный экзистенциальный посыл, ту выбранную схему этического, которая предпослана последующей логике размышлений. Об этом, кстати, сам М.М. часто и прямо высказывается. Вы только представьте себе сам акт, который одновременно отбрасывает вас в полное ничто, но позволяет как будто начать все сначала. Вот эта драматизация закладывается М.М. повсюду, где возможно. Точка экзистенциального пафоса, упоения в бою и богоборчестве, точка конверсии или замещения: *там, где был Бог, там должно встать Я*. Не «я» обожествленное, а *Я-героическое*, «я», преодолевшее свою человеческую природу, отринувшее ее. Ведь когда М.М. говорит, даже требует представить себя в той точке пробуждения прустовского «я», которая оказывается *нейтральной, нулевой*, совершенно *ничтожаемой*, и вот в ней, чтобы стать, я должен

собраться, воплотиться в то, что на самом деле несобрано, разбросано, рассеяно, как будто даже и воскреснуть в нем, осветиться «пятном сознания», разом и вдруг, здесь и сейчас... Но что это значит и что это за требование – здесь и сейчас? Да и как сегодня была бы возможна философия, может ли она быть возвращена так называемым «классическим душам»? Да и сам М.М. – действительно ли ему свойственно это переживание, которое он определяет как «классическую душу»? Его ошибка – которая и есть его полнота опыта, который мы наблюдаем, – как раз и заключается в том, что он считает Декарта образцом *классической души*, хотя приписывает ему идеи абсолютно радикальные и анархичные, словно не знает ничего о работах Э. Жильсона и Г. Берже, указавших на связь теории ego cogito со схоластикой (теория субъективности св. Августина), причем настолько, что они должны быть истолкованы крайне негативно.

Герой тот, кто имеет силу собранности и удержания себя в этой собранности. Собранность – это этическая категория, но сцепленная с некоторыми характерными достоинствами личности: благородными, а иначе говоря, *врожденными* («доброжелательность», «смелость и отвага», «бесстрашие»)

В опыте мы не учимся на ошибках, а совершаем их. Право на ошибку и есть единственная гарантия достоверности самого опыта. Ошибка есть важнейший инструмент опытного знания. Ведь ошибка в опыте часто заменяет истину. Или отрицательный ответ более ценен, чем положительный. Истина ошибки...

Главная опасность (подобного стиля мыслить) – это расширение смыслового горизонта. Как это пояснить? Если есть опыт, нечто благоприобретенное в том, что нами прожито (совпадающее с тем, что мы называем глаголом жить), то это и есть опыт, который нас меняет, преобразует, заставляет изменяться. Опыт помогает ввести некое равновесие между тем, что мы не можем забывать никогда, и тем, что мы должны забывать всегда (чтобы мочь выживать). Я хочу сказать, что нечто мы должны забывать, и вот эта неспособность забыть сужает наши возможности расширять по произволу горизонт жизни (во всяком случае, мешает ему)

Чем больше вчитываешься в лекционные курсы М.М., тем в большей степени осознаешь задачу, которую он ставил перед собой в своих медитациях: создать *физическую экономию* этики. Не

просто свести все этическое, этос мысли собственной к набору прозрачных максим в стиле Монтеня или Ларошфуко, а показать, если это действительно этические максимы, на какие физические, чувственно-телесные, пространственно-временные, топологические принципы они опираются. И эта этика есть этика усилия, я бы прибавил – не просто усилия, а героического. Все эти разобранные выше медитации вокруг *точки начала* говорят только о том, что она существует, пока в ней нуждаются, пока ее переживают как начало/конец (отправной пункт и начальный); т.е. не дадут ее заместить, удвоить, рассеять в пространстве-времени, закрыть символом и т.п. Эту точку держат открытой, как рану, как место боли или «страдания» (как ценность экзистенции), а может быть, и как место упора, откуда героическое усилие становится возможным. Держать собственную мысль так, как держал древний титан небесный свод... Образ действительно замечательный, почти барочный: требуется величайшее напряжение всех сил – отсюда мифологика всего героического. Во всяком случае, эта точка остается открытой, незаполненной, готовой принять любое содержание, потому ее удерживают в открытости. И это может сделать только этический Герой, не герой мысли, а именно этический герой, ибо эта точка, имея много измерений, выражает собой принцип топики (так устроен человеческий мир, надо иметь место, точнее, *свободные места*) и этический Закон (и поскольку мир так устроен, следует вести себя именно так, а не иначе, если хочешь остаться человеком). Конечно, не просто этический Герой (или не только), но изобретатель *топологических машин*; они состоят из трех точек и двух позиций: *точка заполненная/пустая*, и *точка-между* (ни то, ни другое, то, что М.М. называет точкой *равноденствия*, В. Кандинский *точкой-первоэлементом*⁹¹, а П. Клее «точкой хаоса» или «серой»⁹²).

⁹¹ Художественная практика как раз и предполагает такого рода способ мыслить точку. Конечно, и П. Клее, П. Флоренский и В. Кандинский или С. Киркегор или Ж. Батай более близки М.М., но не К. Малевич, не Хлебников или Филонов или группа Обэриу (А. Введенский, Д. Хармс). Почему? Да потому, что топологическая мера точки не место, которое оно занимает, и не значение, которое ей может быть приписано (число или цифра), а только то, что входит как пережитое в состав опыта. Только через событие пережитого появляется место, точечный упор жизни. Жить – это выбирать, драматическое заключено в этом непрерывном труде выбора. Тот и жив, кто выбирает, тот обретает каждый раз опору, которую он каждый раз теряет. Вот, кстати, некоторые правила развертывания темы точки и точности в живописном опыте у Вас. Кандинского. Для него точка имеет две ипостаси: одну обыденную, ограничивающую ее применение узкими задачами контроля, прерывания, уточнения, подведения итогов, завершением речи или предложения, расстановки знаков препинания, – точка как вспомогательный, чисто инструментальный знак. И другой ряд образов, когда точка наделяется самостоятельным значением, точка топологическая: растущая точка, точка-пятно, точка-квад-

Здесь может быть начат разговор о *попадании-в-точку*. Поскольку точка не есть точка, а *дление* события, то в ней время всякий раз останавливается. Вопрос заключается в том, как попасть в точку и как в ней удержаться? Ведь задача, которую формулирует в начале своей работы М.М., это создать топологию пути для «я», нейтральную и открытую множественности воплощений «я»⁹³.

Можно ли сказать, что М.М. чему-то учил? И да и нет. Даже его подчеркнутый сократизм – мысле-речие не дает оснований утверждать, что он чему-то учил с точки зрения достигнутого результата или обретенной истины. Это было для него недопустимо. Опыт не передаваем, ибо он всегда предел, пик испытания, который переживается и приобретает по-разному. И тем не менее он учил – прежде всего правильному (с его точки зрения) отношению к делу мышления. Но это правильное от-

рат, точка-множество (точек). Точка из подчиненного знака становится символом: "...новая наука об искусстве может возникнуть лишь тогда, когда знаки станут символами и когда открытый глаз и ухо позволят проложить путь от молчания к речи" (См.: Кандинский В. Точка и линия на плоскости. СПб., 2001. С. 206).

⁹² Ср.: "Хаос как антитеза порядка не есть, собственно, хаос, истинный хаос; это понятие "локализуемо" относительно понятия космического порядка и его пары. Истинный хаос невозможно утвердить на балансирующей плоскости, но он не остается никогда неуравновешенным и несоизмеримым. Он корреспондирует скорее с центром баланса. Символом этого "пол-понятия" является точка, не точка реальная, а математическая. Это бытие-ничто или ничто-бытие является поп-концептуальным понятием поп-противоречия. Для того, чтобы привести эту точку к видимому... необходимо обратиться к понятию серого, точки серого цвета, роковой точки между тем, что становится, и тем, что умирает. Эта точка является серой, потому что она является не белой, не черной, или потому что она настолько черна, насколько бела. Она серая, потому что не находится ни выше, ни ниже, и потому что она и то и другое вместе. Серая потому, что эта точка поп-измеряемая, точка, которая находится между измерений и на их пересечении, на пересечении путей. Установить точку – в хаосе; а это значит – с необходимостью признать ее серый цвет в силу принципиальной концентрации точки в себе и сообщить ей качество изначального центра, откуда выбрасывается во все стороны и излучается во все измерения порядок универсума. Аффектировать точку центральной ценности – это дать место космогенезу". И далее Клее поясняет: "...низший путь проходит через статический порядок и производит статические формы, в то время как высший – через динамический. Для пути вниз, подчиненному земному притяжению, значимыми остаются проблемы статического равновесия, девизом которых могло бы быть: "Удержись на ногах вопреки всем случайностям вероятного падения!". Пути вверх обусловлены страстью к освобождению от земных пут; для того, чтобы достичь их посредством плавания и полета, свободного взлета, чувства освобождающей скорости". (См.: Klee P. Kunst-Lehre. Aufsätze, Vorträge, Rezensionen und Beiträge zur bildnerischen Formlehre. Reclam-Verlag, 1991.) Минимум равновесия требует максимум интенсивности от тела, его ищущего: минимум равновесия – максимум тела. Поэтому путь этического Героя размечен в графической россыпи точек, образующих моменты в движении линий прямых и кривых, волнистых и зигзагообразных, спиралей и окружностей – все они предстают как знаки скользящего минимального равновесия сил.

⁹³ В таком случае наша задача ограничивается тем, что я бы хотел назвать диаграмматическим следованием – действительно ли интерпретация М.М. воспроизводит топологию пути, вычерченную (проложенную) Прустом? Нет, конечно. Его интересует лишь собственная экзистенциальная возможность состоять в качестве мыслящего. Он пытается утвердить один интерпретационный цикл: выделить высказывание из общего контекста (стратегии прустовского письма), но выделить, исходя из его диаграмматических, если хотите, топологических свойств; т.е. насколько оно может быть топологически интерпретировано; и если это оказывается возможным, то следующий шаг – это развертывание смысловой структуры высказывания по его ритмическому рисунку (или алгоритму). Топологический (диаграмматический) костяк будет внутренней формой высказывания (всей техники эпиграфики). Между топологическим и этическим не предполагается никакого разрыва: каждое измерение равно себе и другому, т.е. обратимо.

ношение не имело строгих правил и сводилось к опыту экзистенциального переживания мыслимого. В центре его многолетних размышлений ответ на серию вопросов: *кто, как и что* мыслит? Кто тот, кто берет на себя смелость начать мыслить, и как он это дело мысли делает, если он призван к нему? Да и как он убеждается в том, что способен (годен) к мысли? Кто признает за ним это право, кто выступает легитимирующей инстанцией? Мысль, высказанная теми мыслителями, которых он почитал как великих философов (Декарт, Сократ, Кант, Пруст), не представлялась ему данной, готовой и раз и навсегда сделанной. Конечно, он должен был считаться с тем, что мысль обретает письменную и понятийную форму, становится образцом мысли, запечатывается в терминологический строй известных интерпретаций, мумифицируется, «остывает», теряет энергию и силу первого сообщения (Вести). Теперь это уже не мысль, а что-то от нее оставшееся, на нее указывающее, но не мысль. Вот почему М.М. дискриминирует готовую мысль, видя в ней только символ, некогда состоявшееся событие мысли. Надобно понять, – а это непросто, – что здесь предшествующий терминологический строй философии толкуется *событийно*. Понятие как событие. Требуется пройти путь к мысли как событию, в котором оно впервые состоялось и, главное, может вновь состояться. Не мысль завершенная, а мысль длящаяся «здесь-сейчас» и будет, собственно говоря, событием. Не понятие, закрытое термином, общим категориальным строем, а понятие как символ, открывающее событие мысли, т.е. то опытное знание, которое стало возможным благодаря экзистенциальной событийности. Поэтому отношение мысли к мысли проблематизируется в между-мыслимом, экзистенциальном пространстве ее начала: «мыслью нельзя породить даже мысли»⁹⁴. Тогда легко устраняются всевозможные упреки в том, что М.М. подменял собственным экзистенциальным переживанием мысль того же Декарта или Пруста и что его интерпретации неадекватны и слишком субъективны. Но так и должно быть: мысль не воплощена во времени настоящего, – в том времени, где я начинаю мыслить. Именно не-воплощена, лишенная *плоти* настоящего, т.е. движения во времени настоящего, она может быть следом, шифром, символом события, но не являет собой в готовой форме раз и навсегда саму мысль для всех времен и народов. Не-воплощенная мысль должна быть во-площена; мысль должна предстать во-плоти. Послушаем М.М.:

⁹⁴ Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. М., 1993. С. 182.

Декарт требует от себя отваги в невербальном, отваги верить себе (Пруст, кстати, такую веру называет «экспериментальной»), чтобы поместить свое видение (прозрачное для «я-существую») и себя как живое, целостное существо там, где, казалось бы, все занято ответами и образами-оболочками, которые можно получить рассудочно-удачной комбинацией из всей массы уже имеющихся слов и значений для любых предметов. Он как бы *могучими плечами* мгновения-одновременности с «естественным светом» раздвигает *вязкую, слипшуюся тяжесть* мира – будь то детство, язык, память или же схоластическая сумма всей учености его времени. *Ибо познания нет (как нет и воления), если я не займу собой своего места (с риском и ответственностью) для познания того, что сам вижу и переживаю, собственного состояния того, что я знаю только из себя или чему могу дать родиться*⁹⁵ (курсив мой – В.П.).

И далее еще более отчетливо проступает доктрина во-площения мысли:

... нужно *телесно втиснуться между глыбами мира*, встать на *ожидающее тебя место*, и тогда впереди тебя рождается мысль. Поэтому приходится себя преобразовывать, и это вполне реальный и, очевидно, *физический процесс*, где слово «физика» имеет, конечно, условный смысл, но применяем мы именно его⁹⁶ (курсив мой – В.П.).

М.М. вводит понятие (точнее, пока образ) собранного субъекта, субъекта мыслящего или иначе: субъекта в чем-то близкого известному философскому персонажу г. Тэсту П. Валери. Этот субъект удивителен не тэстовской пассивностью, я бы даже сказал, бесполом опытом (он ни этот пол, ни другой), а своим усилием, *ментальным атлетизмом*⁹⁷. Ведь чтобы удержать равновесие в той точке (твоем месте), где удержаться можно, только полностью со-

⁹⁵ Там же. С. 179.

⁹⁶ Там же. С. 182.

⁹⁷ Первый опыт эксплуатации этой темы мы находим у А. Арто, которого тогда читал и комментировал М.М. См.: Мамардашвили М. Метафизика Арто // Арто А. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.-М., 2000.

брав себя как мыслящее существо, необходимо действительно осуществить ряд физических преобразований чисто атлетического свойства. Нужно иметь могучие плечи и быть ловким в прыжках, погружениях, вращениях, круговых движениях, петлянии: то, что тобою мыслится, не должно застать тебя врасплох, более того, ты должен всегда опережать мыслимое физически реализуемыми метафорами. Язык и мысле-речие – становится сценой, где упражняется атлет мысли. Отношение к любому повороту мысли завоевывается усилием во-площения в мысли некоего телесного образа, экзистенциально пережитого, без которого мысль не смогла бы существовать ни мгновения. Если есть такие философские персонажи, как Декарт или Пруст, поскольку они уже на сцене мысли, то они себе не принадлежат ни исторически, ни биографически; так же как не принадлежит себе мыслящий. Фигура субъекта, собирающего себя в качестве субъекта мысли, является, в сущности, нейтральной персонажной маской, открытой для воздействия со стороны других персонажей философского театра. Но говоря здесь о сцене, фигуре, атлетизме, я вовсе не имею в виду их какое-то пространственно-физическое воплощение в структуре метафорического высказывания. Ведь сказано, что сцена, где дается представление, есть *интервал, между-мыслимое, промежуток*, отделяющий одну мысль от другой, но и вне пространства и времени воплощение моего мыслящего «я» в том, что я мыслю. И этот интервал (или точка *равноденствия*, точка *интенсивности*, точка *предельного усилия* и т.п.) имеет не *хромотопическую*, а *топологическую* размерность. У-топия персонажа мысли – в этой размерности. Будучи в мысли, мы не должны производить ни одного автоматически случайного движения. Более нет ничего непосредственного; все опосредовано мысле-речью. Убить в себе марионетку – задача действительно почти неразрешимая или, во всяком случае, требующая энергии всей жизни. Но как тут не заметить подвох: ведь само мышление должно быть воплощено – мысль, обретающая свою плоть в звучащем движении-произнесении слова. Слово – плоть мысли, так как мысль, действие мышления предполагает участие плоти. А что такое плоть? А что такое плоть слова? Это, конечно, не только разного рода остаточные явления и неудачи конкретного произнесения, но прежде всего психомоторное содержание образов мысли (образ мысли – это метафорическое, переносное

выражение понятийных значений предмета, до того, как они стали ими). В таком случае философский персонаж будет удивительной марионеткой, которая изобретает движение, жест в момент его воспроизведения. Каждый раз жест производится как бы из двигательного ничто, т.е. из себя самого, и это непостижимо, ибо если бы такое было возможно, то никакое движение не могло бы ни начаться, ни закончиться. Один жест отменял бы другой, ибо тогда и другой должен быть совершенно новым, как и тот, который его отменяет. И лишь в топологической размерности, не линейной, никакой отдельный жест не отменяет другой, напротив, дополняет и удерживает. В таком случае «я», которое мыслит и которое собирает себя в мысли, не есть статически укрепленное в одном трансцендентальном месте, доступном обнаружению и контролю. Когитальное Я *мерцает* – то появляется, то исчезает; оно *импульсивно*, ибо я-активность начинается впервые с началом мысли и исчезает вместе с ним, чтобы тут же вновь возникнуть. И все эти «я», толкуемые как сменяемые состояния сознания, которые вошедшая в мысль субъективность собирает вокруг себя, не давая им исчезнуть. Если я верно двигаюсь за мыслью М.М., то «я», которое он утверждает в интервале между двумя мыслями (образами, феноменами), не является синтезирующим (собирать себя и вокруг себя – это не значит что-то синтезировать), а скорее покоящимся на неизменности самого акта появления. Непрерывная являемость моего Я в различных актах мысли говорит мне о том, что мои «я», повторяя свое про-явление во многих других «я», остаются несводимыми к моему единственному «я».

4. Об одном давнем споре

Ж.-П. Сартр: экзистенциальный проект

Полное согласие между двумя Проектами, проектом Ж.-П. Сартра и Г.Щ. Для того и другого очевидно, что деятельностьная точка зрения, проективная, творящая – преобладает по отношению к тому, что является ей внешней, а Внешним является все, кроме энергии утверждения творящего акта. Все остальное лишь *материя*, или, в терминах Г.Щ., низший уровень ее организованности, понимаемый как *данный* материал. Вот, например, как описывается Г.Щ. отношение к материалу:

...я, по сути дела, работаю в оппозиции двух категорий – *материал* и *процесс*. Их можно уподобить реке, текущей по земле. Река, некий поток, процесс, он пробивает себе дорогу в виде русла. Так вот материальные организованности – это те следы потока, которые остаются на материале в виде русла, противопоставленного этому движению...⁹⁸

Для Сартра любое историческое действие есть необходимое условие преодоления инертности материи, понимаемой предельно широко и как социальной, и как природной. В отличие от Г.Ш., мастера технического проектирования, или идеальной логики, Сартр рассматривает проект, исходя не из статуса проекта, а из личности, автономной и свободной, которую можно описать как личность, себя саму проектирующую. Проект, проектирование – действие свободы, «неслыханный акт свободы субъекта». Таким образом, главное здесь все-таки свободный экзистенциальный выбор. Всякому проекту противостоит не его отсутствие или *слабость*, а опыт или то, что Батай назовет *внутренним опытом*, под которым понимается сама жизнь, всякий раз отменяющая любой из планов возможного проекта. Проектирование как *про-брошенность-вперед-навстречу* ближайшему будущему, захват будущего. *Двойное движение*, которое переживает субъект, ибо сам он – не что иное, как результат проектирования самого себя, «человек всегда впереди себя». Замечу, что Сартр нигде не обсуждает методологические темы, например, темы *чистого мышления*, тем более никогда не ставит вопрос о том, что такое мышление, – он не работал в позициях логического анализа.

«Итак, человек определяется через свой проект. Это материальное существо постоянно превосходит условия, в которые оно поставлено; оно раскрывает и определяет свою ситуацию, выходя за ее рамки (*en la transcendant*), чтобы объективироваться через труд, действие или поступок. Проект не следует смешивать с волей, представляющей собой абстрактную сущность, хотя при определенных обстоятельствах он может облечься в форму воли. Эта непосредственная, обнаруживаемая за данными и конституированными элементами связь с Другим-нежели-я, это постоянное созидание самих

⁹⁸ Щедровицкий Г.П. Знаки и деятельность. С. 83–84.

себя трудом и практикой и есть наша подлинная структура; не совпадая с волей, она не есть также ни потребность, ни страсть, но наши потребности и страсти, как и самая абстрактная из наших мыслей, причастны этой структуре: *они всегда вне себя самих в направлении к...* Вот что мы называем экзистенцией, обозначая этим словом не устойчивую, покоящуюся в себе субстанцию, а постоянную потерю равновесия, отрывания от себя самих всеми силами. Так как этот порыв к объективации принимает у разных индивидуумов различные формы, так как он устремляет нас через поле возможностей, из которых мы реализуем одну и исключаем другие, мы называем его также выбором или свободой. /.../

Человек является для самого себя и для других *существом значащим*, так как ни один из его поступков нельзя понять, не превосходя чистое настоящее и не объясняя его через будущее. Кроме того, человек – творец знаков постольку, поскольку, всегда опережая самого себя, он использует определенные объекты для того, чтобы обозначать другие – отсутствующие или же будущие. Но обе эти операции сводятся к *превосхождению*: превосходить наличествующие условия к их последующему изменению и превосходить наличествующий объект к отсутствию – это одно и то же. Человек устанавливает знаки, оттого что он является значащим в самой своей реальности, а значащим он является потому, что он есть диалектическое превосхождение всего, что просто дано. То, что мы называем свободой, есть несводимость культурного порядка к порядку природному⁹⁹.

Проект исполняется, он обречен на действие, он действителен, или, иначе, он уже в действии, так как без *выбора*, который составляет его изначальную интенцию («про-брошенность»), он был бы невозможен, а следовательно, и невозможна свобода, что составляет смысл человеческого существования. Никакой проект не может быть завершен, проект отменяет любой другой проект, но не в силах отменить проективность бытия свободы. Субъект оказывается очагом непрерывного проектирования, субъект и есть проект, всегда впереди себя, он, собственно, *всегда-уже*, – в будущем. Более того, как замечает Сартр в ранней работе о Декарте: «...человек есть существо, появление которого вызывает к существованию мир». Другими словами, человек именно в силу своей безотносительности к тому, что он есть, есть все-

⁹⁹ Сартр Ж.-П. Проблемы метода. М., 1994. С. 185–186.

гда то, что он не есть. Для Сартра никакая объективность (шире, реальность) не может быть актуализована без субъективности. Но вот что интересно: объективность (или «объективация») – это и есть реализация идеи Проекта. Когда стиль, индивидуальное самополагание будет преодолено, объективировано в форме труда, действия или поступка для всех, только тогда дело свободы будет достигнуто. П. Бурдьё весьма убедительно выявляет картезианский предрассудок Сартра: как и Декарту, действие свободы ему представляется *проектным*, причем действие рождается из ничего, все начинается вновь и вновь от *tabula rasa*, мир может открыться только благодаря субъекту, свобода субъекта открывает мир. Другими словами, в каждое мгновение божественная свобода создает мир заново¹⁰⁰.

Ж. Батай: «внутренний опыт»

М. М. всегда был близок к Сартру¹⁰¹, но также и далек от него. Ведь у него нет революционного и преобразовательного духа, которым полна философия Сартра, у него, в сущности, свободный субъект, но субъект медитирующий, не скептический, правда, хотя и не сократический, не субъект активный, наделенный абсолютной свободой (как это необходимо). Следовательно, М.М. не берет у Сартра тему свободы как *проекта*, или, точнее, он берет тему свободы, но как внутреннюю проблему становления «я» личности (*ответственность, вина, свобода, спасение и вера*), как сугубо индивидуальный выбор, а не как экзистенциальную онтологию бытия. Насколько я могу выбрать себя, настолько я и активен. Субъект у М.М. не *активен*, скорее пассивен, поскольку его активность есть способность (достигаемая тренировкой в медитации) к *недеянию*. Всюду М.М. сторонится активности субъекта, а это значит – полноценного проявления духа свободы. Сторонится, в сущности, рабского сознания

¹⁰⁰ Ср.: "Как Бог у Декарта наделяется задачей поминутно заново начинать творить *ex nihilo* по своему свободному проекту, поскольку тот не содержит в себе самой возможности возникнуть, – так и у Сартра: типично картезианский отказ от вязкой непрозрачности "объективных возможностей" и объективного смысла приводит его к необходимости наделить "исторических агентов", индивидуальных или коллективных (к примеру, "Партию" – ипостась сартровского субъекта), абсолютной инициативой, придав ей неопределенную задачу вырвать социальное целое или класс из "практико-инертной" инертности" (Бурдьё П. Практический смысл. С. 86–87).

¹⁰¹ В 1964 году он встречается с Сартром в Праге. Некоторое время спустя он пишет в сборник "Современный экзистенциализм" большую статью о Ж.-П. Сартре, а затем публикует материал об экзистенциальной философии Сартра в академическом издании Философской энциклопедии (том 5). К тому же постоянно ссылается на Сартра в своих лекциях, разбирая множество проблем и вопросов, поставленных экзистенциальной мыслью.

(которое видит свободу вне себя как цель собственного развития, но не как присущее человеческой жизни качество). Не быть рабом – для М.М. такая проблема не стояла, *он считал, что не был им никогда*. Проект действительно есть орудие не свободы, а освобождения, т.е. орудие по преимуществу рабского сознания, если следовать за А. Кожевным в истолковании им главы из гегелевской «Феноменологии духа», посвященной диалектике *раба и господина*.

Отказ от проекта у Батая, как это ни странно, связан со следствиями морального свойства: заставить субъекта, зачарованного силой проекта, обернуться на себя. Восстановить сейчас-и-здесь попорченную проектом ценность жизни. Батай использует проект как уловку, помогающую сокрушить Проект. Открыть в проекте зияние, дыры, распылить его, открыть навстречу жизни, некоей непрерывной длительности сакрального переживания опыта внутреннего. Хотя сам Батай постоянно составляет причудливые проекты и планы будущих сочинений (литература, экономика, антропология, культура, поэзия искусство), словно собирается обрушить глобальный Проект Истории: создать (спроектировать) для того, чтобы обрушить спроектированное. В этом отношении позиция Батая заключается в отказе от проекта сартрианского толка: отрицанию должны быть подвергнуты буквально все составляющие проект элементы, то, что делает проект возможным. Прежде всего отказ от вовлечения в опыт временной проективной структуры (будущего/прошлого). Опыт дается вне времени, или, точнее, он поглощен тем *безвременьем*, которое ему сопутствует и даже ему изначально присуще, ибо он изначально *экстатичен*. Опыт – это серия экстазов, сменяющих друг друга, но ничем не определяемых вне их самих. (Вероятно, опыт есть другое имя для бергсониянской *длительности*). В опыте нет ни языка, ни рассуждающей мысли, и, конечно, нет ни субъекта, ни его Истории. Отношение Господин/Раб в гегелевской схеме временно теряет всякий смысл. Вот это превосходство опыта, или полная деструкция субъекта, противостоит во всей радикальности сартрианской экзистенциальной диалектике *выбора* (проекта).

Но уже понятно, что под опытом мы должны понимать нечто иное, чем обычно понимаем. Опыт есть то, что каждый раз нас испытывает, опыт как испытание или опыт-испытание, или то, что можно назвать *опытом-пределом* (М. Бланшо), *пограничным* (К. Ясперс). Другими словами, намечается некий разлад в понимании опы-

та. Ведь если опыт – это прежде всего испытание, и причем такое, что испытуемый попадает по случаю или по стремлению в ситуацию, которая не только была ему неизвестна, но и не была им предсказуема. Такая ситуация, которую нельзя спроектировать, заранее предвидеть, угадать: опыт – нечто совершенно исключительное (событие), выбивающее из колеи, это совершенно *новое*, что обрушивает ранее накопленный опыт. Все стереотипы и правила предшествующих поведенческих моделей здесь не действуют. Но опыт обычно понимается совершенно иначе. Опыт как высшая ценность индивидуальной или коллективной жизни, без которой невозможно жить и развиваться. Именно потому, что человек является таким опытным существом, он и выживает. Действительно, когда мы говорим: вот «опытный человек», «человек с хорошим жизненным опытом», что «некто имеет опыт в этом деле», мы одновременно указываем на то, что человек имел нечто в своей жизни, что ставило эту жизнь под угрозу или его самого перед трудным выбором (но не по схеме «выиграл или проиграл»). В таком случае центральное место в так понимаемом опыте занимает *память, мнемотехника воспоминания*, ибо в опыте должно накапливаться, собираться, запоминаться предыдущее испытание, «опыт учит», как не совершать ошибки, которые уже совершены. В этом отношении опыт оказывается в прямой зависимости от памяти и способов воспроизведения узнаваемых поведенческих моделей (т.е. тех, которые можно вторично использовать). Однако Батай настаивает на первоначальном событии опыта: опыт как испытание, как *опыт-предел*, как некий жизненный эксперимент, уникальный и неповторимый. Сингулярность опыта противостоит регулярности ситуаций, в которых он испытывается. Как будто их невозможно разединить, но именно это и делает Батай, стремясь ухватить опыт в момент действия, когда он никому не принадлежит и когда тот, кто будет претендовать на обладание им, остается еще во власти опытной ситуации. И даже в том случае, если он овладеет собственным опытом, то это будет уже не его опыт, а реконструкция на основе личной модели понимания, которой в данный момент обладает он как субъект опыта.

Отсюда две стратегии в интерпретации опыта: *опыт/память* и *опыт/испытание*.

Батай – это отказ от монтеневского наследия. Монтень не рассматривал опыт, само испытание, обретение опыта, как только и

исключительно как внутренний опыт, то есть опыт предела («крайнего»). Напротив, опыт, который нам открывает Монтень, это опыт скептика, его знание, память, обостренная чувственность – все входит в состав опытного поля, где сама реальность, испытываемая ежесекундно скептиком, остается лишь видимостью. Исходное в опыте Монтеня – это *кажимость бытия*. Скептик во всеоружии предвосхищения, ибо искусство это постоянно указывает: то, что нам видится неким условием истины, не более чем кажимость. Мыслить, разоблачая мыслимое, раскрывая его несоответствие разуму (мыслящего). Сила скептика как раз в том, чтобы возвеличить разум над бытием настолько, что опыт мысли становится единственным опытом, который действительно достоин имени экзистенции. Скептик мыслит вполоборота назад, т.е. обращен к прошлому, но готов встретить настоящее будущего во всеоружии.

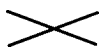
Что-то похоже на «да – жизни!» Ницше: всегда *да* любим ее проявлениям.

Общая сравнительная шкала «качеств»

Мыслить *просто*
 Деятельность
 Проект, проективное
 Мыслить в терминах действия
 План рассуждения (аргумента)
 Понятие *элемента*

Сетка
 (таблица или решетка)
 Знак (понятие)
Проективное
 время-пространство

Мысле-действие



Логика
 аргументации

Мыслить *точно*
 Сознание
 Опыт, опытное
 Мыслить в терминах сознания
 План размышления (медитации)
 Понятие *точки*
 (метафизической)
 Точечность поверхности
 (сферы)
 Символ (образ)
Ситуативное
 пространство-время
 («здесь и сейчас»)
 Мысле-речение



Экстатика речевой
 импровизации
 (суггестии, внушения, очевидности)



**Щедровицкий
Петр
Георгиевич**
(р. 1958)

кандидат философских наук, профессор Государственного университета Высшая школа экономики, председатель Попечительского совета университетской корпорации «Школа культурной политики», руководитель сектора региональных программ НИИ культуры РАН и Министерства культуры Российской Федерации. Советник и.о. министра Министерства промышленности науки и технологий РФ, советник полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Окончил факультет психологии Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина (1980), аспирантуру Института общей и педагогической психологии АПН СССР (1983).
Область научных интересов – методология организационно-управленческой деятельности, стратегические разработки в сфере регионального развития, логико-методологические проблемы исследования, дескрипции (описания), объективности и объективности в гуманитарных науках. Автор более 200 научных и научно-публицистических работ. Живет и работает в Москве.

Фото – Лев МЕЛИХОВ

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ К АНАЛИЗУ ПРОГРАММ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ И СМД-МЕТОДОЛОГИИ

1. Необходимость истории

Вряд ли основные тезисы данной работы будут новыми для подавляющей части той читательской аудитории, которая знакома с базовыми работами Московского методологического кружка, а также с многочисленными лекциями и докладами Георгия Петровича, которые в разные годы были посвящены анализу истории Кружка и динамике его ключевых идей. При подготовке своих «Заметок» я не руководствовался принципом «новизны». Я опирался, прежде всего, на доклады Георгия Петровича об эволюции программ исследования мышления в ММК (1973 г.), а также на большой цикл обсуждений по проблеме эволюции мира категорий на Комиссии по психологии мышления и логике (1974–75 гг.). При этом я работал также с личными записями Г.П. Щедровицкого, которые, насколько я могу судить, лишь частично вошли в тексты его публикаций, докладов и обсуждений.

Набрасывая эти «Заметки», я преследовал по крайней мере три цели.

Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что со смертью Георгия Петровича, бывшего в течение сорока с лишним лет единственным постоянным держателем целостности кружковой работы, а значит – базовой мифологии и хронологии Кружка, стали возможны история и исторические исследования. Поэтому я рассчитываю на то, что мои наброски станут элементом нового типа и жанра работы, который раньше среди «щедровитян» практически отсутствовал.

Во-вторых, я надеюсь, что предлагаемые мною интерпретации станут поводом для дискуссий перспективной направленности. Хочу подчеркнуть, что меня лично волнует феномен «историчности мыслящего сознания». Кратко говоря, суть дела состоит в том, что специфическая структура представлений и понятий складывается и

эволюционирует в течение всей жизни мыслителя. Смена базовых технологий, а также тематическая и целевая переориентация работ Георгия Петровича приводили к уходу (смене) целых поколений его учеников. Я уверен, что в последний период его жизни (начиная с 1984/85 г.) также произошла существенная смена представлений, которая, к сожалению, в силу прогрессирующей болезни не приобрела законченной и отретфлексированной формы, фактически не нашла отражения в текстах самого учителя. В последние годы Георгий Петрович стал склоняться к анализу проблем жизнедеятельности и сознания, вопросам этики и нравственности, вопросам понимания. Именно этим, в частности, были обусловлены темы и направленность работ последних, прошедших при его жизни Методологических съездов.

В-третьих, в своем анализе я хочу обратиться к реконструкции начальных идей и направленности исходных программ МЛК-ММК, погрузиться в пространство возможных сценариев эволюции работы кружка и попробовать увидеть более объемное (голографическое) изображение этой истории. С моей точки зрения, «перепрочтение» истории необходимо производить на каждом шаге работы», и именно подобное отношение к прошлому является одной из ключевых форм программирования дальнейшего развития.

2. Единство цели и множественность программ

Зная, на что направлены конкретные действия автора, к чему он стремится, каковы были его цели и задачи, мы можем реконструировать общий смысл его работы, деятельности и мышления, с трудом прочитывающийся в отдельных текстах и фрагментах. В записных книжках 24 января 1975 года Г.П. Щедровицкий писал:

...главное – это зачем человек работает. Я работаю прежде всего для того, чтобы создать новые структуры мышления, более мощные и более отточенные, нежели те, которые были раньше, и *наделить ими* новые поколения людей [очевидно, это будут новые элитарные группы, выполняющие определенные функции в обществе]...

Далее:

... для того, чтобы решить эту задачу, я должен, во-первых, снять и вобрать внутрь этих новых структур мышления все то, что было эффективным и прогрессивного в предшествующих; во-вторых, проанализировать и представить все эти формы мышления; в-третьих, рассмотреть их в развитии и эволюции, чтобы одновременно снять в новых структурах мышления их развитие.

И еще:

...главное для меня – это развитие и разработка более мощных форм мышления, а значит – более глубокая и более детализированная нормировка самого мышления... Иначе говоря, моя позиция является социотехнической...

Естественно, что осознание автором своей работы не всегда адекватно отражает то, что он реально делает, и то, какой социокультурный статус эта работа приобретает. Однако в данном случае мы можем считать эти высказывания достаточно точной формой схватывания глубинных установок деятельности Г.П. Щедровицкого. Целью его работы было построение новой технологии мышления (интеллектуальной работы) для решения научных (исследовательских) и практических проблем. Можно далее отдельно обсуждать те интеллектуальные и социокультурные факторы, которые повлияли на подобный способ самоопределения и выступили рамками дальнейшей работы Георгия Петровича.

Если для внешних наблюдателей и потребителей науки главным является понятие «знания», то для человека, входящего в научное, философское или методологическое сообщество, основным является ответ на вопрос, что он *может и должен делать*, в чем именно он может принять участие. Именно это заставляет выдвигать на передний план *понятие «программы»*.

Хотя первоначально идея программы возникла во внешней критической позиции (речь идет об известной статье А.А. Зиновьева¹), а в артикулированной форме программная установка (как ори-

¹ Зиновьев А.А. Об одной программе исследования мышления // Доклады АПН РСФСР. 1959. № 2. С. 73–76.

ентация деятельности Кружка) была определена лишь после знакомства с работами Томаса Куна и Имре Лакатоса (во второй половине 60-х гг.), все-таки можно говорить об исследовательской программе как фундаментальной единице, задающей целостность Московского методологического кружка, способы его работы и характер полученных результатов.

Следует также подчеркнуть, что программа исследований мышления с самого начала была неоднородной; было бы более правильно говорить о пакете программ. Из них прежде всего можно выделить:

- *логику-методологическую программу А.А. Зиновьева*, реализацию и следы которой можно заметить и в других программах. Основные ее характеристики таковы: исследовательски и научно ориентированная; содержательная; эмпирически толкуемая; операционально-процессуальная. Исходная программа (можно даже сказать – предпрограмма) не имела собственных специфических средств и методов, онтологической картины, языка для выражения результатов; не имела проекта предметной организации и под-программы построения предмета; не содержала отчетливой методологической ориентации;
- *дочернюю программу анализа приемов и способов мышления (Б.А. Грушин, В.А. Костеловский и другие)*. Здесь были подвергнуты сомнению и анализу традиционные формы логики; сформулировано понятие *приема и способа*; поставлен вопрос о том, в какой форме нужно предъявлять результаты логико-методологического анализа, чтобы ими можно было пользоваться в научной и инженерной деятельности;
- *первую программу построения теории мышления*. Ее суть: утверждение о внесубъектности существования мышления и деятельности (как оппозиция психологическому подходу и шире - психологизму); разделение языка и мышления и установление определенных отношений между ними; введение определенного понятия о мышлении (как оперирования со знаками с целью и в контексте решения практических задач; при этом мышление задается не только в качестве предмета изучения, но и как

предмет проектирования); неявное использование категории системы – вначале рассматривается процесс, потом его механизмы и материал (различение «процессов мышления» и статических структур – «знаний»); однако, в этот период не было еще четкого разделения структуры и организованности, структуры и системы (такое разделение проявилось только в публикации 1964 г.); утверждение о нетождественности теории мышления и теории познания, мышления и познания; оппозиция гносеологическому подходу; отказ от традиционных различий, характерных для психологии и логики (таких, как практическое/умственное, внешнее/внутреннее, индивидуальное/коллективное, объективное/субъективное); критика «субъект-объектной» схемы.

Можно заметить, что любая из этих программ содержит, как минимум, три подпрограммы: критическую, проектирования и конструирования новой онтологии, и наконец – собственно программирование. Полная реконструкция исходных разработок ММК предполагает также анализ этих «подпрограмм» в рамках выполняемых в тот период работ, чего пока никогда не делалось.

Следует также специально выделить и обсудить те проблемы и затруднения, которые возникли в процессе разработки и реализации этих программ и, прежде всего, программы построения теории мышления. В своих докладах об этом периоде работы ММК Г.П.Щедровицкий подчеркивал, что ключевые проблемы состояли в следующем:

- противоречие между традиционной трактовкой знания как изображения, а содержания – как объекта;
- сведение содержания знаний и теоретических систем к операциям и процессам мышления;
- определение взаимоотношений объекта и операции, а затем – процессов и объекта;
- выявление строения знаний, понятий и научных теорий.

Необходимо добавить следующее. Программы исследований и разработок могут дифференцироваться и распадаться под влиянием многих факторов: усложнения содержания и расширения фронта и объема работ, расхождения взглядов отдельных исследователей и т.д. Обобщая, можно сказать, что это всегда – результат

взаимодействия системы культурного или мыслительного содержания с социально-психологической морфологией, на которой развертывается процесс реализации программы, и результат противоречия между безграничностью содержания и ограниченностью совместного и индивидуально-личностного функционирования человеческой морфологии. Однако, по каким бы причинам не распадались программы, их распавшиеся части в дальнейшем приобретают целостность или подобие целостности – прежде всего в социальном плане.

С этой точки зрения очень важен период 1962/63 года, когда в недрах ММК образовался ряд достаточно самостоятельных программ; именно в этот момент исходная программа исследования мышления стала *одной из ряда* других программ и даже не самой главной в плане онтологических оснований и метода.

3. Эволюция программ в рамках мегапроекта

Выше я уже подчеркнул, что исходной для работы ММК была исследовательская программа.

Сегодня, однако, можно утверждать, что любая программа должна содержать проект «предмета» или предметной организации (методологическую компоненту), систему представлений о мета- или над-предметной организации, а также понятие, набор понятий или развернутую онтологическую компоненту, которая часто выполняет функцию проекта или аван-проекта. Однако ни один из названных моментов в отдельности не исчерпывает содержания программы и не заменяет ее.

Понятие о мышлении (как и всякое другое понятие) задает вид и характер объекта, который придется анализировать, и вместе с тем собирает на себя телеологические определенности работы – указания на вид продукта (результата), который нам нужно будет получить. Следует подчеркнуть, что в данном случае речь шла о создании специфического понятия (*понятия-проекта*). Изучение и описание существующих структур мышления не являлось самоцелью; оно было включено в процессы разработки новых структур и технологий мышления. Отсюда – тезис дипломной рабо-

ты Георгия Петровича: теория мышления должна быть одновременно логикой (содержательно-генетической логикой).

Позднее, в заметках 1975 г., Георгий Петрович запишет:

...Я, конечно, понимаю и осознаю, что «Мышление» – это моя конструкция и мой идеальный объект. Я создаю его, чтобы снять предшествующий опыт и получить средства для дальнейшего управления развитием мышления. И поэтому основной вопрос – как мне сконструировать это М[ышление], чтобы эффективно охватить все то, что я собираюсь и хочу охватить, преследуя охарактеризованные выше мои социотехнические цели: Это будет *содержательная* характеристика мышления...²

И далее:

...Я полагаю, что «мышление» существует не только в том, что говорили по его поводу и вокруг философы, а прежде всего в своих продуктах, т.е. в различных организованностях – научных знаниях и научных рассуждениях, орудиях труда и машинах, языках и понятиях и т.д. Поэтому основное внимание я предлагаю уделять не высказываниям философов, а этим *реальным* организованностям мышления и процессам...

По этим записям хорошо видно: первое замыкание мегапроекта – это построение *новой технологии мышления*.

Здесь очень существенно и интересно соотношение между понятием о мышлении и понятием о предмете (предметной формы организации): ведь они оба используются при разработке и реализации программы исследования мышления. Для того чтобы осуществить исследование, нужно иметь предмет. Исследование осуществляется ровно в той мере, в какой удастся построить предмет, или в той мере, в какой он складывается. Сначала это происходит стихийно и без осознания. Затем наступает перелом – подлинная задача работы осознается, и тогда методологическая рефлексия превращается и перерабатывается в методологическое

² Термин содержательности употребляется здесь не в смысле философской рефлексии.

проектирование и конструирование: «программирование» естественно превращается в разработку методологии.

Иначе говоря, сама «программа» выталкивает из себя дополнительную методологическую подпрограмму, логику и онтологию для исследователей. Основной единицей метода поначалу является представление о процедурах и действиях, которые надо осуществлять, и представления о преобразовании материала в продукт. Таким образом, доведенная до конца и детализированная программа может превратиться в метод и методологию. Можно утверждать, что программа – это своего рода колыбель метода. Иначе говоря, *ситуация «программирования» и есть источник появления методологической ориентации.*

Формированию методологической ориентации способствует тот факт, что начиная с 1954 года работа Кружка разворачивается одновременно по целому спектру различных направлений: происходит все большая детализация и расширение фронта работ, осуществляется сначала стихийный, а затем целенаправленный перенос содержания, средств и процедур из одной программы (действительности) в другую. Увеличивается число «тем» и «предметов»; анализ их соотношения друг с другом перерастает в отдельную проблему. В середине 60-х гг. доходит до смешного: ежегодный доклад Георгия Петровича об итогах прошедшего, 1966-го, года длится в течение всего 1967 года. Его самого постепенно из плоскости осуществления исследовательской работы по определенным темам «выталкивает» в пространство программирования исследований и разработок (управления работами). Методологическая рефлексия дополняется конкретным функционально-позиционным раскладом работ в Кружке – во многом именно эта ситуация была затем схематизирована и стала первым объективированным выражением идеи методологии³.

Обычно при анализе первых этапов работы Кружка рассматриваются лишь эти ядерные разработки, наиболее известными из которых являются трактовка мышления как замещения и базовые представления теории деятельности. Однако, на наш взгляд, эти идеи составляли лишь нижний слой реальной работы, и при этом соотношение слоев с каждым годом менялось в пользу рамочных моментов.

³ См.: Щедровицкий Г.П., Дубровский В.Я. Научное исследование в системе методологической работы // Проблемы исследования структуры науки. Новосибирск, 1967.

4. Как учесть развитие?

Ключевым моментом логико-методологической организации была идея развития и определяемая ею логика рассуждений. Все бралось в процессах эволюции и развития – в этом чувствовалось влияние наследия Гегеля. Казалось бы, еще до того, как была поставлена и стала обсуждаться проблема исторического развития мышления, надо было сформировать такой предмет, как мышление, а затем уже по отношению к нему ставить проблему развития. В реальной истории все было иначе: проблема развития имела самостоятельное идеологическое значение и ставилась в отношении разных сущностей. В работах 1973–75 гг. Г.П. Щедровицкий пытался показать, что именно связь идей «развития» (прогресса) и «разума» привела в истории философии и науки к выделению такого понятия, как мышление (ср.: «мыслящая субстанция» у Декарта).

Здесь значимы два момента.

Во-первых, эволюция мира мышления рассматривалась и трактовалась прежде всего как популятивный объект. Подобно речевому языку, мышление принадлежит к так называемым «множественным» объектам. Георгий Петрович писал:

...Для теории мышления исторический подход и принцип историзма являются решающим, ибо без него вообще нельзя сформировать (выделить) «мышление» в качестве предмета исследования (изучения). В этом проявляется характерная особенность так называемых «массовых» объектов. На уровне эмпирии мышление существует (бытийствует) в виде множества отдельных актов и организованностей, и все они настолько различны (и многообразны), что при всем желании невозможно найти нечто среднее типическое. Всех их объединяет только то, что мы считаем их манифестациями мышления... мы приписываем им принадлежность к [единой] системе мышления...

Попытка ответить на вопрос, что же, собственно, их объединяет, привела к созданию схемы, подобной соссоровской схеме речевой деятельности, но интерпретируемой в культурно-историческом плане (в какой мере она действительно была подобна).

Вместе с тем, в процессе фиксации общих принципов существования всех организованностей мышления, формировался устой-

чивый интерес к специфическим формам и способам жизни отдельных организованных: после того, как было установлено отношение замещения и стали «записываться» многоплоскостные схемы знаний и процессов мышления (обратим внимание, сколь часты ссылки Г.П. Щедровицкого на идеологию «вычисления»), встал вопрос о том, возможно ли в процессах мышления существование других элементов или организованных (например, смысла).

В истории Кружка наступил такой момент, когда оказалось, что в практике его работы наличествуют и функционируют *много мышлений*:

- мышление как решение задач, репродуцирующее уже имеющиеся способы и нормы;
- мышление как создание этих способов и норм;
- мышление как рефлексия, или осознание;
- мышление как развитие (см. схему воспроизводства).

Таким образом, как считал Георгий Петрович, –

нужно было искать более широкое целое, которое бы обнимало (не обязательно на базе какого-то единого процесса) все эти разнообразные и разнородные формы мышления.

Нечто схожее высказывает и М.К. Мамардашвили – сравним его рассуждения о содержании и формах мышления в работах соответствующего периода.

Во-вторых, необходимо осознать, что логико-методологическая организация работы Кружка того периода была связана с тем, что логика развития задавала строго определенный принцип перехода к более широкой целостности рассмотрения, исследования и проектирования. При структурно-функциональном подходе сам механизм развития необходимо закладывать в функциональную структуру объекта. Если это не удавалось, то невольно нарушался принцип имманентности, появлялась необходимость обращаться к внешним силам, которые изменяли объект, вводя в него нечто новое, преобразуя и трансформируя его.

Но возможно ли имманентное развитие мышления? Что в данном случае мы называем имманентным развитием? Или то, что развивается, и есть мышление? Вопрос если и не решен, то поставлен. В архивах Георгия Петровича находим следующую запись:

...Мы строим и создаем знаковые системы и способы оперирования с ними; эти знаки и эти системы непрерывно вращиваются в нашу деятельность, реорганизуя и развивая ее; мы ставим эти знаки и системы оперирования между собой и природой, мы используем знаки для преобразования природы. И мы можем (или должны) спросить себя: что представляет собой все это, как устроены эти знаковые системы, по каким «законам» они живут и развиваются? Благодаря этим вопросам мы выходим на изучение особой действительности, которую мы называем «мышлением».

Таким образом, в пространстве работ ММК появляются (мыслятся) по крайней мере два, а реально – много мышлений. Одно мышление, взятое как потенцированное целое (мировой Дух), познается (открывается) на материале другого (мышление как рассуждение, решение задач, как доказательства и опровержения). Мышление как целое открывается и познается через анализ устройства и природы фрагмента. Поскольку было зафиксировано целое и одна его организованность, то далее развитие программы могло идти либо за счет изменения представлений о целом, либо – за счет изменений представлений об организованности.

Так формировалась объективная множественность знаний о мышлении, которая соответствовала базовой логико-методологической концепции. При этом возникает парадоксальная ситуация: множественность знаний рассматривается как то, что должно быть преодолено (за счет синтеза знаний – конфигурирования), и, вместе с тем, как то, что надо сохранять и поддерживать. Таким образом, принцип развития как принцип перехода к более широкой целостности получает не только идеологическое и онтологическое обоснование, но и операциональное – через установку на более высокий синтез.

Читаем в записях Г.П.:

...Практическая проблема и задача состоят в том, что «мышление» – очень сложный и многосторонний предмет (системный в подлинном смысле слова), и нам до сих пор не удается построить такую кооперацию или организацию, которая могла бы обеспечить подлинно научное изучение его [подлинно научное – связанное с инженерией и работающее на нее]. Поэтому можно сказать, что создание теории мышления требует более высо-

кого обобщения и более высокого синтеза, нежели тот, который мы до сих пор где бы то ни было проводили...

И далее:

...применение схем двойного (множественного знания) дает возможность устанавливать такие отношения между знаниями, производить такой синтез, какого нельзя было делать раньше: в частности, они дают возможность соединять функциональные представления с морфологическими. От синтеза знаний к синтезу предметов.

Итак, базисная задача системного анализа – синтез предметов. Очень часто эта задача осознается в превратном виде – как задача объединения знаний. Поскольку конфигурирование касается предметов, оно должно захватывать все элементы предмета, а не только одно знание.

В состав любой системы знаний (в частности, в состав научного предмета) обязательно входят аморфные смысловые структуры, средства разного типа, онтологические картины, методические положения и методики, управляющие процедурами исследования, и, наконец, есть еще слой, управляющий мышлением и рассуждением, который обычно называется «категориями». Все эти элементы «сложного предметного комплекса» (или как позднее будет говорить Г.П.Щедровицкий – предметной формы организации) связаны друг с другом отношениями рефлексивного отображения, ассимиляции и уподобления; они сфокусированы вокруг некоторого (возможно, гипотетического) объекта («узла» [точки] объективации).

Если мы имеем дело с несколькими различными предметами, это означает, что есть несколько разных групп средств, несколько различных онтологий и способов философского осознания проблемной ситуации. Поэтому задача синтеза разных знаний об объекте органично перерастает в более широкую задачу объединения всего остального, входящего в состав предмета, – средств, онтологии, методических предписаний, нормирующих процедуры, а также процессов перестройки категорий. Перестройка категорий является условием и предпосылкой построения модели конфигулятора.

В середине 60-х годов в своих записных книжках Г.П. Щедровицкий пишет:

...Возможен предметный синтез, а возможен – методологический.

5. Анализ полипроцессов и проблема онтологии

Тип задач, которые приходится решать в этот период развития ММК, изменился: на первый план выходит анализ полипроцессов мышления и деятельности, выделение различных организованных (знаков, знаний, понятий, машин, человеко-машинных систем) на пересечении многих функций.

С самого начала участники ММК понимали, что процессы решения задач, научного рассуждения или процесса мышления в целом чрезвычайно неоднородны: с одной стороны, это неоднородность логических единиц, с другой – невозможность найти единые законы и нормы логики для движения (*про-мысливания*) этих процессов и организованных. Для движения в эмпирическом материале нужны одни правила, в моделях – другие, в средствах – третьи, в проблемах и задачах – четвертые. Именно поэтому впоследствии понадобились особые представления типа «машин науки» и т.п. (заданные как набор блоков – структура). В результате тот или иной процесс всегда распадался на два движения: одно – переходы внутри одного блока; другое – переходы из одного блока в другой.

Подобное представление порождало целый комплекс проблем, среди которых ключевыми являются следующие:

- проблема *сущности* (системная сущность – вне явления [объекта]; в его окружении [контексте]; в меняющихся способах функционирования [функциональных отношениях]);
- необходимость *инфралогики*;
- необходимость использования усложненной категории «системы» (*полисистемы*).

Необходимо понимать, что, начиная с анализа нескольких различных знаний об объекте и ставя задачу их конфигурирования, мы тем самым запрещаем непосредственную (формальную или предметную) онтологизацию.

Запрещая один тип онтологизации, мы должны одновременно обеспечить другой его тип. Это результат рефлексивного оформления особой действительности – действительности категориального (позитивного) синтеза и проблематизации.

В какой же момент исследовательская ориентация была заменена (вытеснена) онтологически-синтетической?

Переориентация, с моей точки зрения, была вызвана разрывом двух форм представления мышления: универсимального (предельного) и рабочего. Здесь очень важно подчеркнуть, что именно в этом пункте произошло объединение мегапроекта (создания новой технологии и новой формации мышления) и микродвижений, вызванных реальными трудностями в осуществлении исследовательской работы и проектирования. Онтологическая работа как особая техника собрала на себе ряд различных мотивов; уже в силу этого такая техника не могла быть лишь продолжением метафизического мышления, она вобрала в себя ряд техник среднего уровня – конфигурирование, проблематизацию, критику.

Отсюда специфическая концепция «онтологической работы» и «онтологии» в ММК⁴. К сожалению, долгое время онтологию – онтологическое представление о мышлении – путали (и до сих пор путают) с объектно-онтологическими схемами, выражающими содержание понятия о мышлении (это смешение «онтологии» и схемы объекта понятия характерно даже для очень «продвинутых» методологов⁵).

Что же было сделано к началу 70-х годов? В какой именно момент отдельные понятия и схемы, полученные в рамках различных направлений, были объявлены элементами парадигмальной революции?

Итак: имеется схема научного предмета, фиксирующая представления о многих различающихся между собой организованностях (категориях, понятиях, знаниях, системах средств); типологическое представление об организованностях мыследеятельности с учетом механизмов развития; представления об организации методологической работы, охватывающие все это как целое; фрагменты представлений о процессах и механизмах развития разных организованностей; сложные онтологические представления, описывающие мышление как популятивное развивающееся целое; в общих чертах намечены отношения между деятельностью и мышлением, мышлением и восприятием, мышлением и пониманием, мышлением и рефлексией, мышлением и речью-языком, мышлением и системами кооперации (с включенными внутрь коммуникацией и трансляцией).

⁴ Подробнее я рассматривал эти вопросы в своем докладе на 2-ом Методологическом съезде.

⁵ См., например, работы С. Попова «Идут по России реформы...», «Мышление в зоне риска».

В своем «живом мышлении» ММК использует совершенно особый набор категорий; реализует схемы и методы системного анализа; понимает «символическую» природу действительности; разделяет и соотносит в своем мышлении, с одной стороны, «объекты» и «образы» – представления (представления и объекты, которые суть представления особого рода), а с другой стороны, внутри образов=представлений – знания и проекты, «естественное» и «искусственное»; исходит из принципа множественности истинных позиций; утверждает примат деятельности над знаниями.

Все это называется *методологическим мышлением*.

Само представление о методе является лишь одним из способов фокусировки и организации всего смыслового целого (облака).

В записях Георгия Петровича читаем:

Прежде всего мы выделяем организованности средств и организованности знаний (в том числе знаний о средствах – они противостоят друг другу функционально и структурно). Категория «средства» связана с категорией «формы организации». Мышление как процесс предполагает, наряду с другими, еще и связи управления. В роли управляющих систем могут выступать как системы средств (управление, стремящееся к формализму), так и содержание (схемы объекта, смысловые поля). В силу этого организованности мышления каким-то образом должны фиксировать все эти моменты: движение, приводящее к образованию знаний, управляемое средствами; движение, приводящее к образованию знаний, управляемое содержанием; движение в средствах, управляемое задачей получения знаний; движение в средствах, управляемое задачами получения знаний и, вместе с тем, трактовкой самих средств как знаний.

Я неоднократно подчеркивал, что ключевым моментом методологической работы оказываются процессы онтологизации, объективации и реализации. Онтология в понимании ММК кардинально отлична от философской метафизики. Онтология – это прежде всего фиксации и трансляции проблем и проблематизированных смыслов. Всякая схема, претендующая на статус онтологической, характеризуется, прежде всего, той совокупностью проблем, которые она фиксирует и собирает (фокусирует) на себе. При этом

онтологическая схема выполняет вторую важнейшую функцию – освобождение мыслящего агента от результатов предыдущего мышления и деятельности. Эта вторая функция особенно важна при наличии коммуникации, понимания и коллективной (многоопозиционной, мультиагентной) рефлексии (и рефлексивного мышления).

С моей точки зрения, вся история ММК может быть рассмотрена через призму изменений концепции онтологической работы и онтологизации как одной из базовых техник (технологий) мышления. На первом этапе ведущую роль играла техника конфигурирования, на втором – проблематизации, на третьем этапе развития ММК на передний план выходит проблема реализации и комплекс реализации техник.

Соответственно, можно выделить три компонента онтологической работы:

- техники *рас-предмечивания* и *о-предмечивания* знаний;
- рассмотрение объективации как вида (типа) *реализации* в интеллигибельных системах;
- различение рабочих, объемлющих и предельных онтологических представлений; разработка методов онтологизации как *условий и рамок объективации*.

Сейчас, на третьем этапе, как я полагаю, мы должны вновь вернуться к *различению онтологической работы и исследования* – различению, утерянному в конце 60-х годов.

На последнем этапе развития ММК роль объемлющей онтологии по отношению к ключевым проектным разработкам и, в частности, практике организационно-деятельностных игр, начинает играть совокупность представлений о коллективной Мыследеятельности (МД).

При этом важно подчеркнуть, что *схема мыследеятельности, в своих предварительных вариантах введенная уже в середине 70-ых годов, может быть протрактована как продукт трех исследовательских фокусировок*: мышления как деятельности, мышления как понимания и коммуникации и чистого мышления – как возможности иных форм организации мышления в мыследеятельности, не описанных пока в понятиях.

Несмотря на то, что эти фокусировки в реальной истории возникают последовательно и как бы вытесняют друг друга, при построении итогового варианта схемы в начале 80-х используется метод понятийно-фокусной схематизации.

★ ★ ★

В заключение мне хотелось бы указать на важность актуализации именно сегодня историко-критической работы, посвященной наследию Г.П.Щедровицкого.

Управленческая элита России в данный период своей истории пытается встроиться в радикально изменившийся за последние 50 лет политический и экономический контекст. Перед всеми субъектами действия стоит задача перевода накопленного в стране организационного, социального и, прежде всего – интеллектуального капитала на язык глобального развития.

Эта тематика сегодня обсуждается в кругах гуманитарных специалистов прежде всего как проблема выстраивания нового имиджа России в современном глобальном мире. Как можно оценить собственный путь? Что в нем ценно? Каков вклад российских интеллектуалов в общее развитие? Каково место страны в системе геэкономической кооперации и конкуренции? Изнутри важным кажется одно, извне – другое.

Это, прежде всего, проблема перспективы.

Попытки ответить на поставленные вопросы будут удачными только в том случае если нам удастся, с одной стороны, выявить в собственной истории идеи и события, отражающие более широкие мировые тренды и закономерности а, с другой стороны, – увидеть в процессах мирового развития и возможных сценариях дальнейших изменений то, что в наибольшей степени перекликается с опытом отечественной мысли.

Для меня совершенно очевидно, что поиск ответов на эти вопросы в качестве важнейшей компоненты включает прежде всего ясный ответ на вопрос о наличии или отсутствии собственной российской философии, собственной идеологии и онтологии – как традиции, так и современных школ. На мой взгляд, страна, которая не имеет своей оригинальной философии и методологии

не может претендовать на серьезный статус – ни в политической, ни в геоэкономической сферах.

На что же мы можем опереться в этой области?

Существует довольно распространенная точка зрения, особенно на Западе, что в конце XIX – начале XX века в России существовал ряд довольно интересных школ, многие из которых потом оказали сильнейшее влияние и на европейскую, и на американскую гуманитарную мысль. Но после «философского парохода» ничего не осталось. Оригинальная российская философия кончилась, а все, что осталось, – это эпигоны, марксиды, ничего интересного.

Н.О. Лосский был совершенно категоричен в своих оценках господствующей парадигмы мышления советской философии: «В СССР диалектический материализм – партийная философия, имеющая дело не с отысканием истины, а с практическими нуждами революции. Пока СССР управляется властью, которая подавляет всякое свободное исследование, диалектический материализм не может рассматриваться как философия»⁶. О. Василий Зеньковский повторял эту оценку, специально подчеркивая, что в советской философии – нет персональности: «Мы не упоминаем никаких имен, – да ведь там и нет личного творчества – есть лишь одно, свыше одобренное и регулируемое направление ("диалектический материализм"). Ничтожная жалкая, трагическая по существу картина обезличенной мысли тем более страшна, что это удушение свободного творчества длится не один десяток лет»⁷.

Я считаю, что приведенные оценки не соответствуют действительности. Да, конечно, Россия понесла огромные человеческие потери в послереволюционный период. Однако и в период между двумя мировыми войнами, и, особенно, после Великой Отечественной войны (во многом, бесспорно, с опорой на сохранившиеся преподавательские кадры), и в философии, и в психологии, и в некоторых других гуманитарных сферах возродились и существовали длительное время школы и направления, сопоставимые с тем, что происходило в это время на Западе. Одной из таких школ был кружок Георгия Петровича Щедровицкого, который вначале назывался Московским логическим кружком, а чуть

⁶ Лосский Н.О. История русской философии. М., 1954. С. 382.

⁷ Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х т. Л., 1991. Т. 2. Ч. 2. С. 53.

позже – Московским методологическим кружком (ММК). Уже сейчас целый ряд людей из этого круга признан, не только здесь, в России, но и во всем мире.

На мой взгляд, самая общая и важнейшая рамка нашей общей работы состоит в осознании значимости историко-философской реконструкции для собственного самоопределения. Нам нужно эту историю писать (или переписывать), нужно называть (вспоминать) ключевые имена и нужно организовать систематическую работу по продвижению, переводу, интерпретации, сопоставлению отечественных идей и концепций с мировым контекстом.

Ибо без этого, как я уже подчеркивал выше, у нарождающейся российской элиты не будет языка, на котором она сможет разговаривать - как внутри себя, так и со своими партнерами в других регионах мира. Именно поэтому сегодня историческая работа, направленная на реконструкцию отечественного интеллектуального развития – дело особой важности и ответственности. Иначе страна на плацдарме мирового развития рискует еще достаточно долгое время находиться в маргинальном положении, независимо от локальных и временных успехов на фронтах экономической конкуренции.

Научное издание

Познающее мышление и социальное действие

(наследие Г.П. Щедровицкого
в контексте отечественной и мировой философской мысли)
Редактор-составитель Н.И. Кузнецова. – М., 2004

Издательство «Ф.А.С.-медиа»

Составление и общая редакция: Н.И. Кузнецова
Оригинал-макет: Г.В.Каковкин, И.А.Болотина
Фото: Лев Мелихов

Формат 60X90/16
Тираж 2000 экз.

Отпечатано в ГП «Московская Типографии №13»
Москва, Денисовский пер., 30
Заказ №2973

Cognitive Thinking and Social Action: The Legacy of Georgii Shchedrovitskii in the Context of Russian and World Philosophical Thought. Compiled and edited by Natalia Kuznetsova. Moscow, 2004

This volume is devoted to the 75th anniversary of the birth of an outstanding Russian thinker Georgii Shchedrovitskii (1929-1994). Intended to provide a comprehensive analysis of his legacy, it features essays by famous Russian philosophers and methodologists, which seek to elucidate the contribution of G. Shchedrovitskii's work to the contemporary intellectual culture, its place in the twentieth-century landscape of humanities including epistemology, psychology, linguistics, semiotics, methodology and philosophy of science, social engineering, pedagogy and other fields. As the authors knew well the person whose work they write about, the book is rich in personal recollections which offer vivid sketches of Georgii Shchedrovitskii and the epoch he lived and worked in. The papers collected are accessible not only to the specialists in the fields of human sciences and social engineering, but also to a general audience interested in the development of Russia's treasure trove of thought.

**Георгий
Петрович
Щедровицкий**

(1929–1994) –

один из крупнейших
отечественных мысли-
телей XX столетия.

Его концепция –
реализация важной
и весьма характерной
тенденции в развитии
европейской цивили-
зации последних трех
столетий: конструктив-
но-проективной уста-
новки. То, что он сде-
лал, позволяет лучше
понять возможности
и опасности развития
в этом направлении.
Сформулированные
им идеи живут само-
стоятельной жизнью
и обнаруживают
важный современный
смысл.

